Волны Черного моря

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Волны Черного моря

ТОМ II

ЗИМНИЙ ВЕТЕР

КАТАКОМБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА 1961

Р2
К29

Рисунки В. Горяева

Оформление И. Фоминой

Зимний ветер

1

ОСКОЛОК

Петя — или, как он теперь назывался, прапорщик Бачей — услышал одновременно два звука: свист гранаты и рывок воздуха. Никогда еще эти звуки не были так угрожающе близки и опасны.

Затем его подкосило, подбросило вверх, и он на лету потерял сознание.

Когда же он открыл глаза, то увидел, что лежит щекой на земле. Он чувствовал, как от удара об землю гудит все его тело, в особенности голова. Вместе с тем он

видел, как волочится по земле пыль и дым того самого снаряда, который только что разорвался рядом.

Из свежей воронки тянуло тошнотворно-острым запахом жженого целлулоидного гребешка.

«Значит, я не убит,— подумал он.— Но что же со мной делается? Я лежу, а вокруг бой. Наверное, я ранен. Но куда?»

Едва он это подумал, как сразу ощутил боль в двух местах: болела голова и болел живот, как будто бы по нему изо всех сил ударили палкой.

Петя потрогал голову, на которой по-прежнему крепко сидела стальная каска. Ощупав каску, он обнаружил крупную вмятину от осколка. Так вот почему болит голова и так оглушающе звенит в ушах.

Но это не ранение, а в худшем случае контузия.

Значит, он ранен не в голову, а в живот. Он ужаснулся. Ранение в живот почти всегда смертельно. Это знали все фронтовики и больше всего боялись раны в живот.

Холодный пот выступил у Пети на лбу под каской.

Он не решился сразу посмотреть на свой живот. Сначала он скользнул глазами по груди и увидел свернутый в скатку новенький непромокаемый офицерский плащ, который перед атакой надел по-солдатски через плечо.

Теперь этот плащ был изорван осколками в клочья.

Сигнальная ракета, которую Петя продолжал сжимать в кулаке, была перерублена осколком, и горючая смесь сыпалась из картонной трубки.

Прапорщик Бачей был артиллерийским офицером при пехотном батальоне. Должность, недавно введенная в армии. Его обязанность заключалась в том, чтобы во время атаки находиться в пехотной цепи, и, если нужно, перенести артиллерийский огонь вперед или назад, то пускать красную или зеленую сигнальную ракету. Он только что собрался пустить красную ракету, чтобы перенести огонь вперед, но не успел.

Щегольской френч — новенький, с иголочки,— с четырьмя большими карманами на груди и на бедрах был кое-где запачкан землей.

Живот продолжал зловеще ныть.

Петя сделал над собой усилие и наконец заставил

себя посмотреть на живот. Он ожидал увидеть рваную громадную рану, но ее не оказалось. Нижняя часть френча была не только цела, но даже нисколько не запачкана землей.

Петя осмотрел свои руки, ноги в недавно сшитых хромовых сапогах, пошевелил туловищем, прижатым к земле.

К своему крайнему удивлению, радости, но вместе с тем и легкому разочарованию, Петя понял, что он цел. На нем не было ни одной царапины.

Это меняло дело.

Раз ты не ранен, то нечего лежать на земле, а надо подниматься и поскорее догонять цепь, которая уже перевалила за гребень высоты, откуда слышалось протяжное стоголосое «ура».

Высоко над головой туда и обратно с безжалостным скрежетом, свистом и всхлипываниями пролетали снаряды разных калибров, чиркали по земле и посвистывали в воздухе шальные пули, и не так-то легко было заставить себя оторваться от матушки-земли и встать на ноги.

Все существо Пети протестовало против необходимости снова идти в огонь.

Другое дело, если бы он был ранен. Ну хотя бы немножко. Тогда он имел бы право остаться на месте, уползти назад, выйти из-под обстрела и хотя бы на некоторое время освободиться от ежеминутной возможности смерти.

Петя уже воевал два года, только что дослужился до прапорщика, имел солдатский георгиевский крест, но каждый раз в бою испытывал все то же суеверное чувство неизбежной смерти именно сегодня.

С течением времени он научился управлять этим изнурительным чувством, которое, впрочем, бесследно исчезало, как только проходила опасность.

Прижавшись к земле, Петя продолжал самым внимательным образом осматривать себя, втайне надеясь найти хотя бы маленькую рану. Он надеялся на рану, как на чудо.

Раны не было.

Тогда Петя поднялся на ноги. Отряхиваясь от земли, он еще раз с сожалением посмотрел на побитый осколками плащ.

Совсем близко он увидел двух окровавленных мертвых солдат с короткими саперными лопатками в кожаных чехлах на поясе и понял, что солдаты убиты тем же самым снарядом, который свалил его взрывной волной.

Делать нечего, надо догонять роту.

Петя бросил испорченную ракету, вытащил из-за пояса другую, исправную. Приготовил и, продолжая чувствовать во всем теле угрюмое гудение. сделал несколько шагов по вскопанной снарядами земле.

В это время к нему подбежал прапорщик Колесничук.

— Петька, что с тобой? Ты ранен?

— Ничего подобного,— с плохо скрытой досадой сказал Петя.

— На тебе лица нет.

— Еще чего!

— А я говорю, что ты ранен.

Колесничук стал всматриваться в Петино лицо.

— У тебя разорвалось прямо-таки под самыми ногами. Я видел. Не может быть, чтобы ни один осколок не зацепил.

— Зацепил, да только не тело,— с иронией сказал Петя, показывая изодранный плащ.

— Невероятно! Да нет же. Пари, что ты ранен. Иду на что хочешь!

С этими словами добряк Колесничук стал со всех сторон осматривать Петю.

— Я, наверное, все же контужен,— слабым голосом сказал Петя.— Адская головная боль. И головокружение. Положительно не могу держаться на ногах.

Он преувеличивал. Конечно, он отлично мог держаться на ногах, и голова у него уже совсем не болела, а только шумело в ушах, да и то не так сильно, как сначала.

Петя оперся на плечо товарища.

— Лучше я здесь где-нибудь отлежусь, или, даже еще лучше, пусть меня отнесут в... околоток.

У Пети не хватило совести сказать — в лазарет.

— Как ты думаешь, Жора? — уже совсем жалобно проговорил Петя с легким стоном, за который сам себя презирал. Потом он сел на землю.

— Стой! Ага! — вдруг с торжеством крикнул Колесничук.— Вот сюда. Я так и знал.— С этими словами

он коснулся пальцами Петиных галифе немного пониже кармана.— Ого, брат, сколько натекло!

Петя посмотрел и не поверил своим глазам. Карман его только что пошитых ультрамодных бриджей из дорогой темно-синей гвардейской диагонали теперь почернел и был мокрый, как будто в нем раздавили помидор.

— Видишь, сколько крови? — сказал Колесничук, болезненно морщась и чуть не плача от жалости к своему старому гимназическому товарищу, с которым они оказались в одной дивизии.

— Ишь, куда попало. По самому канту врезало.

Петя увидел в мокром сукне маленькую рваную дырочку. Не могло быть сомнений: он ранен. И, по всей вероятности, ранен легко, потому что боли почти не чувствовал.

— Носилки! — крикнул Колесничук.

— Не надо,— сказал Петя неожиданно для самого себя.— Ты мне, Жора, только помоги перевязаться. Я остаюсь в строю.— И он строго посмотрел на приятеля.

Это был именно тот случай, о котором Петя давно уже мечтал, как и большинство прапорщиков: быть раненым и остаться в строю.

Так как вокруг все еще продолжали посвистывать шальные пули, а время от времени рвались и снаряды, то оба прапорщика отползли немного назад и сели в лощинке, среди поломанного орешника.

Здесь Колесничук, продолжая морщиться и качать головой, разорвал индивидуальный пакет, который был привязан к его шашке, а Бачей расстегнулся, опустил галифе и вдруг увидел свою голую ляжку, пробитую насквозь осколком.

Вид этих свежих красных дырок, откуда сочилась и текла по белому телу — его телу! — жидкая кровь — его кровь! — так поразил Петю (в особенности яркость крови), что у него закружилась голова. Он успел схватиться руками за шею Колесничука, который в это время неумело, но решительно накладывал на рану розовую вату бинта.

Тут подоспели носилки.

Петя Бачей заскрипел зубами, когда прямо на раны стали лить черный, как деготь, японский йод. Затем

фельдшер перевязал рану, туго обкатав бинтом Петину поясницу.

Петя застегнулся и снова надел пояс с пистолетом и полевой сумкой, которые теперь показались ему слишком тяжелыми. Он с сожалением посмотрел на свои попорченные осколком, пропитавшиеся кровью бриджи.

— Ничего,— сказал Колесничук,— отпарятся. Ходить можешь?

Петя встал и сделал несколько шагов, но тотчас почувствовал довольно сильную боль. Он пошатнулся. Фельдшер подхватил его под руки и бережно посадил на землю.

— Нет, нет, пустите меня, я пойду в цепь! — сказал Петя, понимая, что теперь его уже в цепь не пустят, а отнесут на носилках в тыл.

В это время по знаку фельдшера санитары сбегали куда-то в кусты и вернулись с носилками.

— Лягайте, господин прапорщик,— сказал фельдшер, деликатно подставляя Пете плечо.

— Хорошо. Но только не дальше полкового госпиталя.

— Это как бог даст, господин прапорщик. Счастливого вам пути!

В голосе фельдшера Пете послышалась плохо скрытая зависть.

Санитары, преувеличенно суетясь, помогли раненому прапорщику лечь на носилки и покрыли его сверху продырявленным макинтошем, побитым осколками.

Они заметно торопились. Им явно не терпелось поскорее вместе с носилками раненого выбраться с линии огня в тыл.

— Ну, Петя, будь здоров, поправляйся, а я пошел догонять роту. Старайся попасть в Одессу, кланяйся там моей Раисе.

Раиса была его молодая жена, попросту Раечка, урожденная Лурье, бывшая одесская гимназистка, хорошо знакомая Пете с детских лет.

Они поцеловались, и последнее, что видел Петя на поле боя, была долговязая фигура Колесничука, который, в каске на затылке, время от времени приседая и бросаясь на землю, бежал зигзагами по гребню высоты, догоняя свою цепь.

Санитары внесли Петю в глубокую расселину. Здесь раненого уже дожидался, дрожа от волнения, его вестовой — молодой миловидный солдатик последнего призыва, по фамилии Чабан.

Он бросился к носилкам и припал головой к погону прапорщика, заглядывая в его лицо своими нежными, девичьими светло-карими глазами, потемневшими от испуга.

— Что с вами, господин прапорщик?.. Что с вами, господин прапорщик? — повторял он бессмысленно.— А я уже думал, що вас зараз зовсим вбыло.— При этом он, не стесняясь, вытирал слезы рукавом своей летней травянисто-желтой гимнастерки.

— Где же это вы околачивались? — по-прежнему неестественно слабо, но уже с командирскими нотками в голосе сказал Петя.— В бою вестовому полагается быть вместе со своим офицером. Под суд захотели?

— Виноват, господин прапорщик. Трошки отстал, бо вы дуже швидко побежали вперед. А тут «он» как ударит сбоку... И все вокруг вас. А одна граната прямо-таки у вас под ногами разорвалась. Я уже думал, что клочков ваших не соберу. Стою на месте, аж весь трясусь тай плачу...

Чабан снова всхлипнул и посмотрел на своего прапорщика с восторженной улыбкой, как на ясное солнышко, даже немножко зажмурился.

— Ну, хорошо, потом расскажешь, а пока несите! — сказал Петя, услышав, что за гребнем снова — и довольно близко — началась ружейная пальба пачками и застучали пулеметы.

Но и без этого санитары поторопились.

Теперь, кроме них, носилки поддерживали неизвестно откуда взявшиеся еще два солдатика с винтовками, оба маленькие, проворные, суетливые, до смерти перепуганные и в то же время старающиеся быть как можно незаметнее.

— А вы, друзья, как сюда попали? — грозно спросил Петя.— Вы разве санитары?

— Никак нет,— с готовностью ответил один из них.— А мы пособляем санитарам.

— На случай, если чего-нибудь не так...— добавил другой.

— А ну, марш обратно в роту! — крикнул Петя.

— Слушаюсь, господин прапорщик! — с еще большей готовностью сказали оба солдатика в один голос, но никуда от носилок не отошли, а, наоборот, ухватились за них еще крепче, всем своим видом стараясь показать, что они готовы на все, лишь бы как можно лучше услужить господину прапорщику.

— Я кому приказываю? — сказал Петя, угрюмо скосив из-под каски глаза.

Но тут кончилась лощинка, и носилки снова оказались на открытом месте.

Вероятно, баварскому артиллерийскому наблюдателю эта небольшая кучка солдат, окруживших носилки, показалась в бинокль среди складок местности тем, что на военном языке называется «скоплением неприятеля».

Через минуту прилетело несколько немецких шрапнелей, которые разорвались в разных местах — высоко и низко,— повиснув в воздухе зловеще-темными шарами дыма.

Петя лежал на носилках вверх лицом, и ему некуда было деться. Он снова почувствовал отчаянный, животный ужас. Как! Провоевать два года, получить такое удачное ранение и быть так глупо, так безжалостно убитым на носилках по дороге в тыл, именно теперь, когда через каких-нибудь четверть часа он будет спасен от всех ужасов войны!

Но что же делать? Он прикрыл лицо каской. Его сводило с ума собственное бессилие.

— Братцы! — крикнул он солдатам.— Выручайте! Всех представлю к георгиевскому кресту за спасение офицера под огнем!

Солдаты, которые и сами были не прочь спастись вместе с раненым офицером, побежали рысью, так что каска стала подпрыгивать на лице прапорщика, довольно ощутительно ударяя его по носу.

И скоро носилки оказались в безопасности. Поле боя осталось далеко позади, и над ним туда и назад продолжали летать наши и немецкие корректировщики, окруженные оспинками шрапнельных разрывов.

2

СВЕРЧКИ

Все это происходило жаркой солнечной осенью 1917 года в Румынских Карпатах, в первые часы русского наступления, начатого по всему фронту после двухдневной артиллерийской подготовки.

Петя понимал, что ему здорово-таки повезло. Недаром же у него было две макушки. Он оказался первым раненым офицером по всей дивизии. Поэтому его эвакуация в тыл совершилась со сказочной легкостью.

Офицерское отделение только что развернутого в громадных палатках полевого дивизионного лазарета было еще совсем пусто. Первого раненого прапорщика встретил весь медицинский персонал во главе с главным врачом-хирургом в еще чистом, накрахмаленном халате, из-под которого выглядывали лакированные сапоги с маленькими штаб-офицерскими шпорами.

Хирург изнывал от ожидания.

Заметив носилки с прапорщиком, он тотчас отбросил в сторону папиросу «Лаферм» и натянул черные резиновые перчатки, при виде которых у Пети потемнело в глазах.

— На стол! — крикнул хирург наигранно грубым голосом, таким самым, каким, по его мнению, должен был кричать великий Пирогов на бастионах осажденного Севастополя.

— Ножницы! — услышал Петя над собой ужасный голос, едва только его положили на грубо сколоченный сосновый стол, покрытый клеенкой.

«Боже мой, для чего же ножницы?» — со страхом подумал Петя и жалобно посмотрел на хирурга, который изо всех сил раздувал сизые шеки, шевеля усами, рыжими, как медная проволока.

— Разрежьте ему шаровары! — скомандовал хирург с таким видом, как будто малейшее промедление грозило раненому смертью.

— Умоляю вас... Я сам...— пролепетал Петя и слегка приподнялся на локте, забыв в этот миг, что он ранен.

Не хватало, чтобы искромсали ножницами его шикарные выходные бриджи, которые хирург так вульгарно и пренебрежительно назвал шароварами.

— Что же ты стоишь, как бревно, я не понимаю. Помоги же! — плаксиво сказал Петя своему вестовому, который ни жив ни мертв стоял возле распахнутого входа в операционную палатку, с ужасом ожидая, что сейчас начнут резать его любимого начальника.

Но Чабана в операционную не пустили, и Пете самому пришлось расстегнуться и обнажить перевязку.

— Сапожники! — сказал хирург, разрезая кривыми ножницами промокший окровавленный бинт и с отвращением бросая его в пустое ведро.— Шмаргонцы! Даже перевязать толком не смогли раненого прапора. Зонд!

Он сделал зверские глаза, которые за увеличительными стеклами небольших золотых очков зашевелились, как у рассерженного бычка, и в ту же секунду в его откинутой назад руке очутился зловеще изогнутый, длинный, страшный инструмент с неприятно блестящим никелированным шариком на конце.

— Ой, не надо! — совсем по-детски сказал Бачей.

Но хирург не обратил на это внимания и твердо, но в то же время очень легко насквозь проткнул рану гибким зондом.

Петя зажмурился, застонал от тупой боли, которая, впрочем, оказалась не так сильна, как можно было ожидать при виде окровавленного конца зонда с шариком, вылезшим из выходного отверстия раны.

— Болит? — бодро спросил хирург.

— Болит,— бодро ответил Петя и немножко застонал, хотя этого можно было и не делать.

— Но не очень? — пытливо спросил хирург.

— Но не очень,— согласился Петя.— Но все-таки...

— Прекрасно,— сказал хирург, вытаскивая зонд, от чего раненый опять застонал, на этот раз непроизвольно.

Он хотел зажмуриться или отвернуться, но как завороженный не мог отвести глаз от своей сочащейся раны.

— Молодец прапорщик! — сказал хирург, ощупывая Петино бедро со всех сторон.— Кость не задета. Ну, счастлив ваш бог. Могло быть куда хуже.

Услышав, что кость не задета, Петя почувствовал нечто вроде разочарования и даже некоторого испуга.

Но следующие слова хирурга его успокоили.

— Сейчас мы сделаем вам дренаж, и можете отправ-

ляться дальше, на эвакуационный пункт. Не будем вас задерживать, тем более, что через час-полтора здесь на одной койке будет валяться по четыре раненых, и мы не будем знать, что с ними делать, куда их девать.

Хирург мотнул своей коротко остриженной медно-рыжей головой в сторону передовых позиций, откуда по всему фронту продолжало грозно перекатываться и греметь, отчего полотняные стены операционной с вделанными в них окошками все время вздрагивали и колебались.

Когда в оба отверстия раны были вставлены резиновые трубочки — дренажи, приклеены пластырем, закутаны ватой и нога твердо забинтована, Петя вдруг почувствовал такую сонливость, что мгновенно заснул, но сейчас же его разбудил собственный храп.

Теперь он уже лежал на свежем воздухе, в тени под деревьями, и хирург что-то наливал в лазаретную эмалированную кружку из красивой французской бутылки.

— Выпейте коньяку, это вас подкрепит. Мартель. Подарок доблестных союзников.

Петя хлебнул французского коньяка. Едкая пахучая жидкость потекла по его подбородку. Он закашлялся.

— Заешьте,— сказал хирург и сунул прапорщику в рот кусок английской галеты.— Подарок доблестных союзников. И будьте здоровы. Сейчас вам принесут документы, аттестат и все прочее, а я пойду резать людей, видите, публика подваливает. Горячий будет денек! — прибавил он.

Петя увидел, что все вокруг успело заметно измениться.

В лесу между палатками госпиталя, где совсем недавно было еще безлюдно, теперь, откуда ни возьмись, появилось множество раненых — солдат и офицеров.

Они притащились сюда с передовой линии пешком или, в лучшем случае, были принесены на носилках, которых, как это всегда бывает во время больших сражений, не хватало.

Раненые лежали, сидели и стояли в сухой, жаркой тени небольших карпатских сосен, ожидая очереди на перевязку или операцию.

Со своими измученными, запылившимися лицами и окровавленными, промокшими перевязками они не про-

извели на Петю никакого впечатления. За время службы в действующей армии он уже успел достаточно насмотреться на раненых.

А главное, он сам был ранен, и это как бы давало ему моральное право не обращать внимания на чужие страдания.

Глядя на них, он только лишний раз убеждался в том, что ему сегодня во всех отношениях повезло.

Был бы он ранен часом позже, неизвестно еще, достались ли бы ему носилки, сделали бы ему так быстро и так тщательно перевязку, напоили бы его французским коньяком, а главное, эвакуировали бы его в тыл с такой, в сущности, пустяковой раной. С такими ранами обычно через неделю-другую человека снова отправляют на позиции.

Пете даже пришло в голову, слегка отуманенную мартелем, что хирург может, чего доброго, передумать и вместо эвакуационного пункта отправить его куда-нибудь не дальше корпуса.

Чабан, посланный в канцелярию лазарета за бумагами, долго не возвращался, и Петя стал не на шутку беспокоиться.

Между тем санитары и солдаты, доставившие его сюда, мирно сидели в сторонке и хлебали из бачка лазаретный суп.

Пустые носилки стояли рядом.

— Вы здесь зачем околачиваетесь? — спросил Петя.

— Обедаем, господин прапорщик,— с искательной улыбкой ответил один из санитаров.

— Окопались? — грозно сказал Петя.— А ну в два счета марш в роту! Нечего тут валандаться!

Солдаты сделали вид, что страшно торопятся, засуетились, стали в последний раз изнутри и снаружи облизывать деревянные ложки, совать их черенками за обмотки, а на самом деле оставались, как пришитые, на месте.

— Кому сказано? — повысил голос Бачей.— Вы чего здесь дожидаетесь?

— Так точно, дожидаемся, чтобы вы всех нас переписали.

— Это еще зачем?

— Вы обещали.

— Я?

— Так точно. Как мы вас под огнем вынесли на своих руках из боя и как вы нам обещали за спасение офицера георгиевские кресты.

— А! — сказал Петя. — Это дело другое. Раз обещал, значит, сделаю. Ну, говорите свои фамилии.

Он вытащил из-под головы сумку и записал в полевую книжечку фамилии и звания своих спасителей, после чего они, пожелав прапорщику счастливого пути в тыл и еще довольно долго скручивая цигарки из солдатской газетки, «позыченной» у лазаретной прислуги, наконец взяли пустые носилки и не торопясь побрели, мелькая среди деревьев, туда, откуда, ни на миг не утихая, продолжали доноситься зловеще громкие звуки большого сражения.

По этим звукам, как бы уже давно досадно застрявшим на одном месте, Пете было ясно, что наше наступление остановилось, пехота залегла и теперь ее изо всех сил молотит неприятельская артиллерия.

Раненых с каждой минутой прибывало все больше и больше.

Уже возле переполненных лазаретных палаток началась давка. Санитары укладывали раненых прямо под деревьями на одеяла.

Слышались стоны, недовольные возгласы, матерная брань, и уже неподалеку образовался митинг, откуда долетал рыдающий солдатский голос, выкрикивающий те самые слова, которые в последнее время повторялись всюду — в тылу и на фронте, — где только ни собирался митинг.

Эти слова еще не потеряли своей жгучей новизны.

Они были не плодом ораторского искусства, а с болью и яростью вырывались из самого солдатского нутра, из глубины народной души, истерзанной всеми муками трехлетней бойни.

— Будя! Попили нашей кровушки! Пора кончать, пока нас всех тут не переколотили! Вона, слышь, как молотит?

Митинг замолк. В минутной тишине бой гремел особенно зловеще.

Пете даже показалось, что все вокруг потемнело и солнце скрылось в грозовой туче, хотя на самом деле

безоблачный полдень продолжал сиять в предгорьях Карпат, весь пропитанный горячими запахами трав и различных древесных пород: сосны, дуба, бука, граба...

Петя почувствовал тошноту. Он надвинул на лицо свою помятую каску, накалившуюся от солнца, и закрыл глаза.

В это время прибежал Чабан с бумагами, а следом за ним подъехала санитарная двуколка, в которую Петю и погрузили.

— Ну, Чабан, прощай,— сказал он, засовывая бумаги в полевую сумку.

— Господин прапорщик,— проговорил Чабан с умоляющей улыбкой и даже осмелился нерешительно, хотя и довольно крепко взять Петю за плечо.

На лице Чабана было написано столько отчаянной страстной надежды, что Петя сразу понял: вестовой просится вместе с ним в тыл.

— Ей-богу, ваше благородие, возьмите меня,— проговорил Чабан, переводя дух от смущения.— Ей-богу, возьмите!

Он даже употребил старорежимное, дореволюционное выражение «ваше благородие», уже давно отмененное Временным правительством.

— Чудак человек, как же я могу?

Петя всей душой жалел этого человека, такого молоденького, по-украински красивого и нежного, который должен был немедленно возвращаться в цепь, получить винтовку и идти в бой, откуда вряд ли уже вернется.

— Господин прапорщик, вы можете. Вы все на свете можете!

Свято веря в эту минуту во всемогущество прапорщика, Чабан смотрел на Петю со страстной надеждой.

Петя был совсем не против того, чтобы взять с собой вестового. Сам так счастливо избегнув смерти, он теперь с радостью готов был спасти от гибели любого другого человека, своего ближнего, в особенности такого милого, как Чабан. Вся беда заключалась в том, что при старом режиме раненый офицер мог взять с собою в тыл денщика, то есть солдата, числившегося в нестроевой команде, а после революции не мог. Вестовой оставался в части.

«Убьют малого, это уж наверное»,— подумал Петя, испытывая какое-то странное, сложное чувство, похожее на стыд или, во всяком случае, неловкость оттого, что вот он уже спасен и его уже наверняка не убьют, а если убьют, то не скоро, а вот Чабана так убьют безусловно и, весьма вероятно, сегодня же днем.

— Ваше благородие, господин прапорщик! — умоляюще говорил Чабан, держась за колесо, как бы желая удержать двуколку.— Как же вы поедете без меня? Кто вам по дороге поможет? А я в случáе чего и постирать могу и сготовлю поисты.

— Ладно,— сказал Петя решительно.— Зовите сюда начальника госпиталя.

— Не могу. Не имею права. Не положено,— сказал начальник госпиталя, приведенный Чабаном.— А впрочем, делайте, как хотите! — прибавил он и вдруг раздраженно закричал: — Пускай хоть вся армия уезжает! Тем скорее кончится вся эта революционная петрушка. Вы! Как там ваша фамилия? — спросил он вестового, подчеркнув слово «вы».

— Чабан, ваше высокоблагородие!

Начальник госпиталя поморщился так, словно поел мыла.

— Можете сопровождать своего прапорщика, но только без аттестата. Аттестат пусть вам выдаст в тылу воинский начальник, если, конечно, он вас не арестует за дезертирство.

— Я отвечаю,— сказал Петя покраснев.

— Ну так и отправляйтесь,— сказал начальник госпиталя,— я умываю руки. Идите вы все к черту!

И громко плюнул.

Двуколка тронулась и въехала в лес, подпрыгивая по корням.

Это был лиственный прохладный лес с бархатисто-серыми стволами и неподвижной листвой, как бы очарованно застывшей в однотонно-зеленом воздухе.

Из заросших лесных расселин тянуло приятной сыростью.

Иногда жаркие лучи солнца пробивались сквозь буковую листву и скользили по лицу прапорщика, заставляя его жмуриться.

Здесь было так тихо и мирно, что даже сравнительно

недалекий грохот боя уже не казался таким грозным, и Петя испытывал упоительное чувство безопасности.

Иногда двуколка пересекала поляны, поросшие перезревшей травой. Тогда вокруг слышался сухой треск кузнечиков. Он вызывал в Петином воображении картину степной ночи, когда на громадном пространстве как бы рассыпаны мириады крошечных косцов, дружно продолжающих какую-то свою косовицу, начатую еще днем.

Давно не слышал Петя вокруг себя этих мирных, убаюкивающих звуков.

— Слышь, Чабан,— не открывая глаз, спросил он.— Что это такое?

Чабан не понял, о чем его спрашивают. Ему даже показалось, что его офицер бредит.

Он с испугом посмотрел на Петю.

— Чего изволите? — спросил он жалостливым, бабьим голосом.

— Я говорю, это что, сверчки, что ли? — повторил Петя.— Или, может быть, у меня шумит в ушах?

— Так точно,— еще более жалобно ответил Чабан.— Це у вас в ушах шумит.

Петя прислушался.

— Да нет же, это не в ушах. Неужели ты ничего не слышишь?

Чабан с недоумением посмотрел на своего офицера и стал прислушиваться.

— Ну? Ничего не слышишь? — спросил Петя с тревогой.

— Слышу,— ответил Чабан.

— Что же ты слышишь?

— Слышу цвиркунов. А никаких сверчков не слышу.

— Ну, так цвиркуны — это и есть то же самое, что по-русски сверчки! — Петя сказал с облегчением, потому что и сам было испугался, не начинаются ли у него галлюцинации слуха.

Несколько раз Петя засыпал и просыпался от толчков двуколки.

К вечеру его привезли на какой-то эвакопункт и положили на нары в офицерском бараке, который, в сущности, ничем не отличался от солдатского и был переполнен ранеными, свезенными сюда со всей армии.

Петя лежал в духоте, виплюснутый между двумя ра-

неными офицерами, из которых один все время вздрагивал и стонал, а другой лежал неподвижно, высунув сапоги из-под коротко обрезанной пехотной шинели. Он не дышал, и Пете все время казалось, что он уже умер.

В бараке было темно и душно. Горела только одна маленькая керосиновая лампочка с черным от копоти стеклом.

Пахло больничной соломой.

Звуки сверчков не прекращались. В ушах утомительно стрекотало. Но Петя понимал, что это уже не настоящие сверчки, так нежно и сонно бормотавшие о счастье, а сухой шелест крови, торопливое стрекотание пульса, признак подымающейся температуры, надвигающегося беспамятства и мучительного «пиит-пиит-пиит» Андрея Болконского.

Ему померили температуру. Было тридцать восемь и два.

Рана по-прежнему не болела, но все тело ныло и дрожало, как отравленное.

Петю стала трясти лихорадка. Тошнило.

«Ага, тебе хотелось так легко выскочить из пекла. Ты хотел обмануть судьбу. Ты думал, что уже все обошлось и ты спасен,— быстро, прерывисто нашептывал ему жаркий сверчковый голос.— Нет, дорогой мой, так не бывает. За все надо платить. Надо платить. Надо расплачиваться. Расплачиваться...»

[illegible] навалили на прапорщика груду госпитальных одеял, но от них Пете не стало тепло — его продолжало знобить, морозить,— и сделалось еще противнее, неудобнее, до обморока тошнотворнее.

Петя временами терял сознание.

Рана больше не болела, стала нечувствительной. Но именно эта странная нечувствительность, онемение тканей казались особенно зловещими.

Теперь Петя был уже уверен, что у него начинается гангрена. Ему представлялось это страшное слово «гангрена» в виде медленно ползущего длинного животного, покрытого черными пятнами с желтовато-розовыми краями, причем это животное в то же время было также его онемевшим бедром.

Петя стал бредить.

Это было тягостное ползание по сильно пересеченной

местности, среди ящиков с французским коньяком и английскими галетами, среди неразорвавшихся тротиловых гранат, среди развешанных предохранительных сетей от минометных снарядов, среди рельсов прифронтовой узкоколейки, по которой туда и назад ползали вагонетки с боеприпасами и медикаментами.

Ему преграждали путь глубокие окопы, обшитые тесом, ужасно неудобные ходы сообщения, по которым никуда невозможно было приползти, так как они все непонятным образом переходили в некую абстракцию пространства, близкую к бесконечности.

Он натыкался на штабеля снарядов. Он останавливался на краю квадратных ям, вырезанных в глине, откуда торчали почти под прямым углом стволы дальнобойных пушек Виккерса, бесшумно извергавшие длинные языки пламени.

Между тем пересеченная местность все время куда-то сползала и заваливалась, как несколько слоев тяжелых лазаретных одеял, и все время рядом лежал мертвец с закрытым лицом и грязными сапогами, вытянутыми из коротко обрезанной шинели.

Среди этого нагромождения иногда появлялся солдатик с неразборчивым, совсем темным лицом и подносил к Петиным губам кружку с обжигающим и вместе с тем как бы не имеющим температуры придымленным чаем.

Солдатик плакал, и Петя понимал, что он называется Чабан, но кто он такой, и что значит это слово «чабан», и какое оно имеет к нему отношение, он уже не понимал и, как ни старался, не мог отдать себе в этом отчета.

В то же время вокруг непрерывно шумели солдатские митинги, выносившие резолюции о немедленном прекращении этой многослойной пересеченной местности.

Через несколько суток Петю вынесли на носилках вместе с другими ранеными и при свете разных — госпитальных и железнодорожных — фонарей торопливо погрузили в санитарный поезд, который тотчас отошел от станции.

3

СТЫЧКА С КОМЕНДАНТОМ

Целый день поезд утомительно медленно полз среди гористых пейзажей, осенних рощ, часто останавливался, пока к ночи окончательно не остановился на станции Ясы, забитой воинскими эшелонами и маршевыми ротами.

Петю выгрузили и вместе с другими ранеными перенесли в какой-то громадный сумрачный католический монастырь, превращенный в госпиталь.

Чабан сбегал в город и скоро вернулся, сообщив новости, которые узнал по так называемому «солдатскому телеграфу». Немцы прорвали фронт, перешли в наступление, и теперь никто не знает, где свои и где чужие и куда можно отправлять санитарные эшелоны с ранеными, чтобы не угодить к немцам.

— Подлецы! — сказал Петя, вскакивая с носилок.— Чабан, одеваться!

Он чувствовал себя еще довольно слабым, но уже гораздо лучше, чем прошлой ночью.

Температура упала. Нога не болела. Правда, немножко знобило, но этот легкий озноб даже как-то бодрил.

— Ах, подлецы! — все время повторял Петя, с помощью вестового просовывая забинтованную ногу в узкую штанину бриджей.

Его охватило беспокойство.

Он очень хорошо понимал, что значит во время отступления попасть на прифронтовую узловую станцию, забитую эшелонами.

Настоящая ловушка.

И главное, когда все так хорошо устраивалось!

Петя кипел от негодования и в то же время готов был заплакать с досады, как мальчик: вместо того чтобы благополучно эвакуироваться в тыл, в родную Одессу, еще, чего доброго, очутишься в плену.

Этого еще не хватало!

— Нет, черт бы их всех побрал! Сапожники! Шляпы! Довоевались!

Раненые офицеры, размещенные вместе с Петей в

темной, прохладной трапезной монастыря, разделяли его негодование.

Они так же, как и Петя, готовы были тоже вскочить с носилок и ринуться на станцию для того, чтобы расправиться со шляпой, военным комендантом, этой жалкой крысой, окопавшейся в тылу, но, к сожалению, никто не мог этого сделать, так как все были тяжелораненые, кроме Пети.

Таким образом, прапорщик Бачей сразу сделался как бы их представителем.

— Послушайте, прапорщик,— раздавалось со всех сторон,— взгрейте их там как следует!

— Цукните их хорошенько!

— Эту тыловую сволочь!

— Покажите им, коллега, кузькину мать, ля мер де ля Кузька!! — весело кричал поручик с отрезанной по колено ногой, видимо, из студентов, который, не переставая, острил и каламбурил, как бы желая заглушить в себе, перекаламбурить ужасное душевное состояние, терзавшее его днем и ночью и не дававшее ни на минуту уснуть, забыться.

Кто-то протянул Пете желтый лазаретный костылик — палочку с резиновым наконечником,— и Петя сначала неуверенно, шатко, боясь ступить на раненую ногу, а потом все тверже и тверже, бережно поддерживаемый вестовым, вышел из монастыря с тем, что он разнесет в пух и прах коменданта и заставит немедленно погрузить всех в поезд и отправить в Россию, не дожидаясь, пока западня захлопнется.

Это было грубое нарушение лазаретных правил.

Напрасно румынский военный врач в нарядном мундире с красивыми иностранными орденами и две молоденькие дежурные сестры-урсулинки в своих белоснежных батистовых накрахмаленных громадных головных уборах пытались остановить прапорщика в дверях, даже хватали его за руки, но Петя строптиво вырвался от них и по скверной фронтовой привычке, сам того не заметив, пустил такое выражение, что Чабан застенчиво покраснел и пугливо посмотрел на черное распятие на белой стене.

Привычное состояние боевого раненого офицера, да к тому же еще и георгиевского кавалера, попавшего в

тыловую обстановку, охватило Петю, едва он добрался до железнодорожной станции, полной слоняющихся солдат.

Петя сразу же хотел пройти к военному коменданту, но молодой донской казак с винтовкой за спиной преградил ему дорогу протянутой плеткой, сказав, что посторонним вход воспрещен.

— Это я посторонний? — сказал Петя, побледнев до корней волос, и ударил костылем по плетке.— С дороги!

— А ты, ваше благородие, не шуми.

— С дороги! — в бешенстве закричал Петя.— Не видишь, с кем разговариваешь?

— Видали мы таких керенских геройчиков, студентов,— проговорил казак, продолжая стоять на месте, не сводя с Пети своих весело прищуренных, наглых глаз.

Кровь бросилась Пете в голову.

— А! — крикнул он голосом, который ему самому показался ужасным, и что есть сил ударил костыликом по какому-то станционному чугунному столбику.

Ручка отломилась, и костылик полетел, скользя и подпрыгивая по перрону.

На шум выскочил комендант — пехотный капитан с пустым рукавом гимнастерки, заткнутым за тугой пояс.

— Господин капитан,— сказал Петя, дрожа от негодования,— когда прекратится этот кабак? Почему нас выгрузили здесь и не отправляют дальше?

— Во-первых, попрошу вас не скандалить и стоять по уставу, когда вы обращаетесь к офицеру, старшему по чину.

Тут Петя увидел на рукаве капитана черно-красный треугольный шеврон так называемого ударного батальона.

— А во-вторых, какого дьявола вы суетесь не в свое дело? Распустились! Вольнопер позволяет себе делать замечания. Когда отправят, тогда и отправят. Вам что? Не терпится поскорее на фронт, получить немецкую пулю в задницу? Не суйтесь поперед батьки в пекло. Успеете.

— Да я, наоборот, не на фронт, а в тыл,— простодушно сказал Петя, понемногу остывая и не без некоторого уважения разглядывая на гимнастерке капитана орден Владимира четвертой степени с мечами и бантом.

— Вот как?

Капитан зло сощурил глаза.

Петя понял, что сморозил глупость, непроизвольно покраснел и замялся.

— То есть не лично я, а, так сказать, мы... То есть все раненые... Нас всех почему-то выгрузили из поезда и посадили в какой-то монастырь...

— Вот как! — еще более грозно повторил капитан, не слушая Петиных объяснений.— Значит, вы изволите торопиться с фронта в тыл? Драпаете?

Он очень четко, сквозь зубы, с особенным зловещим удовольствием произнес это новое фронтовое словечко «драпаете», только что вошедшее в моду на румынском фронте.

— Драпаете-с?

— Попрошу вас в таком тоне не разговаривать с раненым офицером! — вспылил Петя.— Это не мы драпаем, а вы драпаете со всеми вашими знаменитыми штабами.

Лицо коменданта странно окаменело, но Петя не обратил на это внимания. Он уже не владел собой. Его понесло.

— Развалили к чертовой матери фронт, а теперь, вместо того чтобы ликвидировать прорыв, бросаете на произвол судьбы раненых и устроили здесь... кабак!

Он уже вовсе не соображал, что говорит, и очнулся лишь тогда, когда близко от себя увидел покрасневшее, с белым глянцевитым шрамом на переносице лицо капитана, его темные брови и крепко стиснутые собачьи зубы.

— Что? Прорыв?

— Прорыв,— машинально повторил Петя, уже смутно догадываясь, что говорит нечто совсем неладное.

— Замолчать! Как вы смеете! Мальчишка! — крикнул капитан ужасным голосом и стал шарить пальцами по кобуре револьвера.— Прорыв? — сказал он, понизив голос, отчего его голос стал еще ужаснее.— Да за такие слова я вас сейчас... Тут же на месте... За распространение провокационных слухов... Приказ Корнилова знаете?

Казак снял с плеча винтовку.

Но, к счастью, вокруг Пети и капитана уже собралась толпа солдат, которые в это время привыкли с подозрением следить за офицерами, прислушиваться ко всем их разговорам.

Теперь они молча, в вольных позах стояли вокруг,

недоброжелательно поглядывая то на Петю, то на коменданта, решая вопрос, кто из них прав.

И Петя никак не мог понять значения их пытливых, изучающих взглядов.

В присутствии солдат капитан сразу переменился.

— Вперед, знаете ли, не рекомендую вам распускать панические слухи,— сказал он скорее ворчливо, чем грозно.— А то видите, что делается...— Он кивнул на солдат.— Что же касается ваших раненых, то они будут отправлены с первым же санитарным поездом. Больше вас не задерживаю. Можете идти.

Казак равнодушно надел винтовку.

Капитан козырнул, бросил на Петю внимательно-недобрый взгляд и скрылся в своем помещении, а Петя побрел по перрону, опираясь за неимением костылика на плечо вестового.

Солдаты некоторое время молчаливо следовали за ними, для того чтобы послушать, о чем будут разговаривать между собой офицер и вестовой. Но так как оба молчали, то солдаты мало-помалу рассеялись, продолжая наблюдать за ними издали, но уже без особого интереса.

Казалось, что стычка с комеидантом кончилась благополучно.

Но в глубине души у Пети остался неприятный осадок. Было что-то слишком мстительное, ядовито-изучающее в последнем взгляде коменданта, и Петя испытывал предчувствие какой-то нависшей над ним беды.

Он не ошибся.

4

ДОЛОЙ ВОЙНУ!

Желая поскорее смешаться с толпой, наполнявшей привокзальную площадь, Петя и Чабан быстро сошли по ступеням и очутились среди солдатского моря. Площадь только тем и отличалась от станционных площадей русских юго-западных железных дорог, что над зданием вокзала висел румынский флаг и вместо трактира напротив находилась кофейня со столиками на улице и высоким шестом, на котором тоже висел маленький румынский флажок.

Скирды свежеобмолоченной соломы, блестя сухим золотом на сентябрьском солнце, виднелись кое-где в привокзальных дворах. Пахло базарной пылью, поло́вой, полынью, кукурузой.

Но все эти мирные краски солнечной румынской осени были нарушены неумолкаемым говором солдатской толпы — утомительно-однообразным, грозным.

Слышались выкрики ораторов.

Петя заметил, что этот митинг сильно отличается от тех митингов, к которым он привык на позициях.

Там, в перерыве между боями, солдаты стояли молчаливо в своих касках, как бы прикованные к земле тяжестью своих вещевых мешков, подсумков, противогазов и оружия.

Они с угрюмым вниманием слушали ораторов, по большей части молодых, говорливых унтер-офицеров из вольноопределяющихся или прапорщиков с университетскими значками и красными бантами на груди. Ораторы призывали к войне до победного конца, изредка поднимая головы вверх, для того чтобы проводить глазами маленький немецкий разведчик «Таубе», осыпанный белыми оспинками наших шрапнелей.

Здесь же Петя увидел солдат, взвинченных, обозленных. Они не столько слушали ораторов, сколько сами кричали, перебивая друг друга.

Это было смешение всех родов войск.

Одни застряли здесь по дороге на фронт. Другие только что сменились с позиций. Третьи — с распустившимися обмотками, грязными вещевыми мешками и угрюмо бегающими глазами — были дезертиры.

Солдаты обменивались новостями, и так называемый «солдатский телеграф» раздувал самые мрачные слухи о положении на фронте и подливал в огонь масло.

Митинги горели в разных частях площади, как костры.

То, что на фронтовых митингах, рядом с позициями, произносилось с некоторой опаской, здесь звучало в полный голос, с криками, рыданиями и швырянием фуражек на землю.

Среди защитных солдатских рубах мелькали синие воротники и белые голландки матросов Дунайской флотилии. Струились георгиевские ленты черноморцев.

Виднелись черные кожаные куртки самокатчиков и нижних чинов автомобильных команд.

Гул стоял мрачный, грозный, как на большом пожаре.

Но он не пугал Петю.

После стычки с комендантом прапорщик испытывал такое же чувство озлобления и протеста против войны, против мясорубки и бойни, откуда он только что так счастливо вырвался, каким были охвачены все эти митингующие с утра до вечера солдаты.

Отовсюду неслись крики ораторов, требующих мира, земли, хлеба.

Насчет земли и хлеба Петя был равнодушен. Но мира жадно просила вся его душа, все его молодое, здоровое тело, так грубо раненное и еще не совсем очнувшееся от ужаса смерти, пролетевшей над ним так близко.

— Долой войну! — кричал недалеко от Пети солдатик-пехотинец с грязным, измученным лицом и расстегнутым воротом выгоревшей гимнастерки с зелеными пятнами под мышками.

В одной руке он держал, как горшок, свою каску и размахивал ею, другую же руку, раненую и обмотанную окровавленным тряпьем, протягивал слушателям.

— Кидай винтовки и ходу домой, пока нас всех тут не переколотили!

У него были красные, воспаленные глаза. Видимо, он горел в жару и его бил озноб.

— Верно! Правильно! — кричали в толпе.— Пока мы тут будем проливать кровь за кадетов, наши дети дома с голодухи подохнут!

— Верно! — вместе с другими закричал и Петя, внезапно рванувшись вперед.

Он не разбирал слов, которые раздавались вокруг него. Он только слышал всхлипывающие, рыдающие, отчаянные звуки солдатских голосов.

Петей уже овладел митинговый азарт, тот самый, который в те времена непроизвольно вспыхивал в душе каждого человека, как сухой порох, от самой маленькой искорки чужого голоса.

Он сам не заметил, как очутился на козлах походной кухни возле раненого солдатика, продолжавшего с белыми, остановившимися глазами и открытым ртом во

все стороны совать свою раненую руку в зловонном, окровавленном тряпье, облепленном зелеными мухами.

— Подождите, дайте мне!.. Дайте мне, я хочу сказать!..— с нетерпением говорил Петя, становясь рядом с солдатиком, и отстранил его плечом.

Он и сам не знал, зачем ему это понадобилось, но удержаться не мог и не хотел.

Его распирало от мыслей и чувств, которые требовали немедленного выражения. Ему хотелось тут же, сию секунду излить все свое негодование против безрукого коменданта, против наглого старорежимного казака с плеткой, против всей тыловой сволочи, которая не хотела войти в его положение и как можно скорее отправить его домой.

Он отстранил солдатика плечом совсем не потому, что собрался с ним спорить. Напротив. Он был с ним абсолютно согласен, но только считал, что все это он сумеет рассказать гораздо лучше, убедительнее.

— Граждане солдаты! — взволнованно начал Петя. Но, заметив, что обращение «граждане» неприятно насторожило против него весь митинг, быстро поправился и крикнул: — Товарищи!

Он сорвал свою помятую осколками каску и замахал ею над головой.

— Товарищи солдаты! — с упоением кричал он, не слыша собственного голоса.— Вот я, например, тоже прямо с передовой, из боя. У меня ранена осколком нога.— Он говорил совсем не то возвышенное, замечательное, что ему хотелось сказать, но то, что он говорил, выкрикивал осипшим голосом, было именно той самой простой солдатской правдой, которой так жаждала его душа.— Вот тут... смотрите, братцы... в верхнюю треть бедра,— почти жалобно произнес прапорщик Бачей, показывая окружавшей его толпе солдат, куда именно он ранен.— А вместо того чтобы нас, раненых, отправить в тыл, нас почему-то держат здесь, и мы, того и гляди, попадем немцам в плен, потому что Ма́кензен опять прорвал фронт, и если он перережет железнодорожную ветку Яссы — Кишинев, то нам всем тут вата,— с удовольствием произнес Петя новое солдатское словечко «вата», обозначавшее конец, гибель.

В толпе зааплодировали, но не слишком сильно. Петя

слез с походной кухни, и у него было такое ощущение, будто он произнес очень длинную, блестящую речь, покрытую бурей аплодисментов. В то же время он увидел казачий разъезд, медленно, зловеще пересекавший площадь.

Февральская революция уже совершилась, царя свергли, а казаки с плетками медленно пересекали площадь, как выходцы из старого мира, как привидения.

Однако они совсем не были привидениями.

Весь митинг с недоверием и страхом следил за донцами, каждую минуту готовый либо рассеяться, либо вступить в драку.

Пете показалось унизительным, до глубины души обидным, что солдаты — фронтовики, герои, граждане новой России, несмотря на свободу и революцию, продолжают бояться казаков.

Он вспомнил 1905 год, с ненавистью прищурился и, отставив ногу, довольно громко сказал:

— Подонки самодержавия!

Казаки не обратили на эти слова никакого внимания, и разъезд так близко проехал мимо прапорщика, что его обдало острым запахом пыльных лошадей и он услышал волосяной свист конских хвостов, отмахивающихся от жирных осенних мух.

Но казачий есаул с выточенным лицом белого шахматного конька искоса взглянул на прапорщика и, откинувшись на седле назад, что-то негромко сказал своему вестовому.

— Ишь, красавцы! — еще более сузив глаза, с вызовом обратился Петя к солдатам.— Видели подобных фруктов? Они думают, что это им старый режим! Гнусное казачье!

— Кадеты, корниловцы! — крикнули в толпе, но не слишком уверенно, и казачий разъезд, молчаливо миновав площадь, скрылся за углом.

Вечером в госпитале Петя уже собирался лечь в белоснежную постель, приготовленную урсулинками, предвкушая скорое возвращение домой, в Одессу, легкие, приятные сновидения, как вдруг в монастырской галерее раздались грубые звуки шагов, звон шпор, стук шашек, и Петя увидел нескольких солдат и унтер-офицеров, которые, отстранив дежурную сестру-урсулинку, шли по

галерее прямо на прапорщика со злыми, решительными лицами.

— Вот этот самый и есть,— услышал Петя.

Прежде чем он успел прийти в себя от неожиданности, его окружили.

— Вы арестованы! — с ненавистью глядя Пете прямо в глаза, сказал толстый фельдфебель-подпрапорщик с алым атласным бантом и полной колодкой георгиевских крестов и медалей на жирном туловище, перехваченном офицерским поясом с солдатской шашкой, с офицерским темляком.

— А что я сделал? — запинаясь, спросил Бачей, причем чуть было не прибавил титулование — «господин подпрапорщик».

— Ваше оружие! — сказал, выступая из-за спины фельдфебеля, строгий артиллерийский поручик, у которого на груди тоже был алый атласный бант.

Не чувствуя за собой никакой вины, прапорщик отстегнул пистолет и кортик и подал их артиллеристу, пожав плечами и сделав ироническую улыбочку.

Но это не произвело никакого впечатления.

— Следуйте за нами!

Его провели по темному, угрожающе пустынному ночному городу с конным памятником какому-то генералу или королю, и он очутился в комнате без мебели, куда тотчас втолкнули офицерскую раскладную койку-сороконожку без подушки и одеяла, и, оставив внутри комнаты часового, захлопнули дверь, а снаружи, в коридоре, поставили другого часового.

Петя понял, что с ним происходит что-то очень нехорошее. Когда же он взглянул в окно и при свете садового фонаря увидел внизу третьего часового, его длинную тень на садовой дорожке, то растерялся. Это был не простой арест, а самый строгий, который применяется лишь тогда, когда арестованный подлежит военно-полевому суду.

Бачей, конечно, никак не мог применить к себе подобный случай, даже отдаленную возможность военно-полевого суда. Он вообще считал, что все это глупая ошибка. И все же в глубине души испытывал ужас.

— Я не понимаю, в чем дело, зачем меня сюда заперли,— несколько раз обращался он к часовому, кото-

рый неподвижно стоял у двери с винтовкой у ноги и не отвечал на вопросы прапорщика.

Петя, конечно, очень хорошо знал из устава гарнизонной службы, что часовой не имеет права разговаривать с арестованным. Он также знал, что в случае побега часовой имеет право стрелять и убить. Но все это до сих пор была теория. Теперь это была практика. Попав в положение арестованного, Бачей почувствовал, как это подлинно страшно: спрашивать, и не слышать ответа, и бояться выглянуть в окно, чтобы не получить пулю в голову.

— Да нет, вы мне только скажите: в чем меня обвиняют? — почти жалобно спрашивал он часового, понимая, что ответа не может быть, а просто так, из наивного упрямства.

На столике горела свеча. Он вынул из сумки полевую книжку и на листке донесений стал писать начальнику гарнизона жалобу на самоуправство армейского комитета, требуя, чтобы ему либо немедленно предъявили обвинение, либо выпустили. Бачей требовал, чтобы часовой вызвал караульного начальника, но часовой продолжал сердито молчать.

Когда среди ночи началась смена караула и в комнату вошел новый часовой в сопровождении не только разводящего, но также почему-то караульного начальника и дежурного по гарнизону, мрачного штабс-капитана с черепом батальона смерти на рукаве, Петя подал дрожащей рукой свою бумагу, но караульный начальник даже не пожелал ее взять, а брезгливо отстранил руку.

— Не понимаю, что это происходит! — воскликнул прапорщик Бачей.— Я требую, чтобы меня наконец выслушали. Здесь явное недоразумение. Пусть меня либо немедленно освободят, либо предадут суду.

— Суду? — сказал штабс-капитан, прищурившись.— Много чести. Таких типов, как вы, расстреливают на рассвете, во дворе комендатуры. Срывают погоны и расстреливают без всякого суда.

— Но за что же? — пролепетал Бачей, чувствуя, что еще минута, и он потеряет сознание,— так все это было ужасно, непоправимо: одинокая свеча в темной пустой комнате, штыки часовых, тени на грязных стенах и в особенности ненавидящие глаза штабс-капитана и череп на

рукаве его гимнастерки.— За что же? — пересохшими губами повторил прапорщик.

— За измену. За панику. За пропаганду. Мальчишка!

— Вы не имеете права. Я офицер!

— Не офицер, а большевистская сволочь!

И не успел Петя что-нибудь сказать, как штабс-капитан и все остальные, стуча сапогами, вышли из комнаты, и снова он остался наедине с молчаливым часовым и со своей громадной тенью, которая, повторяя беспорядочные движения языка свечки, колебалась на стене, доставая большой, как бы распухшей головой до середины потолка.

Теперь он уже не сомневался, что с минуты на минуту его вытащат из комнаты в сад, толкнут к стене, и он даже как бы видел перед собой эту стену с отвалившейся штукатуркой, обнажившей розовые кирпичи.

Петя несколько раз вскакивал с койки, не стесняясь часового, бегал по комнате, потом опять бросался ничком и закрывал глаза, заставляя себя заснуть. Но вместо сна он начинал летать по комнате на своей койке, как на доске качелей — вверх и вниз, и вкось,— и это летание временами погружало его в беспамятство, однако не настолько глубоко, чтобы заглушить ужасные мысли, терзавшие его мозг.

Он понимал, что приближался тот критический миг, когда должна была наконец решиться судьба революции, и жизнь отдельных людей уже не имела значения. Он чувствовал себя песчинкой в завитке взбаламученной волны, которая, сверкая на солнце, катилась к берегу, каждую минуту готовая вдребезги разбиться о скалы.

Но ведь он был не песчинка. Он был живой. В нем был заключен весь мир со всей его древней и новой историей, религией, химией, поэзией, астрономией, а главное, с той неистребимой жаждой и силой жизни, которая одна могла удержать его от бессмысленного желания в порыве отчаяния разбить окно, закричать на весь этот чужой румынский город: «Спасите меня!» — и быть убитым пулей часового.

Он провел ни с чем не сравнимую и ни на что не похожую ночь, когда вихрь разнообразных мыслей, представлений и ощущений с умоисступляющей быстротой и

постоянством вращается вокруг какой-то одной неподвижной точки сознания, дошедшего до высшей степени не земной, но уже какой-то небесной ясности.

Вся душа его болела множеством различных болей, среди которых особенно мучительно ощущалась боль мысли о том, что будет с отцом, когда он узнает о гибели сына. Он жалел отца больше себя. Но он и отец в эти минуты в его сознании были как бы одним существом, странно разделенным в этом тягостном мире тюремной свечи, отраженной в черных стеклах окна. Все же перед самым рассветом, когда он так устал мучиться, что уже готов был покорно идти, когда его поведут, он на короткое время заснул без мыслей и сновидений глубочайшим сном приговоренного к казни. Он проснулся от тех звуков, которых ждал с таким ужасом всю ночь. Слышались торопливо бегущие шаги солдат, звон шпор, стук прикладов по метлахским плиткам коридора. Свеча уже догорела и потекла со стола, застыв на углу белым грибом. Но она была уже не нужна. Светало. Часовой неподвижно стоял у двери. Петя заметил, что у него встревоженное лицо. Казалось, он к чему-то прислушивается.

Откуда-то снаружи доносился беспокойно нарастающий, могучий, грозный шум громадной толпы.

Вдруг в комнату вошел штабс-капитан из батальона смерти с черепом на рукаве. При слабом свете темного утра его лицо с обострившимися чертами казалось почти зеленым. В одной руке он держал пистолет прапорщика Бачея, в другой — его кортик и помятую каску.

— Получите ваше оружие. Вы свободны. И не задерживайтесь.

Теперь уже шум толпы превратился в сплошной вой, среди которого слышался свист и улюлюканье.

5

СПАСЕНИЕ

Пока Петя, кое-как надев амуницию, спускался по чугунной лестнице с узорчато-сквозными ступенями, сильно пахнувшими керосином и карболкой, шум толпы на улице изменил свой характер. Теперь это были взрывы голосов, как могло показаться, веселые приветствия. По

лестнице, обгоняя Петю, протопало вниз, к выходу, несколько солдат, на бегу надевая пояса — очевидно выпущенные арестованные,— причем один из них лег животом на железные перила и совсем по-мальчишески, со смехом и гиканьем, съехал вниз, обогнав остальных, и едва он выскочил на крыльцо, как раздался новый, веселый, торжествующий рев толпы.

Бачей вышел на крыльцо и увидел, что солдаты запрудили всю улицу и площадь вплоть до противоположных домов. Его тоже приветствовали криками. Он молодцевато улыбнулся и помахал толпе своей боевой каской с помятой офицерской кокардой. С ним произошел тот самый феномен, без которого людям невозможно было бы воевать: едва миновала опасность смерти, как он тотчас забыл о ней, как будто бы не было ни этой ужасной бессонной ночи, ни штабс-капитана с черепом, ни безмолвных часовых с примкнутыми штыками.

Ему сразу стало ясно, что произошло: толпа освободила его вместе с другими солдатами, схваченными за большевистскую пропаганду в прифронтовой полосе, что, конечно, влекло за собой в лучшем случае военно-полевой суд, а в худшем — расстрел без суда и следствия, что, впрочем, было все равно.

Первым, кого увидел Петя, был Чабан, который пробирался к нему со счастливым испуганно-взволнованным лицом.

— Товарищ прапорщик,— кричал он из толпы,— бачьте, я тут! Тикайте до меня! Слава богу, что они вас еще не спели коцнуть,— произнес он совсем новое, еще ни разу не слышанное фронтовое словечко, видимо подхваченное Чабаном сегодня в толпе.

— Здравствуй, Чабан. Как жив-здоров?

Чабан посмотрел на своего офицера счастливыми глазами, хотел ответить, но вместо этого заморгал и, схватив обеими руками руку прапорщика, стал ее жать и раскачивать.

Бачей, правда, и сейчас не вполне понимал, что же он сделал такого, за что его чуть не расстреляли под забором. Он только пожалел себя и солдат, не желавших ни за что ни про что погибать на фронте, а так же громко сказал то, что думали все солдаты про корниловцев.

Тем не менее он держал себя героем и весело, с неко-

торым вызовом посматривал вокруг, чувствуя себя вполне своим в этом мире большевистски настроенных фронтовиков.

Впрочем, он заметил, что толпа не так беспорядочна, как это ему сперва показалось.

Ею кто-то управлял.

Недалеко от себя в толпе Бачей увидел молодого солдата — по виду даже новобранца,— который, видимо, всем и руководил.

К нему один за другим подходили выпущенные арестованные, и он давал им какие-то приказания... Его движения были властны. Они решительно не соответствовали званию рядового. Но когда он резко поднимал руку и отдавал распоряжение крикливым альтом, сердито сведя рыжеватые брови и шевеля губами, над которыми виднелись молодецкие рыжевато-золотистые усы, то впечатление новобранца исчезало, и он казался вожаком, которому почему-то беспрекословно подчинялась вся эта возбужденная толпа.

Он с удивлением посмотрел на незнакомого прапорщика, освобожденного вместе с другими арестованными, прищурился и крикнул:

— Идите сюда, товарищ!

Голос был знакомый, и в следующий миг Петя, к своему крайнему удивлению, узнал Гаврилу, того самого батрака с хуторка Васютинской, который некогда за конюшней любил поигрывать с маленьким Павликом в картишки.

— Гаврила! — воскликнул Петя.— Это ты?

Но Гаврила смотрел на прапорщика-фронтовика с георгиевским крестиком, в помятой каске и не узнавал его.

— Да ты что, не узнаешь? — сказал Петя и хлопнул Гаврилу по спине, ощутив ладонью приятный жар здорового солдатского тела.

— Паныч... Пéтя... чтоб вы пропали! — закричал Гаврила.— Ваше благородие! — И расхохотался дружелюбно и совсем не по-солдатски, а по-мальчишески, даже слегка повизгивая.

Немного поколебавшись, обниматься или не обниматься, они все-таки не обнялись, а ограничились рукопожатием, причем Петя ощутил прикосновение грубой

солдатской ладони, твердой, как хорошая кожаная подошва.

— Ну, господин прапорщик, скажи спасибо, что мы успели поднять гарнизон, а то бы всем вам крышка,— сказал он, переходя на «ты».— Здесь, как видишь, сплошная контрреволюция. Казачье. Корниловцы. Батальоны смерти. В Советах меньшевики и эсеры. Кадеты. Генерал Щербачев. И всякая прочая сволочь. Одно слово — Румфронт. Все, кому не лень, продают рабочий класс и хотят обезглавить пролетарскую революцию. Но побачим! Вы как сюда попали?

Петя наскоро, не столько словами, сколько жестами и звукоподражаниями, на том фронтовом языке, который в одну минуту может передать во всех подробностях целую эпопею, поведал Гавриле все свои обстоятельства.

— Так ходу отсюда.

Гаврила отдал еще несколько распоряжений солдатам, окружившим его, и, энергично работая плечами, вывел Петю и его вестового из толпы, что оказалось вполне своевременно, так как на улице показались казаки — уже не разъезд, как вчера, а целая сотня с шашками наголо, и через миг улица опустела.

Перелезая через глухой железнодорожный забор, Бачей почувствовал боль в раненой ноге. До сих пор рана лишь временами ныла — тупо, но не слишком сильно,— так что Петя о ней почти забыл. Теперь же вдруг ногу так схватило, что он даже вскрикнул.

Гаврила и Чабан посадили Петю на скрещенные руки и понесли по железнодорожному полотну.

— Куда вы меня тащите?

— В санитарный поезд. Эй, землячок, не скажешь, санитарный Красного Креста восемнадцать-бис еще не проходил? — на ходу обратился Гаврила к пожилому санитару, несшему на плече несколько буханок белого румынского хлеба с бирюзовой плесенью возле горбушек.

— Пришел уже.

— Где стоит?

— На четвертом пути.

— Раненых много?

— Аж до самой крыши и еще трошки.

— Ходу! — решительно сказал Гаврила.

Санитарный Красного Креста восемнадцать-бис окружила толпа раненых офицеров, которые требовали, чтобы их пустили в поезд. Но это было, очевидно, невозможно, так как даже в окна было заметно, до какой степени набиты вагоны. С подвесных коек смотрели страшные забинтованные головы, узкие, мертвенно белые маски лиц с черными, как бы подведенными, жалобными глазами, землисто-серые халаты и костыли, один из которых торчал наружу сквозь разбитое вагонное окно.

Толпа, не переставая, выла, матерно ругаясь, и на чем свет стоит поносила и Временное правительство, и окопавшееся в тылу начальство, и «доблестных союзников», и самого «главноуговаривающего» Керенского, которого нужно повесить на первой осине, и очень жаль, что Корнилов этого не сделал, хотя и сам тоже порядочная сволочь.

— Ну, тут нам не светит,— сказал Гаврила.— Будем вертать.

Петю отнесли в сторонку и усадили на ящик из-под французских зажигательных гранат с черно-красной зловещей наклейкой.

Он совсем обессилел и полулежал, вытянув раненую ногу, а пот струился по его лицу из-под каски, нагревшейся на солнце.

Чабан хлопотал возле своего офицера, морщась от жалости и страха.

Гаврила куда-то побежал, скрылся за вагонами длинного воинского эшелона с лошадьми, кухнями, пушками и красными бархатными знаменами с золотыми кистями, потом вынырнул и скоро опять скрылся.

Его проворная фигура время от времени появлялась то тут, то там. Он останавливался и разговаривал с разными людьми: санитарами, проводниками вагонов, смазчиками.

Один раз он прошел под руку с машинистом, который направлялся к паровозу со своим сундучком и фонарем.

Гаврила делал свои резкие, короткие жесты, и даже издали было понятно, что пожилой машинист не только терпеливо его слушает, но и повинуется, утвердительно кивая головой в черной промасленной фуражке.

Петя следил за Гаврилой с нетерпением и надеждой, которые то и дело сменялись отчаянием. Он видел, что в

санитарный поезд можно попасть только чудом, а в чудеса он уже давно не верил.

Наконец Гаврила вернулся.

— Ну как? — тревожно спросил Петя.

— Побачим.

Он сделал знак, и они снова быстро понесли прапорщика по путям и несли до тех пор, пока не очутились довольно далеко от станции, за последним семафором.

Сквозная рана продолжала болеть. Пете казалось, что она нарывает с двух концов. Снова начинался жар.

«Как, неужели мне никогда не удастся вырваться отсюда?» — с отчаянием думал он.

Его уложили под железнодорожным откосом в тени, на сухую сентябрьскую траву, среди потрескивавших маленьких коробочек дикого мака, посыпанного мелкими угольками и золой из паровозных поддувал.

Он снова услышал сверчков, их сухой, хрустальный звон. Однако теперь они уже не напоминали ему осыпанную звездами степную ночь, а как бы предупреждали о приближении беспамятства.

Но, пока еще не потеряв сознания, он с трудом поднял руку и погладил Гаврилу по его выгоревшему матерчатому погону с потрескавшимся номером части. Он хотел спросить: «Ну как, друг? Спасешь ты меня или нет?» Но вместо этого лишь жалостливо и сонно улыбнулся.

— Не дрейфь, Петечка, живы будем... не помрем,— сказал Гаврила с той доброй, уверенной солдатской легкостью, которая лучше всего помогала даже в самых отчаянных случаях фронтовой жизни.

— Я и не дрейфлю,— жалобно сказал Петя.

Гаврила ему что-то ответил, но Петя уже плохо понимал.

Сухой соломенный звон уже как бы проник в его кровь и теперь гудел по всему телу, оглушая и мутя сознание. Все же он еще видел — хотя и неясно, как через воду,— что подошел санитарный поезд и вдруг остановился.

Сверху из своего окошечка смотрел машинист.

Гаврила вскочил на подножку вагона и, вынув из кармана вагонный ключ, отпер дверь.

Появились солдаты в халатах — санитары, мелькнуло испуганное лицо сестры милосердия с красным крестом на груди.

Потом Петю взяли за плечи и за ноги, а Чабан поддерживал его голову, чтобы она не болталась, потянули вверх, и Петя очутился в коридоре переполненного сверх всякой меры санитарного вагона, на тюфяке, разложенном на полу.

Последнее, что успел увидеть Петя, было лицо Гаврилы, наклонившегося над ним, резкое, по-солдатски решительное и вместе с тем так неожиданно для беспутного Гаврилы бесконечно доброе, с длинным конопатым носом и загоревшим лбом с белым пятном от козырька. Он почувствовал крепкое рукопожатие и щекочущий поцелуй в самые губы.

Гаврила что-то быстро и горячо говорил Чабану на прощание. Он говорил, чтобы они непременно словчились попасть в офицерский лазарет Красного Креста на Маразлиевской, где служит Мотя, племянница Гаврика Черноиваненко. Петя хотя и слышал, но уже ничего не понимал, а только всем своим существом чувствовал одно: он спасен, и война для него кончена.

6

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА

И вот в один прекрасный день Петя проснулся от колокольного звона.

Звон этот — сильный, красивый — влетал в комнату, заставляя дрожать цельные зеркальные стекла больших высоких окон и колебаться кремовые шторы, ярко освещенные солнцем.

В первую минуту Петя был изумлен, так как во время сна — по-детски глубокого, крепкого — не только забыл все, что с ним произошло, но как бы потерял ощущение самого себя и даже не знал, кто он такой, как его зовут, зачем он здесь, а вместо него было какое-то совсем новое, непонятно откуда взявшееся существо, понимающее только то, что оно живет и очень этому радо.

В это же время комната обернулась вокруг него, как это бывает при пробуждении от крепкого сна, все стало на свое место, и Петя в один миг все вспомнил и стал самим собой, то есть раненым офицером, которого вчера вечером привезли сюда в удобном санитарном автомо-

биле со станции Одесса-порт, куда пришел поезд Красного Креста восемнадцать-бис.

Здесь, в офицерском лазарете, ему прежде всего хорошенько прочистили сильно нагноившуюся рану, сделали хорошую сухую перевязку, затем постригли, побрили, вымыли в горячей ванне прозрачным глицериновым мылом № 4711 знаменитой фирмы Келер, от которого так приятно, немного кисленько, почти по-девичьи пахло чистотой, культурной, глубоко мирной жизнью, и наконец отвезли на носилках с колесиками в палату. Там его положили на упругий пружинный матрац, покрытый свежей, накрахмаленной, скользкой простыней, и едва он почувствовал под отяжелевшей головой холодную, хрустящую наволочку с перламутровыми пуговицами, как тут же заснул мертвым сном, забыв все на свете.

Теперь за окнами так громко звонили колокола, что Пете казалось, будто эти тяжелые, звучные колокола находятся тут же, в комнате, вместе с голубым куполом и золотым крестом колокольни, вместе с густо-синим сентябрьским небом и белыми круглыми облаками.

Вдоль стен стояли три кровати со спящими офицерами.

Посредине находился стол, а на нем в стеклянном кувшине — большой букет осенних астр, тугих, чешуйчатых и круглых, как овощи. Это был букет общий.

Но рядом со своей кроватью, на тумбочке, возле градусника, Петя увидел чашечку с двумя полураспустившимися розами — чайной и пунцовой,— которые явно предназначались ему одному.

Петя улыбнулся.

Он сразу смекнул, от кого этот маленький подарочек.

И он не удивился, когда дверь осторожно отворилась и в палату по натертому паркету бесшумно вошла девушка с половой щеткой в руках, в холщовом халате, завязанном на спине серыми тесемками, и, стараясь не зашуметь, чтобы не разбудить раненых, приблизилась к кровати и посмотрела на Петю, который в тот же миг закрыл глаза и притворился безмятежно спящим.

Немного поколебавшись, Мотя стала одну за другой подымать сборчатые шторы, и Петя сквозь приопущенные ресницы увидел близко за окном то самое, что с такой точностью предсказал ему колокольный звон: купола мо-

настыря, сверкающие на солнце золотые кресты, густо-синее небо с белыми, еще совсем летними облаками.

Значит, он находится возле Александровского парка, на Маразлиевской улице, против Троицкого монастыря, в особняке Ближенского, занятом теперь под офицерский лазарет.

Мотя стояла перед Петей и смотрела на него с веселым, слегка застенчивым любопытством, однако без тени того пугливого обожания, к которому Петя привык с детства.

Они не виделись года три.

За это время Мотя выросла, еще больше похорошела и хотя совсем утратила свою робкую, детскую прелесть, но зато приобрела какую-то другую, новую, пугающую прелесть молодой, красивой женщины.

Все в ней было уже не девичье, а женское: сборчатая юбка под лазаретным халатом, прическа валиком с тремя целлулоидными гребенками под черепаху, высокие ботинки на пуговицах и маленькие руки, хотя и грубые, но прелестной формы и по-женски белые.

Это была и Мотя и не Мотя.

Петя ничуть не был огорчен превращением куколки в бабочку.

Наоборот, в один миг он представил себе, какие радости и удовольствия сулит для него дружба с этой маленькой женщиной, которая всю свою жизнь, с раннего детства, была в него так преданно и наивно влюблена.

Они смотрели друг на друга. Он на нее — радостно, самоуверенно, а она на него — тоже радостно, но с оттенком материнского сочувствия и слишком просто, открыто для влюбленной.

Она смотрела на него, наклонив голову, и перебирала пальцами зубчатые листики роз с такой осторожностью, как будто опасалась нечаянно коснуться самих полураскрытых бутонов.

— Здравствуй, Мотя. Как я рад тебя видеть! — растроганно сказал Петя, беря ее небольшую, крепкую руку с твердой, зазубрившейся кожей на ладони.

Она смутилась и смущенно оглянулась по сторонам. Все-таки Петя был офицер, а она всего лишь простая санитарка.

Но остальные офицеры в палате еще спали, и она, не-

много поколебавшись, присела на табуретку возле кровати, делая деликатную попытку освободить свои пальцы из Петиной руки.

— Здравствуйте, Петя... Петр Васильевич,— поправилась она, помимо воли краснея.

— Какой же я тебе Петр Васильевич? — сказал Петя, откровенно любуясь ею.

— Вы офицер, а я нянечка.

— Это не имеет значения. Прошли те времена! — строго заметил Петя.

— Нет, имеет значение.

— Нет, не имеет.

Петя смотрел на нее, играя глазами, которые красноречиво выражали совсем не то, о чем они спорили.

Она ему положительно нравилась, гораздо больше, чем раньше, когда они были детьми.

Теперь в ней все волновало Петино воображение, в особенности ее какая-то чисто женская законченность.

Сколько ей может быть лет? Петя прикинул в уме: семнадцать, восемнадцать?

— Ну, хорошо,—сказал он наконец,— раз так, то я тебя тоже буду называть по имени-отчеству: Матрена Терентьевна. Хочешь?

И он засмеялся, сделав открытие, что ее имя-отчество совсем не подходит к ее внешности.

Мотя — другое дело. Мотя — это даже в чем-то нежно. А Матрена Терентьевна вовсе не годилось.

— Нет, моя прелесть, я никогда не буду тебя называть Матрена Терентьевна. Ты для меня всегда маленькая, симпатичная Мотя. Или, может быть, ты забыла, как мы с тобой когда-то дружили, и как собирали подснежники, и как ты меня тогда на хуторке Васютинской, под черешнями, от ревности чуть не поколотила?..

— И даже-таки поколотила,— сказала Мотя усмехнувшись.

— Тем более. Ну, так дай я тебя поцелую,— сказал Петя, оглядываясь на спящих офицеров, и воровато потянул Мотю к себе.

Но Мотя отодвинулась и, серьезно глядя на него своими прелестными, чистыми глазами, сказала:

— Не трожьте.

— Почему?

— Я замужем.

— Нет!..

Петя смотрел на нее во все глаза, почти с ужасом.

— Ты шутишь!!

— Ей-богу! Святой истинный крест.

Мотя с улыбкой быстро и мелко перекрестилась.

— Каким образом?!.— воскликнул Петя, все еще не веря ее словам и думая, что она шутит.

Она все еще представлялась ему девочкой-подростком под черешнями, и трудно было поверить, что она уже замужняя женщина. Впрочем, живое воображение тут же нарисовало Пете всю несложную, по его мнению, историю Мотиного замужества. Оно, конечно, было вполне в духе времени: скоропалительный брак хорошенькой лазаретной нянечки с каким-нибудь вольнопером или новоиспеченным прапорщиком.

В общем, для Моти это вполне подходило. Но все же Петя почувствовал легкую досаду.

— Ну, что же. Поздравляю тебя от всей души,— сказал он с легкой снисходительной улыбкой.— Кто же твой, так сказать, супруг, избранник, если это не секрет? Наверное, какой-нибудь местный раненый прапор?

Она смущенно крутила на пухлом безымянном пальце немножко великоватое серебряное обручальное кольцо.

— Я угадал?

Она усмехнулась и сделала какое-то еле уловимое, независимое движение плечами.

— Ничего подобного! Не угадали. Вы моего мужа, наверное, помните. Аким Перепелицкий. Рыбак с Малого Фонтана, шаланда «Надя», такая, знаете, самая большая на всем берегу. Она всегда ходила под парусом аж до самой Дофиновки. А Перепелицкий Аким у вас на хуторке Васютинской тоже бывал. Помните, перед самой войной, когда была облава?..

Она вызвала в Петином воображении целый мир юношеских воспоминаний, таких ярких и близких.

— Помните? — спросила она.

— Конечно, помню! Но, позволь. Ведь Аким Перепелицкий уже немолодой человек?

— Как это немолодой! — вспыхнула Мотя.— Конечно, не мальчишка. Ему двадцать девять, а мне восемнадцать, девятнадцатый. Самый раз.

Петя был поражен: Мотя вышла замуж за простого малофонтанского рыбака.

Конечно, Аким Перепелицкий был и молодец, и красавец собой, и всегда нравился Пете больше всех остальных рыбаков на всем берегу между Ланжероном и Люстдорфом. И все же было как-то странно.

Тут же Петя узнал и подробности. Аким Перепелицкий посватался за несколько дней до начала войны. Потом его забрали по мобилизации в действующую армию, в кавалерию. Во время Февральской революции он приехал в отпуск, и они с Мотей обвенчались, после чего он снова уехал на позиции, а Мотя поступила в лазарет.

Любит ли она его или нет, она не сказала.

Петя представил их себе стоящими рядом и, к удивлению, нашел, что они в общем очень подходят друг другу.

Итак, надежда на Мотю рушилась. Но это не слишком огорчило Петю. Перед ним раскрывалась чудесная перспектива мирной, беззаботной жизни в одном из лучших офицерских лазаретов Одессы, а потом месяц или два хождения по медицинским комиссиям на переосвидетельствования, а там, дай бог, и война кончится.

А сколько еще впереди всевозможных встреч и легких романчиков!

Стоило ли огорчаться?

Впрочем, не желая сразу сдаться, Петя сделал еще одну попытку выяснить положение.

— Но я другому отдана и буду век ему верна, не так ли? — сказал он, сделав довольно сильное ударение на слове «верна», и пытливо сощурил глаза.

Но этот вопрос как бы скользнул, ни на миг не остановив Мотиного внимания. Мотя его просто пропустила мимо ушей.

И Петя окончательно успокоился.

Затем Мотя принесла таз. Пока Петя умывался, она стояла возле него с полотенцем на плече и рассказывала новости.

Часть из них Петя уже знал из писем отца и открыток Павлика. Часть была до сих пор ему неизвестна.

Петя знал, что окружным путем из-за границы в Одессу вернулась владелица хуторка Васютинская и отказалась продлить аренду.

Впрочем, семейство Бачей было уже и само радо случаю развязаться с этим хозяйством, которое каждую минуту могло разорить их дотла и пустить по ветру.

Да и времена наступили совсем другие.

Все друзья с Ближних Мельниц больше не могли помогать Василию Петровичу и посещать воскресную школу. Большинство из них взяли в солдаты и угнали на фронт.

Остальные почти все были арестованы в первые же дни войны, как неблагонадежный элемент. Среди них, конечно, был и Терентий, не успевший скрыться.

Теперь же он возвратился и, по выражению Моти, снова стал заворачивать в городском комитете и железнодорожном районе.

Воспоминания нахлынули на Петю.

Он так живо представил себе Мотиного отца Терентия, представил себе хуторок в степи, темные черешневые аллеи, костер, голубой луч маяка, упиравшегося в звездное небо,— все то, о чем он сначала так часто вспоминал на фронте, а потом забыл и вспомнил снова лишь несколько дней назад, когда бывший хуторской конюх Гаврила вместе с Чабаном тащил его в санитарный поезд и советовал «ловчиться» в лазарет к Моте.

Море, степь, звезды, юность, любовь!..

Неужели все это когда-то было? Боже мой, как зеркально блестели тогда дочерна красные, крупные, спелые ягоды черешни, отражая весь этот степной мир полыни и белого пыльного солнца!

Да, он совсем забыл и только сейчас вспомнил: среди этого забытого мира в венке из степных ромашек на темных вьющихся волосах стояла упрямая девочка, глядя на него юными, строгими, требовательными карими глазами, такими же темными, зеркальными, как и черешни.

— А где же теперь Марина? — с живостью спросил Петя.

— Ага! Таки наконец вспомнили вашу любовь!

— Она здесь?

— Нет, уже давно в Петрограде.

Оказывается, в начале войны Павловских чуть не арестовали, но им удалось скрыться.

Говоря, что Павловские в Петрограде, Мотя стала очень серьезной, покосилась на спящих офицеров. Петя

понял, что скрывалось за этими словами, в особенности за словом «Петроград», которое теперь содержало в себе гораздо больше, чем простое название города.

Петя взглянул на Мотю и тоже стал серьезен.

Среди патриотического угара первых месяцев войны казалось, что революционное движение подавлено навсегда и русская революция, которая перед войной казалась не только близкой и возможной, но и неизбежной, вырвана с корнем.

Но теперь, когда революция произошла, а в русской жизни, по существу, ничего не изменилось, кроме того, что вместо царя империей стал управлять присяжный поверенный, большинство народа, в том числе и Петя, понимало, что это не настоящая революция, а настоящая революция еще будет, и к ней усиленно готовятся те самые люди, которые готовились к ней еще задолго до войны.

— А ваш папочка, Василий Петрович,— продолжала рассказывать Мотя,— опять бедствует, кое-как перебивается, готовит экстернов.

Петя уже об этом знал из отцовских писем. В этом для него не было ничего нового.

Новое заключалось в том, что, оказывается, за последнее время в семье Бачей произошли другие, более существенные перемены, о которых Петя не имел ни малейшего представления: тетя, Татьяна Ивановна, уже больше не жила с ними. Оказывается, она вышла замуж.

Эта новость поразила Петю до глубины души.

Все в этом тетином внезапном замужестве казалось ему противоестественным, просто диким.

Без тети невозможно было представить себе то, что называлось семейством Бачей.

В Петином воображении тотчас возникла какая-то молчаливая драма, какой-то роман, тем более странный, что в нем, по-видимому, должен был играть главную роль папа, что для Пети казалось совершенно невероятным, как обычно для детей кажутся невероятными обыкновенные человеческие страсти их родителей.

— Нет, ты шутишь! — воскликнул Петя почти с испугом.

— Вполне серьезно,— сказала Мотя, не понимая его чрезмерного волнения.

Она смотрела на вещи гораздо проще, чем Петя. В ее глазах события и вещи были лишены романтической оболочки. Мотя не видела ничего удивительного в том, что хотя и не молодая, однако еще далеко не старая девушка, Петина тетка, родная сестра его покойной мамы, вышла замуж.

— Я уже послала Анисима сказать вашему папочке, что вы приехали,— сказала Мотя.

Петя удивился.

— Какого Анисима?

— Денщика вашего. По-теперешнему вестового. Который вынес вас из боя, а потом спасал вместе с хуторским Гаврилой, когда вас чуть не расстреляли корниловцы.

Оказывается, Мотя уже все знала, и в ее глазах Петя был чуть ли не герой, пострадавший за революцию.

— Ах, Чабан! — засмеялся Петя.— А я и не знал, что он Анисим.

— Ну да, Анисим,— строго повторила Мотя.— Я его пока что устроила у мамы на Ближних Мельницах.

— Ишь, как быстро окопался,— не без удовольствия сказал Петя, подмигнув: дескать, смотри какой у меня проворный вестовой, большой ловчила!

— Ага, применился к местности, молодец,— деловито заметила Мотя, щегольнув этим солдатским выражением, весьма модным как на фронте, так и в тылу.

— А где Гаврик?

— Слава тебе господи, вспомнили и про своего дружка!

Петя засмеялся. Конечно, он его никогда и не забывал. Просто было невозможно сразу вернуться в тот мир, от которого Петю отделяли три года войны и разлуки. Все возвращалось постепенно.

— Дядя Гаврик на фронте.

— Воюет?

— Когда воюет...— неопределенно сказала Мотя и со значением посмотрела на Петю.— ...А когда и другими делами занимается.

— В тылу?

— Бывает и в тылу.

Она наклонилась к Пете и шепнула ему на ухо:

— Он теперь на нелегальном положении.

— Понимаю,— сказал Петя.

— Политик.

— Солдат?

— А то! До прапорщика еще не дослужился.

Мотя засмеялась.

— Но крестик имеет такой же самый, как у вас. Солдатский. Четвертой степени. За Стоход. Два раза ранен. Боевой.

— Молодец,— сказал Петя с уважением.

Ему нравилось, что его старый друг — хороший фронтовик, а то, что он «политик», было само собой понятно.

— В Одессе бывает?

— Сегодня здесь, завтра там,— уклончиво сказала Мотя.— Дай бог когда-нибудь побачиться. Да, вот еще. Получите вашу книжку,— прибавила она, вдруг что-то вспомнив.

Она достала из кармана халата и подала Пете желтую книжечку «Маленькой универсальной библиотеки», пробитую осколками и залитую засохшей кровью.

Это был роман Анатоля Франса «Боги жаждут», который Петя читал перед самой атакой.

— Нашла у вас в кармане. Спрячьте на память о войне. А самые бриджи я заберу с собой на Ближние Мельницы. Там мы их с мамочкой хорошенько отпарим и заштопаем, так что вы еще в них походите. А пока побудьте без штанишек,— игриво сказала Мотя.— Ну, побегу. Надеюсь, теперь мы будем с вами часто бачиться.

И, сверкнув голубыми глазами, она исчезла, на ходу сдернув со стола салфетку вместе с огрызками карандашей, окурками и большим листом бумаги, расчерченной для преферанса и исписанной вдоль и поперек колонками цифр.

7

ОТЕЦ И БРАТ

— Петруша!

Петя повернул голову и увидел в дверях отца. Но, боже мой, как он изменился!

На нем было порыжевшее летнее пальто поверх холщовой блузы с воротом, вышитым крестиками.

Петя сразу узнал эту блузу. Ее, по семейному преданию, покойная мама вышила папе в то легендарное,

трудно вообразимое время, когда они еще были женихом и невестой.

Эту блузу папа обычно надевал один раз в год, летом, на праздник Петра и Павла, в день именин сыновей и покойного своего отца, Петиного дедушки.

В глазах семьи Бачей эта блуза являлась не столько одеждой, сколько предметом искусства, и всегда хранилась чисто вымытой и выглаженной в комоде, вместе с такой же холщовой наволокой с большим букетом цветов, вышитым на ней крестиками.

Отправляясь в дорогу, в наволочку прятали подушку или иногда насыпали яблоки, купленные оптом.

Теперь же Петя увидел, что вышивка на блузе полиняла, по-видимому, из праздничной она уже превратилась в ежедневную.

И это больно укололо Петю.

Летнюю соломенную шляпу с выгоревшей репсовой лентой отец держал в руке вместе с веревочной кошелкой, в которой виднелось несколько бумажных кульков.

Отец заметно поседел, теперь его волосы почти сплошь были серые. Они по-семинарски, с двух сторон падали на малиновый от загара лоб.

На буром пористом носу сидело стальное пенсне с пробковыми защипками и черным шнурком с шариком, такими знакомыми с детства.

Бесхарактерный рот отца был полуоткрыт, и вокруг него беспорядочно росла давно не стриженная борода. Серые брови были горестно подняты, в глазах блестели слезы, под переносицей резко чернели две вертикальные морщины.

— Петруша! — с усилием выговорил он, вдруг припал к сыну, жадно целуя его лицо и ощупывая руками все его тело, как бы желая убедиться, что Петя не только жив, но и цел.

Только сейчас Петя ясно понял, какие душевные муки пережил отец, пока сын воевал. И он почувствовал жгучий стыд за то, что так редко писал отцу с позиций, за свои коротенькие бесшабашно-хвастливые открытки и в особенности за развязные обращения вроде «любезный родитель» или «уважаемый папахен».

А в это время «уважаемый папахен» вздрагивал от каждого звонка почтальона, по ночам тяжело дышал в

подушку, не в силах заснуть от ужасных предчувствий, и, стоя на коленях, молился перед образом спасителя и клал поклон за поклоном на старом, потертом коврике.

Слезы подступили к Петиному горлу. Сердце рванулось. Он обхватил руками темную от загара, морщинистую шею отца и все же, вместо того чтобы заплакать и сказать «папочка», смущенно пробормотал:

— Здорово, батя!

А Василий Петрович, уронивший с носа пенсне, все время норовил заглянуть сыну в лицо своими обезоруженными глазами, для того чтобы еще раз убедиться, что сын его жив.

— Куда же это тебя, Петруша, а? — говорил он со слабой улыбкой, которая против воли дрожала на его измученном и вместе с тем счастливом лице.— В ногу, что ли?

— В верхнюю треть бедра,— не без щегольства ответил Петя.

— Навылет? — беззвучно, одними губами проговорил отец.

— Да. Навылет. Осколком гранаты. Вообрази себе, снаряд разорвался буквально под ногами.

Видя, что при этих словах отец побледнел как полотно, Петя поспешил добавить:

— Но пусть это тебя не волнует. Сейчас все уже в полном порядке.

— А кость? — с трудом шевеля губами, спросил отец.— Кость-то как? Надеюсь, не задета?

«Далась им эта кость»,— с неудовольствием подумал Петя.

— Кость не задета, успокойся,— сказал он и уже собирался прибавить: «Пустяки, царапина»,— как вдруг почувствовал стыд.— Понимаешь ли, хотя кость, так сказать, не задета, но нагноение порядочное. Так что придется некоторое время полежать.

— А там, гляди, и война кончится,— быстро, с оживлением подхватил Василий Петрович.

— Ну, на это не приходится рассчитывать,— строго поморщившись, сказал Петя и, конечно, сильно покривил душой, так как больше всего рассчитывал именно на то, что авось война каким-нибудь образом кончится в то время, пока он будет лежать в лазарете.

— Ну, как же ты? Что? — спрашивал Василий Петрович, вглядываясь в лицо своего сына, своего мальчика, Пети, Петруши, Петушка, который так возмужал, вырос и уже был почти совсем сформировавшимся мужчиной.

Василий Петрович провел рукой по Петиным щекам и подбородку, с веселым удивлением чувствуя легкое покалывание в ладонь: неужели его Петруша уже бреется? Он даже чуть было не воскликнул: «А ты, оказывается, уже бреешься?» — но тактично промолчал.

Петя поймал его взгляд.

— Тебя, кажется, удивляет, что я бреюсь? — сказал он.— Уже давно!

И приврал.

Петя брился всего несколько месяцев и то не регулярно, а от случая к случаю. Он даже не имел еще собственной бритвы. Точнее, его брил раза четыре Чабан, для этого случая «позычив» бритву у одного своего землячка в обозе второго разряда.

— Черт возьми! — сказал Петя, проводя пальцем под носом.— Ужасно оброс за эти дни.

Скрывая счастливую улыбку, отец снова прижал к себе Петину голову и поершил шевелюру.

— Ну, а как поживает наша дорогая тетечка? — спросил Петя развязно.

Он был в том легком состоянии духа, когда все на свете кажется необыкновенно простым.

— Татьяна Ивановна, слава богу, жива, здорова,— рассеянно ответил отец.— Впрочем, ты, наверное, уже слышал: она вышла замуж.

— Да, мне сказали.

— Вот видишь...— Василий Петрович развел руками.— Вот видишь, какое происшествие.

При этом он даже несколько юмористически улыбнулся, как будто был тоже отчасти виноват в столь странном поступке тети.

— Впрочем,— сказал он,— вполне естественно, что Татьяна Ивановна в конце концов решила как-то устроить свою личную жизнь.

Затем Петя узнал, что тетя вышла замуж за преподавателя латыни, поляка-беженца из Привислинского края,

немолодого, больного вдовца с двумя детьми и старухой матерью.

Теперь тетя жила вместе с ними в двух комнатах в полуподвале на Нежинской улице.

Это было совсем не похоже на ту романическую историю, которую Петя уже успел себе вообразить.

Петя был не столько неприятно поражен всеми этими скучными, прозаическими подробностями тетиного романа, сколько разочарован.

Ему стало ужасно жаль Татьяну Ивановну, их «милую тетечку», которая так неожиданно и странно устроила свою судьбу.

Было очень трудно представить себе, что она уже перестала быть членом их семьи и сделалась чужой, посторонней.

Как же все-таки это произошло?

Петя вопросительно посмотрел на отца.

— Ты же знаешь нашу Татьяну Ивановну,— сказал отец.— Она всегда была ужасная фантазерка. Все эти домашние обеды, меблированные комнаты и прочие крайности. Наконец, война... Революция... Независимость Польши... Мицкевич... Благородный патриотизм... Угнетенная национальность... И вот результат. Впрочем, я ее понимаю. Это святая женщина. Она перед образом спасителя дала нашей покойной мамочке слово, что воспитает вас — тебя и Павлика. И она это слово сдержала, пренебрегая, быть может, собственным счастьем. Ведь надо тебе сказать, в девушках она была очень хороша собой и имела женихов. Даже очень порядочных. К ней сватался князь Жевахов, фон Гельмерсен... и еще разные... Но она отказала. Она все отдала вам — тебе и Павлику.

«А тебе?» — чуть было не спросил Петя, но вовремя остановился: он понял, что именно об этом-то спрашивать и нельзя.

Ему показалось, что перед ним на миг приоткрылась семейная тайна, тайна тетиной неразделенной любви и папиной верности памяти покойной мамы.

Впрочем, может быть, это была всего лишь догадка.

— Такие-то дела,— со вздохом сказал Василий Петрович.

Вдруг лицо его изменилось, стало испуганным.

— Петруша,— сказал он, понизив голос,— только прошу тебя со всей серьезностью... И всю правду... Как на фронте? Армия еще существует?

Петя хотел улыбнуться снисходительной улыбкой старого фронтовика, которому задают наивный вопрос, но вдруг почувствовал, что улыбки не получается: вопрос отца грубо вернул его в тот страшный мир ужаса, кровопролития, смерти, откуда он только что так счастливо, почти чудом вырвался.

— Ах, какое это имеет значение! — почти со стоном произнес Петя.

— Как! — по-учительски строго спросил отец.— Ты... пораженец?

Но, увидев глаза сына, в которых отразилась тоска, он понял, что напоминанием о войне невольно причинил ему страдание.

— Ну, да об этом можно и потом,— поспешно сказал он.— А вот сейчас поешь-ка лучше груш. Ты ведь большой любитель, я знаю.

Он достал из кошелки лимонно-золотистую грушку и, как-то по-крестьянски обтерев ее рукавом, взял двумя пальцами за хвостик и преподнес сыну.

Петя почувствовал давно не испытанное наслаждение, когда холодный, немножко едкий, душистый сок побежал по его подбородку.

Он даже всхлипнул от удовольствия и в тот же миг увидел высокого мальчика-гимназиста, почти юношу, который незаметно появился из-за спины отца и смотрел на Петю радостно-испуганными, шоколадными глазами, полными любви и живого любопытства.

Это был Павлик.

— А, синьор, очень приятно вас видеть! — воскликнул Петя, сразу впадая в привычный иронический тон старшего брата.— Что это у вас, сэр, под глазом?

— Где? — живо спросил Павлик и коснулся пальцем довольно большой разноцветной ссадины.— Это? Ничего особенного. Обыкновенная блямба. Мы вчера дрались с бойскаутами.

— Кто это «мы»?

— Я и Женька Черноиваненко.

— Это который? Мотин братец?

— Он самый.

— А по какому случаю драка с бойскаутами? Чего вы не поделили?

— Да, понимаешь, они все богатенькие сыночки и стоят за Временное правительство и демократическую республику. А мы с Женькой за социалистическую революцию.

— Вы с Женькой?

— Ну да, мы с Женькой... И еще другие мальчики. Преимущественно дети железнодорожников.

— Ты, Павлуша, потише,— сказал Василий Петрович, показывая глазами на спящих офицеров.

— А чего! Если хочешь знать, этих маменьких сынков надо давить, как клопов,— понизив голос, сказал Павлик, энергично сверкнув глазами.— Может быть, скажешь — нет?

— Видал Робеспьера? — засмеялся Петя, подмигивая отцу, дрыгнул ногой и вдруг почувствовал острую боль.— Ох!

Он прикусил губу и застонал.

— Рана? — спросил Павлик, морщась от жалости к брату.

— Она, проклятая.

— Сильно болит?

— Терпимо.

— Навылет?

— Угу.

— Куда?

— В верхнюю треть бедра.

— А кость?

Петя ждал этого вопроса.

— Можешь не волноваться. Не задета,— буркнул он.

Он взглянул на Павлика, на его «блямбу» под глазом, на полинявший красный бант на потертой гимназической курточке и снова не мог удержаться от смеха.

— Ты чего? — глядя исподлобья, спросил Павлик.

— Нет, честное слово, это феноменально: они с Женькой за социалистическую революцию! Видели вы что-нибудь подобное?

Но Павлик, по-видимому, не находил в этом ничего смешного.

— А чего?

Он сердито сузил глаза, и его милое, еще почти со-

всем детское лицо сразу стало жестким, как-то по-солдатски скуластым.

— С этими бойскаутами цацкаться не приходится. Да и вообще... наша гимназия...

Он не договорил и, сумрачно усмехнувшись, махнул рукой.

— Совсем от дома отбился,— заметил Василий Петрович.— Живет на Ближних Мельницах, у Черноиваненко. Стал настоящий пролетарий.

Однако Пете показалось, что в тоне отца больше одобрения, чем порицания.

Василий Петрович поймал Павлика за выгоревший чуб, притянул к себе и поцеловал в висок, где золотисто курчавились примятые волосы.

— Только без этого,— смущенно сказал Павлик, выскальзывая из отцовских рук, и залился темным, юношеским румянцем.

— Ух ты, какой сердитый! — воскликнул Петя.

— Не сердитый, а просто пора понять, что я не девчонка... и вообще...

Он не договорил, но было понятно, что имеется в виду нечто гораздо более значительное, чем бойскауты, гимназия и нежности отца...

За окном послышался свист.

Павлик крадучись подошел к окну и посмотрел на улицу.

Свист повторился. Павлик сделал таинственный, повелительный знак рукой, довольно странно растопырив пальцы.

— Когда спящий проснется! — крикнул грубый детский голос с улицы.

— Это Женька,— сказал Павлик.

Он высунулся в окно и вкрадчиво провыл:

— Улы-улы-улы-улы!..

— Это они начитались Уэллса,— посмеиваясь, объяснил Василий Петрович.— Что с ними поделаешь?

И тут впервые Петя не только понял, но ощутил всей душой те изменения, которые произошли вокруг за последние годы.

Эти изменения медленно и неощутимо накапливались, почти не останавливая на себе внимания, пока в один прекрасный миг не превратились во что-то совсем новое,

ничуть не похожее на то, что было вокруг Пети раньше.

Изменились люди, характеры, судьбы.

Изменилась вся жизнь, и теперь Петя с изумлением — как бы очнувшись после очень глубокого сна — вдруг попал в совершенно новый мир, где его окружили хорошо ему знакомые и все же до неузнаваемости изменившиеся люди: постаревший отец, который с такой тревогой произнес совсем не свойственное ему слово «пораженец»; тетя, вышедшая замуж за какого-то поляка, мечтающего о независимости Польши; девочка Мотя, превратившаяся в жену солдата; Гаврик, таинственно функционирующий где-то на фронте и в тылу; маленький Павлик, оказавшийся теперь длиннoруким, рослым гимназистом, начитавшимся Уэллса и ведущим революционную борьбу с контрреволюционными бойскаутами.

Может быть, только яркое небо за окном, быстро летящие сияющие облака и праздничный колокольный звон оставались прежними. Да и то они были теперь слишком волшебными, как выходцы из другого мира, из блаженной страны воспоминаний.

А сам Петя? Был ли он прежним?

Вот он лежит в палате офицерского лазарета с пробитым бедром, молодой прапорщик, только что вырвавшийся чудом из самого пекла войны.

Вокруг революция, народные бури, солдатские митинги. Корниловцы. Меньшевики. Большевики. Будущее неясно.

У него в кармане бриджей книжечка «Боги жаждут», которую он читал перед атакой. Великие тени: Робеспьер, Дантон. Гильотина. Сумасшедший Париж. Он жил несколько дней в этом мире. Он дышал воздухом революции. Но кто он? Эварист Гамлен, член секции нового моста? А кто она, Элоди? О, как мрачно и как странно он ее любит! Но кого?

У него в голове был сумбур.

Что его ожидает? Как он будет жить дальше?

Даже еще проще: не как, а где? Где он будет жить? Ведь, в сущности, ему негде жить.

Все распалось, видоизменилось до неузнаваемости. Он просто-напросто бездомный молодой человек с костылем.

Таких вокруг тысячи. Они все хотят жить, а их непре-

менно хотят убить. Они бунтуют на солдатских митингах. Но среди рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели, они чужие. Их только терпят. Корниловцы их ненавидят, всех этих вольноопределяющихся и прапорщиков из гимназистов и студентов.

Они их готовы расстреливать при всяком удобном случае, как это Петя испытал на себе в Яссах.

Тогда его спасли солдаты. Спас тот самый Гаврила с хуторка — один из революционных солдат-большевиков, которые готовят новую революцию и требуют земли и мира.

Все же Петя не испытывал от всех этих беспорядочных мыслей никакой душевной тяжести.

Скорее наоборот.

Распались старые связи. Теперь он был свободен от всяких обязательств. По крайней мере, ему так казалось. Он был готов на все, только бы снова не попасть на позиции и не быть убитым в первом же бою.

Но пока он был в безопасности. Он был опьянен ощущением хотя бы временной свободы, независимости. На минуту с него сняли военную лямку.

Для него все начиналось заново в этом мире, потрясенном войной и революцией, расшатанном, но все еще не рухнувшем, который окружал Петю,— скорее призрачный, чем реальный, и вместе с тем такой привлекательный, полный скрытых наслаждений.

Словом, для Пети это было второе рождение.

8

МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ

Он провел в лазарете два месяца.

Лазаретное время имело странное свойство совсем не двигаться или, во всяком случае, двигаться маленькими, черепашьими шажками, надолго останавливаясь среди мелких госпитальных событий.

В то же время за стенами лазарета, в городе, в России, проносилось другое, громадное время второй половины семнадцатого года, время революции и пальбы, которые на глазах не только меняли жизнь со всем разно-

образием ее вековых форм, но, казалось, каждый день изменяли самый воздух, его химический состав.

Воздух дышал хлором, холодел.

Воздух уже ощутимо дышал солдатскими бунтами, смертью приближающегося фронта, народным гневом.

Петя это чувствовал, но не испытывал страха. Напротив, он все время находился в состоянии какого-то легкого, бездумного опьянения. Мысли скользили по самой поверхности явлений.

Все Петины душевные силы были бессознательно направлены на то, чтобы не позволить им опуститься в глубину, где его день и ночь подстерегал скрытый ужас, которого он во что бы то ни стало хотел избегнуть, как бы «не заметить».

Петя испытывал свойственное всем людям, раненным на войне, особое чувство искупления: они уже пострадали, они уже пролили свою кровь; теперь уже родина ничего не должна от них требовать — они квиты, они честно могут смотреть людям в глаза и пользоваться всеми радостями жизни в тылу, не испытывая угрызения совести.

Чем тяжелее и опаснее рана, тем чище, полнее это почти священное чувство искупления.

У Пети, в общем, была слишком легкая рана. У него даже не была задета кость. Но все же это была рана навылет, и был вставлен дренаж, и было нагноение и временами жар, правда, небольшой, но все же выше тридцати семи, а по вечерам, случалось, и лихорадочное состояние.

Его по утрам возили на перевязку. С таким же успехом он мог бы и сам ходить на перевязку. Но Петя не требовал этого. Его просто возили на перевязку, и он молчаливо этому подчинялся.

Он был здоровый малый, и рана заживала с пугающей быстротой.

Через две недели из раны вынули дренаж. Нагноение почти прекратилось. Пете трудно было признаться, но входное отверстие перестало уже быть кораллово-красным, а стало нежно-розовым, как облатка, естественного телесного цвета.

Издавна было известно, что на Пете все заживает, как на собаке.

Это свойство, которым он раньше так гордился, теперь приводило его в уныние.

Но все же его еще продолжали возить на перевязку, и рана немного побаливала.

— Молодец, прапорщик! — говорил Пете дежурный врач, обходя палату.— Если так дело пойдет дальше, скоро мы вас отправим на комиссию, а там и выпишем из лазарета на фронт.

Петя жадно, хотя и с видимым равнодушием, прислушивался ко всем разговорам о близком конце войны и о мире. Он чувствовал, что в глубине души делается «пораженцем».

Первые дни пребывания в лазарете, когда еще рана была свежей и, казалось, никогда не заживет, а война для Пети навсегда конченной,— эти первые дни для Пети были самым приятным временем в его жизни.

Петя легко вошел в роль скромного героя, раненного хотя и не слишком опасно, но достаточно тяжело.

Это напоминало легкую инфлюэнцу, когда можно было, не посещая гимназии, пользоваться всеми привилегиями болезни, не испытывая при этом никакого беспокойства, потому что даже легкий жар — тридцать семь и два — был так же приятен, как малиновый чай, крошки от сдобных сухарей на простыне, чтение Майн Рида и заботы родственников.

С первых же дней Петю стали навещать знакомые, и эти визиты являлись главной прелестью Петиной жизни.

Чаще всего навещали Петю девушки, или, как они тогда назывались, барышни,— знакомые институтки и гимназистки, из которых иные уже были курсистки, то есть вполне взрослые, самостоятельные девицы, некоторые даже модно одетые, слегка подмазанные и в шляпах, как у настоящих дам.

Это все были его так называемые подруги детства.

Но, боже мой, как все они выросли, как похорошели!

Даже те из них, которые раньше считались дурнушками, теперь если не производили впечатления красавиц, то, во всяком случае, казались заманчиво хорошенькими и волновали Петю тем откровенно любовным, призывным блеском глаз, от которого у Пети замирало сердце и холодели руки.

Обычно в приемные дни, еще задолго до условного

часа, Петю «вывозили» на балкон, где, удобно подпертый подушками, он полулежал на камышовом канапе, совсем невысоко над солнечной Маразлиевской улицей, на уровне молочно-белого дугового фонаря в проволочной сетке, который напоминал Пете детство в пору его увлечения электричеством.

Отсюда был также виден Александровский парк в своем сентябрьском уборе, весь в мелких, виноградно-золотистых листочках австралийской акации, за черными стволами которой виднелась знаменитая Александровская колонна и густо, дико синело море с несколькими сонными парусами, заштилевшими на горизонте.

Прохожие шли туда и назад под Петей, и он лениво наблюдал, как у приближающегося человека постепенно скрадываются ноги, сокращается туловище, пока не остаются одни лишь плечи и шляпа, и человек проходит под балконом в пятнистой тени осенних платанов.

По асфальту Маразлиевской, блестя лаком, резиново подскакивая, плавно проносились пролетки, даже иногда кареты, пыхтели автомобили, оставляя за собой облако бензинового дыма и незаконченную музыкальную фразу медного сигнального рожка.

Петя, облокотясь на руку, как бы висел над этой нарядной улицей.

Но вот наступало время приема.

Сверху Петя наблюдал, как посетители входили в роскошную дубовую дверь особняка.

Отдаленные шаги на мраморной лестнице. Оживленные голоса.

— Где он?

— На балконе.

— Ах, на балконе! Как мило!

И вот у его канапе уже стоит девушка или даже две девушки. Как нежно и свежо пахнет от них цветочным мылом, недорогими русскими духами, легкой девичьей пудрой!

— Ну, как вы себя чувствуете?

— О, прекрасно!

Розовая, загорелая щека, и на ней воздушная тень локона, выбившегося из-под соломенной шляпки; на кремовой шейке кораллы или какие-нибудь другие невинные бусы. Короткий рукав прозрачной блузки. И непременно

где-нибудь родинка: возле губы, на щеке, на шейке за ухом или на внутренней стороне руки, возле локтевого сгиба, в том прохладном и никогда не загорающем местечке, слегка влажном от пота, где она спрятана большую часть времени и вдруг бросается в глаза, как маленькая коринка в сдобном тесте, в тот миг, когда рука протягивается для пожатия и раскрываются пальчики с хорошо отполированными, чистенькими ноготками.

Она может быть Люся, или Шура, или Тася, она может быть более изысканная Жермена или совсем простушка, какая-нибудь купеческая Капочка.

Но кто бы она ни была, она теперь самая желанная, самая милая. Она почти невеста со всей своей непорочной свежестью и темнотой не таких уж непорочных, внимательных зрачков, то и дело суживающихся от попадающего в глаза солнечного луча.

— Вот, я вам принесла...

Она с застенчивой развязностью протягивает сверток, кулек, корзиночку.

Что это? Может быть, шоколадка с передвижной картинкой — шуточное, милое напоминание о детской дружбе, или четверть фунта леденцов, или засахаренные орехи.

И — конечно! — в большом количестве маленькие лимонно-золотистые груши, пора которых уже наступила, и они желтеют по всему городу, сложенные пирамидами на фанерных лотках уличных торговок.

А может быть, это синяя треугольная кисть «малаги» или «дамские пальчики» — сорт винограда, продолговатого и прозрачного, «как персты девы молодой».

Затем, конечно, рахат-лукум, или шоколадная халва фабрики Дуварджоглу, в круглой лубяной коробочке.

Но больше всего радости доставляли Пете цветы — несколько чайных роз с коралловыми шипами и чугунно-багровыми листьями, астры, георгины — уже не летние, а осенние, дочерна красные, мясистые, с особым острым запахом тления, напоминающим холодную лунную ночь в облетевшем саду.

Он клал подаренные цветы на одеяло, покрывавшее его ноги.

Потом приходила Мотя и ставила их в воду, бросив на Петю и его посетительницу молниеносный, любопыт-

но-ревнивый взгляд, смягченный добродушной полуулыбкой румяных губ, таких глянцевитых, будто они были напомажены.

Девушки приходили по очереди, и стулья возле Петиного ложа всегда были заняты.

Ходить в лазарет навещать раненых был некий обязательный обряд того времени, патриотический долг, и девушки выполняли его свято.

Они мило щебетали, забрасывая Петю вопросами о ранении.

Некоторые чуть-чуть шепелявили, другие еще более мило картавили, стараясь как бы невзначай показать на щечке с ямочкой специально наклеенную крошечную мушку, вырезанную из черного пластыря маникюрными ножницами, последнюю моду этого последнего сезона.

Они и впрямь чувствовали себя в своих широких шелковых юбках маркизами или пастушками в стиле рисунков популярной художницы Мисс из «Нового Сатирикона».

Петя понимал, что все это довольно пошловато, но ничего не мог поделать с собой, упиваясь столь обольстительной невинной пошлостью.

В то время как барышни щебетали, Петя старался помалкивать и чувствовал себя весьма натянуто. Дело в том, что ему было страшно раскрыть рот, чтобы с его языка нечаянно не сорвалось какое-нибудь солдатское выражение, к которым он так привык на фронте, что перестал отличать их от цензурных.

Это было общее фронтовое поветрие, привычка к грубому мужскому обществу. Кроме того, ведь Петя не сразу стал офицером. Он выслужился из вольноопределяющихся. Около двух лет он провел в солдатской землянке, и его язык приобрел опасную свободу обращения со словом. Через каждые две фразы он совершенно непроизвольно, даже как бы вскользь и незаметно для самого себя, привык, как говорится, пускать ругательство и теперь весьма старательно процеживал каждое слово, чтобы нечаянно не ляпнуть что-нибудь совсем не подходящее для розовых девичьих ушек.

Уже раза два он вовремя успевал закрыть рот в тот самый миг, как из него готово было вырваться ужасное придаточное предложение.

Он даже в последнее время стал краснеть и слегка заикаться, что было истолковано как истинная скромность, даже застенчивость, свойственные настоящему герою.

Некоторые барышни относили это за счет своей красоты.

Кое-кто из них уже был замужем, а одна даже успела потерять на войне мужа, и Пете было странно видеть хорошенькое, цветущее личико молоденькой вдовы, окруженное черным траурным крепом.

Юные женщины и девушки, приходившие его навещать, как бы являлись наградой за перенесенные им страдания. Окружая его, они как бы отстраняли от него малейшее напоминание о войне и о тех грозных событиях, приближение которых все явственнее чувствовалось в напряженном воздухе.

Однако они не могли уберечь его от прикосновения с жизнью.

Иногда среди веселого разговора из Александровского парка доносились звуки военной команды, офицерские свистки, топот солдатских ног.

Это производилось полевое учение одного из местных запасных полков: новобранцы делали перебежку, окапывались, применялись к местности.

А бывало, что по фешенебельной Маразлиевской вдруг с грохотом проезжал тяжелый армейский грузовик с вооруженными рабочими.

Часто из города доносился гул митингов, звуки духовых оркестров, пение.

Но Петя большей частью находился в том невменяемо-счастливом состоянии, которое не могли надолго омрачить все эти звуки, врывавшиеся в госпитальный мир с его искусственной атмосферой отрешенности от всех житейских тревог.

9

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

В конце концов приемные дни в лазарете превратились в маленькие праздники. В них стали принимать участие также и другие раненые офицеры, Петины соседи

по палате — все люди иногородние, не имевшие в Одессе ни родственников, ни знакомых.

Их было трое: два пехотинца-подпоручика и гусарский корнет — красавец и тонняга с великолепной, словно нарочно придуманной фамилией Гурский.

Один из пехотных подпоручиков был человек уже немолодой, из запаса, не раненый, а просто желудочный больной, проходивший при лазарете какие-то длительные клинические испытания, по фамилии Хвощ.

Другой — совсем молоденький, почти мальчик, которого все называли просто Костя,— тяжело раненный в грудь, с осколком, застрявшим возле позвоночника и причинявшим ему нечеловеческие страдания, которые он изо всех сил скрывал, не желая быть в тягость окружающим.

Тайно от врачей Костя где-то доставал морфий и впрыскивал его себе сам, выбирая глубокий ночной час, когда все в палате спали.

Однажды среди ночи Петя проснулся и при слабом свете дежурной лампочки в коридоре увидел Костю, который сидел на своей вечно смятой постели, свесив по-детски худые голые ноги, и, задрав серую лазаретную рубаху, с выражением мучительного блаженства вводил шприц в тощее бедро, подняв вверх совсем прозрачное лицо, окруженное давно не стриженными льняными кудрями, с еще более, чем обычно, прозрачными глазами, светящимися в полутьме палаты, как фосфор.

Через несколько минут он уже сладко спал, разметавшись на кровати, жарко, со свистом дыша полуоткрытым, ангельским ртом.

Эти офицеры скоро перезнакомились со всеми Петиными барышнями. Завязались ухаживания — небольшие, невинные романчики, то, что на языке того времени называлось «легкий флирт».

Даже пожилой подпоручик Хвощ, у которого в Черниговской губернии были жена и дети, не избег общей участи и первый пал жертвой легкого флирта, который называл на черниговский лад «хлирт».

Он врезался в ту самую Раису, которой велел кланяться Колесничук, расставаясь с Петей на поле боя.

Раиса одна из первых прилетела к Пете в лазарет. Черноволосая, курчавая, черноглазая, со страстно раздутыми ноздрями, с красным бантом на высокой груди,

всегда без шляпки и перчаток, она была воплощенным типом одесской революционной курсистки из числа тех, что до хрипоты кричали на всех сходках и митингах, выносили резолюции и протесты, составляли петиции, подвергали общественному порицанию и даже презрению, клеймили позором, иногда носили на рукаве повязку городской общественной милиции, разоблачали скрывающихся провокаторов, вылавливали переодетых городовых, пели революционные песни, охраняли общественный порядок, обедали за двадцать копеек в студенческой столовой «Идеалка» и требовали войны до победного конца — одним словом, изо всех сил «служили восставшему народу».

Однажды она даже приехала в лазарет на грузовике с матросами крейсера «Память Меркурия», и все видели с балкона, как она, подобрав узкую юбку, перелезла через высокий борт.

Это не помешало ей принести Пете зеленую баклажанную икру, или, как она называлась в Одессе, икру из синеньких, собственного приготовления, в глубокой тарелке, завязанной в салфетку.

— Вы фея революции,— сказал подпоручик Хвощ, произнеся слово «фея» как «хвэя».— Вы хвэя революции, вы пронзили мое сердце.

На что Раечка ответила своим сильным, красивым низким контральто, весело блестя бедовыми глазами:

— Вообще я имею успех у товарищей украинцев.

— Она намекает на своего мужа. У нее муж — украинец, мой товарищ прапорщик Колесничук,— сказал Петя, и сердце Хвоща дало сильную трещину.

— А по-моему, вы не фея революции, а, скорее, так сказать, нечто вроде амазонки душки Керенского,— со своим особым кавалерийским шиком проблеял корнет Гурский и, сделав сладострастные глаза, прибавил с небрежной грацией: — У вас, моя кошечка, божественная фигурка, античные ножки — одним словом, как говорится в высшем обществе: «Она вошла в будуар упругой походкой, подрагивая правым галифе».

И затем он пропел не без приятности из Игоря Северянина:

Так процветает Амазония,
Сплошь состоящая из дам.

— Вы пошляк,— с обольстительно-жаркой улыбкой сказала Раечка, и на щеках ее появились маки.— Ненавижу казарменные комплименты.

— От ненависти до любви один шаг,— меланхолически отпарировал корнет.

— Хвощ, вызовите его на дуэль.

— Запрещено.

— Но раз я так хочу.

— Слушаюсь, мое серденько. Когда прикажете?

Между тем корнет Гурский почти с бальной ловкостью прыгал и поворачивался во все стороны на своих новеньких костылях, вытянув вперед забинтованную ногу, в то время как другая его нога, здоровая, была обута в щегольской хромовый сапог с серебряной шпорой на высоком каблучке, а из-под немного распахнувшегося халата выглядывали алые, сверхмодные гусарские чикчиры со стеганым атласным корсетом.

Петя всей душой презирал миндалевидные глаза корнета Гурского, его крошечные, очень коротко подстриженные усики и злой рот с ярко-красными губками, что не мешало ему страшно завидовать этому офицеру, который почему-то безумно нравился почти всем Петиным барышням.

Его веселая наглость не только обезоруживала. Она просто оглушала. И Петины барышни в присутствии корнета неестественно вспыхивали, глупо хохотали и замирали перед корнетом Гурским, как маленькие колибри перед удавом.

Даже Мотя, входившая в палату со стеклянной уткой или шваброй, как кошечка, ежилась под его взглядом, а корнет делал глазки и страстно мурлыкал вполголоса:

Пупсик, мой милый пупсик,
Ду бист майн аугенштерн,
Тебя люблю, тебя хочу...

— Штоб вы сказились! — краснея, бормотала Мотя, убегая из палаты.

Одним словом, корнет Гурский имел у всех женщин громадный успех, чего Петя не мог пережить равнодушно.

Костя тоже имел успех, но только в другом роде.

Бледный, кудрявый, с детским лицом и прозрачными

глазами мученика, придерживая на горле исхудавшими пальцами свою серую лазаретную рубаху с жалкими тесемочками и как-то боком подвернув ноги, он казался совсем ребенком и в то же время как бы не имел возраста, так истерзало его вечное страдание, на которое он был обречен.

В этой легкомысленной компании он был постоянным напоминанием того, что в мире существует ужас, время от времени терзающий землю и людей и от которого нет спасения.

В глазах девушек он был милым братом, нежным отроком-возлюбленным, женихом, но не настоящим, а каким-то приснившимся.

Скрывая свою вечную боль, Костя принимал участие в болтовне, в легком флирте, с грустной улыбкой говорил армейские двусмысленности, а когда Раиса и Хвощ заводили вполголоса украинские песни, он подпевал довольно приличным баском.

Петя уже успел несколько раз молниеносно влюбиться, разлюбить и снова влюбиться. Он по очереди терял голову от каждой барышни.

В один прекрасный день он даже почувствовал, что влюбился в Раису, и уже не на шутку собирался закрутить романчик, но вовремя спохватился, что это жена его школьного друга, боевого товарища.

Тогда, желая загладить свою невольную вину перед добряком Жорой, он стал с жаром и со страшными преувеличениями рассказывать о своем решении и о благородном поступке Колесничука, который «буквально на руках вынес его из адского огня, а сам, спасши друга, снова бросился в атаку среди свиста пуль и разрывов бризантных снарядов».

Впрочем, трудно было рассчитывать на легкий тыловой романчик с Раисой. Она была непоколебимо верна своему Жоржу. Если же она принимала ухаживания Хвоща и «спивала» с ним «Солнце нызенько», то исключительно ради украинского патриотизма, которым заразил ее все тот же Жора Колесничук, такой же верный сын «ридной Украины», как и подпоручик Хвощ.

Впоследствии Пете трудно было понять и объяснить свое тогдашнее легкомыслие, бездумное скольжение по самой поверхности бытия, полное нежелание, а может

быть, и неумение понять, что происходит вокруг, какое-то грубое опьянение жизнью, самым фактом, что он живет, существует...

Можно было подумать, что Петя — вместе со всеми окружающими — полностью утратил ощущение времени и перенесся в какую-то странную нравственную среду, имеющую свои особые законы и понятия о смысле человеческой жизни, о человеческом долге.

А ведь не следует забывать, что приближалось, быть может, и самое трагическое и самое великое время всей русской истории, да не только русской, а истории всего человечества.

Но ничего этого Петя тогда не ощущал.

Он только упивался жизнью и очень торопился, как бы желая наверстать все, что он упустил за время пребывания в действующей армии, и с избытком вознаградить себя за ту смерть, которая не раз щадила его, но все же сотни раз пролетала так низко, что, казалось, задевала его стальную каску своим черным, дымным плащом.

Словом, это был пир во время чумы.

10

НОВАЯ ТЕТЯ

Навестить раненого племянника зашла также и тетя.

Петя с тревогой, с враждебным любопытством ждал этой встречи. Ему было трудно представить себе тетю в новом положении замужней дамы, жены какого-то чужого господина.

Это казалось невероятным.

Какая она теперь?

Незаметно для самого себя Петя мысленно нарисовал портрет новой тети, гораздо более молодой, нарядной, красивой, чем в действительности.

В Петином воображении прежняя тетя превратилась в даму с холодноватой, недоброжелательной улыбкой, с незнакомыми кольцами на руках и даже, может быть, с маленьким черепаховым лорнетом и золотым католическим крестиком на шее — одним словом, со всем тем, что подобало польской даме.

Он живо представлял себе, как они встретятся: он — с напряженной улыбкой, а она — вежливая, любезная, торжествующая, но внутренне совершенно равнодушная, лишь бы исполнить долг приличия и навестить раненого племянника.

Возможно, она даже принесет полдесятка пирожных от Печеского, но лишь для того, чтобы показать, что, сделавшись женой чужого господина, она стала более состоятельной. А может быть, она даже раскошелится и в знак прежних родственных отношений подарит ему рублей пять, чего Петя желал всей душой, так как денег у него совсем не было.

Впрочем, он тут же решил от пяти рублей вежливо, но непреклонно отказаться.

Еще не хватало, чтобы она привела в лазарет своего поляка! С нее хватит! А в общем, пусть бы лучше она совсем не приходила.

Каково же было облегчение Пети, его радость, когда в один прекрасный день в палату своей быстрой походкой вошла — почти вбежала — ничуть не изменившаяся, прежняя, милая, добрая тетя с родным испуганным лицом и напудренным носом, покрасневшим от слез, которые она, видимо, изо всех сил сдерживала!

Она, наверное, бог знает что себе вообразила насчет Петиной раны!

Петя в халате сидел на балконе, положив ноги на стул.

Увидев племянника, в особенности его костыль, на который он живописно опирался, тетя сейчас же заплакала и стала промокать щеки и нос своим кружевным платочком, свернутым в комок, как это она всегда делала во время плача, и этот жест, столь знакомый Пете с детства, лучше всяких слов сказал, что тетя нисколько не изменилась и осталась той же самой, прежней тетей.

Петя почувствовал такую радость и в то же время такую горечь, что неожиданно для себя самого сказал нежным голосом:

— Тетечка!

И тоже заплакал. А заплакав, обозлился на самого себя и на тетю и быстро, смушенно посмотрел по сторонам, желая убедиться, не видел ли кто-нибудь его слез.

Но в это время на балконе никого не было, и Петина честь была спасена.

— Петенька, рыбка моя дорогая! — сразу же закудахтала тетя, явно перепутав от волнения племянников и адресуя старшему те нежные прилагательные, вроде «рыбка» или «курочка», которые обыкновенно применялись к младшему — ее любимому Павлику.

— Ну, вы уже начали свое! — смущенно пробормотал Петя.

— Ах, понимаю! Ты отвык на войне от сентиментов. Ты стал грубый солдат с ледяной душой, закаленный в сражениях,— сказала тетя, быстро переходя на свой обычный иронический тон.— Ну, так дай же мне по крайней мере посмотреть на тебя.

— Смотрите.

— Какой ты громадный! Боже мой, ты, кажется, уже бреешься?

— Тетя! — с упреком сказал Петя.

— Ах, простите, пожалуйста! Я не хотела тебя обидеть. Римские воины тоже брились. Но, однако, я вижу, что ты здесь себя отлично чувствуешь. По-видимому, твоя рана не такая уж тяжелая?

— В верхнюю треть бедра. Навылет,— ответил Петя несколько обиженно.

— Кость задета?

— Не задета. Успокойтесь.

— Судьба Онегина хранила,— сказала тетя.

«Нет, она положительно не изменилась,— подумал Петя,— такая же бестактная, и все та же удивительная способность под видом правды говорить людям добродушные неприятности».

— Надеюсь, моя курочка, ты здесь долго не залежишься? Мне даже кажется, что мог бы уже и сейчас взять свой декоративный костыль и пройтись по Дерибасовской. Это было бы страшно шикарно. Да, подожди. Я совсем забыла. Ты, конечно, уже куришь? Так вот, на́ тебе сотню папирос.— Она протянула Пете сверток.— Сама набивала. Превосходный сухумский табак. Сигизмунд Цезаревич предпочитает курить папиросы исключительно домашней набивки и гильзы непременно фабрики Капельского. Хотя ему врачи категорически запретили, но что поделаешь, что поделаешь! — Тетя беспо-

мощно развела руками.— Ужасно трудно воевать с мужчинами, в особенности такими нравными, как Сигизмунд Цезаревич.

«Кто это Сигизмунд Цезаревич?» — хотел спросить Петя, но в ту же минуту понял, что, по всей вероятности, это именно и есть тетин муж, поляк.

И Петя вдруг почувствовал к тете сильную жалость.

Вскользь, но весьма просто, без тени смущения или жеманства тетя рассказала о бедственном положении, в котором находится семья ее мужа, Янушкевича.

— Теперь моя фамилия Янушкевич,— заметила она как бы в скобках.

Петя узнал о парализованной старухе, матери тетиного мужа, пани Янушкевич, о его неудачных детях — девочке Вандочке, больной костным туберкулезом, и об избалованном мальчике Стасике, о невозможности Сигизмунду Цезаревичу получить приличное место, о каких-то интригах в канцелярии попечителя, о сырой квартире и, наконец, о проекте тети открыть нечто вроде частной библиотеки с маленьким читальным залом, где каждый интеллигентный человек за небольшую плату имел бы возможность в тихой семейной обстановке прочесть свежий столичный журнал, газету, новую книгу.

Петя неосторожно улыбнулся.

Тетя перехватила эту улыбку и немедленно перешла в наступление.

— Ага! Понимаю! Ты, наверное, думаешь, что это очередная фантазия, вроде домашних обедов или хуторка в степи.

— Да нет, тетечка, я ничего не думаю.

— Ну, не ты, так Василий Петрович. Он вообще всегда считал меня фантазеркой. Что ж, может быть. Может быть, и эта библиотека-читальня тоже не больше чем фантазия. Но, друг мой...

Она понизила голос и, округлив глаза, сказала самым рассудительным тоном:

— Надо же нам как-нибудь жить, выкручиваться, особенно в такое время, при такой ужасной дороговизне! — Она помолчала.— Вообще я не представляю себе, чем все это кончится. То есть я даже очень хорошо представляю,— вдруг сказала она, понизив голос, и глаза ее мрачно сверкнули.— Кончится тем, чем и должно

было рано или поздно кончиться: настоящей революцией. Не этой пародией на революцию, которую устроили в России твой душка Керенский...

— Он такой же мой, как и ваш.

— Нет, он именно твой. Все прапорщики его обожают. Главковерх! Главноуговаривающий! До победного конца! Во имя чего, я тебя спрашиваю?

Тетя грозно посмотрела на Петю.

— Во имя того, чтобы богатые оставались богатыми? Во имя того, чтобы Польша по-прежнему находилась под русским сапогом? Во имя того, чтобы процветала мадам Стороженко, таки купившая у полоумной, разорившейся дворянки Васютинской ее прелестный хутор? Во имя чумазых охотнорядцев, купчиков, черносотенцев?

Она несколько раз промокнула свернутым платочком свои воспламененные щеки.

— Во имя чего они тебя продырявили? Отвечай!

— Отстаньте от меня, бога ради! — воскликнул Петя, захохотав, как от щекотки.

Нет, положительно, он не ожидал от тети такой прыти.

А она уже разошлась вовсю.

— Ты, конечно, убежденный оборонец, не отрицай!

Петя молчал, любуясь разошедшейся тетей.

— Говори, ты оборонец? Или, может быть, ты пораженец?

Петя поморщился: дался им всем, этим несчастным тыловикам, вопрос: оборонец или пораженец? Все равно, как задета кость или не задета! Осточертело!

— Нет, ты не прячься за улыбочкой! Отвечай! — не унималась тетя.

— Да что вы, на самом деле, ко мне пристали! — не на шутку рассердился Петя.— Если хотите знать, я не оборонец, не пораженец, и кость у меня не задета. Вас это устраивает?

Глаза тети округлились еще больше.

— Чего же ты в таком случае хочешь?

— Жить, тетечка, жить.

— Дорогой мой, все хотят жить. Но как? Как ты хочешь жить? От того, как ты намерен дальше жить, быть может, зависит судьба России! — строго сказала тетя.— Или для тебя это тоже все равно?

Петя с возрастающим удивлением смотрел на тетю. Это, конечно, была прежняя тетя, но только все то политическое, радикальное, что раньше появлялось в ней изредка, вскользь, теперь вдруг стало как бы главным и постоянным содержанием ее личности.

Что мог отвечать ей Петя?

Сказать правду, он совсем не думал о будущем. Для него существовало только настоящее. А что касается судьбы России... то что же? Разумеется, ему всегда хотелось, чтобы Россия была самой могущественной и самой счастливой державой в мире. Он любил ее всей душой, но... Но разве от него могло что-нибудь зависеть?

Он отдал своей родине все, что мог. Он пролил свою кровь; он мог бы и умереть. Понятие России было слишком несоизмеримо с ним самим, с его личностью.

Он был каплей, песчинкой, она — океаном.

Петя не сомневался, что в конце концов все как-нибудь обойдется. И все останется, наверное, по-прежнему.

11

БЕССОННИЦА

— Ты вообще на что, собственно, рассчитываешь? — спросила тетя.— Какие у тебя планы?

— Ах, боже мой, какие планы! Обыкновенные. Поступлю в университет.

Петя говорил с явной неохотой, вяло. Будущее он представлял смутно. Оно было для него абстракцией. Но абстракцией более или менее опасной, быть может, даже смертельной.

— Допустим,— сказала тетя.— А на какой факультет?

— Не знаю. Не все ли равно? Ну, на юридический.

— Я так и думала, что на юридический. Когда не с чего, так с пик.

Тетя иронически улыбнулась. Было известно, что на юридический факультет обычно идут бездельники.

— Что же вы от меня хотите? — спросил Петя.

— Хочу, чтобы ты понял, что Россия летит в пропасть. И мы вместе с ней. И все это по милости бездарного Николая, а потом по милости не менее бездар-

ного Временного правительства и в первую голову вашего хваленого Керенского.

Петя испуганно оглянулся и даже посмотрел через перила балкона вниз, где по солнечному асфальту тротуара ползло несколько золотисто-подрумяненных, свернутых листьев каштана, красивых, как тропические раковины.

— Да, ты прав,— сказала тетя, понизив голос.— Теперь такое время, когда надо быть крайне осторожным. Еще хуже, чем при царизме. Столыпин вешал сотнями. Корнилов расстреливает тысячами. Видишь, до чего мы дожили? Но, может быть, ты корниловец?

— Меня самого корниловцы чуть не расстреляли в Яссах.

— Я так и думала, что ты не корниловец. Нет, друг мой, как хочешь, а я вполне согласна с Павловской, которая считает, что Россию может спасти только превращение империалистической войны в гражданскую. Что ты на меня так смотришь? Тебя удивляет, что я говорю такие вещи?

— Дорогая тетечка, мы на солдатских митингах и не то слышали, да не удивлялись. А насчет Корнилова вы совершенно правы. Это такая сволочь, что дальше некуда.

Петя помрачнел, вспомнив страшную ночь в Яссах, оплывшую свечу, темную комнату, часового в дверях, мрачные глаза и квадратный подбородок дежурного по городу...

Но тотчас же его мысли отвлеклись в сторону, к чему-то грустному и в то же время приятному.

Что-то нежное, позабытое было заключено в тетиных словах, вернее, в каком-то одном слове, мелькнувшем и пропавшем, как падучая звезда.

— Ты что на меня так странно смотришь? — спросила тетя.

Петя не ответил. Он напряженно искал и вдруг нашел это слово: Павловская. Целый мир возник перед ним.

Метель в горах.

Улица Мари-Роз в Париже. Лонжюмо.

Степная ночь. Свеча в окне. Луч маяка.

Девочка в пальтишке, так картинно встряхнувшая

каштановыми кудрями: «Чем ночь темней, тем ярче звезды».

Как страшно давно это было!

Да было ли?

— А где сейчас Павловская? — спросил он.

— В Петрограде, конечно. Ты, наверное, уже слышал: Павловская-мать играет какую-то роль у большевиков в особняке Кшесинской, чуть ли не секретарь у Ленина. Там же и Родион Иванович. Я на днях от Павловской получила открытку, но ужасно туманную. Наверное, они все опять на нелегальном положении.

Петя раздул ноздри.

— Что за проклятая страна, где вечно преследуют порядочных людей!

Петя, конечно, знал, что знаменитый особняк балерины Кшесинской в Петрограде, на Каменноостровском, являлся штабом большевиков, что с его балкона выступал перед рабочими и солдатами вернувшийся из-за границы Ульянов-Ленин, тот самый, к которому Петя вез письмо, спрятав его в свою матросскую шапку. Теперь имя этого человека, вождя большевиков, гремело на всю Россию.

Не было ничего странного в том, что к Ульянову-Ленину имеет отношение политическая эмигрантка Павловская, знакомая с ним еще по Парижу, Женеве и Цюриху.

Но Петю удивила осведомленность тети, а главное, то, что она, оказывается, переписывается с Павловской.

— А Марина? — спросил Петя.

— Вместе с матерью.

Тетя сразу заметила, как оживилось Петино лицо. Знакомая добродушно-лукавая улыбка наморщила тетины губы.

— Что, или вспомнил старую любовь? Так можешь успокоиться. У тебя нет ни малейших шансов.

— Почему?

— Счастливый соперник,— вздохнула тетя.

— Кто?

— Неужели ты не догадываешься?

— Нет.

— Твой старый друг Черноиваненко.

— Гаврик? — воскликнул Петя.

— Друг мой, он уже не Гаврик, а товарищ Черноиваненко,— строго произнесла тетя, но губы ее смеялись.— Неужели ты о нем ничего не знаешь?

Петя действительно ничего не знал о Гаврике, кроме того немногого, что ему сообщила Мотя. Но Татьяна Ивановна коснулась самых заветных струн Петиной души. При имени Гаврика он сразу оживился.

— О,— сказала тетя,— твой Гаврик теперь фигура! Ты с ним не шути. Солдат. Георгиевский кавалер. Большевик. Член армейского комитета. Делегат Румчерода. Гроза мировой буржуазии. Его уже трижды арестовывали и трижды, как говорится, под давлением революционных масс освобождали. В данный момент он делегирован в Петроград. Во всяком случае, Павловская пишет, что очень часто с ним видится, и подожди-ка, я нарочно захватила с собой открытку, тебе будет интересно.

Татьяна Ивановна достала из ридикюля помятую открытку с видом Зимнего дворца и надела пенсне, которого раньше никогда не носила.

— Мартышка к старости слаба глазами стала,— сказала она и, отыскав нужное место, прочитала: — «Марина с ним не расстается, оба все время находятся в экзальтированно-романтическом настроении, по-видимому, старая любовь вспыхнула с новой силой, но, по-моему, все это совсем не ко времени, так как...» Ну, и далее многозначительное многоточие, понимай, мол, как знаешь. Конспирация!

Петя был неприятно удивлен.

— Это какая же старая любовь? На хуторке, что ли? Что-то я не замечал между ними никакой любви. Это скорее у меня с Мариной намечался романчик.

— Фу, какой ты стал пошляк! И что это за армейский жаргон — романчик? — недовольно заметила тетя.— Друг мой, заруби себе на носу раз и навсегда, что влюбленные никогда ничего не замечают. Ты, например, до сих пор уверен, что тогда Марина была неравнодушна к тебе. А на самом деле все, кроме тебя, знали, что она как кошка влюблена в Гаврика.

— Для меня это новость,— сказал Петя с таким серьезным, даже несколько драматическим выражением лица, что у Татьяны Ивановны от смеха выступили на

глазах слезы, и она стала их промокать своим платочком.

Впрочем, Петя тут же спохватился, сообразив, что с его стороны довольно глупо предаваться любовным переживаниям пятилетней давности, и яркая искорка, блеснувшая перед ним при воспоминании о Марине, тут же погасла.

Его очень взбудоражило свидание с тетей.

Впервые за месяц пребывания в лазарете Петя так дурно провел ночь.

Его извела бессонница, всегда особенно невыносимая в молодые годы.

Первый раз за последнее время, а быть может, и за всю жизнь, Петя Бачей со всей серьезностью взглянул на себя со стороны и задумался о своей судьбе.

Он понял, что плывет куда-то «без руля и без ветрил», погруженный в полусонный мир придуманного счастья и воображаемой независимости.

А ведь были же порывы, высокие мечты!

Куда же все это девалось?

Петя ясно представил себе Гаврика таким, каким описала его Татьяна Ивановна: солдат, георгиевский кавалер, большевик.

Петя хорошо знал этот тип фронтовика.

Расстегнутая шинель.

Обмотки.

Сплющенная и сбитая на затылок папаха из бумажной мерлушки.

Резкие движения.

Прищуренные, ненавидящие и недоверчивые глаза.

Именно таким должен быть теперь его друг Гаврик: весь порыв, весь движение вперед, в любой миг готовый драться, неуступчивый, несговорчивый, непреклонный.

Вся жизнь его была подготовкой для этого решительного времени. Он знает, для чего живет и чего добивается. Человек прямой, ясной мысли и такого же прямого действия, родной брат Терентия Черноиваненко, потомственный пролетарий.

Ничего нет удивительного, что он находится в самом центре революционных событий, в Петрограде, в штабе большевиков вместе с Родионом Жуковым, Павловской, Мариной.

Они все там, рядом с Ульяновым-Лениным. У них одно общее дело.

Это понятно. Так и быть должно.

Но вот что удивительно: Павлик! Мальчишка, у которого молоко на губах не обсохло. Он тоже делает революцию.

А что в это время делает он, Петя?

Чем он живет?

Флирт. Романчики. В голове ни одной дельной, устоявшейся мысли. Один ветер. И полное самодовольство.

Он устал?

Да, устал.

Но ведь не он один. Все устали, измучены.

Да, но он проливал кровь.

У него рана.

Ах, какая там рана!.. Пустяковая дырка, которая, говоря откровенно, почти совсем зажила и, если еще немного гноится, то потому, что он ковыряет ее по ночам ногтем.

Трус.

Дезертир.

Петя сильно преувеличивал и сам понимал, что преувеличивает, но в эту бессонную ночь у него разыгрались нервы, и он с болезненным наслаждением унижал себя, мыча в подушку и чуть не плача от презрения к себе.

Он видел, как при слабом свете дежурной лампочки с выражением отчаяния на прозрачном лице несколько раз вскакивал и садился на скомканной постели подпоручик Костя, как он трясущимися руками доставал из-под матраца шприц и, задрав рубашку, впрыскивал морфий.

Петя прислушивался к ночным звукам лазарета, к почти неслышным шагам дежурной сиделки, бульканью воды из графина.

Его измучило сонное бормотание раненых, долетавшее в ночной тишине из самых отдаленных палат, тягостный, отрывистый бред, вскрикивания, стоны.

Под окнами иногда раздавались по-осеннему звонкие шаги поздних прохожих.

Щелкали по мостовой пролетки, и хрустальное отра-

жение их фонарей с утомительным однообразием проплывало по потолку в обратную сторону, и так же, казалось, проплывали в обратную сторону женский смех и мужские уверения.

Это провожали своих дам тыловые офицеры.

Иногда на улице раздавался грубый окрик комендантского патруля или таинственный, зловещий гул грузовика, который, судя по стуку прикладов, вез куда-то вооруженных людей,— может быть, красногвардейцев или матросов, а может быть, и юнкеров-корниловцев.

Ночь тянулась мучительно долго.

Перед рассветом, гремя костылями, явился из гостей подвыпивший корнет Гурский, и Петя слышал, как он срывающимся шепотом бранился с дежурной сестрой, а потом нараспев декламировал:

Я гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен.
Я повсеградно обэкранен.
Я повсеместно утвержден!..

Потом он скрипел своей кроватью, чертыхался, проклиная какого-то капитана Завалишина, и, наконец, захрапел.

Потом в монастыре ударили к заутрене, и Пете снова показалось, что колокол тяжело и звонко поет не снаружи, а внутри комнаты, совсем рядом, громадный, многопудовый, с раскачивающимся языком, а за оконной шторой уже золотился крест на монастырской колокольне, освещенной вверху первыми лучами зябкого солнца.

«Нет, кончено,— думал Петя, ворочаясь на постели.— Теперь я знаю, что мне делать».

У него уже созрел секретный план действий.

Сегодня же он потребует, чтобы медицинская комиссия выписала его из лазарета.

Затем он как можно скорее вернется в действующую армию для того, чтобы в эти роковые дни находиться вместе с народом и разделить судьбу армии при всех обстоятельствах: будет ли это гибель от немцев или полная победа народа над всеми силами реакции — керенщины, корниловщины,— новая революция.

Возможно, что, если бы этот план мог осуществиться

тотчас же, немедленно, сию секунду, все бы именно так и произошло, как хотел Петя.

Но он так устал после бессонной ночи, что утром заснул крепким, блаженным сном, а когда проснулся, то было уже после обеда и возле его кровати стоял таинственно улыбающийся Чабан, протягивая своему офицеру длинный надушенный конверт из толстой серой английской бумаги с вытисненной маленькой монограммой, запечатанной сургучом сиреневого цвета.

12

РОЛЬ ГОСПОДИНА ПРОСТАКОВА

Петя сразу узнал конверт.

Это было письмо от некоей Ксении Сеславиной, правнучки героя Отечественной войны 1812 года, с которой у Пети года полтора назад завязалось заочное знакомство — явление в то время довольно распространенное.

На позиции, в Петину воинскую часть, прибыли из тыла подарки для солдатиков, и Петя, будучи еще тогда нижним чином, получил на свою долю посылку: восьмушку чаю фирмы К. и С. Поповых третьего сорта, пачку махорки «Тройка», лист курительной бумаги, вязаные зеленые варежки, кисет, литографическое изображение Георгия Победоносца, поражающего змия, и письмо.

Все это было аккуратно зашито в холстинку и пахло духами «Персидская сирень».

В письме нарочно крупными, печатными буквами было написано послание неизвестному дорогому солдатику, защитнику царя и отечества, с просьбой не давать спуску проклятому немцу и почем зря лупить его в хвост и в гриву чем попало — штыком или прикладом, гранатой или пулей-дурой, а в награду за это покуривать родную русскую махорочку и греть руки в зеленых варежках, связанных красной девицей... Или что-то в этом роде. Подписано было: «Молю за всех вас бога, твоя названая сестрица Ксения Сеславина».

Петино воображение сразу нарисовало портрет молоденькой, хорошенькой девушки-патриотки, и, не откладывая дела в долгий ящик, Петя ответил письмом,

в котором очень искусно и даже с некоторым грациозным юмором дал понять, что он хотя и защитник отечества, но отнюдь не простой солдатик, а вольноопределяющийся, и туманно намекнул на свое благородное происхождение, а также довольно кстати ввернул французскую фразу, но так как не был уверен, что написал ее без ошибок, то с душевной болью замазал ее чернильным карандашом.

Он просил мадемуазель Ксению как можно подробнее написать ему о себе, упомянул вскользь о своем разочаровании в любви, напустил на себя даже нечто лермонтовское и прибавил, что будет в долгие окопные ночи с нетерпением ждать письма от своего далекого друга, ибо он надеется, что они со временем непременно сделаются друзьями, а может быть... Тут Петя поставил красноречивое многоточие почти на целую строчку.

Насчет долгих окопных ночей Петя приврал, так как в это время их батарея как раз стояла в резерве под Минском и Петя с двумя другими вольноопределяющимися весьма удобно устроился в отдельной халупе, где они втроем усердно и не вполне безгрешно ухаживали за хорошенькой, круглолицей дочкой беженки-белоруски, которая стирала им за паек бельишко.

В это время на фронте было затишье, и ответ получился довольно скоро.

На этот раз правнучка героя Отечественной войны писала уже не на обыкновенной копеечной почтовой бумаге, а прислала письмо в надушенном конверте с сиреневой сургучной печатью.

Письмо это содержало всего несколько строк, правда, довольно любезных, и было подписано всего одной буквой «К».

Это привело Петю в восторг. Он сейчас же ответил очень длинным, искусно составленным посланием, цель которого была выудить у мадемуазель Сеславиной как можно больше интересных сведений о ней самой и в особенности разузнать, сколько ей лет и какова ее наружность.

С этой целью он почтительно просил «далекого друга» прислать ему фотографическую карточку для того, чтобы, как писал хитрый Петя, он мог увидеть лицо своего ангела-хранителя.

Расставив сети, Петя стал ждать.

Второе письмо пришло также довольно быстро и было уже гораздо более игривое, хотя из него Петя ничего определенного о своей адресатке не узнал, а насчет фотографии вообще умалчивалось.

Но зато стояла подпись: «Ваша Кс.».

«Моя Кс.!» — так начал Петя свой восторженный ответ.

Но на следующий день Петину батарею двинули на передовую позицию, начались тяжелые бои, потом их перебросили из-под Барановичей в Галицию, из Галиции на Румынский фронт, так что, когда наконец до Пети дошел ответ — все такой же загадочно-неопределенный, хотя на этот раз подписанный уже «Ваша Ксения», Петя успел охладеть к переписке и ответил небрежной открыткой, в которой, впрочем, не забыл упомянуть, что пишет на бруствере окопа между двумя атаками, что и на самом деле соответствовало действительности.

Таким образом, переписка с правнучкой сама собой погасла.

Но, попав в лазарет, Петя вспомнил свою Ксению и на всякий случай послал ей открытку.

Теперь он держал в руках ее ответ.

От письма по-прежнему пахло персидской сиренью. Правнучка в самых нежных выражениях приглашала «своего милого, старого друга», как она писала, навестить ее как-нибудь вечерком в ее тихом уголке, причем выражала надежду, что рана Пети не так серьезна, чтобы «эти противные хирурги» могли помешать их свиданию.

Петино воображение заиграло со страшной силой. Выждав для приличия два дня, которые ему показались двумя месяцами, сгорая от нетерпения, он отправился к своей Ксении.

У него было восхитительное, взвинченное настроение, немного, впрочем, испорченное той легкостью, с которой дежурный врач разрешил ему выйти в город.

— Я пойду с костылем? — спросил Петя, неуверенно глядя на врача.

— Он вам нужен, как мертвому припарка,— сказал

врач, посмотрев на прапорщика цинически-веселыми глазами.— Впрочем, можете взять для декорации хоть два костыля. Мне не жалко.

Много возни было с одеждой.

Мотя очень хорошо заштопала на Петиных бриджах дыры, пробитые осколком, и отпарила кровавое пятно, след от которого все же остался.

Френч был тоже отпарен и выглажен. Грязные хромовые сапоги Чабан вычистил до возможного блеска и, войдя на цыпочках, как величайшую драгоценность, поставил их на коврик у кровати.

— Только вы, прапорщик, не разводите с вашей дамой лирики, а сразу же берите ее за корсет и не давайте опомниться,— сказал корнет Гурский.

— Вы циник,— смущенно ответил Петя, но в глазах у него при этом был игривый блеск.

— Бон шанс, как говорят наши союзники-французы! — крикнул вдогонку корнет, и Петя, стараясь не делать слишком быстрых движений, необоснованно кряхтя якобы от боли, спустился мимо санитаров и сиделок по затертой мраморной лестнице и при помощи Чабана сел на извозчика, положив раненую ногу на откидную скамеечку, а костыль — рядом с собой на тиковое полосатое сиденье.

— Николаевский бульвар, целковый! — крикнул Петя гвардейским голосом, сам удивляясь, откуда у него взялись эти барские баритональные ноты, тем более, что в кармане у него лежала всего одна синенькая пятерка, которую он «позычил» у того же хозяйственного Чабана.

— Не посрамите честь нашего лазарета! — раздался сверху голос корнета, и Петя увидел на балконе все население палаты, махавшее ему руками и полотенцами.

— Будьте уверены! — процедил сквозь зубы Петя и, заломив на затылок свою боевую фуражку, сказал извозчику: — Трогай!

Трудно поверить, но Петя впервые в жизни ехал один и совершенно самостоятельно на извозчике.

В семействе Бачей извозчик был такой недоступной роскошью, как первый класс на железной дороге, ветчина фрикандо, квартира в бельэтаже, диагоналевые

брюки и многое другое, не говоря уже о паюсной икре, ананасах, меренгах со сбитыми сливками.

К извозчику прибегали в самых крайних, экстренных случаях, так же, как и к телеграфу. Извозчик и телеграмма были составной частью всякого трагического случая. На извозчике посылали за доктором, а телеграмма извещала о смерти.

За всю свою жизнь Петя ездил на извозчике всего два или три раза — на вокзал и с вокзала,— и то вместе с папой, Павликом, багажом и тетей, сидя у кого-нибудь на руках или на козлах.

Теперь же он ехал один — интересный раненый офицер с костылем, и, главное, куда? На свидание с девицей, правнучкой героя двенадцатого года, которая жила в самом аристократическом районе города — на Николаевском бульваре, Воронцовский переулок.

Петя ожидал увидеть богатый особняк или в крайнем случае старинный флигелек времен Дерибаса, спрятанный в зарослях персидской сирени, тихий будуар с розовой шелковой лампой, затем кушетку, козетку или что-нибудь в этом роде, узкую ладонь, прижатую к его губам, прическу «директуар» и длинные алмазные серьги в крошечных алых ушках.

Однако все оказалось совсем не так.

Петя попал в полуподвальную квартиру большого доходного дома, где его встретила худая, рослая, пожилая девушка с черной бархатной ленточкой на открытой жилистой шее и с длинными желтыми зубами, в которых она держала тонкую папироску.

Ее глаза, похожие на какие-то крупные полудрагоценные уральские камни, неподвижно сверкали, корсет скрипел, муаровая юбка шумела.

— Вы прапорщик Бачей, я не ошиблась? — радостно сказала она и, прищурившись, выпустила из ноздрей две струйки табачного дыма.

— Так точно,— ответил Петя.

— Я Ксения. Вы как раз кстати. Вы нам крайне необходимы. Вы будете Простаков. Там всего несколько слов и очень несложный костюм. На худой случай можно надеть простую косоворотку с шелковым поясом. Костыль оставьте в передней. Я вижу, он вам совсем не нужен... Месье и медам! — закричала она гусиным голо-

сом, отодвигая поеденную молью портьеру с помпончиками.— Позвольте вам представить моего старого друга прапорщика Бачея. Он ранен, но не настолько сильно, чтобы не сыграть Простакова. Прошу вас, Пьер.

Она взмахнула рукой с папироской, и на Петю посыпался пепел.

Небольшая комната, дурно освещенная стоячей лампой-торшер, похожей на жирафа в зеленой шляпке, с полочкой из пятнистого мрамора,— столовая и в то же время будуар и гостиная — была наполнена гостями, занятыми распределением ролей. У всех в руках были тетрадки.

Затевался любительский спектакль в пользу раненых солдатиков. Почему-то выбор пал на комедию Фонвизина «Недоросль».

Во всем этом было что-то весьма старомодное, манерное, а главное, пресное, и настолько не соответствовало представлению Пети о «пользе раненых солдатиков» и о том, что происходило в России, что Петя даже позволил себе слегка улыбнуться.

— Вы скептик,— сказала правнучка героя и сунула ему в руки роль Простакова — тоненькую, сшитую серой ниткой, залапанную тетрадку с овальным штемпелем театральной библиотеки.

Петя прочел первую фразу, написанную каллиграфическим писарским почерком:

«**Простаков** (от робости запинаясь). Ме... мешковат немного».

Петя посмотрел на окружавших его юнкеров, военных чиновников, гимназистов и прапорщиков — будущих исполнителей Милона, Скотинина, Стародума и прочих персонажей бессмертной комедии — и чуть не заплакал от досады.

Он уже, проклиная все на свете, готов был бежать, но даже и тут ему, как всегда, повезло.

Едва он, притворившись, что углубился в свою тетрадку, собирался незаметно нырнуть в переднюю и драпануть, как вдруг заметил двух прехорошеньких барышень, которые, обнявшись, сидели на подоконнике и делали ему весьма милые гримасы.

Одна была худенькая, другая полненькая. Но обе одеты, как близнецы, в совершенно одинаковые анг-

лийские юбки и фланелевые кофточки с большими атласными бантами на шее и одинаково причесанные по тогдашней моде «директуар», то есть с волосами, забранными вверх и заколотыми на затылке настоящими черепаховыми гребнями, так что нежные шейки и затылки девушек были прелестно открыты и совсем «по-мопассановски» курчавились легкими, как шелк, завитушками, как бы созданными для поцелуя.

И в Петиной жизни опять все волшебно изменилось.

— Вы, собственно, кто? — спросила полненькая.

— Я господин Простаков,— ответил Петя и чуть было не прибавил вводное предложение, но вовремя прикусил язык.

— Так поздравляю: я ваша супруга госпожа Простакова.

— А я нянька Митрофанушки, Еремеевна,— грустно заметила худенькая.

Петя с удовольствием рассматривал хорошеньких девушек, поворачиваясь то к одной, то к другой, не в силах решить, которая лучше.

«Обе лучше»,— подумал он легкомысленно и тут же стал напропалую ухаживать за обеими, замолов такой веселый армейский вздор, что даже сам удивился, откуда у него это берется.

Барышни охотно поддержали этот бесшабашный флирт, так что не прошло и двух минут, как Петя Бачей уже сидел на подоконнике между двумя красавицами, которые оказались дочерьми генерала Заря-Заряницкого Шурой и Мурой, так же случайно, как и сам Петя, влипшими в эту глупейшую затею с любительским спектаклем.

«Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь»,— весело думал Петя, тайком пожимая ручки то одной, то другой мадемуазель Заря-Заряницкой.

Теперь уже ни о каком любительском спектакле не могло быть и речи. Хотелось как можно скорее втроем улизнуть на свежий воздух, что Петя без замедления и устроил, бесхитростно разыграв на правах раненого острый припадок слабости, почти обморок, а хитрые сестрички вызвались его отвезти в лазарет.

Однако вместо лазарета они втроем попали в кине-

матограф «Киноуточкино», где в толпе солдат и матросов смотрели «Отца Сергия» с душкой Мозжухиным, в которого обе барышни, разумеется, были давно влюблены. Потом гуляли по Дерибасовской и съели по два шарика орехового мороженого в заведении Кочубея в городском саду...

Одним словом, на другой день после бессонной ночи, проведенной в колебаниях, кому из двух сестричек отдать предпочтение, Петя, скрипя костылем по гравию, по широкой аллее подошел к даче Заря-Заряницких.

13

ЧЕТВЕРТАЯ СЕСТРА

Сквозь багровые листья дикого винограда слышались звуки веселого обеда, а на ступеньках террасы присевший на корточки солдат в красных погонах крутил повизгивающую ручку мороженицы.

Уже по одному этому звуку, похожему на шум жернова, с хрустом размалывающего крупную соль, смешанную с битым льдом, Петя сразу понял, что попал на семейный праздник с парадным обедом и мороженым.

Он остановился в нерешительности и уже хотел повернуть назад, как в это самое время был замечен, уличен, подхвачен с обеих сторон под руки и, как бы окруженный душистым облаком лент и локонов, теплотой нежных оголенных рук, блеском счастливых глаз, таким веселым и таким искренним смехом, был введен на террасу, где сразу очутился в обществе девушек, офицеров и студентов и был представлен нарядной даме, которая милостиво протянула ему руку в кружевном рюше и улыбнулась, как старому знакомому.

— Это наша маман,— сказали в один голос Шура и Мура.

Стараясь держать себя как можно непринужденнее, Петя сделал глубокий поклон и поцеловал кольца, которыми были унизаны худые, легкие пальцы генеральши.

— Так сказать, с корабля на бал,— не совсем

кстати, но все же довольно самоуверенно произнес Петя и тут же уронил костыль на какую-то кошку с бантом, которая мяукнула и зашипела на него из-под стола.— Пардон,— сказал Петя с развязной улыбкой, стараясь в то же время, чтобы с его губ не сорвалось что-нибудь нецензурное.— Я, кажется, нечаянно стукнул по башке вашу фаворитку.— Он хотел сказать «левретку», но вовремя спохватился, что к кошкам это не относится...— Хотя вообще все эти маленькие домашние животные довольно милы и создают атмосферу семейного уюта, не правда ли, мадам?

Все это Петя проговорил в отвратительном армейском стиле, сам себя презирая и удивляясь, откуда у него взялась эта пошлость.

Однако хозяйка, еще раз одарив Петю именинной улыбкой, отпустила его милостивым взглядом, и Петей снова завладели нарядные сестрички.

Оказалось, что они двойняшки, хотя и не двойники, и что нынче день их рождения — шестнадцать лет,— и что они нарочно ничего не сказали об этом Пете, чтобы он не тратился на букеты и конфеты.

На террасе царило веселье.

Только что съели бульон с маленькими слоеными пирожками, и теперь солдат в белых нитяных перчатках вносил блюдо с такими же маленькими куриными котлетками, так аппетитно посыпанными зеленой петрушечкой, что Петя едва не издал восклицания, после которого его дальнейшее присутствие здесь, конечно, навсегда бы закончилось. Но он вовремя прикусил язык.

За столом сидело человек двадцать офицеров. Но это не были те случайные офицеры военного времени и маленьких чинов, обычно составлявшие общество Пети. Это были настоящие кадровые офицеры, не ниже поручика, среди которых Петя заметил даже двух подполковников: одного с орденом св. Владимира с мечами и бантом, а другого с георгиевским крестом, но не таким, как у Пети, серебряным, солдатским, а офицерским, белоснежно-эмалевым, так выпукло, неотразимо скромно и одиноко висевшим на груди просторной офицерской гимнастерки, сшитой из самого лучшего штиглицовского материала цвета шанжан, из которого носил свои кителя сам бывший государь-император.

Петя первый раз в жизни был в гостях в богатом генеральском доме. Несмотря на все свое душевное сопротивление, он все же испытывал унизительное чувство бедного человека, попавшего в гости к богачу.

Он изо всех сил старался держаться независимо, но самолюбие его все-таки сильно страдало.

Ему казалось, что все эти кадровые офицеры со всеми их орденами, академическими значками, дорогим походным снаряжением из магазина гвардейского экономического общества, отличными сапогами, кожаными походными портсигарами через плечо, запахом английского одеколона, жестко подстриженными усами, маленькими золотыми и серебряными нашивками за ранение, неприступным и, как казалось Пете, презрительным выражением лица терпят его присутствие только из уважения к хозяйке дома и снисходя к капризу двух виновниц семейного праздника.

Петя заметил, что все они состоят между собой как бы в родстве или, во всяком случае. связаны какими-то особыми узами не только домашней, но и служебной дружбы.

Петя знал, что глава дома генерал Заря-Заряницкий находится в действующей армии, где командует корпусом, а большинство офицеров — его подчиненные сослуживцы.

Здесь был также его адъютант с защитными походными аксельбантами, муж старшей дочери генерала. Он только что приехал на несколько дней с позиций и привез письма.

Это был разбитной поручик, весельчак и душка, который на правах близкого родственника, несмотря на свой небольшой чин, вел себя с развязной уверенностью в своей неотразимости, то и дело целовал генеральше ручки, называл ее «мамочка» и бросал слишком длинные и слишком томные, нескромно восхищенные взгляды миндалевидных армянских глазок на свою молодую жену, которая, впрочем, вполне заслуживала восхищения.

Если Шура и Мура были просто очень хорошенькие, то она была во всех отношениях красавица, с тем преимуществом перед любой обыкновенной красавицей, что хотя и знала себе цену, но не слишком задавалась и

вела себя очень просто, прелестно-весело, оживленно, рассыпая вокруг добрые, благожелательные улыбки.

Улыбнулась она также и Пете. Даже слегка по-гимназически подмигнула, как бы желая сказать: «Не смущайтесь, прапорщик, здесь все свои!»

От этой улыбки Петя весь загорелся, заблестел, как новенький грош.

— Инка, не сметь,— в один голос закричали рожденницы,— это наш кавалер! Мама, скажи ей, чтобы она не смела отбивать! А то снова начинается...

— Ну вот, уж ни с кем нельзя и пофлиртовать. Какая скука! Ну ладно, ладно, не буду. Так и быть. Забирайте себе вашего прапорщика, только не плачьте.

И она, еще раз подарив Петю дружеской улыбкой, повернулась в другую сторону.

— Имейте в виду, что вы теперь абсолютно наш,— сказали сестрички и стали с двух сторон накладывать ему на саксонскую тарелку куриные котлеты.

И Петя почувствовал себя вдруг удивительно лёгко и просто среди всех этих дам и кадровых офицеров, которые еще за минуту перед тем казались ему не только чужими, но чуть ли не враждебными.

Теперь Петю стесняло лишь одно. Он все еще не сделал выбор между своими соседками, хотя уже и был по уши влюблен.

В кого же он влюблен? Или, вернее, во что? Он был влюблен во все, что его окружало. Он находился в том счастливом состоянии упоения жизнью, которое бывает у человека лишь в первой молодости, да и то не часто. Оно налетает внезапно, как порыв бури.

Все силы Петиной души были собраны и напряжены, и всеми этими силами он был влюблен в своих соседок; был влюблен в зеркальный блеск уже не очень теплого, но ласкового послеобеденного сентябрьского солнца, который понизу озарял полуоблетевший приморский сад и, сухо сияя слюдой, скользил туда и обратно по длинным паутинкам, растянутым между туй и тамарисков; был влюблен в генеральскую походную бекешу на веревке между яблонь, проветривающуюся перед отправкой на позиции; наконец, он был влюблен в розовые листья, кое-где уцелевшие еще на старой груше; в туманно-голубую полосу заштилевшего моря за садом;

в багровые листья дикого винограда, рдеющие как угли и наполняющие террасу винно-красным, церковным светом; в генеральшу, которую все офицеры называли «мамочкой»; в красавицу Инну и в ее мужа-армянина, в густо-желтое домашнее сливочное мороженое и даже в пряные кусочки ванили в этом единственном в мире мороженом — одним словом, он был влюблен во все и сверх этого всего еще во что-то, чего он еще не заметил, но уже чувствовал где-то рядом с собой.

Это было похоже на ощущение человека, который идет однажды вечером ранней-ранней весной по городу и вдруг начинает замечать, что все вокруг как-то необъяснимо прекрасно: прекрасны освещенные окна, витрины, фонари, стены домов, тени людей и еще голых деревьев. Во всем чувствуется какая-то особая, необъяснимая прозрачность, как будто бы ко всему этому примешано еще что-то волшебное, таинственное, но откуда оно, это колдовское, зеленоватое свечение, вы еще не понимаете, и это вас странно волнует.

Что ж это? Откуда оно?

И вдруг вы случайно подымаете глаза и видите в бездонной высоте, над краем крыши, кусочек лунного неба и месяц — такой ясный, такой зеленовато-прозрачный, такой сказочный и нездешний между трубой и чердаком среди бриллиантового сияния города...

Тогда вы понимаете, что это именно его нежный гелиотроповый свет почти неощутимо присутствует всюду, примешивается ко всем огням, даже к вспышке зажженной спички, от всех предметов положил слабые, пепельные тени, исподтишка отразился в каком-нибудь темном окошке и наполнил мир лилейной прелестью мартовского вечера.

Нечто подобное случилось с Петей. Он чувствовал присутствие кого-то или чего-то, но не мог понять, что это, кто это. И странно волновался все время, пока вдруг случайно не повернул голову и не увидел девушку, которая уже давно смотрела на него в упор, слегка исподлобья, темными и, как показалось Пете, требовательными, но вместе с тем нежными глазами.

Это была еще одна дочь Заря-Заряницких, возрастом старше сестер-двойняшек, но младше красавицы Инны.

Петя сначала совсем не обратил на нее внимания,—

так незаметна, «неощутима» она была. Теперь же, встретившись с ней взглядом, в один миг понял, что, в сущности, только она одна и существует для него во всем мире.

Обед кончился. Она встала. Петя заметил, что она невелика ростом — гораздо ниже своих сестер — и не так красива, как старшая.

Но в ее лице, кроме общего всем барышням Заря-Заряницким выражения веселого юмора, Петя разглядел еще какую-то черточку на переносице, возле бровей, делавшую ее лицо гораздо более значительным, чем полагалось девушке ее круга...

У нее были крупно вьющиеся волосы бронзового оттенка, маленькие ручки, маленькие ножки, обутые в туфельки на французских каблуках, делавшие ее более похожей на молодую женщину, чем на семнадцатилетнюю барышню.

Ее манеры были более свободны, чем у сестер, но не так развязны, и в ней угадывалась любимица в семье, которой позволялось больше, чем остальным.

Она подошла к Пете, прислонилась к столбику террасы и некоторое время молча смотрела на него с откровенным любопытством и тайной грустной улыбкой.

— Вы не обращайте внимания, это она вас обольщает! — закричали Шура и Мура, становясь по сторонам Пети, как часовые.— Это наша сестра Ирина. Если хотите доставить ей удовольствие, называйте ее Ирен. Но будьте осторожны. У нее ужасный характер. Она сегодня поссорилась с женихом и теперь будет ему мстить. Не попадайтесь.

Ирен и бровью не повела, слушая болтовню сестер. Она продолжала смотреть на Петю серьезными глазами и улыбалась.

— А я вас давно знаю,— наконец сказала она.

— Каким образом?

— Мы когда-то покупали черешни. Ведь это вы жили на хуторе Васютинской?

Петя смутился. Почему-то ему было неприятно это напоминание.

— Мы, собственно, не специально торговали... а, так сказать...

— Да, да. Я знаю. Ваш отец должен был оставить

службу, и вы бедствовали. Я что-то слышала. Но мне было тогда всего двенадцать лет. Я была еще совсем девочка. Мы ходили к вам с Инной и ее многочисленными поклонниками. Я подставляла корзинку, а вы сыпали черешню. Но вы меня, наверное, совсем не помните?

— Не помню,— сказал Петя, стараясь представить девочку с корзинкой.

Она, наверное, была тогда в коротком платьице, с локонами до плеч. Какого же цвета могли быть банты у нее на голове: белые, шоколадные? А может быть, она была просто Красная Шапочка?

Теперь уже ему казалось, что он ее помнит и никогда не забывал.

— А я вас очень хорошо запомнила. Вы были в летней гимнастической курточке, без пояса и босиком. Черномазый мальчуган! У вас волосы на макушке торчали, как у индейца. И это мне очень нравилось. Еще была какая-то барышня. Во всяком случае, я хорошо помню возле вас какую-то хорошенькую девицу.— Ирен нахмурилась.— Кто она? — спросила она требовательно.

— Я не знаю, о ком вы говорите.

— Нет, вы очень хорошо знаете.

Петя покраснел.

— Вы ее любили?

Она спрашивала с таким видом, как будто имела на это непререкаемое право.

— Вы странная,— сказал Петя.

— Она не странная, а она вас влюбляет. У нее такая манера,— сказали Шура и Мура.— Но вы не поддавайтесь, потому что и нас потеряете и ее не найдете и останетесь, как буриданов осел. Впрочем, как хотите.

Шура взяла Муру за талию, и они, морща носики, не оглядываясь, удалились на крокетную площадку, где их ждали новоприбывшие гимназисты.

— Пойдемте в сад,— сказала Ирина и, совсем по-детски взяв Петю за палец, потащила вниз по ступенькам.

Вдруг она вспомнила, что он ранен, остановилась и взяла его под руку.

— Вам больно?

Теперь она смотрела на Петю снизу вверх. Даже на

высоких каблучках она была ненамного выше Петиного плеча с погонами.

Он не успел опомниться, как она уже полностью завладела им. Он только жалобно смотрел на нее, как бы желая сказать: «Что вы со мной делаете?»

И с этого мига для Пети началось то мучительное и вместе с тем блаженное состояние, которое называется любовью с первого взгляда.

Как это случилось, откуда она взялась? Не знаю. Причины любви неизвестны. О них можно только гадать. Признаки же разные.

Один писатель сказал, что верный признак начавшейся любви есть потеря чувства времени, нечто вроде лунатизма. Может быть, и так.

Для Пети любовь началась с острого припадка ревности. Еще прежде, чем он понял, что влюблен, он уже испытывал мучительный приступ ревности.

У нее есть жених. Свет померк в глазах Пети. Брезжила надежда: может быть, о женихе сказано в шутку?

— Это правда, что у вас есть жених? — спросил Петя.

— К сожалению, правда.

— Почему же к сожалению?

— Потому что я его не люблю.

— Но тогда... Почему же тогда он ваш... жених?

— Теперь об этом поздно рассуждать.

— Почему?

— Слова не вернешь.

— Слова! — воскликнул Петя.

Ему показалось чудовищным, что из-за какого-то «слова», пустого звука, может быть зависимо его счастье, его жизнь. О ее счастье и о ее жизни он даже не подумал.

— Боже мой! Слово...— повторил он.

— Не только слово,— сказала она очень серьезно.

Она сняла с Петиной головы фуражку и осторожно провела рукой по его волосам. Он не видел в темноте выражения ее лица. Оно было того неопределенного, слепого белого цвета, какого бывают летней ночью цветы садового табака.

Несомненно, это была потеря чувства времени.

Наступал поздний вечер, почти ночь; и они стояли в конце аллеи у гипсовой балюстрады над обрывом.

Петя не помнил, как они сюда попали и что было до этого. Во всяком случае, ничего связного. Играли в крокет. Приходили новые гости. Шура и Мура давно забыли о Пете. Он им просто надоел.

Они уже были увлечены кем-то другим.

Вероятно, для всех остальных этот праздничный вечер на даче вполне последовательно располагался во времени. Для Пети же он как бы мелькнул вне времени и пространства, оставив в памяти лишь «Полишинеля» Рахманинова, пробежавшего вприпрыжку по клавишам, быстро звеня и встряхивая всеми своими бубенчиками, а потом звуки сильного молодого меццо-сопрано, летевшего с террасы,— «В саду малиновки звенят и для тебя раскрылись розы» и до слез сжимающее горло «Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю».

А в то же самое время на крокетной площадке кто-то высоко держал в руке зажженную лампу над проволочной мышеловкой, где сошлись два шара — первый черный и третий красный,— и от того, какой из них первый пройдет мышеловку, зависела партия, и мешались тени людей и крокетных молотков.

Но это было неважно. Важно было, что она рядом.

И, когда в саду похолодало и она, извинившись, побежала в дом взять теплый платок, а Петя остался на несколько минут один без нее, то он ужаснулся при одной лишь мысли, что вдруг она уже больше никогда не вернется.

Но она вернулась.

Теперь они стояли над обрывом. Внизу было море. Ночь была черным-черна и вся осыпана траурными звездами. Было слышно, как в темноте вздыхает прибой, еще по-летнему широкий, ленивый.

Один раз по горизонту прошла дымно-голубая полоса военного прожектора.

— Коснуться рук твоих не смею,
А ты любима и близка,—

шепотом проговорила Ирен и коснулась головой Петиного плеча. Ее голос звучал таинственно.

В воде как золотые змеи
Блестят огни Кассиопеи
И проплывают облака.

— Что это? — спросил Петя.

— Стихи,— ответила она и продолжала:

Коснуться берега не смеет,
Журча, послушная волна.
Как море сердце пламенеет,
И в сердце ты отражена.

Петя молчал, пораженный странным, как бы слепым выражением ее лица.

— Я отражена в вашем сердце? — спросила она.— Молчите, не говорите мне ничего...

Вокруг нерешительно поскрипывали последние осенние сверчки. В сентябре они еще доигрывают свою бедную степную музыку. В октябре их уже не слышно, и тогда черную землю охватывает мертвая тишина.

Но в эту ночь сверчки еще подавали свой голос.

Гости разошлись. На даче закрывали ставни.

Ирен проводила Петю до калитки.

— Послушайте,— сказала она, немного помолчав, тихим, но решительным голосом.— Не шутите. Это все очень серьезно. Может быть, более серьезно, чем вы думаете. Со мной **так** первый раз в жизни. Верьте мне. Вы верите?

— Верю.

Ему казалось, что с ним происходит что-то небывалое.

— Приходите.

Они простились. Петя не помнил, что они при этом сказали друг другу. Он только знал, что это все очень серьезно. Так еще никогда не бывало. Его душа была в смятении.

Он ковылял со своим костылем по пыльному переулку среди молчаливых, частью уже опустевших дач, осыпанных крупными дрожащими созвездиями, но ему казалось, что он летит на крыльях.

«Начинается новая жизнь. Начинается новая жизнь»,— пело в нем на все лады. Иногда он ненадолго останавливался и смотрел в небо, где часто и легко, как светящиеся пчелы, пролетали падающие звезды, и он торопился шепнуть им желание своего сердца.

Ему хотелось поскорее добраться до лазарета и поскорее заснуть, для того чтобы поскорее наступил новый день, когда снова можно будет увидеть ее.

Они только что расстались, а он уже бредил новой встречей.

Но на другой день, когда перед вечером Петя пришел на дачу, то оказалось, что Заря-Заряницкие уже переехали в город: окна были заколочены, а на крокетной площадке среди неубранных дужек лежал дубовый шар с двумя красными обившимися полосками.

Петя обошел сад и постоял на том месте возле гипсовой балюстрады на краю обрыва, где она сняла с него фуражку и погладила по волосам.

Погода испортилась. По небу гряда за грядой шли серые тучи. Деревья почти совсем облетели. И Пете был виден не только весь сад из конца в конец, но также неубранное кукурузное поле за садом, а за кукурузным полем с высокими золотыми метелками открытая пустая степь, где кое-где на ветру шатался и вздрагивал сухой бурьян и блестели слюдой, как разлитая вода, лиловые иммортели.

Море внизу уже не вздыхало, а со стоном обрушивалось на скалы, протяжно, раскатисто шумело, и белоснежная пена, взбитая штормом, лежала вдоль пустынных берегов.

Петя почувствовал себя одиноким, брошенным, как эти дачи с заколоченными окнами, забытые до будущей весны.

14

«СИЯЛА НОЧЬ! ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД...»

Петя понял, что все кончено.

Но, собственно, что все? Он вообразил себе бог знает что. Теперь он рассуждал вполне трезво. В сущности, между ним и ею решительно ничего особенного не произошло. Был обыкновенный дружеский разговор, может быть, флирт, но не больше.

Все это выросло в воображении Пети до чудовищных размеров: до взаимной любви с первого взгляда, до безумной страсти и прочей чепухи.

Несколько дней ему казалось, что все прошло. Он успокоился.

Но однажды ночью, внезапно, без всякой видимой причины, его охватило жгучее желание увидеть ее немедленно.

Он едва дождался утра.

Не было еще десяти часов, когда он разыскал дверь с большой дощечкой, где красиво прописью с черными нажимами была выгравирована фамилия генерал-лейтенанта Заря-Заряницкого, показавшаяся прапорщику на ярко начищенной меди верхом роскоши и богатства.

Понимая, что он поступает, как мальчишка, но не в силах сладить с собой, он нажал белую фаянсовую кнопку.

Почти одновременно с громким звуком сильного электрического звонка дверь щелкнула и как бы сама собой отворилась.

На пороге, прислонившись головой к косяку и обеими руками прижимая к груди концы шерстяного домашнего платка, стояла Ирен.

— Я знала, что это вы.

— Простите, что в такой ранний час...

Петя с трудом перевел дух.

Она смотрела на него нахмурившись.

— Как вы смели так долго не являться? Пойдемте ко мне в комнату,— сказала она шепотом и совсем просто, как-то по-домашнему взяла его под руку.— Вчера с позиций приехал отец.

Петя увидел на вешалке генеральскую шинель солдатского сукна на красной подкладке, рядом шашку с темляком на длинной георгиевской ленте и с золотым эфесом.

Под вешалкой стоял большой походный чемодан.

— На фронте что-то ужасное,— продолжала она шепотом.— Полное разложение. Солдатня совсем взбесилась. На какой-то станции отца вытащили из вагона и чуть не растерзали. Он насилу вырвался. Боже мой, что с нами со всеми будет?

Она на цыпочках провела Петю через всю громадную, тихую барскую квартиру с дверями, выкрашен-

ными по последней довоенной моде «модерн» в зеленовато-болотный цвет.

— Мама и папа спят. Инка в госпитале. Девчонки в гимназии. Вы меня в самом деле любите? — сказала она шепотом и посмотрела на него глазами, которые теперь, при дневном свете, показались ему лиловатыми, как полураспустившаяся сирень.

Она села за свой хрупкий письменный столик на тонких модернистых ножках и положила голову на изящный бювар с промокашкой, закапанной чернилами.

Он сел на низкую скамеечку, так как другой мебели, кроме узкой никелированной кровати, застланной белым марсельским одеялом, в этой крошечной комнате с зеленоватыми декадентскими обоями не было.

На спинке кровати висело сахарное пасхальное яичко и овальный образок св. Ирины. На подушку была положена кружевная накидка, сквозь которую просвечивала большая метка гладью.

Петя с жадностью смотрел на все эти вещи, чувствуя, что они как бы делаются частью его души.

Слишком крепко затянутый в талии своим френчем, из которого, как это ни странно, Петя успел уже немного вырасти, он с трудом мог вздохнуть и боялся пошевелиться, чтобы не нарушить тишины, обступившей его со всех сторон.

Он облокотился спиной на холодную батарею центрального отопления, и она резала ему спину.

На стене на ленточках симметрично висели две самодельные гипсовые тарелочки с английскими головками и лошадиными мордами, а немного подальше Петя увидел фотографию офицера с мрачными глазами и квадратным подбородком.

— Это ваш жених? — спросил он чужим голосом.

— Да,— ответила она, не поднимая головы.

Петя с отчаянием и нежностью смотрел на ее слабо развитые плечи, завернутые в платок, и на крупные завитки красивых волос.

Ему показалось, что она плачет.

— Что с вами? — чуть дыша проговорил он и нерешительно протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча.

— А что? — быстро спросила она, поднимая голову,

и посмотрела на Петю с любопытством.— Может быть, вы подумали, что я плачу? — Она засмеялась.— Вообще я боюсь, что вы себе что-то вообразили. Но все равно. Я вас обожаю.

Она погрузила свою маленькую руку в Петины волосы и слегка их потрепала.

Несходство между той девушкой, которой была Ирина минуту назад, когда так печально сидела, положив голову на стол, и той, которой она стала теперь — банальной кокеткой с хорошо отшлифованными ноготками,— было так разительно, что Петя растерялся. Волшебный мир, который он создал себе, рухнул в одну минуту. От него не осталось и следа. Но сейчас же началось какое-то другое, новое волшебство.

Оно состояло в том, что Петя потерял волю и полностью подчинился Ирине. Она казалась ему обольстительной, как никогда.

Теперь он смотрел на нее как на существо высшее. Она была на три года младше его. Он мог считать ее девчонкой. Но все равно, теперь она была царица, а он был раб.

В один миг он удивительно поглупел.

— Нет, в самом деле, я вам нравлюсь хоть немного? — жалобно спросил он.

Ирен немного подумала, а потом важно, утвердительно кивнула головой.

— Но чем же, чем?

Она снова немного подумала.

— Вы хороший,— многозначительно сказала она, и в тот же миг он почувствовал себя не то чтобы просто хорошим, но замечательным, необыкновенным, лучше всех на свете.

— А его я ненавижу! — сказала она, в упор посмотрев на фотографию офицера.

И Петино сердце тотчас наполнилось ликованием.

— Где он сейчас? — осмелился спросить Петя.

— Его здесь нет. Я его прогнала. Он уехал на фронт, в Яссы.

— В Яссы?

— Да, он там при штабе Щербачева.

На Петю с ненавистью смотрели мрачные глаза. Теперь он не сомневался, что уже однажды их видел.

И твердый, квадратный подбородок. Или, может быть, ему это лишь кажется? Петя еще хотел что-то спросить, но промолчал. В Яссах он научился быть осторожным.

Петя засиделся у Заря-Заряницких и провел у них почти целый день.

Его представили генералу, который уже проснулся и ходил по своей барской квартире, мягко позванивая шпорами.

У него было грубое лицо властного, необразованного человека, хотя на правой стороне его груди Петя заметил значки военной академии.

Как ни странно, но все четыре дочки были очень похожи на отца, что нисколько не мешало им быть удивительно хорошенькими.

В особенности походила на генерала Ирина, и Петя, перенеся всю свою нежность с дочери на отца, стоял перед генералом с преданной улыбкой, держа по привычке руки по швам.

— Какой части? Где были ранены? — спросил генерал, и Петя отвечал с такой аффектацией, словно был готов по первому его слову броситься в огонь и воду.

При этом Петя через каждые два слова называл его «ваше превосходительство», хотя уже полагалось говорить «господин генерал».

Заря-Заряницкий потрепал прапорщика по погону и, другой рукой обняв дочку, с умилением стал целовать ей пальчики. Видно, она была его любимицей.

Генеральша была по-утреннему в кружевном пеньюаре, в бумажных папильотках, с заплаканными глазами и очень густо напудренным лицом.

Пришли из гимназии Шура и Мура, они были в темно-зеленых форменных платьях, черных будничных передниках и с салатными бантами в косах.

Они бросили свои клеенчатые книгоноски на подзеркальник в передней, и сразу же гулкая квартира наполнилась их свежими голосами.

Они принесли городские новости: бросили работу трамвайщики по всей Ришельевской; от Александровского участка до Городского театра стоят пустые вагоны; бастуют рабочие порта, заводов Кранцфельда и Гена, электрической станции.

— Чего же они хотят? — сухо спросила Ирен.

— Иди спроси у них,— ответила Мура.

— Они хотят «Долой смертную казнь!», «Долой войну!», «Мы требуем перемирия на всех фронтах!», «Долой корниловцев, смерть Корнилову!» — сказала Шура.

— Я тебе запрещаю говорить подобные вещи! — крикнула генеральша.

— Это не я говорю, а так у них написано на флагах. За что купила, за то и продаю.

Вскоре вернулась домой из госпиталя, в косынке с красным крестом и в дорогой замшевой куртке, красавица Инна. Она подтвердила, что бастует электрическая станция и вечером придется сидеть без света.

Генерал несколько раз громко говорил по телефону, куда-то сообщал о своем прибытии, и невозможно было понять, приехал ли он в отпуск или просто бежал из действующей армии от солдатского самосуда.

К вечеру собрались гости, те самые, которых Петя видел на даче. Но только теперь, при зареве свечей, отражавшихся в черных стеклах окон и лаковой крышке рояля, они были мало похожи на гостей, собравшихся за чайным столом, а скорее на каких-то заговорщиков. Даже у Шуры и Муры были сумрачные, озабоченные лица.

— Это что? Конец, гибель?

— Фронта больше не существует.

— Пропала Россия.

— Бог не допустит.

— Но что же нам делать?

— По-моему, Россию может спасти только одно: немедленно открыть фронт и сдать Петроград немцам, чтобы они задушили революцию.

— Сдать Питер?

— А что вы думаете? И дурак будет Корнилов, если не сделает этого.

— Позвольте! Господа! Но ведь это измена!

— Изменой будет, если мы допустим, чтобы солдатня перебила кадровое офицерство и пустила матушку Россию под откос.

— Ну, это вы, знаете ли...

— А вашего душку Керенского на фонарь.

— Это вы чересчур. Я против таких крайних мер.

Душке Керенскому надо просто дать — пардон, мадам,— коленом под зад. А на фонарь — Ленина-Ульянова и всю его компанию. И чем скорее, тем лучше.

— Я не спорю. Но зачем такая нервозность?

— Затем, что армия бежит.

— Как! И Румынский фронт?

— Да вы что, с луны свалились? По тридцать верст в сутки драпаем.

— А Щербачев?

— Что Щербачев! Я даже не знаю, где у него сейчас находится штаб фронта.

— В Яссах!

— Не может быть!

— Скажите спасибо, что еще не в Кишиневе.

— А румыны?

— Что румыны! Вы же знаете, что это не нация, а профессия.

— Но все-таки.

— Румынской армии не существует. А если и существует, то лишь для того, чтобы при содействии немцев оттяпать у нас Бессарабию.

— Никогда!

— И даже очень скоро.

— Во всяком случае, штаб одной из наших дивизий уже с божьей помощью находится в Оргееве.

— Так это же почти рядом с Одессой?!

— Не рядом, но все же...

— Позвольте! Выходит, что неприятель на носу.

— Если на вашем, то мы еще успеем пообедать.

— Старо! Не обкрадывайте старика Багратиона.

— Нет, кроме шуток, где же выход?

— Как хотите, господа, а выход один: Центральная Рада.

— Это еще что за птица?

— Украинское правительство.

— Что? Самостоятельная Украина? Гоп, мои гречаники? Только не это.

— А Совдепы лучше?

— Только не самостийная Украина. Сегодня Украина. Завтра Финляндия. Послезавтра Кавказ. Потом Туркестан. А там Курская республика. Тульская республика... Так мы, господа, всю Россию профукаем. Сумасшествие!

— А социалистическая республика не сумасшествие? Все что угодно, но только не это.

— Социализм — это гибель цивилизации.

— Только открыть немцам фронт! Если мы сами не в состоянии справиться с большевистской солдатней, то пусть их приведет в христианский вид Вильгельм Второй.

Если бы Петя не был в невменяемом состоянии влюбленности, он бы, наверное, ужаснулся тому, что он слышит.

Но смысл страшных слов о гибели России, о необходимости открыть фронт, о том, что лучше Вильгельм, чем революция, почти не доходил до его сознания, а если и доходил, то в каком-то странно искаженном виде.

Впрочем, временами к нему возвращалась способность мыслить, и тогда он понимал, что все то, что он слышит, не только ужасно, но просто преступно, что он, как русский офицер и патриот, не должен этого даже слышать.

Но Ирен была рядом. Он касался ее плеча. Свечи отражались в рояле. Время исчезло. Ничего в мире не существовало для Пети, кроме страстного меццо-сопрано красавицы Инны, которое, заглушая звуки аккомпанемента, заставляло дрожать черные оконные стекла:

Сияла ночь! Луной был полон сад.
Сидели мы с тобой в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.

Их сердца дрожали.

Потом Ирен и Петя снова сидели в ее комнате, но только теперь поменялись местами. Она сидела на скамеечке, а он на стуле. И она положила голову ему на колени, туго обтянутые бриджами.

— Я вас люблю,— сказала она шепотом и посмотрела на Петю так, что у него потемнело в глазах.

Он понял, что теперь она уже больше не шутит.

Потом она открыла ящик столика и вынула маленький дамский револьвер с никелированным барабанчиком и дулом и перламутровой ручкой.

— Его подарок,— сказала она со странной улыбкой.

Петя понял, что это подарок жениха.

Дверь была полуоткрыта. Из глубины квартиры в темную комнату проникал слабый свет колеблющихся свечей, и Петя видел, как блестят ее глаза и никелевые части револьверчика.

— Как хорошо! — с глубоким вздохом блаженства сказала она.— Лучше уже никогда не будет. Хотите, умрем вместе? Сначала я, потом вы. Вы меня, а потом себя. Нет, нет, ни за что! — вдруг воскликнула она с ужасом, бросила револьвер в стол и захлопнула ящик.— Не слушайте меня. Я сошла с ума. Нам совсем не надо умирать. Мы будем долго, долго жить. Правда?

Она схватила его голову и прижала к груди. Он слышал, как у нее стучит сердце.

— Теперь идите.

Она взяла Петю за руку и вывела по темному коридору в переднюю. Осторожно сняла дверную цепочку и щелкнула американским замком.

— Иди,— шепнула она.

Петя стал спускаться по темной мраморной лестнице, освещенной снаружи слабым светом звезд.

— Подождите!

Она выбежала со свечой и догнала его.

— Я влюблена в вас, как кошка. Вы понимаете это? — сказала она совсем тихо и, обняв его свободной рукой за шею, сильно потянула к себе.

— Моя?

— Твоя!

Они поцеловались.

Фуражка упала с Петиной головы.

— А теперь ступай спать. И не приходи, пока я не позову. Через две недели. Мы должны сперва проверить свои чувства. И знай: я не играю больше. Я тебя безумно люблю. Так случилось. Пока об этом никто не должен знать. Дай слово.

— Даю.

Она тихонько заплакала.

Багрово-лазурное, копьевидное пламя свечи вытянулось, метнулось по стене лестничной клетки, расписанной под искусственный мрамор, бросило тени от темной электрической арматуры в виде тюльпанов.

Дверь щелкнула. Петя остался один, в темноте.

«Кто же я теперь: жених или не жених? И что со мной

происходит?» — думал Петя, идя по темному, тревожно-пустынному городу в лазарет.

Он забыл у Заря-Заряницких свой костыль, но заметил это, уже ложась в постель. Спал он глубоко и сладко до позднего утра, а когда проснулся, то сразу вспомнил, что случилось вчера, и его охватила жажда деятельности.

15

АННА ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ

Нужно было, не откладывая, что-то предпринять, устроить, обдумать.

Еще никогда Петя не казался самому себе таким рассудительным.

Перед ним сразу же встало множество затруднений и вопросов. Став женихом, он посмотрел на себя со стороны. Положение, в котором он находился, не только неприятно поразило его, но в первую минуту просто ошеломило.

Он совершенно трезво постарался взглянуть на вещи и нашел, что все очень плохо.

В самом деле. Что он собой представляет? Ничего. Офицер военного времени. Даже, в сущности, не вполне офицер, так как «прапорщик не офицер, курица не птица». Нищий молодой человек, без средств к существованию, без перспектив, без надежд на будущее.

Ему даже негде жить, кроме лазарета, так как отец снимает угол. Следующая ступень нищеты — попросту ночлежка.

Может ли Пете чем-нибудь помочь нищий, старый отец?

Быть может, тетя?

Но что в состоянии сделать для него Татьяна Ивановна? У нее своя судьба, своя неблагополучная и тоже, повидимому, довольно бедная семья.

У Пети в кармане нет ни копейки. Не в переносном, а в буквальном смысле слова. Кроме того, не сегодня-завтра его вызовут на медицинскую комиссию, осмотрят — и пожалуйте обратно на позиции.

Теперь уже Петя не питал никаких иллюзий насчет своей раны. Он ясно понимал, что рана давно уже за-

жила и он здоров. Боже мой, как быстро! А раньше казалось, что это затянется по крайней мере на полгода.

При мысли снова попасть на фронт, где каждую минуту он может так глупо и бесполезно погибнуть от собственных солдатиков или от немецкого бризантного снаряда, не дотянув нескольких дней до мира, Петя чувствовал самый настоящий, низменный страх за свою шкуру, который невозможно было преодолеть.

Положение казалось отчаянным.

Однако выход понемногу нашелся сам собой, как всегда бывает в жизни.

Во-первых, из части наконец пришел аттестат на денежное довольствие, на который Петя уже перестал надеяться. Он сразу получил жалованье за два месяца.

Но этого мало.

Корнет Гурский надоумил Петю подать два прошения: одно в комитет Красного Креста, а другое в бывшее ведомство императрицы Марии — на предмет получения единовременного пособия в одном месте «за ранение», а в другом — «на лечение».

— Лично я уже оторвал в каждом ведомстве по два раза,— сказал корнет,— дай бог здоровья доблестному Красному Кресту и бывшей августейшей старушке Марии Федоровне, чего и вам желаю от господа бога, ура!

При этом он несколько раз быстро и мелко перекрестился, словно бы отмахиваясь от мух.

— С вас грандиозный магарыч! — крикнул он, когда Петя отправился за ответом.

К своему крайнему удивлению, Петя без звука получил в обоих местах по сто рублей. В Красном Кресте ему дали три невзрачных, куцых керенки какого-то ненадежного буро-коричневого цвета, с плохими водяными знаками, и двуглавыми орлами без корон, отчего они напоминали каких-то странных уродливых гусей; две керенки были достоинством каждая в сорок рублей, одна в двадцать.

Зато в ведомстве бывшей императрицы Марии щегольской военный чиновник подал Пете совершенно новенькую, хрустящую романовскую сторублевку с божественными водяными знаками, радужной сеткой и портретом величественно-снисходительной пожилой немки Екатерины Второй.

Петя до сих пор никак не предполагал, что пустяковая дырочка в верхней трети бедра может доставить человеку такие материальные выгоды.

Столько денег Петя сроду не только не держал в руках, но даже никогда не видел.

Правда, это были уже далеко не прежние, довоенные рубли — теперь они стоили гораздо меньше,— но все же Петя почувствовал себя богачом.

Из лазарета он вернулся даже не на простом извозчике, а на так называемом «штейгере», то есть в экипаже на резиновом ходу, с двумя фонарями на козлах и откидным верхом, и подкатил к лазарету с таким блеском, что Мотя, дежурившая внизу, у гардероба, всплеснула руками:

— Смотрите, какой он шикарный!

— Спрашиваешь! — подмигнул ей Петя.

Он понял, что ему опять стало везти. Он знал по опыту, что если раз повезло, то теперь будет везти долго. И он не ошибся. Для него началась полоса везения. Все делалось, как по щучьему велению.

Едва он подумал, что не худо было бы послать Чабана в часть за вещами — благо теперь это было совсем недалеко, так как Румынский фронт уже приближался к Днестру,— как в ту же минуту в палату вошла какой-то легкой, несвойственной ей танцующей походкой Раечка, бросилась к Пете на шею — вся красная от непомерного волнения, с полными слез, сияющими, счастливыми глазами, крича на весь лазарет:

— Петька, вообрази себе! Вчера вернулся Георгий! Абсолютно целый, абсолютно невредимый, абсолютно красавчик. Жорка, иди сюда!

И тут же из-за спины Раечки выросла крупная, неуклюжая фигура Колесничука, который втащил в палату так называемый гюнтер — походный офицерский сундучок со складной кроватью — и поставил его перед Петей.

— Получай свои вещи.

— Ты гений, Игорь Северянин! Вообрази, я сижу абсолютно голый и босой.

— Я так и думал, что ты обрадуешься.

— Ну, брат, ты себе не можешь представить, как это кстати. Это, брат...

Петя не находил слов. Это было как раз то, чего ему

так не хватало: в сундучке находились парадные выходные хромовые сапоги с маленькими, высокими каблучками и длинная офицерская шинель из хорошего солдатского сукна, на крючках, на байковой подкладке до половины, из числа тех щегольски выкроенных шинелей, которые сразу же делают человеку широкие плечи, твердую выпуклую грудь и стройные, узкие бедра.

Петя и Колесничук застенчиво поцеловались, причем Петя сразу же заметил, что на погонах Колесничука уже не одна звездочка, а две. Значит, за это время его уже успели произвести в подпоручики, и Петя ощутил легкий укол самолюбия.

Но добряк Колесничук тут же сказал:

— Тебя тоже представили.

— А в приказе уже есть?

— В приказе еще нет, но считаю, что уже все равно что есть. На фронте это быстро. Кроме того, тебе дали за ранение клюкву.

— Что ты говоришь?

— Клянусь бородой пророка.

— А в приказе есть?

— В приказе есть. Я даже выписку тебе привез.

— Клюква! Вот это номер!

Клюквой назывался орден «Святыя Анны четвертой степени за храбрость», который носился не на груди, а на эфесе шашки с особым темляком на красной орденской ленточке, почему и назывался «клюква».

Иметь «клюкву» на шашке было мечтой всех молодых прапорщиков.

Петя сейчас же представил себя с георгиевской ленточкой в петлице и с «клюквой» на кортике.

(К сожалению, в то время, при Керенском, большинство офицеров вместо неудобных в бою шашек носили небольшие морские кортики, что, впрочем, тоже имело свою особую прелесть.)

Интересно знать, как он понравится в таком виде своей Ирен?

При одной мысли о ней он залился румянцем и чуть было не воскликнул: «Представь себе, Жора, я женюсь на дочке генерала Заря-Заряницкого!»

Но, вспомнив, что дал слово, хотя не без труда, но все-таки промолчал.

Петя смотрел на Колесничука и вдруг со всеми подробностями представил себе день, когда они расстались.

Он вспомнил долговязую фигуру Колесничука с каской на затылке, который, догоняя цепь, бежал зигзагами по гребню высоты, время от времени приседая и бросаясь на землю, пока не скрылся в дыму артиллерийских взрывов.

Теперь Пете не верилось, что он тоже был в этом аду. Как он выдержал? Нет, нет, надо сделать все возможное, чтобы не попасть туда опять.

— Что же было потом? — спросил Петя.— Мы тогда все-таки заняли третью линию или не заняли?

— Занять-то заняли, да не успели закрепиться. К вечеру «он» как навалился, как стал нас молотить... Кошмар! Одним словом, мы потом драпали без передышки восемь дней и никак не могли остановиться. Ты знаешь, Петька, тебе-таки здорово повезло. Ты еще сравнительно легко отделался.

— А ты?

— Ну, брат, я — это просто чудо. Остальных офицеров выбило всех до одного.

— Что ты говоришь! — ужаснулся Петя.

— То, что ты слышишь.

— Прапорщик Иванов?

— Убит.

— Поручик Лесли?

— Убит.

— А командир батальона капитан Колчин?

— Убит.

— Ужас!

— Я ж тебе говорю. Из офицеров почти никого не осталось. А солдат — и не говори! Мамочка-мама! В каждой роте переменилось три-четыре состава.

— Значит, из офицеров только мы с тобой?

— Да. И еще волонтер из пулеметной команды, забыл его фамилию?

— Пустовалов?

— Во-во. Так ему оторвало обе ноги. Но жив. Теперь остатки дивизии в Оргееве на переформировании.

— А ты?

— Перевожусь в украинские части. В первый гайдамацкий курень. Поближе к Раисочке,— прибавил он, об-

нимая жену и глядя на нее с обожанием.— Не так ли, мое серденько?

— Так, так, добродию,— отвечала она, прижавшись к Колесничуку и блестя своими счастливыми глазами, черно-синими, как виноград «Изабелла».

Петя уже несколько раз слышал слова «Центральная Рада», «гайдамацкий курень» и прочие. Но все это казалось ему до сих пор каким-то большим чудачеством, чьей-то наивной выдумкой.

Но вот, оказывается, все это вполне серьезно, а в фантастический «гайдамацкий курень» даже можно перевестись из действующей армии, то есть, выражаясь проще, драпануть с позиции и окопаться в тылу.

— Однако ты, Жора, здорово словчил,— заметил Петя, не ожидавший такой прыти от простодушного Колесничука.

— А як же! — ответил Колесничук подчеркнуто по-украински, или, как тогда называлось, «на мове».

А Раечка вдруг звонким голосом пропела из «Запорожца за Дунаем»: «Теперь я турок, не казак!»

— И вообще, хай живе вильна Украина! — прибавил Колесничук, лукаво прищурился, как бы желая дать понять, что он вовсе не такой простак, как это может показаться с первого взгляда.

И Петя вздохнул с облегчением. Остатки всех его мрачных мыслей рассеялись, как туман. Нет, жизнь такая штука, что всегда можно как-нибудь выкрутиться. Уж если судьба так легко выручила симпатягу Колесничука, как будто нарочно для него выдумав «Центральную Раду» и какие-то «гайдамацкие курени», где можно без особых хлопот окопаться в тылу, то и Петя тоже с его везением как-нибудь не пропадет.

16

ЦЕНА КРОВИ

Предвкушая встречу с Ириной, предоставленный самому себе для «проверки своих чувств», Петя провел восхитительные две недели, наслаждаясь, как ему казалось, своей последней свободой.

Недолго думая он нацепил на погоны вторую звездочку и повесил на кортик длинный анненский темляк, купленный Чабаном по его поручению в магазине гвардейского экономического общества.

Петя немного поколебался и снова послал удивленного вестового в город, приказав ему на этот раз купить шпоры, ибо кто же из молодых офицеров не мечтает в тылу о шпорах!

Петя же все-таки был артиллеристом, чем-то вроде артиллерийского адъютанта при пехотном батальоне — должность, созданная на фронте в последнее время для взаимодействия пехоты и артиллерии.

И тут Петя чуть было не вскрикнул от приятной неожиданности. Ну да, конечно, он был адъютант. Это совершенно ясно. А раз так, то, значит, он мог, кроме шпор, на самом законнейшем основании носить также и аксельбанты.

Черт возьми! Как он не сообразил этого раньше!

— Стой, Чабан! — крикнул он в окно вестовому, который уже заворачивал за угол.— Вернись! Кроме шпор, захватишь еще аксельбанты,— сказал он, когда Чабан вернулся.— Понятно?

— Так точно.

— А ты знаешь, что такое аксельбант?

— Никак нет.

— Так зачем же ты говоришь, что тебе понятно? Давай я тебе лучше напишу.

Петя разборчиво написал на листке из полевой книжки слово «аксельбанты». Чабан спрятал записку под фуражку, ринулся в магазин гвардейского офицерского экономического общества, и через час прапорщик Бачей уже стоял внизу, возле гардероба, с ног до головы отражаясь в трюмо Близкенских во всей своей красоте: с георгиевской ленточкой, «клюквочкой», шпорами и аксельбантами защитного цвета с металлическими висюльками.

Он себе очень нравился в таком виде. Он ликовал. Хотя в глубине души он и чувствовал смутно, что, может быть, с аксельбантами он слегка перехватил.

Именно в таком нарядном виде Петя прежде всего и предстал перед отцом.

Василий Петрович ютился в маленькой проходной комнате, которую нанимал в семье еврейского портного на Малой Арнаутской, в одном из самых бедных районов города.

Петя, конечно, не ожидал увидеть ничего хорошего, но он был поражен царившей здесь нищетой. В особенности его ошеломил тяжелый, застоявшийся воздух, насыщенный приторными запахами чеснока, фаршированной рыбы и еще чего-то в высшей степени свойственного еврейским портным, быть может, залежавшегося коленкора, конского волоса, холстины или какого-нибудь другого портновского приклада.

Здесь был вечный сумрак.

Чад. Пеленки. Дети. Гудение керосинки «Грец».

На столе с ногами сидел еврейский портной в железных очках и пейсах и шил.

Натыкаясь на детские горшочки и больно ударившись коленкой об угол большой чугунной швейной машины, Петя шагнул за ситцевую занавеску и увидел полуодетого отца, который сидел в пенсне на носу за своим письменным столом и, близоруко наклонившись над кипой бумаг, время от времени делал на полях аккуратные значки.

— Папочка!

— А, это ты, сынок. Садись куда-нибудь. Я сейчас.

Василий Петрович поставил еще один значок, похожий на квадратный корень, снял пенсне и весело посмотрел на сына, но, заметив его щегольской вид, умоляюще замигал глазами.

— Ты что это, Петруша? Уже выздоровел? Неужели опять на позиции?

И все лицо его, даже буро-малиновая шея, побледнело.

— Ну, до позиций еще далеко,— сказал Петя, усаживаясь на железную отцовскую кровать.— Да и вряд ли успею. Видать, война кончается.

Василий Петрович снова повеселел:

— Дай бог. Прекрасно. Ну, Петруша, рад тебя видеть. Спасибо, что навестил. А я тут, видишь ли, совсем недурно устроился. Удобно, а главное, дешево. Вполне по средствам. Тесновато, правда, но много ли человеку нужно?

Он чуть было не сказал «земли нужно», но сам испугался и пропустил слово «земли».

Петя увидел некоторые из их вещей, загромождавших всю эту каморку с грязными, очень старыми обоями со следами клопов.

Здесь были их умывальник с треснувшей мраморной доской, висячая бронзовая лампа из столовой, шкаф со знакомыми, но как бы сильно постаревшими книгами, бельевая корзина в виде бочки с кольцами, стенные часы, те самые, механизм которых отец каждый месяц собственноручно купал в керосине.

Из узлов выглядывали старые носильные вещи, между прочим Петин швейцарский плащ, с цепочкой вешалки, так живо напомнившей Пете бурю в горах, Марину, письмо с адресом.

Петя увидел большой, увеличенный с фотографии портрет матери в черной раме: на Петю слегка раскосыми японскими милыми глазами из-под челки смотрела молоденькая гимназистка в белом переднике и круглом отложном воротничке.

Мать смотрела на сына. И мать была года на три младше сына.

В углу висела семейная икона Бачей — спаситель с двумя поднятыми перстами, в серебряном фольговом окладе, с восковым свадебным флердоранжем за стеклом, и перед ней, совсем-совсем как в детстве, теплилась малиновая лампадка, а на стене слегка колебалась тень сухой пальмовой ветки.

Семья распалась, но Василий Петрович, как улитка, всюду носил на спине свой домик.

— Омниа меа мекум порто,— сказал отец, хрустя пальцами.— Все свое с собой ношу.

Петя хотел сообщить отцу, что женится, но промолчал, почувствовав странную неловкость.

— Получай,— торжественно проговорил он и с треском выложил на стол прямо на корректурные листы новенькую сторублевку.

— Что это?

— Матушка Екатерина.

— Зачем? — нерешительно, даже несколько испуганно спросил Василий Петрович.

— Бери, бери, старик, пригодится,— произнес Петя,

изо всех сил стараясь под ненатуральным тоном какого-то доброго молодца скрыть чистое, радостное волнение сына, впервые в жизни приносящего отцу первые заработанные деньги.

Этн деньги были ценой его крови.

Василий Петрович сразу понял, что делалось в душе сына.

— Спасибо, мальчик,— сказал он просто и весело прихлопнул сторублевку своей старческой рукой с набухшими венами и вросшим в палец обручальным кольцом.— Ты меня, признаться, выручил. Теперь, знаешь ли, такая дороговизна, что на базар и не сунься.

Он обнял сына и по старой привычке поерошил ему волосы.

— А как же, так сказать, у тебя отношения с действующей армией? — спросил он, с тревогой заглядывая в глаза Пете.— Я вижу, ты уже поправился, и меня это тревожит. Неужели тебя опять потащат на эту муку?

Для «оборонца» подобные слова были весьма странными. Но, может быть, он уже стал «пораженцем»?

— А! — легкомысленно махнул рукой Петя.— Не думаю. Вряд ли. Дело идет к концу. Во всяком случае, пока меня не трогают. Живу себе в лазарете и в ус не дую.

— Ох, Петруша, Петруша...

Василий Петрович вздохнул, посмотрел на образ Христа-спасителя и перекрестился.

По-видимому, он уже и вправду стал «пораженцем».

— Ну, старик, так будь здоров. Теперь мы будем видеться часто,— сказал Петя, испытывая сильное желание поскорее выйти на свежий воздух, вон из этой трущобы.

Но вдруг что-то рванулось у него в сердце.

— Папочка! — воскликнул он, изо всех сил обняв отца за шею, и припал лицом к его голове, похожей на большое растрепанное гнездо.

Он стал осыпать поцелуями его шею, лицо, руки и, с трудом сдерживая слезы, выбежал по скрипучей лестнице на сумрачный двор, увешанный тряпками, где холодный октябрьский ветер раскачивал высохшие плети дикого винограда, обвивавшего проволоку, натянутую с наружной стороны щелистых, дощатых галерей с кое-где выбитыми стеклами.

Петя вскочил на дожидавшегося его извозчика и, купив на Дерибасовской в новом, военного времени, модном кондитерском магазине «Бонбон де Варсови» (то есть «Варшавские конфеты») десяток замечательных, очень дорогих пирожных, уложенных хорошенькой полькой серебряными щипцами в картонную коробочку, поскакал с визитом к тете.

У ворот на стене Петя увидел самодельную вывеску, извещавшую, что во дворе направо, ход вниз, открылась общедоступная библиотека-читальня для интеллигентных тружеников, спросить мадам Янушкевич.

Тут же по-детски была намалевана какая-то странная птица вроде курицы с растопыренными крыльями, в которой лишь человек с большой фантазией мог угадать изображение раскрытой книги.

От слов «мадам Янушкевич» Петя болезненно поморщился, но все же, решительно звеня шпорами, вошел во двор, повернул направо, спустился вниз, нашарил в потемках дверь, обитую рваной клеенкой, и сразу же очутился перед Татьяной Ивановной, которая в прическе валиком а-ля знаменитая исполнительница цыганских романсов Вяльцева сидела в пустой прихожей за маленьким столиком с ящиком библиотечной картотеки.

По-видимому, она терпеливо ожидала появления хотя бы одного интеллигентного труженика, желающего прочитать хорошую, полезную книгу или же новый журнал.

Сама же она с увлечением углубилась в «Одесскую почту», популярную копеечную газету Финкеля, изучая последний тираж серебряной лотереи, где можно было выиграть серебряный кофейный сервиз или же получить его полную стоимость наличными деньгами в банкирской конторе Бр. Куссис.

Услышав шаги, она проворно спрятала газету под себя и, согнав с лица горестное выражение несбывшихся надежд, посмотрела на Петю с той академической серьезностью, с которой, по ее мнению, должна смотреть владелица идейной библиотеки-читальни на своих интеллигентных клиентов.

— А, это ты! — сказала она таким тоном, как будто видела племянника каждый день, и губы ее тронула легкая, мимолетная улыбка.

Петя сразу понял причину этой улыбки. Она, ко-

нечно, относилась к шпорам, «клюкве», аксельбантам и второй звездочке на погонах.

— Да, да, вот представьте себе! — воскликнул Петя с вызовом, как бы отвечая тете на еще не заданный вопрос.— И совершенно не понимаю, чему вы, собственно, улыбаетесь?

— А я не улыбаюсь,— еще больше улыбаясь, сказала Татьяна Ивановна.

— Ах, тетя, вы всегда так! — жалобно промолвил Петя.

— Да я ничего. Валяй. Теперь все можно. Чем хуже, тем лучше.

— Вот... Позвольте вам, так сказать, преподнести,— поторопился Петя, чтобы избегнуть неприятного разговора.— Из «Бонбон де Варсови».

— Мерси. Ах, какая прелесть! Положи на стул.. Спасибо, что хоть вспомнил.

— Я всегда...

— Воображаю.

Нет, тетя положительно была неисправима. В ее присутствии Петя всегда чувствовал себя в чем-то виноватым.

Но теперь он решил перейти в атаку.

— Ну, тетечка, как ваши интеллигентные читатели? Ходят в вашу библиотеку или предпочитают сидеть у Фанкони и торговать воздухом?

— Увы, мой друг,— сказала Татьяна Ивановна, печально разводя руками,— как видишь, пустыня.

— За все время ни одного человека?

— Ни одного.

Тут тетя сказала не всю правду. Был один посетитель: гимназист третьего класса из соседнего двора, пришедший в школьное время почитать седьмой выпуск «Пещеры Лейхтвейса». Но так как тетя не держала подобной дряни, то, вежливо шаркнув ногой, гимназист удалился.

— Вы фантазерка! — сказал Петя.

— Это любимое выражение Василия Петровича,— грустно заметила Татьяна Ивановна.— Ты не знаком с моим супругом? Хочешь, я тебя представлю? Он будет очень рад. Сигизмунд Цезаревич! — крикнула она, постучав кулаком в перегородку.— Идите сюда!

В дверях из-за старой портьеры появился седой усатый поляк на подагрических ногах, в какой-то странной домашней куртке с бранденбурами. Он был похож на Дон-Кихота, но только в комнатных шлепанцах и с палочкой с резиновым наконечником.

Он чрезвычайно учтиво поздоровался с Петей, с явным одобрением осмотрел все его регалии, сказал комплимент с сильным польским акцентом и, милостиво, как король, улыбнувшись, удалился.

Петя сразу увидел, что это бывший светский лев, впавший в ничтожество, неслыханный лентяй и бонвиван, покоривший тетю своей великолепной внешностью и, вероятно, еще какими-то красивыми польскими освободительными идеями, а может быть, «она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним» или что-нибудь подобное.

Во всяком случае, тетя смотрела на Сигизмунда Цезаревича с тайным обожанием.

— Сигизмунд Цезаревич,— сказала она, поджав губы, после того, как поляк, взяв двумя пальцами из коробочки один эклер, удалился за портьеру,— Сигизмунд Цезаревич временно не у дел. Но мы надеемся, что когда все это междуцарствие в России кончится и Польша наконец получит автономию, то Сигизмунда Цезаревича вспомнят.

Она говорила о Сигизмунде Цезаревиче таким тоном, каким, вероятно, говорили в придворных кругах о крупном государственном деятеле.

— Извини, я не приглашаю тебя в комнаты, но там парализованная старуха, мать Сигизмунда Цезаревича, неубранные постели, у детей корь и свинка и вообще нерасполагающая обстановка.— Татьяна Ивановна понизила голос:— Посидим лучше здесь.

Петя сел на шаткий стул.

— Кофе хочешь? Нет? Тем лучше. Это такая возня! Но, я думаю, тебе, наверное, не до кофе. Друг мой! — сказала она трагическим тоном, и ее глаза наполнились слезами.— Я не понимаю, что ты себе думаешь? Какие у тебя планы? Одну минуточку помолчи, не перебивай,— быстро сказала она, заметив, что Петя заерзал на стуле.— Я знаю все, что ты мне ответишь: ты получил пособие за ранение, и теперь тебе море по колено. Кроме

того, ты, конечно, уже влюблен и собираешься жениться.

— Откуда вы знаете?

— Друг мой, это — общее явление. Кроме того, у тебя на лице написано абсолютно все. Одним словом, я тебе уже говорила и говорю еще раз: ты летишь в пропасть.

— Но если мы любим друг друга? — пробормотал Петя, застенчиво улыбаясь.

— Кто это «мы»?

— Я и дочь генерала Заря-Заряницкого Ирен,— не без хвастовства сказал Петя.

— Боже мой! Святая дева Мария! — в ужасе воскликнула Татьяна Ивановна немного в польской манере.

— А что?

— Ничего. Ты не мог придумать что-нибудь более остроумное? Накануне социалистической революции жениться на дочери известного черносотенного бурбона, подлеца, каких свет не видел, который убежал с фронта от своих же собственных солдатиков! Voilá! — воскликнула тетя, подбросив руки ладонями вверх.— Voilá!

— Позвольте, накануне какой революции?

— Такой самой. Однако, дорогой мой племянник, я не ожидала, что ты так наивен. В самом недалеком будущем нас ожидает такая революция, что еще свет не видел подобной. Ого-го! И, откровенно говоря, давно пора. Хорош же ты будешь, друг мой, когда твоего милого тестюшку благоверное воинство повесит на первом же фонаре на углу Пироговской и Французского бульвара! Кроме того, я совершенно не понимаю, что ты нашел в мадемуазель Ирен? Самая банальная генеральская дочка, спешит поймать жениха, пока еще всех молодых прапорщиков не ухлопали на фронте за веру, царя и отечество, то, бишь, за душку Керенского и доблестных союзничков и так называемую свободу. Нет, нет, ты у меня в этом сочувствия не найдешь,— быстро проговорила тетя, не давая Пете открыть рот.— Я очень извиняюсь,— сказала она, голосом подчеркивая это новое жаргонное выражение «очень извиняюсь», вывезенное беженцами из Царства Польского.— И, наконец,— почти крикнула она, покраснев,— неужели ты не понимаешь, что теперь не время для пошлых романчиков?

Очнись! Последний раз умоляю тебя: очнись! Оглянись вокруг! Сделай выводы!

А Петя сидел, поджав ноги, на шатком венском стуле, нюхал воздух, пропитанный запахами каких-то лекарств, уныло смотрел на бамбуковые этажерки, набитые старыми, потрепанными книжками с билетиками на корешках, на разошедшуюся тетю, слышал влажный, переливающийся кашель Сигизмунда Цезаревича за перегородкой и чувствовал, что тетя как будто действительно права и он, Петя, в общем, делает что-то не совсем то.

Но едва попрощавшись с тетей, которая крепко его поцеловала в обе щеки, как мальчика, а потом со слезами на глазах перекрестила и просила кланяться Василию Петровичу, Петя вышел на улицу и увидел у ворот своего извозчика, как тотчас пришел в себя, подумал с облегчением: «Ну, это она, положим, преувеличивает»,— и помчался обратно на Дерибасовскую, угол Екатерининской.

Он расплатился с извозчиком и заметил, что денег осталось уже совсем не так много, как он предполагал.

17

ЦВЕТЫ

Возле большого углового дома Вагнера испокон веков шла уличная торговля цветами.

Это был один из красивейших уголков города, где прямо на тротуаре под платанами стояли зеленые рундуки и табуретки, заваленные цветами.

В синих эмалированных мисках плавали розы. Из ведер торчали снопы гладиолусов, белых и красных лилий, флоксов, желтофиолей, тубероз. В плоских тростниковых корзинах густо синели тесно наставленные букетики пармских фиалок, нежно и влажно пахнувших на всю улицу. Пахло сыростью резеды, левкоями, гелиотропом.

Но сейчас уже был октябрь.

Время цветов миновало. Зеленые столы и табуретки цветочниц наполовину опустели.

Но зато был в полном разгаре сезон хризантем. Зеленовато-белые, желто-коричневые, лиловые, кремовые, лимонные, канареечные, с туго закрученными к центру

цветка узкими, как лапша, жирными лепестками, они лежали прямо на тротуарах целыми грудами, распространяя в холодном октябрьском воздухе свой особый, ни на что не похожий, не цветочный, а какой-то другой, острый, раздражающий аромат японских духов.

Покупателей совсем не было, и толстая старуха в теплых перчатках с отрезанными пальцами не без удивления посмотрела на щеголеватого не по времени офицерика, который быстро выбрал десятка два самых крупных хризантем и прижал их к груди так, что они заскрипели, как свежие кочаны капусты.

Затем Петя увидел в ведре целый сноп последних осенних махровых гвоздик, громадных, карминно-красных, покрытых холодным, серебряным туманом.

Их продавала, по-видимому, солдатка в стеганом армейском ватнике, со злым, измученным лицом.

Петя, не торгуясь, купил у нее сразу все гвоздики, присоединил к ним хризантемы и в таком виде, почти весь закрытый цветами, пошел по Дерибасовской, отыскивая рассыльного.

Когда он проходил мимо книжного магазина, ему пришла в голову мысль послать Ирине, кроме цветов, еще какой-нибудь роскошный, но интеллигентный подарок.

Он вошел в пустой, унылый магазин и купил великолепное издание «Демона» с цветными иллюстрациями, напечатанными на меловой бумаге.

Книга стоила безумных денег, но Пете уже попала вожжа под хвост.

— Заверните! -- решительно сказал Петя приказчику, похожему по крайней мере на Менделеева, и, пока тот ловко заворачивал книгу в хрустящую бумагу и завязывал тугой бечевкой, стоял у лакового прилавка, прижав лицо к мокрым гвоздикам, одуряюще пахнущим молотым перцем.

Петя знал, что на свете существуют рассыльные, так называемые «красные шапки». Их биржа обыкновенно находилась у входа в Пассаж, откуда богатые люди их нанимали и посылали с разными поручениями: отнести именинный торт в круглой коробке, свадебный букет, любовное письмо.

Это были обычно почтенные старики в красных фуражках с галунами, в демисезонных пальто, с большими

дождевыми зонтиками под мышкой. Зимой они носили верблюжьи солдатские башлыки. На груди у них была бляха, как у носильщика, а на фуражке — металлическая табличка с надписью «Рассыльный».

У Пети сложилось смутное представление, что «красная шапка» является такой же непременной принадлежностью всякого серьезного и приличного романа, как поездка вдвоем на «штейгере» в Аркадию, страстные поцелуи при луне на Ланжероне, коробка шоколадных конфет от Абрикосова и тому подобный вздор, неизвестно каким образом залетевший в Петину голову.

Но сейчас он был в плену всех этих представлений.

Около Пассажа посыльных не оказалось, а на вопрос Пети, не знает ли он, куда девались «красные шапки», мальчик-газетчик, размахивая перед Петиным носом номером газеты «Одесский пролетарий», сказал с вызовом:

— На! Смотрите на этого буржуя с букетом. Ему-таки надо «красную шапку». А на «Алмаз» вы не хочете?

— Цыц, байстрюк! — крикнул Петя и, выглянув из-за цветов, сделал страшное лицо, после чего на миг онемевший от восторга мальчик, давно уже не слышавший такой настоящий пересыпский язык, долго бежал за Петей, льстиво и преданно пытаясь заглянуть в его лицо.

— Дяденька, вы идите прямо до Фанкони или до Робина, там еще остался один чудак «красная шапка», я, конечно, очень вами извиняюсь...

Петя еще ни разу в жизни не был в ресторане, а кафе Фанкони представлялось ему чем-то сказочно роскошным, безумно дорогим и недоступным для простого смертного.

Но теперь он был все-таки, черт возьми, раненый офицер и даже не какой-нибудь прапорщик, а настоящий боевой подпоручик с аксельбантами и «клюквой». И у него лежали в кармане две керенки.

Преодолевая смущение, даже, сказать по правде, некоторый унизительный страх, Петя толкнул вращающуюся дверь и, бестолково покрутившись среди зеркальных стекол вертушки, толкнувшей его сначала в грудь, а потом в спину, чуть не прищемив сноп цветов, наконец очутился в знаменитом кафе.

Петя был разочарован.

Вместо шика и блеска он увидел почти пустой, запущенный зал с диванчиками, столиками и дубовыми панелями, до бесконечности умноженными большими стенными зеркалами.

Сумрачный воздух отдавал старыми, застоявшимися запахами кухни, кофе и гаванских сигар.

За двумя столиками сидели солдаты в расстегнутых шинелях и пили чай со своим сахаром и хлебом.

Они покосились на прапорщика, но не встали. Петя вспыхнул и уже собрался сделать замечание, но как раз в эту минуту увидел «красную шапку» — седовласого старца с кривым пенсне на вульгарном, бугристом носу.

Он сидел за буфетной стойкой на табуретке и играл в шашки с официантом в засаленном смокинге.

Видно, «красной шапке» давно уже не приходилось носить букеты, потому что, едва Петя подошел к нему, он ужасно обрадовался, засуетился, вскочил на ноги, в одну минуту поразительно ловко завернул цветы в бумагу, предложил Пете тут же у буфета написать записку, для чего раздобыл бумаги и конверт с печаткой фирмы «Кафе Фанкони», и не успел Петя глазом моргнуть, как уже за витриной на Екатерининской улице мелькнула «красная шапка», раскрылся зонтик и посыльный, бережно прижимая к груди букет и книгу, растаял в дождевом тумане, как вестник счастья.

В лазарете Петю ждала неприятная новость. Его вызывали назавтра в медицинскую комиссию.

Он провел тревожную ночь, каждые полчаса просыпаясь и думая, что уже наступило это ужасное «завтра».

На рассвете в палату, держа что-то под халатом, неслышно вошла Мотя, шепотом разбудила Петю и, оглянувшись по сторонам, быстро и ловко поставила ему на зажившую рану крепкие горчичники.

К тому времени, когда надо было идти на комиссию, Петино бедро заметно побагровело, а на месте ран выскочили такие волдыри, что Петя даже сам испугался.

Мотя подала ему костыли, перекрестила его, и Петя в накинутом поверх белья лазаретном халате поскакал, как кузнечик, на комиссию.

— Болит? — спросил главный врач, тыкая в волдыри гладко обструганной сосновой лучинкой.

— Ой! — сказал Петя.

— Так не надо было ставить горчичник,— сказал врач и сделал в списке против Петиной фамилии птичку.

— Здоров. К воинскому начальнику. Следующий!

И все было кончено.

— Ну что? — спросила Мотя, когда Петя, держа костыли под мышкой, вошел в отделение.

Но он мог бы и не отвечать. По его слабой улыбке Мотя поняла все.

— К воинскому начальнику.

— Вот шибанники! — закричала Мотя с возмущением.— И вы, Петя, пойдете?

— А что же делать?

— Не ходите. Честное благородное, не являйтесь!

— Как же я могу не явиться?

— А вот просто так: не являйтесь, и годи.

— Нельзя, Мотечка.

— А я вам говорю, можно.

Она минуту что-то соображала.

— Слушайте здесь,— быстро зашептала она, увлекая его в глубину коридора, в комнатку, где помещались дежурные «нянечки».— Идите отсюда, прямо как есть, на Ближние Мельницы, а ваши вещи пускай черным ходом забирает Анисим и несет следом за вами. Поживите пока что у нас. Помните, как вы у нас когда-то жили? Вот было времечко!

Ее глаза нежно засветились: наверное, вспомнила подснежники.

— Тем более, что и ваш знаменитый Павличек тоже у нас на Ближних Мельницах живет. А за воинского начальника не беспокойтесь. Войне все равно конец. Позавчера вернулся с Румынского фронта Аким. Он едет в Петроград делегатом от Румчерода на Второй съезд Советов. Так что там, на позициях, делается, и не спрашивайте! Скоро власть Советам, и тогда земля крестьянам, фабрики рабочим, всем трудящимся мир, а буржуазии крышка. И не будет больше никакой войны. Годи! А вы говорите, воинский начальник. Начхали мы на воинского начальника!

Она засмеялась и потом, прижавшись губами к его уху, прошептала:

— Днями начнется.

Петя искоса посмотрел на Мотю, удивляясь, какая

она стала бойкая, речистая, с какой легкостью она произносит такие слова, как «буржуазия», «Совет», «Румчерод». А она, не обращая внимания на Петино удивление, начала с увлечением описывать политическую обстановку в Одессе. Хотя все это она говорила с чужих слов, но видно было, что и сама кое в чем разбирается.

— Вы, наверное, Петя, слышали, что на той неделе было объединенное заседание Советов, так подавляющим большинством голосов прошла наша резолюция. Так и в газетке «Одесский пролетарий» напечатано. В этой резолюции говорится, что только переход власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства может прекратить все бедствия, безобразия, дороговизну и войну, так и далее, так и далее. Аким говорит, что делегаты на Второй съезд получили наказ отстаивать лозунг немедленной передачи всей власти в стране Советам. Вот тогда мы, Петечка, заживем. А вы говорите, воинский начальник! Не сомневайтесь, смело идите жить до нас на Ближние Мельницы.

И Мотя простодушно заключила:

— Не прогадаете.

Это, конечно, было очень соблазнительное предложение. Но Петя все еще продолжал чувствовать себя боевым русским офицером, связанным присягой.

— Я не дезертир,— сказал он.

— А горчичники ставили? — бойко спросила Мотя.

— Это ты мне ставила.

— Не имеет значения.

Петя почувствовал затруднение.

— Горчичники, понимаешь, это еще ничего не доказывает,— подумав, сказал он.— Горчичники — это значит ловчиться. А драпать на Ближние Мельницы — совсем другое дело.

— Ну, если вам не жалко своей головы, то как хочете.— Мотя поджала губы.— Все-таки вы, Петя, подумайте. Мамочка будет очень рада. Она вам зараз сготовит такого гарного кулеша! Кулеша нашего вы еще не забыли? — не без кокетства сказала Мотя, глядя на Петю через плечо грустными глазами.

— Ей-богу, господин прапорщик, чего вы чухаетесь? Я не понимаю,— едва не плача от досады, сказал Чабан, который все время стоял в дверях и умоляюще смотрел

на своего офицера.— А то отправят нас на позиции и убьют, чего хорошего?

— Тебя не спрашивают! — строго сказал Петя, пошел в палату, скинул халат и лег под одеяло, укрывшись с головой, как будто это могло помочь делу.

Пролежал он так до вечера.

Он понимал, что, как бы он ни решил, это его последняя ночь в лазарете.

Подпоручик Хвощ и корнет Гурский уже выписались. Гурский уехал на Дон, к генералу Каледину, а Хвощ ловчился где-то в гайдамацких куренях.

Теперь в палате помещались только Петя и подпоручик Костя.

Костя был совсем плох.

Пытаясь вынуть осколок, засевший возле позвоночника, ему сделали еще две операции, но ничего не вышло. До осколка невозможно было добраться, и он продолжал причинять Косте нечеловеческие страдания.

Морфий уже почти перестал действовать.

Целыми сутками Костя сидел на койке, поджав под рубаху ноги и прислонившись плечом к стене. Было непостижимо, как он мог молчаливо переносить такую адскую боль.

Он даже не стонал.

Он только дрожал, стиснув зубы, и смотрел по сторонам большими прозрачными глазами на совсем маленьком, добром, измученном, ангельском лице с искусанными в кровь губами.

Среди ночи он внезапно застонал.

Петя еще никогда не слышал его стона. Это был его первый стон.

Петя видел при свете ночника, как Костя торопливо шарил под матрацем, потом делал себе укол в бедро.

Вдруг он вскочил на колени и закинул кудрявую голову с дико остановившимися глазами.

— Отравили! — закричал он изо всей мочи, так что даже задрожали оконные стекла.— Отравили! — повторил он с ужасом, выпрыгнул из кровати и, как зарезанный, стал биться в руках прибежавших санитаров.

Морфий уже совсем не действовал, а лишь причинял еще бóльшие страдания.

Косте казалось, что кто-то тайно подсунул ему вместо морфия склянку с ядом.

Его силой уложили в постель.

Тогда он стал рыдать, содрогаясь всем своим тщедушным телом.

— Господи! — кричал он.— Зачем вы меня мучаете? Дайте мне яду! Я больше не могу жить! Мне больно жить. Понимаете: физически больно! У меня болит каждый кусочек. Убейте меня! Пожалейте! Убейте! Застрелите! Не будьте сволочами! Прапорщик Бачей, не будь сукой! Застрели же меня, застрели!

Он разбудил весь лазарет. В палатах заметались огни. До самого утра уже никто не мог заснуть.

18

АРМИЯ В ГОРОДЕ

Утром Петя отправился к воинскому начальнику, но не только не смог пробиться в канцелярию, но даже дойти до середины двора, наполненного солдатами.

Здесь были и новобранцы, и фронтовики, и старики ополченцы с медными крестами на фуражках, и какие-то матросы.

Всюду Петя натыкался на вещевые мешки, сундучки, узлы вонючего лазаретного белья.

На каждом шагу ему преграждали дорогу двуколки, кухни, обозные фурманки, затянутые брезентом, тюки прессованного сена, давно не чищенные лошадиные крупы, хвосты с репейником.

Толпа куда-то стремилась. Солдаты напирали друг на друга.

Слышались крики, стоны, ругательства.

Крыльцо трещало.

И в первую минуту нельзя было понять, что происходит. Но скоро Петя понял, что это какая-то пехотная дивизия, бросившая орудия, в полном составе покинувшая позиции, пришла к воинскому начальнику, требуя аттестаты на все виды довольствия, жалованье и железнодорожные литеры для возвращения по домам.

Видимо, за последние несколько дней положение на

фронте настолько ухудшилось, что теперь было бы просто глупо стараться попасть на позиции.

Все же Петя для очистки совести отправился за предписанием к коменданту города. Но там дело обстояло еще хуже. Толпа солдат осаждала комендатуру, из открытых окон которой кое-где торчали станковые пулеметы и виднелись другие солдаты, в мерлушковых папахах с красным висячим верхом, как Петя сообразил, гайдамаки.

У Пети отлегло от сердца. Он сделал все от него зависящее. Но, к сожалению, всюду опоздал. Совесть его была чиста. Теперь можно было спокойно возвращаться в лазарет.

Но как за эти часы изменился город!

Он был совсем неузнаваем: местами пуст, безлюден, с наглухо запертыми воротами и опущенными железными шторами магазинов, а местами напоминал какую-то странную мрачную ярмарку, наполнявшую улицы, переулки и площади однообразной солдатской толпой.

В иных местах, пробиваясь сквозь толпу, двигались демонстрации с флагами, лозунгами, даже с духовыми оркестрами.

Кое-где с крыш газетных будок или с балконов кричали ораторы.

В одном месте на углу Петя увидел медленно ползущий бронированный автомобиль с матросом Черноморского флота, который стоял на башне, держа на весу винтовку.

В другом месте мимо Пети проехал разъезд гайдамаков, и Петя увидел впереди странно знакомого офицера в бурке с мрачными глазами и квадратным подбородком.

Всякий раз, когда Пете приходилось пробираться сквозь толпу среди настороженных, пронзительных солдатских глаз, которые с грубым недоверием провожали не по времени нарядного офицерика, он чувствовал себя хуже, чем если бы ему пришлось идти через весь город голым.

С моря дул холодный ветер, неся по высушенным тротуарам последнюю листву акаций.

Облетевшие деревья стояли, как железные, и висящие на них поспевшие стручки тоже казались Пете железными.

Пете едва удалось продвинуться в лазарет, так как он был окружен толпой солдат, требующих, чтобы немедленно приняли тридцать раненых нижних чинов, только что привезенных с фронта.

В дверях стоял в своей полувоенной форме Красного Креста молодой человек, Ближенский, сын миллионера Ближенского, владельца особняка, отданного под лазарет, тот самый лицеист, которому некогда Василий Петрович влепил на экзамене двойку и который вместе с отцом приходил давать взятку; на его глупом носу по-прежнему весьма интеллигентно блестело пенсне, и он, строго размахивая руками, кричал жиденьким голосом:

— Это лазарет для господ офицеров, и принимать нижних чинов не положено!

Толпа гудела.

— Не-э пэложен-н-о! — повторял сын Ближенского на гвардейский манер и пытался затворить дверь, но несколько солдат в расстегнутых шинелях с такой силой рванули дверь, что одна бронзовая ручка даже отскочила.

Толпа стала поспешно и, как показалось Пете, весело вносить в лазарет носилки с ранеными.

— Я буду сейчас звонить в комендатуру! — кипятился Ближенский.— Это большевицкое хулиганство, э-э, пора прекратить раз навсегда!

— Идите вы знаете куда? — среди общего шума услышал Петя знакомый голос и увидел Мотю с густо покрасневшим лицом и злыми кошачьими глазами.— У, паразит! — крикнула она, повернулась вполоборота и что есть силы отпихнула Ближенского локтем.

— Что это? Бунт? Анархия? — бормотал Ближенский, почти с ужасом глядя на расходившуюся Мотю и не веря своим глазам, что это именно она, вечно веселая, добрая, хорошенькая «нянечка», так больно, а главное, с такой неистребимой злобой стукнула его локтем в грудь.

— Да вы что на него смотрите, на этого слизняка! — кричала Мотя санитарам.— Несите солдатиков в палаты!

— Перепелицкая, я вас увольняю! — дрожащим голосом сказал Ближенский.

— Круглый дурак,— ответила Мотя и сунула ему в нос складненький розовый кулачок, свернутый фигой.

Ближенский размахнулся и шлепнул Мотю по щеке.

Мотя завыла от обиды, даже затопала ногами. Она чуть не потеряла сознание от ярости.

Тогда из толпы выскочил Петя. Кровь с такой силой ударила ему в лицо, что он на миг перестал видеть. Он вспомнил свое ранение, Яссы, ночь перед расстрелом, трупы солдат, свечу, безумно отраженную в черном стекле, ненавидящие глаза коменданта, казачий разъезд и, уже не рассуждая, а повинуясь только припадку слепой ненависти, вырвал из ножен кортик с анненским темляком.

— Подлец! Тыловая шкура! Окопался! Корниловец! — закричал он, как ему казалось, громоподобным голосом, а на самом деле срывающимся юношеским тенорком и замахнулся на Ближенского кортиком.— Дрянь! Гадюка! Хабарник! Кадет! Убью на месте!

Но на месте он его не убил и кортиком не ударил, а почему-то повернулся к Ближенскому задом и совсем по-мальчишески больно лягнул его ногой в живот.

— Бейте его, братцы! — кричал Петя со слезами на глазах.— Бейте, товарищи!

Еще минута, и, конечно, Ближенского разнесли бы в клочья.

Но в это время на крыльце появился высокий красивый солдат в длинной кавалерийской шинели с ласточкиными хвостами на обшлагах рукавов, с драгунской шашкой и в круглой кубанской шапке на голове.

— Отставить! — сказал он властным, но в то же время спокойным тоном человека, уверенного в своей силе.— Не будем, товарищи, мараться об эту тыловую сволочь. А ты, морда, гэть отсюдова! И чтоб я тебя больше никогда не видел! — обратился он к Ближенскому, который в тот же миг исчез.

— Что, Мотечка, люба моя, я вижу, он таки успел тебя немного смазать по морде?

Дымчато-синие глаза кавалериста мрачно потемнели.

— Но ты не бойся. Это ему так не пройдет. Мы еще до него дойдем. Только не сегодня. Сегодня еще рано.

Он обнял ее одной рукой за талию и крепко прижал к себе. Она едва доставала головой до его плеча.

— Размещайте раненых по палатам! — сказал он.— А это кто? — повернулся он к Пете.

— Не узнаешь? — спросила Мотя, поворачивая к Пете хорошенькое заплаканное лицо с горящей щекой.

— Петя Бачей?

— А кто же!

— Чтоб тебя! — воскликнул кавалерист, добродушно рассматривая Петю.

— Петечка, вы не бойтесь,— сказала Мотя.— Это мой супруг Аким Перепелицкий, вы его должны помнить.

— Шаланду «Вера» помните? — спросил Перепелицкий.

— Ну как же! — ответил Петя.— Здорово, Аким.

— Здорово, Петя. Смотрите, какой стал вояка. Георгиевский кавалер. А был простой, затрушенный гимназист.

Их окружали санитары, сестры, нянечки.

Петя не без некоторого тайного тщеславного удовольствия, с воинственной небрежностью пожал богатырскую руку Акима Перепелицкого и тут же вспомнил, как этот самый Аким Перепелицкий однажды ночью на хуторе перед костром сказал околоточному: «Вы мене, ваше благородие, не тыкайте. Мы с вами вместе свиней не пасли»,— и с непередаваемым презрением сплюнул в костер.

После того как всех раненых солдат разместили по палатам и в лазарете на некоторое время установилось неопределенное спокойствие, Мотя сказала Пете, насмешливо играя глазами:

— Ну? Были у воинского начальника? И что же он вам сказал? Так как: будем переезжать на Ближние Мельницы или не будем?

— Валяй! — весело воскликнул Петя, у которого вдруг гора упала с плеч.

— А то вы, ей-богу, все равно как маленький. Не понимаете, что на свете делается,— оживленно говорила Мотя.

В присутствии мужа она стала какой-то новой Мотей — рассудительной и даже властной, и сразу было заметно, что она привыкла повелевать своим Акимом Перепелицким.

— Значит, так,— сказала Мотя,— пускай Анисим забирает ваши вещи и везет на Ближние Мельницы, а вы

с моим Акимом дойдете вместе до вокзала. Слышишь, Аким? Доведешь Петечку до вокзала, а дальше он сам дойдет, дорогу знает. А вы, Петя, лучше снимите с себя все эти цацки, на черта они вам сдались? Вы и так славненький. И не топчитесь на месте, потому что подлец Ближенский уже вызвал сюда по телефону юнкеров и скоро здесь будет дело. А ты, Аким, слушай здесь,— строго обратилась она к мужу,— на съезде в Петрограде долго не задерживайся.

Мотя положила на грудь Перепелицкому руки, и они стали целоваться.

Затем Перепелицкий с вещевым мешком за спиной довел Петю до вокзала, и тут Петя убедился, насколько Мотя предусмотрительна: на улице, ведущей в сторону Ближних Мельниц, стояла застава рабочей Красной гвардии, пропускавшая дальше только своих.

Аким Перепелицкий сказал начальнику заставы несколько слов, и Петю тотчас пропустили, хотя и покосились на все его «цацки».

— И ходу! — крикнул ему вслед Аким Перепелицкий, направляясь к боковому ходу вокзала, где уже, сидя на ступеньках, его дожидались несколько солдат и матросов Черноморского флота и Дунайской флотилии, его попутчики, тоже делегаты на Второй съезд Советов.

А немного погодя вместе с подоспевшим Чабаном Петя уже раскладывал свою походную кровать в том самом сарайчике, где он однажды некоторое время жил перед войной.

Ему помогала устроиться пожилая женщина в темном старушечьем платочке, Мотина мама, о существовании которой Петя, признаться, совсем забыл, хотя именно она кормила его когда-то таким вкусным кулешом и таким жгучим, огненным борщом с чесноком и стручковым перцем.

Петя даже забыл, как ее зовут. Теперь ему неловко было об этом спросить, и он называл ее ласково, но неопределенно: мамаша.

Она сильно постарела и по-прежнему была молчаливо-приветлива, все время без устали ходила туда и сюда по хозяйству, а на Петю смотрела с лучистой улыбкой, грустно покачивала головой — ведь это был мальчик Петя, кавалер ее девочки Моти; а теперь Мотя выросла,

вышла замуж, а Петя уже офицер — подумать только! Сама же она стала старушкой...

Кроме Пети, в сарайчике помещались еще Павлик и Женька. Они спали валетом на большой деревенской кровати. А в уголке стояла самодельная коечка Чабана.

— А ты, брат, оказывается, большой ловчила! — сказал Петя, с удовольствием рассматривая своего вестового, гладкого, отъевшегося, с томными украинскими глазами, ленивой улыбкой, в новой темно-зеленой шерстяной зимней гимнастерке с красной нашивкой за ранение на рукаве.

— Это что за нашивки? — строго спросил Петя.

— За ранение.

— Когда же это тебя успели ранить?

Чабан замялся.

— Говори.

— Меня ще не ранили.

— Так какого черта ты носишь нашивку?

— А это я с вами за компанию,— простодушно сказал Чабан.— Как вы себе нашили, так и я себе нашил.

— Оригинально.

Петя не мог не засмеяться.

— Ну и арап же ты, братец! Где же ты без аттестата питаешься?

— Где придется, господин прапорщик.

— Подпоручик,— поправил Петя.

— Виноват, господин подпоручик. Так что питаюсь как когда: когда в нашем лазарете что-нибудь возьму себе в бачок, когда туточки, в железнодорожных мастерских, отольют из красногвардейской кухни.

— Ишь ты! То-то, я смотрю, какой ты стал гладкий. Кто же тебе стирает?

— Хиба же вокруг мало дивчат? — нежно промурлыкал Чабан, скромно опустив густые ресницы.

— Так, я вижу, тебе здесь, в тылу, совсем не плохо.

— Як охфицеру, так и его вестовому! — вздохнул Чабан.

— Ну, ты, брат, до меня не равняйся. Обнаглел.

— Так точно!

Вечером, как в былые времена, вся семья собралась к ужину: не было только Моти, дежурившей в лазарете.

Сначала появились Женька и Павлик, ободранные,

как коты, голодные, с поясами, надетыми через плечо. Павлик шел впереди с рапирой в руке, а Женька тащил за ним целую вязанку каких-то странных палашей и эспадронов.

— Сваливай в угол. Завтра будем раздавать отряду по списку. А, братуха, здорово! — воскликнул он, увидев Петю, и с весьма независимым видом протянул ему руку.

С того времени, как они в последний раз виделись в лазарете, Павлик еще более вытянулся, возмужал, огрубел. Если бы не гимназическая куртка и фуражка (впрочем, уже с вырванным гербом), то он ничем не отличался от простого рабочего паренька с Сахалинчика.

— Это что за оружие? — спросил Петя, любуясь лицом брата, его грозно сверкающими и в то же время ясными глазами.

— Оружие нашего отряда,— ответил Павлик.— Мы с Женькой только что его реквизировали в нашем гимназическом зале.

— Попросту сперли? — сказал Петя.

— Не сперли, а реквизировали,— строго ответил Павлик, взглянув на брата с неодобрением.— Эспадроны и палаши. Они хотя и учебные, да могут пригодиться.

— Такой штукой кого-нибудь стукнешь по голове — не обрадуешься,— заметил Женька.

— Да кого же?

— Юнкеров, бойскаутов, гайдамаков, если придется. А что? Скажешь, нет? — спросил, прищурившись, Женька, заметив, что Петя иронически улыбается.

— У нас молодежный отряд при Красной гвардии железнодорожного района,— сказал Павлик.— Я командир. Женька — адъютант. Дай кортик!

— Может быть, тебе еще шпоры дать?

— Шпоры можешь оставить себе. А кортик дай. Тебе он зачем? А для нас все-таки оружие.

— Вы же марсияне. У вас тепловые лучи. Или не марсияне, а... как вас там? Улы-улы-улы!

— Нет,— серьезно сказал Павлик,— мы уже не марсияне.

— Ну, значит, «когда проснется спящий».

— Не спящий. А у тебя револьвера исправного нет?

— Ого! — сказал Петя не без гордости.

Он полез в свой сундучок и вынул из него завернутый в промасленную холстинку великолепный вороненый кольт, полученный накануне ранения и еще ни разу не стрелявший.

— И патроны? — с восторгом воскликнул Павлик.

— Или! — гордо ответил Петя и выложил на стол плоскую тяжелую коробку.— Сто штук!

— Покажь,— простонал Павлик.— Ну, не будь вредный! — Он протянул руку к коробке.

— Не лапай, не купишь,— сказал Петя холодно и снял с коробки крышку.

Павлик и Женька в один голос ахнули. Сто штук толстеньких, тяжеленьких патронов с выпуклыми нетронутыми капсюлями маслянисто блестели в коробочке, тесно прижатые друг к другу.

— Меняюсь на что хочешь! — даже не воскликнул и не простонал, а прямо-таки взвыл Павлик, вцепившись изо всех сил в плечо своего адъютанта, у которого от жадности побелели губы.

Петя с нестерпимым высокомерием согнул руку и показал Павлику локоть.

— На!

Затем он запер патроны и пистолет в сундучок.

— Но имейте в виду, габелки! — строго сказал он, заметив, что мальчики молниеносно переглянулись.— Не думайте сбондить. Оторву руки и ноги.

19

ПРИВЕТ ИЗ ПЕТРОГРАДА

Пришел Терентий в черной кожаной фуражке, с повязкой Красной гвардии на рукаве. Он завел усы, черные, с проседью, отчего его добродушное лицо, побитое оспой, показалось Пете похудевшим, сердитым.

Поверх пальто он был перепоясан офицерским кожаным поясом с наганом в потертой кобуре. Под мышкой он держал буханку солдатского хлеба, завернутую в платок.

— О! — сказал он, увидев Петю, и широко улыбнулся, отчего лицо его стало таким же, как прежде,— круглым,

добродушным.— Не знаю даже, как мне теперь называть тебя: чи Петр Васильевич, чи просто Петя?

— Петя, Петя! — весело отвечал Петя, и они обнялись.

Затем все вместе — и Чабан тоже — ужинали жидким супом с толстыми серыми макаронами и большим количеством лаврового листа.

Суп этот раздобыл все тот же Чабан в кухне железнодорожного батальона, где у него оказался земляк-кашевар.

После ужина пили морковный чай «вприглядку». Видно, с продуктами в городе было совсем неважно.

Однако Петя ел с большим удовольствием, по-солдатски подставляя под ложку ломоть хлеба. Впервые за многие месяцы он чувствовал себя просто, покойно, «как дома».

Едва выпили по кружке чаю, как в окно постучали. Терентий засуетился, стал собираться.

— Сейчас! — крикнул он в окно, и лицо его в один миг стало собранным, строгим.

Он оправил пояс, передвинул кобуру и уже с порога обернулся к Пете:

— Ну, теперь я на всю ночь. А ты ложись, отдыхай. Завтра поговорим, решим, что и как.

Следом за Терентием быстро оделись и, сунув в карман по куску хлеба, выскочили на улицу Павлик и Женька.

— Куда же вы? — слабо крикнула им вдогонку хозяйка, но тут же махнула рукой: видно, давно уже к этому привыкла.— Ложитесь, Петечка, отдыхайте,— сказала она, глядя на Петю со своей обычной покорной, несколько грустной улыбкой, чуть заметно покачивая головой, словно не переставая про себя удивляться, как быстро летит время и как быстро из маленького мальчика Пети вдруг получился офицер с погонами, и шпорами, и даже ресничками молоденьких усиков над верхней губой.

— Матрена Федоровна,— сказал Чабан, появляясь в дверях,— я уже зараз натаскал вам воды в кадушку. Ничего больше не потребуется?

— Спасибо, больше ничего.

— Так разрешите, господин прапорщик, ненадолго отлучиться?

Пете стало смешно. В сущности, они оба были теперь дезертирами, но, несмотря на это, связь начальника и подчиненного держалась между ними еще довольно крепко.

— Ладно, отлучайся,— милостиво разрешил Петя,— небось торопишься куда-нибудь к девчатам?

— Так точно. До барышень.

— Валяй!

Теперь, когда Петя вспомнил, что Мотину маму зовут Матрена Федоровна, ему стало легче.

— Такие-то дела, Матрена Федоровна,— сказал он, сладко зевая и кладя голову на стол.

А она смотрела на него, пригорюнившись, как на сироту.

Перед сном Петя накинул на плечи шинель и вышел за калитку постоять.

Было темно, холодно, сыро. Ближние Мельницы спали. На станции Одесская-товарная слышалось кряканье железнодорожных рожков, свистки маневрового локомотива, раскатистое постукивание вагонных буферов.

Эти звуки, которые прежде вызывали у Пети манящие чувства дальних странствий, теперь потеряли всю свою таинственную прелесть и уже ничего не говорили его воображению, кроме того, что вот, наверное, составляется воинский эшелон или санитарный поезд.

Но со всем этим было уже покончено.

Изредка далеко за выгоном, в районе казарм, постреливали, но эти одиночные винтовочные выстрелы доносились как бы из другого мира, не имевшего к Пете никакого отношения.

Петя стал думать о своей любви. Сердце его загорелось. Он очень ясно представил Ирен и себя, поцелуи, свечи, темную парадную. Но, как ни странно, это все тоже происходило как бы в другом мире, отделенном от Пети тишиной холодной ночи.

Посреди улицы прошел патруль Красной гвардии.

Один из патрульных остановился возле Пети:

— Кто?

— Свои.

Патрульный посветил на Петю электрическим фонариком.

— Офицер?

— Так точно.

— Что здесь делаешь?

— Стою.

— Документы.

— Брось, Афоня, не видишь? Это же сын учителя Бачея, прапорщик, живет у Черноиваненок. Я его знаю.

— А! Ну, ничего. Живите. Спокойной ночи.

Фонарик погас. Патруль пошел дальше вдоль темных, тихих хибарок Ближних Мельниц.

«Однако как они хорошо все знают, все помнят!» — подумал Петя.

В одном месте над крышами туманный воздух светился. Там были железнодорожные мастерские. Оттуда доносился ровный шум работающих станков. Работали днем и ночью, в три смены. Что там делали? Вероятно, как и на всех заводах, точили шрапнельные стаканы.

Петя улавливал в ночной тишине ровный, непрерывный звук токарных станков и шелест трансмиссий, работавших на оборону.

Неужели эти шрапнели и гранаты еще куда-то полетят и будут разрываться, ломая дома, убивая людей? Неужели еще не все кончено?

Утром прибежала после ночного дежурства Мотя. Петя услышал из своего сарайчика ее возбужденный веселый голос.

Немного погодя она заглянула в сарайчик.

— А хлопчики так еще и не возвращались? — сказала она, увидев, что кровать Женьки и Павлика пуста.— Анисима тоже нема. Ничего себе вестовой. Каждую ночь гуляет. Ну, как вы, Петя, устроились на старом месте? — спросила она, заметив, что Петя не спит.

— Доброе вам утро.

Утро было действительно доброе, ядреное. Ночью сильно похолодало. Из полуоткрытой двери со двора пылала поздняя октябрьская заря, и Мотина фигура в солдатском ватнике, короткой юбке и высоких ботинках вся была охвачена темно-красным угрюмым светом.

Струя ледяного воздуха лилась в сарайчик, и Петя поежился под своей шинелью.

— Смерзли? — спросила она.

— Ничего.

— Как-нибудь перезимуете. Мы вам здесь грубку сложим из кирпича. Ой, Петечка, что делается в нашем лазарете! Пришел взвод юнкеров выкидать обратно из палат раненых солдат. Но ничего у них не получилось. Мы сейчас же вызвали матросов с «Алмаза», и они им дали пить водички. Чуть до стрельбы не дошло. Так что сейчас у нас полно раненых солдатиков. Теперь уж их никто не тронет. Что с возу упало, то пропало. А вы танцуйте!

Не входя в сарайчик, Мотя нагнулась и бросила Пете на постель два письма.

— Еще вчера пришли в лазарет на ваше имя. Одно — двойная открытка из Петрограда от Марины, а другое — секретка, не знаю от кого, принес чей-то генеральский холуй, наверное, от той самой вашей любви с Пироговской улицы, угол Французского бульвара,— сказала Мотя, ревниво скосив глаза, и скрылась, захлопнув за собой дверь.

Маленькая надушенная секретка цвета цикламен была от Ирен. На ней было написано быстрым девичьим почерком: «Е. Б. Петру Васильевичу Бачей». «Е. Б.» обозначало «Его Благородию».

Петя оторвал купон.

«Я никак не предполагала,— писала Ирен без твердых знаков,— что вы окажетесь таким послушным мальчиком. Но две недели еще не прошли, а я уже без вас соскучилась. Вы еще не забыли Вашу Ир.? Ваши цветы все еще живут у меня в комнате в двух больших копенгагенских вазах, а «Демон» всегда под подушкой. Нам обо многом надо поговорить. Все время думаю о вас. Ир.».

Что-то в этой записке было не то. Петя ждал большего. Когда любят, так не пишут. Разве можно писать так после того, что между ними было?

А, собственно, что было? Что ему еще надо? Она пишет «ваша Ир.». «Значит, она все-таки моя. Нам обо многом надо поговорить. Конечно, но, может быть, случилось что-нибудь непредвиденное?»

Его бросало то в жар, то в холод. Неужели снова появился «он» и они помирились?

Все чувства были в нем возбуждены. Он подул себе

под нос и почувствовал жар, как будто у него было по крайней мере тридцать восемь. В то же время голые ноги, вылезшие из-под шинели, были ледяными, в особенности большие пальцы.

Стыдливо оглянувшись, Петя прижал к губам полотняную бумагу, словно отравленную духами, еще раз перечел письмо и сунул его под рубаху на грудь.

Затем, немного успокоившись, он прочел двойную штемпельную открытку из Петрограда с грифом военной цензуры, всю исписанную вдоль и поперек химическим карандашом мелким сноровистым почерком, с недописанными словами.

«Дорогой мой старый друг Петя! Не удивляйтесь, получив эту открытку. Хотя мы так давно не виделись и даже не переписывались, но я Вас всегда помню и люблю, как друга. Ведь Вы — моя юность! Недавно я узнала, что Вы ранены, лежите в Одесском лазарете, и страшно встревожилась. Надеюсь, это несерьезно, да? И вдруг на меня пахнуло прошлым. Помните «наш» хуторок, прогулки в степи, звездные ночи у костра, когда В. П. так чудесно и поэтично рассказывал нам о Космосе? «Чем ночь черней, тем ярче звезды». Помните? А ракеты в небе, а большефонтанский маяк? А светлячки? Теперь дело прошлое, но, признаюсь Вам, одно время Вы мне таки здорово нравились. Не знаю, как Вы, а я тогда была наполнена до краев предчувствием грядущей Революции. Видите, я даже пишу это священное для меня слово с большой буквы. И вот она наступила. Еще, правда, не совсем она. Но та, Великая, уже совсем не за горами. Она может вспыхнуть и разыграться каждую минуту, как всеочищающая гроза. Вы, конечно, понимаете, что я хочу сказать. Наверное, Ваша милая тетя Т. И. говорила Вам о нас, где мы сейчас и что делаем. Так что не буду об этом распространяться. Учитесь читать между строк. Больше о себе ничего не могу сказать. Вы помните волшебное слово «Лонжюмо»? Так вот. Да, да. Все, что казалось тогда нам в Швейцарии и в Париже великолепной мечтой, теперь начинает осуществляться. Готовится осуществиться. На наших глазах. Прямо-таки не верится! О, если бы Вы знали, поняли, какое это счастье! Хотя Вы и офицер, но я не сомневаюсь, что Вы с нами. Шлет Вам привет Ваш старый друг Гаврик Черноиваненко. Он те-

перь самый близкий для меня человек, товарищ, спутник. Понимаете? Поправляйтесь же. Надеюсь, скоро увидимся. Когда все совершится, наверное, увидимся. Ну, до свидания, мой милый, старый друг, моя бывшая любовь, Петя. Ваша Марина. Простите за каракули, но Гаврик вырывает карандаш и мешает писать».

После этого сбоку довольно коряво было нацарапано: «Здорово, Петька! Жму руку. Живы будем, не помрем. Твой Гаврик Черноиваненко. Привет из Петрограда, 22 октября 1917 года, Смольный. Чуешь, чем пахнет?»

20

В СМОЛЬНОМ

Родион Жуков ходил по Смольному, разыскивая Ленина.

Недавно совершилась Октябрьская революция. Было образовано временное рабоче-крестьянское правительство — Совет Народных Комиссаров.

Теперь Смольный, по-прежнему продолжая оставаться боевым штабом восстания и центром борьбы со всеми силами контрреволюции, начал понемногу приобретать также некоторые черты государственного учреждения с его обычной, не военной, а гражданской суетой, со стуком «ундервудов», звонками телефонов и даже «курьерами», которые разносили бумаги и чай, впрочем, не в стаканах, а в фаянсовых институтских кружках, иногда, очень редко, покрытых тоненьким ломтем черного солдатского хлеба.

По совету Павловской Родион Иванович сперва отправился в комнату, где временно на казарменном положении жили Владимир Ильич с Надеждой Константиновной.

Часовой — молодой солдат в черных обмотках, с узкими, напряженно-подозрительными глазами — вскинул винтовку, но, узнав известного потемкинца Жукова, тотчас отвел в сторону штык, и Родион Иванович заглянул в комнату. Она была пуста.

Родион Жуков увидел на подоконнике черную дамскую шляпку с воткнутой в нее длинной булавкой с ша-

риком, а на стене — демисезонное пальто Владимира Ильича с потертой бархаткой на воротнике.

Эти самые шляпку и пальто Жуков видел еще до войны в Лонжюмо, под Парижем, где слушал лекции Ленина в партийной школе, и теперь, при взгляде на эти милые, постаревшие вещи, почему-то вдруг с особенной остротой почувствовал все значение того, что происходило сейчас в России.

На лестницах, в высоких, узких, сводчатых, непомерно длинных институтских коридорах, в дортуарах, превращенных в караульные помещения и канцелярии,— всюду беспорядочно толпилось множество самого простого, черного народа: мужиков в армяках и тулупах, в подшитых валенках и лаптях, обросших армейских делегатов, вооруженных рабочих, красногвардейцев с красными повязками на рукавах, матросов из Центробалта и Румчерода, среди которых Родион Жуков нередко узнавал товарищей по эмиграции.

В одном из коридоров на связке солдатских шинелей сидела в короткой жакетке поверх белой блузки с плоеной грудью и в стоптанных ботинках Крупская и, отгоняя от себя рукой махорочный дым, отовсюду плывущий в воздухе, слушала нового народного комиссара просвещения Луначарского, который, топорща большими пальцами коротких рук дряхлый парижский жилет, развивал перед нею план коренной реорганизации народного образования в бывшей Российской империи.

Луначарский вдруг остановился на полуслове и стал близоруко всматриваться в Жукова сквозь мутные стекла старомодного пенсне с пружинкой, в резкочерной оправе, криво сидящего на его крупном дворянском носу.

— Надежда Константиновна, а ведь это Жуков!

— Конечно,— сказала Крупская, подавая Родиону Ивановичу руку.— А вы не знали, что он здесь?

— Пропащая душа! — воскликнул Луначарский.— Когда мы с вами виделись в последний раз? Дай бог памяти: на Капри у Горького в одиннадцатом или на вокзале в Неаполе?

— Не угадали. В Париже, в двенадцатом.

— Верно! В Лувре, не правда ли?

— Да, вы нам показывали Рубенса. Красиво говорили. Мы заслушались.

— Теперь не до Рубенса,— сказал Луначарский.

— Вы не скажете, где Владимир Ильич? — спросил Жуков.

— Какое время! Феноменально! — растроганно и возбужденно проговорил Луначарский, не слыша вопроса Жукова, но разглядывая самого Жукова, его старый, еще времен пятого года матросский бушлат, деревянную полированную кобуру маузера, чем-то напоминавшую новенький школьный пенал, георгиевскую ленту с почерневшей золотой надписью «Князь Потемкин-Таврический».— Да, «Потемкин».— На глазах Луначарского показались слезы.— Вы, Родион Иванович, теперь уже не человек. Вы памятник, легенда. Товарищи, смотрите: это — живое воплощение пятого года! — вдруг воскликнул Луначарский, оглядываясь по сторонам и как бы приглашая в свидетели сотни людей, которые наполняли здание Смольного гулом своих голосов и шагов.

Жуков повторил вопрос, где сейчас находится Ленин, испытывая в то же время не менее сильное волнение, чем Луначарский, но никак не желая поддаться этому волнению.

— Всюду был,— сказал он.— Нигде нет. И никто не знает.

— Володя нынче ездил вместе с товарищем Свердловым в автомобиле в Главный штаб на прямой провод. Вы у Свердлова были?

— Был.

— Так сходите еще раз.

Едва Жуков начал спускаться по лестнице, как увидел Ленина в сереньком в мелкую клеточку пиджачке. Он бежал вверх навстречу Жукову, быстро мелькая по ступенькам ботинками «Вэра» и откинув в сторону руку, в которой держал моток телеграфной ленты.

Они чуть не столкнулись.

— Вы ко мне? — спросил Ленин, не узнавая Жукова в матросской форме.— Я же сказал, чтобы товарищи из армии и флота прежде всего направлялись прямо на третий этаж, к Дыбенко или Антонову-Овсеенко, наконец, к Кобе.

— Это я, Жуков.

— Ах, черт возьми! Не узнал вас в этом виде. Быть вам богатым.

Ленин подхватил на ходу Родиона Ивановича под руку и потянул за собою вверх по лестнице.

— Ну, что у вас? В двух словах!

— Да вот, хочу проститься: уезжаю.

— Куда?

— В Одессу, в Румчерод. Нас тут целая группа черноморцев.

— У Свердлова были?

— Был.

— Инструкцию получили?

— Получил.

— Имейте в виду, там обстановка ой-ой-ой!

— Знаем.

— Люди с вами едут надежные? Члены партии? Кого больше: рабочих или крестьян?

— Крестьян, пожалуй, будет побольше. Но, конечно, есть и рабочие. Настоящие пролетарии: рыбаки, металлисты, железнодорожники. Все делегаты съезда.

— За железнодорожниками посматривайте. Народ ненадежный. Викжель. Соглашатели, меньшевики.

— Мои надежные,— самодовольно усмехнулся Жуков.

Ленин резко остановился, слегка расставил короткие ноги, заложил руки за спину. Его лысая голова с громадным лбом и рыжеватыми волосами на затылке была откинута, глаза строго, недоверчиво прищурены.

— Гм... вот как... Вы думаете, надежны?

Он как бы изучал Жукова, взвешивая слова, сказанные им.

Лицо Ленина не было похоже на лицо того Ленина, которого Жуков хорошо знал по Парижу и по Праге. Не было бородки и усов: они еще не вполне отросли после того, как Ленин их сбрил перед самым переворотом, отчего крупный рот и сильный подбородок Ленина были резко очерчены и делали его лицо еще более решительным, скуластым, простонародным. Если бы не сократовский лоб, его можно было бы смело принять за средних лет мастерового.

— А вы не ошибаетесь? — прищурился Ленин.

— Думаю, нет,— сказал Родион Жуков, любуясь Лениным, всей его маленькой фигурой с крепкой, очень

широкой грудью и втянутым животом, на котором морщился жилет.

Все в Ленине нравилось Жукову, в особенности редкие, но стремительные движения рук, которые он то засовывал глубоко в карманы брюк, то закладывал за спину, то выбрасывал вперед.

— Пойдемте ненадолго ко мне, потолкуем. Я хочу у вас спросить одну вещь,— сказал Ленин.— Надя, ты уже виделась с Родионом Ивановичем? Он нынче уезжает на юг, в Одессу. Пришел прощаться.

— Видела, видела!

— Так пойдемте.

Ленин прибавил шагу, стараясь как можно незаметнее проскочить в толпе, которая, увидев его в коридоре, окружила со всех сторон и уже двигалась вместе с ним, с любопытством и гордостью рассматривая этого человека, вождя первой в мире социалистической революции.

Родион Жуков заметил, что Ленин слегка покраснел, но не от смущения, а от какой-то веселой досады.

Наконец они очутились в маленькой комнатке, где обычно работала на своем неуклюжем «ундервуде» Павловская, печатая первые декреты и указы Советского правительства.

Теперь в комнате никого не было. По-видимому, Павловская пошла в столовую обедать.

Они сели на стулья возле окна.

— Вот о чем я вас хотел спросить, уважаемый,— сказал Ленин, сильно упираясь обеими руками в колени, нагнувшись и пытливо глядя Жукову прямо в глаза. Он сделал маленькую паузу.— Скажите, как удержать власть? Что вы об этом думаете? А власть надо удержать во что бы то ни стало!

Этот вопрос через несколько дней после взятия Зимнего дворца, бегства Керенского, ареста Временного правительства — словом, после блестящей, молниеносной и почти бескровной победы пролетарской, социалистической революции — мог показаться весьма странным. Но Родион Иванович слишком хорошо чувствовал Ленина, чтобы не понять всю силу и глубину этого вопроса. В этом вопросе был весь Ленин с его предусмотрительностью, трезвостью мысли, остротой политического анализа, при-

рожденной нелюбовью ко всем и всяческим общим местам и полным отсутствием позы.

Среди всеобщего восторга великой исторической победы, которую так долго и так страстно ждали многие поколения русских трудящихся, легко можно было потерять голову. Это могло случиться со всяким, но только не с Лениным.

— Как удержать власть? — переспросил Жуков.

— Да, как? — спросил Ленин.

— По-моему, так же, как это бывает всегда во время революции: драться.

— Совершенно верно! — быстро сказал Ленин.— Я с вами согласен. Драться. Но какими силами?

— Армия, флот...— начал Жуков.

Ленин болезненно поморщился.

— Вы же знаете, что армия смертельно, адски устала. И, кроме того, еще многие воинские части находятся под сильнейшим влиянием всяческой контрреволюционной сволочи, а-ля правые эсеры, кадеты, Краснов, Корнилов... Вы знаете, что Керенский с войсками подошел к Гатчине? Так вот! Армию еще нужно повернуть целиком на нашу сторону. На это требуется время, а время не ждет. Флот я уже вызвал. Вот.— Ленин показал моток телеграфной ленты, который уже успел сунуть в карман пиджака.— Из Гельсингфорса идут военные корабли, «Республика» и миноносцы с оружием, десантом и продовольствием. Вот вы, например, военный моряк, правда, бывший. Но у вас должен быть какой-то опыт. Как вы думаете: если миноносцы войдут в Неву около села Рыбацкого с тем, чтобы защищать Николаевскую железную дорогу и все подступы к ней, а «Республика» станет рядом с «Авророй», это даст нам какие-нибудь преимущества?

Ленин повернулся на стуле (стул скрипнул), привстал и посмотрел в окно, вдаль, как будто бы уже видел военные корабли, входящие в Неву.

Вечерело. За окном над Большой Охтой плыл холодный ноябрьский туман. Маячили размытые тени балтийских чаек. На фоне этого плывущего жемчужно-серого тумана и этих косо мелькающих чаек лицо Ленина показалось Жукову вылепленным, как прекрасный барельеф, исполненный несокрушимой воли.

— Как хорош этот город! — мечтательно сказал

Ленин, все еще продолжая, напряженно прищурившись, всматриваться в даль, в туман, и вдруг, повернувшись к Жукову, резко бросил: — Ну, есть ли резон отдавать его какому-нибудь пройдохе, вроде Керенского? — И почти без перехода: — Стало быть, вы считаете, что если «Республика» станет рядом с «Авророй», то мы будем иметь достаточный радиус для обстрела любой части города?

— Безусловно.

— Вы не ошибаетесь?

— А как же! Имею опыт. Когда в пятом году мы били с «Потемкина» по Одессе, то свободно хватало до Молдаванки и даже дальше.

— Это убедительно,— сказал Ленин, подумав.— Убедительно. Ну-с, так-с, значит, вы советуете драться? Так и поступим. По-видимому, впереди предстоит еще много боев: нам — здесь, а вам — на юге. По-моему, вам будет даже еще жарче, чем нам. Вы это, между прочим, учтите.

— Учту.

Ленин, блестя в сумерках глазами, коротко засмеялся своим альтом.

— Итак, подытожим: драться.

— Драться, Владимир Ильич.

— А у вас есть чем драться? — лукаво спросил Ленин.

— Вот,— ответил Жуков, похлопав по своему маузеру.

— Мало,— сказал Ленин строго, но в то же время с некоторым любопытством косясь на красивую деревянную кобуру маузера.— Вот вам главное оружие.— Он взял с подоконника газету.— Декрет о земле, декрет о мире. Сколько экземпляров берете с собой?

— Порядочно.

— Покажите, покажите, сколько?

Жуков вынул из бушлата несколько экземпляров газеты.

— Всего! — разочарованно воскликнул Ленин.— Э нет, батенька! Вы меня, вероятно, не поняли. Пойдемте-ка вниз.

Ленин пружинисто поднялся со стула и стремительно, несколько бочком, выскользнул из комнаты.

Жуков едва за ним поспевал.

21
БАЛТИЙСКИЕ ЧАЙКИ

Они опустились по нескольким лестницам, где попрежнему вверх и вниз двигались толпы людей, и наконец очутились в экспедиции.

Как раз в это время здесь несколько рабочих и балтийских моряков вносили со двора и укладывали под лестницу тюки и пачки только что привезенных из типографии листовок с текстом декретов о земле и о мире.

Тут же Родион Иванович заметил Гаврика Черноиваненко и Марину.

Они, видимо, тоже ездили за листовками и теперь помогали выгружать тюки.

Неожиданно увидев перед собой Ленина, Гаврик остановился на месте с двумя тяжелыми пачками на плече.

Он видел Ленина всего один раз в жизни, и то издали, в тот день, когда Ленин появился на Втором съезде Советов, провозгласил Советскую власть и среди бури оваций поставил на голосование съезда те самые декреты, которые теперь держал на плече Гаврик.

— Это, Владимир Ильич, наше новое, революционное поколение,— сказал Жуков, показывая на Гаврика.— Молодой черноморец. Он нам еще в пятом году помогал.

Ленин с любопытством взглянул на Гаврика.

— Сколько же ему тогда было от роду?

— Лет девять,— ответил Жуков.

— Восемь, девятый, товарищ Ленин,— сказал Гаврик, щурясь на Ленина, как будто бы тот светился.— А потом я вам даже один раз письмо от группы одесских товарищей переправлял через одного знакомого человека. Адрес: Париж. Четырнадцать. Мари-Роз. Ульянову. Скажете, нет? — спросил он неожиданно совсем по-детски.

— Верно! — воскликнул Ленин и захохотал.— Был такой случай. Это когда вы никак не могли размежеваться с меньшевиками.— Видя, что пачки сползают с плеча Гаврика, Ленин подхватил их обеими руками и легко бросил на пол.— Вы солдат какой части? — спросил Ленин, искоса поглядывая на складную, аккуратную фигуру Гаврика в короткой и старой, но хорошо пригнанной пехотной шинели с матерчатыми погонами и в кожа-

ной фуражке с облупившейся солдатской кокардой.— Самокатчик?

Ленина ввела в заблуждение кожаная фуражка Гаврика.

— Он у нас товарищ, так сказать, из разных частей,— подмигнул Жуков Ленину.— На все руки мастер, но главным образом по связи. Большую работу проделал в действующей армии. Дважды ранен. В партии с шестнадцатого года.

— Ого! Молодой, да из ранних! — засмеялся Ленин.

— Мой старый друг,— сказала Марина, коротко тряхнув головой в финской шапочке с черным кожаным верхом и кожаной пуговкой, из-под которой красиво выбивались каштановые, немного остриженные волосы.— Мы с ним, дядя Володя, вместе в Одессу едем.

— Мама в курсе? — спросил Ленин.— А то у меня смотри! — И погрозил пальцем.

Он знал ее совсем маленькой девочкой в эмиграции в Париже, в Лонжюмо, в Швейцарии, и теперь ему странно и весело было видеть эту смелую, красивую, независимую девушку с револьвером на поясе, дочь Павловской, по-видимому влюбленную в складного солдатика-большевика с мальчишескими веснушками и рыжеватыми насупленными бровями, «мастера на все руки, а особенно по связи», здесь, в Смольном, через несколько дней после той революции, которой была посвящена вся его жизнь.

Узнав, что товарищ Ленин находится в экспедиции, сюда повалил народ со всего Смольного.

— А вот еще товарищ из нашей южной группы, делегат Румынского фронта,— сказал Жуков Ленину, заметив в толпе Акима Перепелицкого, накрест обмотанного пулеметными лентами и с двумя ручными гранатами за поясом.

— На! Аким Перепелицкий! Появился наконец! — воскликнул Гаврик.— Где пропадал? Почему я тебя не видел на открытии съезда? А еще делегат!

— Зимний брал с ребятами. Потом трошки постоял на втором заседании, проголосовал за мир и за землю и опять пошел с патрулями по городу, чтобы в случае чего давить любую контрреволюцию на месте. Товарищ Ленин,— сказал Перепелицкий, проталкиваясь к Влади-

миру Ильичу,— извините, знать вас, конечно, добре знаю и на съезде видел, но лично не имел случая. Так позвольте мне от имени солдат Румынского фронта и вообще от всех трудящихся юга пожать вам руку.

— Спасибо. Очень приятно. Передайте привет одесским большевикам,— сказал Ленин, крепко потряхивая руку Акима Перепелицкого.

— Передам непременно!

— И пусть одесские трудящиеся, не откладывая, берут власть в свои руки. Надо ковать железо, пока горячо. Да и еще вот что. Там у вас рабочие уже два месяца не получают заработной платы. Казначейство пусто. К сожалению, в настоящее время у нас у самих ничего нету, хотя мы и являемся русским правительством. Банковские чиновники саботируют и не желают давать деньги по нашим ассигновкам. Но можете быть уверены, что мы этот саботаж сломим вооруженной рукой, а саботажников будем беспощадно расстреливать.— Глаза Ленина сверкнули, сухая, желтоватая кожа на скулах натянулась, и крупный рот слегка ощерился, обнажив крепкие зубы.— Тогда мы пошлем вам миллионов шестьдесят, чтобы вы незамедлительно расплатились с одесским пролетариатом и ликвидировали всякую задолженность, потому что это — форменное безобразие. А пока убедите рабочих, что надо немного потерпеть. Они вас уважут.— Ленин улыбнулся.— Значит, товарищи,— прибавил он, обращаясь уже ко всем,— счастливого пути. И берите на дорогу, кто сколько может захватить. Не стесняйтесь.— Ленин стал срывать с пачек обертку, едко пахнущую керосином, брать листовки, аккуратно их складывать и с веселым, каким-то мальчишеским, как подумалось Жукову, озорством совать во все карманы Перепелицкого, Гаврика и Родиона Ивановича.— Берите, товарищи, берите. И помните, что сегодня в нашей стране, да и во всем мире, нету сильнее динамита, чем эти весьма понятные, простые русские слова: хлеб, земля, мир.

Делегаты стали разбирать листовки, класть их в вещевые мешки, ранцы, подсумки.

Ленин снова посмотрел на Жукова и вдруг как бы впервые увидел на его бескозырке георгиевскую ленту с золотыми, потемневшими буквами.

— А знаете, это очень хорошо, что вы надели свою

старую форму. Носите ее, не снимая. Это тоже, знаете, своего рода динамит. «Потемкин-Таврический». Вы когда уезжаете?

— Ночью.

— Через Москву?

— Да.

— Там сейчас восстание юнкеров, уличные бои, опять Пресня, как в пятом. Вопрос: пропустит ли вас Викжель?

— Не пропустит — сами пробьемся!

— И верно. На бога надейся, а сам не плошай. Лучшая революционная тактика — наступательная.— Ленин взял Жукова под руку.— Одна из самых крупных наших ошибок в пятом году состояла в том, что мы не довели дело до конца. Коли уж начали, то надо было драться и наступать до полной победы. Нерешительность — смерть восстания. Вы это должны знать на опыте «Потемкина». Надо было тогда идти до конца. Учтите это на будущее. Я думаю, вам предстоят уличные баррикадные бои.

— А мы надеемся на бескровную революцию, как здесь у нас, в Петрограде.

— Ну, не думаю,— сказал Ленин.— Еще неизвестно, что ждет нас здесь, в Петрограде. Не исключена крупная драчка. А у вас, на юге, дело не обойдется без большой крови. Это я вам предсказываю. Сейчас ситуация такова, что контрреволюция, потерпевшая поражение в центральных областях России, объединится и попытается взять реванш на периферии. Там к ее услугам всякие буржуазно-националистические организации, вроде Центральной Рады, «Сфатул-цэрия», дашнаков и прочее. Это все маски, под которыми будут выступать капитализм и кулачество. Буржуазный помещичье-капиталистический национализм — вот вам враг номер один. И запомните: лучшая и единственная тактика — наступательная. Зайдите ко мне несколько попозже, я вам дам письма к одесским большевикам и подпишу мандаты.

Когда, взяв у Ленина письма и мандаты, еще раз повидавшись со Свердловым и получив от него последние инструкции, самые новые сведения о положении в стране, взяв в канцелярии военного отдела железнодорожные литеры, попрощавшись с Павловской, Родион Жуков с вещевым мешком за плечами вышел мимо часовых —

красногвардейцев и солдат петроградского гарнизона — во двор, под арками его уже ждали делегаты-южане с тем, чтобы всем вместе идти на Николаевский вокзал.

Марина, только что простившаяся с матерью и расстроенная этим коротким, деловым прощанием, в сапогах и в своей старой гимназической шубке с дешевым меховым воротником, подпоясанная солдатским ремнем с тяжелым наганом, сидела на своем швейцарском чемоданчике перед костром и, протянув к огню растопыренные пальцы, сушила варежки.

Гаврик стоял перед ней, опершись спиной о край трехдюймовки, и смотрел на ее милую, немного сутулую фигурку, на ее финскую шапочку, сапоги и блестящие от слез глаза, в которых отражался костер.

— Южная группа, становись! — скомандовал Родион Жуков.

Он проверил их всех по списку и вывел за ворота Смольного мимо освещенных кострами дежурных пулеметчиков, мимо броневика, в тусклых гранях которого угрюмо отсвечивал огонь, мимо ящиков с патронами, мимо артиллерийских передков, и их поглотил туман холодного балтийского ноября, плывущий над тревожно настороженным Петроградом.

А через неделю желтый пассажирский вагон второго класса с размашистой надписью мелом «Делегатский. Южная группа», задержавшись на несколько дней в Москве, где шли бои с юнкерами и горел большой дом на углу Никитской и Тверского бульвара, простояв двое суток в Киеве, захваченном гайдамаками, застрявши на сутки в Казатине, наконец прицепившись в Бирзуле к санитарному поезду, мимо горящих помещичьих экономий, сахарных заводов, станций, забитых солдатами с Румфронта, мимо дубовых рощ с еще не опавшей ржавой тяжелой листвой, мимо черных замерзших украинских полей, белеющих по межам ранней порошей, мимо длинных ометов желто-бурой прошлогодней соломы, мимо митингов, дымов, набатов, красных флагов, разбрасывая пачки ленинских декретов о земле и мире, которые стаями разлетались во все стороны вокруг поезда, охваченный темно-красной, как раскаленное железо, поздней утренней зарей ноября, наконец прибыл на станцию Одесса-товарная и остановился.

22
БОГ НЕ ДОПУСТИТ

Любовь к Ирине теперь уже потеряла свою новизну, вошла в берега и текла спокойно, как неглубокая и небыстрая речка, правда, очень живописная, местами просто восхитительная.

В доме Заря-Заряницких в последние дни все как-то потускнело.

Сам генерал отбыл в ставку Щербачева. Знакомые офицеры разъехались. Остался лишь муж красавицы Инны, который окопался в штабе военного округа, в контрразведке — местечке безопасном и на виду.

Шура и Мура притихли, сидели у себя в комнате и занимались. По вечерам за стол уже не садилось по двадцать человек, а были только свои и пили скромный чай на будничной клеенке под большой столовой люстрой, где горело всего два рожка, и то если был ток.

В девять часов уже всем хотелось спать.

Прислуга грубила, уходила на митинги, перестала мыть посуду, пропадала в гостях, так что часто некому было подать на стол. Один из денщиков, самый надежный, Степан, сверхсрочный ефрейтор, седоватый и степенный, к общему удивлению, первый дезертировал — без спросу ушел в деревню делить помещичью землю.

Ирина заметно изменилась. Теперь она уже не казалась Пете такой неразгаданной, пугающе-прекрасной. Она стала понятней, проще. В домашних туфлях, узкой английской юбке, в сером вязаном свитере с глухим круглым воротом вокруг нежной шеи, она садилась к Пете на колени, легко обнимала за шею и долго смотрела на него своими серовато-лиловыми глазами.

В это время он тоже рассматривал ее лицо, слегка блестевшее от кольдкрема, ее розоватые, как бы нарумяненные веки с густыми ресницами, ее красивые волосы, небрежно поднятые вверх и заколотые черепаховым гребнем.

Она уже не казалась такой недоступной, как раньше, но все же была по-прежнему обольстительной.

Со стены исчезла фотография жениха. На ее месте Петя однажды увидел пришпиленную к обоям свою маленькую глянцевитую карточку с аксельбантами и глупо

раскрытыми глазами, в которых отпечатались яркие точки лампочек электрофотографии «Молния» на Дерибасовской против «Бонбон де Варсови», где Петя специально снялся по просьбе невесты. Да, теперь она была уже его невеста.

Он осторожно трогал ее крупно вьющиеся волосы, проводил пальцем по шелковистым бровям, подолгу рассматривал ее сухие темно-розовые потрескавшиеся губы.

Теперь он уже не так сильно боялся ее потерять, как раньше. Он был уверен в ее любви. Ведь она решительно отказала жениху! Пете в голову не приходила мысль, что, может быть, это он ее бросил. Он настолько привык к своему счастью, что временами переставал понимать это счастье.

Они мало разговаривали и много целовались, утомляя друг друга этими молчаливыми, однообразными, ни к чему не приводящими поцелуями.

Теперь Петя ходил к Заря-Заряницким ежедневно.

Именно в один из этих дней пришла весть об Октябрьской революции. По дороге к Заря-Заряницким Петя заметил, что в городе странное оживление, радостное и в то же время грозно-тревожное.

На углу Куликова поля и Пироговской у газетчицы-старухи, которую Петя помнил еще с детских лет, он взял с табурета, выставленного у ворот, жиденький номер «Известий Одесского Совета» и стал жадно читать газету, надувшуюся в его руках, как парус. Над черным, как всегда пустынным Куликовым полем на разные лады свистел сухой, холодный ветер, уже почти по-зимнему неся пыль, перемешанную с редкими снежинками.

У штаба мерзли часовые.

Из всего того, что было напечатано в газете, стало ясно одно, самое главное — мир!

Петя понял, что теперь новое, Советское правительство наконец-то заключит мир, и он, прапорщик Бачей, уже не должен идти на убой. Он уже не дезертир. Он свободный гражданин новой России. У него было такое чувство, как будто ему подарили жизнь. И подарили не где-нибудь, а именно здесь, сейчас, на углу Куликова поля и Пироговской в десять часов утра. И Петя тут же представил себе Петроград, в котором он никогда в жизни не был, Смольный, новое правительство — простых

людей, большевиков, министров, называвшихся теперь народными комиссарами, и среди них того самого Ульянова-Ленина, который в последнее время где-то скрывался, а теперь вдруг появился и возглавил новое, социалистическое, рабоче-крестьянское правительство России.

Нет, они просто молодцы, эти большевики: выгнали Керенского, взяли Зимний, отдали землю крестьянам, а фабрики — рабочим, то есть в течение нескольких дней сделали то, что до них не могли сделать многие поколения русских революционеров! А самое главное, они провозгласили мир. Как завидовал Петя Марине и Гаврику, которые, наверное, были в это время в Смольном, все видели собственными глазами и во всем участвовали! Ай да Гаврик! Молодец! Ведь, в сущности, это он, Гаврик Черноиваненко, его старый друг, солдат, большевик, протянул Пете руку помощи и спас его от гибели.

Ну, теперь все пойдет по-другому!

— Господа, вы слышали: Временное правительство пало, Керенского по шапке, и теперь безусловно конец войне! Мир! Ура! — воскликнул Петя, входя сияющий к Заря-Заряницким.

Он еще хотел прибавить, что большевики — молодцы, что Ленин — настоящий русский патриот, что в Смольном собрались энергичные, сильные, простые люди, подлинные министры, хотя и называются народными комиссарами, что именно они, только они, и не кто другой, спасут Россию... Однако, увидев лицо генеральши, полосатое от слез, смешанных с пудрой, прикусил язык.

— Я только что получила от мужа письмо с нарочным из штаба Румынского фронта,— сказала она сильно вибрирующим голосом.— Он пишет, чтобы мы не волновались. Здесь, на юге, никакая большевистская опасность нам не угрожает, потому что в Румчероде в большинстве хотя и социалисты, но умные, умеренные люди и патриоты. А войска Центральной Рады прекрасно вооружены, боеспособны и преданы генералу Щербачеву. Что же касается большевистского Петрограда, то он нам не указ, тем более, что не нынче-завтра его возьмут немцы и прежде всего повесят Ленина со всеми его народными комиссарами.

— Да, но...— сказал Петя нерешительно.

Не слушая его, генеральша подошла к Пете вплотную.

— Бог не допустит! — строго сказала она с таким видом, как будто бог находился в распоряжении генерала Щербачева и был сослуживцем мужа, примерно в равных с ним чинах, ну, может быть, на одну звездочку старше.— Тем более,— сказала она, сделав большие глаза,— что у нас в Волынской губернии полторы тысячи прекрасных пахотных земель. А «они» собираются отдать всю землю мужикам. Вообразите себе, без выкупа! Если бы с приличным выкупом, можно было еще подумать. Но просто так, за здорово живешь... Нет уж, пардон. Конечно, это нас окончательно не разорит, потому что у меня есть в сейфе Азовско-Донского банка — антр ну суа ди — ценные бумаги, драгоценности, бриллианты... Все это принадлежит девочкам.— Она ласково, поощрительно посмотрела на Петю, потом на Ирину.— Впрочем, ужас, ужас,— тут же добавила она со свойственной ей непоследовательностью,— но я твердо надеюсь, что генерал Щербачев и Центральная Рада сумеют сохранить порядок и не позволят черни взламывать сейфы.

Затем она почему-то перекрестила Петю и, зарыдав, удалилась к себе в комнату, величественная, как вдовствующая императрица.

— Бог не допустит,— в последний раз послышалось из будуара, и все смолкло: по-видимому, генеральша стала приводить в порядок разрушения, которые причинили ее лицу слишком продолжительные рыдания.

А Ирина и Петя снова провели весь день вместе, мучая друг друга поцелуями, недоконченными фразами, полуулыбками. И конца этому не предвиделось. Генеральша Заря-Заряницкая оказалась права. Несмотря на то что подавляющее большинство рабочих Одессы, многие солдаты и матросы уже твердо стояли за Советскую власть, все осталось по-прежнему. Время еще не пришло.

23

СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ

Петя почувствовал во сне, что его душат. Он хотел повернуться на другой бок, но не мог пошевелиться. На него навалилось что-то тяжелое и не пускало. Он сделал над собой усилие и проснулся. Но кошмар на этом не

кончился. На Пете продолжал кто-то сидеть и даже слегка подпрыгивал.

Петя сорвал с головы полу шинели, которой укрывался, еще раз попытался вскочить, вырваться, но жиденькая походная кровать-сороконожка разъехалась, и Петя очутился на земляном полу вместе с тем, кто на нем сидел верхом.

В ту же минуту Петя увидел чью-то зимнюю солдатскую гимнастерку, матерчатые погоны на крепких плечах и знакомое лицо с наморщенным веснушчатым носом, рыжеватыми бровями и такими же усиками.

Это был Гаврик.

— Пусти, босяк! — закричал Петя дрыгаясь.

— От такового слышу,— прошипел Гаврик, еще сильнее наваливаясь на Петю.

— Задушишь!

— Мала куча! — раздался грубый голос Павлика.— Женька! Вперед! В атаку! Дави их, гадов!

— Наших бьют!

И сверху на барахтающихся приятелей с воплями и сиплым смехом упали Женька и Павлик.

— Пустите, эфиопы! — глухо стонал Петя где-то в самом низу кучи.

— Жми его, я его знаю! — кричал Гаврик.

— Ты! Нижний чин... Серая порция... Ты как смеешь сидеть верхом на офицере? — кряхтел и отплевывался Петя, стараясь вылезти из кучи.

— Видали мы таких офицеров.

— Я раненый.

— Видали мы таких раненых.

— Стать как полагается!

— А раньше! Кончилось ваше времечко!

— Не скажи, брат...

При этом Петя ухитрился схватить Гаврика за ногу в рыжем солдатском башмаке и зеленых вязаных обмотках.

Гаврик крякнул, но не удержался и отлетел в сторону.

Не на шутку озлившись, Петя без особого труда расшвырял мальчишек и теперь сидел посреди сарайчика в бязевой рубахе и подштанниках с тесемками, с вихром на макушке, потный, разгоряченный битвой.

Петя великодушно протянул поверженному противнику руку:

— Дай пять, будет десять,— и поднял Гаврика с земли.

— Смотри, какой стал сильный. Прямо Лурих Второй, Эстляндия,— сказал Гаврик, поправляя распустившиеся обмотки. Лурих второй был знаменитый борец.— А ну, покажись, какой ты есть офицер.

— Гляди.

— Шик!

— Ты откуда взялся? Прямо из Петрограда? Давно?

— Три дня назад.

— Где же ты пропадал?

— По делам всяким. Мы устроились в гостинице «Пассаж».

— А я, как видишь, тут, у вас, на Ближних Мельницах.

— «Судьба играет человеком, она изменчива всегда: то вознесет его высоко, то в бездну кинет без следа».

Они стояли друг против друга, не скрывая радости и любопытства. Ни Петя, ни Гаврик не нашли друг в друге особых перемен, хотя эти перемены были налицо.

Так всегда бывает с друзьями детства. Лишь в первый миг поразит какая-нибудь новая, незнакомая черта — пробивающиеся усики, другая прическа, чужая интонация, повадка...

Но глаза, а в особенности та вечная, никогда не изменяющаяся у человека световая точка в зрачке, единственное, неповторимое выражение лица, манера морщить нос, запах кожи — все это прежнее, хорошо знакомое, вечное, как их взаимная приязнь и дружба на всю жизнь.

Они еще не сказали друг другу ни одного толкового слова, а уже между ними установилось то глубокое, безошибочное понимание, которое связывает лишь людей, съевших вместе, как говорится, пуд соли. Они молчали, многозначительно улыбаясь, и время от времени поглаживали друг друга по спине.

— А где же Марина? — спросил наконец Петя.

— Тут,— ответил Гаврик, показывая большим пальцем на дверь.

Когда в два счета, по-военному, одевшись, Петя шагнул из сарайчика во двор и вдруг увидел Марину в фин-

ской шапочке, с наганом, в первый миг она показалась ему совсем неузнаваемой, даже чужой.

— Здравствуй,— сказала она, с открытым любопытством рассматривая Петю, и протянула ему руку.

— Здравствуй,— ответил Петя.

Их рукопожатие было крепким, но вместе с тем осторожным. Они оба смутились. Петя продолжал с удивлением ее разглядывать.

— Не удивляйтесь. Это я,— сказала Марина, переходя на «вы».— Не узнали?

Он действительно ее не узнавал.

Но вот она как-то слегка набок повернула голову, нахмурилась, и в тот же миг Петя узнал прежнюю Марину.

Сердце его вздрогнуло.

— Вы получили мою открытку? — спросила она.

— Да.

— Почему-то я очень хотела вас видеть.

— Я тоже.

— Вы были ранены. Но, надеюсь...

— Да, да. Кость не задета. Но теперь это уже не имеет значения.

— Почему?

— Мир!

— Какой мир?

— Который вы привезли из Смольного.

Она поморщилась.

— А!

Смущение не только не проходило, но даже усиливалось.

— Я вам, кажется, писала, что мы собираемся сюда. Вот мы приехали,— сказала она после небольшого молчания.— Вы рады? Вы, конечно, поняли из моей открытки, что Черноиваненко — мой... муж.

Теперь она снова из знакомой девочки превратилась в незнакомую молодую женщину.

Она смотрела на него с преувеличенной независимостью.

Петя догадался, что она смущена, так как опасается с его стороны ухаживания. Может быть, она думает, что он до сих пор в нее влюблен? Петя грустно улыбнулся.

Она по-своему истолковала его улыбку.

— Вам странно?
— Что?
— Что мы с Гавриком теперь вместе?
— Ничуть.
Но ему действительно было странно. Он еще не знал, что это всегда сначала кажется странным.
— «Нас венчали не в церкви, не в венцах, не с свечами! — вдруг запела она небольшим, но каким-то свободным, даже слегка вызывающим голосом.— Нам не пели ни гимнов, ни обрядов венчальных».— Она красиво тряхнула каштановыми кудрями и снова превратилась в ту Марину, которая некогда сидела с Петей у костра.— Ну, а вы? Что вы? — спросила она с оживлением.
В этом вопросе заключалось все.
Петя понял. Ему стало не по себе. Что он мог ответить?
— Ничего. Живу,— ответил он с неловкой улыбкой.
— Но все же? — настойчиво сказала Марина.— Вы с кем?
Он понял, что она спрашивает о его политических убеждениях.
Ответить было очень трудно. Вернее, даже невозможно.
— Что ты, Марочка, с места в карьер пристала к человеку? — нежно сказал Гаврик.— Не видишь, что он еще не совсем проснулся. Дай ему очухаться. Держись, Петя! Ты ее еще не знаешь. Хлебнешь горя.
— Хорошо, не буду,— послушно сказала Марина.— Об этом потом. В кого влюблен? — спросила она Петю, резко изменив тон.
— Почему ты думаешь, что я непременно в кого-нибудь влюблен?
Они снова незаметно перешли на «ты».
— Я тебя знаю. Ты всегда в кого-нибудь влюблен. Скажешь, нет?
— Допустим.
— Ага, сознался!
— Сознаюсь. Влюблен.
— Что? Серьезно страдаешь? — оживился Гаврик.
— Не страдаю, но...
Петя посмотрел на Марину и громко вздохнул, даже слегка повернул глаза вверх.

Вздохнул он исключительно для того, чтобы подразнить Гаврика.

К его крайнему удивлению, Гаврик так и взвился.

— Ты это брось, старик,— сказал он тяжело и медленно.— А то знаешь... Лучше не трожь! — У него совершенно неожиданно неприятно оскалился рот и по-волчьи засветились глаза.

— Чудак, я же пошутил! — сказал Петя, слегка даже струхнув.

— Ну и я пошутил,— сказал Гаврик.

— Он у меня просто зверь,— заметила Марина не без гордости.— Ты его лучше не дразни.

— Ладно, проехало,— добродушно сказал Гаврик.

Ему уже было неловко за свою глупую вспышку.

— Одначе, Петька,— сказал он решительно,— давай условимся так: ты вздыхай перед своей, а перед моей я сам буду вздыхать. Ну, не серчай. Это я потому, что сильно-таки ее люблю. Понимаешь, какое дело! Ты со мной согласна, любушка? — обратился он к Марине, слегка обнимая ее за плечи.

Она ничего не ответила, но одобрительно улыбнулась ему открыто, жаркой улыбкой.

— А ты ревнючий,— засмеялся Петя.

— Значит, любит,— сказала Марина.

Гаврик оживился.

— Понимаешь, Петя, какое дело: мы сюда торопились как на пожар, боялись, что попадем к шапочному разбору, а у вас тут, в нашей знаменитой Одессе-маме, даже не чухаются.

— Ты насчет чего?

— Насчет того самого. Пора, братишка, брать власть в свои руки. В Петрограде, как ты знаешь, все прошло как по маслу. Почта, телеграф, телефон, Зимний — четыре сбоку, и ваших нет.

Гаврик говорил не без некоторого удовольствия, щегольнув новой поговоркой, которую сам только недавно услышал на станции Раздельная от одного морячка-дезертира из Дунайской военной флотилии.

— Здесь совсем другая ситуация,— многозначительно сказал Петя, немного задетый слишком лихим тоном Гаврика и не желая ударить перед ним лицом в грязь, для чего даже употребил в дело слово «ситуация».

— А именно? — сразу же насторожился Гаврик.

— В Румчероде засели хотя и социалисты, но в общем умные люди и патриоты...

— Ты что, соображаешь, что говоришь?

— А что?

— Это какие такие патриоты сидят, по-твоему, в Румчероде? Меньшевистско-эсеровская сволочь, примазавшаяся к революции? Так, что ли? Постой...— Слова Гаврика вдруг стали медленными, тяжелыми.— Постой, милейший. Да ты, собственно, сам кто такой? Может быть, ты сам из их шайки? А то еще хуже — кадет? Тогда я тебя поздравляю. А я было тебя посчитал за своего. Отвечай, не крути.

У Гаврика неприятно сузились глаза.

Петя уже был не рад, что, не подумав, повторил слова генеральши. Он понимал, что, желая не ударить лицом в грязь перед Гавриком, а особенно перед Мариной, сморозил глупость, и теперь виновато смотрел на них, пытаясь улыбкой загладить неловкость.

Но они не принимали его улыбки: смотрели на него в упор холодно, недоверчиво.

— Я не понимаю, чего вам от меня надо? Я ведь это не свои слова сказал. Другие так говорят. За что купил, за то и продаю.

— А ты чужую, контрреволюционную пропаганду не распространяй. Имей на плечах собственный котелок. А если хочешь знать, какая у вас тут «ситуация»,— сказал Гаврик спокойно, но ядовито подчеркнув слово «ситуация»,— то я тебе могу сказать в двух словах. В Румчероде действительно есть еще кой-какая дрянь, но это ненадолго. Мы ее оттуда с божьей помощью попрем. Главное же заключается в том, что революционные рабочие, матросы и солдаты Одессы показали всем, что они знают, чего хотят и что делают. Верно, Марина?

Она подумала и коротко кивнула головой.

— Они показали,— продолжал Гаврик,— что попусту бряцать оружием считают ниже своего революционного сознания, но когда нужно будет, то найдется сила, которая станет на защиту своих грозных лозунгов. У нас в Одессе найдется кому отстоять революцию и ее органы — Советы.

Марина одобрительно улыбнулась.

Петя с удивлением и даже с некоторой завистью смотрел на Гаврика, который так свободно и речисто, как по-писаному, развивал свои мысли.

Изредка он косо рубил перед собой кулаком — жест, без которого не обходился ни один оратор-большевик того времени.

— Стало быть, на сегодня картинка такая: Румчерод, Украинская Рада и Революционный комитет смотрят друг на друга и подсчитывают силы. Общее настроение чрезвычайно благоприятно для большевиков. Ты меня понял?

— Вполне.

— Так вот. В этом и заключается весь гвоздь.

— А ты говоришь «ситуация»! — прибавила Марина и дружелюбно улыбнулась.

Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

24

ЛУННАЯ НОЧЬ

В ночь на 14 января небольшой отряд красногвардейцев и матросов, посланный Военно-революционным комитетом занять штаб военного округа, где находилось командование войск контрреволюционной Центральной Рады, прошел от Торговой улицы через весь город и остановился возле Куликова поля в тени Павловского здания. Отрядом руководил Гаврик Черноиваненко, или, как его теперь называли, Черноиваненко-младший.

Здесь Гаврику был с детства знаком каждый камешек, каждая ямка под стеной. Прежде чем двинуться дальше, он решил сделать короткую остановку, для того чтобы осмотреться и сообразить, как действовать дальше.

С ним была и Марина. Кроме маленькой кавалерийской винтовки, надетой через плечо, у нее на боку висела санитарная сумка.

Последнее время Марина и Гаврик совсем почти не разлучались. К этому все привыкли, и теперь никто не удивлялся, что Марина идет вместе с Гавриком в бой.

Впрочем, боя не предвиделось. Гайдамацкие караулы, сагитированные накануне большевиками, обе-

щали не оказывать сопротивления и добровольно сдать посты Красной гвардии.

Но все же надо было сохранять осторожность.

Гаврику было известно, что военно-революционный комитет, кроме его отряда, послал также и другие с тем, чтобы захватить остальные важнейшие стратегические пункты: телефонную станцию, вокзал, почту, банки и прочие учреждения — по плану, разработанному накануне так называемым «комитетом пятнадцати», или же, иначе говоря, ревкомом.

Вокруг все было тихо, то есть где-то на окраинах, в районах казарм и складов, конечно, изредка постреливали из винтовок или пускали осветительные ракеты, но это было обычное явление: развлекались часовые, коротая длинную зимнюю ночь.

Хотя среди немолодых рабочих-красногвардейцев и усатых матросов с «Синопа» и «Ростислава» Гаврик и Марина были самыми младшими по возрасту, все относились к ним с уважением. Все знали, что они приехали из Петрограда, из Смольного, от самого Ленина, брали Зимний, присутствовали на Втором съезде Советов, то есть были товарищами, причастными к той великой социалистической революции, которая недавно совершилась, но еще до сих пор не успела произойти в Одессе. Гаврик и Марина казались как бы ее вестниками, выходцами из нового, небывалого мира, где вся власть уже принадлежит Советам, где действовало первое в мире рабоче-крестьянское правительство — Совет Народных Комиссаров — во главе с самим Лениным и откуда во все стороны летели по радио, потрясая мир, первые декреты нового государства.

Кроме Петрограда, Советская власть уже была установлена в Москве, Туле, Орле, Смоленске, Могилеве, Минске, Харькове, Ростове, Воронеже, Екатеринославе и в десятках других городов бывшей Российской империи. Это было поистине триумфальное шествие Советской власти. Теперь наступила очередь Одессы.

Ночь была морозная, бесснежная. Острый ветер посвистывал в телефонной проволоке. Маленькая, очень яркая луна стояла в глубине головокружительно высокого неба, мозаично обложенного белыми облачками, которые как бы двигались всем своим перламутровым

полем вокруг ее неподвижной точки. Черные тени акаций так отчетливо лежали под ногами на добела освещенном асфальте, как будто бы каждая ветка с прошлогодними сухими стручками, каждый самый маленький сучок были нарисованы углем.

Сделав отряду знак не трогаться с места, Гаврик, осторожно ступая, дошел до ракушнякового забора родильного приюта, заглянул за угол и сразу же наткнулся носом на ствол маузера, блестящий от масла, слегка потертый, отливающий каленой синевой при лунном свете. Гаврик увидел голую матросскую шею, полосатый треугольник тельняшки, карий глаз, соколиные брови и концы георгиевской ленты с золотыми якорями.

— Руки вверх!

— Не может быть,— ответил Гаврик, сморщив нос.

— А, это ты, Черноиваненко! Виноват, обознался,— сказал матрос, пряча пистолет.

— Смотрите, какой он нервный! — засмеялся Гаврик.

— Приходится.

— Ну, что тут у вас слышно? Сопротивляться будут?

— А кто их знает!

— Вчера договорились, что не будут.

— То было вчера, а сегодня ихнее командование, видать, что-то почувствовало и назначило караул от другой части.

— С часовым не балакали?

— Зачем? Балакали,— сказал, выдвигаясь из тени в лунный свет, другой матрос в солдатской шинели, на бескозырке которого на георгиевской ленте легко можно было прочесть яркую золотую надпись «Ростислав».

Это был патруль, высланный вперед, для того чтобы разведать обстановку.

— А где отряд? — спросил Гаврика первый матрос.

— Рядом. За углом.

— А ничего не было слыхать. Аккуратно подошли.

— Спрашиваешь!

— Так что же: будем брать штаб нахалом или как?

— Зачем же нахалом?

Черноиваненко-младший задумался, отставив ногу и глядя на пустынное, пепельно-черное Куликово поле и на Афонское подворье, которое в лунном свете казалось сделанным из воска.

— Идем еще раз посмотрим.

Они дошли до следующего угла, повернули на Пироговскую и остановились возле белого здания штаба, ярко освещенного луной.

У подъезда стояли парные часовые в новых папахах с красными шлычками, из чего можно было заключить, что караул несет один из надежных гайдамацких куреней.

— Здравствуйте, товарищи украинцы! — сказал Гаврик, но так как часовые не ответили, то он по своему обыкновению наклонил голову, как будто собирался бодаться.

— Какого куреня? — спросил он, немного помолчав.

— А ты кто такой, что нас пытаешь? — сварливо сказал один из часовых и поднял винтовку.— А ну, гэть видселя!

— Стрелять будешь? — прищурился Гаврик.

— А хотя бы,— сказал другой гайдамак таким густым, ленивым голосом, как будто бы слова глухо исходили из глубокого погреба.

— Смотри, какой сердитый! Кум-мирошник або сатана в боции.

— Часовому не полагается разговаривать с посторонними.

— Так чего ж ты со мной разговариваешь, чудило?

— Я с тобой не разговариваю. Это ты до меня чипляешься.

— Нет, ты.

— Нет, ты.

— Вот-вот,— сказал Гаврик.— Все равно, как той турок и той хохол поспорили, чей бог лучше: наш или ваш.

— А як они поспорили? Я не разумею.

— Долго рассказывать.

— Ничего. Мы почекаемо.

— Тогда слухайте,— сказал Гаврик и сел на ступеньки у ног часовых.— Сидят турок и хохол на призбочке и спорят, чей бог лучше: наш или ваш? Турок говорит: наш. Хохол — наш. В это время ударил гром. Тогда турок каже: бачь, це наш бог бьет вашего. А хохол ему отвечает: так нашему богу и надо, нехай с дурнем не связывается.

— Так и отрезал? — захохотал второй гайдамак своим подземным басом.

— Так и отрезал,— подтвердил Гаврик.

— Ну, с тем и до свиданьичка,— сказал первый гайдамак,— сидеть на посту посторонним не разрешается. Вставай отсюда.

Гаврик с видимой неохотой встал и отошел на шаг.

— Слушайте, братишки, что я вам скажу,— вкрадчиво начал Гаврик,— во избежание лишнего кровопролития предлагаю вам добровольно сдать посты, как мы об этом еще вчера договорились.

— Мы не знаем, кто с кем договаривался.

— Наши представители с вашими представителями.

— Какие такие ваши представители?

— Представители Военно-революционного комитета.

— Мы таких не знаем. У нас своя Центральная Рада.

— Вот именно,— сказал Гаврик.— Рада. Она рада, только мы не рады.

— По какому случаю?

— По такому случаю, что за вашей Центральной Радой все останется, как при Николае: земля помещикам, а вам дуля с маслом.

— А при вашем Революционном комитете что будет?

— У нас, товарищи громадяне,— строго сказал Гаврик,— вся власть Советам, земля — крестьянам, фабрики — рабочим, долой войну, немедленный мир, а помещиков и капиталистов — в Черное море.

Гаврик чувствовал себя удивительно легко, свободно, уверенно.

Душа его горела. В эту минуту, казалось, для него нет на свете ничего невозможного. Он чувствовал себя как бы хозяином не только этой Пироговской улицы вместе со штабом и часовыми у входа, но также и всей этой сказочной лунной ночи над Куликовым полем, угольно-черной, лилейно-белой, этого морозно-перламутрового небосвода, движущегося над головой, наконец, всего мира, который как бы заново рождался на его глазах.

Вместе с тем все казалось удивительно простым, легко исполнимым. Это чувство чистой человеческой правды незаметно передалось часовым, и они уже перестали смотреть на Гаврика и на матросов как на врагов,

пришедших сюда сделать им зло. Какие же это враги? Свои люди.

— Ну так как же, товарищи гайдамаки, договорились?

Но в это время послышался шум и фырканье, вдоль мостовой легла прыгающая полоса автомобильных фонарей, заиграл рожок, и к подъезду подкатила серая штабная машина.

Часовые встрепенулись, вытянулись и коротким полудвижением отвели в сторону штыки винтовок, сделав «по-ефрейторски на караул».

Из машины выскочил генерал в высокой гайдамацкой папахе и, стуча кавалерийской саблей по ступеням, на которых только что сидел Гаврик, вошел в тяжелые дубовые двери, как бы сами собой открывшиеся перед ним на своем медном, цилиндрическом пневматическом запоре.

За ним последовала генеральская свита, наполнив прямую улицу бряцаньем шпор.

Свет автомобильных фонарей описал полукруг, озарив по очереди ряд уличных деревьев, дубовые бочки у ворот завода искусственных минеральных вод Калинкина, плантацию садоводства Веркмейстера с рядами согнутых штамбовых роз в соломенных футлярах; потом он уперся в глухие железные ворота штаба, которые бесшумно отворились, пропустив во двор машину, потом затворились, и на улице снова сделалось тихо.

Но чувство чистой человеческой правды уже было разрушено.

— Ну, так как же, товарищи? — спросил Гаврик.

Часовые промолчали. Когда же Гаврик снова сделал попытку подойти поближе, они, как на пружине, вскинули винтовки.

— Стой, будем стрелять!

— Да что мы с ними на самом деле цацкаемся! — с досадой сказал тот самый матрос, который советовал действовать «нахалом».

Рванувшись вперед, он припал на колено и поднял над головой ручную гранату.

Гаврик едва успел схватить его за руку.

— Алеша, ша! Пока еще я здесь командую. Ну, громадяне, не хотите — как хотите, — сказал он с ангель-

ской, миролюбивой улыбкой, обращаясь к часовым.— Вам же хуже. Пока вы здесь охраняете генеральскую контрреволюцию, там, на селе, без вас всю землю поделят. Бывайте здоровы! За мной, братишки!

Он сделал знак рукой и не спеша, вразвалочку, с самым невинным видом пошел назад и завернул за угол. Здесь он преобразился — куда девалось его наигранное добродушие, миролюбивая ленца.

— Чуете? — спросил он отрывисто матросов.

— А чего?

— А то, что раз генерал Заря-Заряницкий приехал ночью в пустой штаб со всей своей шайкой, то это не случайно. Я не знаю, что у них на уме. Может, они хотят нас опередить и перейти в наступление. Стало быть, первым делом надо лишить штаб связи. Это дело возьмет на себя товарищ с «Ростислава». Будь ласков, Гриша,— обратился Гаврик к одному из матросов,— полезай на столб и перекуси им все телефонные и телеграфные провода. А ты, дядя Данило, приведи сюда отряд и размести людей поблизости на случай, если придется гайдамацкий караул заменить нашим. Лично я постараюсь зайти в штаб с черного хода и поговорить с караульными, может быть, они согласятся не валять дурака и добровольно сдадут нам посты. В случае, если я с ними не договорюсь, даю три выстрела из нагана, и тогда идете всем отрядом на штурм.

В ту же минуту, не теряя времени, Черноиваненко-младший кошачьим шагом обошел угловой дом и очутился позади штаба.

Это был тот самый дом на углу Куликова поля и Канатной, в котором когда-то жил Петька Бачей, и тот самый пустырь, где когда-то застрелился часовой и куда выходили окна, откуда добрые штабные солдаты бросали Гаврику в подставленную рубаху куски черного хлеба и вчерашнюю гречневую кашу.

Давненько это было, но Гаврику казалось, что вчера.

25
ПРО КОТА И ВОЛКА

Гаврик стал на камень и заглянул в полузамерзшее окно караульного помещения. Как всегда, на подоконнике сушились солдатские луженые бачки, ложки и кружки.

Даже куски житного солдатского хлеба с каштановой корочкой показались Гаврику теми же самыми, что лежали здесь когда-то давно, в детстве.

Теперь Гаврик увидел висячую электрическую лампочку слабого накала и среди махорочного дыма — шинели и папахи часовых, отдыхающих перед столом.

Проще всего было влезть в окошко, но на нем была железная решетка.

Тогда Гаврик решил перемахнуть через каменную ограду.

Недолго думая он разбежался, прыгнул, повис на руках, подтянулся и очутился верхом на высокой стене.

Отсюда он увидел весь штабной двор с гимнастическими приборами, деревянным грибом для постового, гаражом, небольшим строением типографии, офицерскими цветниками, погребом и домиком караульного помещения.

Всюду было пустынно. Ни одной живой души. Царила холодная луна.

«Ничего себе вояки!» — неодобрительно подумал Гаврик, потуже затянул пояс и лихо сбил на затылок кожаную фуражку.

Прежде чем спрыгнуть на низкую крышу погреба, оказавшуюся под ним, он посмотрел на улицу и увидел телефонный столб с сидящим на нем на фоне лунного неба матросом, который рубил тесаком провода.

«Гоп ля!» — произнес про себя Гаврик и спрыгнул на дерновую крышу погреба.

Затем завизжала дверь на блоке, и Черноиваненко-младший вошел в караульное помещение.

На него никто не обратил внимания, потому что как раз в это время молодой чернобровый и черноусый красавец унтер-офицер в белой домашней бараньей папахе, сбитой набок, с шашкой между колен, сидя на нарах,

рассказывал сказку и, по-видимому, дошел до самого интересного места.

— Тоди вовк наився добре, вылез из-под стола, сил посреди комнаты и каже: хочу спивать!

— И правильно сделал,— сказал Гаврик, присаживаясь на нары.— Здравствуйте, товарищи караульные!

Рассказчик остановился. Караульные посмотрели на Гаврика. Впрочем, без особого удивления. Время было такое, что воинской дисциплины придерживались немногие; все привыкли к тому, что в казармах и караульных помещениях постоянно находятся солдаты из других частей или даже посторонние, вольные — какие-нибудь представители, делегаты, уполномоченные.

Достаточно было Гаврику мельком взглянуть на караульных солдат, чтобы сразу понять обстановку.

Караул как караул. Солдаты как солдаты. Фронтовики, побывавшие, видать, в разных переделках, на разных участках: и на Стоходе, и под Сморгонью, и в Августовских лесах, и в Добрудже.

Многие, судя по нашивкам на рукавах, по два, по три раза раненные, контуженные, отравленные газами. Люди, смертельно уставшие от войны и продолжающие тянуть военную лямку скорее по привычке добросовестно служить, чем по каким-нибудь другим причинам, а сказать проще, неизвестно за каким чертом!

Были они нижними чинами в царской армии, потом гражданами — солдатами Керенского, а теперь нашили им на старые, сплющенные пехотные мерлушковые папахи красные висюльки — шлыки,— и они уже считаются вооруженными силами Центральной Рады, гайдамаками, а что она за Рада — бис ее знает!

И вот теперь вместо того, чтобы делить у себя в деревне землю, спать на грубке с бабой, они сидят в караульном помещении, курят махорку «Тройка» и слушают сказку про вовка, который пришел лютой зимой к своему другу коту Ваське, худой, голодный, жалкий, и попросил, чтобы кот Васька во имя старой дружбы накормил его ради Христа чем-нибудь. Кот Васька пожалел своего друга, впустил его в хату и спрятал под стол. «Придут до хозяина гости, станут пировать,— говорит,— тогда я буду тебе бросать со стола что попадется — косточку, кусочек сальца, хвист ковбаски, грудочку кашки,

вот ты и накушаешься. Только ты смотри, вовк, сиди под столом смирно и за ради бога не рыпайся, потому что я тебя добре знаю: пока ты голодный, ты тихий, а как накушаешься, так сразу вылезешь из-под стола и начнешь спиваты. Не дай тебе боже! Потому что тогда ни тебе, ни мне не сносить своей шкуры». Вовк поклялся страшной клятвой, что будет сидеть под столом смирно и тихо, давал святой истинный крест. И не удержался. Как только наеялся, сейчас же вылез из-под стола, сел посреди хаты, посмотрел на гостей и сказал: «Хóчу спиваты».

— Это уже конец сказки,— спросил Гаврик,— или же с тем вовком еще будет какое-нибудь дело?

— Нет. Еще не совсем конец. Еще его будут убивать вместе с его дружком котом Васькой,— ответил рассказчик красавец унтер-офицер.— А ты что за человек и как сюда попал?

— Я уполномоченный,— сказал Гаврик.

— Так я и сгадал. До нашего берега что ни прибьет, то либо уполномоченный, либо делегат. От кого уполномоченный: от самокатчиков? — спросил унтер-офицер, косясь на кожаную фуражку Гаврика.

— Не угадал. От Военно-революционного комитета, солдат Черноиваненко. А вы кто?

— Караульный начальник от 2-го гайдамацкого куреня.

— Так вот, вы мне, товарищ, как раз и нужны.

— Об чем речь? — строго спросил караульный начальник и застегнул воротник шинели на крючки.

— Слухай здесь,— сразу переходя на дружеский тон, доверительно, даже с некоторой нежностью в голосе сказал Черноиваненко.— Вчера наши представители сговорились с вашими представителями, что вы добровольно и мирно сдаете нам свои посты, а мы сегодня приходим со своим караулом, а ваши хлопцы не хотят сменяться. Тебя как звать?

— Василий.

— Так что же это, Вася, получается? Льете воду на мельницу помещиков и капиталистов? За кого вы стоите?

— Мы стоим за народ, за крестьянство, за Центральную Раду.

— Чудак человек, какая же она, твоя Рада? Народ? И где она находится? Ее давно уже сбросили! — вос-

кликнул Гаврик.— Теперь, с конца декабря, есть Украинское советское правительство, и никакого другого. Так называемый Народный секретариат. Слыхал?

— Ну, слыхал. Какая разница?

— Разница та, что Центральная Рада — это власть помещиков и капиталистов, а Народный секретариат — власть Советов рабочих, крестьянских, солдатских и матросских депутатов.

— Очень может быть.

— Так в чем дело? Давай, Василий, обойдемся без кровопролития. А то получается нехорошо: мы в октябре совершили в Петрограде переворот, взяли Зимний, все государственные учреждения, арестовали Временное правительство, вышибли Керенского и всего потеряли ровным счетом десять человек с обеих сторон.

— А ты считал?

— Считал. Если хочешь знать, я сам брал Зимний. У меня мандат подписан лично товарищем Лениным.

— А ну покажь.

Гаврик быстро — помня, что надо ковать железо, пока горячо,— расстегнул шинель, вынул из кармана гимнастерки потершуюся на сгибах бумагу, бережно ее развернул и приблизил к глазам караульного начальника беглую, разборчивую подпись синим канцелярским карандашом: В. Ульянов (Ленин).

— Верно. Очень может быть, что и так,— сказал караульный начальник, после чего бумажка пошла по рукам и когда возвратилась обратно, то Черноиваненко уже не сомневался, что бой выигран.

— Ну, так как же? — спросил он.— Давайте по-товарищески, по-братски произведем смену караулов. Или, может быть, подеремся? Вы за Центральную Раду и за царского генерала Щербачева, палача и контрреволюционера, а мы за власть Советов и за Ленина? Так или не так?

— Что скажешь, караул? — уклончиво ответил Василий, которому уже самому смертельно надоело воевать и хотелось домой, в Вознесенский уезд.— Как, хлопцы, будем сменяться чи не будем? — спросил он караульных.

— Почему же не смениться? Можно и смениться,— послышались рассудительные голоса.— Только надо

знать, какие будут со стороны революционного комитета условия.

— Условия такие,— поспешил ответить Гаврик, чувствуя, что победа уже в кармане,— немедленная демобилизация — раз; увольнение в запас — два; железнодорожный литер до станции назначения — три; все виды денежного, вещевого довольствия, также приварок и прочее, что полагается, за два месяца вперед на руки — четыре.

— Это подходяще,— послышались голоса.

— Стало быть, решение принимаете?

— Постой,— подумав, сказал караульный начальник, по-хозяйски сведя над переносицей свои красивые, бархатные брови.— Ты не это... не то самое... Как насчет оружия?

— Оружие сдадите под расписку Военно-революционному комитету для передачи частям рабочей Красной гвардии,— быстро ответил Гаврик и еще не договорил до конца, как понял, что совершил грубую ошибку.

— Э, ни! — сказал караульный начальник.— Це не той... Це выходит еще хуже, чем с тем котом Васькой, который послухал вовка и пустил его в хату.

— Сдавать оружие мы не согласны,— послышались голоса караульных.

— Нема дурных возвращаться на село без оружия!

— Винтовки не сдадим!

— Да и шашки не сдадим!

Довольно равнодушные до сих пор лица караульных вдруг оживились, глаза сердито заблестели, папахи упрямо полезли на лоб.

— Бачь якой! У самого на поясе наган, а мы сдавай оружие!

— Це, громадяне, провокация!

— Без оружия земли не поделишь!

— Не согласны. Видели мы таких быстрых!

— Цього не буде!

— Давай лучше мы тебя самого будем разоружать. А ну, снимай наган!

И уже несколько бурых мужицких рук с желтыми ногтями потянулись к Гаврику.

— Но! — сердито сказал он, подходя к окну.— Рукам

волю не давать. А то я сейчас три раза пуляю в белый свет, как в копейку, и ваших нет!

Он решительно вынул из кобуры револьвер.

— Смотри, якой вин моторный,— не без некоторого даже удовольствия сказал красавец караульный начальник, любуясь Черноиваненко-младшим.— Маленький, а злой! Ты нас своим револьвером не пугай. Мы добре пуганые. Ты один, а нас, бачь, сколько. Мы тебе в два счета задницу набьем и выкинем за ворота.

— Еще неизвестно, кто кому набьет. Вот сейчас дам сигнал своему отряду... А ну, отойдите от двери!

— Постой,— сказал унтер-офицер.— Ты чего все время дергаешься, как будто у тебя в ... шило? Мы тебе по-товарищески говорим, как представителю, что без оружия нам идти до дому нема никакого расчета. Можешь это понять?

— Могу.

Гаврик спрятал наган в кобуру.

— Вы бы так и сказали, а то сразу начинаете хватать человека руками. Я к такому обращению не привык. Не хотите сдать оружие — как хотите. Оставляйте его у себя.

— Вот это другой разговор!

— А чем вы поручитесь?

— Святой истинный крест,— с чувством сказал Гаврик и проворно перекрестился.

— А как мы в бога не веруем?

— Тогда могу дать расписку.

— Пиши.

— Так по рукам?

— Если оружие оставляете, то по рукам.

Со стороны можно было подумать, что эти взрослые, вооруженные, измученные войной люди, фронтовые солдаты, играют с Гавриком, как дети, в какую-то игру вроде считалки: кто быстрей ответит, тот и выиграл.

Но в этом не было ничего удивительного. Слишком ясен и давно уже для всех в душе был решен вопрос, который теперь решался: вопрос о войне и мире, о земле, о революции, о судьбе России и Украины.

— Ну, где ваш караул? — спросил унтер-офицер.

— Тут, за углом,— поспешно ответил Гаврик, опа-

саясь, как бы караульный начальник не раздумал сдавать посты.

— Вызывай.

— Стрелять неохота. Я лучше обратно тем же ходом через забор — и приведу свой отряд прямо на Пироговскую к главному подъезду. А ты выходи туда со своим разводящим, и будем честь по чести сменяться. Договорились?

— Договорились.

— Правильно. Разве может быть такой случай, чтобы два солдата между собой не пришли к соглашению? А генерал пускай как себе хочет.

С этими словами Гаврик легкой походкой вышел во двор, перемахнул через стену и сразу очутился в руках матроса с «Синопа», который вместе с Мариной и двумя красногвардейцами уже давно поджидали его в черной тени стены на пустыре, тревожно прислушиваясь к каждому звуку и уже начиная не на шутку беспокоиться.

Едва Гаврик, крепко стукнувшись в промерзшую землю подкованными каблуками своих бутсов, присел, поправил съехавшую набок фуражку и вытер рукавом лоб, как Марина рванулась было к нему, но сейчас же усилием воли удержалась на месте.

Гаврик близко от себя увидел ее неподвижное, белое, ярко освещенное луной лицо с капельками пота на лбу, темные, неподвижные глаза, сжатый рот.

— Ну... ты... — с напряжением выговорила она, с трудом выжимая улыбку на замерзших губах.— А мы уже думали...

— Так не думайте то, что вы думали. Шутишь!

Он сказал это «шутишь» с таким непередаваемым черноморским шиком — «шютишь»,— с такой легкостью, с такой уверенностью, как будто бы в эту волшебную лунную ночь для него не существовало ни опасности, ни самой смерти.

Он обнял Марину за плечи и прижал к себе.

— Что, мое серденько? — ласково спросил он, заглядывая ей в глаза.

Она отстранилась, но, прежде чем отстраниться, успела на миг легонько прижаться к нему и шепнуть:

— Дурак, разве так можно рисковать?

В это время в Ботанической церкви пробило одинна-

дцать, и этот ночной звон — таинственный, серебристый, как бы принесенный ледяным ветром из страны детства,— казалось, на некоторое время поколебал лунный свет над пустыней Куликова поля, над вокзалом, откуда доносилось пыхтение маневренного паровоза.

Остальное произошло так же легко и просто, как все, что делалось в эту ночь.

Когда караульный начальник гайдамаков вместе с разводящим вышли на крыльцо главного подъезда, отряд Гаврика, кое-как выстроившись, стоял уже перед штабом.

Караулы сменились быстро, весело, деловито, без лишних формальностей.

Скоро вместо гайдамаков на крыльце уже стояли два красногвардейца с красными повязками на рукавах.

У ворот, куда раньше въехал серый автомобиль, Черноиваненко поставил дополнительно двух матросов.

Затем отряд вместе со сменившимся караулом гайдамаков вошел в здание штаба. В коридоре у двери дежурного генерала был тихо поставлен еще один усиленный караул — два матроса и красногвардеец,— после чего все отправились через двор в караульное помещение, где была сдана, и принята, и подписана старым и новым караульными начальниками постовая ведомость.

Новым караульным начальником Гаврик назначил того самого матроса, который раньше все время нервничал и требовал действовать «нахалом».

— Теперь будешь служить, как положено по уставу, без анархии,— сказал ему Черноиваненко, весело играя глазами.

26

ВЗЯТИЕ ШТАБА

Арест генерала Заря-Заряницкого произошел также весьма мирно.

— Что здесь за шум? — сердито спросил Заря-Заряницкий, выходя в коридор из помещения дежурного генерала, где вместе со своей свитой составлял шифрованное телеграфное донесение Центральной Раде в Киев, требуя немедленной присылки подкреплений. В против-

ном случае он не ручался за последствия. А при наличии подкреплений ручался в два дня справиться с большевиками и тем самым навсегда покончить с Советами и Румчеродом.

Все это было изложено вполне убедительно, в воинственно-лаконичном штабном стиле, но имело тот существенный недостаток, что в это время Центральной Рады в Киеве уже не существовало, о чем генерал Заря-Заряницкий ввиду плохой связи не имел понятия.

— Что здесь происходит? — спросил он и вдруг отшатнулся, увидев на пороге кабинета вместо гайдамаков матроса и красногвардейца, приставивших штыки к его груди.

В тот же миг в кабинет вошел своей валкой черноморской походочкой Гаврик Черноиваненко с солдатским наганом в руке.

— Руки вверх! — крикнул он.— Именем Военно-революционного комитета вы арестованы!

Но так как генерал и офицеры от неожиданности замешкались, то Гаврик, переложив револьвер из правой руки в левую, выхватил из-за пояса гранату-лимонку, отскочил назад за дверь и размахнулся ею. Генерал и офицеры поспешно подняли руки.

— Оружие на стол! — скомандовал Гаврик.

— Позвольте, кто вы такой? — спросил генерал, сердито подергивая щекой, но все же не опуская толстых рук, которые слегка дрожали.

— Я кому говорю: оружие на стол! — заревел Гаврик, в упор уставившись на Заря-Заряницкого ненавидящими глазами.— Или хочешь, чтобы я тебя отправил в штаб Духонина и разнес в клочья всю вашу лавочку?.. Теперь можете убираться на все четыре стороны, пока шкура цела,— сказал он после того, как все офицерские револьверы, шашки и кортики были положены на массивный письменный стол с алюминиевым календарем скобелевского комитета и никелированным шрапнельным стаканом, откуда торчали разноцветные карандаши.— Василь, выведи этих вояк на Пироговскую и дай им коленом под зад.

— Разрешите хотя бы протелефонировать в Румчерод,— сказал адъютант генерала, глядя на Черноива-

ненко сладкими, миндальными глазами и стараясь быть как можно более корректным.

— Телефонный провод перерезан,— сухо ответил Гаврик.— Штаб окружен. В Румчероде большевики. Власть в городе находится в руках Советов.

— В таком случае,— сказал генерал,— разрешите хотя бы воспользоваться штабным автомобилем.

— Хватит! Покатались! Теперь будете ездить на одиннадцатом номере!.. Постойте! — сказал Гаврик, что-то вспомнив.— Садитесь за стол. Берите бумагу. Пишите, что отныне вы отказываетесь от всяческой политической деятельности и вооруженной борьбы против Советской власти и Народного секретариата Украинской республики.— Он остановился и немного подумал.— А иначе расстреляем на месте, как собаку.

Толстое лицо Заря-Заряницкого налилось кровью. Под серебряным ежиком волос стала просвечивать багровая кожа. Щеки затряслись. Казалось, его тут же хватит кондрашка.

Они смотрели друг на друга — солдат и генерал,— и такая неистовая ненависть светилась в их глазах, что им самим становилось страшно.

Генерал понял, что от этого напористого молодого солдата-большевика с рыжеватым пушком под носом и твердо отставленной ногой в желтом, подкованном башмаке и вязаных зимних обмотках пощады не будет.

Не глядя на Черноиваненко, генерал подошел к столу, придвинул большой блокнот фирмы «Отто Кирхнер» и стоя написал требуемую бумагу.

— Год, число и подпись,— сказал Гаврик.

Прежде чем подписаться, Заря-Заряницкий помедлил, но затем все-таки подписался и так рванул пером по бумаге, что во все стороны брызнули чернила.

Гаврик стоял рядом, скосив глаза на покрытую кляксами бумагу, и лицо его с небольшими веснушечками вокруг носа было неподвижно, как каменное. Только чуть дрожал уголок рта.

— А теперь катись! — сказал он, складывая в полевую сумку бумажки, написанные офицерами.— И чтоб мы вас здесь больше не видели! Гэть!

— Виноват,— звякнув шпорами, вкрадчиво проговорил армянин-адъютант.— После восьми часов вечера дви-

жение по городу запрещено под страхом расстрела. Как прикажете быть?

— А мне какое дело?! — жестко ответил Черноиваненко.

— Это с вашей стороны неблагородно,— скорее жалобно, чем грозно сказал Заря-Заряницкий.— Так настоящие военные не поступают даже со своими врагами, тем более, что мы дали расписки. У меня семья: жена и четыре дочери...— Голос его задрожал.

Несмотря на всю ненависть и презрение, которые вызывал этот бывший царский генерал, известный своей грубостью и зверским отношением к нижним чинам, человек, который однажды уже побывал в руках разъяренных солдат и лишь чудом спасся на Румынском фронте от самосуда, Гаврик все же почувствовал какую-то странную неловкость и ничего не мог с собой поделать.

Проклиная себя за слюнтяйство, Гаврик подошел к столу и на том же самом блокноте «Отто Кирхнер» написал своим собственным химическим карандашиком, предварительно его послюнив:

«Пропустите эту обезоруженную сволочь по домам. Уполномоченный Военно-революционного комитета солдат Черноиваненко 2-й».

— Возьмите, только не плачьте! — с презрением сказал он, протягивая пропуск генералу.— Но имейте в виду, если нарветесь на солдат вашего бывшего корпуса, то уже никакой пропуск не поможет, и от вас останутся только одни родственники.

Выпроводив на улицу остатки командования местных вооруженных сил бывшей Центральной Рады, проверив свои караулы, Черноиваненко приказал исправить связь и, как только провода были снова соединены, позвонил по городскому телефону в штаб Военно-революционного комитета.

Центральная ответила, что номер занят.

— Барышня,— сказал Гаврик,— подождите. Не выключайтесь. Один вопрос.

Он торопился, так как хорошо знал скверную привычку одесских телефонисток выключаться, не дослушав до конца.

— Говорите,— произнесла телефонистка.

— Кто на Центральной? — спросил Гаврик.

— Не понимаю вас,— высокомерно ответила телефонистка подчеркнуто бодрым, ночным голосом.

— Кем занята Центральная?

— А вам не все равно? — после некоторого молчания сказала телефонистка еще более высокомерно.

— Значит, не все равно, если я спрашиваю!

— Я не понимаю, что вы от меня хотите? — немного помолчав, спросила телефонистка.

— Я хочу знать, в чьих руках находится Центральная телефонная! — отчеканил Гаврик, теряя терпение.

— Ох, если бы вы знали, как вы мне все надоели! — со вздохом простонала телефонистка и, прежде чем окончила фразу, выключилась.

Гаврик стукнул по вилке.

— Ну, вы еще здесь? — послышался голос телефонистки.

— Я вас спрашиваю: в чьих руках Центральная?

— Какое это имеет для вас значение? — сказала телефонистка.

— Слушайте, барышня! — заорал Гаврик, потрясая наганом.— Я уполномоченный Военно-революционного комитета.

Телефонистка оживилась.

— Так почему же вы говорите из штаба военного округа? — спросила она с интересом.— Там же только что были гайдамаки и генерал Заря-Заряницкий.

— Были, да все вышли!

— Что вы говорите! — воскликнула «барышня» и выключилась.

Гаврик стал терпеливо стучать по вилке.

— Перестаньте стучать! — раздался голос телефонистки.— Я не понимаю, почему вы нервничаете.

— В чьих руках Центральная? — спросил Гаврик.

— Ну, в ваших, в ваших! На посту стоят какие-то матросы с «Алмаза». И что из этого? Теперь вам легче?

— Спасибо! — сказал Гаврик.

— Не за что,— ответила телефонистка.— Мы вне политики. Наше дело — соединять абонентов, а вы себе как хотите.

— Чудачка, — воскликнул Гаврик, — в городе же гражданская война!

— Это нас не касается.

— Подождите. Не выключайтесь. Дайте штаб Красной гвардии.

— Это где: особняк Руссовой, Торговая, четыре?

— Да.

— А ваш штаб разве еще там?

— До сих пор был там.

— А я слышала, что он собирается переходить в Воронцовский дворец.

— Давайте.

— Это для меня новость. Даю.

И Гаврик тотчас услышал знакомый, охрипший от бессонной ночи голос:

— У аппарата дежурный член временного Военно-революционного комитета Жуков.

— Здравствуйте, Родион Иванович. Это я, Черноиваненко-младший.

— Ну, как у тебя там дела?

— Только что заняли штаб.

— Потери есть?

— Нет. Все обошлось тихо и благородно.

— Ну, так могу тебя поздравить с полной победой Советской власти в городе Одессе,— сказал Родион Жуков.— Вокзал занят полчаса назад. Почта, телеграф, телефон то же самое. В банках наша охрана. В данный момент в типографии «Одесских новостей» набирается наше обращение к населению города. Чуешь?

— Чую, Родион Иванович! — воскликнул Гаврик.

— Транспорт у тебя есть?

— А как же: номер одиннадцать! — сказал Гаврик, но тут же вспомнил про штабной автомобиль.— Стойте! — закричал он в трубку.— Брешу. Совсем забыл. Имеется шикарная штабная машина.

— Утром мы собираем пленум Совета. Треба экстренно оповестить все организации и предприятия. Возьмешь на себя привокзальный район: Ближние Мельницы, Чумку, Сахалинчик, железнодорожные мастерские. Если хочешь, можешь тем же часом заскочить на вокзал. Там довольно успешно действует твой братан. Ну, до свидания, орудуй. Извини, я занят.

Черноиваненко отправился в гараж. Дежурный штабной шофер блаженно храпел прямо в машине, высунув наружу ноги в желтых английских крагах и положив под

чубатую голову гайдамацкую папаху с красным шлыком. Он не имел ни малейшего представления о том, что произошло в штабе и в городе.

— А ну, хлопче, за работу! — сказал Гаврик и потряс его за плечо.— Вставай, проклятьем заклейменный! Заводи свою шарманку.

— Что? В чем дело? — пробормотал спросонья шофер, глядя кислыми глазами на Гаврика.— Какого биса? Это машина генерала Заря-Заряницкого, и я ее подаю только по приказанию дежурного по штабу.

— А теперь будешь подавать по приказанию уполномоченного Военно-революционного комитета. Или же исполкома Румчерода, если это тебе больше нравится. Будем голосовать или принимается так? — спросил Гаврик, поигрывая наганом.

Немного погодя, скользнув фарами по Пироговской улице, длинный штабной автомобиль с брезентовым верхом, откинутым, как у экипажа, выехал из ворот, где матросы уже устанавливали новенькие пулеметы «Максим», найденные в штабном складе.

— Мариночка, серденько мое, тебя там на генеральском месте не сильно трясет? — ласково спросил Гаврик, обернувшись назад.

Он на всякий случай сел рядом с шофером и держал в руке оружие.

Марина промолчала, и Гаврик увидел ее улыбающееся лицо и белки глаз, сильно освещенные луной, которая теперь казалась еще ярче.

Рядом с Мариной сидел старый рабочий-красногвардеец. Судя по тому, что он все время вертелся на скользких кожаных подушках, можно было заключить, что он едет в автомобиле первый раз в жизни.

А на крыле машины лежал матрос в бушлате, выставив вперед винтовку.

Это была чудесная, ни с чем не сравнимая ночь победы. Над самой головой невероятно ярко, обложенная мозаикой облаков, горела луна. Помертвевший город был весь как бы освещен сверху синим бенгальским огнем.

Крепчайший норд-ост разыгрался вовсю. Он стремительно лился на город из степных просторов, из-за Жеваховой горы и лиманов. Он летел через Пересыпь и Молдаванку, сгибая в дуги молодые тополя Дюковского сада,

шатая старые акации. Он уже не свистел, а гремел, звеня в трамвайных проводах, срывая вывески и валя с ног ночные патрули, притулившиеся в парадных подворотнях.

У вокзала горели костры. Багровый дым валил вдоль привокзального сквера, обнесенного узорчатой чугунной решеткой.

Искры летели с такой силой, что насквозь пронизывали дрожащие туи. Дымное пламя отражалось в черных окнах здания судебных установлений.

Гипсовая статуя Фемиды с завязанными глазами, мечом и покачнувшимися весами стояла вся розовая от зарева.

На ступеньках главного входа в залы первого и второго классов были установлены пулеметы. Угрюмо блестели цинковые ящики с патронами.

— Здорово, ребята! — закричал Гаврик, выскакивая из автомобиля.— Наша взяла! Да здравствует Советская власть! Ура!

Шагая через две ступеньки среди солдат, матросов и рабочих, половина которых состояла из людей, хорошо знакомых ему с детства, он быстро прошел мимо пассажирских и багажных касс, мимо весов, тележек, больших почтовых ящиков, билетных автоматов.

Марина со своей санитарной сумкой и небольшой кавалерийской винтовкой за плечом с трудом поспевала за ним.

У всех входов и выходов, у дверей начальника станции Одесса-главная и военного коменданта на часах уже стояли красногвардейцы с повязками на рукавах, а гайдамаки в вольно расстегнутых шинелях и бараньих свитках сидели в буфете первого класса и вместе со своими победителями весьма мирно закусывали житным хлебом и мясными консервами, полученными от красногвардейцев из расчета одна банка на троих.

Марина и Гаврик переглянулись.

Они уже настолько привыкли понимать друг друга с первого взгляда, что часто обходились без слов. У них уже появились общие мысли. Теперь эта общая мысль была примерно такой: вот мы идем по вокзалу, который совсем не изменился, все те же дубовые диваны и высокие стулья с вырезанными на спинках вензелями «Ю.-З. ж. д.», громадный самовар со множеством медалей, как

у старого рыжего городового, буфет, похожий на орган, султаны крашеного розового и голубого ковыля в вазах, искусственные пальмы с пыльными войлочными стволами, бронзовые люстры и бра, а между тем только что произошло событие, переменившее всю жизнь, осуществилась мечта, которая еще недавно казалась такой далекой, почти невозможной! И мы любим друг друга.

Они рассмеялись.

Терентий сидел на прилавке газетного киоска, свесив ноги в коротких солдатских сапогах и сильно ссутулившись, пил чай из самодельной жестяной кружки с рваными краями.

Гаврик понял, что он не спал несколько ночей, озяб и теперь согревается кипяточком, раздобытым из станционного куба.

Газетный киоск агентства Суворина был тот самый, куда пять лет тому назад впервые привезли из Санкт-Петербурга газету «Правда».

Гаврик живо вспомнил, как он вместе с Петькой Бачеем бежал за багажной тележкой с пачками новой рабочей газеты.

— С победой тебя, Тереша,— торжественно, почти сурово произнес Гаврик, протягивая брату замерзшую руку.— Взял штаб без боя. Город в наших руках. Я только что звонил в штаб на Торговую и разговаривал с Родионом Ивановичем.

— Знаю,— ответил Терентий и, аккуратно поставив дымящуюся кружку на прилавок рядом с собой, притянул к себе Гаврика, и они с такой силой поцеловались, что у Терентия сползла на ухо черная каракулевая шапка.

— Дожили наконец! — сказал он и вытер ресницы ребром ладони.— Так-то, братик мой дорогой.

Он держал Гаврика за плечо и всматривался в его лицо с нежной гордостью. Он, наверное, в эту минуту вспомнил его маленьким мальчиком с облупленным носиком и босыми ногами, темными, как картошка.

— Добились-таки своего! А, сестричка, и ты здесь! — сказал он, заметив за спиной Гаврика Марину.— Все время ходите вместе?

— А как же! — весело ответила Марина.— Куда он, туда и я.

И, обняв Терентия, несколько раз поцеловала его в густые висячие усы с проседью.

— С победой вас!

Терентий взял ее за плечо своей большой рукой с плоскими желтоватыми ногтями и все с тем же выражением нежной гордости стал всматриваться в ее немного отекшее, побелевшее от мороза, оживленное и вместе с тем немного виноватое лицо, как бы все еще озаренное лунным светом.

— Гляди! — сказал Терентий ласково и погрозил ей пальцем. — Ты бы лучше дома сидела: в твоем положении бегать по городу не слишком полезно.

— А какое у меня положение? — засмеялась Марина.— Весьма обыкновенное. Другие женщины в таком положении целый день не отходят от плиты или от корыта, рожь жнут — и ничего. Всего четыре месяца.

— Ну не знаю. Тебе видней. Как думаете назвать хлопчика?

— Марат,— сказала Марина.

Видимо, вопрос был уже решен.

Помолчали.

— Ты зачем сюда явился? — спросил Терентий брата.

— Родион Иванович послал посмотреть обстановку. А сказать правду, здорово-таки захотелось тебя побачить и лично поздравить с нашей победой.

— Добре. Побачил. Поздравил. Посмотрел обстановку. За это тебе спасибо. А теперь езжай дальше, занимайся своими делами, а мы будем заниматься своими: тут у нас на путях целый эшелон с оружием, нужно его учесть и принять по акту. Потому что, хотя мы сегодня и победили, неизвестно еще, что будет завтра. Не так ли?

— Надеюсь, завтра будет то же, что и сегодня.

— И я тоже надеюсь.

— Хотя умные люди говорят: не кажи «гоп», пока не перескочишь,— сказала Марина.

— Мы уже перескочили,— сказал Гаврик.

— Давай бог,— вздохнул Терентий.

— Так до завтра.

— Утром пленум Совета.

— Знаю. Еду по району известить людей.

— Езжай.

— Счастливо оставаться!

— До завтра!

Когда они вышли на привокзальную площадь, небо в зените совсем расчистилось, но со стороны Дофиновки на город двигалась сплошная белая туча. Она лежала, как громадная плоская льдина, над озаренными луной крышами Пушкинской улицы и колокольней Андреевского подворья.

Мирно, по-дореволюционному светился циферблат вокзальных часов.

Гаврик засмеялся. Марина вопросительно посмотрела на него.

— Ты что?

— Понимаешь, Марочка, я по этим часам, когда был маленький, учился узнавать время. Считал по пальцам: одна, две, чечире... Девять и еще трошечки...

Она прислонилась на миг к его плечу.

Освещенная кострами, стояла в лунном небе каланча Александровского участка с коромыслом для вывешивания черных шаров. По их числу можно было узнать, в каком районе города горело. Шаров не было. Нигде не горело.

Все спокойно.

Гаврик и Марина подумали и поцеловались. От мороза у них были совсем твердые щеки.

Штабной автомобиль проехал вдоль пустынного в этот поздний ночной час Александровского базара, мимо крытых павильонов мясников, мимо рыбных рядов, даже и сейчас на всю площадь воняющих рыбой.

Гаврик опять засмеялся. Именно здесь он когда-то продавал бычки мадам Стороженко.

В лесном ряду, освещенные лунным светом, белели длинные тесины, косо прислоненные к почерневшему кирпичному брандмауэру с пожарной лестницей, где на большом выбеленном квадрате было написано аршинными буквами: «Дрова и уголь».

27

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАСТЕРСКИХ

В центре города улицы были пустынны, окна темны, железные шторы магазинов опущены, ворота заперты, в подворотнях дежурили насмерть перепуганные, замерзшие члены «домовой охраны», всюду враждебная, настороженная тишина, лишь изредка нарушаемая одиночным выстрелом или шагами патруля.

На окраинах, напротив, несмотря на позднее время, во многих окошках светился огонь. На углах трещали костры. По улицам ходили люди, кое-где образуя небольшие митинги. Слышалось дребезжание извозчичьих пролеток.

Изредка проезжал грузовик с матросами и солдатами.

Там и тут мелькали электрические фонарики.

В общем, все это чем-то отдаленно напоминало таинственное возбуждение пасхальной ночи.

Люди бежали за автомобилем, и Гаврик, стоя впереди рядом с шофером и держась за медный край ветрового стекла, время от времени кричал:

— Товарищи и граждане! Час назад вся власть в городе перешла в руки временного Военно-революционного комитета Советов при Румчероде. Последний оплот буржуазной контрреволюции рухнул. Да здравствует Советская власть! Да здравствует союз рабочих и крестьян всех национальностей! Да здравствует международный социализм!

Он размахивал своей кожаной фуражкой и так громко кричал, желая перекричать свист норд-оста, что сразу же сорвал голос и теперь лишь открывал и закрывал рот, откуда вылетало сипение.

Но народ, в общем, понимал его.

Потом ему стала помогать Марина.

— Товарищи и граждане! — кричала она.— Соблюдайте спокойствие! Собирайтесь утром возле своих районных Советов! Посылайте представителей на первое пленарное заседание Одесского Совета в Воронцовский дворец! Долой буржуазию и контрреволюционную Центральную Раду! Да здравствует Советская власть. Да здравствует великая бескровная Октябрьская социалистическая революция и ее вождь товарищ Ленин!

Она с упоением произносила это имя — Ленин — и мысленно видела его — дядю Володю,— и Смольный, и маму, и Надежду Константиновну, и туман над Петроградом, и трехтрубную «Аврору» против Зимнего дворца, и балтийских чаек, скользяще взлетающих из-под мостов Невы, и октябрьские тучи над аркой Генерального штаба, над Александровским столпом, над ангелом с крестом, бессмысленно поднятым над суровым, революционным городом.

Рабочие окраины — Чумка, Сахалинчик, Ближние Мельницы, Дальник,— несмотря на ночное время, кипели. У хорошо знакомых ворот железнодорожных мастерских Гаврик увидел красный открытый автомобиль с солдатом за рулем.

— Посмотри, Марочка.

— Что?

— Знаменитая машина братьев Пташниковых. «Бенц», девяносто лошадиных сил. Ее реквизировали еще летом. Теперь на ней ездит товарищ Чижиков. Обрати внимание на сигнальный рожок: играет матчиш. Не веришь? А ну, братишка, сыграй,— обратился Гаврик к солдату.

— Пожалуйста,— лениво согласился сонный солдат и сжал резиновую грушу автомобильного рожка: видать, ему уже порядком надоело всем и каждому демонстрировать знаменитый сигнал, некогда спьяну купленный младшим Пташниковым в Париже.

Действительно, рожок довольно музыкально запукал, выдувая одну за другой резкие ноты, в целом составлявшие игривый кафешантанный мотивчик: «Мат-чиш прелест-ный та-нец... Там-там, там, там-там. Привез его испанец...»

— Ну так и далее, так и далее,— сказал не без некоторого самодовольства солдат, повернулся спиной, положил голову на руль, прикрыл ухо шапкой и снова заснул.

— Слыхала, Марочка? Так что теперь все одесские буржуи бегают от этого матчиша, как черт от ладана.

Гроза буржуев, начальник Красной гвардии Чижиков приехал в железнодорожные мастерские осматривать строящийся бронепоезд.

Две бронированные площадки со следами сварки на стальных плитах, с вращающимися орудийными башнями, из которых торчали стволы трехдюймовок, совсем уже готовые, стояли на рельсах во дворе мастерских, а паровоз еще находился в цеху, где на нем заканчивали клепку брони.

Товарищ Чижиков — сам по профессии котельщик с судоремонтного завода Равенского — стоял возле паровоза, наблюдая за тем, как молодой рабочий в фартуке поверх солдатской телогрейки нес в длинных щипцах раскаленный, малиново-красный грибок клепки, в то время как другой рабочий — старик в треснувших грязных очках, с ремешком на голове, как у сапожника,— держал в жилистых руках, обнаженных по локоть, пудовую кувалду, ожидая момента, когда надо будет ударить по клепке.

— Последняя? — излишне громко спросил Чижиков у старика и подставил большое волосатое ухо.

— Чего?

— Последняя клепка, спрашиваю?

— А! Последняя,— ответил старик также излишне громко.

Чижиков кивнул головой.

— Дай-ка, папаша, мне разок клепануть,— попросил он густым голосом и, сноровистым движением переняв из рук старика кувалду, покачал ее.

— Напоследок.

— Давай показывай.

Молодой рабочий всунул с задней стороны в отверстие толстой брони угрюмо светящуюся клепку, подставил молот, и Чижиков, размахнувшись, очень точно — как показалось, даже не слишком сильно — ударил по головке клепки.

Звук был негромкий, вязкий, но сильный. Чижиков зло, с удовольствием крякнул.

Это был широкий, коренастый человек в старой капитанской фуражке, сплюснутой, как блин. Несмотря на мороз, он приехал в одном синем кителе — тоже капитанском — с потертым стоячим воротником, едва сходившимся на его могучей шее.

У него были угольно-черные широкие брови и такие же усы, опущенные вниз, как подковы, и то напряженно-

внимательное выражение темных на белом лице глаз, какое бывает у глухих.

Как почти все котельщики, он был сильно туг на ухо.

Окончив клепать, он опустил на землю кувалду, и она, закачавшись, стала рукояткой вверх, как ванька-встанька.

Гаврик заметил, что Чижиков, и без того не отличавшийся веселым характером, стал теперь еще мрачнее. Его глаза светились злобно, и резкая, косая черта поперек низкого лба казалась еще чернее под треснувшим козырьком капитанки.

Чижиков до сих пор мучительно переживал смерть своего друга начальника штаба Красной гвардии Кангуна. Кангун был убит на его глазах гайдамаками выстрелом из окна Английского клуба, где тогда помещался штаб войск Центральной Рады.

Убийство Кангуна, всколыхнувшее все рабочие окраины, явилось сигналом к началу последней, решительной схватки с контрреволюцией.

Но сегодня эта схватка внезапно и бескровно кончилась, так и не начавшись. И кончилась она победой. Теперь уже бронепоезд, в сущности, был не нужен. Но Чижиков все-таки приехал его принимать.

С его лица не сходило выражение чувства неудовлетворенной мести; глаза блестели, как антрацит; под скулами лежали синие тени.

Тут же, возле паровоза, Гаврик увидел Петю.

Он не сразу его узнал. Петя был в новенькой черной кожаной куртке без погон, в скрипящих ремнях, в офицерской фуражке с проколом на месте кокарды, в своих фронтовых бриджах, из кармана которых поднимался к поясу плетеный револьверный шнур.

Если бы не слегка отросшие волосы, которые по-студенчески лежали сзади на отложном воротнике кожанки, он мог бы показаться образцом молодого кадрового офицера, службиста.

«Не долго же ты продержался в дезертирах»,— подумал Гаврик весело и, толкнув исподтишка Марину локтем, показал глазами на Петю: дескать, видала нашего красавца?

— Вы командир бронепоезда? — спросил Чижиков, небрежно, как со своими людьми, здороваясь с Гаври-

ком и Мариной и подозрительно, в упор глядя на Петю.

— Так точно,— ответил Петя, щеголевато стукнув шпорами.

Он остановился за два шага от Чижикова и кинул вверх полусогнутую руку в шведской перчатке, на артиллерийский манер, не донеся ее до козырька.

Гаврик заметил недоброжелательный взгляд Чижикова, устремленный на Петю.

— Это свой человек,— поспешил сказать Гаврик.— Я его знаю.

Чижиков не расслышал.

— Как? — спросил он, поворачивая к Гаврику ухо.

— Мой кореш! — крикнул Гаврик.

— Понимаю,— кивнул Чижиков, но не улыбнулся и продолжал по-прежнему неодобрительно и даже еще более придирчиво разглядывать Петю.

— Из богатых?

— Какой черт! Голодранец. Бывшего учителя сын.

Петя поморщился.

— Кто рекомендовал в Красную гвардию?

— Терентий рекомендовал. Я рекомендовал. Его и Родион Иванович знает. При нем теперь Аким Перепелицкий, политический комиссар.

— Офицер?

— Да. Бывший. Прапорщик,— сказал Гаврик.

— Ну, курица не птица, прапорщик не офицер,— пробормотал Чижиков.

— Я подпоручик,— обидчиво поправил Петя Гаврика.

— Нехай так,— добродушно заметил Гаврик.

— У нас в Красной гвардии нет никаких прапорщиков и подпоручиков,— строго, внушительно, глухим голосом сказал Чижиков.— И вы эти офицерские замашки бросьте к едреной бабушке. Теперь ваше воинское звание — товарищ командир. Вам это, наверное, товарищ Перепелицкий уже разъяснил?

— Так точно! — сказал Петя, краснея еще больше.

— Здравствуйте,— сказал Чижиков, немного смягчаясь, и протянул Пете руку с черными ногтями.— Можете принимать бронепоезд.

— Слушаюсь!

— Начнем с паровоза.

— Так точно!

Пока Чижиков и Петя в сопровождении цехового мастера, представителя рабочего контроля, машиниста, кочегара и нескольких котельщиков — специалистов по броне осматривали паровоз, поднимаясь по лестничке в будку машиниста и подлезая под колеса, Гаврик и Марина присели в сторонке на скат и по своей привычке делиться впечатлениями заговорили о Пете.

— Ну? — сказал Гаврик.

— Я ж тебе всегда говорила.

— А я думал, не раскачается.

— Да нет, ты его не знаешь.

— Я не знаю?!

— Знаешь... Но не так, как я... Все-таки он... Мне кажется...

— Да, да. Я тоже так думаю...

— Нет! Но что ты скажешь: каков вид!

— Вполне.

— Тонняга.

— Он все-таки боевой. Это видно по всему. Только ленивый. Но уж если возьмется... А Чижиков?

— Я думаю, Чижиков это понял. Чижиков — мужик умный.

— Грубый.

— Грубый, но умный. А Петька все же ничего. Мне даже понравился... Нет?

— Я не говорю: нет. Скорей, да. В общем, побачим.

Они не видели Петю несколько недель. За это время в его жизни произошла одна очень важная перемена: он пошел служить в Красную гвардию.

28

ПОРАЖЕНЦЫ И ОБОРОНЦЫ

Все произошло весьма естественно и незаметно.

Живя отшельником на Ближних Мельницах и всецело занятый своим романом с Ириной, Петя сперва, скорее от нечего делать, стал обучать местных мальчишек военному делу.

Они занимались на том самом выгоне, где когда-то Петя и Мотя играли в «дыр-дыра», собирали подснежники, пускали змея.

Мальчишки смотрели на Петю, как на бога. Он был настоящий военный, герой, у него был кольт. У него были кортик, патроны, полевая сумка, компас. У него было бедро пробито осколком.

Они видели этот осколок, медный треугольник с рваными краями и выдавленной цифрой, завернутый в бумажку. Петя носил его на память в нагрудном кармане френча. Однажды он показал его Павлику и Женьке. Им страшно было дотронуться до острых краев осколка.

В их глазах Петя был недосягаем. И в то же время он был «глубоко свой». Это было верно. В сущности, после госпиталя на Ближних Мельницах Петя был своим. А свои почти все служили в Красной гвардии, в отряде железнодорожных мастерских.

Даже Павлик и Женька считали себя красногвардейцами.

Они ходили за Петей по пятам, каждую минуту отдавая честь и поворачиваясь направо, и налево, и кругом, или мчались дробной солдатской рысцой, прижав локти к туловищу, стоило Пете сделать лишь одно движение рукой.

Они представляли себя чем-то вроде его адъютантов или ординарцев.

Образовалась целая рота мальчишек. Раздобыли саперные лопаты, и Петя стал учить свою роту окапываться.

По его свисту мальчишки, как настоящие солдаты, делали перебежку цепью, применялись к местности и со всего маху падали на живот возле сусличьих норок, прячась за земляные бугорки.

За неимением винтовок они держали в руках палки, а вместо ручных гранат швыряли пустые консервные банки и грудки замерзшей земли. Петя учил их наступать взводами и отделениями, загибать фланги и оставлять некоторую часть роты в резерве.

Они маршировали по выгону и по улицам Ближних Мельниц и пели совсем по-солдатски, с криками и разбойничьим присвистом: «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет», «Эх, эх, горе не беда», а также революционные песни, среди которых особенно нравилась

«Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз и свобода — вот наш девиз боевой».

У них и вправду был братский союз: молодежный отряд Красной гвардии железнодорожного района.

Петя вкладывал в военные занятия с ребятами всю свою энергию. А главное, у него было много свободного времени. Обучение молодежного отряда помогало ему хоть на время отвлечься от смутных мыслей и чувств, связанных с его любовью, которая теперь, кроме радости, причиняла ему неопределенное душевное беспокойство, даже временами тяжесть.

Кончилось это тем, что когда однажды Терентий с грубоватой шутливостью сказал, что хватит бить баклуши и пора его благородию идти служить народу, в Красную гвардию, где не хватает военных специалистов, Петя не возразил.

К тому времени в железнодорожных мастерских стало под ружье более двух тысяч рабочих. Потребовались офицеры.

Железнодорожный районный Совет рабочих депутатов утвердил Петю начальником штаба сводного отряда, то есть воинского подразделения вроде батальона.

Петя был коренной артиллерист, и ему хотелось бы командовать батареей. Но в Красной гвардии железнодорожного района еще не было пушек.

Петя прикинул на дореволюционную мерку и пришел к выводу, что начальник штаба сводного отряда — это по чину никак не меньше поручика, а то и штабс-капитана. Можно, с натяжкой, считать, что он теперь капитан.

Было, конечно, жаль, что в рабочей Красной гвардии не существовало погон и других знаков различия, например, аксельбантов. Они бы теперь могли здорово пригодиться. Зато можно было носить шпоры. Это в значительной степени утешало Петю.

Ни с кем не советуясь, Петя решил по-прежнему носить свой офицерский кортик с анненским темляком. Хотя этот темляк и был принадлежностью царского ордена «Святыя Анны четвертой степени" за храбрость», ведь можно было его рассматривать не как темляк, а просто как красную ленточку, привязанную к кортику.

Кто мог возразить против красного банта или крас-

ной ленты? Напротив. В этом было даже что-то революционное.

Петя уже подумывал, не надеть ли ему свой скромный солдатский георгиевский крестик, но все же не рискнул.

Теперь он все время проводил в конторе железнодорожных мастерских, где были отведены две комнаты под штаб.

Командиром сводного отряда назначили Акима Перепелицкого, с которым Петя отлично сработался. Они даже подружились. И, хотя Аким Перепелицкий по старой памяти смотрел на Петю в общем как на молокососа, все же они оба были фронтовиками.

Они знали друг друга еще до революции. А главное, их сближала Мотя, которая по-прежнему относилась к Пете с нескрываемым обожанием.

Быстро, легко и естественно вступил Петя в новую жизнь.

Через неделю ему казалось, что он уже давным-давно служит в Красной гвардии, а то время, когда он лежал в госпитале, представлялось ему незапамятным.

Новая жизнь была серьезной, суровой и в то же время полной какой-то горячей, напряженной радости.

Петя чувствовал себя не просто профессиональным военным, а солдатом революции, несущим, может быть, и незаметную, но великую службу, по сравнению с которой все его военное прошлое казалось пустяками.

Прежде чем поступить на службу в Красную гвардию, он сходил к отцу посоветоваться. Он был уверен, что отец не одобрит его решения. И ошибся. Василий Петрович посмотрел на сына снизу вверх слезящимися глазами, в которых — за стеклами пенсне — блестела какая-то странная для него, твердая решимость, по-видимому созревшая в последние дни.

Он обнял Петю обеими руками за плечи и, немного выставив вперед нижнюю челюсть с корешками стершихся зубов, сказал:

— Ты прав. Одобряю. Молодец. Хотя, может быть, это и не по-христиански, но так и надо поступить. Честный, порядочный человек должен быть всегда вместе с народом. А большевики — это именно и есть народ. Ты, пожалуйста, не думай, что я на старости лет стал пораженцем. Нет! Я не пораженец!..

«Ну, так и есть,— подумал Петя,— отец сел на своего любимого конька: оборонцы, пораженцы».

Он не мог скрыть улыбки.

Увидев эту добродушную, легкомысленную улыбку, отец нахмурился, повертел шеей, как будто бы ее тер воротничок.

— Да! — запальчиво сказал он.— Теперь я вижу, что ты еще не созрел до понимания того, что происходит в России. Пораженцы стали оборонцами и оборонцы — пораженцами. Теперь твои Керенский и Корнилов — пораженцы! — крикнул Василий Петрович так визгливо, что семья еврейского портного в соседней комнате затихла и даже дети перестали плакать.

— Во-первых, они не мои и никогда не были моими,— успел вставить Петя, но отец не дал ему договорить.

— Они хотели открыть немцам фронт и сдать Петроград. Они изменники и предатели вроде Стесселя, Мясоедова и Сухомлинова. Для них личные интересы выше интересов народа. Для того чтобы сохранить привилегии ничтожной горсточки богачей, они готовы бросить весь русский народ под сапог Вильгельма. Подлецы!.. А пораженцы-большевики стали теперь оборонцами. Это сейчас единственная сила в стране, которая способна отстоять Россию от гибели и разграбления. Это — истинные патриоты. И я рад, что ты с ними! Если бы я был способен держать в руках винтовку, я тоже был бы с ними. Послушай,— вдруг сказал Василий Петрович, понизив голос,— ты знаешь, кто такой Ленин?

— Конечно,— сказал Петя и стал перечислять все то, что знал о Ленине: Владимир Ульянов, председатель Совета Народных Комиссаров, организатор партии большевиков, брат Александра Ульянова, повешенного царским правительством...

Василий Петрович перебил его:

— Нет. Это все верно, конечно. Но, понимаешь ли ты, кто Ленин? — еще раз настойчиво повторил он, напирая на слово «кто».— Ленин-Ульянов — это великий преобразователь России,— торжественно проговорил Василий Петрович.— Такие люди рождаются раз в столетие. Ленин и Петр. И я даже думаю, что Ленин выше. Петр при всем своем величии был все-таки не более чем простой русский царь. А Ленин — сам народ! Реформы

Петра бледнеют перед реформами Ленина. Ленин в корне переделывает русскую жизнь. В основе его политики лежит великая народная правда. Ленин и большевики посягнули на так называемую священную частную собственность, которая уже давно не священна и не более чем гниющий труп, заражающий своими миазмами жизнь людей на земном шаре. Земля крестьянам, фабрики рабочим — вот настоящая правда. Только она одна истинно моральна. Остальное все — ложь. Я не знаю, понимаешь ли ты меня, но несколько поколений лучшей части русского народа, русская революционная интеллигенция, начиная с Радищева и декабристов, мечтала о том, что сейчас с такой гениальной смелостью и таким гениальным умом совершает в России Владимир Ульянов. Грядет новая, освобожденная, счастливая, воистину народная, трудовая Россия и несет новые заповеди всему человечеству. Мы живем в величайшую историческую эпоху. На наших глазах преображается мир. Понимаешь ли ты, Петруша, что это значит? Преображение!

На его глазах блестели слезы. Пенсне свалилось с носа. Василий Петрович смотрел с тревожным восторгом на сына. Потом он перевел глаза на икону спасителя, перед которой уже не горела лампадка, и перекрестился.

— Господи, благодарю тебя, что ты дал мне счастье дожить до преображения! Ныне отпущаеши раба твоего по глаголу твоему с миром.

Пете показалось, что отец хочет стать на колени. Но Василий Петрович боком сел на шаткий стул и опустил голову. Он улыбался. А слезы продолжали блестеть на его глазах.

Петя был поражен. Революция — преображение, а Ленин выше Петра. Впервые и неожиданно для себя Петя ощутил все, что происходило вокруг, как Историю. Он сразу как бы вырос в своих глазах. Он уже больше не колебался. Он понял, что, став командиром Красной гвардии, он служит народу и защищает Родину.

Петя оказался неплохим организатором и быстро сформировал из рабочих железнодорожных мастерских небольшие летучие отряды и роты, подвергая придирчивым экзаменам местных унтер-офицеров и простых солдат, прежде чем назначить их командирами.

Он привлек на службу в Красную гвардию несколько

знакомых офицеров из бывших гимназистов или студентов, в том числе Колесничука, которому уже смертельно надоело ловчиться в гайдамацком курене. К тому времени Колесничук разочаровался в Центральной Раде. Он понял, что все разговоры о «вильной» Украине, о независимом украинском государстве, отделенном от Советской России, есть не что иное, как пустая болтовня, за которой скрывалось намерение во что бы то ни стало сохранить за помещиками землю, за фабрикантами — заводы и за братьями Пташниковыми — свою фирму, оставив в ней Колесничука маленьким, униженным, нищим и бесправным приказчиком, каким был его отец.

Ненависть к «господам» была у Колесничука в крови.

Он страстно любил свою «ридну Украину», но Украину простых, трудящихся людей — рабочих, крестьян, приказчиков, ремесленников, учителей,— а вовсе не помещиков вроде Потоцких или заводчиков вроде Бобринских.

Он быстро понял, что с Центральной Радой ему не по пути. Раечка же сообразила это еще раньше его. Они оба понимали, что свобода и независимость Украины тесно связаны с Советской властью, с большевиками, с Лениным.

В конце концов сражаться «за владу Рад» или за власть Советов было одно и то же.

Жора Колесничук так же, как и Петя Бачей, устал ловчиться, устал чувствовать себя дезертиром, даром есть народный хлеб.

Когда он случайно встретился с Петей возле Чумки, он уже вполне созрел для Красной гвардии.

Они поняли друг друга с двух слов.

Колесничук с облегчением спорол со своей честной боевой папахи красный шлык, с шинели — узенькие дурацкие погончики, снял кокарду и через два дня, оставив все свои вещи пока что в гайдамацкой казарме, уже был у Пети помощником по стрелковой подготовке.

Скоро Петя стал командиром строящегося бронепоезда, а Колесничук — начальником стрелкового десанта.

Все становилось на свое место.

29

ИЗМЕНА

— Приняли бронепоезд?

— Приняли.

— Как будет называться?

— «Ленин».

— Ну вот, а еще кричал, что в жизни больше не будешь воевать! — сказал Гаврик, когда Петя вернулся, вытирая руки куском пакли.— Страшные клятвы давал. А теперь что мы видим? Кожаная куртка. В кармане бриджей кольт. Усы. Тонняга красногвардеец!

Марина с нескрываемым удовольствием смотрела на Петю. Она угадала, что в конце концов он будет с ними. С ее лица не сходила милая улыбка, не лишенная, впрочем, легкой иронии.

Из-под низко надвинутого на брови козырька фуражки на нее смотрели непривычно серьезные глаза Пети, полные решимости.

— Можно подумать, что ты не рад,— сказал Гаврик.

— Чему?

— Победе.

— Победа будет, когда мы разобьем немцев,— сухо, упрямо и как-то слишком по-офицерски сказал Петя.— И я совершенно не понимаю, почему торжество. Немцы под Псковом. Макензен подошел к гирлу Дуная. Румыны продали нас. По-моему, положение хуже губернаторского. Россия трещит по всем швам. А ты радуешься, что победил каких-то затрушенных гайдамаков! Тоже вояки!

Петя сел на деревянный ящик с веревочными ручками от трехдюймовых снарядов, поставил локти на колени и уперся подбородком в ладони.

— Устал,— сказал он, неподвижно глядя перед собой сонными глазами.

Гаврик положил ему руку на плечо, другой рукой обнял Марину. Сбил фуражку набок. Задумался.

— Нет,— сказал он решительно.— Рабочий класс не допустит. Ты не понимаешь, что такое русский рабочий. Он недооценивает силу рабочего класса, верно, Марина?

— Он просто не понимает,— сказала Марина.

— Чего я не понимаю? — спросил Петя.

— Неизбежности мировой революции.

— Пока наступит мировая революция, немцы нас слопают со всеми потрохами.

— А вот как раз не слопают.

— Почему?

— Подавятся.

— Неизвестно.

— Известно. Немцы разные. Есть немцы — пролетарии и есть немцы — капиталисты, помещики, прусские юнкера. Большинство немцев — пролетарии. Они нас не предадут.

— Кого — нас?

— Русский пролетариат.

— Они-то, может быть, и не предадут, да беда в том, что власть у них находится в руках кайзера и его генералов.

— Не сегодня-завтра кайзеру дадут по шапке, как нашему Николашке.

— Все равно. Останутся генералы, капиталисты, ихние Корниловы и Рябушинские.

— Ну, брат, со своими генералами и капиталистами немецкие рабочие как-нибудь справятся. Дело наглядное. Лиха беда — начало. У нас будут учиться. Теперь покатится. По всему миру. Не остановишь.

— Ты, брат, не слишком заливай,— сумрачно сказал Петя и сплюнул под ноги.

— Ничуть! Знаешь, как мы научились управляться с нашими генералами? Они нас теперь ух как боятся! Чуть что — сдаются. Не веришь? — сказал Гаврик, заметив недоверчивую улыбку Пети, и прищурился одним глазом, словно прицелился.— Марина, показать ему?

— Покажи.

Гаврик вынул из полевой сумки пачку бумажек и, послюнив пальцы, достал одну. Протянул Пете.

— Грамотный?

Петя прочел забрызганную кляксами бумажку с подписью Заря-Заряницкого.

— Видал? — сказал Гаврик, похлопывая по генеральской шашке с золотым эфесом и георгиевским темляком, которую взял себе как трофей и повесил через плечо.—

Не серчаешь, что пришлось так грубо обойтись с твоим будущим родственником?

О Петином романе, конечно, было известно всем. Да он его и не скрывал. Напротив. Ему было лестно, что слух о его победе над Ирен долетел даже до Ближних Мельниц. Тому же, что она дочка генерала, он не придавал значения. Вернее, он об этом как-то не удосужился серьезно подумать.

Он не ожидал, что дело может обернуться таким образом. В сущности, он не представлял себе, что Заря-Заряницкий может играть какую-то — как теперь выяснилось, довольно крупную — роль в политике, в лагере контрреволюции, в войсках Центральной Рады.

Петя простодушно думал, что генерал служит где-то у гайдамаков, ловчится вроде того, как ловчился Жорка Колесничук.

Однако дело вышло посерьезнее.

Любовь любовью, но ведь генерал Заря-Заряницкий и впрямь его будущий родственник.

«Тесть, свекор, зять, свояк или как это в таких случаях называется»,— думал Петя, совсем по-солдатски растирая сапогом окурок, и морщился.

— Что же ты от меня хочешь? — спросил он Гаврика напрямик, хотя и с некоторой напряженностью, но все же смело глядя в глаза своего друга.

— Хочу тебя предупредить, что твой Заря-Заряницкий — большая-таки сволочь.

— Во-первых, он не мой, а во-вторых, лично мне неизвестно, что он сволочь.

— Это я тебе говорю,— сухо сказал Гаврик, нажимая на «я».— Редкая контрреволюционная гадина. Кадет, корниловец, изменник... Солдаты один раз его уже чуть не отправили в штаб Духонина. К сожалению, тогда ему удалось спасти шкуру. Сегодня ему очень сильно повезло. Я бы мог поставить его к стенке, да не захотелось мараться. Я просто забрал у него оружие, заставил дать подписку и отпустил к чертовой матери. И, слышь, ты ему передай, что если он, не дай бог, нарушит данное слово, то пускай тогда не пускает сопли, потому что все равно не поможет.

— Это меня не касается,— сказал Петя.

— Не знаю,— сказал Гаврик.

Петя вспыхнул:

— Во всяком случае, я никому не позволю вмешиваться в мои личные дела!

— Молодец,— сказала Марина.— Вот именно за это я тебя и уважаю. Не говорю «люблю», потому что не знаю, как на это посмотрит он.

Марина мельком взглянула на Гаврика, как бы слегка поддразнивая.

— Валяй, валяй,— сумрачно сказал Гаврик.

— «Коль любить, так без рассудка». Верно, Петя? — сказала она, красиво встряхивая головой, как всегда, когда цитировала стихи или говорила о чем-нибудь возвышенном.— Тут я целиком на твоей стороне. Никто не смеет влезать в чужую душу.

Помолчали.

— Она тебя сильно любит? — спросила Марина вдруг, пристально глядя своими блестящими, темными, немного мрачными глазами, и Пете трудно было понять, чего здесь больше — дружеской прямоты или женского любопытства.

Он молчал.

— Для настоящей страсти нет преград,— сказала она, не дождавшись ответа, а глаза ее продолжали пытливо блестеть.— Если она по-настоящему любит, то перешагнет через все преграды и пойдет за любимым человеком хоть на край света. Что ей отец, мать, семья, если за любимым человеком правда и... В конце концов Софья Перовская была дочь генерала...

Она не закончила фразу. Ее глаза стали еще ярче.

— Не так ли, товарищи? — спросила она, гордо глядя попеременно то на Гаврика, то на Петю.

В другое время этот разговор о любви возле только что одетого броней паровоза, среди гудения переносных горнов и масляного чада остывающей клепки, на виду у рабочих-красногвардейцев и матросов, обмотанных пулеметными лентами, мог показаться невероятным.

Но сейчас, в ночь победы, в мире, казалось, ничего не могло быть невозможного.

— Верно, Марина! — сказал Гаврик, поддаваясь ее настроению.— Не дрейфь, Петя! Плюй на генерала. Жми. Вою́й. Не выпускай из рук своего счастья.

Со двора в цех валил народ.

Придерживая кобуру маузера, Чижиков взбирался на тендер.

Вносили профсоюзные и партийные знамена железнодорожного района, полотнища лозунгов.

Начинался митинг.

На другой день, поставив караул возле нового бронепоезда и хорошенько выспавшись, Петя отправился к Ирине.

В их отношениях всегда было что-то недоговоренное, странное. Он был ее женихом, а между тем она ни разу не поинтересовалась, где он живет и что намерен делать в дальнейшем.

Они не строили никаких планов на будущее, как обычно делают влюбленные. Они жили минутой. Будущее как бы подразумевалось само собой: после войны он останется в кадрах и генерал будет его «тащить», возьмет в адъютанты или что-нибудь подобное.

Причем Петиного мнения не спрашивали.

Вероятно, Заря-Заряницкие очень удивились бы, если бы узнали, что Петя живет в сарайчике на Ближних Мельницах, что Петин отец снимает угол у еврейского портного, а сам Петя служит в Красной гвардии.

Но теперь все это должно объясниться.

Идя к Заря-Заряницким, Петя вспомнил, как недавно он встречал у них Новый год.

Электричества не было. В холодной квартире горели свечи, погребально отражаясь в черных стеклах, тронутых морозом.

Было много гостей. Блестели ордена и погоны. Дамы были в бальных платьях. У Ирины в розовых ушках блестели маленькие брильянтовые серьги. От нее пахло французскими духами. Он взял ее за руки. Они были ледяные. На ней было белое шелковое скользкое платье, тоже ледяное. Под ним угадывалось разгоряченное тело, и, когда Ирина притянула его к себе, Пете стало страшно от этого двойного ощущения холода и тепла.

Ее глаза за решеткой ресниц блестели неестественно расширенными зрачками, как будто бы в них накапали атропина.

Часы стали бить двенадцать, и Петя с Ириной поцеловались через стол, через какое-то длинное рыбное блюдо, залитое майонезом с зелеными каперсами.

— С Новым годом, с новым счастьем! — сказала она чопорно.

Она играла роль строгой невесты, и, по-видимому, это ей доставляло удовольствие.

— Почему ты без погон? — спросила она строго.

Петя пожал плечами. Теперь многие офицеры принуждены были снять погоны. Он впервые в жизни попробовал шампанского, которое ему налили из бутылки с золотой головкой, облепленной двумя скрещенными зелеными лентами.

— «Кордон вер»,— сказала Ирина,— марки «Моэтишандон».

Неприятно холодное вино защекотало Петин язык, ударило в нос. Петя чуть не поперхнулся.

Вокруг целовались, поздравляли друг друга с Новым годом. Звенели бокалы. Пили за генерала Щербачева, за Корнилова, Каледина, за единую, неделимую Россию.

Петя решил дальше не откладывать объяснения с Ириной. Он почему-то был уверен, что она поймет его. Ему казалось, что в ней есть что-то свое, независимое. Может быть, даже революционное. Слишком дерзко смотрели иногда ее серо-лиловые глаза, и слишком презрительно улыбался ее рот, когда пили за Учредительное собрание, которое наконец прекратит революцию.

— Послушай, Ирина, нам надо поговорить. Выслушай меня,— сказал он решительно.

Но вокруг было слишком шумно, пьяно. Она не услышала. Она в это время тянулась своим плоским бокалом с пузырьками к матери, и ее отставленный мизинчик с отделанным перламутровым ноготком казался против свечи полупрозрачным.

И Петя не сказал ей тогда ничего.

Но сегодня он скажет все, что у него на душе. Сегодня он, как никогда, верит, что для настоящей страсти нет преград. Он верит, что она пойдет за ним, перешагнув через все преграды, как недавно выразилась Марина. Нет, он не выпустит из рук свое счастье. Он будет за него бороться. Все-таки победа была за ними. И он прибавил шагу.

Но едва он дошел до угла Пироговской и Куликова поля, как услышал орудийный выстрел и немного погодя разрыв снаряда.

Стреляла трехдюймовка, гранатой. Это Петя определил без труда, на слух. Но за сильным ветром, не перестававшим дуть со вчерашней ночи, трудно было понять, откуда и куда стреляют.

Второй и третий выстрелы заставили Петю остановиться и прислушаться. Ему показалось, что бьют из района Среднего Фонтана, а снаряды ложатся где-то за вокзалом. Не было сомнения, что огонь ведет целая батарея.

Разрывы гремели, как связки кровельного железа, с силой брошенные о землю, и эти звуки — не в поле, на позициях, а в городе, среди домов,— казались особенно зловещими.

Душа Пети окаменела.

Он инстинктивно подтянул голенища сапог, пробежал замерзшими пальцами по застегнутым пуговицам кожаной куртки, пощупал в кармане пистолет.

В тот же миг он увидел Колесничука, который в расстегнутой шинели, подхватив под руку Раечку, бежал навстречу ему по Канатной улице, со стороны Ботанической церкви.

— Назад! — крикнул он Пете не останавливаясь.

Петя повернул и зашагал рядом с ними.

— Что случилось? Кто стреляет?

Щеки Раисы горели. Черные брови были сдвинуты. Она то и дело рукой в яркой варежке поправляла волосы, выбившиеся из-под вязаной шапочки. Вся она, даже концы ее пунцового вязаного шарфа, разлетевшиеся за плечами, выражали возмущение, тревогу, смятение.

Она давно не виделась с Петей, но теперь даже не поздоровалась.

— Эти мерзавцы таки выступили! — говорила она возбужденно.

Ветер вырывал из ее рта клочки пара.

— Гайдамаки? — спросил Петя.

— Вот именно. Ни чести, ни совести. А еще называются «щирие украинцы»! Украинский народ позорят. Мы сами только что оттуда. Пошли в гайдамацкую казарму за Жоркиными вещами и насилу ноги унесли. А вещи пришлось покидать. Там собралась вся ихняя свора во главе с генералом Заря-Заряницким.

— Ты шутишь! — воскликнул Петя побледнев.

— Побей меня бог! — подтвердил Колесничук.

— И ты сам видел Заря-Заряницкого?

— Собственными глазами.

— Он же дал подписку, что не выступит против Советской власти!

— Чихал он на подписку.

— Это измена!

— А ты думал?

— Подлая, наглая измена!

Петя не находил слов... Он задыхался от ярости и стыда.

— Слышишь, бьет? Это горная батарея. А на город наступают два броневика и пластунский курень.

Пока Петя, Колесничук и Раиса добежали до станции Одесса-сортировочная, артиллерийская стрельба прекратилась.

Теперь над городом стояла та гнетущая, подавляющая тишина, которая обычно предшествует чему-то ужасному.

Переходя через железнодорожный мостик, Петя сверху увидел свой бронепоезд, уже выведенный на пути. Дегтярно-черные шпалы, наполовину занесенные снегом, железные подковы стрелок, тускло отсвечивающие рельсы, закопченная длинная ракушниковая стена с крупной черной надписью «Пиротехническое заведение «Фортуна», полосатый шлагбаум, темные фигуры вооруженных людей вокруг бронепоезда, со свежей брони которого еще не сошла сизая окалина,— все это в сочетании с низким, недобрым, январским небом, холодным ветром и минутным перерывом в артиллерийской стрельбе, в этой тяжелой тишине, нависшей над миром, наполнило душу тревогой.

Снова выстрелила пушка. Где-то далеко застучал пулемет.

Петя и Колесничук серьезно переглянулись. Для них снова начиналась война. Их лица онемели.

Они побежали к бронепоезду.

30

ПИСЬМО МАРИНЫ

«Дорогая мамочка,— писала Марина,— не знаю, получила ли ты наши последние послания, но от тебя вот уже второй месяц ни слуху ни духу. Не сомневаюсь, что ты аккуратно пишешь, но только твои письма просто не доходят. На почту по нынешним временам надежда плохая. Видать, революция не слишком подходящее время для сентиментальной переписки между добродетельной мамашей и ее своенравной дочкой. Как тебе нравится мое «видать»? Ты, конечно, догадываешься, что это — влияние моего Гаврика с его совершенно невозможным черноморско-украинско-питерским языком. Он тебе шлет почтительный привет. Все-таки ты ему, как-никак, «теща». Вот уж, наверное, не ожидала! У нас тут, как ты уже, конечно, слышала от приезжих товарищей, последние месяцы шла упорная борьба на два фронта. Во-первых, с меньшевиками, а во-вторых, с украинской буржуазно-националистической сволочью в стиле «писателя» Винниченко из Центральной Рады. Мы их разбили, и таким образом с сегодняшнего дня наша богоспасаемая Одесса — советский город. Давно пора!

Сейчас я нахожусь в штабе Красной гвардии в помещении Военно-революционного комитета на Торговой, 4, в бывшем особняке Руссова, где, помнишь, раньше была картинная галерея и, между прочим, висела картина Репина «Гайдамаки»! Как тебе нравится этот исторический парадокс?! Пожиная плоды бескровной победы, я засела наконец за обстоятельное письмо к тебе, моя золотая, в Питер. Надеюсь, что моя цидулка придет быстро, так как на днях несколько наших товарищей военморов едут в Питер по вызову Центробалта и, надо полагать, успешно пробьются сквозь железнодорожный хаос.

Ты ничего не пишешь, а слухи ползут очень и очень тревожные. Правда ли, что немцы наступают и уже заняли Псков? Неужели они возьмут Петроград, колыбель нашей революции? Нет! Не могу этому поверить. Как-то вы все живете там? Мысленно представляю себе Смольный и дядю Володю в своей кепке, в пальто внакидку, его быструю походку, бессонные, сухие морщинки возле прищуренного, раскосого глаза. Я так привыкла его на-

зывать дядей Володей, что теперь мне иногда кажется, что дядя Володя и товарищ Ленин — два разных человека. Ленин! В этом имени воплотилось все то, что мы называем Великой Октябрьской социалистической революцией. Ленин — ее сила, воля, разум, ее непреклонность, непримиримость, ее бессмертие в веках! Я думаю, еще никогда не было в мире такого воистину великого человека. Что по сравнению с Лениным все эти Александры Македонские, Наполеоны... Нет, на самом деле, мамочка! Даже Робеспьер... Не говорю, Марат, потому что...

Ну, да это пока секрет. Впрочем, ты, наверное, догадываешься. У нас в скором времени будет маленький Марат, твой внучек. Радуйся!

Я часто вспоминаю Париж, дождливые улицы и дядю Володю, с подвернутыми брюками, на велосипеде по дороге из Монсури в Национальную библиотеку. Однажды он меня взял с собой на полеты. Я сидела на раме его велосипеда, и мы ехали по шоссе среди фиакров и автомобилей, и легкий биплан «Фарман» косо и совсем низко пронесся над нами и потом сделал вираж над Виль Жюиф, и авиатор в желтом кожаном шлеме помахал публике рукой, а дядя Володя зазевался, и мы чуть было не угодили под чей-то шикарный мотор, набитый господами в цилиндрах и дамами в громадных шляпах со страусовыми перьями — а-ля Тулуз-Лотрек... Что-то я нынче в лирическом настроении и предаюсь воспоминаниям... Но это простительно. Во-первых, все-таки маленький Марат...

Да! Чуть не забыла! Угадай, кто явился сегодня утром на заседание? Держу пари, не угадаешь. Василий Петровнч Бачей! Вообрази, он пришел вместе с делегацией железнодорожного района, окруженный своими бывшими учениками по нашему хуторскому кружку, в солдатских башмаках и обмотках, в старом демисезонном пальто и широкополой шляпе а-ля Сеченов или Менделеев, в пенсне, с давно не стриженной, сильно поседевшей бородой, сердитый, вдохновенный, решительный — одним словом, наш великолепный учитель Василий Петрович, но только в каком-то новом, революционном, что ли, качестве. Многие его узнали и стали хлопать. Скоро зааплодировал весь зал. Некоторые даже встали.

Это была дань глубокого общественного уважения человеку, пострадавшему за идеи при старом режиме. Пролетариат приветствовал в день своей победы честного русского интеллигента, учителя. И, представь себе, Василий Петрович не растерялся, хотя и немного сконфузился. Он как-то осанисто выпрямил согнутые плечи и весело посмотрел на аудиторию. Снял шляпу и помахал ею над головой. К нему из президиума потянулись руки и втащили раба божьего на помост. Тут он произнес великолепнейшую речь о праве трудящегося народа на верховную власть, о мечах, которые мы должны теперь перековывать на орала, о великой общечеловеческой революционной миссии русского народа, о Петре Великом, Прометее, Ломоносове и Ленине. Да, да! Можешь представить! Он каким-то образом умудрился поставить их рядом — Петра и Ленина — и даже присоединил к ним Льва Толстого.

Помнишь его лекции на хуторе? Это было и тогда очень хорошо, возвышенно, чисто и по-своему революционно. Но теперь, среди подлинно революционной толпы матросов, солдат, красногвардейцев, крестьян и городской бедноты из предместий, речь Василия Петровича произвела большое впечатление. Когда же он вдруг замолчал, посмотрел на слушателей и низко поклонился на все стороны, благодаря трудовой народ — истинного хозяина жизни — за ту поддержку, которую он ему оказал в трудное для него время, в мрачные дни столыпинской реакции, не берусь тебе описать, какая буря поднялась в зале: крики, аплодисменты, шум, гром! Некоторые горячие головы сделали попытку качать Василия Петровича и один раз даже подбросили его, так что с его носа свалилось пенсне и закачалось на черном шнурке с шариком, и серые волосы взметнулись и развалились на две стороны, как у подгулявшего семинариста. Но Родион Иванович, председательствовавший на заседании, быстро водворил порядок, крепко пожал руку Василию Петровичу, и они, к общему удовольствию, расцеловались, причем Василий Петрович плакал. Я это описываю немножко в юмористическом стиле, но на самом деле это было действительно трогательно. Жаль, что этого не мог видеть дядя Володя. Для него это была бы настоящая радость, наглядный пример, как на сторону

пролетарской революции переходят лучшие люди из старой интеллигенции.

Вообще, мамочка, все население города в одну минуту резко размежевалось на две антагонистические группы. Одна, революционно-пролетарская, на Николаевском бульваре возле бывшего Николаевского дворца, где помещался Румчерод, а другая буквально в сотне шагов — вокруг городской думы. В то время, как у нас шло торжественное заседание, недорезанные буржуи бушевали в городской думе, требуя передачи всей власти городскому самоуправлению. И ты знаешь, кто там разорялся больше всех? Мадам Стороженко! Да, да, та самая.

Оказывается, пока шла война, она сильно нажилась на различных военных поставках, снюхалась с Союзом городов, развила бурную спекулятивную деятельность, участвовала в каких-то темных махинациях Земсоюза и в конце концов к началу семнадцатого года настолько разбогатела, что слопала со всеми потрохами мадам Васютинскую, не солоно хлебавши вернувшуюся из-за границы, купила у нее «наш» хуторок со всеми его угодьями, садами, виноградниками да плюс к этому по дешевке понахватала у солдатских вдов и сирот десятин пятьсот крестьянской пахотной земли и стала в полном смысле слова барыней-помещицей, к чему, конечно, всю жизнь стремилась ее кулацкая, мещанская душонка. До последних дней сия дама играла в городской думе крупную роль. Под ее дудку плясали все гласные из района Крытого рынка, Привоза, Первого христианского кладбища и прочих мест. Кроме того, она уже «заворачивала», как здесь выражаются, делами нескольких банкирских контор и уже протянула свои ненасытные лапы к городскому банку. В политическом же отношении она являлась ультра-«самостийницей» и что есть сил воевала против большевиков, за так называемую «вильну Украину», разумеется, отнюдь не пролетарскую или крестьянскую, а помещичье-кулацкую с сильным креном в сторону капиталистической Европы, а вернее всего, кайзеровской Германии.

Я сама в городской думе не была, но мой Гаврик, который с мандатом ревкома и отрядом морячков с «Алмаза» явился туда закрыть всю эту лавочку, с большим

юмором описал мне свою старую знакомую мадам Стороженко, раздувшуюся, как жаба. Почему-то она была в костюме сестры милосердия, с красным крестом на необъятной груди. С седыми усами, тремя подбородками и алчными глазами, она представляла из себя нечто омерзительное. Она была окружена синежупанниками гайдамацкой гвардии и вообще, как сказал Гаврик, разыгрывала из себя какую-то гайдамацкую богородицу, воительницу против большевиков и защитницу «вильной Украины». Она ужасно разоралась, стучала зонтиком и требовала немедленного перехода всей власти в городе в руки управы. Гаврик вошел со своими хлопцами в зал заседаний и так цыкнул на господ гласных, что они «наложили полные штаны» (выражение Гаврика!), в два счета закрыли свой базар и, как говорится, скрылись в неизвестном направлении. Представляешь сцену, когда Гаврик очутился нос к носу с бушующей мадам Стороженко! Вот это был номер! Конечно, они узнали друг друга. Не знаю, чего здесь было больше — комедии или драмы. Так совершилось историческое возмездие и социальная справедливость востор...»

На этом месте письмо прерывалось.

Затем торопливым почерком было приписано:

«Подожди, мамочка. Я слышу орудийные выстрелы. Сейчас узнаю, в чем дело. Так и есть! Несмотря на свои миролюбивые заверения и якобы капитуляцию, только что штаб войск Центральной Рады предъявил нам ультиматум немедленно очистить занятые советскими войсками учреждения. И вот в чем подлость: ультиматум еще не был фактически передан, как значительные силы гайдамаков и юнкеров начали наступление на город. В настоящий момент, нам только что сообщили по телефону, они наступают со стороны Среднего Фонтана, где расположены их казармы... Вот опять пушечный выстрел... Трехдюймовка... Оказывается, у них есть артиллерия. Слышу шаги Гаврика. Ну, пока прощай, мамочка. Потом допишу. Наш дежурный отряд выступает...»

Письмо это так и осталось недописанным, потому что Марина была убита через час после этого на углу Пушкинской и Троицкой, где небольшой отряд матросов и красногвардейцев начал строить баррикаду, пытаясь остановить гайдамаков, которые к этому времени вместе

с юнкерами внезапным ударом захватили здание штаба военного округа, вокзал и теперь, выйдя на главные улицы — Пушкинскую, Ришельевскую и Екатерининскую, — под прикрытием броневиков быстро продвигались к центру города.

31
НА БАРРИКАДАХ

Держа винтовки под мышкой, они тащили на середину мостовой что попало: уличные скамьи, ящики, железные вывески, ставни.

Два рабочих с завода Гена выволокли из галантерейного магазина довольно длинный ясеневый прилавок и поставили его поперек мостовой, но шальной артиллерийский снаряд разнес его в щепки, прежде чем они успели притащить пулеметы.

Потом им удалось с невероятным трудом повалить круглую афишную тумбу, состоявшую из трех бетонных колец, каждое высотой аршина в полтора.

Тумба была оклеена толстым слоем старых афиш, порванных пулями. Громадными буквами были напечатаны слова: «Аида», «Трильби», «Труцци», «Цирк».

Когда бетонные звенья покатились по тротуару, слой старых афиш, склеенный затвердевшим клейстером, начал отваливаться большими кусками. Ледяной ветер погнал их по улице, и они стали подпрыгивать и взлетать, напоминая своими движениями перекати-поле.

Ветер нес в глаза пыль, смешанную со снегом, острую, как битое стекло.

Пули свистели вдоль улицы, отскакивали от гранитных обочин, от чугунных крышек канализационных колодцев и уносились, рикошетом выбивая из стен домов штукатурку, с визгом, звоном, скрежетом, завыванием, ударяясь в железные фонарные столбы.

Вокруг был каменный город, пустая гранитная улица — место, не приспособленное для войны. Не за что зацепиться.

Красногвардейцы и матросы прятались в подворотнях и стреляли оттуда боком вдоль улицы в сторону вок-

зала. Они стреляли стоя, с колена, наконец, лежа, упираясь локтями в булыжник и плитки лавы.

Они старались вести прицельный огонь и ловить на мушку маленькие фигурки гайдамаков в новых оранжевых полушубках и юнкеров в аккуратных башлыках. Фигурки эти перебегали зигзагами от дерева к дереву и мелькали за серыми стволами акаций своими новенькими, желтыми винтовками.

Снаряд попал в угловой дом и с блеском разорвался, окутав улицу облаком бело-лимонно-желтой ракушниковой пыли. Из окна брызнули стекла, в одну секунду покрыв осколками весь тротуар.

Гаврик побежал по этому битому стеклу, как по насту, поскользнулся и едва удержался, схватившись красной, отмороженной рукой за погнутую железную решетку у входа в ренсковый погреб.

Он видел, как Марина споткнулась, упала вниз головой и покатилась по обледенелым ступенькам, уткнувшись шапкой в дверь ренскового погреба, запертого на засов с пудовым замком.

Гаврик ожидал, что она сейчас же встанет, но она продолжала лежать неподвижно.

Теперь она была до такой степени не похожа на себя, что Гаврику в первое мгновение показалось, что на лестнице лежит кто-то другой в Марининном пальто, осыпанном штукатуркой, а сама Марина спряталась за углом и сейчас выйдет оттуда, живая, со своей короткой кавалерийской винтовкой и тяжелым подсумком на поясе.

Гаврик увидел, как на нее сверху, немного покачавшись, упало колено водосточной трубы, а потом железная вывеска табачной лавочки с пестрым турком в чалме и с дымящимся кальяном. Затем с четвертого этажа, кувыркаясь, свалилась порыжевшая разобранная и выставленная на балкон рождественская елка с обрывом серебряной бумажной цепи и маленьким сиамским флажком — белый слон на алом поле.

Из этого хлама наружу торчали ее нетронутые ноги в туго натянутых фильдекосовых чулках и зашнурованных высоких ботинках с кожей, кое-где добела потертой. Эти ботинки Марина лишь сегодня надела вместо сапог, от которых давно уже устала.

В каблуки этих ботинок с новыми иабойками были

врезаны и привинчены маленькие, стершиеся стальные ромбики — пластинки для коньков. В их отверстия, похожие на замочные скважины, набились пыль и сухой, мелкий снежок.

Гаврик забросил винтовку за спину и, все еще не веря своим глазам, бросился вниз по лестнице к Марине.

На железном кронштейне висел, покачиваясь, молочно-белый стеклянный фонарь в форме большой виноградной кисти с надписью черными печатными буквами «Ренсковый погреб».

Хрупкий, как елочная игрушка, фонарь этот был почти цел, лишь вместо одной выпуклости зияла черная дыра.

Гаврик схватил Марину за плечи и стал поднимать, стараясь высвободить ее тело из-под железного хлама.

Сухая елка оцарапала ему лицо.

Голова Марины тяжело откинулась и стукнулась о перила. Гаврик подхватил ее под затылок и тут только увидел ее помертвевшее, неузнаваемое лицо с небольшой треугольной ранкой на переносице и крупным желто-лиловым синяком под неподвижно открытым глазом. Из ранки тек по лицу тоненький ручеек крови, которой уже были запачканы горло, ухо и старенький мех воротника.

Гаврику показалось, что это всего лишь ссадина. Он вытащил Марину наверх, положил за углом дома в безопасном от пуль месте и стал вытирать рукавом лицо Марины. Он его целовал и вытирал. Но чем сильнее он его тер, тем обильнее текла кровь, и Гаврик увидел не ссадину, а треугольную дырочку, откуда, как из пробитой склянки, выливалась, пузырясь, кровь.

— Марина!— с ужасом закричал Гаврик.

Теперь он понимал, что с ней произошло что-то страшное. Но он еще не понимал, что она уже мертва. Мелькнула ужасная догадка, но он ее сразу же с возмущением отверг: так невероятна, противоестественна она была.

Он приподнял ее и стал трясти, как бы желая разбудить.

— Марина, Мариночка! — звал он.— Ну, что же ты, честное слово?.. Ты меня слышишь? — спросил он и, так как она не отвечала, крикнул ей в ухо: — Ты меня слышишь? Чего же ты молчишь, я не понимаю!

Ее голова тяжело моталась, падала, и Гаврик вдруг

увидел, что ее перемазанное кровью, неузнаваемое лицо с синяком вокруг одного открытого глаза и с другим глазом — закрытым — меняет цвет.

Сначала оно было просто очень бледное, потом стало сизое, потом через него как бы прошла лилово-багровая волна и вдруг схлынула, оставив свинцовые тени вокруг обесцвеченных, твердых губ.

Ее лицо стало таким однотонно белым, как будто из него вылились все тепло и все краски.

Гаврик беспомощно оглянулся.

Он увидел недалеко от себя накрест обмотанного пулеметными лентами матроса, того самого, который позавчера сидел возле штаба на телефонном столбе, на фоне лунного неба, и рвал провода.

Теперь этот матрос сидел на тротуаре, прислонившись широкой спиной к стволу акации, и неумело бинтовал свою правую руку левой, пытаясь потуже затянуть узел зубами.

Его бескозырка сидела на белобрысой голове боком, так что георгиевские ленты с золотыми якорями на концах лезли в глаза, и он все время сердито откидывал их локтем.

Он схватил левой рукой винтовку и побежал, пригибаясь, назад, за угол, к тому месту, где был ранен и откуда слышался прерывистый стук не совсем исправного «Максима».

— Слышь, братишка! — крикнул Гаврик.— Забыл, как тебя. Прими вместо меня команду. Видишь, что делается?

Матрос на бегу обернулся, взглянул на Марину в руках Черноиваненко-младшего и кивнул головой.

— Сделаю.

— Я мигом,— как бы извиняясь, сказал Гаврик.

— Ховай,— ответил матрос, скрываясь за углом.

Гаврик взвалил Марину на плечо и, чувствуя пугающую тяжесть ее тела, побежал на безопасный тротуар к Ришельевской, где на углу была аптека.

Иногда он останавливался и смотрел по сторонам, как бы ожидая откуда-нибудь помощи. Ведь это же все-таки был город. Вокруг жили люди. В каждом доме люди. Тысячи, десятки тысяч людей. Но теперь улица была пу-

стынна. Ворота и парадные подъезды наглухо заперты, заколочены. Ставни заперты изнутри.

Обыватели, наверное, сидели сейчас на полу в отдаленных комнатах или прятались в подвалах и дровяных сараях, с ужасом прислушиваясь к пулеметным очередям, пушечным выстрелам и звону стекол, содрогающихся от броневиков.

Может быть, кто-нибудь даже слышал крик Гаврика:

— Эй! Помогите! Помогите раненому человеку! Помогите же, мать вашу... перемать...

Может быть, и даже наверное, кто-нибудь слышал стук приклада в железные ворота или в дубовые двери парадного хода.

Но ни одна живая душа не откликнулась. Гаврик бежал по мертвой улице, мимо парадных и подворотен, окруженных множеством разных табличек и вывесок: «Зубной врач Харлип», «Портной Цудечкис», «Акушерка Подлесная», «Нотариус Тарасевич», «Присяжный поверенный Рафалович», «Каллиграфия Россодо», «Уроки музыки», «Кройка и шитье», «Ставлю пиявки», «Кабинет машинописи», «Корсеты Лизетт»...

Тысячи раз в жизни проходил Гаврик мимо всех этих вывесок, за каждой из которых был человек. Множество людей. Кой-кого из них Гаврик знал даже в лицо. Но теперь все эти живые люди исчезли. Гаврика окружали лишь их имена и профессии — странные абстракции, фантомы врачей, настройщиков, акушеров, докторов. Докторов!

Они ничем не могли или не хотели ему помочь. Они просто боялись.

— У, подлецы, гады, сукины дети! — бормотал Гаврик, облизывая пересохшие, потрескавшиеся губы.

О, как он ненавидел всех этих людей!

Он слышал позади, за углом, беспорядочную, лихорадочную пальбу пачками, из чего заключил, что пулемет, наверное, подбили и он уже не работает. Потом он услышал звуки пулемета. Но это уже был другой пулемет, исправный, новый и звонкий «кольт», по всей вероятности, с гайдамацкого броневика. Он слышал громыханье этого броневика и щелканье пуль о его броню.

Потом наступила недолгая тишина, и вдруг быстро, одна за другой взорвалось несколько ручных гранат.

Заскрежетало железо, что-то, громыхая, рухнуло, раздались редкие крики «ура», и Гаврик понял, что это его хлопцы только что подорвали гайдамацкий броневик.

Но у него не было времени обернуться.

Немного не добежав до Ришельевской, он остановился, переложил Марину на другое плечо и стал всматриваться из-за акации, желая убедиться, что на углу Ришельевской и Троицкой еще нет гайдамаков.

Он увидел опрокинутый вагон электрического трамвая и на нем небольшой красный флаг — знамя Одесского городского комитета партии.

Несколько красногвардейцев, среди которых Гаврик заметил коренастую фигуру Чижикова, кто лежа на поваленном трамвайном вагоне, кто из-за него с колена, стреляли из винтовок в сторону Александровского участка, откуда наступали гайдамаки.

Пули летели по Ришельевской в ту и другую сторону, сбивая с акаций сухие, замерзшие ветки и отрывая куски коры.

Звуки винтовочных выстрелов как бы не укладывались во всю длину улицы от Александровского участка до городского театра. Казалось, что они ломались о дома и были оглушающе громкими.

Всюду виднелись кучи стреляных гильз, цинковые ящики из-под патронов, пустые пулеметные ленты, окровавленные бинты.

Над угловым входом в аптеку, на том месте, где при старом режиме находился золоченый двуглавый орел с державой и скипетром, сброшенный во время Февральской революции, теперь на длинной палке торчал самодельный флаг с красным крестом, показывая, что здесь перевязочный пункт.

Но, по-видимому, гайдамаки не обращали на это внимания, потому что несколько пуль попало в витрину аптеки, оставив в толстом стекле зловещие звездообразные пробоины.

Гаврик бросился к двери аптеки, и как раз в это время новая пуля влетела в витрину и отбила горло громадного грушевидного графина с ядовито-зеленой жидкостью, обычно выставляемого в окнах аптек. Литая фигурная пробка со звоном покатилась, и в графине закачалось отражение улицы, на которой шел бой.

Первой, кого увидел Гаврик в аптеке, была Мотя, и он понял, что это перевязочный пункт санитарной дружины Красной гвардии железнодорожного района.

Ничего не спрашивая, с остановившимися глазами, побелевшая от ужаса, Мотя помогла Гаврику переложить Марину с плеча на носилки. Несколько таких же носилок было в беспорядке расставлено на зашарпанном, местами окровавленном полу аптеки, и четыре обросших студента-медика, с повязками Красного Креста на рукавах зимних шинелей, хрустя галошами по битой аптекарской посуде, оказывали раненым первую медицинскую помощь.

Одна из пуль попала с улицы рикошетом в шкаф с медикаментами: из разбитых фаянсовых банок сыпались белые и желтые порошки. Резко завоняло йодоформом.

Мотя стала на колени и куском гигроскопической ваты, смоченной в эфире, вытерла лицо Марины, очистив ранку на вздувшейся переносице.

Ее руки задрожали, и она едва не выронила склянку с эфиром.

— Что? — спросил Гаврик.— Плохо?

Мотя заплакала.

— Выживет? — спросил Гаврик торопливо.

Мотя глазами, полными слез, посмотрела на Гаврика, не понимая, как он может не понимать, что Марина уже умерла и начинает остывать.

— Идите,— беззвучно сказала Мотя.

— А Марина?

— Идите,— умоляюще повторила Мотя.— Управимся без вас. Идите, дядечка, я вас прошу.

Она показала рукой на улицу, где кипел бой. Гаврик стоял в оцепенении, не в силах отвести глаз от Марины, от ее худого, задранного вверх подбородка. Он ждал, что она вздохнет, пошевелится.

— Не стойте тут! — закричала Мотя плача.— Не путайтесь. Не видите, что делается? Гайдамаки наступают. Сейчас будем эвакуироваться!

Студенты уже начали вытаскивать носилки с ранеными через внутренние комнаты аптеки во двор, где боком стояла санитарная линейка и две реквизированные пролетки с лошадьми, но без извозчиков на козлах.

— Как же я вас потом найду? — растерянно спросил

Гаврик, так и не дождавшись, чтобы Марина пошевелилась.— Прощай, Мотя, я пошел!

— Ой, дядечка! — вслед ему крикнула Мотя и опять заплакала, вытирая лицо вывернутой кистью руки, в которой продолжала сжимать кусок окровавленной ваты.

На ходу перезарядив винтовку, Гаврик побежал обратно к своему отряду, но, пробежав четверть пути, вдруг остановился как вкопанный.

Только сейчас до его сознания дошло, что за все время Марина ни разу не пошевелилась. Как потерянный, он бросился назад в аптеку, желая убедиться, что она жива.

Но на углу Ришельевской и Троицкой все уже изменилось. Цепочка красногвардейцев и матросов, отстреливаясь, медленно отходила в сторону городского театра.

Красного флага над оставленной баррикадой уже не было, хотя несколько человек, продолжая лежать на поваленном вагоне, все еще стреляли залпами. На этот раз Гаврик заметил среди них Терентия, дядю Федора и еще кого-то из горкома.

Позади вагона на мостовой лежал, раскинув руки, убитый матрос.

В аптеке уже никого не было. За это время в нее, видимо, попала пулеметная очередь, разворотившая несколько кружек разных благотворительных обществ, прибитых возле кассы: общества спасания на водах, в виде лодки, голубой кружки с шестиугольной звездой — щитом царя Давида — в пользу бедных евреев, скобелевского комитета и многих других.

На полу вместе с черепками аптекарской посуды под ногами звенели медяки и шуршали почтовые марки, заменявшие в то время серебряные деньги, высыпавшиеся из развороченных благотворительных кружек.

Посреди пустого двора лежала, конвульсивно подергивая задней ногой, убитая лошадь. Раненых уже увезли.

Почему-то это успокоило Гаврика. Раз увезли, значит, Марина теперь в безопасности. Он сильным рывком затянул на себе пояс с опустевшими подсумками и снова побежал на угол Троицкой и Пушкинской.

Гаврик увидел, что его отряд продолжает держаться, превратив подбитый гайдамацкий броневик в баррикаду. Но все же к вечеру пришлось отступить до Ланжероков-

ской, где и закрепились между бывшими Английским клубом и Археологическим музеем с двумя каменными бабами при входе.

К ночи бой затих.

Теперь город был неправдоподобно молчалив и темен. Кое-где на перекрестках горели костры, возле которых грелись гайдамацкие или красногвардейские патрули.

Между отрядами Красной гвардии, действующими отдельно, теперь устанавливалась связь. Это была передышка до утра. Ночью не воевали.

Для Гаврика эта ночь была ужасна.

32

ДЕНЬ И НОЧЬ

На рассвете бои возобновились.

За ночь на стенах домов было расклеено воззвание Военно-революционного комитета, спешно отпечатанное на сером газетном срыве:

«На улицах Одессы идет кровавый бой между защитниками Советов рабочих, солдатских, крестьянских и матросских депутатов и сторонниками Центральной Рады. В этой решительной схватке вам, граждане, необходимо занять твердую и решительную позицию. Все, кому дорога революция, должны открыто и честно стать на сторону стражей революции — Советов рабочих, солдатских, крестьянских и матросских депутатов».

Это воззвание Гаврик собственноручно набрал и тиснул в пустой типографии «Одесского листка», при свете двух электрических фонариков, которые держали, стоя возле наборной кассы, связные Пересыпского района, присланные Чижиковым из штаба Красной гвардии с подлинником воззвания, написанным синим карандашом на листке из полевой книжки рукой Родиона Жукова.

Гаврик давно уже не набирал и теперь, взяв в одну руку верстатку, а другой рукой на ощупь беря из кассы тяжелые крупные литеры, почувствовал на короткое время успокоение, как будто бы вокруг ничего особенного не происходило, а Марина на минуту отлучилась из наборной и сейчас воротится.

Он уже вторые сутки ничего не ел, но голода не чув-

ствовал, а только совсем легкое головокружение, от которого все его мысли потеряли тяжесть и как бы легко скользили, ни на чем особенно не задерживаясь.

Но, сделав набор, завязав его шпагатом и положив на цинковый стол с тем, чтобы тиснуть корректуру, он на одну секунду, на один самый короткий миг, вернулся к действительности. Он с пугающей ясностью представил себе остановившееся лицо Марины с опухшим, заплывшим глазом, тусклый блеск этого глаза, и ужас пронзил его до самого дна души. Но сейчас же все заволоклось приятным туманом, и, когда Гаврик набивал на набор пахнущей керосином щеткой мокрый лист срыва, а потом снимал его, разглядывая серый оттиск, ему уже казалось, что Марину, наверное, давно привели в чувство, хорошо, надежно забинтовали ей голову, и теперь она ищет его по всему городу — все такая же в своей финской шапке, с короткой кавалерийской винтовкой за спиной.

Напечатав на американке штук пятьсот воззваний, Гаврик велел отнести их как можно скорее в штаб Красной гвардии товарищу Жукову, а сам попытался из пустого кабинета редактора соединиться по телефону с городской больницей, где, по его предположению, должны были находиться раненые красногвардейцы. Может быть, вместе с ними там была и Марина.

Центральная телефонная станция долго молчала, а потом грубый мужской голос сказал:

— Слухаю!

Гаврик понял, что станция занята гайдамаками.

— Заткнись, жупанник! — крикнул Гаврик в трубку и вышел из редакции «Одесского листка».

Город был темен, гулок, неприветлив. На углах догорали ночные костры. Шаги звонко отдавались в каменных стенах домов.

В воздухе немного потеплело. На домах выступила изморозь, и полукруглый фасад городского театра с черными скульптурными группами в нишах кое-где побелел от инея.

Очень медленно светало.

В коридорах улиц мелькали электрические фонарики патрулей. Цокая и срываясь подковами со скользких гранитных камней мостовой, проехал разъезд, но гайдамацкий или красногвардейский — нельзя было понять.

Стрельба усилилась. Недалеко за углом ударил пулемет. Отовсюду слышались тревожные фабричные гудки, как бы целый лес разнотонных гудков, и посиневший утренний воздух дрожал, как от звуков громадного, приглушенного органа.

Полулежа в маленьком пулеметном окопчике, вырытом прямо посреди клумбы в палисаднике Археологического музея, Гаврик прислушивался к фабричным гудкам, живо представляя себе, как сейчас рабочие Пересыпи, Молдаванки, Дальника, Пишоновской, Раскидайловской собираются в цехах и на заводских дворах и разбирают оружие.

Но Гаврик знал, что их еще нужно разбить на отряды, накормить, снабдить патронами, ручными гранатами, пулеметными лентами; нужно еще своевременно развернуть перевязочные пункты, организовать эвакуацию раненых в лазареты и госпитали.

Вчера гайдамаки напали на них врасплох, и теперь очень нелегко было наверстать упущенное время.

В конце концов исход сражения зависел от того, как скоро сумеют рабочие вооружиться и выступить. А пока приходилось сдерживать во много раз превосходящие силы прекрасно вооруженных гайдамацких куреней, имеющих в своем распоряжении даже броневики и артиллерию.

Наступило утро, и опять целый день на улицах шли бои.

К концу дня гайдамаки, как узнал Гаврик от пробравшихся к нему связных ревкома, уже занимали больше половины города — от Среднего Фонтана до Полицейской, где в трактире помещался горком партии.

Отдельные их отряды прорвались на Дерибасовскую и Думскую площадь, которую оборонял со своим отрядом Гаврик, отступив на Николаевский бульвар и поставив пулеметы: один у памятника Пушкину, другой на крыше Лондонской гостиницы, откуда можно было держать под обстрелом сквер между городским театром и Английским клубом, а третий у подножия знаменитой исторической чугунной пушки — для того, чтобы в случае надобности можно было открыть огонь по гайдамакам с фланга.

Гаврик отрыл себе совсем близко за памятником

Пушкину, прямо посреди аллеи Николаевского бульвара, глубокий окопчик и отсюда руководил боевыми действиями своего отряда.

Недавно он получил подкрепление: человек двадцать из большевистски настроенных солдат 46-го запасного пехотного батальона и Ахтырского полка — злых, потрепанных солдат-фронтовиков с вещевыми мешками и котелками, которые гремели по мостовой, когда они ложились в цепь.

Они пробрались на позицию к Черноиваненко-младшему кружным путем, через порт по бульварной лестнице, со своими патронами, которые тащили в цинковых ящиках.

Они передали Гаврику записку, нацарапанную химическим карандашом:

«Здравствуй, Черноиваненко! Как дела? Посылаю тебе людей — сколько мог мобилизовать на первое время. Ребята надежные, в основном революционное крестьянство в солдатских шинелях. Посылаю также двух телефонистов из Ахтырского полка с катушкой провода и полевым телефоном Эриксон — на тот случай, если придется устанавливать связь со штабом. А пока что приказываю именем Советской власти держаться во что бы то ни стало и больше не уступать этим подлецам, предателям юнкерам, и жупанникам ни одного шага. В наших руках пока что больше половины города и рабочие окраины. Так что положение не такое плохое. Бей гадов хорошенько, но патроны береги. Скоро все переменится, и мы сметем с лица земли всех предателей и контрреволюционеров. С большевистским приветом. Чижиков».

Из выбитых окон городской думы вылетали и кружились на ветру клочья канцелярской бумаги; под изящной колоннадой с белыми статуями в нишах ползали по каменным плитам обгорелые папки, обертки дел и отчетов, черно-синие, как бы зловеще обугленные куски копирки.

Съежившись в своем окопе, Гаврик потирал озябшие руки, дул на кулаки с белыми косточками, искоса поглядывая на городскую думу и с удовольствием вспоминая, как выгнал оттуда всю сволочь во главе с мадам Стороженко, которая разорялась больше всех.

Неужели они опять вернутся? Нет, ни за что! Лучше расстрелять все патроны, а последний пустить в себя.

От этих мыслей Гаврик взбодрился, разгорелся, скрипнув зубами, сплюнул из-под молоденьких, еще как следует не выросших, золотистых усиков.

Перед вечером, по обыкновению, стрельба стала мало-помалу утихать. Наступила длинная пауза. Гаврик осторожно приподнялся, выглянул из окопчика.

Над ним в мутном предвечернем небе с желтыми и розовыми светящимися полосами заката чернела большая курчавая голова Пушкина с бакенбардами, посаженная на маленькое безрукое туловище, задрапированное широкой мантией.

Днем голова Пушкина была сплошь белая от инея, а теперь потемнела, и только большие выпуклые глаза продолжали оставаться белыми.

Изо ртов бронзовых дельфинов на углах цоколя над чугунными раковинами висели сосульки.

За спиною Гаврика тянулся пустой Николаевский бульвар со старыми громадными платанами, среди оголенных сучьев которых разорялись стаи зимних воробьев, от чего платаны звенели, как люстры.

Еще дальше над знаменитой лестницей чернел памятник дюку де Ришелье с простертой рукой, маленький, изящный, как статуэтка. А если повернуть налево, то можно было бы увидеть другой памятник — Екатерине Второй, а еще дальше за городским садом, на Соборной площади, третий памятник — смертельному врагу Пушкина — Воронцову.

Гаврик невесело улыбнулся. Он подумал о том, что вокруг было много памятников — как на кладбище! — знаменитых зданий, дворцов — хотя бы тот же Воронцовский, в самом дальнем конце бульвара со своей знаменитой полуциркульной античной ротондой из семи белоснежных колонн на дымном фоне Пересыпи и керосиновых цистерн, которые всегда напоминали Гаврику карусели, закрытые на ночь чехлами.

Это был его город, и он теперь дрался в нем за Советскую власть.

Дальше отступать было некуда, разве что в море с белыми маяками на конце мола и длинным брекватором, о который все время разбивались пенистые волны шторма, казавшиеся издали неподвижной полосой снега.

На рейде в разных местах стояли на якорях военные

корабли, по временам окутываясь зловещей тучей каменноугольного дыма.

Гаврик мог безошибочно даже в сумерках узнать каждый из них: «Громадный», «Синоп», «Ростислав» и посыльное судно «Алмаз», то самое, о котором пелось в матросской песенке того времени — «Яблочке».

Ой, яблочко,
Куда котишься?
На «Алмаз» попадешь,
Не воротишься.

Немного в стороне, ближе к нефтяной гавани под желто-блакитным флагом Центральной Рады стоял крейсер «Память Меркурия», и Гаврик знал, что его команда объявила себя нейтральной и выдала весь запас оружия Красной гвардии.

Теперь на всех этих кораблях в темноте бурной январской ночи то и дело мигали световые сигналы фонарей Ратьера, и Гаврик понимал, что это судовые комитеты ведут между собою переговоры — выступать или не выступать.

Иногда на одном из кораблей вспыхивал прожёктор, и эфирно-фиолетовый сигнал света со скоростью переставляемой минутной стрелки проносился по крышам города, выхватывая из темноты колокольни, чердаки, стеклянные ателье фотографов, купол городского театра и верх как бы добела раскаленного фасада вокзала со светящимися часами.

С моря дул черный ветер, каждые полчаса принося с собой громкие звуки колокола — это в портовой церкви Святого Николая продолжали отзванивать время.

33

ЗНАМЯ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ

Около полуночи бульвар наполнился шорохом башмаков, позвякиванием манерок, визгом пулеметных колесиков. Это пришло большое пополнение, которое привел с Пересыпи некто Синичкин, старый товарищ Терентия.

Время от времени начиная кашлять и сдерживая свой глубокий, сухой кашель, Синичкин шепотом передал Гаврику приказ штаба Красной гвардии принять

командование над всей колонией, которая будет наступать по Пушкинской в направлении вокзала, а пока ничего не предпринимать самостоятельно и ждать сигнала общего наступления.

Он сообщил также, что по железнодорожной линии в сторону Большого Фонтана, где находятся тылы гайдамаков, направлен бронепоезд под командованием прапорщика Бачея при комиссаре Перепелицком.

Синичкин нащупал в темноте руку Гаврика и крепко пожал ее своей большой, влажной, горячей рукой с жесткой кожей.

— Сочувствую,— сказал он глухо.— Но что поделаешь!

Гаврик понял, что Синичкин говорит о Марине.

— Знаете,— сказал Гаврик,— я и глазом не успел моргнуть, как она свалилась. Еще слава богу, что не насмерть зацепило. Только кожу на переносице сорвало осколком.

— Вот как?..— помолчав, спросил Синичкин и хотел еще что-то прибавить, но ничего больше не сказал и стал пристально всматриваться в лицо Черноиваненко-младшего, на короткое время озарившееся лучом прожектора, который в это время пролетел туда и назад по крышам и балконам Пушкинской улицы.

— Да... Так...— пробормотал Синичкин и замолчал надолго.

В первом часу ночи по общему сигналу началось контрнаступление.

Сначала отряды Красной гвардии и революционные воинские части двигались медленно, так что лишь к рассвету Гаврик со своей колонной дошел до угла Пушкинской и Троицкой.

Он стал осматриваться и увидел возле входа в ренсковый погреб шерстяную варежку Марины, полузасыпанную снегом, который сносило ветром с крыш и белыми облаками крушило на перекрестках.

Варежка уже успела крепко примерзнуть к тротуару. Гаврик с усилием оторвал ее и сунул за борт шинели — ледяную, твердую, колючую.

И тут он вдруг как бы очнулся от странного душевного оцепенения, в котором находился последние два дня. Впервые он понял всю правду. Он подбежал к Синичкину

и лег рядом с ним за подбитым, опрокинутым гайдамацким броневиком, обледеневшим и уже покрытым сугробом молодого снега.

— Дядя Коля... Слушайте...

Синичкин повернул к нему свое худое, костлявое лицо с побелевшими от снега усами.

— Чего тебе?

— Вы мне правду скажите: что там было слыхать про мою Марину?

В нем еще все-таки теплилась надежда.

— Нет больше твоей Марины,— глухо, через силу, сказал Синичкин, дыша в обледенелый башлык.

Долго молчали.

— Стало быть, так,— сказал Гаврик, неподвижно глядя вперед, вдаль, туда, где между домами струилась белая муть пурги.— Кто ее видел?

— Я сам видел,— сказал Синичкин.

— Где?

— В Валиховском переулке.

— А там что?!

— Университетская клиника.

— Мертвецкая, что ли? — спросил Гаврик, отчетливо произнеся это ужасное слово.— И она там находится?

— Да. Лежит там. Вместе с другими нашими товарищами. Их там человек двадцать. Пересыпские, слободские, с Сахалинчика есть. Два матроса.

— А она... какая? — немного помедлив, с усилием спросил Гаврик.

— Какая? Маленькая. На вид совсем девочка, подросточек. Аккуратная, как гимназистка...

Гаврик странно задвигался на снегу, сорвал с головы фуражку, звякнул винтовкой, ткнулся давно не стриженной золотисто-каштановой головой в сугроб и замычал.

Потом он внезапно вскочил на ноги, во весь рост рванулся вперед, выхватил из-за пояса лимонку и швырнул ее далеко туда, где возле пулемета копошились мутные силуэты гайдамаков.

Через несколько мгновений граната разорвалась, послышался человеческий крик, и Гаврик снова лег рядом с Синичкиным, положив лицо в снег.

— Ну брось, брат... брось... не убивайся,— бормотал Синичкин и осторожно потрогал его за плечо.

— Отстаньте! — злобно сказал Гаврик, отворачиваясь, и затрясся.

Через некоторое время по Пушкинской улице со стороны Николаевского бульвара подъехал автомобиль, та самая штабная машина, которую Гаврик три дня назад реквизировал в штабе округа.

За рулем сидел все тот же шофер, а рядом с ним на сиденье во весь рост стоял матрос с «Алмаза» в расстегнутом бушлате, размахивал над головой белым флагом и кричал в жестяной рупор-мегафон:

— Прекратите стрельбу! Отставить! Отбой!

Сзади сидели на кожаных подушках пожилой рабочий в черной каракулевой шапке и двое моряков, из которых один был Родион Жуков.

Стрельба с той и другой стороны мало-помалу стихла. Автомобиль медленно доехал до перекрестка и остановился.

Гаврик увидел, что его ветровое стекло в медной раме в нескольких местах пробито пулями.

Гаврик и Синичкин подошли к автомобилю и узнали, что это делегация судовых комитетов «Синопа», «Ростислава» и «Алмаза», которая везет командованию войск Центральной Рады ультиматум с решительным требованием прекратить военные действия и увести гайдамацкие части в казармы.

— Мы им заявляем,— сказал Жуков, перегнувшись через борт автомобиля и пожимая руки Гаврика и Синичкина,— что нам больно, что гибнут наши жизни. Да, братишка, больно...— Он крепко ухватил своей крепкой рукой с маленьким вытатуированным якорем Гаврика за плечо и потряс его.— Больно... Больно, но не воротишь! Крепись, дружок!

Гаврик понимал, что о смерти Марины уже знают все.

— Но,— решительно сказал Родион Жуков, повысив голос, уже не только Гаврику, а всем другим и показал рукой с письмом вперед, в сторону вокзала,— но погибнут и те, кто стремится потопить свободу в крови наших братьев. Пусть так и знают. Поехали, товарищи! — решительно сказал он и, наклонившись к шоферу, добавил: — Давайте, помалу, в штаб военного округа, не объезжая, а прямо через Куликово поле.

И машина медленно двинулась дальше по Пушкинской улице мимо гайдамацких позиций, но через пятнадцать минут промчалась обратно, теперь уже нигде не останавливаясь, и Гаврик видел, как Родион Иванович, повернувшись назад и став коленом на сиденье, с изуродованным от ярости лицом стрелял из своего маузера, и георгиевские ленты его бескозырки, отсвечивая тусклым золотом надписи и якорей, вились и щелкали на ветру.

Ультиматум был отвергнут.

Бои по всему городу возобновились. Но теперь уже дело пошло по-другому. Вмешался флот. Не прошло и часу, как матросы-корректировщики с «Ростислава» и «Синопа» выскочили из моторных катеров на пирс Карантинной гавани и, разбившись на несколько групп, побежали по каменным лестницам, узким портовым переулкам вверх в город.

Скоро на крышах наиболее высоких домов, на пожарной каланче Херсонского участка, на куполе городского театра показались маленькие фигурки с развевающимися матросскими воротниками, замелькали флажки сигнальщиков и стали вспыхивать фонарики Ратьера.

В это время портовый катер под красным флагом Военно-революционного комитета отвалил от Платоновского мола и, обогнув брекватор, сразу же был подхвачен штормовыми волнами.

Родион Жуков стоял, навалившись широкой грудью на рубку машинного отделения, откуда через открытый люк несло жарким воздухом, и сжимал в твердых губах прямую английскую трубку.

Другие члены Военно-революционного комитета и делегаты Румчерода сидели на корме с поднятыми воротниками шинелей и пальто, в шапках, надвинутых на уши.

Небо было сумрачное, темное.

Море на горизонте казалось зубчатым, как пила, и оттуда, из-за маяка, крепкий ветер нес в лицо брызги и ледяную крупу. Катер валяло. Из черной трубы густо полз черный дым, и в лица сыпалась сажа.

Удаляющаяся панорама города то поднималась высоко, то проваливалась. Глядя на город, трудно было представить, что там уже третий день идет кровопролитие. Лишь изредка доносились против ветра далекие, слабенькие выстрелы трехдюймовок — это, по-видимому,

бронепоезд «Ленин» со станции Одесса-товарная обстреливал позиции юнкеров на Французском бульваре.

Одна за другой катились крутые, очень высокие, бутылочно-зеленые волны с пеной на гребне, и в глубоких провалах между ними качались сотни чаек, которые скользили по склонам волны вниз и вверх и вдруг оказывались на самом гребне среди пены.

Тогда они начинали хлопать крыльями, взлетать, кружиться целыми тучами на ветру, наполняя воздух резкими криками, а потом снова падали на воду и скользили вниз, в глубину водяных ям, и качались там, как поплавки, повернувшись спиной к ветру.

Родион Жуков смотрел на чаек, и ему казалось, что здесь тоже идет какая-то своя беспощадная война между ними, ветром, волнами, пеной.

Чайки напоминали ему туман над Невой, Смольный и Ленина. Он представил себе секретариат председателя Совета народных комиссаров — маленькую комнатку, где прежде ютилась какая-нибудь пепиньерка, и Павловскую, наклонившуюся над своим неуклюжим, разбитым «ундервудом» с длинной кареткой. Она еще ничего не знает, а тело ее Марины уже третий день лежит в университетском морге на мраморном столе, с завалившейся набок головой и белым, совсем не похожим на себя лицом, на котором так заметны ужасные тени провалившихся щек и хрящеватого носа.

Но вот, наконец, перед катером выросла громадная, высокая стена броненосца «Синоп», вся в крупных желто-коричневых разводах камуфляжа.

Став на борт катера, который с размаху бросало то вверх, то вниз, как на качелях, Родион Жуков привычно схватился руками за канат и споровисто полез вверх по шторм-трапу.

За ним тяжело поднимались ревкомщики, таща за руки и подталкивая сзади молодого человека в штатском, в очках на песочно-желтом, золотушном лице, в глубоких резиновых галошах, с наганом поверх драпового пальто, члена Румчерода, старого социал-демократа Рузера, возвратившегося недавно из эмиграции со второй партией большевиков.

Ползя вверх, он умудрился крепко держать под мышкой большой рулон, аккуратно завернутый в газетную

бумагу,— план города Одессы, где красным карандашом были отмечены все пункты, занятые врагами.

Давно не ступала нога Родиона Жукова на палубу военного корабля. Теперь же, очутившись среди орудийных башен, шлюпбалок, увидев на большой, как площадь, носовой палубе с узкоколейными рельсами медный корабельный колокол — рынду и минные аппараты, увидев вокруг себя матросов в брезентовых робах, их синие развевающиеся воротники, Родион Жуков почувствовал душевное волнение.

Подошли члены судового комитета.

Им уже было известно, что штаб войск Центральной Рады отказался прекратить кровопролитие и отверг ультиматум. Они были готовы в любой момент открыть огонь, только дожидались прибытия на борт делегации Военно-революционного комитета с планом города.

Они окружили Родиона Жукова. Он был для них как бы знаменем двух революций — пятого года и Октябрьской, броненосца «Потемкин» и «Авроры». Он был политический «эмигрант», социал-демократ большевик, участник штурма Зимнего дворца, делегат Второго съезда, человек из легендарного Смольного, посланец Ленина. И в то же время он был свой брат черноморский моряк.

Родион Жуков знал, что они ожидают от него каких-то слов, может быть, даже речи, но в этот момент он ничего не мог сказать, потому что его мысли были далеко: он видел Одесский рейд, белоснежный маяк, город на горе с колоннадой Воронцовского дворца и раковинообразным куполом театра, и ему вдруг удивительно ясно вспомнился тот жаркий июньский день двенадцать лет назад, когда «Потемкин» остановился на рейде и навел орудия на купол городского театра, где как раз в это время под председательством седоусого, осанистого генерала из немцев фон Каульбарса заседал военный совет против мятежников — так называли в те дни революционный, восставший народ.

Жуков вспомнил, как один и другой раз выстрелило его орудие по театру — недолет и перелет, а в третий раз, когда купол был взят в вилку, уже не выстрелило. Кто-то дал отбой. И восстание захлебнулось.

Так живо, как будто бы это все происходило сейчас, почувствовал Родион Иванович жгучую боль обиды.

— Эх, гады, продали нас тогда! — сказал он, глядя на окружавших его матросов «Синопа» маленькими, острыми глазами, твердо сидящими под сдвинутыми бровями с легкими искорками седины.— Надо было Кошубу послушаться. Зря дали отбой. Надо было бить по городу, гвоздить, не останавливаясь, высаживать десант. Весь бы юг подняли, может быть, всю Россию. Ну да теперь, я думаю, не ошибемся. Верно, товарищи?

— Не ошибемся! — послышались голоса.

— Добре, кройте. Не жалейте, братишки, снарядов. Чтобы всю контрреволюцию вымести с советской земли. Генерала Каульбарса тогда не достали, зато теперь генерала Заря-Заряницкого достанем. Достанем, товарищи?

— Достанем, Родион Иванович!

— Именем революции! — крикнул, натужив грудь, Родион Жуков, снял старую потемкинскую бескозырку и махнул ею над своей круглой, по-матросски остриженной головой.

— Ревун! — скомандовал он и стремительно мягкой, флотской походкой, легкой и цепкой, побежал вверх по трапу на ходовой мостик, где командир корабля, судовой комитет и делегаты Румчерода склонились уже над развернутым планом города, прикладывая к нему масштабную линейку и готовясь к пристрелке.

Родион Жуков был еще на половине трапа, как взревела мрачная сирена корабельного ревуна.

— Огонь!

Ударило башенное орудие и ослепило, как будто из его поднятого ствола выдернулась и улетела простыня ослепительного пламени.

Дрогнул рейд.

И первый пристрелочный снаряд потек над городом с напористо-вкрадчивым шорохом, с шелестом, со звуком токарного станка. С кажущейся медлительностью снаряд двигался по своей траектории, и в городе под ним все смолкло, прислушиваясь к его грозному полету.

Прислушивался Гаврик, приподняв голову от сугроба на углу Пушкинской и Троицкой; прислушивался Терентий; прислушивался Василий Петрович, перевязывая раненых в аптеке Гаевского на Садовой; с ужасом прислушивались гайдамаки, один за другим отступая цепочкой к вокзалу; прислушивался генерал Заря-Заряницкий,

стоя во весь рост в холодном мраморном вестибюле штаба и рассматривая себя в сумрачном штабном зеркале; прислушивался Петя, высунувшись по пояс из люка бронепоезда, который, осторожно попыхивая и постукивая на стыках, пробирался по окружной железнодорожной ветке между Одессой-товарной и Одессой-сортировочной.

Снаряд невидимкой убежал по дуге куда-то за город, стих, и сейчас же послышался глухой, расползающийся грохот чудовищного разрыва в районе за выгоном Ближних Мельниц, возле двенадцатой станции, в гайдамацких тылах.

Едва смолк грохот разрыва и сигнальщики на крыше городского театра отмахали своими флажками, как ударил второй выстрел на «Ростиславе», и новый снаряд пошел высоко над городом.

Пристрелка шла медленно, обстоятельно. Казалось, между двумя выстрелами лежит вечность. После каждого разрыва все гуще и чернее становилось облако на окраине города.

Мучительно долго тянулся этот короткий зимний день.

Наконец стемнело.

Теперь военные корабли уже били на поражение по всем целям, нанесенным красным карандашом на плане города.

Город гремел, вспыхивал, дрожал.

Наступила ночь.

34

БРОНЕПОЕЗД «ЛЕНИН»

Черный ветер дул с моря.

Он уже не был таким ледяным, режущим, как накануне, но все же Петя, Колесничук и Перепелицкий, которые вот уже двое суток не выходили из башен бронепоезда, озябли до костей и для того, чтобы хоть немного согреться и отдышаться на свежем воздухе от пороховых газов, влезли на паровоз и стояли там, держась за поручни и поворачиваясь то спиной, то грудью к горячему котлу.

Пользуясь отбоем, команда бронепоезда тоже вы-

лезла из холодных башен и казематов и, по примеру своего начальства, облепила паровозный котел, его жаркое железное туловище.

Бронепоезд стоял на переезде против Чумки, между водопроводной станцией и вторым христианским кладбищем.

Наблюдатели и телефонисты были высланы в сторону от железнодорожной линии по направлению к фонтанам с тем, чтобы засечь новые цели.

Вокруг было темно, тихо.

Изредка из паровозного поддувала падали угольки, и тогда рельсы и шпалы ненадолго озарялись рдяным светом. И каждый раз, как падали угли, Петя стучал кулаком в окошечко машиниста и простуженным, еле слышным голосом кричал:

— А ну, вы, там, железнодорожники, Викжель, прикройте поддувало! Сколько раз вас просить?

— Ты их не проси, а ты командуй,— ворчал Перепелицкий.— Тоже мне прапорщик, интеллигент!

— Подпоручик,— поправил Петя.

— Одна сатана.

— Жора, объясни этому типу разницу,— пожимая плечами, сказал Петя, обращаясь к Колесничуку, уткнувшему свой длинный нос в наставленный воротник полушубка.

— А хиба ж вин шо небудь тямит — цей нижний чин, серая порция,— сказал Колесничук.— Деревенская темнота. А ще называется комиссар!

Пока Колесничук служил у гайдамаков, он из чувства протеста говорил по-русски, но как только перевелся в Красную гвардию, то из того же чувства хохлацкого упрямства старался говорить «на мове», в особенности в тех случаях, когда хотел быть язвительным.

— А вы кто такие против меня? — молодцевато спросил Перепелицкий, становясь боком и подкручивая усы.

— Во-первых, мы против тебя офицеры, ваши благородия, и ты перед нами должен стоять, как полагается по уставу, каблуки вместе, носки врозь, руки по швам,— сказал Петя, играя глазами.

— Мы таких офицеров в два счета отправляли на фронте в штаб Духонина, а здесь — на «Алмаз» и головой в топку.

— Таких, да не таких,— сказал Колесничук,— то были золотопогонники, кадровики, а мы с Петей красные командиры, служим пролетарской революции.

— Ну когда так, то давай закурим,— ответил Перепелицкий и вытащил из голенища свой знаменитый кисет, вышитый руками Моти, предмет восхищения и зависти всего бронепоезда.

— Табачок фабрики Асмолова, дерет глотку здорово. Налетай, офицеры!

— Только приказываю курить аккуратно и огонь прятать в рукав,— строго заметил Петя.

— Слушаюсь, ваше благородие! — вытянулся Перепелицкий.

Ему нравилось, что в бронепоезде, где он комиссаром, подобрались такие подходящие командиры, хотя и бывшие офицеры, но ребята славные, в особенности Петька Бачей, бывший Мотин кавалер, что, с одной стороны, немного мучило ревнивого Перепелицкого, а с другой — непонятным образом как бы слегка льстило его самолюбию: дескать, у его Мотечки такой интересный кавалер из бывших офицеров.

Перепелицкий этим немного бравировал и даже позволял себе иногда при случае заметить вскользь:

— Это командир нашего бронепоезда, прапорщик Бачей Петя, кавалер моей Матрены Терентьевны, конечно, бывший!

Простой и добрый малый Колесничук, назначенный помощником Пети, а также командиром пехотного десанта, пришелся по душе всей команде бронепоезда, в особенности Перепелицкому.

В свободные минуты Колесничук и Перепелицкий весьма красиво и чувствительно «спивалы у двох» украинские песни.

В бронепоезде царила атмосфера семейная, так как почти вся команда состояла из рабочих с Ближних Мельниц, знакомых Пете еще по хутору Васютинской.

Машинистом бронепоезда был тот самый старичок железнодорожник, который в прежние времена захаживал к Терентию на партийные собрания прямо с дежурства вместе со своим фонарем и сундучком.

Воевали весело и зло, все время потихоньку двигаясь вокруг города, переходя с ветки на ветку,— поддержи-

вали огнем из своей пары трехдюймовок отряды Красной гвардии и матросов.

Регулярной связи со штабом Красной гвардии не было, и действовали большей частью на свой риск и страх: высылали собственных телефонистов и наблюдателей, а то и просто били прямой наводкой по крышам и колокольням, где жупанники и юнкера выставили свои пулеметы. Город знали как свои пять пальцев, потому что почти все были местные, одесситы, и стреляли наверняка. Цели не записывали и не слишком надеялись на угломер, а Петя просто командовал, высунувшись из люка:

— А ну-ка, Гриценко, дай раза два бризантной по колокольне Андреевского монастыря, а то, сдается мне, там они опять поставили свою машинку.

Или кричал, стоя на контрольной площадке с биноклем в руке:

— Взводом! По Новорыбной, угол Ришельевской, против Александровского участка, недалеко от иллюзиона «Двадцатый век», по скоплению юнкеров два патрона беглых, гранатой, огонь! Первое! Второе!

И наводчики, одесские парни, коренные черноморцы, очень хорошо понимали его: они быстро отмечались по какой-нибудь знакомой трубе или тополю, ставили прицел и азартно палили, причем почти никогда не мазали.

Несколько раз бронепоезд попадал в засаду под кинжальный огонь вражеских пулеметов, но спасала хорошая, на совесть приклепанная броня.

Потеряли всего лишь шесть человек убитыми и ранеными из числа десантников, не успевших перейти с контрольной площадки в блиндированный каземат.

Один раз десантники под командой Колесничука ходили в атаку на отделение юнкеров, окопавшихся возле станции Одесса-сортировочная, выбили их из окопчиков, взорвали небольшой склад боеприпасов, который они охраняли, и быстро вернулись назад, приведя десяток пленных — насмерть перепуганных мальчишек — юнкеров и гимназистов в своих светлых шинелях и верблюжьих башлыках.

Отобрав у них винтовки, подсумки, башлыки, сорвав погоны и кокарды, переписав их фамилии в полевую книжку и собственноручно набив им морды, Перепелицкий велел им отправиться по домам и сидеть там под юб-

кой у мамы, предупредив, что если кого-нибудь из них поймает еще раз, то чтобы тогда не плакали и не пускали сопли, потому что все равно не поможет.

При этом Перепелицкий так свирепо, изобретательно и надрывно ругался, что Петя сказал, поморщившись:

— Ну, Аким, ей-богу, как тебе не совестно...

На что Перепелицкий гаркнул:

— А ты не встревай! Еще скажи спасибо, что я не поснимал с них сапоги и не отправил их всех к едреной бабушке в штаб господа бога, только неохота марать руки об этих байстрюков!

И тут только Петя понял впервые, какое бешенство кипит все время в Перепелицком и сколько нужно было ему иметь силы воли, чтобы сдержать в себе порыв ненависти, от которого у него мутилось в глазах и судорожно подергивалось красивое, побледневшее лицо.

Теперь, на исходе третьей ночи, на железнодорожном полотне вдруг мелькнула солдатская фигурка.

— Стой, кто идет? — крикнул часовой с контрольной площадки.

— Свои,— ответил нежный украинский тенорок.

— Каки-таки свои? А ну, стой где стоишь, не двигайся, вражий сын!

И часовой со звоном вогнал патрон в ствол винтовки.

— Та це же я! — проговорила солдатская фигурка, и Петя узнал голос Чабана, который несколько дней назад куда-то исчез, и Петя был уверен, что он наконец-таки подался до дому на станцию Бобринская, где у него были батька и матка, хата и дивчина Фрося, с которой он заручился незадолго до призыва в солдаты.

— Это ты, Чабан? — спросил Петя.

— Так точно, господин прапорщик! — радостно крикнул Чабан.— Я так и думал, что це наш бронепоезд. Разрешите доложить,— продолжал он, вскарабкавшись на паровоз.

— Постой, братец,— строго сказал Петя,— сначала доложи: где это ты пропадал?

— Так я ж вам про то и докладываю. Был я, значится, в казармах первого пластунского полка, там у меня найшовся, как бы сказать, один землячок с нашего села, только по другую сторону от церкви, чи седьмая, чи девятая хата с краю.

И Чабан стал с увлечением рассказывать, как он на днях заскочил в пластунские казармы сменять два куска стирочного мыла на подошвенную кожу и вдруг нашел там кашевара-землячка.

В этом не было ничего оригинального, так как у Чабана всюду были землячки-кашевары или каптенармусы.

— Постой,— сказал Петя, и лицо у него налилось кровью.— Ты ходил в пластунские казармы?

— Так точно, господин прапорщик! — ответил Чабан, с выражением сытой невинности глядя на Петю.

— Во-первых, я тебе не прапорщик, а подпоручик, если уж тебе так хочется, черт бы тебя подрал! — закричал Петя.— И уже, во всяком случае, не господин. Господа на «Алмазе» сидят. Не забывай, что ты обращаешься к командиру Красной гвардии, а не к какому-нибудь корниловцу. А во-вторых, как же ты посмел в военное время оставить свою часть и своего офицера и пойти в гости в казарму к врагам? Знаешь, как это называется?

— Никак нет.

— Измена!

— Виноват, ваше благородие.

— А вот я тебя сейчас, сукин сын, собственноручно перед всей командой бронепоезда отправлю в штаб Духонина,— сказал Петя, искоса глядя на Перепелицкого.

— Правильно,— одобрительно кивнул головой Перепелицкий.

Петя полез в карман за кольтом. Однако вопреки ожиданию Чабан не только не испугался и не стал молить о пощаде, а, напротив, вдруг страшно рассердился:

— Что вы на меня кричите, как при старом режиме? Сначала выслухайте, а потом хватайтесь за леворвер. Я привел до вас целую делегацию от гайдамаков.

— Это еще какую делегацию?

— От пластунских куреней. Да вы с неба упали, чи шо? Сидите здесь на своем поезде и не знаете, что вокруг робится!

Оказывается, в гайдамацких частях все время шло брожение, еще более усилившееся под влиянием агитации, которую вели среди гайдамаков захваченные ими в плен во время уличных боев красногвардейцы, матросы и солдаты. Так что когда оборотистый Чабан попал в ка-

зармы первого пластунского полка менять мыло на подметки, там уже второй день не прекращался митинг с участием представителей остальных трех полков, а также пленных красногвардейцев.

Чабана охватила митинговая лихорадка. Забыв и подметки, и мыло, заодно с ними и своего землячка-кашевара, Чабан более суток простоял в толпе солдат на казарменном дворе, волновался, кричал, несколько раз взбирался на походную кухню и держал речь, требуя от имени трудящегося крестьянства Бобринского уезда немедленно прекратить братоубийственную бойню, арестовать гайдамацких офицеров, контрреволюционные элементы, «цих старорежимных жупанников, чтоб им на том свете повылазило», признать Советскую власть и с божьей помощью отправляться по домам, где до весны уже недалеко и надо готовиться пахать, боронить и сеять, также, наконец, закончить раздел отобранной помещичьей земли.

Примерно в таком же духе выступали и все остальные, так что вечером была принята резолюция и выбрана делегация, которая должна была доставить ее в Военно-революционный комитет.

Но так как в городе еще шел бой и никто не знал, где находится красногвардейский штаб, то Чабан взялся провести делегацию к «своим», то есть на бронепоезд, к товарищам Бачею и Перепелицкому, откуда уже нетрудно будет связаться со штабом Военно-революционного комитета.

— Так что же ты нам начал морочить голову подметками и мылом? — сказал Перепелицкий.— Ну, где же они, твои делегаты?

— А туточки, под переездом, в холодочке,— с готовностью ответил Чабан.

— Так зови же их!

— Господин прапорщик, разрешите? — обратился Чабан к Пете, давая понять Перепелицкому, что хотя тот и комиссар и уполномоченный ревкома, но прапорщик Бачей для него все еще остается единственным признанным начальством.

— Разрешаю,— сказал Петя.

Чабан свистнул, и тотчас из-под переезда на железнодорожное полотно вылезло пять или шесть пластунов-

гайдамаков, неся над папахами лист бумаги, сложенный вдвое.

Перепелицкий посветил им электрическим фонариком, они вскарабкались на паровоз, и при свете того же фонарика была прочитана бумага, где стояло следующее:

«Мы, рабочие и крестьяне первого пластунского, второго, третьего и четвертого полков и пленные рабочие, солдаты и матросы, посылаем нашу делегацию в Военно-революционный комитет с братским предложением прекратить кровопролитную братскую бойню. Мы все — украинцы — простираем к нашим братьям руку и заявляем, что все контрреволюционные элементы, находящиеся в нашей среде, будут арестованы. Да здравствует рабоче-крестьянская революция! Да здравствуют Советы рабочих и крестьянских депутатов! Да здравствует социалистическая революция!»

Команде бронепоезда стало ясно, что Советы победили всюду.

Посовещавшись с Перепелицким и Колесничуком, Петя постучал в будку машиниста и приказал потихоньку двигаться к вокзалу «Одесса-пассажирская», который, по общему мнению, уже должен был быть занят частями Красной гвардии. И действительно, едва бронепоезд очень медленно и почти бесшумно подошел к дебаркадеру и остановился против входа в зал первого класса, как его окружили красногвардейцы и матросы, только что штурмом взявшие вокзал.

Как это ни странно, но железнодорожная электрическая станция работала, и на вокзале кое-где горели уцелевшие электрические фонари, и при их предутреннем, утомленном свете как-то особенно внушительно и грозно маслянисто чернели поцарапанные пулями и осколками башни бронепоезда и небольшой красный флажок с белой самодельной надписью «Бронепоезд «Ленин», по-видимому задетый пулей и покосившийся на своем сломанном древке.

Как Перепелицкий и предполагал, весь штаб Военно-революционного комитета уже прибыл на вокзал, и пластунских делегатов без промедления отвели в бывшую комнату военного коменданта, где временно обосновался Чижиков, который и принял капитуляцию гайдамацких куреней.

35

У ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ

Обросший, с небритыми щеками и подбородком, с воспаленными глазами, сидел Гаврик на полу в зале первого класса и, положив рядом с собой винтовку, торопливо переобувался.

Еще вчера он почувствовал, что у него натерта нога, но не было времени расшнуровать грубый башмак и перемотать портянку.

Иногда начиналась такая адская боль, что казалось, будто нога возле щиколотки протерта до кости. Но шел бой, надо было целиться, стрелять, перебегать от подворотни к подворотне, бросаться с разбегу на мостовую, швырять ручные гранаты, выламывать запертые ворота и бежать через проходные дворы с тем, чтобы внезапно появиться в тылу противника,— и тогда жгучая, непереносимая боль на короткое время забывалась.

Кроме того, Гаврик простудился, у него началась ангина, его терзал сухой, рвущий кашель, выворачивающий душу.

У него был сильный жар. Все его вспотевшее тело чесалось.

Ему трудно было командовать, и он кричал из последних сил осипшим, еле слышным голосом.

Но мучительнее всего была та ни с чем не сравнимая душевная боль, та незаживающая рана, которая ни на миг не давала ему покоя. Это была мысль о смерти Марины, которая терзала его своим неустранимым, устойчивым постоянством.

К этому душевному мучению присоединилось другое мучение: мучение чувства своей вины в ее гибели. Постоянно мысль о том, что не отпусти он под расписку Заря-Заряницкого, то, быть может, не было бы предательского восстания гайдамаков, и Марина была бы теперь жива, доводила Гаврика до исступления.

Временами он терял всякую власть над собой и, как бы ища немедленной смерти, бросался во весь рост на гайдамацкие пулеметные гнезда.

Как он мог поверить Заря-Заряницкому, царскому генералу, матерому контрреволюционеру, вешателю и подлецу?!

Он его должен поймать и уничтожить собственными руками, иначе жить немыслимо!

Постепенно эта мысль стала главной. Она руководила всеми действиями Черноиваненко-младшего.

Теперь он стал крайне осторожен, почти труслив. Он боялся, чтобы его не скосила пуля, прежде чем он не рассчитается с Заря-Заряницким. А он с ним непременно рассчитается, он покарает его своею собственной рукой от имени революции.

Руководя боевыми действиями своей колонны, Гаврик преследовал одну цель: как можно скорее, первым ворваться в здание штаба, где должен был находиться Заря-Заряницкий. Поэтому, дойдя с боем до самого привокзального сквера, Гаврик совершенно неожиданно повернул отряд налево, на Новорыбную, в обход Куликова поля, где стояла батарея юнкеров, предоставив брать вокзал Терентию и Чижикову, наступавшим по Ришельевской и Екатерининской.

Никто, кроме Синичкина, не догадывался, для чего Черноиваненко-младший это делает. Но Синичкин понял сразу: Гаврик хочет выйти на Пироговскую улицу через дачу «Отрада» и Юнкерский переулок, задами и частью берегом моря, с тем чтобы внезапно, с незащищенного тыла, атаковать штаб и взять живьем Заря-Заряницкого.

Теперь, когда все это уже совершилось, Гаврик не испытывал облегчения. Он машинально переобувался, а перед его глазами все время стояла одна и та же картина, вызывавшая мучительную душевную тошноту.

Хотя ему первый раз в жизни пришлось застрелить человека в упор из револьвера и это не могло его не потрясти до глубины души невероятной, сводящей с ума простотой, все же он не испытывал ничего даже отдаленно похожего на угрызения совести.

Напротив, он сознавал свою полную правоту и высшую справедливость того, что он сделал с генералом Заря-Заряницким, и душа его, хотя и дрожала от боли, но в то же время оставалась ясной. Но он был поражен мгновенным превращением на его глазах и по его воле живого человека в мертвеца, что уже находилось как бы по ту сторону человеческого сознания.

Вот как все это произошло.

Едва Гаврик подбежал по Пироговской улице со сто-

роны госпиталя к подъезду штаба, уже со всех сторон окруженного его отрядом, как увидел, что опоздал.

Внутри здания штаба раздавались глухие выстрелы, и сверху полетело битое стекло из окна, вырванного взрывом ручной гранаты.

Вдруг распахнулась входная дверь, и два матроса, обмотанные пулеметными лентами, вытолкали прикладами на улицу генерала Заря-Заряницкого. Он был без шапки, в шинели, с одним оторванным, а другим полуоторванным погоном, который висел на плече, с разбитым пенсне, болтающимся на ухе на золотой цепочке, в хорошо начищенных хромовых сапогах с маленькими шпорами, царапающими каменные ступени крыльца.

— А...— сказал Гаврик.

Матросы толкнули генерала к стене здания возле водосточной трубы с одним вырванным, запачканным известью костылем.

Все это происходило с чудовищной быстротой и неотвратимостью.

Гаврик поднял наган.

— Погоди, еще не стреляй,— сказал Синичкин, легким повелительным движением остановил Гаврика.

Матросы отошли в сторону.

— Генерал За́ря-Заряницкий,— сказал Синичкин сурово и поправил на носу свои маленькие железные очки.— Вы контрреволюционер и предатель! Мы таких людей караем! Не взыщите. Именем революции!

Заря-Заряницкий, по-видимому, хотел что-то сказать, но Гаврик выстрелил, и он, раскинув шинель на красной генеральской подкладке, упал затылком на цинковую водосточную трубу, и его грубое, злое, испуганное лицо с серебряным ежиком волос над низким лбом тотчас стало равнодушно-отчужденным.

Теперь это мертвое, нечеловечески-неподвижное белое лицо все время стояло перед глазами Гаврика, и он ненавидел Заря-Заряницкого вдвойне, как врага-контрреволюционера и как человека-предателя, заставившего его, Гаврика, запачкать свои руки кровью и взять на душу убийство.

— Ты уже здесь, вояка! — сказал Петя, входя в зал первого класса.— Ну, поздравляю с победой. А где же Марина?

Он привык, что Гаврик и Марина всегда были вместе.

— Разве ты ничего не знаешь? — спросил Гаврик со странной, остановившейся улыбкой.

— Нет. А что?

Гаврик продолжал смотреть на Петю воспаленными глазами с золотистыми ресницами.

Петя почувствовал, что холодеет.

— Нету больше Марины,— сказал наконец Гаврик с усилием и жалко улыбнулся.

Он механически быстро замотал и заправил обмотку, встал на ноги и положил Пете на плечо обмороженную руку.

— Ты шутишь,— прошептал Петя. Это было выше его понимания.— Когда? — спросил он.

— Позавчера, на углу Пушкинской и Троицкой,— ответил Гаврик, продолжая все так же грустно, просительно улыбаться.

— Нет! — воскликнул Петя, отступая на шаг.

— Да, брат,— сказал Гаврик, глядя в глаза Пете слезящимися, красными глазами.

Они сели рядом на прилавок газетного киоска.

Трое суток назад, ночью, в день победы, на этом самом месте сидел Терентий и грозил Марине пальцем: «Гляди! Ты бы лучше дома сидела. В твоем положении бегать по городу не слишком полезно».

С того времени мало что изменилось в зале первого класса. Те же искусственные пальмы с пыльными войлочными стволами, буфет, похожий на орган, громадный самовар с медалями, дубовая мебель. Лишь в одном месте отвалился кусок лепного потолка, и паркетный пол был по всем направлениям испятнан известковыми следами солдатских ног, да кое-где были выбиты стекла, так что по всему залу летели сквозняки.

— Ты знаешь,— сказал Гаврик,— у нас с Мариной готовился хлопчик, Марат.

Петя снял фуражку с пятном от кокарды и вертел ее в руках, не зная, что сказать.

Слова были бессильны. Он боялся раскрыть рот, чтобы не зарыдать.

— Ты ее когда-то любил, верно? — спросил Гаврик, пристально рассматривая белые следы на полу.

— Любил,— ответил Петя.

Теперь ему казалось, что он любил всю жизнь только ее одну.

Он сказал о ней, как о мертвой, но все же никак не мог поверить, что ее уже действительно больше не существует на свете. К этой мысли еще надо было привыкнуть.

Петя ничего не чувствовал, кроме странной душевной опустошенности. Он не знал, что сказать еще Гаврику и следует ли вообще что-нибудь говорить.

Они долго молчали.

Вдруг Гаврик очнулся, заторопился, соскочил на пол и своим обычным, решительиым, коротким движением подтянул пояс.

— Я пошел,— резко сказал он.

— Куда?

— В Валиховский переулок.

— А там... что?

Гаврик с удивлением посмотрел на Петю.

— Там она.

— Где?

— В университетской клинике. В морге,— сказал он отчетливо и отвернулся.

— Я с тобой.

— Нет!

Он закинул за спину винтовку и, не оборачиваясь, пошел к выходу.

Петя смотрел ему вслед, на его подпрыгивающую винтовку и никак не мог до конца понять всего, что случилось. Это была первая смерть близкого человека, друга, сверстника. Петя попытался представить себе Марину такой, какой он видел ее в последний раз, но никак не мог. Она все время ускользала. И еще должен был быть Марат. Этого Петя совсем никак не мог вообразить. Она все время представлялась девочкой, подростком, с черным шелковым бантом в каштановых волосах, в коротком летнем пальтишке, с репейником в чулках. Он вспомнил, как она спала в катакомбах на ящике от «американки», положив голову на колени матери и поджав ноги в маленьких пыльных башмачках на пуговицах, из которых один просил каши.

И вот теперь она лежит где-то в Валиховском переулке, окоченевшая, с пробитой головой, неузнаваемая, несуществующая, мертвая...

Нет, это было так страшно, чудовищно, что никак не укладывалось в сознании Пети.

Но недаром говорится: пришла беда, отворяй ворота. Едва скрылся Гаврик, как на Петю свалилась еще одна ужасная новость.

К Пете, стуча сапогами, подбежал Чабан и встал смирно, глядя широко открытыми глазами. Петя сразу понял: случилось что-то страшное.

— Товарищ командир,— проговорил Чабан с усилием.— Разрешите доложить... Только не знаю, как вам сказать...

— Что? — спросил Петя.

— Только что воротились хлопцы, которые брали пятую гимназию...

— Ну?

— Так там во дворе под стеной нашли троих наших расстрелянных...

— Ну? — повторил Петя, чувствуя, как у него гнутся и холодеют ноги.

Страшная догадка мелькнула у него в голове.

— Кто же такие?

— Якись наши хлопчики. Одного уже опознали — це Женька Черноиваненко, другой, неопознанный, в рыжих штанцах, а за третьего хлопчика гадают: чи это ваш Павел, чи ктось другий — невозможно разобрать, бо у него вся голова скрозь пробита пулями.

Петя молчал.

— А, мабуть, це и не Павел,— тихо сказал Чабан, как бы желая смягчить удар, который наносил своему офицеру.— Люди кажут, что на том хлопчике гимназическая шинелька и старые юфтовые сапоги.

Петя продолжал молчать, чувствуя в душе странную, холодную пустоту, почти равнодушие.

Последнее время он совсем не думал о Павлике, не имел понятия, где он живет и что делает. Слышал, что вместе с Женькой Черноиваненко они организовали какую-то молодежную боевую дружину, воюют с бойскаутами и помещаются где-то в своем штабе на казарменном положении.

Но Петя не относился к этому серьезно.

Казалось невероятным, что это он, Павлик, тот самый маленький мальчик с челкой и невинными зеркально-шо-

холадными глазками, который некогда пошел по городу за «Ванькой рутютю» и потерялся, тот самый Павлик, который на хуторе поигрывал за сараем в картишки, который с Женькой Черноиваненко изображал марсиан и кричал: «Улы-улы-улы!» — теперь лежит под забором во дворе пятой гимназии с неузнаваемо изуродованной головой.

— Товарищ командир,— жалобно сказал Чабан,— вы сходите туда. Мабуть, и не опознаете. Може, це и не вин.

— Да-да.

36

ХЛОПЧИКИ

Уже рассвело.

Утро было будничное, серое, морозно-сырое. С моря продолжал дуть темный, неприятный ветер. Улицы были покрыты какими-то тряпками, обрывками солдатской амуниции, обломками домашней мебели, сбитыми сучьями акации, стреляными гильзами, цинковыми ящиками из-под патронов, битым стеклом, штукатуркой, кусками расплющенных водосточных труб. Казалось, по городу пронесся ураган или наводнение.

На чугунной ограде привокзального сквера висел труп гайдамака в синем жупане, и его красноверхая папаха лежала рядом на газоне, примерзшая к луже. Наверное, он хотел перелезть через ограду, уже занес ногу — и тут его срезала красногвардейская пуля.

Рядом, поперек мостовой, припав на побитое колесо, стоял пустой, остывший броневик с пулеметом, повернутым в небо.

Бои кончились. Но жители города еще не решались выходить из домов, и на улнцах было пустынно.

На Ришельевской догорал иллюзион «Двадцатый век», и тротуар возле него был весь усеян осколками разноцветных крашеных лампочек, как скорлупой пасхальных яиц.

В Афонском подворье звонили к заутрене.

Трупы расстрелянных хлопчиков были уже перенесены со двора в гимнастический зал.

По-видимому, здесь шел сильный бой, потому что многие окна гимназии были выбиты, вырваны вместе с ра-

мами, и двор, покрытый отборным морским гравием, был усеян битой лабораторной посудой и разными приборами из физического кабинета, выброшенными во двор взрывной волной, в том числе хорошо знакомая Пете электрическая машина с уцелевшим стеклянным диском, радиально оклеенным полосками серебряной бумаги, похожими на восклицательные знаки.

Трупы лежали рядом на черном асфальтовом полу между параллельными брусьями и длинной кожаной гимнастической кобылой, и Петя, едва лишь вошел в знакомый с детства гимнастический зал с желтой, ясеневой шведской стенкой, стопкой пыльных стеганых матов и деревянным трамплином для прыганья, сразу увидел свою старую гимназическую шинель со светлыми пуговицами, докрасна протертыми посередине, которую донашивал Павлик.

Петя увидел торчавшие из-под шинели худые, почти детские ноги в солдатских сапогах и руку, откинутую в сторону, с небольшой, неестественно повернутой кистью, совсем белую, окоченевшую, с голубыми ногтями, запачканную засохшей кровью.

Лицо Павлика было прикрыто положенной сверху папахой.

Но если бы Петя ничего не увидел, кроме этой руки — их фамильной, бачеевской, маленькой руки с короткими пальцами, точно такой, как у самого Пети и покойной мамы,— то и тогда не могло быть сомнения, что это тело Павлика.

Петя не мог оторвать взгляда от этой руки, как бы искусно выточенной из кусочка совершенно белого мрамора. Он подошел, но у него не хватило мужества открыть лицо брата.

Вокруг были какие-то люди, которых он сначала не заметил. Вдруг среди них Петя увидел Мотю и Терентия Черноиваненко, а потом своего отца.

Василий Петрович стоял в изголовье младшего сына без шапки и медленно крестился, с силой прижимая пальцы ко лбу, к груди, к плечам, а потом низко кланялся, роняя полуседые волосы, и кроткие глаза его с беспомощным изумлением смотрели на Павлика.

Мотя сидела на полу рядом с Женькой, гладила его по голове и рыдала, мелко трясясь всем своим телом.

— Папа,— шепотом, как в церкви, сказал Петя и тронул отца за плечо.

Василий Петрович увидел старшего сына, и лицо его совсем по-стариковски сморщилось.

— Вот, Петруша... Нет больше на свете нашего мальчика...

Он обнял Петю за шею и стал перебирать его волосы, совсем как в детстве, а сам все время продолжал, не отрываясь, смотреть на Павлика и бормотал со вздохом:

— Какое счастье, что господь еще раньше взял к себе нашу мамочку! Как бы она это могла пережить! Теперь ты, один ты остался у меня, Петруша. Умоляю тебя — береги себя.

И Василий Петрович заплакал.

А через несколько дней в городе состоялись похороны жертв революции.

Хоронили всех вместе — в одной общей могиле посредине Куликова поля.

Наступила оттепель.

День был мокрый, гнилой, как поздней осенью, а не в конце января.

Низко над городом шли темные тучи. Иногда начинался мелкий дождик. Похоронная процессия, растянувшаяся на несколько кварталов, двигалась через весь город, поворачивая с Херсонской на Преображенскую, с Преображенской на Дерибасовскую, оттуда на Пушкинскую и дальше по прямой, как стрела, Пушкинской, по ее мокрой синей гранитной мостовой, к вокзалу, на белом фасаде которого на месте знакомых часов зияла черная круглая дыра от артиллерийского снаряда, попавшего прямо в циферблат.

Около сотни обернутых кумачом гробов, как вереница красных лодок, медленно покачиваясь, плыли один за другим над толпой, длинной и молчаливой, как тяжелая, черная туча.

Рабочие окраин, воинские части, остатки гайдамацких куреней, судовые команды, рыбаки, ремесленники, крестьяне из пригородных сел, хуторов и слободок, студенты несли на плечах или на вытянутых руках над головой своих покойников.

Почти за каждым гробом шли родственники, а на тро-

туарах стояла неподвижная стена горожан, мимо которых двигалась процессия, неся красные знамена и полотнища с белыми и желтыми самодельными надписями: «Вся власть Советам!», «Да здравствует мировая революция!», «Вечная память борцам за коммунизм!»

Иногда в толпе раздавался женский плач, истерические выкрикивания, рыдания. Кое-где провожающие начинали петь хором «Со святыми упокой» или «Вы жертвою пали». Издалека слышались звуки военного оркестра, с торжественной медлительностью, такт за тактом, отбивавшего своими тарелками и литаврами траурный марш.

Но все эти звуки не могли нарушить громадной, подавляющей тишины, повисшей над городом.

А сам город, без вывесок, сорванных с его домов, казался незнакомым, как будто в него вселилась какая-то новая душа — строгая, суровая, простая.

Это была уже не прежняя Одесса Ришелье и Дерибаса, а новая, только что в муках рожденная, пролетарская, советская.

Часть убитых несли в открытых гробах, часть — в закрытых. Открытых гробов было больше, и перед ними несли красные крышки, которые как бы удваивали число покойников.

Марину несли на полотенцах, в открытом гробу, Гаврик, Родион Жуков, Рузер, Ачканов и несколько матросов и красногвардейцев из отряда Черноиваненко-младшего.

Тут же виднелись фигуры Старостина, Мизикевича, Хмельницкого.

Она лежала глубоко, так что над краем гроба виднелся лишь ее бесцветный лоб и прядь каштановых волос. Все остальное было покрыто ветками туй и мирт, наломанных Гавриком в Александровском парке.

Гаврик шел в ногах покойницы, а так как он был ростом ниже остальных, то гроб покосился и все время как бы слегка нырял.

Дождевые капли текли по лицу Гаврика и серебрились на непокрытой голове Родиона Жукова с заметной сединой на подбритых висках.

За ними, также в открытом гробу, несли Павлика с белой, сплошь забинтованной головой и тонкой, юноше-

ской шеей, белевшей над воротником суконной солдатской гимнастерки, застегнутым на две зеленые пуговицы.

Павлика несли Василий Петрович, Петя, Татьяна Ивановна, ее муж-поляк, Чабан и несколько подростков из молодежного красногвардейского отряда.

В наспех сшитой траурной шляпке, размокшей под дождем, на каждом шагу спотыкаясь, роняя зонтик и неловко держа свободной рукой подол юбки, забрызганный грязью, шла, почти бежала своими мелкими шажками, хватаясь за край гроба, Татьяна Ивановна, а по другую сторону шел Василий Петрович, и Петя с изумлением смотрел на отца, который за последние дни как-то неожиданно изменился: исчезла его дряхлость, он ступал твердо, голову держал высоко поднятой, и на его лице была написана гордость, решимость, странное упрямство, даже вызов.

И только по дрожанию его пепельных губ Петя понимал, как мучительно он страдает.

На груди у Василия Петровича был пришпилен революционно-траурный черно-красный бант, и, когда вокруг него запели «Вы жертвою пали», он решительным тенором стал подтягивать, то и дело подергивая головой, как бы желая избавиться от какого-то хомута, натершего ему шею.

Дальше следовал гроб с телом Жени Черноиваненко. Красивая, гладко причесанная головка мальчика плавно покачивалась на пухлой домашней подушке с красной меткой, и Мотя не могла оторвать глаз от лица брата. А с другой стороны гроба неотрывно смотрела на сына Матрена Федоровна, до глаз, совсем по-старушечьи, повязанная темным платком, и по ее худым, запавшим щекам, не переставая, точились слезы, собираясь вокруг посиневшего, морщинистого рта.

Терентий одной рукой мощно поддерживал гроб, а другой вел под руку Матрену Федоровну, как бы желая ее провести как можно осторожнее, а сам, не таясь, тоже плакал, и слезы блестели, как соль, на его обкусанных усах.

На Куликовом поле была уже вырыта громадная четырехугольная могила, куда стали опускать на канатах и полотенцах гробы, устанавливая их один поверх другого в два ряда, штабелями.

Слышался стук молотков. Это забивали гвоздями крышки.

Какая-то обезумевшая женщина в мокрой котиковой шапочке рванулась вперед и хотела броситься в могилу, но поскользнулась на мокрой глине, упала, и ее оттащили под руки назад, но она снова вырвалась, подбежала к яме и швырнула туда обручальное кольцо, тускло блеснувшее в синеватом дождливом воздухе.

Матрена Федоровна все время хваталась за угол гроба, и ее тоже отвели под руки в сторону.

Татьяна Ивановна стояла на коленях в грязи, перемешанной сотнями ног, ломала руки, и ее с двух сторон пытались поднять Сигизмунд Цезаревич и Василий Петрович, который все время сердито, раздраженно повторял:

— Я прошу вас... Я прошу вас...

И Пете казалось, что он сейчас скажет: «Вы не умеете себя держать».

На лице Василия Петровича продолжало держаться выражение гордости. Он гордился своим мальчиком, погибшим, как герой, во имя счастья народа. Но, когда гроб заколотили и красная крышка медленно скрылась в яме, Василий Петрович опустил голову, сказал:

— Ну вот и все,— и приложил к глазам большой белый свежевыглаженный платок.

Но вот замелькали вымазанные мокрой землей и глиной лопаты, затрещал ружейный салют, потом из-за вокзала ударило несколько холостых пушечных выстрелов — это палил бронепоезд «Ленин», где за командира оставался Колесничук,— тучи галок и голубей взлетели над колокольнями и куполами Афонского и Андреевского подворья, над обгорелой крышей пятой гимназии, над вокзалом с выбитыми часами, потом все смолкло, и в наступившей тишине явственно послышался ужасающе редкий, дисгармоничный похоронный звон. Это из Ботанической церкви начался вынос тела генерала Заря-Заряницкого.

Оттуда ветер принес ангельски-высокие, воющие звуки хора архиерейских певчих; издали мелькнули синие кафтаны с кистями этих певчих.

В переулке стали двигаться зажженные хрустальные фонари и слабо пылающие при дневном свете смоляные факелы, потянуло ладаном, блеснули как бы осыпанные

слюдой ризы духовенства, митра архиерея, черные клобуки монахов, и медленно выступили вороные лошади погребальной упряжки, в белых сетках и с черными страусовыми перьями над головой, а за ними показался весь разубранный перьями и зажженными фонарями, заваленный фарфоровыми венками с георгиевскими лентами, белый, покачивающийся на рессорах катафалк с высоким серебряным гробом генерала Заря-Заряницкого, а за ним — траурные вуали и нарукавные повязки родных и знакомых.

В то же самое время на земляном холме над братской могилой, выросшей посреди Куликова поля, каменщики в белых фартуках поверх пальто и шинелей уже успели сложить большой цоколь из брусков светло-желтого одесского ракушника, приготовленных заранее.

Потом подъехал грузовик. На нем стояли несколько рабочих завода Гена, и среди них Петя узнал высокую, костлявую фигуру товарища Синичкина в маленьких железных очках, с впалой грудью.

Они привезли большой двухлемешный плуг с коваными ручками, крюками и кольцами, выкрашенными ярким суриком.

Они подняли этот красный плуг, сняли с грузовика, перенесли на плечах к братской могиле и установили на каменном цоколе — первый революционный памятник, открытый Советской властью в городе Одессе.

Может быть, это был первый советский памятник во всем мире.

Потом начался митинг.

Ночью, разливая вокруг розовое зарево, горел хуторок мадам Стороженко.

37

СВИДАНИЕ

Однажды, придя домой (теперь они вместе с отцом занимали две комнаты в бывшей так называемой барской квартире, брошенной хозяевами на Маразлиевской в доме Аудерского, куда их вселил по ордеру новый городской Совет), Петя нашел под дверью узкий конверт с черной траурной рамкой, надписанный знакомым по-

черком и надушенный французскими духами «Лориган» Коти.

Отца не было дома, он еще не возвратился с заседания комитета преподавателей и учащихся бывшей одесской пятой гимназии, теперь превращенной в железнодорожный техникум, где Василий Петрович исполнял обязанности заведующего учебной частью. Соседка по квартире, жена слесаря Толубьева, тощая, чахоточная женщина, не привыкшая еще после ужасающего подвала на Молдаванке к такой громадной, роскошной квартире, деликатным шепотом сказала Пете, что письмо принесла какая-то девушка в платочке, видать, горничная.

На листке полотняной бумаги с такой же траурной каймой было написано:

«Нам необходимо увидеться. Завтра возле Александровской колонны ровно в пять. Ир.».

И все то, что казалось погребенным навсегда и забытым, вдруг воскресло в душе Пети.

Александровская колонна, памятник «царю-освободителю», стояла в Александровском парке на вершине искусственной горки, куда вела дорожка, обсаженная низким парапетом из стриженых мирт и туй.

Цоколь и ступеньки памятника были сделаны из красного полированного гранита с черной капителью, а самая колонна из черного полированного лабрадора, блестящего, как зеркало, с чугунной шапкой Мономаха на ней.

Шапка Мономаха с крестиком наверху обозначала тяжкий жребий «царя-освободителя», убитого революционерами.

С высокой площадки вокруг колонны открывался широкий вид на море, и на порт, и на стену со сквозными арками — остатками турецкой крепости Хаджибей,— и это уединенное возвышенное место было одним из тех, где обычно назначались наиболее значительные любовные свидания.

После январских оттепелей внезапно ударили настолько сильные морозы, что море замерзло до самого горизонта, что случалось обычно один раз в четыре года, не чаще.

Птицы падали на землю, убитые на лету морозом.

Хорошо еще, что не было ветра, иначе невозможно было бы дышать. Чистое небо было того нежного, телес-

ного цвета с еле заметной лиловатостью на горизонте, один вид которого как бы перехватывал дыхание и заставлял леденеть ресницы.

Разнообразные деревья парка, обросшие инеем, были похожи на белые облака, севшие на землю, над которыми легко рисовалась верхушка Александровской колонны с шапкой Мономаха и купол обсерватории.

Ледяное красное солнце садилось где-то в снежной степи, далеко за городом, за обгорелыми постройками хутора мадам Стороженко, а высоко над головой белел детский ноготок новорожденного месяца.

Петя шел по аллеям парка, по их белым глухим коридорам, и слышал, как у него бьется сердце — так тихо было вокруг.

Это было не обычное молчание безветренного морозного вечера, а тишина, удвоенная неестественным, мертвым безмолвием замерзшего моря.

Петя шел затаив дыхание и прислушивался, не послышатся ли под заиндевевшими сводами деревьев знакомые шаги.

Но вокруг все было безмолвно.

Он был единственным живым существом в этом огромном, белом, оцепеневшем мире Александровского парка. Но едва он поднялся на вершину горки, как тотчас увидел Ирину.

Она стояла, отражаясь в зеркально-черных лабрадоровых плитах громадного цоколя, маленькая, как девочка, но по-женски стройная, в котиковом коротком жакете, в узкой английской юбке, серых фетровых ботиках с мехом, и, откинув с лица траурный креп, неподвижно смотрела в замерзшее море, прижимая к груди руки, спрятанные в муфту.

Петя остановился, чтобы перевести дух.

Она с живостью обернулась на скрип гравия и быстро пошла к Пете, протягивая к нему маленькие руки в черных лайковых перчатках и отбрасывая коленом муфту, болтающуюся на шелковом шнурке.

Петя увидел ее бледное, освещенное инеем деревьев, осунувшееся, как бы вымытое ледяной водой лицо, такое простое, будничное, с небольшими веснушечками, которых он никогда раньше не замечал, с глазами по-прежнему прелестными, но не такими фиолетовыми, какими он

привык их всегда представлять, с горестно сложенными губами и маленькими морщинками в углах этих бледных, почти бесцветных губ,— и душа его задрожала от жалости и любви.

Прежде чем она успела, мелко перебирая ногами, связанными узкой английской юбкой, добежать до него и положить руки ему на грудь, Петя оказался весь во власти ее очарования.

— Друг мой,— сказала она,— вот видишь...

Ее лицо сморщилось, она сняла одну руку с Петиной груди, полезла в муфту и стала вытирать платочком уголки глаз, где слиплись обледеневшие ресницы.

— Бедный мой папа. Бедный твой брат. Сколько за это время случилось горя!

Она перекрестилась и заплакала, продолжая сквозь слезы грустно и нежно смотреть на Петю, на его фуражку без кокарды, на его черные бархатные наушники.

Он крепко сжал ее руки и стал целовать лайковые перчатки.

— Я так боялась!

— Чего?

— Что ты меня забыл.

— Как ты могла... О, как ты могла!

Теперь ему казалось невероятным, чтобы он мог ее когда-нибудь забыть.

Он взял ее за мягкие плечи. Она отцепила длинную черную вуаль, зацепившуюся за крючок его шинели, закинула голову и жадно поцеловала его снизу озябшими влажными губами открытого рта.

— И ты на меня не сердишься, дорогой?

— За что же?

— За то, что я тебя ненавидела. Нет, я говорю правду. Святую правду. Ты знаешь, одно время, совсем недавно, я тебя ненавидела. Не переставала любить и ненавидела. Я ведь про тебя все узнала.

— Но что же ты узнала? — нахмурился Петя.

— Ах, боже мой, все.

— Именно?

— Что ты служишь в Красной гвардии, что ты командовал их бронепоездом.

— Я этого не скрывал.

— Да, ты не скрывал. Но ты и не говорил. И я, твой

самый близкий человек, должна была узнать об этом от других. Но не будем больше об этом говорить,— быстро сказала она.— Все забыто.

Она взяла его под руку и с грустной улыбкой сказала:

— Я ведь тебя, оказывается, не на шутку люблю. Ты для меня все... А ты? Надеюсь, ты меня не разлюбил? Нет, нет. Молчи. Не отвечай. Я знаю, что ты меня любишь по-прежнему. Иначе бы не пришел. Пойдем походим, а то у меня замерзли ноги.

Она потопала о землю своими ботами, серыми, как зайчики, а он постучал своими тонкими хромовыми сапогами, начищенными до блеска ради этого свидания.

Ноги его одеревенели, и он с радостью пошел рядом с Ириной по аллеям, в последний раз взглянув на мраморно-белое море, где на горизонте виднелся вмерзший в лед транспорт с розоватым дымком над трубой.

На дорожке лежала замерзшая птичка. Ирина поддела ее ногой, и она покатилась, подпрыгивая, словно камешек.

— Жуткий мороз,— сказала она.

— Как на полюсе,— ответил он.

— Я только что об этом подумала. Как звали этого сумасшедшего...

— Капитан Гаттерас.

— Ты читаешь мои мысли. А помнишь, когда нужно было выстрелить из ружья и больше не было пуль?

— Да, да. Тогда они разбили термометр и вынули замерзший ртутный шарик.

— Вот это был холод!

Они гуляли под руку по непроницаемым аллеям, среди обросших инеем деревьев, иногда напоминавших белые страусовые перья.

Вечерело.

— Знаешь,— сказала она,— еще совсем недавно мне казалось, что я тебя никогда не прощу. Но теперь я понимаю, что ты был прав. Ты поступил совсем не глупо. При твоем простодушии это даже удивительно.

Он с недоумением посмотрел на нее.

— Было бы неразумно идти против стихии,— продолжала она.— К чему это могло привести? Бедный папочка погиб именно потому, что пошел против стихии.— Она снова при упоминании перекрестилась и вытерла

слезу.— Теперь же, когда все успокоилось, можно рассуждать хладнокровно и принять умное решение. Нет, ты даже не представляешь, как я тебя люблю, как ты мне бесконечно дорог. Чистый, нежный, простой. Я вся, вся твоя. На всю жизнь...

Петя плохо вникал в смысл ее слов. Он только понимал, что она признает его правоту, любит его по-прежнему и отдается ему на всю жизнь.

— Дорогая,— бормотал он, изо всех сил прижимая к себе ее локоть.— Любимая, единственная... Как мне было без тебя тоскливо, одиноко...

— Правда?

— Клянусь тебе.

— Теперь все пойдет по-другому.

— Я так счастлив, что ты поняла, что я прав, и согласна идти со мной...

— Хоть на край света! — горячо и поспешно сказала она.

— Родная моя. Пойми, пойми...

Он хотел передать ей все свои чувства и мысли, но не находил слов. Все это было так сложно и так великолепно!

— Какой ужасной жизнью мы жили до сих пор! То есть не мы лично... Но народ, Россия... Мне трудно тебе объяснить. Нищая, несчастная, голодная, полуколониальная Россия... Бездарный царь! Мрак, азиатчина, холера, тиф... «Страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ». А потом этот Керенский. Нет! Только сейчас начинается настоящая история России. И, знаешь, мой папа трижды прав, когда утверждает, что Ленин — величайший преобразователь и что он даже выше Петра. Ты согласна?

— Однако ты большой выдумщик,— сказала Ирина, и в ее все еще нежном, ласковом голосе Пете послышались какие-то странные нотки раздражения.

— Разве я не прав? — спросил он, стараясь заглянуть ей в глаза, но она отвернулась и опустила на лицо черную вуаль.

Петя тотчас отвел эту вуаль в сторону.

— Послушай, друг мой,— сказала она.— Мы не дети. И я пришла сюда вовсе не затем, чтобы выслушивать от тебя всякие глупости. Я понимаю: «Боги жаждут», Ро-

беспьер, Эварист Гамлен, Элоди... Толпы на площадях... Может быть, это и очень романтично, но нам в России не ко двору. Поиграл в революцию — и будет. Хорошенького понемножку. Не забывай, что ты все же офицер русской армии.

Она строго и прямо взглянула на него.

Они шли по дорожке вокруг розария, обсаженного коротко остриженным кустарником, черно-проволочным на фоне чистого вечернего снега.

— Или, может быть, это не так?

Она продолжала смотреть на него в упор потемневшими глазами, и Петя видел, как она разительно похожа на своего покойного отца.

— Чего ты от меня хочешь?

— Ты не понимаешь?

— Нет.

— Очень жаль. Тогда я буду говорить прямо. Во-первых, ты обязан порвать все связи с этой — как она у вас называется? — Красной гвардией. Русский офицер, поступивший на службу к большевикам,— больше не офицер, а изменник. А я слишком... А ты мне слишком дорог, чтобы я могла пережить одиу лишь мысль, что ты изменник. Ты меня понимаешь?

Она подошла и припала к его плечу.

— Я лучше застрелюсь,— прошептала она, с силой прижимая муфту к груди.

Он нерешительно обнял ее, но она отстранилась.

— Подожди. Все же ты меня, наверное, не совсем понял. Ты запятнал свой офицерский мундир. И есть лишь один способ очиститься. Если ты порядочный человек и честный русский патриот, ты должен ехать с нами на Дон к генералу Каледину.

— С кем — с нами?

— Со мной и со всеми нашими друзьями. Теперь мы уже больше не будем дураками. Мы слишком дорого заплатили за свою глупость. Никаких Керенских, никаких центральных рад, никаких республик — демократических или социалистических — безразлично. Бедный папа, какую непоправимую, трагическую ошибку он совершил, примкнув к Центральной Раде, и как жестоко поплатился...

Ее голос задрожал, но она взяла себя в руки.

— Теперь кончено. Россия должна быть только монархией и ничем другим. А всех большевиков во главе с Лениным надо вздернуть на первой осине.

— Не смей так говорить, раз ты ничего не понимаешь! — сказал Петя, повысив голос.

Она посмотрела на него широко открытыми глазами, как бы только что пробудившись от сна.

— А, так ты...— медленно сказала она, отбрасывая за спину черную вуаль, успевшую местами поседеть от ее дыхания.— Значит, правда, что мне сказали про тебя. А я, дура, продолжала надеяться...

— На что ты продолжала надеяться? — нахмурившись, спросил Петя.

— На то, что с твоей стороны все это лишь тактика, военная хитрость...

— Подожди... не продолжай...

— А ты, оказывается, продался своим большевикам не только телом, но и душой.

— За кого же ты меня принимала?

— Теперь мне все понятно. Человек, которого я имела слабость так искренне полюбить,— изменник и предатель. Замолчи! — закричала она, хотя Петя молчал.— На что ты польстился? На красногвардейский паек? На ржавую селедку и восьмушку чая? Ах, я понимаю. Ты польстился на солдатских потаскух, как их там зовут: Мотька, Маринка...

— Замолчи! — крикнул Петя с такой силой, что у него почернело в глазах.

Впоследствии ему было трудно в точности припомнить, как все это произошло, в каком порядке.

Он только помнил, что кровь ударила ему в голову и помутился рассудок. Он видел перед собой искаженное, ставшее грубым, как у юнкера, лицо Ирины, ее ненавидящие глаза, закушенные до крови губы.

Теперь между ними уже ничего не было, кроме обнаженной, неистребимой ненависти, яростного желания уничтожить друг друга, испепелить.

— Подлец! Нищий! Изменник! Я тебя убью как собаку!

Она вырвала руку из муфты и несколько раз выстрелила в Петю из маленького, знакомого ему дамского револьвера. Очень близко от Петиного лица вспыхнули си-

ние свистящие язычки выстрелов. Фуражка соскочила набок.

Петя схватил Ирину за руку и стал ее крутить, выворачивать, пытаясь вырвать револьвер, но она не выпускала его из судорожно сжатых пальцев, и тогда Петя несколько раз с наслаждением и злорадством хлопнул ее по щекам, приговаривая:

— Ах ты, дрянь, ах ты, генеральская тварь...

Она тонко завыла от боли и унижения и побежала по аллее, закрывая лицо руками. Черная вуаль зацепилась за сучок и повисла на кусте, с которого посыпался иней...

Петя бросился за ней. В небе уже довольно ярко светился месяц. Тени бегущих скользнули по зеленоватому снегу. Месяц казался Пете таким же никелированным и перламутровым, как маленький дамский револьвер Ирины. Она бежала стремительно. Ее невозможно было догнать.

— Стой,— кричал Петя,— стой!

Теперь он преследовал ее, как зверя. Он хотел ее поймать, потащить в комендатуру, в штаб Красной гвардии, в ревком, на «Алмаз», чтобы с ней немедленно поступили так, как следовало поступить с врагом, чуть не застрелившим командира Красной гвардии.

— Остановись!

— Помогите! Спасите! Господа, сюда! — громко кричала Ирина, и Петя вдруг понял, что они в парке не одни.

Ирина звала тех самых «наших друзей», о которых недавно упомянула. Конечно, она пришла сюда не одна.

Едва Петя успел об этом подумать, как увидел несколько офицерских фигур, выступивших из-за высокой пирамидальной туи. Ирина бросилась к ним, и Петя слышал, как она, тяжело дыша, сказала:

— Убейте его, он изменник.

Петя бросился назад и услышал за спиной выстрелы, но не слабенькие, еле слышные выстрелы из дамского револьверчика, а грозные, раскатистые в мертвой тишине зимнего парка, железные выстрелы из офицерских наганов.

Пули летели рядом с Петей вдоль аллеи, сбивая с деревьев и кустов иней, повисший в воздухе легкой кисеей.

Петя как бы чувствовал спиной ненавидящие взгляды, в особенности мрачные глаза из-под надвинутого на са-

мые брови козырька приземистого офицера с квадратным подбородком.

Кто-то кричал ему вслед:

— Ага! Бежишь! Спасаешь свою продажную шкуру? Краснозадый!

Петя остановился, повернулся боком и, вытащив из кармана одеревеневшими пальцами свой тяжелый кольт, выпустил в своих преследователей, не целясь, всю обойму.

Крупные кольтовские пули защелкали по стволам и скамейкам, поднимая облака снега. Зазвенели стреляные гильзы, автоматически вылетая одна за другой в сторону.

Петя вложил в рукоятку пистолета новую обойму и опять всю ее выпустил в облако снега, мерцавшего в месячном свете, как привидение.

Он прислушался. Вокруг все было тихо. Где-то далеко послышались приглушенные голоса, звуки прыжков, потом мягкий топот ног. Петя понял, что его враги перелезли через ракушняковый забор парка и через монастырский пустырь ушли в город.

Не он, а они спасали свою шкуру: звуки перестрелки могли привлечь красногвардейский патруль, и тогда бы им не поздоровилось. Петя был командир Красной гвардии, и на него с оружием в руках напали контрреволюционные офицеры. Их бы не помиловали.

Перезарядив пистолет и сунув его на всякий случай за борт шинели, Петя прошелся по аллеям, чтобы успокоиться.

Месяц светил уже ярко.

Тень Александровской колонны лежала косо поперек розария, где фосфорически дымились снежные холмики над согнутыми на зиму штамбовыми розами, отчего в мертвенном месячном сиянии розарий напоминал маленькое кладбище.

Вокруг этого розария Петя в детстве гулял летом с покойной мамой. Она вела его за ручку, а он, глядя снизу вверх, старался увидеть ее милое лицо, до половины завязанное вуалью в крупную мушку, ее шляпу с орлиным пером, и возвышалась эта же самая Александровская колонна, и, окруженный чугунной оградой, рос тот же самый ветвистый дуб, выросший из желудя, собственноручно посаженного царем.

Боже мой, как давно, как страшно давно это было! Как с тех пор переменился мир!

Петя скоро успокоился. Теперь он даже не думал, что его могли убить. Его душа была чиста, спокойна, прозрачна. А главное — тверда.

38

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЖИЗНИ

Он обошел весь парк, очутился возле Ланжерона, спустился вниз, где в лунном свете на десятки верст молчало замерзшее море и друг на друге лежали плоские льдины, отсвечивая зеленым золотом.

Сделав громадный крюк по берегу, где светящийся снег был испятнан заячьими следами, через дачу «Отрада», через Французский бульвар, мимо третьей гимназии, по Троицкой он вышел на Маразлиевскую.

У ворот его встретил Чабан.

— Ты чего здесь околачиваешься? — спросил Петя.

— Вас дожидаюсь, товарищ прапорщик.

— Подпоручик.

— Виноват. Так точно.

— Чего ж ты меня дожидаешься у ворот? Что я тебе, барышня?

— Никак нет. Не барышня. Только я боюся, чтобы часом какая-нибудь контра в вас не стрельнула из-за угла.

— Вот как?

— Так точно.

— Охраняешь?

— А як же.

Петя сумрачно усмехнулся.

— Почему же ты думаешь, что в меня кто-нибудь мог стрельнуть?

— Так что, товарищ командир, как вы, значится, пошли на свидание с барышней Заря-Заряницкой, а у них в доме целая корниловская шатия...— начал Чабан, по своему обыкновению, крайне обстоятельно.

— Постой! Откуда тебе все это известно? То есть почему ты думаешь, что я ходил на свидание?

— Так боже ж мий! — воскликнул своим певучим «хохлацким» тенором Чабан, глядя восхищенными глазами на Петю.— Хиба же я не знаю, шо до вас приносили от барышни Заряницкой якусь манесенькую цидульку?

— А ты что, следишь за мною? — мрачно спросил Петя.

— Та боже ж меня сохрани! Я тилько вас жалею и смотрю, чтобы эта Заряницкая охвицерия вас часом не подстрелила. А тут аккурат часа два назад в Александровском парке такая перестрелка поднялась, что я уже подумал, что это вас убивают. Даже собирался бежать к вам на подкрепление.

— Ну и почему же не побежал?

— Потому как стрельба вскорости затихла,— виновато моргая своими густыми девичьими ресницами, сказал Чабан.— А тем часом и вы сами пришли, только с другого боку.

— Эх ты, герой! На тебя понадейся.

— Никак нет,— жалобно сказал Чабан.— Я за вас всегда готов отдать жизнь. Помните, как я вас тогда на Румынском фронте на своих руках вынес из боя?

Чабан уже давно был самым искренним образом убежден, что это именно он спас прапорщика Бачея и с опасностью для жизни вынес его из боя. Он так часто об этом рассказывал знакомым девчатам и землячкам, так часто напоминал о своем подвиге Пете, что Петя и сам временами начинал этому верить.

— Так ты говоришь, что слышал в парке стрельбу?

— Так точно.

— И что же, сильная была стрельба?

— Еще какая!

— Ну, значит, слава богу, что меня там не было,— с легкой улыбкой сказал Петя.— Что же ты стоишь, Чабан? Иди до дому. Ты где ночуешь сегодня? Небось у госпитальных девчат? Спокойной ночи.

Но Чабан не уходил, переминался с ноги на ногу, видимо собираясь еще что-то сказать.

— Чего тебе? — спросил Петя, хорошо изучивший все повадки своего вестового.

— Разрешите обратиться.

Петя с удивлением посмотрел на Чабана, стоявшего

перед ним смирно, руки по швам, каблуки вместе, носки врозь, с вылупленными по-старорежимному глазами, в белках которых отражался синий лунный свет.

— Ну? Обращайся. Говори по-человечески: что? Только без этих старорежимных фокусов. Стой вольно.

— Разрешите мне податься до дому?

Только теперь Петя заметил, что у ворот стоит прислоненная к стене винтовка и на тротуаре виднеется туго набитый вещевой мешок с котелком и фляжкой.

— Ну что ж,— сказал Петя.— Ты человек свободный, демобилизованный, можешь идти куда угодно, никого не спрашивая.

— Никак нет,— твердо произнес Чабан.— Как вы есть мой прямой, непосредственный начальник и боевой командир, то я обращаюсь к вам, по команде.

— Чудак человек! Во-первых, я уже давно не твой командир, а во-вторых, из того, что ты за мной когда-то увязался с фронта в тыл, еще ничего не следует, тем более что старая армия демобилизована.

— Никак нет, вы всегда есть мой прямой начальник! — сказал Чабан.

Лицо его покривилось, и Пете даже показалось, что он сейчас заплачет.

— Хорошо,— сказал Петя,— пусть будет так, если это тебе нравится. Но ведь ты все равно — и так и этак — пойдешь домой, независимо от того, что я тебе прикажу?

— Так точно. Все равно пойду домой. Там у нас давно уже всю землю графов Бобринских поделили, одни мы остались неподеленные.

— Так с богом,— сказал Петя и неожиданно для самого себя почувствовал на глазах слезы.— Желаю тебе счастья.

— Покорнейше благодарим, товарищ начальник! — Глаза Чабана сияли.— А вы, Петр Васильевич, не сомневайтесь. Если опять начнется какая-нибудь заварушка, я тем же часом прибуду в вашу часть, служить, как бы сказать, за власть Советов под вашей командой.

— Спасибо, Чабан.

— Рад стараться.

Они обнялись и поцеловались.

От Чабана так вкусно пахло молодым чистоплотным солдатом, юфтовой кожей, грубым сукном, овчиной, ма-

хорочкой, салом, ржаным хлебом. И Петя так живо вспомнил этот знойный июльский день в Румынских Карпатах, когда его, раненого, несли из боя и вокруг сухо трещали сверчки.

— Счастливо оставаться,— сказал Чабан, подхватил свой вещевой мешок, винтовку и, позвякивая котелком, быстро пошел под редкими в лунном небе трескучими февральскими созвездиями по пустынной Маразлиевской, наполовину черной в тени и наполовину синей от месячного света.

А Петя отправился домой, где уже давно его дожидался отец, и, подымаясь по мраморной лестнице, думал о том, что сегодня закончилась какая-то очень большая, значительная, неповторимая часть его жизни.

Начиналась новая жизнь.

И Петя встречал эту новую жизнь одинокий, свободный, уверенный в правоте того дела, которому он служит.

Отец сидел за своим старым письменным столом со старомодными точеными перильцами, в обширной чужой комнате, и при свете керосиновой лампы под зеленым абажуром работал, то и дело наклоняя голову, поправляя пенсне и делая пометки синим карандашом.

Но он не исправлял ученические тетрадки. Это был черновик отчета учебной части нового железнодорожного техникума Одесскому губнаробразу, который Василий Петрович тщательно проверял и исправлял, прежде чем переписать набело своим бисерным почерком.

В отчете содержались очень важные мысли о пересмотре всего учебного плана в духе старых идей Василия Петровича о воспитании юношества, почерпнутых им у Жан-Жака Русо и из педагогических сочинений Льва Толстого.

Для осуществления реорганизации нужны были средства, и Василий Петрович добивался крупных ассигнований и заранее сердился, так как подозревал, что не получит не только крупных, но даже самых маленьких средств ввиду того, что Одесса переживала очередные финансовые затруднения и денег в казначействе не было даже для выдачи рабочим зарплаты.

— Это ты, Петруша? А я уже начал за тебя беспокоиться.

— Напрасно.

— Ты откуда?

— Из штаба,— как можно небрежнее сказал Петя, не желая тревожить отца, и незаметно сунул пробитую пулей фуражку в темный угол.

— Как у вас там дела? — спросил отец.

— Хорошо. Полным ходом.

Речь шла о работе по созданию вооруженных сил, которая широко развернулась после опубликования в январе декрета Совнаркома о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии и декрета Советского правительства Украины об организации народно-революционной социалистической армии на Украине.

Недавно началась вербовка добровольцев в Красную Армию, куда влились красногвардейские отряды. Части Красной Армии создавались также из состава бывших войск Румынского фронта. Петя принимал во всех этих формированиях большое участие и, как бывший офицер, теперь работал в отдельной комнате в штабе, где под общим руководством Черноиваненко-младшего составлял списки личного состава вновь создаваемых частей.

Петя начал было рассказывать отцу о том, как у них в штабе идут дела, но Василию Петровичу, видимо, было не до этого. Он весь кипел при одной мысли, что в ассигнованиях откажут.

— Нет, Петруша, это черт знает что! Вообрази себе: я иду в комиссариат финансов к товарищу Рузеру, к милейшему, интеллигентнейшему, европейски образованному человеку, старому большевику, женевцу, товарищу самого Ленина, и как ты думаешь, что он мне сказал?

— Он тебе сказал, что денег нет.

— Ты угадал. Но это еще не все. Он сказал, что денег нет, но при этом любезно направил меня в комиссариат труда к Старостину. Трамваев нет. Извозчиков нет. Иду по способу пешего хождения к товарищу Старостину. Прихожу. Он меня принимает вне очереди, усаживает, говорит всяческие комплименты. Милейший человек. Политический ссыльный. Старый большевик. Интеллигентнейший, умнейший,— в простой рабочей блузе, с такой, вообрази себе, донкихотовской эспаньолкой. И как ты думаешь, что он мне сказал?

— Что нету денег?

— Да, но направил меня с собственноручной запи-

ской в краевой совнарком к самому товарищу Юдовскому. Ты имеешь понятие, что из себя представляет товарищ Юдовский? — строго спросил Василий Петрович, подняв вверх указательный палец.— Руководитель всего нашего края!

— Старый большевик. Интеллигентнейший человек. Принял тебя вне всякой очереди и усадил в мягкое кресло, не так ли? — сказал Петя.

— Откуда ты знаешь?

— Догадываюсь. Но при этом сказал, что денег нет.

— Вообрази!

— Легко воображаю.

— Нет, это действительно, черт знает что! — вдруг закричал Василий Петрович. Он вскочил и ударил кулаком по столу с такой силой, что зеленая лампа вздрогнула и пустила струйку копоти.— Я буду писать Ленину!

— Да ведь что делать, если денег действительно нет?

— Как это нет? Вздор! Чепуха! Отговорка!

Василий Петрович забегал по холодной полуосвещенной комнате, оклеенной дорогими обоями, в старом пальто, накинутом на сюртук, стуча новыми башмаками, полученными в отделе народного образования по ордеру.

— Как это нет денег, когда сейфы банков набиты драгоценностями одесской буржуазии!

— Да, но они опечатаны ревкомом.

— Так их надо распечатать, вскрыть. Черт возьми, взломать, наконец! Употребить все ценности для великого, святого дела народного образования!

— Необходим специальный декрет,— сухо сказал Петя.

— Ты просто формалист, как и вообще все ваши комиссары! — воскликнул Василий Петрович.— Сейфы надо вскрыть. Вскрыть немедленно, без всяких там декретов и прочей формалистики. Вскрыть, взломать, взорвать динамитом...

— Значит, ты проповедуешь анархию?

— Да-с. Анархизм.

— Не думал я, что ты из оборонца так быстро сделаешься анархистом,— не мог удержаться, чтобы не съязвить, Петя.

Но Василий Петрович пропустил мимо ушей эту шпильку.

— Да. Я анархист и горжусь этим. Князь Кропоткин тоже анархист.

— Но ты не князь.

— Все равно.

— Впрочем, это даже не анархизм, а простой грабеж.

— Да-с. Грабеж!

Глаза Василия Петровича грозно блеснули. Очевидно, ему очень понравилось это слово — «грабеж».

— Грабь награбленное! — сказал он и победно посмотрел на сына.

— Ишь, старик, как ты развоевался,— добродушно заметил Петя, с нежностью глядя на взлохмаченную голову отца, на всю его петушистую фигуру в коротком учительском сюртучке с блестящими на локтях рукавами.

— Да. Развоевался, как ты изволишь выражаться.

— Воюй, пожалуйста. Но грабить нельзя.

— Ты думаешь? Даже на святое дело?

Петя замялся:

— Во всяком случае, до особого декрета.

— Хорошо,— подумав, сказал Василий Петрович.— В таком случае надо незамедлительно обложить местную буржуазию самым жестоким налогом: банкиров, купчишек, домовладельцев, епархиальное духовенство. А если будут саботировать, то — к стенке! — вдруг крикнул он снова, еще сильнее стукнул кулаком по столу.— К стенке! Безжалостно ставить к стенке. Или публично вешать на фонарях!

— Ну, папа, ей-богу, ты больше роялист, чем сам король.

Но отец, высказав столь решительные и столь жестокие мысли, сам испугался.

— Ты думаешь? — кротко спросил он и снова, отбросив в стороны фалды сюртука, уселся за стол.

Петя лег спать в соседней комнате, на своей офицерской раскладушке, укрывшись поверх одеяла старым швейцарским плащом. Он долго не мог заснуть в этой чужой, холодной, богатой комнате с незнакомой мебелью. В полудремоте он слышал, как в комнате у отца быстро дрожит стеклянный абажур лампы — это Василий Петрович, строча пером, переписывал свой отчет.

Потом звуки дрожания абажура прекратились, и к

Пете на цыпочках подошел отец. Он наклонился над ним, как бывало в детстве, поерошил своей большой, уже по-стариковски высохшей рукой его шевелюру, потом перекрестил и поцеловал в висок, подсунул под ноги съехавшее одеяло и плащ.

— Я не сплю, папочка,— сказал Петя.

— А ты спи, сынок, спи,— прошептал Василий Петрович.— Сон укрепляет.— И, став на колени, положил на плечо сына голову, от которой пахло сухими волосами, керосиновой копотью, нетопленной комнатой.

— Ты знаешь,— сказал он со вздохом,— это ведь я только так... бодрюсь... А на самом деле швах. Жизнь моя кончается. Почти уже кончилась... Береги же себя, Петруша. Мамочку твою уже давно призвал к себе бог. Теперь он призвал нашего Павлика... А я все еще живу... Стою, как старое дерево с наполовину обрубленными ветвями... И живу... Ах, Петруша, если бы можно было нам никогда не расставаться...

Видимо, он предчувствовал близкую разлуку с сыном.

39

ВОЛНЫ, ЧАЙКИ, ВЕТЕР

В феврале немецкие войска начали наступление по всему фронту. На Украину вторглась почти полумиллионная армия германских и австро-венгерских оккупантов.

Через несколько дней в газетах был напечатан декрет Совета Народных Комиссаров, написанный Лениным: «Социалистическое отечество в опасности!»

В нем говорилось:

«Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии. Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве. Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности».

В начале марта советские войска, защищавшие Одессу, уже дрались с немцами и австрийцами под Бир-

зулой и Балтой. Но силы были слишком неравны. Советские части вынуждены были отступить.

Петя снова вывел с запасных путей свой бронепоезд и, курсируя по железнодорожной линии Раздельная — Гниляково, бил по неприятельским эшелонам до тех пор, пока хватало снарядов, после чего по приказанию Перепелицкого взорвал бронепоезд и со всем его экипажем отошел в Ближние Мельницы.

Тем временем Одесский Совет вывозил из города военное имущество, ценности, архивы.

Из порта уводились караваны торговых судов.

Матросские и красногвардейские отряды уходили из города по Николаевскому шоссе, мимо Пересыпи, Лузановки, Крыжановки...

На дорогах появились беженцы.

Эвакуацию прикрывали военные корабли «Ростислав» и «Синоп».

В шквалистую, ветреную ночь на четырнадцатое марта германские и австро-венгерские части заняли город. Утром одесситы увидели в мглистом тумане на привокзальной площади колонны немцев и австрийцев в серо-зеленых шинелях, в глубоких стальных касках с маленькими рожками отдушин, в толстых сапогах с двойными швами, с незнакомыми, тяжелыми винтовками за плечами.

В привокзальном сквере, среди поломанных туй, дымились немецкие походные кухни и расхаживали немецкие кашевары с лужеными черпаками в полотняных, окровавленных фартуках поверх шинелей, делавших их похожими на толстых мясников.

Петя обошел стороной центральную часть города, уже занятую неприятелем, и через глухие приморские переулки вышел на берег между дачей «Отрада» и Малым Фонтаном, о чем было договорено еще ночью, когда Петя с остатками своего экипажа занимал последнюю позицию на выгоне за Ближними Мельницами.

Возле большой рыбачьей шаланды, приготовленной к спуску на воду, в утреннем тумане ходили несколько человек, среди которых Петя узнал Гаврика, Акима Перепелицкого и Мотю в теплом сером платке на голове. Здесь же был и Родион Иванович в своем обычном флотском бушлате. Его Петя узнал раньше всех, еще издали,

по оранжево-черным георгиевским лентам, вьющимся на ветру.

— Бачей! Что же ты? Давай! — крикнул Гаврик.

Петя прыгнул с невысокого обрывчика прямо на прибрежную полосу и побежал по звенящей, гладко отшлифованной гальке, по кучам хрустящих мидий, перемешанных с матовыми кусочками бутылочного стекла, вытертого прибоем, к шаланде, куда Мотя бросала связки твердой, как дерево, тараньки, буханки солдатского хлеба, узелки с вареной картошкой.

После всего она сунула в ящик под кормой плоский дубовый бочоночек с пресной водой, заткнутый чобом, завернутым в тряпочку.

— А где же Колесничук?

— Он отходит со своими десантниками по Николаевской дороге.

Гаврик и Петя подошли к шаланде.

— С батькой попрощался? — спросил Гаврик.

— Где там! Не успел. Уже весь центр оцеплен немцами, а на Маразлиевской проверка документов и офицерские патрули. Не рискнул.

— И хорошо сделал. Попал бы в руки кому-нибудь из своих Заряницких — они бы тебя не помиловали. Ты вот что, Мотя,— обратился он к племяннице,— как только нас проводишь, прямо отсюда ходу на Маразлиевскую и передай Петькиному батьке, что все в порядке, а то он будет волноваться. Переправишь его на Ближние Мельницы, там ему будет спокойнее. А здесь, на Маразлиевской, его тоже не помилуют.

— Я сделаю, дядечка,— сказала Мотя тем тоненьким голосом прилежной девочки, который появлялся у нее всякий раз, когда она разговаривала с Гавриком по делу.

— Ну, товарищи, вира помалу и с богом,— сказал Терентий, выходя из-за ноздреватой, слоистой скалы с ящиком, который он с усилием приподнял и свалил в шаланду.— Имейте в виду, что это остатки архива городского партийного комитета, все, что удалось вынести с улицы Карангозова. Берегите как зеницу ока.

— А вы разве не с нами? — спросил Петя.

— Нет. Я остаюсь.

Терентий произнес это удивительно просто, как бы

даже вскользь, но вместе с тем с такой категоричностью, которая исключала всякие дальнейшие вопросы.

Впрочем, Пете не надо было ничего больше спрашивать. Он понял, что Терентий остается в подполье.

Высоко в небе, ныряя в мутных облаках, появился хорошо знакомый Пете еще по фронту немецкий военный моноплан «Таубе» с черными крестами на хищно загнутых назад крыльях.

«Таубе» сделал круг над Ланжероном, над маяком, над портом и скрылся из глаз.

Это было как бы сигналом к спуску шаланды.

Взявшись с двух сторон за борта, за уключины, тяжелую шаланду чуть приподняли и потащили по гальке в воду. Громадная мутно-зеленая закрученная волна, в середине которой, как в литой стеклянной трубе, крутились мелкие ракушки и тина, отбросила шаланду вбок со своего пути и пенисто побежала по песку, выкупав всех по колени.

Они с усилием удержали и повернули тяжелую шаланду носом в море, и в то самое мгновение, когда следующая волна накатилась и выросла перед лодкой, Петя вместе с другими, присев и натужившись, налег плечом на борт, и общими усилиями плоскодонка была вытолкнута на верх волны, прежде чем она успела закрутиться и снова отбросить шаланду.

Теперь уже шаланда бежала по воде, и, воспользовавшись удобной минутой, все с рыбачьей ловкостью и сноровкой на ходу попрыгали в шаланду и разобрали длинные, неуклюжие вёсла с пудовыми вальками.

Заскрипели буковые уключины.

Родион Жуков не без усилий надел тяжелый деревянный руль, набил румпель и крепко взялся за него своей мускулистой матросской рукой. Почувствовав хозяина, шаланда послушно повернулась носом против волны, прямо в открытое море.

— Весла на воду! — скомандовал Родион Жуков.

И шаланда тяжелыми рывками, как бы перескакивая с волны на волну, стала удаляться от берега.

— Будь здорова, Матрена! — крикнул, приставив ладони ко рту, Перепелицкий в своей длинной кавалерийской шинели и кубанке, из-под которой курчавился молодецкий чуб.

Он лишь сейчас сообразил, что так и не успел проститься с ней на берегу.

— Береги себя, серденько мое!

— До свидания, Аким! Поскорее вертайся! — крикнула Мотя, но ветер отнес в сторону ее голос, и Перепелицкий услышал лишь слабое «айс-айс-айс».

Но он догадался, о чем кричала ему Мотя, и, натужившись изо всех сил, закричал:

— Скоро вернемся!

Мотя поняла и закивала, а потом размотала свой серый теплый платок и замахала им над головой:

— Попутный ветер!

Но шаланда была уже далеко, ветер дул с моря, и вряд ли Мотин голос долетел до него.

Терентий крупными шагами пошел вверх по обрыву.

Мотя осталась одна.

Она снова по-бабьи закутала голову платком, крепко завязав его на затылке узлом, и села на холодный ноздреватый камень, наполовину зеленый от тины, возле большой, еще не растаявшей льдины, похожей на белого медведя. Мотя видела, как на шаланде поставили мачту и сунули в железный выдвижной киль, выкрашенный суриком, а потом подняли паруса: большой грот и два кливера.

Темный, отсыревший парус тяжело, как бы нехотя надулся, шаланда накренилась, показав половину своего рубчатого просмоленного днища.

За кормой побежала пена.

Белое солнце, которое несколько раз пыталось выглянуть из-за темных мартовских туч, теперь совсем пропало. Ветер сделался резче и холодней. На горизонте, почерневшем, как антрацит, виднелся дым эскадры, готовой сняться с якоря и идти в Севастополь.

Шаланда взяла курс на этот дым.

Мотя не плакала и не вздыхала. Она неподвижными, прозрачными глазами удивительной чистоты и голубизны смотрела в море на парус, на чаек, на черные точки бакланов, качающихся среди волн, на пенистые барашки и жадно глотала холодное дыхание мартовского моря, которое еще совсем недавно лежало безмолвное, замерзшее до горизонта, а теперь очистилось от льдов, разыгралось, но было еще совсем без запаха.

Петя и Гаврик полусидели на носу, положив рядом с собой винтовки. Их то и дело обдавали брызги. Шаланда шла шибко, но эскадра все еще казалась очень далекой.

Гаврик расстегнул шинель, вынул из нагрудного кармана гимнастерки большие часы и отколупнул крепким ногтем крышку.

— Ого!

— Сколько?

— Без четверти девять.

Петя узнал эти часы и с недоверием посмотрел на Гаврика.

— Те самые,— сказал Гаврик.

— Шутишь!

— Святой истинный!

Помолчали.

— Ну что, брат?—спросил наконец Гаврик, по своему обыкновению, потуже затягивая пояс, на котором висела полевая сумка.

Петя хорошо понимал, как много всего кроется за этим неопределенным вопросом.

— А что? Живем...— так же на первый взгляд бессодержательно ответил он.

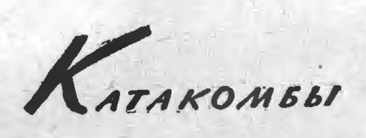
Что он мог еще ответить? Жизнь их только что началась по-настоящему, и могли ли они знать, как она сложится дальше?

Тяжелые испытания ожидали Одессу, которой еще предстояло в течение двух лет быть ареной ожесточенных боев.

Но самое главное уже было позади: впервые на земле была установлена Советская власть и родилось первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян.

На этом можно было бы проститься навсегда с моими героями Петей и Гавриком, если бы не те великие исторические события, которые снова через четверть века свели их в родном городе, когда судьба первого в мире Советского государства была поставлена на карту.

Но пока оставим их среди бурного, шквалистого моря, осыпаемых с ног до головы брызгами, бьющими из-под носа шаланды.



(ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ)

1
СИНЕНЬКИЕ

Прошло около двадцати пяти лет. Петя Бачей, или, как он теперь назывался, Петр Васильевич, человек средних лет с небольшой сединой в висках, довольно известный юрист, вместе со своим сыном пионером Петей в один прекрасный летний день летели на рейсовом пассажирском самолете из Москвы в Одессу.

Это была их давняя заветная мечта — отправиться вдвоем путешествовать.

В особенности об этом мечтал пионер Петя. Именно вдвоем: без мамы, без девочек. Он да папа — и больше никого.

В один прекрасный день двое смелых, самостоятельных мужчин — отец и сын — надевают на плечи рюкзаки, берут в руки палки и отправляются странствовать. Они захватят с собою в дорогу лишь самое необходимое: походный котелок, чтобы варить себе на костре скудный ужин, мешочек гречневой крупы, немного соли, сахару, чайник, коробку спичек, катушку ниток, иголку, может быть две или даже, лучше всего, три-четыре плитки шоколаду,— конечно, не потому, что шоколад лакомство, а потому, что у него высокая калорийность. Вот, собственно, и все. Много ли нужно для двух закаленных путешественников, привыкших к суровой жизни под открытым небом, полной опасностей и лишений? Никаких подушек и одеял, разумеется, не надо. Ночью отлично можно укрыться отцовским макинтошем, а под голову класть рюкзак. Спать придется по очереди: один будет спать, а другой — дежурить возле пещеры. Само собой, необходимо запастись ружьями и рыболовными снастями. Насчет рыболовных снастей обыкновенно никаких споров не возникало. Что касается оружия, то тут начинались серьезные разногласия: отец говорил, что достаточно иметь хороший складной нож; Петя настаивал на ружье или, в самом крайнем случае, на револьвере.

— Нет,— говорил отец,— ружье — это лишняя тяжесть. Ружья не надо.

— Ну, тогда револьвер,— говорил Петя.

— Да зачем нам револьвер?

— Как же без револьвера? — почти кричал Петя, оглушая всех своим звонким, возбужденным голосом.— Они будут к нам подползать, а мы их тогда из револьвера — бах, бах, бах, ба-бах!..

— Позволь, братец, позволь...— перебивал отец, морщась от Петиного крика.— Кто же, собственно, будет к нам подползать?

И каждый год на этот вопрос Петя отвечал по-разному. Когда ему было шесть лет, он говорил мрачно:

— Дикие звери.

Когда ему было восемь и девять, он восклицал:

— Враги!

И каждый раз отец отвечал ему с рассудительной улыбкой одно и то же:

— Друг мой, ну посуди сам, какие же в Одесской области враги или дикие звери? Там нет никаких диких зверей.

— Да,— говорил Петя,— но если они появятся?

— Они не появятся.

— Да, но если они все-таки появятся? — упрямо повторял мальчик, азартно нажимая на слово «все-таки».

Такие разговоры происходили зимой, в те редкие вечера, когда отец оставался дома. К этим разговорам все домашние уже давно привыкли, и обычно, когда они начинались за чаем, девочка Женя, сестра Пети, двумя годами его моложе, презрительно пожимала плечами и, подражая матери, говорила совершенно как взрослая:

— Вообразите, наши мужчины опять собираются путешествовать! — И она высокомерно морщила носик, покрытый небольшими веснушечками.

— Молчи, воображала! — угрюмо говорил Петя и, навалившись всей грудью на стол, продолжал писать карандашом на листке из арифметической тетрадки список вещей, необходимых для путешествия: «1 охотн. нож, 2 зуб. щетки, 1 чайник...»

А мать между тем посматривала то на отца, то на сына и, покусывая губы, улыбалась с насмешливой грустью.

— Ну-ну, в добрый час! Отправляйтесь. Могу себе представить, в каком виде вы явитесь обратно...

— Стало быть, решено и подписано! — восклицал Бачей-старший.— Беру летом отпуск, и мы отправляемся.

Мать улыбалась и даже хохотала, стараясь обратить все в шутку.

Наступало лето, и путешествие как-то само собой забывалось. Вместе с мамой, бабушкой и девочками огорченный Петя отправлялся на дачу, куда папа приезжал по воскресеньям из Москвы. Но, по правде сказать, в деревне под Москвой было тоже великолепно. Очень недурно было также и в пионерском лагере, где Петя провел последнее лето. Там было даже нечто напоминающее то путешествие, о котором так страстно мечтали Петя с отцом. Пионеры ночевали в палатках, варили на костре кашу, собирали лекарственные травы, ориентиро-

вались по звездам и даже один раз поймали белку. Но все же это было совсем, совсем не то...

«То» путешествие, существовавшее только в воображении, полностью овладело душой мальчика. Как всякая упорная, единственная мечта, оно стало его второй жизнью.

В душе Петра Васильевича тоже всегда жила мечта побывать на родине. Чаще всего эта мечта дремала.

Но иногда она вдруг пробуждалась и вспыхивала с необыкновенной силой.

Обычно это случалось, когда в доме на несколько дней — всегда неожиданно, без предупреждения,— появлялся Колесничук.

Теперь Колесничук был главным бухгалтером одесской конторы Чаеразвесочного управления треста «Главчай» — немолодым человеком с добрым морщинистым лицом, узеньким украинским галстуком и большим потертым портфелем, набитым какими-то балансами и годовыми отчетами, товарищем с периферии, «командировочным».

Но для Петра Васильевича это был друг детства, то немногое, что осталось у него от прошлого, милый и горячо любимый Жорка Колесничук.

Обычно Колесничук проводил в Москве дней пять, не больше, а потом уезжал обратно к себе в Одессу.

Но какой беспорядок вносило его пребывание в жизнь семейства Бачей!

Из застенчивости он ни за что не соглашался спать на диване, который уступал ему Петр Васильевич в своем кабинете.

Колесничуку стелили на полу в тесной столовой. Из застенчивости же он отказывался от одеяла и укрывался своим макинтошем, который гремел, как жестяной. Вместо подушки он клал под голову портфель. Он всегда старался увильнуть от обеда. Его ждали. Без него не садились за стол. Все слонялись по комнатам голодные.

А он вдруг появлялся часа через два и, застенчиво потирая руки, заявлял, что уже перекусил в главке, причем все понимали, что он сочиняет.

У него была привычка покурить ночью. И вот вдруг ночью в квартире раздавались тихие шаркающие шаги.

В темноте передвигалась мебель, осторожно падали стулья. Это застенчивый Колесничук, не желая беспокоить табачным дымом семью Бачей, пробирался на ощупь в ванную комнату покурить.

Оттуда слышался приглушенный, сиплый кашель застарелого курильщика, отхаркиванье, с костяным стуком падали зубные щетки и мыльницы и доносился странный запах паленой шерсти: гость курил папиросы собственной набивки из какого-то особого табака собственной крошки, который он добывал где-то в райоие, в подсобном хозяйстве управления, и которым очень гордился.

Колесничук привозил из Одессы в подарок копченую скумбрию, малосольную брынзу в стеклянной банке с водой и десяток синих баклажан, которые он с нежной улыбкой называл просто «синенькие».

Петр Васильевич был в восторге. Он кричал, что это лучшая еда в мире, пища богов!

Действительно, копченая скумбрия нравилась всем, хотя обычно в дороге немного портилась и начинала попахивать.

Но когда с нее сдирали тончайшую золотисто-фольговую кожицу и обнажалось пахучее, нежное копченое мясцо, то у всех невольно текли слюнки.

Что же касается брынзы и синеньких, то они решительно ни у кого, кроме Петра Васильевича, успеха не имели. Брынза воняла старой овцой, и ее уносили в кухню. А что делать с синенькими, никто из домашних, кроме Петра Васильевича, понятия не имел.

Жена Петра Васильевича и домашняя работница, старая москвичка, с презрнтельной улыбкой вертели в руках загадочные овощи — действительно синие, точнее темно-лиловые, почти черные, глянцевитые, как бы кожаные.

— Какие-то, прости господи, баклуши, да и только! — говорила домработница Устинья, презрительно морща тонкие губы.— Нешто их можно есть? Еще отравишься!

Но Петр Васильевич был неумолим. Он требовал, чтобы из синеньких немедленно приготовили баклажанью икру. Разумеется, не ту пресную, сладковатую желтоватую кашицу, которая продается в виде консервов, а ту, настоящую, домашнюю, знаменитую одесскую баклажанью икру — пищу богов! — зеленую, с луком,

уксусом, чесноком, молдавским перцем, дьявольски острую, от которой на губах делаются «заéды».

Для того чтобы приготовить такую икру, баклажаны надо было (разумеется!) не варить и не тушить и, уж конечно, не жарить, а сперва испечь на угольях. Синенькие должны обуглиться. Тогда с них сдирают кожу, и дымящуюся, полусырую зеленую мякоть с белыми семечками мелко рубят.

Но боже упаси рубить ножом или «секачкой». От соприкосновения с железом мякоть теряет свой естественный зеленый цвет, чернеет, и икра тогда уже ни к черту не годится.

Мякоть надо рубить деревянным ножом и никаким другим. Тогда-то и получится настоящая баклажанья икра по-одесски.

Что может быть проще?

Однако хозяйка дома и домработница Устинья проявляли непонятное упорство: они пожимали плечами и насмешливо переглядывались.

— Хорошо,— решительно говорил Петр Васильевич,— в таком случае, мы будем делать баклажанью икру сами.

К общему ужасу, Петр Васильевич и застенчивый Колесничук снимали пиджаки и принимались за дело.

Маленькая московская кухня в новом доме была явно не приспособлена к производству настоящей одесской баклáжаньей икры.

Синенькие упорно не хотели обугливаться в духовом шкафу. Тогда Петр Васильевич и Колесничук принимали рискованные меры: они решительно отодвигали кастрюли, в которых готовился банальный московский обед, и клали баклажаны прямо на газовые рожки. Синенькие покрывались копотью, но все-таки не обугливались.

Наконец они лопались, и из них вытекала жидкость. Было очевидно, что ничего не получится.

Женщины едва-едва сдерживали улыбку, но мужчины не сдавались. Они требовали деревянный нож. Разумеется, в доме никакого деревянного ножа не было. Тогда они требовали деревянную линейку. Деревянной линейки тоже не оказывалось.

Маленький Петя робко приносил чертежный угольник, и взрослые мужчины начинали терзать полусырые

синенькие Петиным угольником, сплошь испятнанным школьными лиловыми чернилами с металлическим отливом.

Синенькие не поддавались.

Петр Васильевич и Колесничук некоторое время пребывали в нерешительности. Затем Бачей шел на некоторый компромисс: он требовал, чтобы ему дали мясорубку.

Хотя мясорубка была металлическая и, по словам Колесничука, неминуемо должна была произойти нежелательная химическая реакция, Петр Васильевич все-таки настаивал на мясорубке.

Глядя в сторону, он говорил, что в его время некоторые одесские хозяйки в исключительных случаях пропускали синенькие через мясорубку.

Колесничук робко говорил, что его Раечка, великая специалистка по синеньким, никогда не позволила бы себе пропускать их через мясорубку.

— Это кощунство! — говорил он жалобно.

Но Петр Васильевич был неумолим:

— Заткнись, Жора!

Маленький Петя видел, как из дырочек мясорубки ползла и шлепалась на тарелку странная грязно-бурая масса.

Петр Васильевич и Колесничук пробовали ее ложками. Им стоило известных усилий не морщиться. Они даже пытались выразить на своих истомленных лицах наслаждение.

Маленькому Пете было смешно и вместе с тем больно видеть, как папа и дядя Жора притворяются, что с наслаждением едят сырое черное месиво (нежелательная реакция-таки произошла!), от одного вида которой сводило челюсти, как от оскомины.

Впрочем, Петр Васильевич и Колесничук упорствовали недолго. У них было достаточно чувства юмора.

— Ну и дрянь! — говорил Петр Васильевич.

— Бледный ужас! — подтверждал Колесничук.

И они начинали смеяться.

Но это было не самое худшее. Худшее начиналось обычно вечером, за чаем, когда Петр Васильевич и Колесничук начинали предаваться воспоминаниям о своей молодости.

У маленького Пети слипались глаза. Мама отправляла его спать, но он ни за что не хотел уходить из столовой.

Он упрямо спал, положив щеку на липкую клеенку, и сквозь сон слышал громкие голоса Колесничука и папы.

Петя знал, что они вспоминают прошлое. В этом прошлом были война и революция, интервенция, военный коммунизм, бронепоезда; были люди, друзья детства, боевые товарищи; были могилы дедушки и бабушки, Куликово поле, где похоронен вместе с другими мальчик Женя и Марина, жена папиного друга, Гаврика Черноиваненко; была Раечка, супруга Колесничука, и, наконец, сам Гаврик Черноиваненко, старый большевик, ответственный партийный работник, о котором маленький Петя часто слышал от папы,—личность почти легендарная и крайне загадочная, так как он постоянно куда-то уезжал из Одессы и откуда-то приезжал и даже один раз, как выразился Колесничук, крупно погорел и долго где-то сидел и совсем недавно опять появился в городе и «заворачивает отделом в обкоме».

Обычно это кончалось тем, что папа вдруг вспоминал, довольно чувствительно хлопал сонного мальчика по плечу и кричал:

— Кончено. Едем! Петька, хочешь путешествовать?

Петя с трудом открывал глаза и бормотал осипшим со сна, ленивым, мечтательным голосом:

— Хочу, папочка.

— Нет! Клянусь честью, я говорю совершенно серьезно.

Два или три дня после отъезда Колесничука Петр Васильевич и Петя находились в приподнятом настроении: готовились к отъезду.

Потом все это возбуждение как-то само собой утихало. Путешествие откладывалось, потом забывалось.

Но вот однажды весной случилось то, чего так боялась Петина мама. Приезжал Колесничук, и после его отъезда Петр Васильевич окончательно решил, что они с Петькой едут.

2

РАНО УТРОМ

Все складывалось очень удачно. Как раз в это время у отца случилось в Одессе арбитражное дело — пустяковое, но канительное, и он все равно должен был выехать туда в командировку. Так что соединялось приятное с полезным. Петя был в сладком, счастливом чаду нетерпения. Мать с горечью чувствовала, что ее мальчик больше не принадлежит ей. Теперь он безраздельно принадлежал отцу.

Последнюю ночь перед отлетом Петя почти не спал. Он то и дело просыпался и смотрел в окно — не настало ли утро. Было начало июня. Мама с девочками и бабушкой жили на даче. Папа и Петя ночевали одни в опустевшей, по-летнему пыльной и тихой квартире. В ванной из душа капала вода. В кухне тоже капала вода, но более солидно, веско. Кроме того, в кухне пощелкивала машинка холодильного шкафа. В передней шумел электрический счетчик. Все эти осторожные, вкрадчивые звуки городской квартиры говорили о том, что в доме еще глубокая ночь. Между тем за окном, над розоворжавыми крышами Замоскворечья, было совершенно светло. Нежно золотились свежие тополя, в воздухе летал туманно-сияющий пух, небо за маленькой старинной шатровой колоколенкой наливалось зеленой водой зари, крепкой, душистой, как бы настоенной на черносмородиновом листе. Внизу, на тротуаре, одиноко и очень громко прозвучали торопливые шаги первого утреннего прохожего.

Отец крепко спал, завернувшись с головой в одеяло. Мальчик с отчаянием вслушивался в его спокойный, неторопливый храп, но не решался разбудить отца. Отец еще вчера вечером, когда ложились спать, строго-настрого велел сыну не вскакивать чуть свет и не будить его.

— А то я тебя знаю — ты и сам не уснешь и мне не дашь выспаться. Попробуй только меня разбудить. Сам улечу, а тебя оставлю дома. Так и знай!

— Ладно, папочка.

— То-то, «ладно». Гляди у меня!

— Да, но если мы проспим?

— Не проспим.
— Да, но — а вдруг проспим?
— Не проспим, говорю тебе! В половине пятого нам позвонят с телефонной станции. Я просил.
— Да, но — а если испортится телефон?
— Телефон не испортится.
— Да, но — а вдруг все-таки испортится?
— Надоел ты мне, братец! Ложись и спи. Все будет в порядке. А станешь ко мне приставать — не возьму, вот тебе и весь сказ!

Что оставалось делать мальчику? Он поставил на стул рядом с кроватью туго набитый новенький рюкзак, проверил новенький термос, с вечера налитый горячим чаем с сахаром, лег и сделал усилие заснуть. Но, конечно, заснуть не мог. Наконец он встал, осторожно оделся в новенький костюм, специально сшитый для путешествия,— пиджачок и короткие спортивные штаны,— надел чулки, новые башмаки на толстых подошвах и тихонько отправился в кухню посмотреть в окно, выходящее на Кремль.

Кремль спал, подернутый синей дымкой ночи, и над его красивыми башнями не ярко, но очень заметно светились рубиновые звездочки. В нескольких окнах Большого Кремлевского дворца виднелся ровный золотисто-парчовый свет и отблеск зеленого абажура рабочей настольной лампы.

Пете даже казалось, что он видит там склоненный над столом силуэт человека с трубкой.

Часы на Спасской башне необыкновенно чисто и мелодично пробили четверть. Ясные, хрустальные звуки колоколов один за другим покатились вниз, прыгая по незримой воздушной лестнице, и, удаляясь, смолкли, а воздух еще долго дрожал над Кремлем. И вдруг мальчик почувствовал необъяснимую, щемящую тревогу. Впервые со всей ясностью и силой он понял, что улетает из Москвы, из своего родного города. И вслед за тем его снова охватило нетерпение — ах, скорей бы уже!

Стараясь не скрипеть и не стучать новыми башмаками, он пробрался в переднюю, снял телефонную трубку и набрал «точное время». Механический мужской голос равнодушно и негромко сказал ему:
— Три часа сорок семь минут.

Петя немного подождал и опять, затаив дыхание, набрал «точное время».

— Три часа пятьдесят две минуты,— неторопливо сказал равнодушный мужской голос.

Петя прислушался: отец спал. Зевая и потягиваясь, он доплелся до своей кровати, на одну минуточку прилег — и проснулся от оглушительно громких, резких телефонных звонков, вдруг наполнивших всю пустынную квартиру.

На стене над кроватью уже нежно светился желатиновый квадрат молодого, малинового июньского солнца, заглянувшего через крыши Замоскворечья в комнату. Отец со спутанными волосами стоял возле Петиной кровати, торопливо завязывал галстук и весело кричал:

— Ну, что же ты, путешественник! Вставай, поднимайся, рабочий народ... Умывайся, собирайся!

А через десять минут наскоро напились в кухне чаю, приготовленного на газовой плите, выключили газ, заперли квартиру, и, отдав ключ дежурной лифтерше, папа и Петя уже стояли на улице с рюкзаками за спиной, поджидали автобус, который должен был заехать и отвезти их в аэропорт. Мальчик с нетерпением всматривался в конец пустынного и по-утреннему чистого переулка, низко и длинно освещенного все тем же желатиновым светом молодого, малинового солнца. А вдруг они забыли? А вдруг они не заедут? Признаться, временами ему действительно хотелось, чтобы они не приехали. Им овладело то двойственное, тревожное чувство, которое так знакомо человеку, впервые уезжающему далеко из родного дома. С одной стороны, хочется поскорее уехать, оторваться наконец от привычной жизни, разом все кончить; с другой — делается чего-то страшно, предстоящая поездка кажется такой ненужной, такой неестественной. Для чего куда-то уезжать, когда дома все было так привычно, покойно, удобно, хорошо?

Петя еще никогда в жизни не летал на самолете. Сказать правду, он побаивался лететь. Но в этом он не мог признаться даже самому себе.

— Ну что же они не едут? — говорил мальчик с искусственным нетерпением.— Честное слово, мы, кажется, опоздаем!

— Небось! Не опоздаем! — говорил отец с веселой, снисходительной улыбкой. Он отлично понимал, что делается в душе его мальчика, и все же не мог отказать себе в удовольствии немножко поддразнить сына: — Что-то мне сдается, сынок, что ты немного того... побаиваешься. А?

— Честное пионерское!..— с жаром восклицал мальчик.

Его лицо, умытое холодной водой, горело, как роза. Теперь ему и вправду казалось, что он ничуть не боится. Да и чего, собственно, бояться? Ведь все летают. Полетит и он. Но, когда вдруг в конце переулка показался по-особенному голубой автобус с двумя таинственными фонариками, розовато-синими, как медуница, у мальчика озябли руки. Он молча, как приговоренный, влез вместе с отцом в автобус. Несколько сонных пассажиров с портфелями и маленькими чемоданчиками равнодушно посмотрели на Петю, который неуверенно поворачивался во все стороны, задевая рюкзаком о скамьи. Мальчик почувствовал в этом равнодушии нечто в высшей степени зловещее.

Для того чтобы не показать своего беспокойства, Петя прошел вперед и сел недалеко от шофера, с преувеличенным вниманием прильнув к переднему стеклу. Автобус тронулся, и навстречу мальчику поплыли, как во сне, прекрасные улицы, розовые от утреннего солнца. На широком новом мосту еще не погасили фонари, и они висели в холодноватом воздухе двумя параллельными линиями, горбатыми, как коромысла. Никогда еще Петя не видел Москву такой грустной и такой прекрасной, как в этот тихий, свежий и пустынный час раннего июньского утра. Она плыла мимо него такая знакомая, такая близкая и родная... Автобус миновал храм Василия Блаженного, который всегда вызывал в Петином воображении представление о громадном узорчатом блюде из сказок «Тысяча и одна ночь», с грудой волшебных плодов — дынь, винограда, груш, ананасов, кедровых шишек, наваленных до самого неба.

Проплыли Спасская башня с золотым ободком громадных часов, бело-розовая зубчатая кремлевская стена и голубые ели перед ней, белые парапеты каменных трибун, Мавзолей Ленина.

За бронзовой дверью мерцала таинственная, бархатная тьма... Петя уже несколько раз побывал в Мавзолее. Прежде чем увидеть самого Ленина, мальчик сперва увидел прозрачное, но необычайно ясное, воздушное отражение Ленина в стекле высокой треугольной крышки. Ленин как бы лежал высоко в воздухе, ни к чему не прикасаясь, слегка повернувшись спящим лицом ко входу. Потом отражение Ленина вдруг исчезло, как фантом, рассеялось, и Петя увидел уже настоящий гроб и настоящего Ленина в табачного цвета френче с орденом Красного Знамени в алой розетке. Одна рука Ленина была вытянута и плотно сжата, как будто крепко держала в кулаке карандаш, а другая легко и свободно, совсем как живая, касалась пальцами груди. И такая простота и вместе с тем такое величие были в этом родном уснувшем лице, что Петя замер на руках у отца и не отрываясь смотрел на Ленина до тех пор, пока его было видно...

Отражаясь в красных и черных гранитных и лабрадоровых плитах Мавзолея, автобус проехал через Красную площадь, и Красная площадь, и Мавзолей, и памятник Минину и Пожарскому, и голубые ели перед зубчатой розовой стеной Кремля, и алый флаг над знакомым куполом Совнаркома, потом улица Горького, Ленинградское шоссе — все, все проплыло мимо мальчика и рассеялось, как утренний сон.

Автобус въехал в ворота аэропорта, и очень скоро Петя и папа стояли уже на траве возле пассажирского самолета.

Мальчик чувствовал себя ничтожно маленьким рядом с этим громоздким и вместе с тем изящным воздушным кораблем, простершим над головой свое длинное широкое крыло. Петя стоял под этим суживающимся к концу рубчатым крылом, как под крышей. Моторы работали. Пыльный вихрь бежал от винтов по траве, раскачивая и прижимая к земле цветы. Оглушенный шумом, Петя стоял рядом с отцом и крепко держался рукой за карман его макинтоша.

И вот они наконец летят.

3

ПОЛЕТ

Сначала Петя сидел рядом с отцом в удобном кресле с откидывающейся спинкой, но вскоре осмелел и стал осторожно прохаживаться по самолету.

Он постоял в хвосте самолета возле наваленных кучей чемоданов и мешков с почтой, затем очутился перед байковой портьерой, за которой виднелась маленькая алюминиевая дверца.

Несомненно, за ней скрывалось нечто очень важное, даже, может быть, секретное: какой-нибудь сложный авиационный прибор, например «автопилот», о котором он не раз читал в «Пионерской правде».

Петя видел, как туда ненадолго заходил командир корабля, причем тщательно запер за собой дверь.

Мальчик долго колебался, прежде чем решился открыть таинственную дверь. Замирая от страха и любопытства, он повернул маленькую алюминиевую ручку. Дверь открылась. К его крайнему удивлению, за ней, в тесном треугольном пространстве, весьма конструктивно была устроена уборная с висячим умывальником, зеркалом и рулоном туалетной бумаги возле алюминиевого сиденья.

Мальчик был разочарован.

Заложив руки назад — как папа — и делая вид, что он прогуливается, он пошел по проходу вперед и остановился возле запертой рубки пилотов, решив терпеливо дождаться, когда кто-нибудь откроет дверь и тогда можно будет увидеть, что там делается.

— Ну как, молодой человек? Летим? — весело спросил курносый и бородатый командир корабля, выходя из рубки.— Не боишься?

— А что мне бояться? — сказал Петя с деланным равнодушием.

— Вот я это самое и говорю: а чего, собственно, бояться?

Петя заметил, что, несмотря на бороду, у командира корабля было совсем молодое лицо, а глаза как у озорного мальчишки.

Тогда Петя вдруг — неожиданно для самого себя —

вытянулся перед симпатичным командиром корабля, как солдат, для чего-то приложил руку к козырьку своей суконной кепки, специально купленной для этого путешествия, и неестественно — официальным голосом произнес:

— Товарищ командир, очень прошу разрешить мне поприсутствовать в штурманской кабине при управлении воздушным кораблем.

И вдруг прибавил тоненьким, искательным голоском:

— Пожалуйста, дяденька, хотя бы ненадолго.

— Но имей в виду,— грозно сказал командир корабля: — руками ничего не трогать. А то знаю я вашего брата пионера. А тронешь — выкину за борт без парашюта. Понял?

— Понял,— ответил сияющий мальчик.

Не веря своему счастью, он вошел на цыпочках в штурманскую рубку. Но кого же он там увидел? Никого. Рубка была пуста!

Под прозрачным колпаком из искусственного авиационного стекла-плексигласа, перед доской со множеством пульсирующих циферблатов, стояли два низеньких кресла, в которых никто не сидел. Перед ними сами собой синхронно покачивались два штурвала, которые никто не держал, а внизу так же синхронно двигались сами собой четыре толстые педали, на которые никто не нажимал ногами.

Можно было подумать, что оба пилота невидимки!

Но это было не так: один пилот — сам командир корабля — стоял рядом с Петей, а другой как раз в это время выходил, согнувшись, из крошечного закутка в коридоре, запихивая в рот половину батона с любительской колбасой.

Пете повезло: был как раз тот волшебный миг, когда самолет летел сам собой, не управляемый человеком.

И мальчик стоял, крепко ухватившись за кожаное пальто командира, очарованный этим чудом автопилота.

Между тем Петр Васильевич, пока его сын переходил от чуда к чуду, сидел глубоко в кресле, вытянув ноги, и наслаждался вынужденным бездельем путешествия. Потом он вздохнул и стал дремать, изредка поглядывая на

сына, который после посещения штурманской рубки совершенно освоился и бегал по всему самолету, приставая к пассажирам и команде с расспросами. А ведь пройдет сорок лет, и, пожалуй, этот самый его сын Петя с нежностью и грустью будет вспоминать сегодняшний день, так же как теперь он сам, его отец, вспоминает свое первое путешествие в дилижансе, а потом на пароходе «Тургенев». Тогда маленький колесный пароходик, который при попутном ветре ставил кливер, казался ему могучим достижением техники, а теперь он не мог вспомнить без улыбки его грубую, неуклюжую паровую машину, его красные колеса, его еврейский оркестр. Очень может быть, что через сорок лет, отправляясь в путешествие на каком-нибудь межпланетном корабле, его Петя — тогда уже солидный, уважаемый член коммунистического общества — вспомнит этот день, автобус, старомодный пассажирский самолет и улыбнется с такой же нежностью и грустью, с какой улыбается теперь Петр Васильевич Бачей.

А самолет продолжал все лететь и лететь под непрерывную, однотонную и многострунную могучую музыку своих моторов. Он летел на высоте около двух тысяч метров. Два слоя высоких летних облаков были под самолетом, и один слой находился над ним. Моторы опять переменили тон. Самолет стал пробиваться вверх, сквозь третий слой. Стало прохладно. Дышать сделалось еще легче. Кровь нежно и свежо шумела в ушах. За окном постепенно все заволоклось серым, быстро проносящимся туманом. Самолет вырвался из третьего слоя облаков. Теперь над ним было ярко-синее, холодное, совершенно чистое небо. Солнце обдавало жаром, и вместе с тем было холодно, как в горах.

Большая тень самолета, все время мелькавшая рядом, пронеслась по верхнему слою облаков, вдруг сорвалась с облака, очутилась, значительно уменьшившись, где-то внизу, скользнула по второму слою облаков, потом опять сорвалась, пронеслась, сильно увеличившись, опять по первому слою, сорвалась, провалилась в мгновение ока на головокружительную глубину, пролетела по какому-то лугу, маленькая, как стрелка, потом опять села на верхний слой и некоторое время мчалась на облаке, а потом вдруг опять стала проваливаться в без-

донную глубину, прыгая вниз по облачным слоям, как по широким ступеням.

Сделали посадку в Харькове.

Оглушенный тишиной, Петя опустился по алюминиевой лесенке и, чувствуя гудение во всем теле, с наслаждением растянулся на горячей траве.

У него был заранее составлен план деятельности во время путешествия. Во время полета он должен был непрерывно наблюдать за всеми явлениями природы и тут же записывать в особую тетрадь.

Помимо крупного научного значения, которое могли иметь эти заметки для кружка юных натуралистов, вице-президентом коего состоял Петя, в них была еще та прелесть, что в начале каждой заметки можно было обозначать: «Столько-то часов, столько-то минут и секунд по среднеевропейскому времени, температура воздуха такая-то, на борту самолета номер такой-то».

Чего стоило одно это лаконичное «на борту»!

Кроме доклада, который Петя рассчитывал сделать после возвращения из путешествия, не исключалась возможность напечатать эти научные материалы, а также корреспонденции с пути в «Пионерской правде».

Петя предвкушал, какой эффект они произведут среди широких читательских масс, в особенности великолепная фраза: «На борту самолета».

Поудобнее устроившись на траве и стараясь писать как можно небрежнее, что должно было соответствовать его нахождению в полете, он нацарапал на открытке: «На борту самолета № 2897». Но тотчас же испытал неловкость.

Он был правдивый мальчик. Даже самая маленькая ложь приводила его в смущение. Десять минут назад он действительно находился на борту, но ведь сейчас он лежит животом на земле на пыльных ромашках. Не писать же, в самом деле «лежа на земле, недалеко от самолета № 2897»!

Петя находился в большом затруднении. Он уже был готов с величайшим душевным прискорбием стереть ластиком магические слова «на борту», как вдруг ему пришла очень простая мысль: стоит только влезть обратно в самолет — и тогда с чистой совестью можно писать «на борту». Он собрал свои походные письменные принад-

лежности и уже было взялся руками за лесенку, чтобы вскарабкаться «на борт самолета», как вдруг увидел группу новых пассажиров, приближавшуюся к их самолету.

Впереди шел командир корабля, неся на плече девочку лет восьми. Петя никогда еще не встречал таких хорошеньких девочек. На ней была украинская рубашечка с широкими рукавами, а в косы вплетены разноцветные ленты. На смуглой шейке болталось несколько ниток бус. На прелестной лаково-черной головке боком сидел большой венок из ромашек, который она, по-видимому, успела сплести, дожидаясь самолета.

— Ну,— сказал командир корабля, обращаясь к Пете, и поставил девочку на траву,— нравится тебе эта девочка? Познакомьтесь. Галочка, дай мальчику руку.

Она протянула Пете кокетливо загорелую ручку с розовой ладошкой и посмотрела на него снизу вверх карими глянцевитыми глазками, весело блестевшими из-за редких ресниц, черных, как сухие чаинки.

Старушка с авоськой, сопровождавшая девочку, стала оправлять на ней юбку. Затем все поднялись в самолет, а старушка осталась на земле. Оказывается, девочка путешествовала одна. Пробираясь в штурманскую рубку, командир корабля сказал Пете:

— Ты ее смотри не обижай. Возьми над ней шефство.

— Ладно,— солидно буркнул Петя.

Девочка оказалась ничуть не робкой, разговорчивой, и скоро Петя узнал, что она живет в Харькове у бабушки, маминой мамы, и теперь едет в Одессу повидаться с папой; что папа у нее пограничник; что командир корабля, дядя Вася,— старый приятель папы, так что всякий раз, когда ей нужно повидаться с папкой, дядя Вася берет ее на свой корабль и везет в Одессу. Девочка рассказала также, что она учится в школе в первом классе, перешла во второй, ходит в кружок народного танца и уже два раза плясала на сцене в клубе железнодорожников. Еще Петя узнал, что мама девочки умерла, а у папиной мамы есть старенький папа, дедушка Родион Иванович, бывший матрос Черноморского флота, потемкинец, и что дедушка этот проживает сейчас в городе Николаеве.

Так вот оно что! Оказывается, девочка-то совсем не простая. В особенности поразил Петино воображение дедушка с легендарного «Потемкина», о котором мальчик не раз слышал от отца.

Петя уселся в кресло, разложил на коленях свои письменные принадлежности и собрался писать, сказав девочке наставительно:

— Ты, Галочка, не бойся. Смотри на меня. Я же ведь не боюсь, не так ли? Держись за кресло. Или, лучше всего, сядь.

— Я не хочу сидеть,— сказала девочка.

— Ну, так стой. Только не вертись все время перед глазами и не мешай мне писать.

— Ничего подобного!

— Что «ничего подобного»? — строго спросил Петя.

— Ничего подобного! — повторила девочка.— Я не хочу стоять. Я хочу бегать. Давай бегать!

— На борту самолета надо вести себя прилично,— внушительно сказал Петя.— Бегать не полагается. Смотри лучше в окно — будешь мне помогать делать метеорологические наблюдения.

Он взял девочку за плечи и прижал ее головой к стеклу.

— Гляди и наблюдай. Когда самолет будет отрываться от аэродрома, сейчас же сделаешь мне знак. Это очень важный момент.

— Ничего подобного! — быстро сказала девочка, упрямо мотнув своей черной головкой.

— Что «ничего подобного»?

— Ничего подобного, мы уже давно летим.

Петя снисходительно усмехнулся:

— Не летим, а еще пока бежим. Видишь?

Из-под большого крыла, грубо простроченного вдоль и поперек клепкой, бежала назад струящаяся зелень аэродрома. Она была так близка, что до нее, казалось, можно легко дотянуться рукой.

И вдруг откуда-то спереди, снизу вывернулось большое дерево, оно махнуло прямо в лицо Пете всей своей темной массой, мигающей на солнце мелкими листьями. Мальчик отшатнулся от окна и вскрикнул:

— Ой!

Он съежился и зажмурился. Вот сейчас, сию секунду, раздастся ужасающий треск, и все будет кончено.

Но вместо этого он услышал вызывающий хохот девочки.

— Ай, как не совестно! Испугался?

Петя приоткрыл глаза и покосился в окно. Под крылом так близко пронеслась черепичная крыша, что, казалось, самолет вот-вот чиркнет по черноватой черепице и свалит трубу.

Мальчик опять отшатнулся и зажмурился:

— Ох!

На этот раз девочка с любопытством посмотрела на побледневшего Петю:

— Видишь, а ты еще споришь, что бежим. Не бежим, а летим. Моя правда.

— Мне показалось,— смущенно сказал Петя.

— «Показалось, показалось»! — сварливо заметила девочка, явно кому-то подражая, наверное бабушке.— Ты, наверное, первый раз летишь на самолете, что бреющего испугался? Да?

Петя суетливо заерзал в кресле.

— Чего бреющего? Где бреющий? — спрашивал он, вертясь и оглядываясь во все стороны.

Девочка снисходительно улыбнулась:

— Чудак человек! Давно уже идем на бреющем. Посмотри, не бойся.

Она потянула его за рукав к окну. Близко под крылом продолжала бежать земля. Неслись дороги, телеграфные столбы, грядки, колодцы-журавли. Большая тень самолета с острыми распластанными крыльями и высоким рулем пересекала огороды. Она ломалась на плетнях, вспрыгивала на деревья, снова падала и стремительно стлалась по неоглядным полям колхозной пшеницы, густой и на вид мягкой, как мех.

Дух захватывало от этого могучего движения машины, которая неслась над самой землей, пугая ревом овец, разбегающихся во все стороны в облака белой, степной пыли.

Петя уже ничего не боялся. Его душой овладело отчаянное, удалое чувство бреющего полета.

Как не похоже было это чувство на холодноватое наслаждение медленным, почти неподвижным полетом на

высоте двух тысяч метров, между ярусами больших и маленьких облаков, сонно плавающих над плоскогорьями мира!

Там, несмотря на пощелкивание в ушах и напористый, напряженный хор моторов, было спокойное, почти безмятежное созерцание.

Здесь Петя чувствовал восторг головокружительного движения, опасной борьбы с пространством и временем.

Самолет перестал быть птицей, он мчался очертя голову, как воздушный автомобиль, почти задевая землю и перепрыгивая через скирды старой соломы и пирамидальные тополя.

И Пете казалось, что он сам, вцепившись руками в откидную спинку переднего кресла, изо всех сил гонит могучую машину вперед и вперед, на юг, навстречу какому-то неизведанному счастью.

Во все стороны, до самого горизонта, простиралась еще никогда не виданная Петей степь.

Вдоль балок тянулись белые мазанки больших украинских сел. Солнце жарко блестело в мелкой воде ставков, где плавали гуси и утки. Стали попадаться ветряные мельницы.

Все было иевиданно, все было ново. Но главная новизна заключалась в яркости и силе солнечного света, как бы в светоносности самого воздуха, накаленного, пронизанного не только видимыми лучами солнца, но также и невидимыми — теми таинственными, лежащими за пределами спектра ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами, которые с ощутимой силой касались Петиной кожи, льнули к ней, почти обжигали.

В самолете становилось все жарче, все душнее. Но это была какая-то легкая, целебная духота.

Петя замечтался, его стало клонить ко сну, но вдруг он вспомнил, что надо писать открытки. Теперь они могут выйти совсем замечательные. Мало того, что там будет неотразимая пометка «на борту самолета», — к этому теперь можно прибавить еще более небрежным, даже еле разборчивым почерком великолепное «на бреющем полете». Шутка сказать! Нет, товарищи, такой случай пропустить нельзя, такой случай бывает раз в жизни!

Петя встрепенулся и стал торопливо доставать из нагрудного кармана письменные принадлежности.

Но их не оказалось, они исчезли.

Петя вскочил с кресла и тут же почувствовал, что на его голове что-то подскочило и съезжает на лоб. Он схватился за голову и обнаружил, что кепки нет, а вместо нее надет венок из ромашек.

Галя в Петиной кепке набекрень сидела в хвосте самолета на чемоданах и, болтая ногами, рисовала Петиным карандашом на Петиных открытках.

— Ну, это уже черт знает что! — воскликнул мальчик, густо краснея.

Он больше всего боялся на свете показаться смешным. И вот именно теперь, в самый высокий, почти торжественный момент героического бреющего полета, на глазах у пассажиров он оказался в таком юмористическом, просто дурацком виде: взъерошенный, обманутый, с венком на голове. Он готов был заплакать от злости и обиды.

— Сейчас же отдай мои письменные принадлежности! — сказал Петя, сверкнув глазами, черными, как антрацит.— Слышишь? Сию же минуту!

Но девочка ничуть не испугалась. Она замахала руками и вдруг залилась таким простодушным, чистым смехом, что показалось, будто в самолете стали звонить в маленький хрустальный колокольчик.

— Не смей портить мои открытки,— отчеканил Петя,— не смей рисовать на моей бумаге! Она мне нужна для научной работы! Понятно?

Но, очевидно, девочке это было непонятно, так как она сморщила нос и дерзко показала Пете язык.

В один миг он забыл, что является вице-президентом кружка юных натуралистов, и ринулся в бой, воинственно выкрикивая:

— Отдай открытки! Отдай кепку! А то знаешь...

Он хотел ее схватить, но она, как обезьянка, прыгала по чемоданам, увертывалась, падала, хохотала, выскальзывала из рук.

— Папа! Ну папа же! — плаксиво взывал Петя к отцу.— Скажи ей, пусть она сейчас же отдаст мои открытки!

Но все симпатии Петра Васильевича были на стороне быстрой, ловкой девочки.

— Какой же ты, братец, пионер, если не можешь справиться с такой маленькой девочкой!

Петя жалобно оглянулся на пассажиров, но и у них не нашел сочувствия.

Все были на стороне девочки.

«Ах, так! — подумал он.— Так я же вам всем сейчас покажу!» — И он, ловко прыгнув на чемоданы, схватил девочку за плечи.

— Сдавайся! — сказал он сопя.

Но в тот же миг девочка сжалась в комок и вдруг скользнула вниз, как будто выпала из рук. Петя плашмя упал на нее. Но она уже успела выползти, как ящерица, из-под чехлов с другой стороны и побежала к штурманской рубке. Петя бросился за ней, но она, показав язык, захлопнула алюминиевую дверцу перед самым его носом. Петя стал барабанить по ней кулаками, крича:

— Ага! Испугалась? Ага!

Тут дверь отворилась, и Петя увидел перед самым своим носом высокую фигуру дяди Васи.

— Ну нет, товарищи, это не годится. Так вы мне весь аэроплан поломаете. Довольно баловаться, а то я вас обоих покидаю за борт. Хватит. Миритесь!

— А пускай она сначала отдаст мои письменные принадлежности!

— А пускай он за мной не гоняется!

— Миритесь! — рявкнул командир.

— Это она виновата. Пускай она первая.

— Ничего подобного! Он первый.

— Галка, не ври! — строго сказал командир корабля.— Я тебя хорошо знаю. Ты всегда начинаешь. Мирись! Ну, кому я говорю?

Она скромно опустила ресницы и, не глядя на Петю, подала ему из-за спины командира открытки и кепку.

— Спасибо,— буркнул Петя.

— Ну? — сказал командир корабля.

Девочка из-за спины командира протянула Пете согнутый мизинчик и застенчиво подняла на мальчика глаза.

— Ну?

Петя с недоумением смотрел то на командира корабля, то на смуглый мизинчик, не понимая, чего от него хотят.

— Ну? — сказал командир корабля, подталкивая его к девочке.— Не знаешь, что нужно делать?

— Нет, не знаю.

— Чудак человек! Неужели не ясно? Она предлагает мир.

— У них, наверное, в Москве так не мирятся,— сказала девочка.

— А у вас на Украине как мирятся? — с живейшим интересом спросил Петя.

— Смотря где. У нас в Харькове, например, мирятся так.

И девочка тут же показала, как мирятся в Харькове: она зацепила мизинчик за мизинчик, потрясла и расцепила.

— Хочешь?

Петя снисходительно пожал плечами:

— Пожалуйста.— И, став боком, он протянул девочке мизинец, согнутый, как ручка чайной чашки.

Они сцепились мизинцами и смущенно, как это, впрочем, всегда бывает, когда люди мирятся, покачали руками и расцепились.

— Мир? — радостно спросила девочка.

— Мир,— ответил Петя также радостно и посмотрел девочке в глаза.

— Инцидент исчерпан,— сказал командир корабля и, как доброе божество, величественно удалился в штурманскую рубку.

Мальчик и девочка некоторое время стояли, глядя в разные стороны. Они не знали, что им делать друг с другом теперь, когда они были официально в мире.

— Знаешь что? — наконец сказала девочка с таким видом, как будто сделала необыкновенно важное открытие.

— Что?

— Давай будем гулять по самолету.

— А зачем? — резонно спросил солидный Петя.

— А нарочно,— легкомысленно тряхнув всеми своими лентами и бусами, сказала девочка.

— А давай! — вдруг с самым бесшабашным видом сказал Петя, поддаваясь очарованию ее легкости и веселья.

И последний час воздушного путешествия прошел совсем незаметно.

4

У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ

— Море! — весело сказал командир корабля, показываясь на пороге своей рубки.

— Море! Море! — кричала девочка.

— Черное море,— тихо сказал Петр Васильевич, крепко прижимая к себе сына.

— Где же оно, где? — беспокойно спрашивал мальчик, прижимаясь лицом к окну.

— Да вот же оно. Под нами. Неужели не видишь?

Петя посмотрел насколько было возможно вниз и вдруг глубоко под собой увидел кусок цветной географической карты. Он совершенно отчетливо увидел неровную линию, отделявшую бурую сушу от аквамариновой воды.

Длинные синие морщины в несколько рядов тянулись вдоль берега, в точности повторяя его очертания.

— Что это такое? — спросил Петя, все еще ничего не понимая.

— Это море. Это волны Черного моря.

Петя ожидал увидеть Черное море громадным, грозным, если не вполне черным, то, во всяком случае, черноватым, с резким горизонтом. Вместо этого он увидел мелкие береговые подробности — табун зеркально блестевших на солнце лошадей, которых, вероятно, только что выкупали и теперь гнали обратно в степь, развешанные рыбачьи сети, маленькие перевернутые шаланды со свежевысмоленными днищами, а все остальное громадное пространство моря тонуло в серебристом сиянии воздуха, так что, глядя против сильного утреннего солнца, невозможно было его увидеть. Его можно было только угадывать. Но уже одно сознание, что море, которого он никогда в жизни не видел, почти рядом, под самым подбородком, наполнило Петину душу восхищением, которое дошло до восторга,

когда вдруг внизу, вновь в солнечном мареве, он увидел пароход. Не речной, а настоящий морской пароход с красным пояском на черной трубе и бурым хвостом дыма над незримой, сияющей водой.

Заходя с моря, самолет стал делать круг, и теперь мальчик снова видел обыкновенную сухую, сероватую степь, а в степи два синих лимана.

Под крылом побежала трава, степные ромашки, самолет коснулся земли, подскочил и покатился.

Открыли дверцу, спустили лесенку.

В Одессе юг царил безраздельно. Знойное утро сияло над тишиной степного аэродрома. Раскаленный воздух струился по горизонту, и Петя увидел незнакомые ему перистые уксусные деревца и белые аэродромные постройки, утонувшие в разросшихся, одичавших цветниках, которые волнисто шевелились вдалеке, как отражение в текучей воде.

— Папка! — крикнула Галя, с визгом бросаясь вперед, к человеку, присевшему перед ней на корточки и раскинувшему руки.

Она ринулась в эти раскинутые руки и тотчас взлетела вверх.

Выгоревшая фуражка пограничника упала в траву. Он усадил девочку на бурую от загара шею.

— Петя, иди сюда, смотри, это мой папка! — говорила она возбужденно, вся сияя от счастья, с удовольствием произнося слово «папка».— Папка, смотри, это мальчик Петя. Мы вместе летели от Харькова. А это Петин папка. Они командировочные.

Девочка болтала, не умолкая, в простодушном восторге, что в мире все так хорошо устроено: у нее есть папка, и у Пети есть папка...

— Вот и ладно,— весело сказал папка-пограничник.— Стало быть, этот молодой человек приятной наружности твой новый кавалер?

— Я не кавалер,— смущенно сказал Петя.

— Он вице-президент,— сказал Петр Васильевич.— Вы с ним не шутите!

— Еще того лучше,— ответил пограничник.— Мы любим вице-президентов.

У Галиного папки было приветливое лицо с синими глазами, с крупным обветренным, волевым ртом, с мел-

кими бисерками пота на носу. Весь он был такой сильный, складный в своих запыленных сапогах, выгоревшей льняной гимнастерке с расстегнутым и отогнутым воротником, аккуратно подшитым свежим белоснежным подворотничком: настоящий командир-пограничник.

Мальчик уже был готов, пользуясь случаем, поговорить со знающим человеком о пограничных делах, о диверсантах, о собаках, но в это время подъехал грузовик.

— Ну, Галина, это за нами. Прощайся со своим кавалером.

— До свиданья, мальчик.

— Куда же вы едете? — спросил Петя, с горечью чувствуя, что сейчас, сию минуту это прелестное знакомство безжалостно прервется и он уже больше никогда не увидит веселую, пеструю девочку.

— В Бессарабию,— радостно сказала девочка, по-видимому не испытывая ни малейшего сожаления, что навсегда расстается с Петей.

Мальчик почувствовал нечто вроде обиды.

— А я думал, ты будешь жить в Одессе. Значит, больше не увидимся?

— Значит, не увидимся.

Она держала Петю за мизинец и раскачивала его руку.

— Ну, дочка, хватит прощаться!

Пограничник посадил девочку рядом с водителем и, подойдя к Петру Васильевичу, представился:

— Старший лейтенант Павлов. Так сказать, здравствуйте и прощайте.

— Очень приятно. Бачей.

— Ну, это я знаю,— улыбаясь одними глазами, сказал Павлов.— Вы у нас в Москве в клубе НКВД в позапрошлом году читали лекцию по истории советского права. Не помните? А я вас сразу узнал. Долго собираетесь пробыть в Одессе?

— Недели две-три. Как позволят дела. У меня здесь арбитраж.

— В Бессарабии у нас побывать не предполагаете?

— Хотелось бы. Это моя заветная мечта. Бессарабия, роскошно выражаясь,— страна моего детства. Бугар Шабо. Аккерман. Будани.— У Петра Васильевича заблестели глаза, когда он произносил эти слова.

— Так милости просим к нам на заставу. Может быть, проведете между делом одну-две беседы на юридические темы с комсоставом. Будем вам очень благодарны. Только не откладывайте.

— А что?

— Знаете, какое сейчас время. Там по стране не слишком ощущается, а у нас на границе заметно. Я и дочку на всякий случай надеюсь повидать...

— Вы думаете? — после некоторого молчания спросил Петр Васильевич.

— Значит, ждем! — Потом он крепко пожал Петру Васильевичу руку, одним махом прыгнул в грузовик, и машина в облаках особенной, белой и душной черноморской пыли умчала старшего лейтенанта Павлова и его дочку со всеми ее лентами, бусами и венком харьковских ромашек, съехавшим набекрень.

Петя с отцом остались одни.

На миг Петр Васильевич почувствовал беспокойство, какую-то странную душевную тесность, как будто бы увидел неизвестно откуда явившуюся тень, скользнувшую по сухой, счастливой, сияющей от июньского зноя земле.

Их никто не встретил.

Правда, Колесничуку была отправлена телеграмма, но на него была слабая надежда. Бачей хорошо знал характер Колесничука.

Отец взял сына за руку, и они бодро зашагали в город, до которого было пять-шесть километров. Для путешественников-пешеходов не так-то много.

Сначала они шли по суховатой траве аэродрома, потом по пыльной степной дороге.

— Ну как, Петушок? Хорошо?

— Очень!

Мальчик сказал правду. Ему очень нравилось идти рядом с большим, веселым отцом, чувствуя себя не только любимым сыном, но также младшим товарищем, и наслаждался свободой, какой-то особой мужской независимостью.

Но от южной природы Петя ожидал большего. Она оказалась слишком скромной, неяркой.

На деревьях белой акации подсыхали гроздья уже осыпающихся цветов. Глубокие колеи черноземной до-

роги были доверху насыпаны их сухими желтовато-белыми ушками.

Мальчика разморило, он начал уставать.

В это время показался старинный автомобиль с брезентовым верхом. Из него выскочил Колесничук. Теперь он совсем не был похож на того застенчивого, неловкого командировочного, который привозил в Москву годовые отчеты и сиеньские. Это был совсем другой человек: во всем полотняном, в сандалиях, малиновый от раннего загара, размашистый, он скорее походил на капитана, чем на бухгалтера.

— Что ж ты нас не встретил на аэродроме, старая собака! — блестя глазами, сказал Петр Васильевич, поглаживая Колесничука по широкой спине.

— Да, понимаешь, машина подвела. Обратил внимание на мою машину? — не без гордости сказал Колесничук.— Ее продали на лом, а мы ее сами со Святославом восстановили. Как тебе нравится? Кадилак!

— Кадилак из Кобеляк,— сказал Петр Васильевич.

— Остряк-самоучка! — ответил Колесничук.— Святослав, разворачивай машину, бери к себе хлопчика!

И Петя очутился рядом с шофером Святославом, высокомерным молодым человеком в спортивных тапочках и лиловой футболке. Дребезжа, машина поскакала в город. Иногда Пете казалось, что она даже брыкается. Но недаром Колесничук представил Святослава мировым водителем, лучшим шофером-механиком Одесской области. С выражением непреклонной воли и ледяного спокойствия Святослав обуздывал строптивую машину, не давая ей безобразничать.

Наконец въехали в город, в кружевной тени акаций со звоном прокатился вагончик трамвая, из окон и с площадки которого торчал целый лес длинных канареечно-желтых бамбуковых удочек.

На пароконной платформе с откидными бортами провезли лед. Длинные, мокрые бруски льда с концами, подтаявшими в виде воронок, гремели и прыгали по доскам. Один брус льда соскользнул на гранитную мостовую, рассыпая вокруг себя капли воды, яркие, как брильянты. Сноп сухих солнечных лучей ударил в глаза откуда-то из самой глубины ледяного бруска.

Петя зажмурился и вдруг с особенной остротой по-

чувствовал всю новизну этого знойного, южного полдня в незнакомом городе, где-то на краю света, в соседстве с близким, но еще не виданным морем.

И вдруг вся душа его вздрогнула, когда на одном из поворотов какого-то беспокойно-длинного бульвара, среди сияющих в пыльной зелени санаториев с фонтанами, мраморными статуями и полосатыми пижамами отдыхающих, он увидел внезапно море.

Оно было так близко, что до него, казалось, легко можно добросить камень. Оно резко синело в конце переулка, между двумя потемневшими ракушниковыми заборами, утыканными сверху осколками бутылочного стекла.

Дочерна пыльная масса дикого винограда переваливалась через ограды, до земли висела своим тяжелым руном.

Таков был переулок. Море запирало его поперек своими синими воротами, превращая в тупик.

Машина последний раз прыгнула и остановилась.

— Приехали!

Они вылезли из машины и пошли по переулку. Море расширялось, отступало.

Петя увидел внизу берег.

Между краем обрыва и берегом лежало пространство, беспорядочно поросшее бурьяном и кустами одичавшей сирени. Оно явственно хранило следы многочисленных старых и новых оползней. Подмываемый подпочвенными водами, берег сползал в море террасами.

На одной из них виднелись остатки гипсовой балюстрады с почерневшими балясинами, нанизанными на старые железные прутья. Лежала свалившаяся набок декоративная ваза, рядом с ней росла старая туя.

Петя не увидел во всем этом ничего, кроме довольно скучной, хотя и живописной картины оползней.

Но Петр Васильевич вдруг остановился, пораженный тенью какого-то давнего воспоминания. Что здесь когда-то было: маленький Гаврила Черноиваненко и маленькая Мотя, осторожно положившая руку на плечо Петра Васильевича — тогда маленькая Мотя — и парус дедушкиной шаланды, увозившей матроса в чужие края — легкий и воздушный, как чайка; или, может, было совсем, совсем другое: небо, осыпанное звездами, и девушка с

лицом того неопределенного слепого, белого цвета, какого бывают летней ночью цветы садового табака.

— Старина, очнись!

Петр Васильевич вздрогнул и очнулся.

— Давай вниз,— сказал Колесничук.— Бегать не разучился?

И они оба ринулись вниз по пересеченному пространству побережья.

Петя бежал перед ними, перепрыгивал через трещины оползней.

— А где же Гаврик? — спросил Бачей.

— Он, оказывается, на десять дней выехал по срочному заданию в район.

— Жаль.

— Ничего. У нас впереди много времени. Еще, как говорится, побачитесь.

— А как у него вообще...

— В полном порядке.

— Ну, слава богу. Постарел?

— В нашем возрасте уже, братец, не молодеют.

Из-под их ног поднималась пыль: местами коричневая, глинистая, местами черная, земляная.

Колесничук остановился и великолепным жестом простер руку вперед.

Петр Васильевич улыбнулся. Как и следовало ожидать, «вилла» Колесничука, о которой он иногда вскользь упоминал во время своих приездов в Москву, оказалась довольно нелепым доморощенным строением, сооруженным без всякого плана из случайного материала.

Стены были сложены отчасти из старого кирпича, добытого из уцелевших фундаментов дач, разрушенных оползнями, отчасти из ракушечника. Вместо извести камни и кирпичи были скреплены зеленой морской глиной. На крышу пошли ржавые листы кровельного железа, старая черепица, куски толя, ящичной фанеры. Сверху для прочности лежали морские камни. Имелась открытая терраса, до самого верха поросшая вьюном, унизанным «граммофончиками» крупных синих цветов с розово-аметистовой серединой.

Петя увидел прислоненные к стене красные весла и руль дощатой шаланды.

Недалеко от дома, среди высокого бурьяна, дымилась

летняя глиняная печь: плита с чугунком без дна, вмазанным сверху в дымоход.

На плите бурно жарилась рыба.

Женщина с подвязанными жесткими курчавыми волосами иссиня-черного цвета, с усиками, в вышитой украинской сорочке, полная, с красным, воспаленным лицом, хлопотала возле плиты, по-видимому испытывая действие двойного адского жара: солнца и пылающего кизяка. Это была жена Колесничука Раечка.

Жирные куры, тоже казавшиеся одетыми в вышитые украинские сорочки, ходили в бурьяне запущенного огорода, и над ними вздрагивали зонтички укропа.

И все это взятое вместе на фоне шумно катящихся пенистых волн — крупных, мутно-желтых, как бы даже немного подбеленных сметаной наподобие щей из щавеля,— имело такой уютный, простодушный, а главное, такой гостеприимный вид, что мальчик невольно широко улыбнулся.

— А! — закричала Раечка, или, как она теперь называлась, мадам Колесничук, вытирая жирные руки о передник, и побежала к гостям.— Боже мой! Сколько лет, сколько зим! Старый друг, Петька Бачей!

Она заплакала и обняла Петра Васильевича, положив ему на плечо голову.

— Жорж, отвернись, я его сейчас буду целовать,— говорила она, плача и смеясь.— Что же ты, Петька, приехал без своей жинки?.. Постой! А это что за мальчик? Это твой сын? Боже мой, сын Петьки Бачей! Что-то невероятное!

Она бросилась к мальчику и стала его обнимать, покрывая его лицо жаркими поцелуями.

— Как же его зовут? Тоже Петя? Я так и думала. Петька Бачей номер два. Нет! Это что-то фантастическое. А ну, Петечка, дай на себя посмотреть. Вылитый папа!

И она снова засмеялась и заплакала, и счастливые слезы бежали по ее багрово-красному доброму, толстому лицу с маленькими усиками.

...И началась жизнь на берегу Черного моря, так не похожая на ту, которую Петя-младший привык себе представлять в Москве, думая о путешествии в Одессу. В ней, в этой жизни, не было ни опасностей, ни приклю-

чений. Наоборот. Над маленьким, таким нелепым и таким милым домиком Колесничуков вечно сияла глубокая, золотая тень знойного черноморского лета. С ровными промежутками неутомимо, вечно разбивались о берег длинные волны. Море страстно вздыхало, обдавая острым устричным запахом ракушек и тины. Ночью в побеленной известкой комнате, где на двух парусиновых раскладушках-козликах спали Петя-старший и Петя-младший, на потолке в углу всегда сидела огромная треугольная бабочка «мертвая голова»; изредка она начинала судорожно трепетать крыльями и таинственно, угрожающе гудеть. Черное небо, осыпанное млечными летними звездами, висело за окном. Луч маяка смешивался с созвездиями. А море все вздыхало и вздыхало...

5

ВОЙНА

Но вдруг все спуталось, смешалось. Петя утратил ощущение времени. За два с половиной месяца, которые прошли с того зловещего воскресенья, когда началась война, произошло столько событий, что мальчик потерял им счет и порой с трудом мог восстановить их последовательность. Петр Васильевич и Петя оказались отрезанными от Москвы. Они застряли в Одессе. Рейсовые самолеты были отменены. Пассажирские поезда были временно отменены. Телеграммы принимались только военные и правительственные. В городе шла мобилизация и все связанное с нею. Петр Васильевич сделал попытку выбраться из Одессы морем. Но все пассажирские пароходы, уже перекрашенные в серо-свинцовый цвет и превращенные в транспорты, перевозили войска и боеприпасы. С дачи пришлось переселиться в город, так как все побережье объявили запретной зоной. Наконец-то мальчик увидел город. Но это уже был совсем не тот город, который Петя один раз мельком увидел по дороге с аэродрома на знаменитую «виллу». Улицы, грозно освещенные — после ночного налета — каким-то сухим, особенно белым и безжизненным, но ослепительно сильным солнцем, казались необыкновенно длинными, пу-

стыми, неприбранными. На стенах выгорали однообразные белые листки военных приказов...

И вот однажды Петя увидел отца в военной форме, постриженным более коротко, чем он обычно стригся.

Петр Васильевич по своему возрасту и по своему довольно видному служебному положению мог бы добиться отсрочки и, вернувшись в Москву, получить броню. Но он предпочел идти на фронт. Он решился на это быстро, без малейших колебаний. Он не мог себе представить, чтобы можно было поступить иначе. Колесничука аттестовали интендантом третьего ранга и назначили начальником какого-то продовольственного склада, а Петр Васильевич от административно-хозяйственной должности отказался и попросился в строй. Как старого артиллериста, его зачислили в артиллерийский полк, который как раз в это время формировался в городе.

Пока получали лошадей и приводили в порядок материальную часть, Петр Васильевич сделал еще одну попытку отправить Петю в Москву. К этому времени железнодорожное сообщение немного наладилось, и Петру Васильевичу удалось посадить Петю в переполненный товаро-пассажирский поезд. Мальчику предстояло ехать одному. Но, в конце концов, он уже был не так мал, и надо же когда-нибудь начинать самостоятельную жизнь. Петр Васильевич — в военной форме — втиснул мальчика в вагон, поручил его заботам измученной проводницы, дал ему на дорогу сто рублей, письмо для матери, поерошил его волосы, и они простились.

Петя уехал. Но поезд добрался только до станции Котовск. Впереди разбомбили мост. Поезд простоял на путях трое суток, а потом его вернули назад в Одессу. Однако, когда Петя добрался с вокзала по малознакомым улицам с закамуфлированными домами к Колесничукам, оказалось, что отец уже на фронте, Колесничук в командировке, а заплаканная Раиса Львовна укладывает вещи, так как за эти дни положение на фронте резко ухудшилось и начиналась эвакуация населения.

Но прошло еще по крайней мере полтора месяца осады, постоянных воздушных налетов, артиллерийских раскатов на подступах к городу, дыма, зноя, прежде чем наконец в начале сентября Раиса Львовна с вещами и Петей очутилась в знойном, полуразрушенном порту,

среди толпы горожан, желающих попасть на теплоход, уходивший из осажденной Одессы в Новороссийск. В порту Раису Львовну вместе со всеми ее чемоданами и узлами оттеснили к железной рубчатой стене пакгауза, и она видела, как толпа унесла Петю и притиснула к самым сходням и как потом мальчика пропустили вперед и чьи-то добрые руки втащили его на палубу. Раиса Львовна осталась в порту. Теперь Петя был один среди чужих людей. Ночью под вой сирен воздушной тревоги, под слитную трескотню зениток, при багровых отсветах городских пожаров теплоход отошел от пристани. Едва он поравнялся с Дофиновкой, как его атаковали фашистские самолеты.

В три часа ночи, когда Петя выбрался на палубу, теплоход уже горел в нескольких местах. Совсем близко от себя мальчик увидел маленькую зажигательную бомбу, которая только-только упала и начинала разгораться.

Матрос в резиновых сапогах пробежал мимо Пети, отбросив его рукой в громадной, грубой брезентовой рукавице. Вокруг метались люди. Отворачиваясь от искр, матрос схватил «зажигалку» за хвост, но тотчас выронил — она прожгла ему рукавицу.

Другой матрос, в неприятно белой асбестовой маске со страшными прямоугольными глазницами, сыпал из ведра песок на обуглившуюся палубу.

Потом в темном небе зажглись две ослепительные ракеты, сброшенные с невидимого самолета. Сильный, какой-то неестественный свет, резко сократив на палубе тени мачт и тросов, беспощадно озарил сверху все закоулки горящего теплохода, и люди на миг оцепенели. Потом послышался ужасный звук падающей бомбы.

— Ложись! — отчаянно закричал чей-то голос.

У Пети подогнулись ноги и потемнело в глазах. В уши хлынул тяжелый колокольный звон. Мальчик кинулся ничком на палубу, уткнулся носом в мокрые доски и обхватил голову руками, как будто это могло спасти от гибели. Он бы, конечно, потерял сознание, если бы все силы его души и тела не были сосредоточены на одном страстном желании — во что бы то ни стало, не отрываясь ни на миг, слышать, слышать, слышать свист

бомбы. И вдруг чудовищная, жаркая сила схватила Петю, перенесла через поручни и швырнула в море.

Петя почти не умел плавать и стал тонуть, проваливаясь в страшную черную глубину, и захлебываться. Но вдруг что-то просунулось сверху, какая-то тяжелая плоская палка стукнула его по голове. Он схватился обеими руками за эту скользкую палку. Тотчас его плечо схватила чья-то рука и потянула вверх... Прежде чем потерять сознание, Петя успел почувствовать боль оттого, что его втаскивают через высокий борт лодки. Этот борт грубо обдирал на его груди костюм. Колено больно стукнулось о деревянную уключину...

Он очнулся и увидел, что лежит на дне шаланды. Под голову был подложен его мокрый, продранный пиджачок. Петя услышал скрип уключин. Две женщины, высоко сидя перед ним на банке, гребли, мерно опуская и подымая большие весла с грузными вальками. Волна стучала в плоское дно и бежала с размеренным лепетом по борту шаланды. Мальчик не мог рассмотреть женщин. Он видел лишь их темные силуэты. Одна женщина была побольше, другая поменьше. Их головы и плечи мерно поднимались и опускались на фоне побледневшего ночного неба, где покачивались вверх и вниз крупные, но слабые предутренние звезды. Петя хотел приподняться на локте, но был так слаб, что не мог даже пошевелиться. Для того чтобы обратить на себя внимание, он застонал. Но его не услышали. Петю тряс озноб. Внутренности жгло от морской воды, которой он успел наглотаться. Это была ни с чем не сравнимая, жгучая жажда. Он весь горел, как в огне. Он лежал лицом вверх, бессильно раскинув руки и ноги, в разорванной рубашке, со жгутом пионерского галстука на шее, весь мокрый, с распухшим коленом, со слипшимися волосами, наполовину высушенными холодным морским ветром. Он лежал в мучительной, неудобной позе, и у него не было сил повернуться. Никогда в жизни Петя еще не страдал так сильно, как сейчас. Он несколько раз впадал в забытье. И каждый раз, приходя в сознание, видел все одно и то же: двух женщин — большую и маленькую,— а между ними часть бледного неба и ныряющее созвездие. Волны по-прежнему укачивали, и вода на дне шаланды, под деревянной решеткой, пе-

рекатывала туда и обратно с тошнотворным однообразием какие-то круглые камешки. И еще откуда-то, очень издалека, порывистый западный ветер доносил с короткими перерывами грозное, раскатистое рычание.

Петя с трудом понимал, что с ним происходит. Но куда его теперь везут, что это за женщины, куда девался теплоход, он совершенно не понимал, да и не хотел понимать. Сонное, тяжкое оцепенение охватило его ум. Одно лишь чувство владело им — чувство мучительной, изнуряющей жалости к самому себе. Он опять застонал. На этот раз его услышали. Маленькая женщина перестала грести и передала свое весло другой. Подхватив юбку, она перешагнула через банку и присела на корточки рядом с мальчиком. При жидком свете предутренних серебристых звезд он близко увидел широкое лицо с коротким носом, маленьким подбородком и крупными глазами, которые показались ему в сумраке рассвета темными, но, вероятно, были светлыми или зелеными. И он понял, что это не маленькая женщина, а рослая девочка.

— Ну? Чего тебе надо? Тебе опять нехорошо? — сказала она сердито тонким, нежным голосом.

Петя молчал.

— Мама, дайте сюда баклажку!

Она взяла из рук матери плоский дубовый бочонок и вытащила из него зубами чоп. Шаланда повернулась боком к волне, и волна крепко хлопнула ее в подветренный борт. Шаланда подскочила, и Петю, как из ушата, окатило пенистыми брызгами.

— Что же вы делаете, мама! — закричала девочка.— Загребайте левым, табаньте правым!

— Не командуй! — сказала мать таким же тоном, по-южному певучим и сердитым голосом, как у дочери.

Повернув крепкие плечи, она подхватила брошенные на минуту весла и, сделав резкое, сильное движение руками — одной рукой от себя, а другой к себе,— одним рывком выправила шаланду.

— Ах, боже мой, боже мой! — бормотала она.— И что же это делается на свете!

Девочка приложила баклажку к Петиным губам:

— Пей водичку.

Вода лилась из дырки в стиснутые зубы мальчика,

струилась по щекам, заливалась за галстук. Несмотря на жгучую, мучительную жажду, вода вызвала отвращение. Петя почувствовал тошноту. Он замотал головой и слабыми руками отвел баклажку в сторону.

— Не надо,— с отвращением прошептал он, преодолевая спазмы в гортани, и снова потерял сознание.

Он не помнил, как наконец длинная волна вынесла шаланду и мягко посадила ее на песчаный берег и каким образом он очутился на грубой деревенской кровати, за печкой, в рыбачьей хате.

6

ДЕВОЧКА МОТЯ

Впоследствии, когда ему рассказывали, как было дело, он никак не мог поверить, что он сам вылез из лодки и сам взбирался по узкой тропинке и по глиняной лестнице на обрыв, держась руками за плечи Валентины. Петя узнал также, что бомба упала рядом с теплоходом, почти не причинив ему никакого вреда. Взрывная волна выбросила за борт нескольких человек, среди которых был и Петя. Двое, очевидно, были очень сильно оглушены взрывом и сразу же утонули. Один хорошо умел плавать, его тут же вытащили на палубу, бросив ему конец. А Петю подобрала одна из шаланд, специально вышедших из рыбоколхоза «Буревестник» спасать людей, когда с берега увидели, что теплоход горит. Но теплоход не сгорел. Пожар удалось потушить, и теплоход ушел по своему курсу.

И вот теперь Петя лежал, потеряв представление о времени, в тяжелом полузабытьи, ничего не соображая и лишь испытывая мучительные приливы и отливы сознания, возникновение и исчезновение каких-то незнакомых людей, вещей, запахов. Чаще всего перед его глазами появлялся маленький глобус на верхней полке бамбуковой этажерки с потрепанными книжками и цветными бумажными коробочками и рамками, обклеенными морскими ракушками. Этот глобус и этажерка находились в каком-то странном несоответствии с мазаной деревенской печью, маленькими окошками и пуч-

ками сухих трав и цветов, развешанными по выбеленным деревенским стенам. Окошек было два. Они смотрели на мальчика сбоку, в упор, все время с утомительным однообразием повторяя суточные приливы и отливы света. Красные степные закаты сменялись трауром звездных ночей. Однажды показался и проплыл очень поздний, осенний месяц. Он заглянул сначала в одно окошко, потом — совсем низко — в другое. Было что-то хитрое, воровское в его туманных рогах. Его провожал дальний лай или, скорей, вой встревоженных степных собак. Мальчик с тоской представил себе этих собак с вытянутыми волчьими мордами, воющих на месяц с порогов далеких хат.

Иногда близко от Пети, в углу, слышался душный шорох соломы. В хатку вносили охапку, бросали на пол возле печки — и скоро отблеск громадного огня лихорадочно охватывал стены. Прозрачные волны розового света бесшумно лизали этажерку и глобус. Глобус блестел отраженным светом, как и подобало настоящей планете. Это была планета Земля, плывущая в волнах бушующего солнечного света. Легкие босые ноги шлепали по мазаному полу. Тень знакомой головы передвигалась по хате. Она то вырастала до угрожающих размеров, поглощая собою все, то вдруг уменьшалась и четким силуэтом прилипала к розовой стене. Мальчик видел на тени красивый профиль очень молоденькой девушки, почти девочки, чистую линию лба и носа, круглый подбородок, тонкую шейку, сильную и вместе с тем нежную. Он замечал даже тени маленьких стрельчатых ресниц. Тени тонких рук, переставлявших утварь, носились по стене или делали молниевидное движение, стряхивая термометр.

Петя знал, что девочку зовут Валентина. Это имя повторялось часто. Для больного мальчика оно уже значило гораздо больше, чем простое человеческое имя Валентина. Оно обозначало множество вещей и понятий.

Подскочившая до сорока ртуть, угрюмый, угрожающий блеск ее плоской нитки, в один миг заполнявшей почти всю литую сердцевину градусника, было — Валентина. И прохладная грубоватая рука, просунутая под его горячую шею и поднимавшая его голову, чтобы

он мог напиться, солоноватый вкус воды, выщербленные края старой эмалированной кружки возле губ — все это тоже было Валентина. Валентиной была звезда, дрожащая в неровном стекле окошка, и тревожный ночной лай степных собак, и тот постоянный рычащий, раскатистый звук войны, который с каждым днем все приближался, заставляя дрожать на этажерке рамочки, оклеенные ракушками, и глобус.

Кроме Валентины, была еще ее мать. Она появлялась реже. В представлении больного мальчика она была как-то связана с постоянным звуком моря. Это был замедленный звук громадной стальной косы, как бы размахнувшейся на несколько километров. С нарастающим шумом, день и ночь, эта коса неутомимо косила — откладывала на берег ряды волн. Волны со свистом ложились на песок где-то совсем близко, у черного изголовья, за тонкой стеной.

Иногда мать Валентины входила босая, в мужском полушубке и приносила с собой круглую ивовую корзину с маленькими креветками. Петя уже знал, что креветки называются «рачки». Они кишели в мокрой корзине, щелкая, как стальные пружинки, стреляя во все стороны песком и брызгами. Она снимала со стены перемет, садилась на пол и начинала насаживать рачков на крючки — «наживлять». Ее пальцы работали удивительно ловко, точно, с механической быстротой, как у опытной вязальщицы. Но мысли ее при этом, по-видимому, были далеко. На ее неподвижном, немного морщинистом лице со сведенными бровями светились настороженные, какие-то «стоячие» глаза. Казалось, она не только видит этими глазами что-то огромное и страшное, невидимое мальчику, но также и «прислушивается» ими к таинственным голосам беды. А свистящая коса все откладывала и откладывала непомерно длинные ряды прибоя, и между каждыми двумя рядами в мире вдруг повисала такая тишина, что, казалось, само сердце останавливается на весу. И опять наступало беспамятство...

Но вот однажды все это кончилось. Петя проснулся. Он именно не очнулся, а проснулся. И он понял, что он уже не болен. Он это ощутил всем своим существом. Он еще не поправился, но болезнь уже прошла.

Чувствуя блаженную прохладу и слабость, Петя не без труда скинул с себя тяжелое ватное одеяло и стал рассматривать свои руки и ноги. Они очень похудели, побледнели. Ему жалко было видеть свои тонкие пальцы с белыми ногтями. Он согнул руку и попытался напрячь мускул. Но из этого ничего не вышло. Мускул был вялый, дряблый. Тогда мальчику пришла в голову мысль попробовать встать с кровати и пройтись по комнате. Он был один. С большими усилиями он опустил ноги на пол и встал, держась за спинку кровати. И тут он заметил, что на нем надета длинная рубашка без рукавов, с кружевцами на груди. Он понял, что это сорочка Валентины. Он покраснел от смущения и даже немного рассердился. Вот еще новости — ходить в чужой рубашке! Но делать было нечего. Он сделал несколько шагов, наслаждаясь чувством своего роста. Он показался себе очень выросшим, почти высоким. Закинув голову, он увидел невысоко над собой балку потолка, оклеенную пожелтевшей газетой «Черноморская коммуна». Все вещи вокруг — этажерка с глобусом, скамья, стул — теперь показались ему слишком маленькими, низкими. Среди этих вещей он чувствовал себя великаном. Голова приятно пошла кругом. Ноги подогнулись и задрожали. Петя едва добрался до кровати и лег ничком. На миг он потерял сознание. Но это был легкий, сладкий обморок выздоровления. И тотчас он очнулся с испариной на лбу. Испарина эта тоже была необыкновенно приятна, целебна. Ему опять захотелось спать, и он заснул, мирно положив руки под щеку. Его охватил крепкий, приятный сон — глубокий отдых, сковавший все его члены истомой выздоровления.

Когда он проснулся, уже был вечер. В печи стреляла кукурузная ботва. В полуоткрытую дверь дышало холодом моря. Туман переваливал через порог и призрачно входил в комнату, тут же поглощаемый жарким огнем печи. Раскаты близкого боя сотрясали хату. Мать Валентины, отворачивая лицо от едкого дыма, вытаскивала из печи ухватом черный казанок. Валентина стояла у кровати и не мигая смотрела на Петю.

— Я уже выздоровел,— сказал мальчик, жмурясь и улыбаясь.

Она приложила ладони к его лбу, потом к сырым

глазам. Углом простыни она вытерла его вспотевшее во сне лицо.

— Я уже выздоровел,— повторил мальчик, исподлобья рассматривая Валентину.

Он видел ее множество раз. Но тогда он был болен и она появлялась перед ним в том волшебном тумане жара, который наделял ее неземной красотой — прозрачной, очень печальной, молчаливой. Теперь же он видел перед собой вполне обыкновенную полудевушку-полудевочку, высокого подростка в мокрой мужской куртке, с тонким коротким носом, небольшим, но сильным подбородком и светлыми серовато-зелеными глазами, отчетливыми, как отражение в зеркале.

— Почему ты думаешь, что ты выздоровел? — сказала она, пожимая плечами.— Откуда это видно? Лично я этого не вижу.

Вероятно, она уже привыкла относиться к больному мальчику немного свысока, как к маленькому. Это обидело Петю.

— Я знаю,— сказал он,— потому, что у меня уже нет жара, и потому, что я хочу кушать.

— Мама! Вы слышите? — радостно, тонким голосом воскликнула Валентина.— Он уже хочет кушать!

— Не кричи как скаженная! Я слышу. Может быть, он покушает нашего кулеша?

Валентина придвинула к постели табурет и покрыла его рушником. Затем, повозившись у печки, она поставила на табурет тарелку с мелкими розочками, полную восхитительного варева. Кулеш, как это всегда почему-то случается с кулешом, немножко пригорел. От него необыкновенно аппетитно попахивало кисленьким деревенским дымком. В нем плавали золотистые кусочки лука и поджаренного сала, а крупные четвертинки рассыпчатой картошки торчали из разваренного добела пшена. Скромно улыбаясь, Валентина подала мальчику деревянную ложку.

— Покушай. Интересно, как тебе покажется.

— Ладно,— сказал Петя, кряхтя и принимаясь за еду.

Он, конечно, много раз слышал от отца о знаменитом украинском кулеше. Но, признаться, он никак не предполагал, что кулеш может оказаться таким вкус-

ным. Петя дул в ложку, облизывался, сопел. Валентина смотрела на него, сложив по-бабьи руки, и одобрительно кивала головой.

Петя стал рассказывать свою историю. Но едва он дошел до Колесничуков, как мать Валентины воскликнула:

— Постой, мальчик... Значит, ты сын Петра Васильевича?

— Да. А что?

— Петра Васильевича, товарища Бачей?

— Да.

— Из Москвы?

— Из Москвы.

— А тебя как звать?

— Петя.

— Валентина, ты слышишь? Теперь все понятно. Это Петя Бачей, сын Петра Васильевича. Они жили у Колесничуков.

Она подошла и опустила свои большие рабочие руки. Петя чувствовал на себе ее сияющий, остановившийся взгляд, полный странной любви и нежности.

— А что особенного? — сказала Валентина, пожав плечами.

— Ах, как ты не понимаешь! Это же сынок Петра Васильевича!

— А вы разве знаете моего папу? — спросил Петя.

— Твоего папу? Да господи ж!..

Она засмеялась и заплакала в одно и то же время. Слезы катились из ее глаз, но она их не вытирала. И сквозь слезы она смотрела на мальчика, желая найти в нем сходство с тем, другим Петей, сначала маленьким гимназистиком, а потом раненым прапорщиком, ее другом детства и юности, которого так нежно и так чисто любила всю свою жизнь.

Вероятно, она нашла это сходство: все лицо ее пошло сияющими морщинками.

— Разве твой папа никогда не говорил тебе о девочке Моте с Ближних Мельниц?

Она стерла средним пальцем слезу, дрожавшую в углу глаза, и вдруг изо всех сил обняла Петю за плечи, прижала к себе.

Мальчик смущенно освободился.

— Ничего, Петечка, это можно. Ты ведь мне все равно как родной мальчик,— зашептала она ласково.— Я тебе все равно как родная тетя. Бедный мой деточка!..

И она стала целовать его похудевшее бледное лицо.

7

В ХИБАРКЕ

Они и так относились к Пете хорошо. Теперь же он стал как бы членом их семьи. Он узнал, что делается в мире. Положение в городе было крайне тяжелое, почти безнадежное. В порту грузились транспорты. Над городом и особенно над портом все время висели черные, седые облака взрывов. В небе тревожно бегали звездочки зениток. Воспаленное зарево пожаров и выстрелов светилось по ночам на зубчатых краях туч. Оно судорожно вздрагивало, растягивалось, сжималось, опять растягивалось, обрывалось, мерцало. Оно грозно скрежетало, рычало. Ворчливый гул раскатывался по морю подобно чугунным шарам, пущенным по мрамору. Эхо тяжело катилось вдоль обрывов, наполняя шумом самые отдаленные пещеры берега. Во тьме ночного моря шли затемненные транспорты. На них налетали вражеские бомбардировщики. Корабли отбивались. В черной воде отражались багровые языки пламени.

Теперь, когда мальчик уже мог выходить, он увидел, что хатка стоит на самом краю степи, над обрывом, в начале расселины, спускающейся к берегу моря. Вокруг было еще несколько хаток, уже не обитаемых, заколоченных. Брошенные куры бродили в почерневших будяках. Сначала Петю удивляло, что все куда-то уходят, двигаются, спасаются, спешат и лишь они одни остаются на месте. Но скоро он узнал, в чем дело.

Матрена Терентьевна была председателем правления рыбоколхоза «Буревестник». Точнее говоря, она замещала своего мужа, старого рыбака Перепелицкого, бывшего конника из славной бригады Котовского, в первые же дни войны ушедшего на фронт вместе с двумя сыновьями.

Большинство рыбаков ушло в армию. Остались

только старики и дети. Но и они тоже уже давно разошлись кто куда: некоторые — в город, к родственникам; некоторые на шаландах отправились вдоль берега, рассчитывая добраться до Очакова, до Николаева или же до Евпатории; некоторые подались в окрестные деревни и хутора в надежде, что их примут к себе добрые люди.

Но Матрена Терентьевна с дочкой оставались на месте. У нее на руках было артельное имущество большой ценности: три невода, из которых два были совсем новые, несколько превосходных шаланд, множество предметов, паруса, снасти, наконец вся артельная денежная отчетность, платежные ведомости, банковские авизовки, чековая книжка текущего счета рыбоколхоза, немного наличности и договоры с различными учреждениями и организациями, по которым колхоз не успел получить деньги ввиду моратория, объявленного в начале войны. Это имущество нельзя было бросить на произвол судьбы. Матрена Терентьевна никак не могла свыкнуться с мыслью, что сюда могут прийти враги. Она еще продолжала надеяться. Несколько раз она ездила на попутных фронтовых машинах в город узнавать обстановку и возвращалась расстроенная, часто уходила в степь, на николаевскую дорогу, и дожидалась какой-нибудь воинской части. Она появлялась почти на линии огня, где каждый штатский человек, особенно неизвестная женщина, расспрашивающая о положении армии, мог показаться шпионом, но она, как это ни странно, ни в ком не вызывала подозрений: слишком взволнованным, слишком простым и честным было ее лицо с сухими, горькими морщинами вокруг маленького сжатого рта. Матрена Терентьевна с надеждой смотрела в лица, как бы ожидая ответа. И всегда ей говорили одно и то же:

— Не сдадим!

Она с новой надеждой возвращалась домой, хотя в самой глубине души и продолжала ощущать тягостную тревогу. Она понимала, что не мог же в самом деле советский командир или боец сказать ей, что город собираются оставить.

Однажды она вышла, по своему обыкновению, на дорогу, и ее поразила перемена, происшедшая вокруг. Сначала она не поняла, в чем заключается эта перемена. Как будто все оставалось как прежде. И вместе с тем

было что-то недоброе не только в складках еще больше почерневшей степи, не только в быстрых водянистых тучах, которые гряда за грядой шли с моря, чуть не касаясь рябых бунчуков неубранной кукурузы,— было что-то недоброе в самом воздухе.

Матрена Терентьевна осмотрелась и поняла: вокруг, насколько хватал глаз, до самого горизонта, не было заметно ни одной живой души. И, как бы подчеркивая это странное безлюдье, эту подавляющую тишину, посреди дороги стояла новая ножная швейная машина и возле нее — лопнувший мешок овса, над которым прыгали и молчаливо взлетали тяжелые вороны, черные, с иссиня-металлическим, зловещим отливом. Она сделала несколько шагов в сторону от дороги и вдруг в кукурузе, у самых своих ног, увидела круглую свежевыкопанную яму, в которой сидело четверо солдат в черных матросских шапках с лентами. Они устанавливали опорную плиту большого полкового миномета, похожую на стальное блюдо. Матрена Терентьевна вскрикнула от неожиданности. Солдаты повернули к ней молодые темные лица, на которых с особенным, лихорадочным оживлением блестели глаза и белые зубы. Она стояла над ними молча, не понимая, что вокруг происходит.

— Что вы здесь делаете, тетя? Здесь же передний край. Сейчас откроется бой. Тикайте!

Только тут Матрена Терентьевна заметила, что степь, которая сперва показалась ей безлюдной, полна скрытого движения. То здесь, то там в кукурузе мелькали фигуры солдат и матросов. Судя по их воспаленным, давно не бритым и не мытым лицам, по их грязным, пропотевшим тельняшкам, видневшимся из-под расстегнутых гимнастерок и бушлатов, судя по их тяжелому, свистящему дыханию, они уже несколько дней не выходили из боя и были в том состоянии отчаянного, последнего напряжения, которое охватывает душу бойца в моменты крайней опасности и делает чудеса. Матрена Терентьевна почувствовала, что сейчас, сию минуту здесь должно произойти нечто очень страшное.

— Мамаша, тикайте, тикайте! — кричал моряк в солдатском обмундировании, обмотанный накрест пулеметными лентами, с гранатой за поясом, с винтовкой в руках, без шапки, со страшным, забинтованным лицом.

— Ложись! — услышала она с другой стороны.

Она инстинктивно упала и прижалась лицом к твердой холодной земле. В ту же секунду, одновременно с завывающим, режущим свистом, неподалеку от нее из земли — или даже из-под земли — с грохотом вымахнул черный, рыжий, с молнией в середине столб, и во все стороны как бы протянулись длинные ноющие струны осколков, срезывая по радиусам ряды высокой кукурузы. Оглушенная взрывом, она вскочила и побежала назад, чувствуя, как из ее волос, с ее платья, с шеи сыплется земля. Она бежала изо всех сил, стиснув зубы и зажмурив глаза. Она бежала, ничего не соображая, кроме того, что за ее спиной, там, откуда она бежит, уже кипел бой, слышались крики, сыпались очереди пулеметов, лопались ручные гранаты...

На всем бегу она вскочила на пирамиду щебенки возле дороги, сильно стукнулась об нее коленом, поскользнулась и упала, обдирая ладони. Она с трудом перевела дух. Не чувствуя боли, она уже хотела встать и бежать дальше, как вдруг увидела грузовичок с моряками, переодетыми в пехотное обмундирование, но в матросских шапках с лентами. Грузовичок проносился мимо. Подпрыгивая на выбоинах и чуть не падая на поворотах, он на полном газу летел в самое пекло боя. Она увидела трясущийся пулемет на кожухе мотора и моряка, обмотанного пулеметными лентами, который лежал возле него, прильнув к прицельной рамке. Она увидела еще несколько моряков, также накрест обмотанных пулеметными лентами, в шапках, с бешено развевающимися лентами, с гранатами, поднятыми над головой. Один из матросов держал военно-морской флаг. Он летел над ними, не поспевая за движением, шелковым вихрем — что-то голубое, что-то белое, что-то красное,— треща, как пулемет, так что казалось — с грузовика бьет не один пулемет, а два...

И все скрылось в удушливых облаках сражения.

Когда Матрена Терентьевна, разорвав башмаки и в кровь разбив ноги, подбегала к дому, военный корабль ставил дымовую завесу. Он как бы висел в мрачной туче вечернего моря, поверх плоской крыши хаты, поросшей бурьяном. Четыре языка орудийного огня, четыре ослепительных остроугольных полотнища вырвались из пу-

шек, оторвались, полетели и пропали в клубах мрачного дыма. Залп потряс обрывы. И тут же Матрена Терентьевна внутренним чутьем поняла, что это очень хорошо, что, значит, на помощь атакующим морякам подошел крейсер и открыл по врагу огонь из орудий главного калибра. Она так именно и подумала: «Главного калибра». Четыре снаряда с воем пронеслись над ее головой в степь, и через несколько секунд четыре взрыва потрясли землю с такой силой, что с обрыва потекли вниз ручейки обрушившейся земли и глины.

Она остановилась перед дверью, глубоко передохнула и решительно вошла в хату.

Петя и Валентина молча стояли перед ней.

— Все! — жестко, даже грубо сказала Матрена Терентьевна и решительно ударила рукой по воздуху.— Валентина, собери мальчика, а я пока спущусь вниз.

Валентина кивнула головой. Ей не нужно было ничего больше объяснять. Она стала очень серьезной, сумрачной.

— Мама, а вы там одна управитесь?

— Постараюсь управиться,— сказала Матрена Терентьевна сквозь зубы.

Петя робко, вопросительно смотрел то на мать, то на дочь. Слово «управиться», сказанное матерью с каким-то особенным, жестоким выражением, наполнило сердце мальчика еще большей тревогой. Пока мать возилась в сенях, громыхая жестянками, Валентина поспешно, но без лишней торопливости достала вещи и велела мальчику одеваться.

Вздрагивая при каждом залпе главного калибра и при каждом взрыве в степи, Петя оделся. От пребывания в соленой воде его новый московский костюмчик сел, помялся, как-то весь полинял. В некоторых местах он был порван, но Петя заметил, что его кто-то тщательно, хотя и грубо зашил и заштопал. Несколько оторвавшихся пуговиц были заменены другими. Петины сандалии утонули, когда его выбросило за борт. Вместо них Валентина подала мальчику сильно поношенные, хотя и вполне целые башмаки. Они оказались велики, и Пете пришлось наскоро напихать в них газетной бумаги. Чулок совсем не было. Петя надел башмаки на босу ногу. Несмотря на

газетную бумагу, они все-таки были сильно не впору. Нога в них болталась, скользила.

— Это ботиночки моего старшего брата, Терентия. Они еще почти совсем новые. «Скороход»,— сказала Валентина поспешно, как бы желая предупредить возможные возражения по поводу неудобной обуви.— Терентий сейчас в армии. И другой братишка, Василий, тоже в армии.

Но она напрасно старалась: Петя не выразил никакого неудовольствия. Он понимал, что другой обуви нет и взять ее неоткуда. Не идти же босиком! А то, что предстояло куда-то идти,— в этом мальчик уже не сомневался. Затем девочка подала ему короткий старый полушубок, от которого кисло пахло овчиной. Мальчик молча надел его. Полушубок тоже оказался велик, гораздо ниже колен. Рукава пришлось подвернуть, так как они закрывали кисти рук. Московская новая кепка утонула. Валентина дала Пете другую. Он надел ее. Ему было неприятно: он еще никогда не надевал чужих, ношеных вещей. Но он ничего не сказал.

Вдруг он вспомнил о своем рюкзаке, в котором лежало все его имущество: мыло, рубашки, зубная щетка, сто рублей, его бумаги, письменные принадлежности, мамина фотография. Рюкзака не было — он остался на горящем теплоходе. Теперь у Пети не было больше никакого имущества.

Пока мальчик переодевался с помощью Валентины, Матрена Терентьевна несколько раз входила в комнату. Один раз она вошла и завернула в простыню какие-то заранее отобранные бумаги, тетради, папки. Она туго связала сверток рушником и отложила в угол, на табурет, на видное место, чтобы в любой момент можно было его захватить. В другой раз она вошла, тяжело дыша (как видно, бегом взбиралась по обрыву), с остановившимися глазами и грозно сжатым ртом, пошарила по углам, нашла топор, стукнула топорищем в порог и, не переставая трудно дышать, выбежала вон. Через несколько минут издалека, снизу, послышался ее крик, перебиваемый шумом прибоя и залпами: она звала Валентину.

— Я ж сказала, что она одна не управится! — пробормотала Валентина, глядя на мальчика насторожив-

шимися, невидящими глазами.— Сиди здесь. Никуда не уходи. Жди нас. Мы сейчас вернемся. Живо вдвоем управимся и вернемся.

В это время с моря ударил очередной залп главного калибра. Багровый свет мелькнул в окошках. Стекла задребезжали. Мальчик съежился. Его тряс озноб. Он делал усилия, чтобы не стучать зубами.

— Не бойся,— сказала девочка.— Пока они бьют из главного калибра, значит, еще ничего. А вот когда они перестанут бить из главного калибра...

— Тогда что?

— Тогда... другое дело. Тогда плохо. Сиди и жди.

Валентина, так же как и мать ее, пошарила по углам, но другого топора не нашла. Она схватила кухонную секачку, висевшую на гвоздике возле двери, и, решительно согнувшись, шагнула за порог, в сумрак быстро наступающего вечера.

8

ФЛАГ КОРАБЛЯ

Мальчик остался один.

Он сел на табурет посреди комнаты, где, как ему казалось, было менее опасно, дрожа и прижимая к груди руки в чересчур длинных рукавах полушубка. Теперь он жадно прислушивался к залпам. В промежутках между залпами он озирался по углам, где с угрожающей быстротой сгущалась и накапливалась темнота. Ему было страшно, так страшно, что в другое время он, может быть, выскочил бы из дому и закричал. Но сейчас, кроме страха, его душой мало-помалу овладело другое, новое чувство — чувство ответственности за свои поступки перед лицом того грозного, смертельно опасного и неотвратимого, что окружало его со всех сторон и требовало от него душевной собранности, твердости, мужества, требовало от него действий. Но он не знал, что надо делать. Он должен был сидеть и дожидаться. Это вынужденное бездействие усиливало страх. Мальчику казалось, что он окружен невидимыми опасностями. Каждая тень, каждое изменение света за окошками казались крайне опасными.

Вдруг окно снаружи заслонил какой-то предмет, и тотчас этот большой предмет сполз вниз; что-то снаружи мягко стукнулось в глиняную стенку. Некоторое время Петя неподвижно смотрел в окно, но ничего не увидел, кроме розовых, водянистых отражений какого-то отдаленного степного пожара. Петя затаил дыхание, не смея пошевелиться. Было удивительно тихо. Несколько минут он с таким напряжением вслушивался в эту опасную, подавляющую тишину, что у него потемнело в глазах. Сначала он не понимал, почему эта тишина его так пугает. Но вдруг он понял: больше уже не стреляли из главного калибра.

Огненные отражения в окне становились все ярче, все тревожнее. Горело где-то совсем недалеко, позади хатки, как будто бы сбоку, внизу, на берегу. Горело порывами. Внезапно снаружи опять мягко ударило в стенку, и в нижние стекла окошка слабо, но отчетливо постучала чья-то рука. То была несомненно рука, слабая человеческая рука. На фоне неспокойного, яркого зарева Петя увидел тени согнутых пальцев, которые перебирали по стеклу. И тотчас рука упала вниз, пропала.

Мальчик попятился к кровати и взялся похолодевшими руками за ее грубую спинку. Но сейчас же какая-то могущественная сила, та самая сила, которая иногда неудержимо толкает человека навстречу опасности, потянула его к окну. С неподвижным лицом Петя приблизился и прильнул к стеклу, но ничего не увидел, кроме летней глиняной печурки, сложенной перед хатой, стены, растрепанного бурьяна, полыни, перезревшего укропа и живорыбного садка — маленькой закрытой лодочки с круглыми отверстиями,— поставленного боком.

Тогда, осторожно ступая большими, тяжелыми башмаками и придерживая дрожащими пальцами ворот полушубка, Петя подошел к двери, открыл ее и выглянул наружу. Первое, что он увидел при свете беспокойного огня, был человек, лежавший совсем недалеко от порога, под окошком. Он лежал на спине, неудобно прислонив голову к стенке. Одна рука его была откинута. Полусогнутые пальцы медленно механически перебирали по утрамбованной возле стены глине, как по клавишам. Это был краснофлотец в солдатском обмундировании, но в матросской бескозырке с черными лентами, прилипшими

к окровавленному лбу. Под разорванной гимнастеркой тяжело поднималась и опускалась грудь, обтянутая полосатой тельняшкой, темной от пота и крови. Смерть уже начала класть свои глубокие, резкие тени на незрячее, сырое лицо, словно вылепленное из серой замазки. Это неподвижное, напряженное, с закатившимися глазами лицо, безразличное, как маска, уже не определяло возраста. Оно в равной мере могло быть и лицом юноши и лицом старика. На нем еще продолжали жить одни только губы — широкие и растянутые, пепельно-сизые, совсем светлые, почти белые, гораздо более белые, чем лицо. Они с трудом шевелились, в их уголках слабо кипела розоватая пена.

Петя застыл, не в силах отвести глаза от этого страшного, еще ни разу в жизни не виданного им зрелища человеческой кончины. Матрос застонал.

— Дядя, что с вами? — бессмысленно закричал мальчик.— Вам больно?

И в тот же миг закатившиеся глаза умирающего медленно вернулись на свое место и посмотрели на мальчика; посмотрели просто и сознательно, выражая муку и вместе с тем какую-то громадную тревогу, которая пересиливала страдание. Матрос смотрел на Петю, как бы желая понять, что это за мальчик, откуда он взялся и можно ли ему верить. И с Петей произошло то же самое, что случилось нынче с Матреной Терентьевной, когда она увидела атаку краснофлотцев. Пете вдруг все стало поразительно ясно. Не прилагая никакого умственного усилия, мальчик сокровенным, таинственным движением сердца все теперь понял и все мог объяснить. Он понял, что хотели сказать глаза умирающего матроса. Они говорили Пете: «Понимаешь ли ты, что я умираю и что ты последний человек, которого я вижу в жизни? Могу ли я довериться тебе? Враг ты или друг?» В ответ на это Петя бросился в хату и принес кружку воды. Он сел возле матроса на корточки и приставил кружку к его твердым губам. «Выпейте воды, я друг»,— сказали глаза мальчика.

Лоб матроса страдальчески сморщился гармоникой, и матрос сделал усилие, чтобы отрицательно покачать головой; при этом его глаза нетерпеливо сказали: «Ах, нет, нет! Не надо воды. Поздно. Моему телу уже ничего не

нужно. Но ты понимаешь, мальчик, что враг наступает и тебе как можно скорее надо бежать, спасаться. Но погоди на миг. Мне надо сказать тебе нечто очень важное».

— Что? Что вы хотите? — прошептал Петя, наклоняясь к твердому, белому уху матроса.

В груди у краснофлотца тяжело заклокотало. Он сделал страшное усилие, передвинулся всем своим холодеющим телом и неловкой рукой стал вытаскивать из-под себя какую-то вещь. Его глаза говорили мальчику с мольбой: «Помоги же мне! Неужели ты не понимаешь?» Петя понял и, преодолевая страх перед смертью, которая свершалась на его глазах, с усилием приподнял одеревеневшее тело матроса и вытащил какое-то смятое, окровавленное полотнище. Ему показалось сначала, что это кусок простыни со странной голубой каймой. Но тут же он заметил, кроме голубой полосы, красную звезду, серп и молот и понял, что это военно-морской флаг.

— Знамя? — проговорил мальчик.

«Да, это наше боевое знамя — флаг корабля,— сказали глаза матроса.— Возьми его. Я тебе верю».

Петя обеими руками взял полотнище. Он понял все, что произошло. Понял, что был страшный, последний бой на подступах к городу, что матросы держались до последнего человека, что этот матрос был смертельно ранен и, спасая флаг корабля, полз по степи до тех пор, пока не дополз до хаты. Собрав последние силы, он постучал в окошко, а теперь умирал и, умирая, передавал флаг корабля ему, Пете, с тем чтобы он сохранил его. И в то же время Петя уловил в глазах матроса мелькнувшее сомнение. Кровь прилила к щекам мальчика, на ресницах закипели слезы обиды.

— Я...— сказал Петя с усилием, чувствуя, как у него сжимается горло.— И я вам даю...— Голос его дрогнул совсем по-детски и оборвался.— И я клянусь... Честное пионерское, честное под салютом...

Петя косо поднял над головой задрожавшую руку. От смятого, продранного осколками флага пахло пороховой гарью, жженым гребнем, пóтом и еще чем-то душным, железистым. Слезы хлынули из глаз мальчика. Он плакал порывисто, злобно, не стесняясь своих слез, и вытирал мокрое лицо флагом, чувствуя на губах тот солоноватый железистый вкус и понимая, что это вкус вы-

сыхающей крови. Сквозь слезы он увидел, что матрос с нечеловеческим усилием сделал какое-то движение. Петя сейчас же понял, что матрос тянется лицом к флагу. Мальчик обеими руками протянул ему полотнище, и матрос припал к нему губами. Его грудь высоко поднялась и уже больше не опустилась. Она так и осталась навсегда, туго обтянутая тельником под рваной гимнастеркой с оттопыренным застегнутым нагрудным карманчиком. Остановившиеся глаза матроса были полузакрыты и как будто немного искоса смотрели на этот карманчик.

И Петя понял значение этого остекленевшего взгляда. Он с трудом отстегнул ледяными пальцами латунную пуговичку с пятиконечной звездой и вынул из кармана небольшую книжечку в пропотевшем картонном переплете — комсомольский билет, из которого выглядывала бумажка. Петя вытащил ее и прочитал при свете все того же непонятного зарева слова, крупно и поспешно написанные химическим карандашом:

«Умираю за честь и славу Родины. К сожалению, не успел перейти в партию. Прошу считать меня членом великой Коммунистической партии. Смерть фашистским захватчикам! Да здравствует коммунизм! Комсомолец Лавров Николай».

Петя посмотрел на краснофлотца Николая Лаврова и понял, что он мертв. Но мальчик не испугался этого. Он быстро, но без суетливости, со странным спокойствием положил комсомольский билет и записку в карман, отвинтил с гимнастерки краснофлотца Лаврова комсомольский значок и тоже спрятал его в карман, затем распахнул полушубок, расстегнул пиджачок и, подсунув под него флаг корабля, аккуратно обернул его вокруг своего туловища. Петя тщательно застегнулся, оглядел себя со всех сторон и решительно вытер рукавом ветхого полушубка мокрое лицо.

9

КРУГЛОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ

Только теперь мальчик обратил внимание на странное зарево. Оно то опадало, то поднималось высоко вверх, беспокойно отражаясь в низко бегущих ночных

тучах. Что-то горело на берегу, под обрывами. Петя подошел к спуску и посмотрел вниз. Он увидел несколько дымных багровых костров, пылавших в ряд, близко друг от друга, быстро и яростно. В этих кострах светились ребристые скелеты горящих лодок. Трескучие искры снопами вылетали из черного дыма, который, крутясь, боролся с угрюмыми вихрями пламени, красными, как стручковый перец. То одолевал дым, то одолевало чистое пламя, то они смешивались. Тогда мальчику представлялось, что они валят и шатают друг друга из стороны в сторону, как два враждебных существа — одно красное, другое черное. Но вот наконец красное одолело. Чистый огонь поглотил дым и сильно вырвался вверх. Он ярко осветил прибрежный песок, волны с гривами пены и глинистую стену обрывов со всеми их подробностями: с черными следами старых рыбачьих костров, с пещерами, с гнездами морских птиц. Петя увидел Матрену Терентьевну и Валентину, которые, заслоняясь локтями от огня и дыма, бегали вокруг пылающей ребристой груды.

Было что-то мрачное, зловещее в этих двух маленьких, великолепно освещенных фигурках, которые на фоне непроглядно черной ночи быстро, но неторопливо делали какое-то нелегкое дело. И мальчик в тот же миг понял, что они делают. Они уничтожали имущество «Буревестника». Они рубили лодки, ломали мачты, весла, рвали сети, обливали керосином и жгли...

Петя бросился к ним. Но они уже кончили свое дело и бежали ему навстречу, прыгая вверх по обвалившимся ступеням, вырезанным в глинистом обрыве.

— Ну, ты уже готов? — крикнула Валентина осипшим голосом, увидев мальчика.

— Готов!

— Так чего ж ты здесь путаешься под ногами? Беги обратно, надо собираться.

Она говорила с ним, как с маленьким,— повелительно и властно. Но Петя принял это как должное, не обиделся. Валентина и ее мать напряженно дышали. Их лица, покрытые копотью, блестели от пота. От них едко пахло керосином. Их одежда была прожжена искрами. Слёзы, смешанные с пóтом, катились по черному лицу Матрены Терентьевны. На нем было написано такое от-

чаяние, такое глубокое горе, что у мальчика невольно сжалось горло...

— Такое несчастье, такое несчастье...— бормотала она про себя, утирая рукавом морщинистые щеки и сморкаясь.— Господи боже, вы только подумайте, сколько погибает колхозного имущества! Люди работали, наживали... Едва-едва колхоз стал как следует на ноги, как — на́ тебе!.. Ничего!.. Все сгорело в один час...

Она протянула руки, посмотрела на них с горестным изумлением, как бы не в силах понять, что это она сама, этими самыми руками, уничтожила бесценное колхозное имущество, гордость ее мужа, гордость всех рыбаков, гордость всего района. Ее обессилевшие руки тяжело упали вдоль тела. Она села на глиняную ступеньку спуска, опустила голову и зарыдала.

— Мама, не смейте плакать! — со злобным отчаянием крикнула Валентина, делая усилие, чтобы не зарыдать самой.— Вы что — маленький ребенок, дитя? Перестаньте себя расстраивать. Неподходящее время.

Она замолчала, переводя дух, страшная, бледная, с большими глазами и раздувающимися ноздрями.

— Слышите, мама? — сказала она вдруг нежно и обняла мать за поникшие плечи.— Слышите, что я вам говорю? Вставайте. Надо идти.

Матрена Терентьевна не поднимала головы. Видимо, она собиралась с силами. Потом она устало поднялась на ноги, отряхнула юбку, махнула рукой и, не оглядываясь, быстро пошла к хате. Петя и Валентина едва поспевали за ней.

Краснофлотец Лавров Николай с поднятой грудью лежал у стены между порогом двери и окошком. Из-под него уже натекла большая темная лужа. Мать тревожно посмотрела на Валентину и Петю.

Мальчик рассказал все, но умолчал о флаге корабля. Он чувствовал себя связанным страшной молчаливой клятвой, нарушить которую было все равно, что изменить родине. Это была священная и нерушимая клятва пионера. Нелепо и смешно было бы предположить, что Петя не доверял Валентине и ее матери. Он верил им всей душой. Они были сейчас для него самые близкие, родные люди. И все-таки могучая сила воинской присяги, которую пионер Петя молчаливо принял под салютом перед

лицом умирающего бойца-комсомольца Николая Лаврова, охватила душу мальчика и властно приказала молчать.

Матрена Терентьевна опустилась на колени перед матросом и прижалась ухом к его высокой груди. Она долго слушала, надеясь уловить хотя бы слабое биение его сердца. Но сердце краснофлотца молчало. Не доверяя своему слуху, она сбегала в хату и принесла зеркальце. Она приложила его к сизым губам матроса. Она с жадностью всматривалась в поверхность стекла — не замутится ли оно, не появится ли на нем хотя бы самый маленький след дыхания. Но поверхность зеркала оставалась совершенно холодной и чистой. Тогда она осторожно, немного надавив большими пальцами, закрыла матросу веки и поцеловала его в лоб. Это роковое движение большими пальцами и это до отчаяния чистое зеркальце, холодно повторявшее беспокойно бегущее по тучам отражение догорающего огня, вдруг с необыкновенной силой подействовали на мальчика. Только сейчас, впервые, он не только понял умом, а все его существо безжалостно пронзило подлинное чувство смерти, ее потрясающей простоты.

Матроса похоронили тут же, недалеко от хатки, выкопав могилу лопатами, которые почему-то доставали с крыши, и Петя тоже копал. После того как матроса похоронили, он с Валентиной еще некоторое время ждал Матрену Терентьевну, собиравшую в комнате какие-то необходимые документы рыбоколхоза. Наконец Матрена Терентьевна вышла из хаты, держа под мышкой громадный сверток бумаг. Петя даже заметил, что они были завернуты в порыжевшие листы газеты «Черноморская коммуна». Это было все, что осталось от колхоза «Буревестник». Когда они отошли на несколько десятков шагов от дома, Матрена Терентьевна вспомнила, что забыла что-то важное. Она положила сверток в бурьян, пошла в хатку и скоро вернулась с картонной коробочкой, оклеенной ракушками. Потом все трое в полной тьме, к которой еще не успели привыкнуть, пошли по степи.

Каким образом за их спиной загорелась хатка, Петя не помнил. Он только помнил, что хатка пылала, как костер, и опять в дыму и пламени боролись два существа — черное и красное.

Они шли через степь. Петя не знал, куда они идут. Они шли долго, торопились, и мальчик натер себе ноги большими башмаками, но он молчал и продолжал идти, неуклюже ковыляя. Потом они увидели несколько далеких пожаров. Это горели окраины Одессы: нефтесклады, лакокрасочный завод имени Ворошилова, элеваторы. Они пошли в направлении этих пожаров, мимо какой-то мелкой воды, в которой отражались зарево и искры, бушующие вверху.

10

СВИДАНИЕ С СИНИЧКИНЫМ-ЖЕЛЕЗНЫМ

В здание обкома попала авиационная бомба. Левое крыло обрушилось. Но самое здание — прекрасное старинное здание работы архитектора Боффо — хотя и дало во многих местах трещины, но все еще крепко держалось. Пострадал также и кабинет секретаря обкома. Его пришлось перевести в другую комнату, окнами на площадь Коммуны.

Не снимая пальто, в сапогах и противогазе, товарищ Черноиваненко, или, как мы его привыкли называть раньше, Гаврик, быстро вошел в этот новый кабинет за инструкциями и вышел из него часа через два.

Он прошел по бульвару, на минуту остановившись возле памятника Пушкину, на том самом месте, где некогда, во время боев с гайдамаками, у него был отрыт окопчик.

Только что поднявшееся над горизонтом темно-красное солнце угрюмо светило в узкую щель между грядой темных туч и еще более темным морем.

Оттуда порывами дул холодный, неприятный ветер. Несколько военных кораблей, окутанных плывущим туманом дымовой завесы, вели с рейда огонь через Жевахову гору по немецким и румынским молам.

Полотнища огня вылетали из орудийных стволов, отрывались и пропадали в дыму.

Тяжелое эхо катилось по воде, потрясенной залпами.

Трудно было отвести глаза от этой грозной, мрачной и все же чем-то прекрасной картины, которая напоминала Черноиваненко броненосец «Потемкин» и «Синоп»,

ведущий огонь по гайдамацким казармам, и французский военный корабль «Протей» с красным флагом восстания на мачте.

Теперь, стоя здесь и глядя в море на удаляющиеся к горизонту транспорты, Черноиваненко испытывал все сильнее и сильнее разгорающееся в его душе чувство борьбы.

Угрюмое, как раскаленный уголь, солнце медленно вошло в синюю низкую тучу, и море стало черным, как антрацит. Ветер стал еще порывистей, еще холодней. Пепельная тень подернула противоположный берег залива — Крыжановку, Дофиновку, Жевахову гору. Низкая полоса Пересыпи, едва возвышавшаяся над уровнем моря, была затянута дымом горящей нефти. Сквозь дым слабо проступали очертания заводов, эллингов, доков, а за ними, далеко в степи, за лиманами, над передним краем обороны, то там, то здесь вспухали черные шапки взрывов. Черноиваненко некоторое время молча смотрел в эту сторону. Там находились село Усатово и ход в катакомбы, куда ему вечером предстояло спуститься со своей группой.

Машина стояла в дальнем углу небольшого пустынного дворика с фонтаном посредине. Очевидно, в дворик недавно обвалился кусок стены соседнего дома. В воздухе еще стояла тонкая пыль известки. Упавшие камни почти докатились до автомобиля. Один из них даже сделал вмятину в крыле. На пилотке и на плечах водителя лежал густой слой желтой ракушечной пыли. Этот автомобиль была та самая машииа, на которой Колесничук привез отца и сына Бачей с аэродрома на свою «виллу». Каким образом автомобиль попал к Черноиваненко, понять нетрудно. После того как машину вместе с ее водителем и конструктором Святославом мобилизовали в армию, она несколько раз переходила из рук в руки, пока наконец не попала в автобазу военного отдела обкома, откуда ее и получил в свое распоряжение Черноиваненко.

Конечно, он мог бы выбрать себе что-нибудь более приличное. Но он выбрал именно эту машину. Решающую роль в выборе сыграла не машина, а человек. И в этом проявилась одна очень важная черта Черноиваненко — постоянная уверенность в преимуществе чело-

века над вещью, хотя бы даже такой умной, как автомобиль. Ему с первого взгляда понравился Святослав. Черноиваненко проникся доверием к этому молодому человеку с невозмутимым, даже несколько высокомерным выражением мальчишеского лица. Он сразу почувствовал в нем что-то неуловимо родственное, почти сыновнее. Черноиваненко, разумеется, ничем не выразил своего чувства. Внешне он остался равнодушен, как и подобало настоящему черноморцу. Он только отпустил несколько иронических замечаний по поводу машины, и она вместе со своим водителем Святославом поступила в полное распоряжение Черноиваненко, который не ошибся в выборе. В умных руках Святослава машина работала в те критические дни замечательно. А сам Святослав превзошел все ожидания. Он оказался не только превосходным водителем и механиком, но главное — неутомимым, преданным помощником Черноиваненко.

В эти дни все рабочие и служащие перешли на казарменное положение, то есть жили при своих предприятиях и учреждениях, неся круглосуточное дежурство каждый на своем посту. Святослав жил в машине. Он всегда был молчалив, подтянут, несколько сух и, как это ни странно, всегда чисто вымыт, выбрит «с одеколоном» и причесан. Он был в военной форме, с противогазом, и его винтовка была аккуратно приторочена к внутренней стороне брезентовой крыши автомобиля. На нем была летняя, всегда чисто выстиранная пилотка, выгоревшая добела, но очень аккуратная и надетая на правую сторону, но не ухарски, а ровно на столько, на сколько это предписывалось правилами. Его грудь теперь скромно украшал лишь один маленький комсомольский значок. В общем, он имел вид аккуратного и старательного молодого солдата, каковым он на самом деле и был.

Что касается самой машины, то она имела подчеркнуто военный вид. Она была закамуфлирована, то есть раскрашена под цвет окружающей местности. Святослав сам раскрашивал ее, проявляя при этом необыкновенную изобретательность и недюжинный талант пейзажиста. Первый раз, летом, он расписал ее кудрявой зеленью акаций и резкими тенями домов. На брезентовой крыше он изобразил в ракурсе щели улиц, чешуйчатые площади, памятник Воронцову, черепичные крыши, синие

куски моря. Осенью он внес соответствующие поправки: появились охра и киноварь листопада. Святослав готовился к зиме, приготовляя белила, бирюзу и жженую кость для изображения оголенных деревьев, но это было уже не нужно.

Когда Черноиваненко вошел во двор, Святослав сидел в машине и читал книжку, развернутую на баранке руля. Резким движением подобрав под себя пальто, Черноиваненко уселся рядом со Святославом и с силой захлопнул дверцу. Он некоторое время молчал, поглощенный какими-то расчетами. Он раскладывал в уме в строгом порядке, по степени важности, все вопросы и дела, которые предстояло решить и сделать в ближайшие же часы. Наконец он очнулся и сказал:

— Поехали.

Среди множества больших и малых дел, которые Черноиваненко предстояло переделать, было два очень серьезных дела, отмеченных в записной книжке: одно фамилией «Синичкин», другое — «Колесничук».

Товарищ Синичкин, или, как он теперь назывался Синичкин-Железный, один из первых подал заявление о своем желании в случае необходимости перейти в подполье. Обком включил его в группу Черноиваненко. Для Черноиваненко это был золотой, незаменимый человек. У него был громадный революционный подпольный опыт. Черноиваненко должен был решить вопрос, брать ли с собой Синичкина-Железного в катакомбы или оставить его наверху, в городе, для связи с населением района... Оттягивать решение этого вопроса Черноиваненко больше не мог.

Другой вопрос касался Колесничука, при помощи которого Черноиваненко предполагал устроить в центре города явку под видом комиссионного магазина. План этот, одобренный и утвержденный обкомом, Черноиваненко разработал уже довольно давно. За последние дни он несколько раз встречался с Колесничуком, и тот в принципе дал свое согласие. Но дело осложнялось тем, что до сих пор еще не эвакуировалась жена Колесничука, а в ее присутствии трудно было что-нибудь предпринять. Теперь, по расчетам Черноиваненко, она уже, вероятно, уехала. Нужно было не откладывая повидаться с Колесничуком, окончательно договориться.

Черноиваненко велел Святославу сперва ехать к Синичкину-Железному на судоремонтный завод.

Проезжая по Пролетарскому бульвару, Черноиваненко увидел дом, где находилась его квартира, в которую он не заглядывал уже месяца полтора. Нужно было непременно зайти, взять кой-какие необходимые вещи и уничтожить ряд документов. Но в последнюю минуту он передумал. Это можно сделать потом, на обратном пути. И он проехал мимо, заметив, что на его балконе в ящике еще цветут запоздалые настурции и что одно из окон распахнуто, сломанная рама косо висит на одной петле и ветер треплет вылетевшую наружу полотняную портьеру.

Воздух по-прежнему все время содрогался от звуков артиллерийской пальбы. По небу гряда за грядой шли серые, низкие тучи; летели желтые листья; на перекрестках стояли пикеты. Но прибавилось еще что-то новое, грозное. Черноиваненко не сразу понял, что это такое. Неуловимая подробность, которая все время тревожила напоминанием о наступающей беде. И вдруг он понял: это были новые белые, только что расклеенные по городу листки последнего воззвания обкома к населению.

Все вокруг носило следы обороны: разрушенные дома, обгорелые стропила, согнутые взрывами трамвайные столбы, заросшие бурьяном скверы и палисадники, наконец, баррикады поперек улиц, сложенные из мешков с землей, из брусчатки разобранных мостовых, из опрокинутых трамвайных вагонов. На Дерибасовской улице баррикада из наваленной конторской мебели — тяжелых столов, диванов, книжных шкафов, кожаных массивных кресел. Витрины угловых магазинов были наскоро заложены кирпичом, с узкими амбразурами для пулеметов. В иных местах высокие насыпи баррикад поросли бурьяном, и наверху были уже протоптаны пешеходные тропинки. Всюду блестели кучи битого стекла и черепицы. Требовалась большая сноровка, чтобы проехать через город. То и дело Святославу приходилось объезжать траншеи, прыгать по ухабам развороченной мостовой, вести машину через проходные дворы с высохшими фонтанами, поломанными внутренними галереями, кадками фикусов и цветущих нежно-розовых олеандров с рядами пустых ведер, бидонов, банок и бутылок возле сухих водосточных труб, в которые население собирало дожде-

вую воду, так как Беляевская водопроводная станция давно уже была захвачена врагом. И все это в соединении с резким ветром, темным, низким небом, как бы движущимся над обгорелыми крышами беспрерывной утомительной канонадой, сотрясавшей в домах остатки стекол,— все это имело для Черноиваненко уже совсем другой, новый смысл.

Черноиваненко знал, что именно сейчас, в эти последние часы, во всех районах города незаметно совершается переход на подпольное положение множества групп и отдельных людей, которые, по законам конспирации, ничего не знают и не должны знать друг о друге, но которые призваны делать одно и то же благородное дело.

Машина въехала во двор — громадный, пустынный, заваленный ржавой заводской рухлядью, обрезками металла и старыми станками, не вывезенными во время эвакуации. В это время в самом отдаленном углу двора, за инструментальным цехом, раздался не слишком сильный взрыв, вылетело желто-белое облако дыма. Из-за угла цеха выбежали несколько человек, среди которых Черноиваненко узнал нескладную, длиннорукую фигуру старика Синичкина-Железного. Его лицо было запачкано копотью, рукав старого черного пальто разорвался по шву, люстриновая кепка с пуговичкой покрыта кирпичной пылью. Покрасневшие, опухшие глаза сухо блестели.

— Поразительное головотяпство! — сказал он глухим, как из бочки, голосом и тяжело, неодобрительно откашлялся.— Оборудование вывезли, а всю электропроводку и трубы компрессорной установки оставили. Вторые сутки режем в цехах провода и подрываем ручными гранатами сеть для подачи сжатого воздуха... Вы ко мне?

— Да. Сегодня ночью состоялось решение обкома по нашему вопросу. Группа утверждена как подпольный райком. Что касается персонально вас, то я, как первый секретарь райкома, должен безотлагательно решить, как вас использовать наиболее толково. Хочу с вами посоветоваться.

— А именно? — подозрительно нахмурился Синичкин-Железный.— Неясно.

— Имеется два предложения: либо вы сегодня ночью переходите с нами в Усатовские катакомбы, либо вре-

менно остаетесь в городе для связи с населением и сбора информаций. И то и другое очень важно. Ваше мнение?

Синичкин-Железный еще более нахмурился, испытующе исподлобья посмотрел в глаза Черноиваненко, спросил:

— А ваше?

— Буду говорить с вами совершенно прямо,— решительно сказал Черноиваненко.

— Думаю, что никакого другого разговора между коммунистами в данной обстановке и быть не может,— поспешно сказал Синичкин-Железный.

Черноиваненко достаточно хорошо знал прямой характер Синичкина-Железного, не признававшего в отношениях между людьми ничего неясного, недоговоренного. В первых же словах Черноиваненко он почувствовал какую-то неясность и сразу насторожился.

— Буду говорить совершенно прямо,— повторил Черноиваненко.— Вы необходимы и в катакомбах и здесь, наверху. Мне кажется, что в катакомбах вы даже более необходимы.

— Так в чем же дело?

— Дело в том,— сказал Черноиваненко терпеливо, стараясь быть как можно более деликатным, но в то же время и не терять твердости,— дело в том, что вы человек уже, так сказать, немолодой, не вполне здоровый...

— То есть, вы хотите сказать...— играя скулами и сдвинув брови, перебил его Синичкин-Железный.

Но Черноиваненко уже довольно решительно заметил:

— Позвольте мне кончить мою мысль. Я хочу сказать то, что я говорю. Вы человек больной, у вас слабые легкие, на вас может пагубно отразиться долговременное пребывание в сырых и темных штреках. Больше я ничего не имею в виду.

Синичкин-Железный некоторое время молчал, сердито покашливая, и лицо его становилось все более и более мрачным.

— Так вот что, дорогой товарищ Черноиваненко,— наконец сказал он, глядя в сторону, вниз.— Во-первых, спасибо за откровенность. А во-вторых, вы неправы во всех отношениях. И я не позволю!..— вдруг крикнул Синичкин-Железный, но сделал над собой усилие, взял себя в руки и успокоился.— Я еще не собираюсь пере-

ходить на социальное обеспечение. Как вам известно, я еще пока работаю, и, говорят, работаю неплохо. Да, неплохо. Во всяком случае, командование вынесло мне благодарность за ремонт танков и за выпуск бронепоезда. А что касается моего здоровья, то это сильно преувеличено. Слабые легкие! — воскликнул он.— Мало ли что! Действительно, легкие были слабые. Но за последнее время подлечился. Вот у Максима Горького тоже были слабые легкие. Ну, и что ж из этого? Горел, а не жил! А вы мне толкуете — легкие! Нет, уж это вы, будьте любезны, оставьте.

Черноиваненко смотрел на него, испытывая чувство восхищения. Что могло остановить такого человека, сломить его дух, заставить перестать работать и бороться?..

Вся жизнь Синичкина-Железного была связана с революцией. Несколько раз он сидел в тюрьме, бежал из ссылки. Его били в участках, на пересыльных пунктах. Он дрался за Советскую власть с гайдамаками, интервентами, немцами, Деникиным, Врангелем. Некоторое время он был членом революционного трибунала. Тогда к его фамилии прибавилась кличка — «Железный». В то время его называли только «Железный», без «Синичкин». «Товарищ Железный». Это была эпоха суровых и ясных слов: «Беспощадный», «Зоркий», «Бдительный». Он был «Железный». Это имя очень подходило к нему. Даже в его внешности было много сходства с железом: высок, худ, темен лицом, как бы вечно покрытый синеватой окалиной. Даже чахоточный румянец сумрачно светил под этой синевой, как светится в кузне остывающая подкова. Даже его волосы, крутые, тяжелые, зачесанные крыльями, были серовато-синие, железного оттенка. Он был весь как бы выкован из железа.

Вдруг слабая лукавая улыбка скользнула под его усами. Он посмотрел на Черноиваненко через поднятое плечо одним глазом и сказал:

— Впрочем, суть дела не в том. Возможно, что климат Усатовских катакомб действительно не вполне полезен для моего здоровья. Но какие у вас основания, уважаемый товарищ секретарь, думать, что моей жизни будет угрожать меньшая опасность на поверхности земли, так сказать, в климатических условиях фашистской оккупации? Еще неизвестно, где найдешь, где потеряешь.

Однако я надеюсь, что мы с вами отнюдь не обсуждаем здесь вопрос, как бы нам уклониться от риска умереть тем или другим способом, а наоборот — решаем вопрос, как бы заставить умереть возможно большее количество наших врагов. Партия призывает нас именно к этому. Так, знаете ли, давайте лучше решать с позиции не личных, а государственных, общенародных. Говорите: где я принесу наибольшую пользу делу?

Чувствуя в душе необыкновенное волнение и нежность к этому старому упрямому человеку, Черноиваненко обнял его за плечи и сказал приблизительно то же самое, что сказал ему самому на прощание секретарь обкома:

— Не мне вас учить, Николай Васильевич, старого большевика, опытного подпольщика. Решайте сами.

— Решать будете вы,— серьезно, даже строго произнес Синичкин-Железный.— Но, если вам угодно выслушать мое мнение, то извольте. Руководить кадрами — это правильно. Но так как наши будущие кадры находятся главным образом именно здесь, на Пересыпи, на Молдаванке, в порту, то я считаю, что первое время мне необходимо остаться наверху. Тут я буду более полезен для дела. Я буду вашим, как бы сказать, полномочным представителем. Я буду вашими глазами, вашими ушами... А ежели понадобится, то и вашими руками,— прибавил он с серьезной улыбкой и, вытянув перед собой худые длинные руки, сделал пальцами крепкое, сжимающее движение.— Остальное — в зависимости от сложившейся обстановки, которую предсказать не берусь. Буду вам систематически докладывать о положении в городе, в особенности на Пересыпи и в районе порта. Годится?

Черноиваненко немного подумал и решительно сказал:

— Принято. Действуйте!

— Ну, вот видите,— миролюбиво заметил Синичкин-Железный.— А вы говорите — легкие!

Черноиваненко встал и протянул ему руку:

— Попрошу вас прибыть сегодня после наступления сумерек к северной стене Хаджибеевского парка. Там мы уточним явки, и я покажу вам ход в свое хозяйство. До свиданья.

Черноиваненко пошел к машине. Обернувшись в воротах, он увидел длинную фигуру Синичкина-Железного, шагавшего против ветра через двор, к сборочному цеху, за которым темнела полоса моря. Несколько человек — вероятно, его «кадры» — что-то делали возле стены цеха.

Свидание с Синичкиным-Железным возбуждающе подействовало на Черноиваненко, и он весело, бодро крикнул Святославу:

— На квартиру к Колесничуку!

11

КОЛЕСНИЧУКИ

Дом, где жили Колесничуки, был пока цел, но недалеко разорвалась фугаска, и все стекла, а кое-где и рамы были наскоро заделаны картоном или фанерой. Дверь в переднюю Колесничуков была открыта настежь; по-видимому, ее нельзя было закрыть, так как она треснула и сорвалась с верхних петель. Несколько беспорядочных белых следов вело с площадки, расписанной помпейским орнаментом, в квартиру. Она казалась пустынной. Это была большая коммунальная квартира в старом, дореволюционном доме, из числа тех «доходных домов» конца XIX века, которые строились для богатых жильцов, состояли из «барских» квартир и были отделаны с претензией на роскошь. Вешалка была пуста. Очевидно, все жильцы уже выехали. Сквозняк гонял по зашарканному, нечищенному паркетному полу сор, обгорелые бумажки, стручки акаций.

— Кто-нибудь есть? — спросил Черноиваненко громко.

Ему никто не ответил. Он прошел, гулко стуча сапогами, в глубь темного пустынного коридора со старым велосипедом на стене — туда, где на повороте, рядом с ванной и кухней, находились две смежные комнаты Колесничуков. Замка на двери не было. Черноиваненко распахнул дверь жестом хозяина.

Первый, кого он увидел при свете коптилки в сумраке этой неприбранной, запущенной комнаты с окнами, занавешенными черными бумажными листами, был сам Ко-

лесничук. Он сидел в шинели и фуражке перед столом без скатерти и быстро ел из котелка суп. На резном дубовом стуле с высокой плетеной спинкой висели полевая сумка, противогаз и пистолет. При виде этой знакомой, всегда такой аккуратной и уютной, а теперь такой жалкой, разоренной комнаты, где знакомые вещи и вещицы — приданое Раисы Львовны — были разбросаны, разбиты или сломаны, где на столе не было скатерти, где валялись окурки и обгорелые бумажки, где чадил дымный огонек коптилки и при особенно сильных взрывах сыпалась с потолка известь, сердце Черноиваненко на мгновение сжалось от острого чувства беды.

— Здорово, Жора! — быстро сказал он, не подавая Колесничуку руки, чтобы не отрывать его от еды.

— Здравствуй,— сказал Колесничук, с неестественным равнодушием взглянув на приятеля.— Присаживайся.

Черноиваненко спихнул со стула узел с приготовленными вещами и сел, положив перед собою на стол шапку.

— Супу хочешь? — монотонным голосом произнес Колесничук.

Черноиваненко посмотрел на него с удивлением:

— Что ты, милый человек, какой может быть суп? Я пришел окончательно договориться. Ты еще не раздумал? Твоя кандидатура уже утверждена директивными органами. Раису отправил?

— Тише! — прошептал Колесничук, сделав испуганные глаза, и показал головой на дверь в соседнюю комнату.— В том-то и дело, что Рая еще не уехала.

— А что случилось? — понижая голос, спросил Черноиваненко.

— Ничего не случилось. Что ты, женщин не знаешь? — сказал Колесничук одними губами.— Не хочет без меня уезжать.

— Так надо было ее уговорить! — с раздражением сказал Черноиваненко, чувствуя, что дело может сорваться.

— Попробуй уговори!

— Прямо удивительно!..

— Тише!

— Георгий, с кем ты разговариваешь? — послышался из соседней комнаты голос Раисы Львовны, и вслед за тем в дверях появилась она сама.

Ее голова была закутана теплой шалью. Виднелась лишь половина бледного, заплаканного лица с черным глазом. Она держалась одной рукой за висок, а другую прижимала к горлу. Увидев Черноиваненко, она быстро подошла к нему, с отчаянием протянула руку ладонью вверх и заплакала.

— Ты видишь, Гаврик, что делается? — сказала она, не здороваясь и судорожно глотая воздух.— Ты видишь?

— Три дня взрывал свои склады,— по-прежнему монотонно сказал Колесничук, как бы продолжая разговор.— Сегодня утром кончил. Ничего больше не осталось. Чисто. Ночью будем грузиться на транспорт.

— Да...— неопределенно заметил Черноиваненко.

— Извини, я даже забыла с тобой поздороваться,— сказала Раиса Львовна, продолжая смотреть на Черноиваненко неподвижным, заплаканным глазом.— Ты понимаешь?.. Ты понимаешь?..

— Я понимаю,— ответил тихо Черноиваненко и опустил голову.

Можно было понять все и без слов. Он понял, что это последний обед Колесничуков в родном доме. Он понял их душевное состояние. Он понял, как больно, как мучительно трудно они переживают оскорбительную необходимость бросить на произвол судьбы все, к чему они привыкли, и уйти из города, где они родились, где они любили, где были могилы их родителей и их умерших детей. Он понимал и те сравнительно маленькие, но все же такие законные и сильные человеческие чувства, ту обиду, которую испытывали они, в особенности Раиса Львовна, от необходимости расстаться со своим имуществом, честно нажитым за всю их долгую совместную жизнь.

— А я думал, что ты уже давно уехала,— после тягостного молчания сказал Черноиваненко.

Раиса Львовна подошла к Колесничуку, положила голову на его плечо и вдруг тревожно, подозрительно посмотрела на Черноиваненко.

Черноиваненко понял, что дело осложняется.

— Раечка,— сказал он как можно более мягко и вместе с тем твердо,— выйди на некоторое время из комнаты. У нас важное дело.

Увидев серьезное лицо своего мужа и решительное

Черноиваненко, Раиса Львовна вдруг почувствовала всем своим существом приближение какой-то большой новой опасности, значения которой она еще не понимала, но уже твердо знала, что эта опасность угрожает и ее Жоре, и ей, и всей их жизни.

— Ничего подобного,— сказала она быстро. Она слишком давно и слишком хорошо знала Черноиваненко. Она не могла не понимать, что внезапное появление его в эту роковую минуту в их доме означало нечто очень значительное и очень грозное.— Ничего подобного,— сказала она, глядя прямо и вызывающе в глаза Черноиваненко.— Я не признаю никаких секретов. Можешь говорить при мне. Я его жена.

Она еще ближе придвинулась к Колесничуку и обняла его за плечи. Черноиваненко понял, что уговаривать ее бесполезно, на это должно уйти слишком много времени, а сейчас была драгоценна каждая минута. Но не в характере Черноиваненко было отступать. Он прошелся туда и назад по комнате, остановился перед Раисой Львовной и сказал решительно:

— Хорошо. Согласен. Ты его жена, и ты имеешь право до конца делить жизнь со своим мужем. Ты этого требуешь, и, если хочешь знать, я тебя за это крепко люблю и уважаю. Но пойми, Раиса, что бывают такие обстоятельства, когда...

— Постой,— быстро перебила она его,— ничего больше не говори. Ты правильно понял. Я требую. Именно — требую! Это мое право! И я никуда отсюда не уйду. Как угодно! Или, может быть, ты мне в чем-то не доверяешь? — спросила она, продолжая пристально всматриваться в лицо Черноиваненко.

Сказать, что он ей не доверяет, значило бы оскорбить ее. Оскорбить грубо, а главное — совершенно незаслуженно. Черноиваненко давно знал Раису Львовну, знал всю ее жизнь, знал, что она хороший, честный человек, и он не имел никаких оснований ей не доверять.

— Нет, я тебе доверяю,— несколько помедлив, сказал Черноиваненко, как бы взвешивая каждое слово.— Я тебе доверяю. Надеюсь, ты понимаешь, что я этим хочу сказать?

Раиса Львовна посмотрела на Черноиваненко, и ее обдало холодным предчувствием.

— Понимаю,— тихо проговорила она.— Что же тебе от нас надо? Что ты с ним хочешь сделать?

— Он должен остаться в городе,— сказал Черноиваненко твердо.

Одним движением она скинула с головы платок.

Черноиваненко подошел к окну и потянул за черную бумажную штору светомаскировки, изношенную и изодранную, державшуюся на двух гвоздях. Штора оторвалась и упала. В комнату влетел ветер и погасил коптилку.

При белом, дневном освещении комната со старым пианино, отодвинутым от стены, с пустой этажеркой, с вазочками, статуэтками и книгами, которые в беспорядке загромождали грязный паркет, имела еще более отчаянный, как бы неприкаянный вид. Среди этого беспорядка и странной тишины особенно зловеще звучал мрачный рокот артиллерии, и до оскомины омерзительно, точно кто-то все время тупо, с нажимом, писал на мокром стекле пальцем большое, прописное «О», где-то высоко в небе визжали на разные лады — от самых высоких, нестерпимо острых, до низких, тошнотворнобасовых — истребители.

Теперь то, что сказал Черноиваненко, приобретало новый смысл — гораздо более глубокий, обширный и грозный, чем это казалось минуту назад, при темном свете коптилки и сумраке пустой, брошенной жильцами коммунальной квартиры. И Раиса Львовна совершенно ясно поняла этот смысл. Она поняла, что в их жизни происходит разительно резкая перемена, что они стоят на пороге какого-то совершенно нового бытия, ничего общего не имеющего ни с этой квартирой, ни с этими привычными вещами, ни с привычными представлениями о самих себе, одним словом — ни с чем прошлым. Со всей глубиной и ясностью она поняла, что это к ним вошел не просто Гаврик Черноиваненко, старый их друг, а это к ним пришла сама партия, сама родина, которая сказала Колесничуку так же просто, как она сказала тысячам и миллионам людей в эти страшные дни: «Ты мне нужен. Я тебя беру». И сказала не только это, а как бы сказала еще: «Я беру тебя потому, что ты старый, верный друг, потому, что я верю тебе, потому, что на тебя можно положиться».

— Он должен остаться в городе,— повторил Черноиваненко.

— Георгий, это правда? — еле слышно спросила она.

— Ты же слышала, Раечка,— совсем просто сказал Колесничук.

Она стояла близко возле него, сильно побледневшая, перебирая ледяными пальцами бахрому платка, упавшего на стул.

— Он же беспартийный,— с робостью сказала она.

— Вот это именно нам и требуется,— ответил Черноиваненко.— Нехай беспартийный. Тем и лучше. Бухгалтер, беспартийный, русский,— стал он загибать пальцы,— немолодой, окончил гимназию до Октябрьской революции, бывший прапорщик, ничем, с их точки зрения, не запятнанный...

Черноиваненко вдруг замолчал, пораженный выражением лица Раисы Львовны. Оно было неподвижно. Открытые глаза, несмотря на всю свою черноту, казались прозрачными и смотрели будто сквозь предметы в какую-то таинственную, неизмеримую даль. Горькая, сухая, но решительная складка лежала вокруг ее распухших губ.

— А я? — сказала она очень ровным, почти монотонным голосом, не изменяя выражения неподвижного лица.— А меня куда вы денете?

— А ты — на военном транспорте... В тыл.

Ни направление ее прямого взгляда, ни выражение лица не изменились. Она по-прежнему стояла совершенно неподвижно, как каменная.

— Значит, Жора останется здесь, а я уеду на военном транспорте? — сказала она тем же голосом — монотонным и ужасным в своей безжизненной монотонности.

— Ты же сама понимаешь...— смущенно пробормотал Колесничук и покраснел.

Да, она понимала. Она слишком хорошо понимала, что остаться с мужем в городе, занятом фашистами, для нее невозможно. Хотя она и носила фамилию Колесничук, но все же она была еврейка, и скрыть это было невозможно. Сделав усилие, она сбросила с себя оцепенение и очень пристально посмотрела в глаза мужу.

— А как же иначе? — осторожно сказал Колесничук, беря ее за руку.— Как же иначе, Раечка?

Она с силой отняла свою руку, отошла на шаг назад

и вдруг рванулась вперед, обхватила и стиснула его голову.

— Вы не смеете... ты не можешь... никто не смеет!

Она беспорядочно забормотала, выкрикивая отдельные слова, не имеющие между собой никакой связи. Интендантская фуражка свалилась на пол и покатилась. Раиса Львовна покрывала поцелуями взъерошенную голову Колесничука, его поредевшие волосы.

Черноиваиенко слишком хорошо знал ее характер, чтобы не ожидать сопротивления, но он никак не мог предположить, что в этой добродушной женщине может оказаться столько страсти, столько сумасшедшего упорства. Он сразу понял: перед ним встало непреодолимое препятствие женской любви и верности. Но и здесь он не захотел отступать.

— Успокойся, Раиса,— терпеливо, почти ласково сказал он.— Сейчас мы это все обдумаем... Сядь, успокойся.

Он отвел ее от Колесничука и почти силой заставил сесть.

В конце концов, она, так же как и Колесничук, была его старым другом, еще со времен граждаиской войны. И, немного подумав, Черноиваненко принял смелое решение.

— Слушай,— сказал он и озабоченно наморщил лоб,— если хочешь, я тебя тоже оформлю. Конечно, мы тебя не оставим наверху, а ты пойдешь в другое место.

Он энергично повернул свою маленькую крепкую руку, выставил большой палец, взвел его, как курок, и ткнул им вниз, в пол.

— Вниз,— сказал он со значением, с нажимом.— Понятно? Как ты на это смотришь?

Она ничего не ответила, только прикрыла глаза выпуклыми, порозовевшими веками с лазурными жилками и черными густыми ресницами, на которых еще переливались капельки. В эти тягостные, торопливые последние дни перед эвакуацией хорошие люди научились понимать друг друга с полуслова, с одного взгляда. Если не умом, то сердцем Раиса Львовна тотчас поняла не только то, что Черноиваненко сказал, но также и то, чего он не сказал, не имел права пока сказать прямо, на что только намекнул. Может быть, она поняла даже больше того, что понял Колесничук. Она поняла, что в этот миг в ее

жизни совершился решительный, неизбежный поворот и к прошлому уже дороги нет. И с этого мига она перестала бояться. Теперь, когда все стало ясно и определенно, ее душа как-то вся расширилась, окрепла. Раиса Львовна с облегчением почувствовала полную готовность делать то, что от нее требовалось, хотя она и не вполне еще понимала, что именно она должна была делать. С этого мига ее воля радостно и охотно подчинилась воле Черноиваненко. Она с легким сердцем оглядывала комнату, как бы прощаясь со своей прежней жизнью, с кафельной печкой с гипсовым серо-зеленым медальоном посредине, со старыми вещами и вещицами, с мебелью — со всем тем, что уже потеряло в ее глазах всякое значение и чего ей уже было не жаль.

12

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Черноиваненко побывал на Одессе-товарной, где для его группы грузилось продовольствие, заехал затем на военный склад и лично проследил за получением боеприпасов, взрывчатки и шанцевого инструмента, получил в штабе Приморской армии обстановку, оформил оставление в тылу интенданта третьего ранга Колесничука и красноармейца Святослава Марченко в своем распоряжении, позвонил секретарю обкома по поводу перехода в катакомбы Раисы Львовны, переделал еще множество менее важных дел и в пятом часу вечера наконец подъехал к своему дому, поднялся на третий этаж, где находилась его квартира.

В темной лестничной клетке, на площадках, стояли ящики с песком, и на стенах, выкрашенных масляной краской под зеленый мрамор, висели громадные железные щипцы для борьбы с зажигательными бомбами, а также брезентовые пожарные шланги и пустые ведра. На дверях большинства квартир висели замки. Некоторые двери были распахнуты настежь, и сквозной ветер крутил в пустых комнатах, мел по коридорам клочки обгорелой бумаги и сор.

Из покосившегося ящика для писем торчало несколько старых номеров «Правды», журнал «Больше-

вик» и клочок пожелтевшей бумаги, исписанной тупым карандашом. Он сразу узнал крупный, беспорядочный почерк своей племянницы Матрены Терентьевны Перепелицкой, или, попросту говоря, Моти, заходившей в его отсутствие. По-видимому, записка торчала здесь уже довольно давно. Он взял ее и, на ходу читая, вошел в квартиру. Мотя писала в своей обычной манере, торопясь передать лишь самое главное и пропуская подробности:

«Забегала к вам, хотела повидаться, понятно — не застала дома. У нас сейчас живет сынок нашего Петра Бачея, тоже Петя. Мы его вытащили из воды, покамест он болеет воспалением легких, но, будем надеяться, скоро поправится. Не знаю, как дальше поступить с ребенком. Сейчас на моих руках шаланды, сети, колхозные котлы. Шаланды, весла, паруса и все оборудование мобилизованы военным командованием и находятся на колхозном причале под моей ответственностью. В случае, если придется отступать, жду приказа все это уничтожить, чтобы не попало в руки фашистов. А пока сидим у моря, ждем погоды, переживаем с Валентиной тяжелые дни, она вам кланяется, ужасно выросла за последние месяцы, возмужала, вы ее не узнаете. От Акима Петровича и мальчиков ничего не имею, надеюсь, что они живы и успешно сражаются за родину, но на каких фронтах, не знаю. Пожалуйста, дядя, если выберете свободный день, заскочите до нас повидаться, а то когда еще встретимся, неизвестно. Ах, какое тяжелое время, дядечка! Ну, желаю вам всего хорошего, а я уже побежала. Ваша Мотя».

Он сунул в карман это явно запоздавшее письмо и грустно улыбнулся. У него не было своей семьи. Он был однолюб, и он никогда не мог забыть свою Марину. Он был верен ее памяти. Семья Моти Перепелицкой — это, собственно, и была его настоящая, единственная семья, к которой он был привязан всем сердцем.

С нежным чувством он представил себе на миг Мотю, Валентину и всех других Перепелицких. Что касается упоминания о больном мальчике Пете Бачей, которого вытащили из воды, сыне друга его детства Петра Васильевича, то это хотя и заинтересовало его, но ничуть не удивило.

Между тем уже начинало темнеть. Надо было торо-

питься. Он вошел в свою комнату, выдвинул ящики письменного стола и стал отбирать бумаги, которые следовало уничтожить. Он разрывал их и бросал на кровать, с тем чтобы потом сжечь на кухне, в плите. На тумбочке возле кровати, рядом с электрическим никелированным чайником и будильником, стояла красивая широкая рамка с очень маленькой старой фотографической карточкой-молнией, на которой была снята совсем молоденькая темноволосая и темноглазая девушка, почти девочка, в шубке с потертым меховым воротником и в круглой финской шапочке, из-под которой выбивались кудрявые волосы.

Черноиваненко вынул эту карточку из рамки и прочитал на обороте: «Дорогому другу, любимому мужу Гаврику Черноиваненко, навсегда твоя Марина, Петроград 1917 год».

Он поцеловал карточку и положил ее в записную книжку.

Некоторое время он смотрел в распахнутое окно. Далеко, за облетевшими садами, под темной дождевой тучей угрюмо светилась мутно-красная полоса заката, на фоне которой чернел силуэт Ботанической церкви со стаей грачей, поднимающейся и опускающейся, как сеть, над ее куполом. Артиллерийских залпов уже не слышалось. Над городом стояла странная тишина. Но с переднего края все же изредка еще доносилась довольно сильная ружейная и пулеметная стрельба.

Он быстро сбежал по лестнице вниз, в пустую котельную, при свете ручного электрического фонарика закопал книги и бумаги, завернутые в простыню, возле стены, забросал место шлаком, сел в машину.

Приближалась ночь — тревожная, непроглядная, со всей молчаливой неурядицей города, оставляемого эвакуирующейся армией.

Черноиваненко вместе с Колесничуком успел побывать в городском ломбарде, где на полках и столах во тьме, при свете электрического фонарика и при зареве пожаров, светящихся в готических окнах, блестели и дрожали от взрывов самовары, швейные машины, патефоны, посуда, стенные часы с ноющими, трясущимися пружинами, как будто у них было сердцебиение, и множество тех предметов домашнего обихода, которые

всегда кажутся незаменимыми и красивыми дома и которые приобретают в ломбарде и на толкучке жалкий вид никому не нужной рухляди,— отобрать вещи, необходимые для комиссионного магазина, наконец, в последний раз проверить подготовку материальной части, записать в книжечку количество винтовок, патронов, гранат, пистолетов, различного шанцевого инструмента, килограммов взрывчатки,— и в сгустившихся сумерках приказал Святославу ехать за город, в сторону Хаджибеевского парка.

В то время как одни люди вносили на плечах и пропихивали в узкую щель подземелья ящики, чемоданы, корзинки, жестянки, узлы, пакеты, бочки, оружие, несгораемый шкаф и прочее и складывали все на первых порах вдоль стен первой пещеры, рассчитывая потом перебазироваться в глубь катакомб,— в это время солдаты комендантского взвода быстро и споро выносили из пещеры наверх штабное имущество, сматывали провода и снимали со стен висящие на колышках кожаные телефонные аппараты. Одни советские люди уходили, другие оставались. Это напоминало смену караулов.

— Товарищ секретарь,— сказал Святослав решительно,— разрешите обратиться!

Только сейчас Черноиваненко вспомнил о своем водителе. Святослав стоял перед ним по стойке «смирно», подобрав живот, с напряженным лицом и блестящими глазами. Решетчатая тень «летучей мыши» легонько двигалась вперед и назад по его стройной фигуре. Все его тело было немного наклонено, как бы готовое лететь по первому слову начальника. Черноиваненко сразу понял, что творится в душе этого юноши, который за последнее время стал ему так симпатичен, даже дорог. Вопрос о том, оставлять Святослава или не оставлять, был уже решен давно. Он так привык к этому решению, что даже как-то забыл сообщить о нем Святославу. Все казалось само собой понятным. Теперь же он увидел, что Святослав ждет от него словесного приказания.

— Разве я тебе не сказал? Странно. Значит, просто забыл. Так вот... стало быть, я тебя забираю из армии. Остаешься со мной... Рад?

Святослав глубоко набрал в себя воздух. Его грудь расширилась. Глаза блеснули. Он хотел ответить как можно спокойнее, но его голос по-мальчишески сорвался.

— Так точно! — сказал он хрипловато и перевел дух.— Не сомневайтесь, товарищ секретарь... я оправдаю...

— Ладно, не горячись,— заметил Черноиваненко улыбаясь.— Действуй! — прибавил он, с особенным удовольствием выговаривая это энергичное, серьезное слово, которое в последние дни так часто на все лады повторялось множеством советских людей, готовившихся к борьбе с врагом, входившим в город.

Но Святослав продолжал неподвижно стоять перед Черноиваненко.

— По-моему, все,— сказал Черноиваненко.

— Товарищ секретарь,— ответил Святослав,— я, конечно, понимаю, что это... как бы сказать... не полагается, тем более что в городе такая острая ситуация... но...

Черноиваненко нахмурился:

— Ну?

— Но, знаете, у меня тут остается родная мать. И я бы хотел, если возможно, заскочить на пару минут попрощаться.

Черноиваненко нахмурился еще больше:

— Когда вспомнил!

— Так вы же сами знаете, товарищ секретарь, что я уже целый месяц нахожусь на казарменном положении, безотлучно при автомобиле.

— Все-таки надо было раньше соображать,— сказал Черноиваненко решительно.— Теперь я даже не знаю...

Святослав потупился:

— Виноват.

Вслед за тем он сделал усилие, как бы стараясь стряхнуть со своей души тяжелый груз, но не сумел его стряхнуть, а только еще больше вытянулся и прямо посмотрел в глаза своему начальнику:

— Разрешите заниматься своим делом?

— Подожди.

Черноиваненко задумался, помолчал.

— Мама твоя далеко живет?

— Да господи же! — закричал Святослав, забывая на миг всякую субординацию.— Рядом! На хорошей машине туда и обратно двадцать минут.

— Где именно?

— За Пересыпью. В самом начале Лузановской дороги. Разрешите?

Хотя при настоящей неопределенной обстановке отпускать человека по личному делу из отряда в город и противоречило всем правилам конспирации, тем не менее, увидев так отчаянно и так просительно блестевшие глаза Святослава, Черноиваненко не мог лишить его свидания с матерью, которое, в конце концов, могло оказаться последним свиданием. Тем более что отсюда до Лузановской дороги было действительно совсем недалеко. Черноиваненко это хорошо знал, так как в тех же местах жила зимой его племянница Мотя Перепелицкая.

Подумав о Матрене Терентьевне, Черноиваненко тут же вспомнил ее записку. Что сейчас делает Матрена Терентьевна? Вернее всего, она уже эвакуировалась из города на каком-нибудь транспорте вместе с Валентиной и Петей. Тогда все в порядке. А что, если она, до последней минуты охраняя имущество рыбоколхоза, задержалась, не сумела пробиться в порт с детьми и вещами? Это тоже легко могло случиться. Черноиваненко слишком хорошо знал всю непрактичность Моти, когда дело касалось устройства своих личных дел,— черта, свойственная всем Черноиваненкам. Он представил себе ее, растерявшуюся, беспомощную, не сумевшую своевременно достать пропуск в порт и обеспечить себе транспорт. Как он не подумал об этом раньше! Он почувствовал сильнейшее беспокойство.

— Погоди,— сказал Черноиваненко и, решительно шагнув к фонарю, быстро написал несколько слов в записной книжке и вырвал листок.— Поезжай попрощайся с матерью, а потом срочно гони машину в Крыжановку. Это оттуда пара километров. Рыбоколхоз «Буревестник» знаешь? Найдешь там хату Перепелицких, спросишь Матрену Терентьевну.

— Я знаю,— сказал Святослав.— Зимой мы с ними соседи.

— Тем лучше. Выясни, как там и что. Вернее всего, они уже эвакуировались. А если нет, то забери их на свою машину и в самом срочном порядке подбрось в порт и посади на транспорт. Если не будет транспорта, то обеспечь посадку на катер, на какой-нибудь бот, свяжись с командованием, попроси от моего имени, чтобы их

обязательно куда-нибудь посадили. В крайнем случае найди кого-нибудь из руководящих работников обкома и покажи эту записку.— Черноиваненко протянул Святославу листок.— Понятно?

— Слушаюсь! — радостно воскликнул Святослав.

— Езжай.

— А как потом прикажете поступить с машиной?

— С твоей антилопой? Брось ее к черту. Пускай на ней фашисты ломают голову.

— Лучше я ее уничтожу собственными руками,— мрачно сказал Святослав.

— Это твое дело.— Глаза Черноиваненко вдруг озорно блеснули.— Лично я непременно оставил бы ее немцам. Хай им черт! Но, в общем, действуй как хочешь.

Черноиваненко отвел Святослава в угол пещеры, откуда начинался узкий лаз в глубину катакомб, и вполголоса коротко, сжато, но вместе с тем не пропуская ни одной подробности, проинструктировал его на все случаи его «выхода наверх». Затем он взял у Святослава комсомольский билет и все документы и положил их в свою записную книжку, а записную книжку — в карман.

— Теперь ты сам себе голова,— строго сказал он.— Учти это. Ступай! И чтоб не позже чем через два часа ты был здесь!

— Будет исполнено! — сказал Святослав и проворно пролез в щель.

13

ПРИ СВЕТЕ ДОГОРАЮЩИХ ПОЖАРОВ

Петя неуклюже ковылял в чужих башмаках за Матреной Терентьевной и Валентиной. Уже ночь была на исходе, а они все никак не могли добраться до Пересыпи, где находилась зимняя — так сказать, «городская» — квартира Перепелицких. Как это ни странно, они заблудились. Они знали здесь каждую балочку, каждую складку, каждый курган, и тем не менее они заблудились. Они смотрели вокруг и не узнавали местность, искаженную войной.

Они всюду натыкались на опустевшие окопы, на зиг-

загообразные ходы сообщения, на колючую проволоку, на брошенные минометные и артиллерийские позиции. В иных местах гнилой осенний бурьян вонял бензином и отработанным смазочным маслом. Валялись кучами стреляные гильзы — винтовочные и артиллерийские. Попадались неразорвавшиеся снаряды. Освещенные заревом далеких пожаров, они имели особенно зловещий вид, эти тупорылые, иногда с дырочками на медных носах, угрожающе неподвижные болванки с медными поясками и концентрически обточенными доньями.

Петя старательно обходил неразорвавшиеся снаряды, чувствуя внутреннюю дрожь и даже тошноту от яркого представления, какая чудовищная, смертоубийственная сила спрятана в них и какой был бы ужас, если бы эта слепая, омерзительная сила вдруг мгновенно вырвалась, и рванулась во все стороны, и разорвала бы в клочья, и сожгла, испепелила в один миг все окружающее, и в том числе самого Петю.

Все вокруг было неузнаваемо. В особенности же меняла представление о местности вода — громадное озеро воды, появившееся там, где его никогда раньше не было и никак не могло быть. Куда бы они ни поворачивали, желая выйти к Пересыпи, всюду они натыкались на воду. Они не знали, что только что была взорвана земляная дамба, отделявшая Хаджибеевский лиман от полей орошения. Таким образом, теперь они были отрезаны от города водой, разлившейся на несколько десятков километров, затопившей часть Пересыпи и дошедшей до моря в районе доков.

Во всяком случае, горящие на Пересыпи бензиновые цистерны вместе со своим черным дымом и красным пламенем бурно отражались в воде, почти вплотную подступавшей к ним. Они уже начинали догадываться, что отрезаны не только от города, но и от уходящей армии. Точнее сказать, они находились в мертвом пространстве между двумя армиями, между своими и врагами; причем от своих они были отрезаны разлившимся лиманом, но между ними и врагом никаких существенных преград не было. Они уже были в плену.

Когда Матрена Терентьевна наконец поняла это, она, как слепая, вдруг полезла прямо в воду, надеясь дойти до Пересыпи вброд. За ней в воду сунулась Валентина,

а за Валентиной — Петя. Они прошли несколько шагов в ледяной вонючей воде лимана, но внезапно вода поднялась до колен, потом до пояса. Матрена Терентьевна оступилась, потеряла равновесие, и, если бы Валентина вовремя не подхватила мать, она бы окунулась с головой. Тогда они поспешно повернули назад. До половины мокрые, дрожащие от холода, они выбрались на берег. С моря дул ледяной ветер. Мглистый туман, светящийся от пожаров, пронизывал до костей.

Петю стала бить лихорадка. Мальчик изо всех сил сжимал челюсти, чтобы скрыть дрожь.

— Ну, деточки, ну что же вы, деточки...— бормотала Матрена Терентьевна, озираясь по сторонам.— Давайте, деточки, давайте! Надо как-нибудь побыстрей. Живенько, живенько!

И они, выбиваясь из сил, стали ходить вдоль разлива, надеясь найти хоть какую-нибудь лазейку. Но лазейки не было. Они сделали, наверное, туда и обратно вдоль разлившейся воды километров пятнадцать. Они ходили таким образом больше половины ночи и совсем выбились из сил.

Матрена Терентьевна все время бормотала:

— Деточки, деточки...— И слезы катились по ее сразу похудевшему, измученному лицу.

Наконец они присели на край обвалившегося степного колодца с каменной колодкой для водопоя и сидели молча, не зная, что же теперь делать. Первой очнулась Валентина. Она вскочила, взяла за плечи мать и стала ее трясти своими тонкими, но сильными руками:

— Мама, я вас очень прошу, успокойтесь. Возьмите себя в руки. Довольно сидеть! Идем дальше.

— Куда же мы пойдем, Валентина, когда всюду вода? — упавшим голосом сказала Матрена Терентьевна.— И обрати внимание на Петечку: он уже насилу идет.

— Можешь идти дальше? — строго спросила Валентина.

— Могу,— сказал Петя, стараясь не выдать боли, которую причиняла ему натертая пятка.

Валентина подошла к мальчику вплотную, положила ему руки на плечи и заглянула в глаза. Он видел близко от себя ее лицо, нежно и в то же время как-то угнетающе печально освещенное слабым светом догорающих вда-

леке пожаров. Он увидел совсем близко от своих глаз ее светящиеся прозрачные глаза, полные такого участия и такой требовательной, настойчивой любви, что ему и вправду показалось, что он совсем не устал и может подняться на ноги и идти дальше, идти сколько угодно, лишь бы рядом с ним шла эта девочка с ее маленьким, сильно сжатым ртом и решительно сдвинутыми бровями.

— Тебе больно? — спросила она.

Петя отрицательно качнул головой. Но она тотчас поняла, что он говорит неправду.

— Тебе больно,— сказала она утвердительно и, подумав, прибавила: — Но что же делать? Потерпи. Надо идти.

— Я пойду,— сказал Петя.

Он встал. Но в это время Матрена Терентьевна крикнула:

— Тише!.. Слушайте!

Они прислушались. В степи раздавался шум моторов. Он доносился из разных мест степи, то усиливаясь, то совсем пропадая, в зависимости от порывов ветра, который дул неровно, путано, то падая, то крепчая. Несомненно, это был шум моторов. Но это не были моторы автомобилей или самолетов. Это были тяжело стрекочущие моторы, от злого гула которых, казалось, трясло, лихорадило окаменевшую черную землю.

— Танки,— чуть слышно сказала Валентина.

— Чьи танки? — еще тише спросил Петя, чувствуя острый, ледяной холод, в который вдруг окунулось его сердце.

— Ихние,— проговорила Валентина.

Матрена и Петя увидели в разных местах степи светящиеся фары машин. Они передвигались попарно, то вспыхивая, то потухая в складках местности. Они дымились, как волчьи глаза. Окруженные этой волчьей стаей, женщина и дети молчали, затаив дыхание и чувствуя приближение непоправимой беды. Они были так поглощены ужасом приближения этих дымящихся, как плошки, фосфорических фар, что сначала даже не заметили опасности, которая была гораздо ближе, почти рядом. Они вдруг сразу, одновременно заметили четыре темные фигуры, которые, согнувшись, с автоматами в руках, шли прямо на них.

Глубокие, особенно вырезанные, не наши, стальные каски красновато отсвечивали против зарева догорающих пожаров. Несомненно, это была вражеская разведка, предшествующая танкам. Солдаты шли один за другим, уступом. Они иногда ложились. Тогда Петя явственно слышал их напряженное дыхание, сопение. Потом они утомленно поднимались и продолжали осторожно идти вперед. Сначала Пете показалось, что солдаты двигаются прямо на них. Но это было неверно. Солдаты их не замечали. Они медленно один за другим прошли совсем близко мимо колодца, за которым притаились Петя, Валентина и Матрена Терентьевна. Они прошли так близко и так медленно, что Петя явственно услышал их запах — незнакомый запах какого-то рыбьего жира, вероятно ворвани, которым были смазаны их сапоги, и синтетической резины их маскировочных плащей.

Впервые Петя видел так близко от себя врагов, фашистов. Было что-то невероятное, подавляющее в этой близости. Мальчик ясно понял, что находится в руках врагов. Стоило одному из этих солдат заметить их, как их судьба уже больше не принадлежала бы им. Эти чужие люди — враги, фашисты — могли сделать с ними что угодно. Могли их обругать, оскорбить, ударить, убить. Могли их заставить раздеться догола, лечь, встать, идти, не идти, поднять руки... В этом было столько унизительного, ужасного, что мальчик готов был броситься на землю лицом вниз, закрыть глаза, заткнуть пальцами уши, лишь бы ничего не видеть, не слышать, лишь бы скорее прошел этот невозможный, чудовищный сон, который, к несчастью, не был сном.

Однако солдаты не заметили их. Они скрылись во тьме, откуда некоторое время слышался грубый шорох их сапог и маскировочных халатов и неразборчивые звуки чужой, непонятной речи. Но едва мальчик пришел в себя после первого потрясения от встречи с врагами, как перед его глазами мелькнуло лицо умирающего матроса.

Хорошо, что солдаты не заметили Петю! Но ведь могут появиться другие, третьи... Теперь всюду будут неприятельские солдаты. В конце концов Петя непременно попадет к ним в руки. Его обыщут и найдут флаг... При

этой мысли его лицо окаменело. Скорей, скорей! Пока не поздно, надо что-то сделать. Но что? Надо сейчас же спрятать флаг. Но куда?.. Мысль работала быстро, деятельно.

Петя сидел на земле, прижавшись к большим камням колодца. Это были бруски ракушечника — того самого ракушечника, из которого построен весь город. Колодец был старый, высохший, наполовину обвалившийся. Некоторые камни шатались. Мальчик сделал усилие и повернул один камень. Камень находился как раз на уровне земли. Образовалась щель. Петя сунул в нее руку и, обдирая ногти, вывернул другой камень.

— Что ты там делаешь? — шепотом спросила Валентина, притаившаяся с другой стороны колодца, рядом с матерью.

— Ничего,— сказал Петя, с лихорадочной поспешностью расстегиваясь и разматывая под рубахой флаг. Он быстро его размотал, свернул и засунул в щель.

— Надо идти,— сказала Валентина.

— Сейчас,— сказал Петя и сунул в щель комсомольский билет Лаврова.

С усилием повернув камни, он поставил их на прежнее место.

Над колодцем поднялись две темные фигуры — Валентины и Матрены Терентьевны — и, осторожно нагибаясь, пошли по степи, которая теперь, перед рассветом, казалась еще чернее.

— Ну, где ты там?

— Иду, иду!

Петя в последний раз проверил, прочно ли положены камни на флаг и комсомольский билет, и пошел следом за Валентиной и Матреной Терентьевной.

Зарево догорающих пожаров, которое до сих пор хотя и слабо, но все же довольно ясно освещало землю, теперь почти совсем погасло. В разрывах бегущих туч показалось несколько звезд. Становилось очень холодно, почти морозно. Земля звучала под ногами, как чугун. Танков уже не было; видимо, они прошли стороной.

Едкая рапная вода лимана, наполнявшая башмаки, разъедала натертые ноги мальчика. Пальцы одеревенели от холода. Петя едва двигался, с трудом поспевая за Валентиной. Впереди быстро шла Матрена Терентьевна.

Она почти неслась, поминутно спотыкаясь и прижимая к груди свои бумаги.

— Подождите, мама! Не так скоро. Вы же видите, что Петя уже еле держится.

— Потерпи, Петечка,— сказала Матрена Терентьевна, убавляя шаг.— Потерпи, деточка.

— Ничего,— проговорил Петя сквозь зубы.— Куда мы идем?

Мальчику уже казалось, что они идут вечно и вечно вокруг них лежит эта мрачная, враждебная степь.

— Куда мы идем? — Он повторил это каким-то ровным, бесцветным голосом человека, теряющего сознание от усталости.

— Мы идем до Хаджибеевского лимана,— быстро сказала девочка.

— Зачем?

— Может быть, там найдем какую-нибудь лодку. Тогда можно будет переправиться на ту сторону.

14

РУЧНАЯ ГРАНАТА

Вдруг произошло нечто такое, чего Петя даже сразу не понял, так молниеносно быстро оно произошло. Одновременно что-то надвинулось, раздался испуганный крик Валентины, отскочившей в сторону и упавшей, раздирающий визг автомобильных тормозов, какой-то прыгающий стук по твердой земле, звон вдребезги разбитого стекла, слово «чер-р-рт», яростно произнесенное сквозь зубы сдержанным голосом с юношескими басовыми нотками, и хлопанье дверцы. Вспыхнул электрический фонарик, почти в упор скользнув по Петиному лицу. Мальчик зажмурился и только тогда понял, что произошло. На них налетел автомобиль, мчавшийся без дороги в степи, с потушенными фарами. Он едва не сбил с ног отскочившую Валентину, которая все-таки не удержалась на ногах и упала. В последний миг водитель успел свернуть в сторону, налетел на какое-то препятствие и резко затормозил. Теперь водитель с винтовкой в одной руке и фонариком в другой стоял перед ними и возбужденно говорил:

— Я так и думал, что это непременно вы. Здравствуйте, Матрена Терентьевна! Здорово, Валя!

— Валентина, смотри! — воскликнула вдруг Матрена Терентьевна, всматриваясь в водителя.— Да це ж Святослав Марченко с Пересыпи! Что ты здесь делаешь, Святослав?

— По приказанию товарища Черноиваненко специально заезжал в Крыжановку, чтобы подбросить вас на своей машине в порт и посадить на транспорт. Вижу — ваша хата сгорела, вокруг валяются домашние вещи. Тогда я повернул обратно, а проехать на Пересыпь уже нельзя. Я так и понял, что если вы не успели проскочить в город до взрыва дамбы, то, наверное, ходите по степу и не знаете, как выбраться. Я сам в таком же положении.

— Что же теперь делать? — с надеждой глядя на Святослава, сказала Матрена Терентьевна.

— Понятия не имею. Кругом вода.

— Нужно идти на Хаджибеевский лиман и переправиться на тот берег на лодке, если будет лодка,— сказала Валентина, отряхивая платье.— А то мы здесь так и сгнием. На Хаджибеевском лимане непременно должны быть лодки.

— Я тоже так думаю,— сказал Святослав.— Так давайте садитесь в машину и быстренько поедем. А это что за хлопчик?

Он не узнал в этом обросшем, худом мальчике в чужой кепке и в большом, не по росту, чужом полушубке того аккуратного московского пионера, которого он несколько месяцев назад, в один прелестнейший воскресный день, вез вместе с отцом с аэродрома на «виллу» Колесничука. Петя тоже не узнал Святослава. Но машина с брезентовым верхом, в которую он залез вместе с Матреной Терентьевной и Валентиной, показалась ему знакомой. Впрочем, он не задержался на этом впечатлении, весь поглощенный нетерпеливым желанием поскорее вырваться из этой проклятой степи и спастись.

— Это один мальчик, Петя,— сказала Валентина,— пионер из Москвы. Мы его с мамой вытащили из моря.

В это время Святославу удалось завести заглохший мотор, и машина, окутавшись облаком вонючего дыма, рванулась вперед. Правая передняя и левая задняя по-

крышки порвались в клочья. Менять их не было времени.

— Доедем на ободах! — сказал Святослав решительно.

Машина поехала. Собственно, она не поехала, а заковыляла, со стуком подпрыгивая на каждой выбоине. Но она ковыляла удивительно быстро. Правда, она время от времени останавливалась как вкопанная. Но потом, как бы желая наверстать упущенное время, делала отчаянный рывок вперед и мчалась дальше. Неутомимо орудуя рычагами и резко ворочая баранку, Святослав сунул назад, в кабину машины, винтовку:

— Эй, кто там! Валентина, держи винтовку. Она на предохранителе. Если наскочим на вражескую разведку, стреляй. Стрелять можешь?

— Спрашиваешь! — не столько сказала, сколько прошипела Валентина сквозь сжатые зубы.

— А ты, мальчик, бери гранату.

Святослав протянул через плечо ручную гранату, и Петя взял ее в обе руки, не совсем ясно представляя себе, что с нею нужно делать.

— И ты тоже, парень,— сказал Святослав,— если нарвемся на этих гадов, бросай гранату. Умеешь?

— Спрашиваешь! — сказал Петя, хотя имел самое приблизительное представление о том, как надо бросать гранаты.

— Дай лучше мне, Петечка,— сказала, заволновавшись, Матрена Терентьевна.— А то, я боюсь, ты еще не так кинешь. Ты лучше держи бумаги, а я подержу гранату.

— Я кину как надо,— упрямо, даже злобно проговорил мальчик, обеими руками стиснув ручку гранаты.

И тут первый раз в жизни он испытал то чувство, которое появляется у безоружного и преследуемого человека, вдруг получившего в руки оружие. Это великолепное «чувство оружия», как молния, с головы до ног пронзило мальчика и удесятерило все его телесные и душевные силы.

Петя держал в руках смерть и со странным упоением сознавал, что он хозяин этой смерти. В любой миг он может распорядиться ею по своему усмотрению, одним размашистым движением швырнуть ее в любую сторону

и в клочья разнести врага, посмевшего поднять на него руку. Он уже не чувствовал себя пленником. Он чувствовал, что он не только хозяин смерти, но и хозяин своей свободы. Теперь ему даже хотелось, чтобы они наскочили на румын или немцев. И он с нетерпением, с острым вниманием всматривался в черную степь.

Такое же чувство испытывала Валентина. Высунув винтовку за борт машины, она, так же как и Петя, всматривалась в темноту и слышала рядом дыхание мальчика, который, сжав рот, сопел носом и пыхтел, как рассерженный еж.

Если не считать утомительной тряски, до Хаджибеевского лимана доехали без всяких происшествий. Степь, казалось, вымерла. Один только раз взлетела осветительная ракета. Она взлетела так близко, что при плавно движущемся свете они увидели во всех подробностях берег лимана, обросшие тиной, торчащие из воды сваи и несколько разбитых черных лодок. Одна лодка, наполовину наполненная водой, блестевшей при лунном свете осветительной ракеты, тяжело плавала у берега. Они даже увидели черпак, который плавал в лодке и, в свою очередь, тоже был наполовину наполнен водой и походил на маленькую лодочку. По дну балки они съехали вниз и стали торопливо откачивать из лодки воду. Действуя черпаком и ведром, имевшимся в хозяйстве Святослава, они вычерпали столько воды, что лодка могла удержать их всех четверых на поверхности лимана. Тогда они влезли в эту грубо сколоченную из ветхих досок рассохшуюся, давно просмоленную и обросшую ракушечками посудину, более похожую на длинный ящик, чем на лодку, и стали отталкиваться от берега.

Весел в лодке не было. Отталкивались винтовкой, черпаком и палкой, которую нашли на берегу. В лимане было очень мелко. и довольно долгое время удавалось двигаться отталкиваясь. Но едва они отъехали от берега метров на тридцать — сорок, как Святослав крикнул:

— Стой!

В тот же миг он выпрыгнул из лодки и, по пояс в воде, бросился к берегу.

— Гребите! — крикнул он издали.— Я сейчас вернусь!

И он исчез, шлепая в темноте по воде. Скоро на бе-

регу вспыхнула и погасла спичка, а через несколько минут снова послышалось шлепанье и показался силуэт Святослава, расталкивающего грудью неподвижную, тяжелую воду лимана. Святослав взобрался в лодку, сел на банку и долго вытирал рукавом лоб. Он молчал, и чувствовалось, что он чем-то подавлен. Наконец он мрачно сплюнул в воду и махнул рукой.

— Э, чего там! — сказал он решительно.— Нехай пропадает! Когда так, то так. Ни нам, ни им.— И, заметив, что все сидят неподвижно, наблюдая за ним, сердито прибавил: — Чего же вы спите, товарищи? Еще рано спать. А ну-ка, разом!

Выхватив из рук Валентины винтовку, он спустил ее прикладом в воду и с силой оттолкнулся от дна. Лодка сильно, но плавно прибавила ходу.

— Больше жизни, товарищи!.. Эй, хлопчик, бери черпак и откачивай... И ты тоже, Валечка. Бери ведро, не стесняйся... А вы, Матрена Терентьевна, я вас очень прошу, помогайте мне палкой. Здесь еще довольно мелко.

Петя сунул гранату за пазуху и начал вычерпывать воду. Схватив ведро, Валентина последовала его примеру. И это было совсем не лишнее, так как из всех щелей в лодку струилась вода и дряхлая посудина каждую минуту готова была неуклюже затонуть. Матрена Терентьевна и Святослав без устали работали палкой и винтовкой, короткими толчками продвигая лодку вперед. Лиман в этом месте оказался не особенно широк, и можно было рассчитывать минут за сорок достигнуть противоположного берега. Однако дно стало понижаться. Оно понижалось быстро и ощутительно. Винтовка уже не доставала до дна. Тогда Святослав удлинил винтовку, привязав к ней поясом палку. Это позволило еще некоторое время двигаться.

Надо было торопиться, так как начинало светать. Кроме того, несмотря на отчаянные усилия Валентины и Пети, которые, не останавливались ни на секунду, как заведенные, выливали из посудины воду, вода не только не убывала, а прибывала. Она уже доходила до банок и уже кое-где их покрывала. Лодка страшно отяжелела. Святослав с трудом двигал ее. Лодка не слушалась, поворачивалась, начинала крутиться на месте. Матрена Те-

рентьевна помогала Святославу как могла. Она просто гребла руками, выбиваясь из сил и обливаясь потом. Святослав время от времени оборачивался назад и всматривался в смутно удаляющийся берег, как бы чего-то напряженно ожидая.

Вдруг на берегу, на том месте, где остался брошенный автомобиль, стрельнула красная молния, и через две секунды долетел удар взрыва. По сухому бурьяну забегали языки пламени, освещая клубы черного дыма, повалившего из машины. Эхо взрыва покатилось по вздрогнувшей поверхности лимана. При багровом свете коптящего пламени люди в лодке увидели развороченный взрывом, вставший на дыбы остов автомобиля.

Они снова принялись за работу и благополучно перевалили за середину лимана. Это была самая трудная и опасная часть пути. Дальше пошло легче. Вода здесь стояла не выше пояса. Неся оружие и вещи на плечах, они выбрались на пологий берег, покрытый толстым ровным слоем целебной хаджибеевской грязи, жирной и вонючей, как вакса.

Здесь они наконец почувствовали себя в безопасности. Но они ошиблись. Опасность оказалась гораздо ближе, чем можно было предположить. Неприятельская разведка уже обошла город с запада. Не встречая сопротивления, очень осторожно и медленно она вышла на подступы к Усатовым хуторам. Тут немцы и румыны, видимо, окопались на высотках за Хаджибеевским парком и время от времени, по своему обыкновению, пускали осветительные ракеты в разные стороны. Одна ракета загорелась совсем недалеко от того места, где высадился Святослав со своими спутниками. При сильном гелиотроповом свете Петя увидел плоскую серую поверхность грязи, кое-где тронутую алмазным налетом соли. Вся серая мерцающая поверхность была как бы покрыта крупной клеткой смолисто-черных трещин. В некоторых местах из грязи торчала какая-то пузырчатая красноватая трава — «марсианская», как подумал Петя.

Развалины грязелечебницы и обгорелые столбы купален как-то особенно уныло отражались в плоской смолисто-розовой рапной воде лимана. Вдалеке Петя увидел трамвайную линию, которая тянулась во всю длину панорамы, с погнутыми крестами своих железных мачт,

с трансформаторными шкафами и бетонными грибами остановок, пробитыми снарядами, с ржавой решеткой арматуры, видневшейся в пробоинах.

Еще так недавно туда и назад — в город и из города — с веселым звоном бегали здесь нарядные вагончики электрички. Теперь же все являло вид такого безжалостного разрушения, такого мрачного, безнадежного беспорядка, что Матрена Терентьевна, тяжело вздохнув, забормотала:

— Ах, боже мой, боже мой, что они наделали, эти головорезы!

Пока осветительная ракета плыла в небе, радиусами поворачивая вокруг людей едкие длинные тени, никто не двигался. Святослав осмотрелся.

— Паршиво,— сказал он наконец.— Эти гады уже тут.

Ракета погасла и как бы унесла с собой в темноту мрачное видение Хаджибеевского лимана, резко освещенного химическим, «марсианским» светом. Они еще некоторое время оставались неподвижны и безмолвны, ожидая другой ракеты. Но другой ракеты не последовало. Очевидно, их не заметили. Тогда они пошли по засохшей грязи к трамвайной линии, взобрались на полотно и двинулись по развороченным шпалам в сторону города. Все молчали, всецело полагаясь на Святослава, который с наганом в руке решительно шагал через шпалы. Скоро они поравнялись с каменным ракушечным забором, за которым виднелись громадные обнаженные деревья. Это был Хаджибеевский парк.

Уже настолько рассвело, что можно было хорошо рассмотреть породы деревьев. Здесь были могучие столетние дубы в три обхвата, еще не всюду обронившие свои тяжелые, как бы вырезанные из железа и покрытые ржавчиной листья, ореховые деревья, шелковицы, пятнистые шоколадно-фисташковые платаны с заплывшими вензелями на коре, нежной, как лайка, и с шерстяными шариками плодов на ветках и, конечно, акации, увешанные черными стручками. Они, как в бреду, предостерегающе размахивали своими голыми сучьями.

Святослав остановился и стал прислушиваться. Он слушал довольно долго, поворачивая голову в разные стороны. Особенно долго он прислушивался к почти не-

различимым звукам, которые ветер изредка доносил со стороны города.

— Чуете?

Матрена Терентьевна прислушалась, повернув ухо против ветра, к городу. Она услыхала отдаленную работу пулеметов и звук моторов. Она вопросительно посмотрела на Святослава.

— Чуете? — сказал Святослав, значительно поднимая брови.

— Чую,— тихо ответила Матрена Терентьевна.

— Они уже там,— мрачно заметил Святослав.

— Значит, не пройдем?

— Теперь не пройдем. И не надейтесь. Кончено.

— Как же нам быть?

На этот вопрос невозможно было ответить. Действительно: как быть, если, куда ни пойдешь, всюду наткнешься на врага? Положение казалось безвыходным. Святослав сдвинул пилотку на лоб и почесал пальцами свой аккуратно подстриженный затылок молодого солдата. Он выставил одну ногу вперед и задумался. Матрена Терентьевна и Петя смотрели на него с надеждой и плохо скрытым страхом. Даже Валентина, которую до сих пор не покидали уверенность и бодрость, казалась расстроенной. Она стояла против Святослава, покусывая губы, и не спускала с него неподвижного взгляда светлых, прозрачных глаз с твердым зернышком зрачка.

Святослав думал, думал и ничего не мог придумать. Он в точности выполнил приказание Черноиваненко — побывал в Крыжановке,— но посадить Перепелицких на транспорт не смог по не зависящим от него причинам. Что же теперь делать с ними, он не знал. На этот счет у него не было никакого приказа. Сам же он должен был немедленно возвращаться в катакомбы. Время шло. Вокруг становилось все светлее и светлее. Уже низко над степью с тонким, звенящим свистом пролетело первое звено неприятельских истребителей, направляясь в город. Святослав отвернул рукав гимнастерки и посмотрел на часы. Стрелки, которые уже перестали светиться, показывали без десяти минут шесть.

— Мама моя родная! — воскликнул Святослав в ужасе.

От усатовского входа в катакомбы его отделяли лишь

Хаджибеевский парк, выгон и кладбище. Святослав перебросил винтовку через забор в парк, схватился руками за верх забора, подтянулся и перенес ногу. Он уже готов был спрыгнуть на желтую траву парка, где среди лакированных плодов конского каштана лежала его винтовка, как вдруг с высоты увидел то, чего никто не мог увидеть с земли: вдоль трамвайной линии от грязелечебницы по направлению к Хаджибеевскому парку гуськом осторожно продвигалась вражеская разведка. И в тот же миг он понял, что не в силах оставить на произвол судьбы женщину и двух подростков, которые, еще не видя опасности, продолжали с молчаливым недоумением, но все же спокойно смотреть на него снизу вверх.

Спасти их можно было лишь одним способом: не теряя ни секунды, помочь им перелезть в парк, отвести на Усатовское кладбище, спрятать где-нибудь недалеко от входа в катакомбы и доложить обо всем Черноиваненко. Святослав спрыгнул на землю:

— А ну, живо за мной! На ту сторону!

И, прежде чем его спутники успели сообразить, что от них требуется, Святослав снова вскочил верхом на забор и протянул руку Матрене Терентьевне. Он думал, что именно ей, как женщине пожилой, будет трудней перелезть через забор. Но Матрена Терентьевна, как это ни странно, проявила неожиданную силу и ловкость. Она решительно перебросила через забор свои вещи, а затем, почти не притронувшись к протянутой руке Святослава, хотя и неуклюже, но довольно легко подпрыгнула, упала грудью на забор и, быстрым движением руки смахнув со лба волосы, прыгнула в парк. При этом она, даже как-то очень по-детски, неожиданно вскрикнула: «Гоп!»

Больше всего возни было с Петей. Видя нерешительность мальчика, Валентина попробовала его подсадить за локти. Он сердито вырвался и стал самостоятельно карабкаться на забор. Но так как одна рука у него была занята гранатой, а другая не доставала до верха, то из его попытки ничего не вышло. Он только еще больше ободрал себе ногти и снова ушиб колено.

— Давай же я тебя подсажу, чудак человек! Чего ты стесняешься? — говорила Валентина с досадой.

Но Петя готов был испытать любую боль, лишь бы не уронить своего достоинства перед этой девочкой, ко-

торая и без того уже чересчур привыкла командовать и обращаться с ним, как с маленьким.

— Пусти, я сам! Пусти, я сам! — упрямо повторял он, отталкивая Валентину локтем, и снова кидался на проклятую стену, обдирая полушубок о колючий ракушечник и неизбежно соскальзывая вниз.

— Положь гранату! — кричала Валентина.

— А ты не командуй! — сквозь зубы говорил Петя, снова кидаясь на стену.

Тогда свободной рукой Святослав поймал Петю за ворот полушубка и подтянул к себе. Полушубок затрещал, но не порвался. Петя повис в воздухе.

— Валентина, давай!

Валентина проворно нагнулась, и в следующее мгновение Петины ноги уперлись в ее плечи. Она с силой выпрямилась, и не успел мальчик ахнуть, как перелетел через забор и, мягко подхваченный сильными руками Матрены Терентьевны, повалился на траву рядом со свертком бумаг и лакированными орехами конского каштана. В следующий миг через забор перепрыгнула с разлетевшимися волосами, раскрасневшаяся Валентина, а за нею с гранатой в руке перемахнул Святослав.

— На! Только не плачь,— сказал Святослав, на бегу возвращая Пете гранату.— Смотри поаккуратнее.

Они пересекли парк, мелькая между стволами столетних деревьев.

Вековой дуб, расколотый снарядом, сидел, заломив черные старые руки, как слепой бандурист, и земля вокруг него была щедро усеяна медными деньгами листопада.

15

БОЙ У КЛАДБИЩА

Сквозь пролом стены они вышли прямо к Усатовым хуторам. Покорно следуя за Святославом, они обошли молчаливые дворы хуторов, окруженные глухими высокими ракушечными заборами с плотно запертыми воротами. Почти на всех воротах висели замки. Видимо, население хуторов бежало или где-нибудь пряталось. Обо-

шли безмолвную сельскую церковь, заросшую до самой паперти будяками и репейником, и очутились на кладбище, среди старых каменных плит, покрытых мхом и улитками, и грубо вытесанных из ракушечника почерневших крестов, ноздреватых, как черствый житный хлеб. Здесь Святослав велел дожидаться, а сам пошел дальше. Выйдя на туманный выгон, он спустился в каменистую балочку и скрылся из глаз в зарослях репейника, откуда с шумом как бы вывалилась и низко покатилась по воздуху стая чижей.

Едва Святослав приблизился по дну балочки ко входу в катакомбы, как его окликнули. Он поднял голову и в зарослях дерезы, густой сеткой повисшей над щелью, увидел винтовку и карий глаз, лукаво блеснувший за прицельной рамкой. Это был комендант лагеря, некто Леня Цимбал, высланный на поверхность, чтобы встретить Святослава и наблюдать за местностью, где с минуты на минуту могли появиться немцы и румыны.

— Слава богу! — сказал Леня.— Что слышно в городе?

— Я в самом городе не был. Только на Пересыпи.

— А что на Пересыпи?

Святослав махнул рукой.

— Понятно,— сказал Леня Цимбал.— На разведку не наткнулся?

— Как же! Только что. Они уже по эту сторону Хаджибеевского лимана.

— Что ты говоришь! — воскликнул Леня, и сразу же его лицо стало серьезным, напряженным.— И много?

— Человек шесть.

— Так...

Не желая больше задерживаться и не сообщив Лене, что он привел с собой Матрену Терентьевну, Валентину и еще одного хлопчика, которых оставил в укрытии на кладбище, Святослав поспешно пролез в щель и очутился в ближней пещере.

С тех пор как он вышел наверх, здесь многое переменилось. Сейчас в пещере оставались только наиболее крупные вещи: несколько больших фанерных ящиков и железная бочка с газолином. Все остальное, очевидно, было уже вынесено по подземным ходам в глубину ка-

такомб — туда, где, по плану, и должна была находиться главная квартира отряда.

В глубине тесного и очень темного подземного хода светился маленький желтый огонек. Святослав вошел в этот ход и, согнувшись, чтобы не стукнуться головой о низкий земляной свод, пошел на согнутых ногах по направлению к огоньку.

Неподвижный, застоявшийся воздух был сыр и душен. Подземная, непроницаемая тьма так плотно окружала Святослава, так наваливалась на него со всех сторон, что казалось — об нее можно каждую минуту удариться скулой, как о глыбу угля. Огонек впереди представлялся маленькой дырочкой, высверленной в этой черной глыбе. Святослав посветил себе электрическим фонариком, но даже этот обычно яркий свет показался здесь совсем слабым, рассеянным. Круг, как бы составленный из концентрических световых колец, скользнул по серым земляным сводам, покрытым слоем мертвенной подземной пыли. Под ногами была та же мертвенная пыль, и на ней виднелись перепутавшиеся следы ног. По этим следам Святослав понял, что идет именно туда, куда нужно.

Подземный ход стал суживаться. Наконец он сузился настолько, что пришлось опуститься на четвереньки и ползти. Святослав пополз. А впереди, все так же далеко, продолжал светиться огонек, от которого, как от маленького светящегося паучка, во все стороны расстилались золотистые нити тоненькой, слабой паутины. Через несколько метров подземный ход стал опять расширяться. Святослав встал на ноги и пошел. Сначала он шел, сильно наклонившись вперед, на согнутых ногах. Но потом ход настолько увеличился, что можно было идти, уже не нагибая головы, во весь рост.

Постепенно подземный ход стал превращаться во что-то вроде штрека с довольно высоким сводом, но только без креплений. Стены и потолок здесь уже были не земляные, а каменные, ракушечные, но также густо покрытые мертвенной подземной пылью. Маленький огонек казался все так же недосягаемо далеко впереди. И вдруг совершенно неожиданно он очутился перед самым носом. Это была керосиновая коптилка, наскоро сделанная из флакончика «Тэжэ» с воткнутой в него трубочкой и фитильком, скрученным из ваты. Коптящее пламя горело

совершенно неподвижно и заколебалось лишь тогда, когда Святослав подошел к нему вплотную. Светильник стоял на большом ракушечном бруске, прислоненном к стене. Святослав сразу понял, что это своего рода маяк, специально поставленный здесь, чтобы показывать путь подземному путешественнику. Он не ошибся. На пыльной стене, хорошо освещенной коптилкой, он заметил выскобленную стрелку, показывающую направление. Он пошел по этому направлению дальше, не сворачивая в боковые ходы, время от времени попадавшиеся на его пути. Впрочем, поперек этих ходов на земле были нацарапаны поперечные черточки, очевидно предостерегавшие, что туда идти не надо.

Штрек стал суживаться и суживался до тех пор, пока снова не превратился в кротовый ход, по которому опять пришлось двигаться ползком. Скоро Святослав очутился в полной тьме. Но только что он собрался посветить электрическим фонариком, как впереди показался новый огонек, и Святослав понял, что это следующий маяк. Подземный ход сузился еще. Святослав лег на живот и стал ползти по-пластунски, то и дело задевая плечами стены и чувствуя, как пыль сыплется на голову, на шею и за воротник. Видя все время впереди золотой червячок огонька, Святослав терпеливо прополз метров десять. Он понимал, что ход скоро начнет расширяться. И действительно, скоро ход расширился. Уже можно было идти на согнутых ногах. Несмотря на то что под землей было довольно холодно, Святослав чувствовал тягостную духоту. Он обливался потом. Мозг устал от подземной тьмы. А впереди все так же слабо, неподвижно горел огонек, казавшийся неизмеримо далеким и маленьким, как дырочка, высверленная буравчиком в глыбе угля.

Святослав представил себе, что бы случилось, если бы вдруг погас этот огонек и если бы у него не оказалось при себе электрического фонарика. Он представил себе это и похолодел. Как двигаться в этой кромешной тьме, в этой преисподней, без света? А главное, куда двигаться? Без маяков, не видя стрелок на стенах, не видя черточек поперек боковых ходов... Очутившись без света, он бы неминуемо заблудился и пропал.

Продвигаться под землей в темноте, без света, как увидел Святослав, совершенно немыслимо. Взять же с со-

бой свет тоже немыслимо. Первый же вражеский фонарь во владениях Черноиваненко явится отличной мишенью. В него можно без промаха бить из темноты. А так как двигаться можно только гуськом и очень медленно, то ни один враг, появившийся с фонарем, не избежит пули или ручной гранаты, сколько бы врагов ни было и как бы хорошо они ни были вооружены. Они бы завалили своими трупами весь штрек, но все-таки не прошли бы.

Без света нельзя, и со светом нельзя. Без света смерть, и со светом смерть. Побеждает тот, кто первый завладел катакомбой. И Святослав, который раньше в глубине души сомневался в возможности обороняться под землей, теперь понял все и от удовольствия даже засмеялся.

Святослав еще не успел добраться до следующего «маяка», как увидел впереди еще один огонек, а потом и третий. Эти два новых огонька были покрупнее, и они двигались. Затем впереди скользнул круг электрического фонарика. Святослав увидел две фигуры. Они приближались. Святослав тотчас помигал им своим фонариком. Они ему ответили. Это было похоже на то, как ночью на шоссе мигают друг другу две встречные машины.

— Ты, Марченко? — послышался голос Черноиваненко.

И Святослав увидел перед собой фигуру секретаря. В одной руке Черноиваненко держал фонарь «летучая мышь», а в другой — винтовку.

— Что слышно наверху? — спросил он озабоченно.

Святослав собрался с мыслями и потом очень сжато и очень точно доложил секретарю все, что с ним произошло.

Как все люди одного круга, живущие по соседству, Святослав знал, что Матрена Терентьевна Перепелицкая приходится родственницей Черноиваненко и сама урожденная Черноиваненко. Поэтому, докладывая секретарю, он назвал ее по имени, отчеству и по фамилии.

— Мотя с детьми! Однако! — испуганно воскликнул Черноиваненко, хотя не в его характере было так открыто выражать свои чувства, в особенности страх. Но слишком неожиданна оказалась новость, которую сообщил ему Святослав.

Он решительно двинулся к выходу. Но едва он добрался до ближайшей пещеры, как услышал наверху вин-

товочные выстрелы и голос Леонида Цимбала, который что-то неразборчиво кричал — по всей вероятности, звал на помощь.

Слабый свет туманного октябрьского утра в первую минуту после подземной тьмы ослепил Черноиваненко, как невыносимое сияние прожектора, направленного прямо в лицо. Он потерял способность что-либо видеть: едкие зеленые круги плавали у него перед глазами. Он слышал частые винтовочные выстрелы и голос Цимбала, во все горло кричавшего где-то поблизости:

— Тикайте сюда! Скорее сюда тикайте!

Еще не вполне освоившись с дневным светом, видя не предметы, а лишь как бы резкие тени предметов, он побежал на голос Цимбала, вскарабкался по склону балки и очутился на выгоне против Усатовского кладбища. Укрывшись за слоистую ракушечную скалу, Цимбал стрелял с колена куда-то в сторону кладбища. Вокруг него, среди сухих коровьих лепешек и бессмертников, валялись стреляные гильзы. После каждого выстрела Цимбал поднимался и, отчаянно размахивая фуражкой, кричал по тому направлению, куда стрелял:

— Сюда! Слышите, тикайте сюда! Э-эй!

И, прежде чем Черноиваненко, на бегу щелкая затвором, добежал до Цимбала, он увидел метрах в ста впереди, возле низенького кладбищенского заборчика из ракушечных кубиков, сложенных через один, необычного вида тупорылый, пятнистый, зелено-коричневый военный грузовик. Два странных солдата в непривычно глубоких шлемах и синеватых шинелях втаскивали в грузовик отбивающуюся женщину. Третий странный солдат, с лицом, которое от небритой бороды казалось черным, волок за рукав мальчика в рваном полушубке; из носа у мальчика текла кровь. Четвертый солдат лежал за кладбищенским забором и стрелял из винтовки в Цимбала. А девушка с раскрутившимися, разлетающимися косами, размахивая винтовкой, бежала к балочке; за нею гнался пятый солдат или, может быть, офицер, судя по странной фуражке с громадными полями, и стрелял в девушку из пистолета. Шестой солдат, по-видимому шофер, бегал вокруг своего пятнистого грузовика, щупал простреленные баллоны и то и дело падал на землю, желая спрятаться от пуль, которые одну за другой посылал

Цимбал. На выгоне валялись какие-то вещи, видимо брошенные во время свалки; слышались разнообразные крики — ругательства, стоны, приказания,— заглушаемые винтовочными выстрелами. И все это вместе, повидимому, было продолжением чего-то начавшегося тогда, когда Черноиваненко услышал первые выстрелы.

В ту самую минуту, когда Черноиваненко, наконец привыкнув к дневному свету, рассмотрел эту картину, Цимбал опять выстрелил. Шофер, бегавший вокруг машины, вдруг споткнулся, завертелся и со всего маху хлопнулся на спину, раскинув руки. Сейчас же вслед за этим пуля свистнула в воздухе, как хлыст, и рядом с Цимбалом из скалы брызнули осколки ракушечника.

— Мимо! — в упоении крикнул Леонид.— Ах, гад, промазал! — приложился опять.

И солдат в синей шинели, под кладбищенским забором, вскрикнув, выронил винтовку, быстро замахал кистью руки, как человек, обжегший пальцы. Было видно, что пальцы у него стали ярко-красные. Тогда быстро приложился и выстрелил Черноиваненко.

— Ребята, за мной! — закричал Цимбал отчаянным, «пересыпским» голосом и выскочил из своего укрытия.

С винтовкой наперевес он проворно побежал вперед по открытому выгону, подернутому лиловатой слюдой иммортелей.

Следом за ним бросились вперед и другие, подоспевшие на помощь из катакомб.

Все это случилось в один миг. Так же мгновенно произошло и остальное. Солдаты, которые втаскивали Матрену Терентьевну в грузовик, и тот солдат, который волок Петю, бросили своих пленников и что есть духу побежали назад, к Усатовской дороге, делая на бегу зигзаги и перепрыгивая через препятствия. Девушка с разлетевшимися косами вдруг остановилась как вкопанная и круто повернулась к офицеру, который по инерции налетел на нее. Они очутились лицом к лицу. Валентина схватила винтовку за ствол и занесла приклад над головой офицера; удар пришелся по шее. Офицер сел на землю. В тот же миг подбежал Святослав, сунул ему наган в ухо, сморщился, прикусил губу, выстрелил и побежал дальше, машинально перепрыгивая через сухие коровьи лепешки.

Пока Матрена Терентьевна со злым, воспаленным лицом бегала по кладбищу и по выгону, собирая вещи, пока Петя всхлипывал и стирал рукавом с подбородка кровь, остальные сделали еще несколько выстрелов по убегавшим врагам. Враги скрылись.

18
ВЫЛИТЫЙ ПЕТЯ

Он сидел на фанерном ящике с макаронами и, задрав вверх лицо, держал в поднятой руке гаечный ключ, который ему дал Святослав. Собственно говоря, полагалось держать дверной ключ. Это было старинное народное средство. Железный дверной ключ «запирал» кровь, идущую из носа. На этом настаивала Матрена Терентьевна. Но в катакомбах ни у кого не нашлось дверного ключа. Пришлось прибегнуть к помощи гаечного. Однако гаечный ключ, как и следовало ожидать, помогал плохо. Кровь продолжала идти, и Петя время от времени, морщась, сплевывал ее на землю.

Матрена Терентьевна поддерживала Петину руку, чтобы она была поднята как можно выше, а Раиса Львовна Колесничук вытирала у мальчика под носом ветошкой.

— Потерпи, Петечка, скоро пройдет,— говорила Матрена Терентьевна, подтягивая руку мальчика еще выше.

Петя мрачно сдвигал брови, всем своим видом показывая, что умеет переносить любые страдания молчаливо и безропотно, как и подобает настоящему мужчине.

Все это было для него так неожиданно и странно, что он даже не удивился, увидев рядом мадам Колесничук.

— Головка у тебя болит? — строго заглядывая ему в лицо, спрашивала Раиса Львовна.

Это сентиментальное «головка» вместо простого, мужественного «голова» приводило его в крайнее раздражение. Мальчик свирепо скашивал глаза, мотал задранной головой и мычал сквозь крепко сжатые губы:

— М... м... м...

— Я не понимаю, при чем здесь какой-то гаечный ключ! — нервно говорила Валентина, расхаживая взад-

вперед по пещере и сердито пожимая плечами.— Вы меня, мама, просто удивляете. Какое-то средневековье! Ему надо налить в нос йода — и дело с концом.

— Сейчас принесут, сейчас принесут... Отыщут ящик с медикаментами и принесут. Еще не разобрались в вещах. А пока пускай Петечка держит ключ. Это помогает... Раиса Львовна, вытрите у мальчика подбородок.

И Раиса Львовна снова вытирала натекшую кровь.

Петя смотрел на нее и с трудом узнавал в этой похудевшей, строгой женщине с седоватыми волосами, плотно обвязанными красным платком, ту веселую, жирную, разрумяненную кухоним жаром, усатую Раису Львовну, которая еще так недавно кормила его на «вилле» Колесничука настоящим украинским борщом и жареными бычками и по вечерам, заведя свои большие, черные, как сливы, глаза, пела сильным, порывистым, страстным голосом «Виють витры» и «Ганзю». Теперь он видел на ее лице новые, не знакомые ему морщины: две сухие горестные складки по сторонам рта, обметанного лихорадкой.

Черноиваненко подошел к Пете, надел очки, взял мальчика за подбородок и, усмехаясь, заглянул ему в нос:

— Ну что, помогает ключ?

— Помаленьку,— сказала Матрена Терентьевна.

— Новейшее средство медицины,— фыркнула Валентина.

Черноиваненко погладил мальчика по обросшему затылку. Коптилка весело отразилась в его очках: в каждом стекле — по дымному огоньку.

— Один раз твой папа меня так стукнул по носу,— сказал он,— что я потом два часа прикладывал снег, пока не остановилась кровь. Я, правда, ему тогда тоже порядочный бланш поставил... В жизни, брат, без драки не обойдешься. Так что мужайся!

По лицу Пети против воли поползла улыбка.

— Вот видишь — ты уже улыбаешься.

— Давно? — томно сказал Петя.

— Что «давно»?

— Давно вы поставили моему папе этот самый... бланш? — неуверенно выговорил мальчик странное слово.

— Совсем недавно,— серьезно сказал Черноиваненко.— Каких-нибудь лет тридцать пять — сорок назад.

— Так давно! Нет, вы правду говорите? — жалобно простонал Петя.

— Да разве это давно? — воскликнул Черноиваненко.— Всего лишь в начале двадцатого века! Спроси Матрену Терентьевну.

Мальчик недоверчиво переводил глаза с Черноиваненко на Матрену Терентьевну:

— Нет, в самом деле? Вы серьезно?

— Правда, Петечка, правда,— сказала Матрена Терентьевна.— Твой папа и дядя Гаврик тогда были поменьше тебя, а я была совсем малявка. А синяк у нас тогда назывался «бланш». Все равно что теперь «гуля».

С выражением грусти и заботы стояла Матрена Терентьевна возле мальчика, крепко держа в своей большой руке его нежную руку, сжимающую гаечный ключ. А Петя, скосив глаза на запрокинутом лице, с уважением рассматривал простую, мирную и вместе с тем такую воинственную, даже грозную фигуру дяди Гаврика в потертом бобриковом пальто, поверх которого на поясе висел наган с медным шомполом, а из кармана торчала рукоятка гранаты. Петя смотрел на него, как на чудо. Он и был чудом. Ведь это был тот самый Черноиваненко, папин старинный друг, о котором так часто говорилось, когда папа и Колесничук предавались воспоминаниям.

Петя смотрел на дядю Гаврика, и его душа дрожала от гордости. Да, он имел право гордиться! Он участвовал вместе с партизанами, на глазах у дяди Гаврика, в бою с фашистами. Он вел себя мужественно, как и подобает пионеру. Он первый заметил грузовик с вражескими солдатами, и он первый открыл бой, бросив в грузовик гранату. Он был ранен и чуть не попал в плен. Его уже тащили. Но он изо всех сил отбивался. Он работал кулаками, царапался, кусался. И в конце концов ему удалось вырваться. Правда, граната, которую он со всего размаха швырнул в румынский грузовик, не разорвалась, так как он не знал, что надо отодвинуть предохранитель. Но зато она почти долетела до грузовика. Если она и не совсем долетела, то, во всяком случае, не хватило самую малость. Правда, он, строго говоря, не был ранен. У него от напряжения просто пошла кровь из носа. Но все равно — был бой, он участвовал в бою, и смело можно

считать, что он был ранен. Во всяком случае, он был окровавлен. Кровь текла по его лицу. Что касается остального, то все было именно так, как было: его тащил фашистский солдат, и он изо всех сил молотил солдата кулаками по голове, царапал его лицо, визжал от ярости и, наконец, с такой силой укусил его руку, что солдат закричал. Мальчик до сих пор чувствовал запах солдатской руки, и его зубы и десны до сих пор ныли после этого укуса.

Он пережил несколько страшных минут, потрясших все его существо. Едва ли он даже как следует понимал, что происходит. Зато сколько радости, сколько новых, необыкновенных впечатлений обрушилось на него, когда все кончилось и он наконец вместе с Матреной Терентьевной и Валентиной очутился под землей, в катакомбах! Как всплеснула руками и бросилась к нему Раиса Львовна, растерянно повторяя: «Боже мой, Петя! Откуда ты взялся? Нет, в самом деле, откуда ты взялся? Как ты сюда попал?» Она была уверена, что он уже давно в Москве. А он вдруг оказался здесь, перед ней, оборванный, нестриженый, окровавленный, с воспламененным лицом и глазами, сверкающими, как антрацит.

Прижимая лопнувший рукав полушубка к окровавленному носу, Петя стал, захлебываясь, рассказывать свою историю.

Петькин сын! В представлении Черноиваненко это было нечто в высшей степени отвлеченное, почти невероятное, даже комическое. Он всматривался в перепачканное, возбужденное лицо вихрастого мальчика, с изумлением открывая в нем черты Петьки Бачей — смуглого гимназистика из далекого, туманного мира своего детства. С каждым мигом открывалось все больше и больше сходства. Черноиваненко растроганно притянул к себе мальчика и прижал к своему бобриковому пальто. Он вытер его лицо рукавом, с любопытством заглянул в это лицо, покрасневшее от смущения, и неловко поцеловал мальчика в сухие, пыльные волосы, но в ту же минуту рассердился на себя за эту нежность.

— Ну и ладно, хватит,— притворно сердито сказал он, отстраняя мальчика.— Но надо тебе сказать: ты таки здорово похож на своего батьку, когда он был такой же маленький, как ты. Нет, все-таки это удивительно! —

воскликнул Черноиваненко.— Что ты скажешь, Мотя? Похож, верно?

— Вылитый Петя! — сказала Матрена Терентьевна и, заметив, что у мальчика снова пошла кровь носом, забегала, засуетилась...

Так началась жизнь Пети в катакомбах.

17

ТРЕТЬЯ ЯВКА

Был темный, гнилой день поздней осени, один из тех коротких и одновременно мучительно растянутых дней, не только лишенных малейшего проблеска радости, но даже надежды на самую отдаленную возможность чего-нибудь хорошего. Такие ноябрьские дни с их сводящим с ума однообразием особенно подавляют на юге, где в памяти еще так свежи яркие краски лета.

Петр Васильевич с утра ходил по Одессе, занятой неприятелем, стараясь дважды не появиться в одних и тех же местах. Он без устали ходил из улицы в улицу, пересекая город в разных направлениях, и не находил места, где бы можно было остановиться и отдохнуть. Всюду было одинаково ненадежно.

Бачей был совсем не похож на себя, одетый в молдаванскую домотканую свитку, выкрашенную луковой шелухой. На голове его неловко сидела высокая баранья шапка, в руках — кнут, за спиной — торба с хлебом и салом. У него за пазухой лежал завернутый в тряпку старый, дореволюционный вид на жительство, выданный на имя крестьянина Бессарабской губернии Саввы Тимофеевича Улиера, с новым штемпелем румынского жандармского легиона. Этим документом его снабдили в особом отделе после того, как дивизия попала в окружение под Аккерманом. Он получил также на всякий случай три явки в Одессе, из которых одна находилась в бывшем Александровском парке, возле горки, где некогда стояла Александровская колонна, в заброшенном бомбоубежище. Но этой явкой следовало воспользоваться лишь в самом крайнем случае.

Петр Васильевич удачно избежал плена, в Аккермане переоделся, и вот теперь он ходил по Одессе из улицы в улицу, надеясь найти где-нибудь приют, городскую одежду и помощь.

Прежде всего прямо с базара он отправился на квартиру Колесничука, где оставил свои гражданские вещи. Он прошел мимо Куликова поля и не узнал его. Теперь на Куликовом поле был разбит сквер, уже сильно разросшийся, а на том месте, где были похоронены жертвы революции и некогда стоял на камнях красный плуг, теперь возвышался обелиск, который немцы не успели взорвать. Затем он прошел мимо дома Колесничуков, но не решился зайти. Было что-то ненадежное во всем облике этого дома, казавшегося нежилым, но с убранным, подмазанным фасадом, с незнакомым, подозрительным дворником в воротах. Дворник в новом, еще не стиранном фартуке, с новой бляхой на груди посмотрел ему вслед, и Петр Васильевич, стараясь не убыстрять шага, поторопился свернуть за угол.

То, что ему казалось сначала таким легким и простым — найти явки,— теперь представлялось совершенно невозможным. Все дома, все двери, ворота, даже улицы и переулки казались как бы наглухо запечатанными невидимой печатью. Прошел старик в широком коротком касторовом пальто, в котелке, с тростью под мышкой, в высоком крахмальном воротничке, и его кадык какого-то багрового, индюшечьего оттенка зловеще высовывался из этого воротничка с загнутыми, как у визитных карточек, уголками. На всех перекрестках кричало радио на старательном, каком-то старомодном русском языке, передавая немецкие военные сводки.

Кое-где в ларьках толстые брюзгливые женщины в больших серьгах, в шляпках и митенках — кружевных перчатках без пальцев — продавали домашние пирожные, самодельные свечи, итальянские лимоны и какое-то явно старорежимное монпансье в банках — но не в обычных круглых банках, а в четырехугольных румынских, с пестрыми наклейками. В особенности бросалось в глаза и раздражало это монпансье. Оно раздражало своими химическими анилиновыми красками — крапрозовой, ультрафиолетовой, зеленой. И лимонад в маленьких бутылочках почему-то был отвратительного, неестествен-

ного химического цвета — лилового, как раствор марганцовки.

Потеряв собственное имя, с чужим документом за пазухой, он шел, как затравленный, оглядываясь на запертые подворотни, на дворников, на лавочников, на немецкие и румынские патрули, на карты Румынии и Транснистрии, выставленные в окнах книжных магазинов. Каждую минуту рискуя попасть в руки вражеской контрразведки, он шел все быстрее и быстрее по туманным, дождливым улицам, по их каменным коридорам, как по коридорам громадной тюрьмы. Ему казалось, что вокруг нет ни одной родной души. Наконец он понял, что остается одно — идти на третью явку, в бывший Александровский парк. Он свернул на бывшую Троицкую и сразу же увидел громадную партию арестованных с вещами, которая под конвоем конных жандармских легионеров, одетых в блестящие от дождя плащи, двигалась по мокрой гранитной мостовой, наполняя улицу удручающим, приглушенным гулом множества нестройных шагов, тихим женским плачем, стальным щелканьем подков и утробным дыханием танцующих лошадей — всеми теми звуками, что так мучительно напомнили Петру Васильевичу самые мрачные дни города после 1905 года и во время интервенции 1918 года, во время деникинщины... Ему стало почти физически душно от этих тягостных звуков, наполняющих улицу. Не размышляя, он вошел в первые попавшиеся ворота. Они были распахнуты, и он вошел в них стремительно, забыв, что он бессарабский крестьянин. К счастью, это были ворота, ведущие в никуда. Дом представлял собой развалины, пустую коробку. Остались одни лишь ворота, распахнутые взрывом. По грудам неубранного мусора, спотыкаясь о ракушечные камни, цепляясь о железные балки, Петр Васильевич прошел через несуществующий двор и очутился на большом пустыре, где, вероятно, летом находились огороды. Теперь земля здесь была беспорядочно изрыта траншеями и воронками бомб. Он не сразу узнал этот пустырь. Но он его все же узнал. Пустырь примыкал к Александровскому парку, ныне Парку культуры и отдыха имени Шевченко.

Здесь было совершенно безлюдно.

Пока Петр Васильевич шел в крестьянской одежде

по улицам, он не мог вызвать особенного подозрения. Но теперь, когда он, перепрыгивая через заросшие щели и перелезая через ржавую проволоку огородов, пробирался к Парку культуры и отдыха имени Шевченко, у него был вид не только подозрительный, но, с точки зрения любого солдата или полицейского, откровенно преступный. Но другого выхода не было.

Когда Петр Васильевич добрался до середины пустыря, его внимание привлекло какое-то странное согнутое одинокое дерево. Это была старая, очевидно сломанная взрывом акация. На ней висело что-то длинное, похожее на повешенного со свернутой набок головой. Среди исковерканного пустыря это одинокое дерево производило такое тягостное впечатление, что Петр Васильевич невольно все время поворачивал к нему голову. Помимо своей воли, он изменил направление и приблизился к дереву. Это действительно был повешенный. Русые волосы свесились на сильно вылепленное, прекрасное, опущенное к земле лицо. Черные, со сведенными пальцами босые ноги, высунувшиеся из коротких серых брюк, чуть покачивались, касаясь бурьяна; к разорванной, окровавленной рубашке был пришпилен кусок картона с потекшей надписью, сделанной химическим карандашом: «Большевик».

Несколько ворон снялось с дерева и низко над землей потянулось к Парку культуры и отдыха имени Шевченко. Петру Васильевичу показалось, что одна ворона оглянулась и посмотрела на него. Он вытер со лба пот и, делая страшные усилия, чтобы не оглянуться, пошел дальше. Он так сильно сжал руки, что у него даже заболели пальцы. А вороны уже кружили над голыми деревьями парка и протяжно каркали.

О, как знакомы были Петру Васильевичу эти аллеи и эти громадные черные деревья акации с шипами, острыми и длинными, как у терновника, и с черными лентами стручков, между которыми вдруг показалась горка с Александровской колонной.

Он перелез через расшатанный каменный парапет. В парке не было ни души. Бачей вспомнил восемнадцатый год, лунную ночь, мороз и маленькую красивую женщину в трауре, которая когда-то его любила и стреляла в него из дамского револьвера. Неслышно ступая по

сугробам очень мелкой сырой листвы, Петр Васильевич переходил от ствола к стволу и возле каждого ствола останавливался, прислушиваясь. Он задерживал дыхание, боясь нарушить тишину, стеной стоявшую вокруг него.

С другой стороны за деревьями виднелись великолепные дома, красивые мачты электрических фонарей, чугунные ограды, полуприкрытые багровыми плетями умирающего дикого винограда. Хотя Маразлиевская считалась одной из самых красивых улиц города, но в силу своего особого, приморского положения она не отличалась большим оживлением. Теперь же Петр Васильевич услышал сильный шум движения и увидел между стволами частое мелькание легковых и грузовых машин. Легковые машины останавливались у подъезда громадного нового здания НКВД. Грузовики с натужным воем от перегретых моторов въезжали в ворота.

По ту сторону парапета двигались каски и тесаки часовых. Из этого можно было заключить, что Маразлиевская оцеплена.

Судя по движению и гулу, которые Петр Васильевич не столько слышал и видел, сколько угадывал своим необыкновенно обострившимся внутренним чутьем, сейчас сюда съезжалось главное начальство.

Бурое, истерзанное море дымилось, как взорванный город, сплошь усеянное угловатыми обломками шторма.

У подножия Александровской колонны со снятой короной, на том месте, где раньше на солнце горел изумрудный газон и тяжело и жарко цвели почти черные штамбовые розы, теперь серые солдаты в глубоких, котлообразных касках торопливо рыли траншею, и несколько тупорылых гусеничных тягачей и коричнево-желтых дальнобойных пушек на литых резиновых шинах, как жирафы, стояли среди поломанных туй, ожидая, когда позиция будет готова и их опустят в ямы. Вокруг ходили часовые.

Петр Васильевич постоял за деревом и потом осторожно пошел назад. Но едва он сделал несколько шагов, как заметил патруль, мелькавший между деревьями навстречу ему. До крови прикусив губы и дыша носом, Петр Васильевич свернул в сторону и побежал на носках.

Хотя он бежал почти беззвучно, ему казалось, что он производит ужасный треск. Он остановился за Александровской горкой и замер, отчетливо слыша, как у него бьется сердце. Было ясно, что парк окружен и его «прочесывают». Совсем недалеко от себя Петр Васильевич увидел старый блиндаж, заваленный желтыми листьями. Это было то самое заброшенное бомбоубежище. Кое-где оно уже обвалилось и заросло бурьяном. Но земляные ступени еще держались, и Петр Васильевич, быстро оглянувшись по сторонам и нагнувшись, чтобы не стукнуться головой о перекрытие, сбежал вниз по этим ступеням. Он рванул запертую дощатую дверь, и в тот же миг дверь открылась, чья-то рука схватила его за горло, втащила в яму, прижала к стене, и дверь опять захлопнулась.

Все дальнейшее произошло с ошеломляющей быстротой. При слабом свете, проникающем в блиндаж сквозь дырявое перекрытие, он увидел прямо перед собой черную эсэсовскую фуражку с белым черепом, серое лицо с беспощадно сжатым ртом и руку в замшевой перчатке, которая держала финский нож, приставленный к его подбородку.

— Руиг! — тихо сказал эсэсовец, еще более приблизив свое лицо к лицу Петра Васильевича. Он в упор всматривался в него своими синими холодными глазами, полуприкрытыми тенью большого козырька.

«Ну, вот и все...» —подумал Петр Васильевич. Кровь жарко бросилась ему в голову, оглушила и тотчас отлила с такой силой, что Петр Васильевич почувствовал, как мозг его леденеет, как бы мучительно высыхает. «Ну, вот и все...» Он понял, что пропал. И все же он почти бессознательно сделал отчаянную, бессмысленную попытку спастись.

— Ваше благородие,— забормотал он,— виноват, заблудился. Не туда зашел. Извините великодушно...

Он замолчал. Синие глаза продолжали в упор смотреть на него из темноты со страшным напряжением, как бы силясь что-то вспомнить. Толстая кожа над переносицей сморщилась и надулась. И вдруг не улыбка, нет, а отдаленное подобие улыбки, тень улыбки тронула сжатый рот немца.

— Вы Петр Васильевич Бачей, из Москвы, не так ли?

Синие глаза продолжали смотреть в упор. Но теперь в них Петр Васильевич увидел живое человеческое движение. И в ту же минуту он узнал эти глаза. Он узнал этот крупный, обветренный рот, прямые светлые брови доброго человека, крепкую, побуревшую от загара шею.

— Лейтенант Павлов! — воскликнул Петр Васнльевич.

— Как вы сюда попали? — сузив глаза, спросил «эсэсовец».

— Я из окружения... мне дали эту явку... И вот...— возбужденно заговорил Петр Васильевич.

— Вижу,— прервал его Павлов.— Подробности потом. У меня нет времени. Слушайте... Вы офицер?

Они снова посмотрели друг другу в глаза, поняли все, и этот миг решил судьбу Петра Васильевича.

— Слушайте,— сказал быстро Павлов, не дожидаясь ответа,— во-первых, запомните, что я больше не лейтенант Павлов, а Дружинин. Простая, энергичная русская фамилия Дружинин. Дружина товарища Дружинина. «С дружиной своей, в цареградской броне...» и так далее. Повторите.

— Дружинин,— повторил Петр Васильевич, чувствуя, что все это происходит с ним как бы во сне.

— Сейчас у нас нет времени для более подробной беседы,— сказал Павлов-Дружиинии.— В данную минуту перед нами — передо мной и перед вами — стоит одна задача: благополучно уйти из парка. Куда? Раз уж так произошло, положитесь в этом на меня. Я доставлю вас в сравнительно безопасное место. Каким образом? Очень простым. Я поведу вас как арестованного. Вы — впереди, с вещами, со своей торбой, а я — сзади, с пистолетом. Нам с вами это очень подойдет. Вы себе это уясняете?

— Уясняю.

— Стало быть, договорились. Приготовьтесь. Что бы ни случилось — Дружинин. Но не беспокойтесь, ничего не случится.

С этими словами «Дружинин» отошел в угол, стал на колени и посветил себе фонариком. Петру Васильевичу показалось, что в углу, на земле, под нарами, стоит какой-то небольшой аппарат, похожий на аккумулятор. Но

он не успел как следует рассмотреть этот аппарат, так как Дружинин заслонил его спиной, что-то сделал руками, и почти в тот же миг наверху, за Парком культуры и отдыха имени Шевченко, на Маразлиевской, раздался взрыв такой потрясающей силы, что под ногами сдвинулась земля, бомбоубежище закачалось, как каюта, часть прикрытия разошлась, посыпались земля и листья, железное, громыхающее эхо широкими раскатами пошло гулять над городом, и несколько воздушных волн одна за другой нажали на барабанную перепонку.

— А теперь можно выходить. Поскорее! Вперед! Я — за вами.

Ошеломленный Петр Васильевич быстро шел с торбой за спиной, не оглядываясь и повинуясь голосу Дружинина, который время от времени отрывисто командовал:

— Направо. Налево. Прямо.

Или по-немецки:

— Рехтс. Линкс. Градеаус.

Или, если позволяли обстоятельства, дружески говорил, явно подбадривая Петра Васильевича:

— Больше жизни! Вперед! Еще одно маленькое усилие — и мы дома.

18

ЗЕР ГУТ!..

Петр Васильевич не имел права оглядываться. Все-таки несколько раз он не удержался и оглянулся. В двух метрах от него сзади быстро шел эсэсовец в черной фуражке с черепом, с пистолетом «вальтер» в руке, с синими знакомыми и незнакомыми глазами под большим лакированным козырьком. И всякий раз это казалось Петру Васильевичу так невероятно, что он сбивался с шага и начинал спотыкаться. Тогда за спиной опять слышался отрывистый голос Дружинина:

— Не оборачивайтесь. Я здесь. Все в порядке.

Один раз Дружинин сказал даже: «В порядочке».

Они беспрепятственно прошли через весь парк. Хотя в парке им встретилось несколько патрулей, но, разу-

меется, ни один их не остановил. Как мог простой комендантский патруль остановить эсэсовского офицера с пистолетом в руке, который быстро вел арестованного мужика! Кому же могло прийти в голову — особенно теперь, в момент общей паники, когда в городе произошел этот чудовищный взрыв,— что один переодетый ведет другого переодетого и оба они большевики!

Они вышли из Парка культуры и отдыха имени Шевченко и пересекли Маразлиевскую улицу. Она была попрежнему оцеплена, но теперь там творилось нечто невообразимое. Конечно, Дружинин мог бы вести Петра Васильевича каким-нибудь другим, менее опасным путем, минуя Маразлиевскую. Но, как видно, ему нужно было пройти именно через Маразлиевскую. Казалось, какая-то неудержимая сила несет его сквозь все препятствия напролом. Зверски сжав зубы, он грубо отстранил локтем румынского часового, довольно сильно толкнул Петра Васильевича пистолетом в спину, крикнул, свирепо раскатываясь на букве «р»: «Гр-р-радеаус!» — и они быстро, почти бегом пересекли Маразлиевскую, по которой с воем неслись санитарные автомобили.

Петр Васильевич успел заметить, что над тем местом, где только что возвышался громадный дом НКВД, теперь в пустом небе стояло или, вернее сказать, как-то тяжело и душно висело бело-розовое облако битого кирпича и штукатурки, сквозь которое виднелись безобразные развалины взорванного здания. Из пирамиды строительного мусора торчали скрученные железные балки, решетки, трубы и батареи водяного отопления. Вокруг взорванного дома, среди обломков легковых и грузовых машин, неподвижно стояли оцепеневшие люди в шинелях и фуражках, покрытых белой известковой пылью. И вой санитарных автомобилей казался воем, шедшим из-под развалин. Петр Васильевич украдкой обернулся и посмотрел на Дружинина. Он увидел неистово синие глаза, полные такого торжества и такой ярости, что на один миг ему даже стало жутко. В эту же секунду Дружинин сделал неуловимое движение головой в сторону взорванного дома, подмигнув Петру Васильевичу, и сказал сквозь зубы:

— Зер гут! А?

И Петр Васильевич вдруг понял связь между тем ап-

паратом, к которому наклонился Дружинин в блиндаже, и этими развалинами.

Начинало темнеть. Улицы быстро пустели. Пороховая копоть сумерек сгущалась и реяла между мертвыми домами с черными окнами. В перспективе совершенно пустой, угнетающе серой Ришельевской улицы проплыл силуэт городского театра. Теперь его круглый красивый купол, его нарядный подъезд со статуями и арками, с чугунными фонарями, гранитными ступенями казался каким-то водянисто-серым, однотонным, лишенным объема, неосязаемым, как призрак.

— Линкс,— сказал Дружинин.

И они, обогнув обгорелый угол разрушенного дома, повернули на Дерибасовскую.

Но нет, это была не Дерибасовская. Это был призрак Дерибасовской. Два или три огонька слабо светились в ее безжизненной перспективе. По-видимому, это горели свечи или коптилки в нескольких магазинах, открытых по приказанию новых хозяев города. Потом и эти огоньки один за другим стали гаснуть. Магазины закрывались. И вот остался лишь один огонек — жидкий, колеблющийся, слезящийся за черным окном, в мрачных недрах торгового помещения.

Когда они подходили, пламя свечи заколебалось, метнулось и погасло. Из магазина вышел человек в пальто с поднятым воротником, в котелке. Он поставил на тротуар железную шкатулку и повесил на дверь большой висячий замок. Что-то в высшей степени жалкое и вместе с тем комическое было в старомодной фигуре этого господина. Как осторожно, почти благоговейно поставил он на тротуар свою кассу, как бережно, основательно запирал он замок, звеня и щелкая ключами! Он поднял палку с крючком, чтобы опустить над витриной железную штору, и вдруг услышал шаги. Он вздрогнул и обернулся.

Как раз в это время Дружинин и Петр Васильевич поравнялись с ним. Он увидел эсэсовца с пистолетом, засуетился, прижался к стене и, сдернув с головы котелок, отвесил какой-то старомодный, жеманный поклон. Петр Васильевич посмотрел на него и чуть не вскрикнул... Нет, он не ошибся! Невозможно было ошибиться. Это был Колесничук. Он стоял — товарищ Колесничук, Жорка Колесничук, старый приятель, друг детства, тот самый

Колесничук, с которым они еще так недавно предавались воспоминаниям! — и, прижимая к груди котелок, низко кланялся эсэсовцу, ведущему арестованного большевика. Колесничук посмотрел на Петра Васильевича. Конечно, он его не узнал. Его взгляд, как показалось Петру Васильевичу, скользнул равнодушно. Колесничук отвернулся, зацепил своей палкой петлю шторы, и она с ржавым скрежетом стала опускаться. Петр Васильевич увидел за треснувшим, мутным стеклом витрины какие-то самовары, старинные бронзовые часы, зонтики, патефоны. Блеснула манерная золотая рама картины, прислоненная к старинной бормашине с ножной педалью и зловещим чугунным колесом... Над магазином висела временная вывеска — длинная, провисшая от дождя полоса бязи с богато орнаментированной надписью по старой орфографии: «Комиссiонный магазинъ «Жоржъ» Г. Н. Колесничука».

Петр Васильевич не верил своим глазам. На миг ему даже показалось, что он сходит с ума.

Но в следующую секунду чувство действительности вернулось к нему. Все это было правдой. Так вот, оказывается, что собой в действительности представлял господин Колесничук! Вот какая у него оказалась душонка!.. На улице было пусто. Их никто не видел. Он уже готов был очертя голову броситься на Колесничука, но в тот же миг внутренний голос холодно сказал ему: «Спокойно!» Петр Васильевич взял себя в руки и прошел, не меняя шага, мимо комиссионного магазина «Жоржъ» Г. Н. Колесничука, даже не оглянувшись.

После нескольких поворотов направо и налево они очутились в темном переулке, где, судя по особой, безжизненной тишине, большинство домов было разбито, стояли только их пустые коробки.

— Рехтс! — в последний раз скомандовал Дружинин, и, круто повернув направо, Петр Васильевич вошел в темный пролом стены, с которым как раз в этот миг поравнялся.

Следом за ним так же быстро в пролом вошел Дружинин. За ними никто, конечно, не следил. Но если бы даже кто-нибудь и следил, он бы их потерял из поля зрения моментально. Только что они шли по тротуару — и вот их уже нет. Они исчезли, растворились впотьмах.

Петр Васильевич сделал несколько шагов, натыкаясь на камни, и остановился. Дружинин тотчас подхватил его под руку.

— Осторожно,— прошептал он.— Не трахнитесь головой: здесь висит железная балка. Подождите. Держитесь за меня.

Теперь они поменялись местами: Дружинин пошел впереди, а Петр Васильевич двинулся за ним, держась рукой за его плечо. Дружинин уже больше не был эсэсовцем, а Петр Васильевич — арестованным крестьянином. Теперь они были оба тем, кем они были в действительности. И они с облегчением чувствовали, что маскарад кончился.

— Ух, запарился! — сказал Дружинин, снимая свою тяжелую эсэсовскую фуражку и вытирая со лба пот.

Они прошли через разрушенную квартиру — это, несомненно, была квартира, так как Петр Васильевич один раз наткнулся на ванну, стоящую торчком,— и очутились во дворе, заваленном обломками мебели. Затем они вошли в разбитую лестничную клетку черного хода и стали осторожно подниматься по железной лестнице, которая со скрипом качалась под их ногами. В некоторых пролетах были порваны перила. Тогда они шли, прижимаясь к остаткам стены, и чувствовали, как шатаются камни. На высоте третьего этажа отсутствовало пять или шесть ступеней. Дружинин схватился за какую-то, очевидно хорошо ему знакомую, железную скобу, влез на площадку и вытащил за собой Петра Васильевича. Так они добрались до четвертого этажа или, вернее, до того места, где когда-то был четвертый этаж. Теперь четвертого этажа не было и на его месте гулял черный ветер. От всего четвертого этажа остались лишь одна маленькая площадка и кусок чердачной лестницы, повисшей над пропастью двора. Они немного передохнули, и потом Дружинин стал подниматься по чердачной лестнице, крепко держа в отведенной назад руке руку Петра Васильевича. Лестница привела их на чердак, каким-то чудом висевший над отсутствующим четвертым этажом. Он косо держался на нескольких двутавровых балках, вделанных в уцелевшую стену фасада. Вероятно, снизу этот кусок чердака с куском уцелевшей крыши с антенной и даже

с одним слуховым окном казался каким-то феноменом, странной прихотью взрывной волны.

— Итак, мы дома,— сказал Дружинин, когда они пролезли в чердачную дверь.— Миша, ты здесь?

— Здесь,— ответил из темноты такой простой, такой домашний, даже несколько сонный голос, будто это все происходило не на обломке чердака, между небом и землей, в глубоком тылу врага, а где-нибудь вечерком в мирном советском городке, в уютной студенческой комнатушке.

— Ну, как тебе понравилось? — с плохо скрытым торжеством спросил Дружинин.

— Я думал, что наш чердак обвалится ко всем чертям,— сказал Миша из темноты.

— Неужели так сильно рвануло?

— И не спрашивайте! Жуткое дело! На два километра стекла посыпались.

— Ты бы засветил, Миша. А то сидишь в темноте, как крот.

— Можно,— покладисто сказал невидимый Миша.— Я свечку экономлю. Подождите. Сейчас проверю светомаскировку.

Через некоторое время щелкнула зажигалка и зажглась свеча. Петр Васильевич увидел себя в маленькой каморке, со всех сторон завешенной плащ-палатками, одеялами, шинелями. На косом чердачном полу лежали какой-то старый войлок, видимо сорванный с дверей, и заднее сиденье легкового автомобиля с вылезшими пружинами. На стропилах висели большая фляжка, обшитая сукном, и маузер в деревянном ящике. Под ними на полу стояли фанерный баул, завязанный веревкой, и чемоданчик из числа тех старепьких, потертых фибровых чемоданчиков, с которыми молодые люди обычно приезжают из провинции в Москву поступать в вуз. Желтая румынская свеча, укрепленная внутри пустой жестянки из-под мясных солдатских консервов, стояла на полу, а так как пол был наклонный, то, чтобы свеча не оплывала в одну сторону, под жестянку была подложена спичечная коробка с зелено-красной румынской этикеткой. Миша оказался маленьким складным солдатиком в черной стеганке, в башмаках и обмотках, рыжий, с желтыми ресницами, от которых не только его круглое лицо вы-

глядело особенно свежим и розовым, но даже глаза казались розоватыми.

— Познакомьтесь.

— Сержант Веселовский,— сказал Миша, протягивая Петру Васильевичу руку.

— Старший лейтенант Бачей.

Они пожали друг другу руки, и Миша сел на войлок рядом с баулом и чемоданом и скрестил ноги по-турецки. По-видимому, это были его любимое местечко и любимая поза. Петр Васильевич лег на войлок и с наслаждением вытянулся. Ноги у него ныли, горели, гудели. Он положил под голову свою мягкую молдаванскую шапку, и все необыкновенно приятно спуталось перед его глазами. Как сквозь воду, он услышал булькающий голос Дружинина, который сказал: «Вы лучше снимите эти ваши молдаванские чоботы»,— и тут же заснул. Когда же проснулся, то долго не мог сообразить, где находится, наконец вспомнил, что на чердаке, вспомнил все, что с ним сегодня произошло, и попросил пить. Но пить ему не дали, сказав, что мало воды и что сейчас будет чай.

Дружинин, без сапог, в расстегнутом черном эсэсовском френче, под которым так симпатично голубела советская майка, лежал на автомобильном сиденье и, положив на поднятые колени блокнот, делал карандашом какие-то заметки.

Миша принес из угла чайник, поставил его на два кирпича и зажег под чайником таблетку сухого трофейного спирта. Когда чай поспел, он достал полбуханки пшеничного хлеба, палку сухой московской колбасы и пакет сахару. Он аккуратно отрезал три не слишком толстых ломтя хлеба, три кружочка колбасы и вынул из пакета три куска сахару.

— Нынче у нас не густо, товарищ старший лейтенант,— сказал он, строго посмотрев на Петра Васильевича.— Тяжело снабжаться.

Он отделил каждому его порцию на особую бумажку, скупо заварил чай и пригласил ужинать.

— Можете себе представить, я вас в первый момент совершенно не узнал,— сказал Петр Васильевич, глядя на Дружинина счастливыми глазами.

— Меня очень легко было узнать. Я ведь не изменил своего лица. Только мундир да фуражка... Зато вы, Петр

Васильевич, постарались! Настоящий молдаваннн-единоличник.— Дружининн снисходительно усмехнулся.— Борода, свитка, шапка, постолы. Красота!

— Как же вы меня узнали?

— Профессия.

— Вот уж действительно не было бы счастья, да несчастье помогло!..

19

«ВОТ ТЕБЕ И КОПЧЕНАЯ СКУМБРИЯ!»

Петру Васильевичу представился знойный степной полдень, воздух, текущий по горизонту, его сын Петя, пестрая девочка и пограничник в зеленой выгоревшей фуражке, который подбрасывает эту пеструю девочку, как букет, ловит ее, переворачивает, и они оба — папка и дочь — заливаются радостным смехом. Боже мой, как давно, как далеко все это было! Как будто бы на какой-то другой, счастливой планете.

— Слушайте, вы себе не можете представить, до чего я рад вас видеть! — наивно воскликнул Петр Васильевич.

— И я тоже,— сердечно ответил Дружинин и вдруг грустно улыбнулся: — Так ка́к вы говорите? Шабо, Аккерман, Будаки?.. Страна вашего детства?

— Копченая скумбрия,— прибавил Петр Васильевич печально.

— Вот тебе и копченая скумбрия! — сказал Дружинин.

— Н-да... Покатались на моторной лодке. Погуляли. Ничего себе! Кстати, где же теперь находится ваша прелестная дочурка? Лидочка, кажется?

— Галочка. Я ее отправил самолетом обратно в Харьков, как только все это началось. А где она в данный момент, просто не представляю. Очень беспокоюсь. А ваш Петя?

— Я его тоже успел отправить в Москву.

— Шустрый малый. Одно слово — вице-президент!

И они оба замолчали, задумались...

— Стало быть, уточним обстоятельства,— мягко сказал Дружинин, меняя тему.— Простите, вы член партии?

— Нет, я беспартийный,— сказал Петр Васильевич, почему-то слегка краснея.— Но, я думаю, это не имеет никакого значения?

— Конечно, конечно. Я просто уточняю. Мы сейчас все большевики — партийные и непартийные. Не так ли? Насколько я вас понял, вы командир Красной Армии?

— Да. Командир батареи. Мне полагалась броня, но я...

— Это понятно.

Дружинин замолчал и молчал довольно долго, видимо что-то обдумывая.

— Петр Васильевич,— наконец сказал он,— нас столкнула судьба... вы сами видите, при каких обстоятельствах. Надеюсь, для вас ясно, что я выполняю определенное боевое задание. Вам не надо объяснять, какое. Это задание партии и правительства. Государственное задание.

— Нахожусь в полном вашем распоряжении,— сказал Петр Васильевич.

— Я так и думал.

Дружинин протянул руку, и они обменялись быстрым крепким рукопожатием.

Разговаривая, Дружинин продолжал что-то записывать в блокнот.

— Между прочим,— сказал Петр Васильевич,— когда я блуждал по Парку культуры и отдыха имени Шевченко, то наскочил на какую-то тяжелую батарею. Может быть, вам это будет полезно?

— Сколько вы там насчитали орудий? — быстро спросил Дружинин.

— Четыре.

— Калибр?

— По-моему, стосорокапятимиллиметровые.

— Дальнобойные?

— Да, дальнобойные.

— Они их уже установили?

— Они их устанавливали: рыли огневую позицию.

— Фронтом куда? В море?

— Фронтом в море.

— А может быть, не в море?

Петр Васильевич задумался:

— Нет, по-моему, фронтом в море.

Дружинин поморщился и резко сказал:

— По-вашему!.. Нам важно установить не как «по-вашему», а как на самом деле.

Дружинин вдруг спохватился, что сделал слишком резкое замечание немолодому, хорошему и, в сущности, малознакомому ему человеку. Он густо покраснел и сказал:

— Пожалуйста, извините. Я слишком увлекся работой. Кроме того, я уже три ночи не спал. А эта дальнобойная батарея, которую вы обнаружили, очень показательный факт. Если они ее устанавливают как береговую, то, значит, они боятся десанта, и это необходимо отметить.

— Они ее устанавливают фронтом в море,— твердо сказал Петр Васильевич.

— Спасибо.

Дружинин быстро записал в блокнот несколько слов.

— И еще,— сказал он торопливо: — когда вы добирались из Будак в Одессу, вы ехали по какому маршруту?

— На Аккерман.

— А из Аккермана?

— Из Аккермана через Днестровский лиман.

— На Беляевку или на Овидиополь?

— На Овидиополь.

— Как вы переправлялись? На пароме?

— Зачем на пароме? Там они навели превосходный понтонный мост. Мужиков, которые везут продукты на одесский рынок, они пропускают вместе с войсками через понтонный мост.

— Это замечательно! Это просто замечательно! — забормотал Дружинин, потирая руки.— Два очень ценных факта. Во-первых, по-видимому, крестьяне неохотно везут продукты на рынок, а во-вторых, новый понтонный мост между Аккерманом и Овидиополем.

Дружинин достал трехверстку, засунутую под автомобильное сиденье, и углубился в ее изучение. Изучая карту, складывая и раскладывая, он машинально упирался карандашом в переносицу. Карандаш был химический, и скоро на переносице Дружинина образовался лиловый след. Иногда Дружинин сверялся с записями

в блокноте. Иногда он подымал глаза вверх, как бы что-то припоминая, и беззвучно шевелил обветренными губами.

Он работал. Но смысла и значения этой работы Петр Васильевич никак не мог понять.

— Миша,— сказал Дружинин, не отрываясь от блокнота,— нам еще не время выходить в эфир? На моих девятнадцать пятьдесят три.

— Не,— сказал Миша зевая.— Ваши на три минуты вперед. У меня ровно девятнадцать пятьдесят. По институту имени Штернберга. Точно.

— Ты все-таки пошарь. Может быть, что-нибудь новенькое.

— Вряд ли. Я сегодня, пока вы производили эту операцию, всю Европу обшарил. Только и слышно по всем станциям: «Москау, Москау...» Все время марши передают. Одна голая пропаганда.

— Ты все-таки пошарь.

— Пошарю.

Миша покорно открыл фибровый чемоданчик, вынул из него передаточный ключ, надел наушники и стал крутить ручку настройки. В этом потертом, стареньком фибровом чемоданчике помещалась рация.

— Сильные разряды,— сказал Миша после некоторого молчания.— Видать, меняется погода. Мороз идет... Турки из Анкары дают джазовую музыку. Больше им нечего делать!.. А это, кажись, Каир. Кто-то шпарит по-египетски. Не поймешь что... Теперь — итальянцы. Опять марши. Дались им эти марши! Делать нечего.

— Ты лучше Берлин найди,— пробормотал Дружинин.

Миша покрутил винтики.

— Опять Гитлер треплется,— сказал он через некоторое время, сморщившись, как от зубной боли.— Третий раз за последнюю неделю. Как собака лает: гав, гав, гав... «Москау, Москау...»

— Пусть он идет к черту, надоело! — махнул карандашом Дружинин.

— Сейчас Бухарест поищу... Вот он, Бухарест!

— А ну-ка, давай, что там сообщает Антонеску.

— Тише! — сказал Миша, поднимая руку.— На русском языке.

— Что? — спросил Дружинин.

— Рвут и мечут.

— Ага, дошло! Подробности сообщают?

— Не сообщают.

— Ничего, мы этих фашистских мерзавцев доведем до кровавого пота! — сказал Дружинин сквозь зубы и хрустнул переплетенными пальцами.— Будут они знать, как топтать нашу землю!

Он просто и ясно посмотрел на Петра Васильевича своими синими серьезными глазами, но Петру Васильевичу показалось, что его взгляд устремлен куда-то очень далеко вперед и что он видит там что-то очень грозное и вместе с тем очень торжественное.

— Миша, мы не опаздываем? — вдруг сказал Дружинин озабоченно.

— Еще две минуты.

— Пора! Выходи в эфир.

Миша быстро надел наушники и, низко наклонившись к фибровому чемоданчику, застучал ключом, дробно выбивая точки и тире азбуки Морзе.

— Сейчас поработаем,— сказал Дружинин, блестя глазами.

Он взял блокнот, карту и подсел к Мише. Теперь они оба сидели по-турецки, наклонившись над фибровым чемоданчиком. Миша продолжал стучать ключом, а Дружинин нетерпеливо посматривал то на карту и блокнот, то на Мишино лицо.

Если человеческое лицо может быть полным воплощением любви, ненависти, гордости, отчаяния, презрения, равнодушия, то лицо Миши было полным, совершенным воплощением слухового внимания. Казалось, ни один самый ничтожный, самый микроскопический звук из тысячи звуков, которые носились в эту минуту и с разной силой звучали в эфире, не мог миновать его уха.

Дружинин всматривался в его лицо и боялся вздохнуть, чтобы не нарушить тишины. «Ну что?» — казалось говорили его глаза. И вдруг лицо Миши ожило, порозовело.

— Есть! — сказал он.— Слушают.

Он быстро поставил рычажок на «передачу» и стал выстукивать свои точки и тире, изредка заглядывая в

шифровку, написанную Дружининым, а Дружинин, как бы проверяя, повторял за ним вполголоса:

— «Одесса. Двадцать часов по московскому времени. Докладывает Дружинин. Город продолжает въезжать немецкая администрация румынская точка Вчера приехал известный Пынтя будет жить особняке Пироговская угол Пролетарского бульвара точка Аресты населения продолжаются началось массовое истребление евреев точка Отмечаются случаи столкновения между румынскими немецкими солдатами точка Цены рынке высокие крестьяне неохотно везут город продукты точка Районе арок парка Шевченко установлена четырехорудийная стосорокапятимиллиметровая батарея берегового назначения точка Вашей карте лист девятнадцать квадрат семь четырнадцать точка Между Аккерманом и Овидиополем имеется новый понтонный мост постоянное движение воинских частей обозов важная коммуникация Бессарабией точка».

Сержант Веселовский с вдохновенным лицом, изредка бросая взгляд на шифровку, прислоненную к откииутой крышке фибрового чемоданчика, стучал подушечкой большого пальца по ключу, и точки и тире азбуки Морзе со щегольской точностью и дробной быстротой так и сыпались из-под его напряженной руки.

«Сегодня шестнадцать ноль-ноль выполняя вашу директиву взорвал дом НКВД момент въезда гестапо сигуранцы посетил место происшествия лично убеднлся результатах городе наблюдается растерянность бухарестское радио рвет мечет точка Нахожусь там же завтра выйду эфир обычно двадцать московскому времени той же волне пока все спокойной ночи точка».

Дождавшись, когда Миша выстукает последние точки и тире, Дружинин собрал листки шифровки, скрутил их и тщательно сжег на свечке.

Тем временем сержант Веселовский перешел на прием и теперь, одной рукой прижимая наушники к голове, он другой рукой быстро записывал на бумажку ряды пятизначных цифр.

Наконец он с видимым удовольствием закрыл чемоданчик и подал Дружинину листок шифровки. Дружинин сел ее расшифровывать, каждую минуту сверяясь с таблицей, и наконец прочел:

— «Спасибо. Слышимость прекрасная. Поздравляем успешным выполнением задания. Можем вас обрадовать: по нашим сведениям, вы уничтожили сто сорок семь человек врагов из числа высших чинов гестапо и сигуранцы, не считая раненых. Ждите ближайшие часы усиления полицейского нажима и ответных действий вражеской контрразведки. Будьте осторожны. Чаще меняйте местопребывание. Ставим на вид отсутствие сведений о состоянии вашей агентурной сети. Поднимайте дух населения города. В основном вашей работой удовлетворены. Привет. Спокойной ночи». Поздравляю вас,— не меняя тона, сказал Дружинин, протягивая Петру Васильевичу руку.

— С чем?

— С тем, что нашей работой в основном удовлетворены.

Петр Васильевич засмеялся:

— Ну, уж к себе это я никак не отношу.

— Нет, отчего же! — с живостью воскликнул Дружинин.— Не скажите. Ваша дальнобойная батарея берегового действия и понтонный мост Аккерман — Овидиополь — это вещь!

— Вы преувеличиваете,— пробормотал Петр Васильевич, крайне польщенный.

Но Дружинин упрямо настаивал на своем:

— Вот увидите, во что превратят в самое ближайшее время наши соколы вашу батарею и ваш понтонный мост.— И он крепко стиснул руку Петра Васильевича.— Ну, а теперь рекомендую вам поспать,— сказал Дружинин.

— Как говорят в армии, «припухнуть».

— Вот именно. Советую вам припухнуть. У нас обыкновенно один спит, другой дежурит. Сегодня могут двое спать, один будет дежурить. Ложитесь. Когда будет ваша очередь, вас разбудят.

Петр Васильевич укрылся шинелью, которую ему подал Веселовский, и заснул.

Засыпая, он — впервые за столько дней! — вдруг вспомнил о своей семье, о детях, о жене. Правда, он думал о них всегда. Они незаметно присутствовали, как-то примешивались ко всем его мыслям. Они нежно, прозрачно окрашивали все его чувства. Но это было так не-

определенно, так общо! Теперь же он стал думать о них по-деловому. Где они сейчас? В Москве или эвакуировались? Как доехал Петя? Не разрушена ли их квартира? Он писал им несколько раз, но от них не получил ни одного письма... Но, очевидно, он очень устал за этот день. Его душа уже больше не была в состоянии принимать новые тревоги. Он думал о своей жене, о девочках, о Пете, о квартире без малейшей тревоги. Какая-то глубокая уверенность, что с ними все обстоит вполне благополучно, овладела его душой. Иначе он не мог бы заснуть... Его охватил спокойный, целебный сон.

А в это время на чердак приходили какие-то люди и шепотом что-то докладывали. Приходили, уходили. Назывались номера каких-то немецких и румынских воинских частей, номера домов, названия улиц, литеры эшелонов, направление грузов, месторасположение зеиитных батарей. Дружинин шепотом задавал короткие вопросы, иногда сердился. Иногда негромко смеялся, коротко отдавал приказания, кого-то вызывал на разные часы. И это с перерывами продолжалось всю ночь.

Несколько раз Петр Васильевич просыпался от холода. Вокруг свистел ветер и дуло из всех щелей. Ему с трудом удавалось согреться и заснуть опять. Дружинин разбудил его в седьмом часу утра. Светало. Со слухового окна уже была снята светомаскировка. В круглой дыре виднелось пасмурное, до синевы озябшее небо.

И вдруг сотни труб, как огромный орга́н, зазвучали над крышами города. Это была воздушная тревога.

Петр Васильевич подошел к окну и увидел поверх домов свинцовую полосу моря и красную полоску Дофиновки, освещенную мрачным, как раскаленное железо, только что взошедшим из моря солнцем. Солнце появилось на один миг и тотчас исчезло в гряде грифельных, низких туч, гонимых ледяным норд-остом. И над Дофиновкой, среди бегающих звездочек зениток, Петр Васильевич опытным глазом артиллериста увидел эскадрилью тяжелых советских бомбардировщиков, идущих из Севастополя курсом на арки бывшего Александровского парка, на неприятельскую дальнобойиую батарею — ту самую, о которой несколько часов назад Дружинин радировал в центр на основании сведений, полученных от Петра Васнльевнча.

20
В КАТАКОМБАХ

Какая это была странная, ни на что не похожая жизнь, как утомительно двигалось здесь время! Иногда можно было подумать, что оно остановилось. Прошло много дней, прежде чем Петя научился понимать, что́ сейчас: утро, день, вечер или ночь. Здесь всегда была ночь. Может быть, вечная ночь? Нет! Ночь, пусть даже вечная, всегда имеет свое особое, ночное течение. Здесь же не было никакого течения. Здесь все было неподвижно, кроме людей. Когда бы ни посмотрел Петя вокруг себя, он видел все одно и то же: неподвижные каменные или земляные своды, покрытые неподвижной вековой пылью, темный, неподвижный воздух, совсем слабо позолоченный одним или двумя огоньками светильников, неподвижных, как отражение в черном льду. А дальше все тонуло в непроницаемом мраке.

Но не только поэтому в первые дни жизнь казалась Пете такой тягостной и странной. Он чувствовал себя забытым, осиротевшим. Может быть, он убит. Может быть, его давно уже не существует. А что с матерью, с сестрами, с бабушкой? Может быть, они тоже все погибли, задавленные в бомбоубежище развалинами их громадного многоэтажного дома. Может быть, фашисты уже ворвались в Москву... Эта мысль неотступно преследовала мальчика. Он не мог избавиться от нее даже во сне. Любовь к матери, которую он как-то раньше в себе не замечал, настолько она была постоянной и привычной, теперь вдруг с небывалой силой овладела всем его существом. Ему так не хватало мамы, так мучительна была разлука с нею! Она постоянно ему снилась, а если и не снилась, то всегда как бы таинственно присутствовала в каждом его сне, всегда была невидимая и неосязаемая где-то совсем близко, обдавая своим теплом, нежным запахом волос, неощутимо перебирая прохладными пальцами его волосы.

Самое страшное, самое тягостное заключалось в том, что наверху были фашисты. Стоило только выйти из катакомб наверх, как человек сразу попадал в страшный мир фашизма. В этом мире нечем было дышать. Мрак охватывал душу. Свободная воля и светлый человеческий

разум цепенели. Человек превращался в животное, в раба. Мальчик не мог этого не знать, не чувствовать — ведь он жил в такой жуткой близости от своих смертельных врагов! Иногда ему казалось, что он даже слышит над головой их глухие шаги. Одно лишь сознание этого могло превратить жизнь людей в катакомбах в вечную пытку. Так бы и случилось, если бы люди в катакомбах просто жили, скрывались. Но Петя знал, что люди жили под землей совсем не для того, чтобы просто скрываться. Они скрывались для того, чтобы жить. А жили для того, чтобы неутомимо бороться с врагом.

В первые дни жизни в катакомбах Петя еще не понимал, в чем заключается эта борьба. Люди двигались в темноте штреков с фонарями, ложились спать, вставали, варили обед, получали по норме сахар и махорку, уходили с винтовками куда-то на посты, возвращались, мылись, пришивали пуговицы, чистили бачки и миски, откуда-то приносили воду. Все это очень мало походило на деятельность подпольной организации. Петя представлял себе дело по-другому. Однако очень скоро он стал понимать истинный смысл происходящего в Усатовских катакомбах.

Пока устраивали подземный лагерь — размещали продовольствие, боеприпасы и людей по пещерам, связанным между собою штреком,— на Петю почти не обращали внимания. Следили только, чтобы он не отходил в сторону. Если случалось, что он от нечего делать брал фонарь и начинал бродить по штреку, с любопытством и страхом осматривая подземные пещеры, то непременно кто-нибудь кричал:

— Эй, хлопчик, а ну, вертайся назад! А то наделаешь нам хлопот. Будь все время на глазах. Займись каким-нибудь делом.

Мало-помалу он стал заниматься делом. Вместе с Валентиной он помогал перетаскивать ящики, чистил картошку, заправлял фонари «летучая мышь», подметал помещения.

Скоро он познакомился со всеми людьми, узнал, где кто помещается, и составил себе представление о характере каждого человека, а главное — понял, кто какие исполняет обязанности, какими интересами живет лагерь в целом, и сам втянулся в эти общие интересы. Петя уже

знал, что главным человеком, хозяином является первый секретарь райкома товарищ Черноиваненко, которого он, по примеру Валентины и на правах мальчика, называл «дядя Гаврик». За товарищем Черноиваненко по своему значению следовал Платон Иванович Стрельбицкий — человек строгий, пугавший мальчика своим необыкновенным ростом и стремительными движениями, когда он, вдвое согнувшись и придерживая за спиной маузер в деревянной кобуре, громадными шагами шел по низкому штреку выполнять какое-нибудь поручение Черноиваненко и огромная тень его спины заполняла весь подземный ход. Равным ему по значению был в глазах мальчика также Серафим Иванович Туляков, помещавшийся со своими партизанами отдельно, в самой дальней пещере. Туляков появлялся часто и всегда по делу, связанному с боевой подготовкой: сначала записывал номера пистолетов и винтовок, потом постоянно проверял их сохранность, вел постовую ведомость, назначал на дежурства и однажды назначил Валентину и Петю дневальными, также записав их в ведомость. При этом он спросил Петю:

— Стрелять умеешь?

— Немножко,— замявшись, ответил Петя, который, сказать по правде, до сих пор стрелял только один раз в жизни на Клязьме из духового ружья.

— Личное оружие есть?

Узнав, что личного оружия у Пети нет, Туляков неодобрительно покачал головой и сказал:

— Что ж это ты, брат? Не годится! Уж коли воевать, так воевать!

И принес большой солдатский наган, отметив его очень длинный номер в ведомости и заставив Петю расписаться в получении. С тех пор мальчик смотрел на Тулякова с обожанием.

Остальные люди имели гораздо меньшее значение, но все же Петя относился к ним с глубоким, даже несколько подобострастным уважением, как к героям-подпольщикам, народным мстителям, членам боевой террористической организации в тылу врага. В особенности ему нравилась Лидия Ивановна Ангелиди, милая, красивая, ласковая, которая чем-то неуловимым напоминала ему мать. Нравился также Трофим Захарович Свиридов —

до войны счетовод, сослуживец и даже подчиненный Лидии Ивановны по Госбанку, человек такой же милый, молодой, как и Лидия Ивановна, отчего у Пети сложилось впечатление, что в одесской конторе Госбанка работают исключительно красивые и приятные люди. Он даже был чем-то похож на Лидию Ивановну. Они постоянно старались быть вместе. Их можно было принять за брата и сестру.

Товарищ Сергеев представлял для Пети особый, повышенный интерес, как заслуженный мастер спорта, то есть человек, посвященный во все тайны футбола, легкой атлетики, плавания. Он был членом судейской коллегии общества «Динамо», был знаком со всеми чемпионами, знаменитыми пловцами и футболистами. Мало того, он был выше их: он их судил. В глазах Пети это была совершенно необыкновенная личность, почти полубог. Петя даже смотрел на него, как на солнце,— сладко зажмурившись. Мальчик ходил за ним как тень, терпеливо выжидая минуты, когда можно задать какой-нибудь теоретический вопрос, касающийся пенальти, офсайда или же преимущества стиля кроль перед стилем брасс. Товарищ Сергеев отвечал любезно, но слишком коротко. Он вообще был немногословен — больше слушал, чем говорил, покуривая свою трубку, набитую теперь уже не душистым табаком «Золотое руно», а солдатской махоркой. Лишь однажды он первый обратился к Пете с вопросом:

— Спортом занимаешься?

— Немножко,— замявшись, ответил мальчик.

Сергеев пощупал его мускулы на руках и ногах, кисло улыбнулся и сказал:

— И это называется пионер! Погоди, я еще до тебя доберусь...

Что касается коменданта лагеря Леонида Мироновича Цимбала, которого почти все называли просто Леней, то к нему у Пети было отношение двойственное. Леня Цимбал в основном ему нравился. Душа этого веселого, озорного человека, как бы всегда пронизанная светом южного солнца, простодушно отражалась в необыкновенно подвижной физиономии, способной стремительно менять выражение и отражать самые разнообразные, тончайшие оттенки мыслей и чувств. Его лукавые губы всегда были готовы к иронической улыбке, а на

языке всегда висела и в любой момент готова была сорваться шутка или острота, впрочем лишенная сарказма. Он обладал большим чувством особого одесского юмора, помогавшего ему в самые трудные минуты жизни. Но так как всем было сейчас не до юмора, а не шутить Леня не мог, то чаще всего он обрушивался на Петю бурным потоком черноморских словечек и поговорок:

— А ну, иди сюда, мальчик! Что я вижу — тебе уже выдали наган? Вот теперь ты имеешь вид, не будем спорить!.. А кто будет чистить картошку? Может быть, Пушкин с бульвара?.. Ах, ты уже почистил? Тогда я извиняюсь. Классный ребенок!

Пете отчасти льстило, что сам комендант лагеря находился с ним в таких дружеских, коротких отношениях, но все же эти постоянные шутки утомляли, и Петя в конце концов старался не попадаться на глаза веселому Лене.

Но, разумеется, ближе всех для мальчика были Матрена Терентьевна, Раиса Львовна и Валентина. Он относился к ним, как к родным. В сущности, это была его семья. Они заменяли ему, насколько это было возможно, и мать, и отца, и сестер, и бабушку. Только с ними чувствовал себя Петя совсем легко и свободно.

Скоро подземелье приобрело вполне жилой вид. Имелись комнаты, если так можно было назвать маленькие и большие ниши-пещеры, вырубленные в залежах ракушечника или выкопанные в грунте. Отчасти это были старые, давным-давно выработанные штреки подземных каменоломен, отчасти новые помещения, специально устроенные для имущества и людей подпольного райкома. Это подземное жилище можно было назвать как угодно: штабом, казармой, арсеналом, командным пунктом. Но привилось самое скромное, самое прозаическое название: квартира. Действительно, это больше всего было похоже на квартиру, превращенную в учреждение, или, вернее, учреждение, где поселились вооруженные люди. Большие каменные плиты служилн столами. На таких же каменных прямоугольных плитах, застланных соломой и шинелями, люди спали по нескольку человек, как на нарах. Вместо стульев сидели на камнях. Вообще вся мебель была каменной, ракушечниковой.

Женщины — Раиса Львовна, Матрена Терентьевна, Лидия Ивановна и Валентина — помещались отдельно.

Их ниша была занавешена ситцевым пологом. Они — все четверо — спали рядом на каменных нарах. Но зато какой порядок, какая чистота царили здесь! Нары всегда были гладко застланы байковыми одеялами. Подушек, правда, не было. Вместо подушек в головах лежали аккуратно сложенные верхние вещи и мешки. На каменной тумбочке, покрытой пожелтевшим номером газеты «Черноморская коммуна» с вырезанными зубчиками, стояли небольшое зеркало Лидии Ивановны, пластмассовое блюдечко для шпилек, глобус, захваченный впопыхах вместе с бумагами Матреной Терентьевной, маленькая фотография в рамочке из ракушек и светильник. Но даже этот светильник, сделанный Валентиной, отличался от других светильников тем, что был сооружен из затейливого, фигурного флакона из-под духов «Тэжэ» и как бы подчеркивал своим изяществом, что здесь живут женщины.

Мужчины — в том числе и Петя — помещались в трех других «комнатах».

В подземелье имелся также красный уголок, он же — кабинет первого секретаря. Конечно, это в значительно большей степени напоминало пещеру, чем комнату. Два длинных каменных стола, составленных в виде буквы «Т», окруженных каменными кубиками стульев. В углу, на камне,— маленький несгораемый шкаф. В другом углу, на каменной тумбочке,— ведро с водой и кружка, сделанная из консервной банки. На полке, выдолбленной в стене,— несколько книг. Рядом — карта Советского Союза, карта Одесской области и план города, а также административная схема Пригородного района. Петя видел, как дядя Гаврик и товарищ Туляков принесли портрет Ленина, два знамени — алое знамя районного комитета партии и малиновое знамя районного Совета. Они поставили знамена в угол, а портрет прибили гвоздями к стене над столом.

— Именно здесь отныне находится та настоящая коренная народная власть,— сказал однажды Черноиваненко,— власть Советов, власть Коммунистической партии, которая будет управлять Пригородным районом города Одессы до тех пор, пока враг не будет изгнан и уничтожен до последнего человека.— Черноиваненко посмотрел вверх, на низкий земляной потолок, и приба-

вил: — Они еще не знают, что такое всенародная Отечественная война. Ничего. Они скоро узнают.

И он так нажал на слово «они», что скрипнули зубы.

Решетчатый фонарь «летучая мышь», поставленный на несгораемый шкаф, неярко, но выразительно освещал всю эту мрачную и вместе с тем торжественную картину, невероятную, как во сне.

Смуглый, золотистый свет двигался по оружию, по ухабистому земляному полу, по человеческим фигурам, по картам. Казалось, что лицо Ленина живет, дышит, струится. И два скрещенных знамени, золотясь тяжелыми кистями, прибавляли к яркому свету «летучей мыши» алый, шелковый свет своих полотнищ.

Однажды Петя увидел, как в кухонной нише, на примусе, в большой кастрюле, варился клейстер. Его варила Матрена Терентьевна, но за варкой наблюдал и давал указания лично товарищ Черноиваненко. Он придавал качеству клейстера большое значение. Листовки должны наклеиваться не кое-как, лишь бы только держались, а так, чтобы их трудно было содрать. Он придирчиво пробовал клейстер на палец и на язык, проворным движением набирал его на небольшую малярную кисть и мазал бумагу, следя, чтобы не было комков. Когда клейстер наконец был готов, его аккуратно разлили по консервным банкам. Затем в красном уголке было короткое, строго деловое заседание бюро райкома.

Петя и Валентина, чувствуя, что принимается важное решение, то и дело заглядывали в красный уголок. Стрельбицкий держал перед планом Одессы «летучую мышь», а дядя Гаврик быстро рисовал на нем кусочком угля стрелы, направленные в разные стороны.

Женщины сидели на полу вокруг светильника и что-то пришивали к подкладкам мужских пальто и шинелей.

— Что они пришивают? — шепотом спросил Петя.

— Карманчики и петельки, — быстро ответила Валентина таким же таинственным шепотом.

— А для чего? — чуть дыша, сказал Петя.

Девочка посмотрела на него сбоку и с чувством превосходства пожала плечом:

— Дитя природы!

— Нет, кроме шуток! — жалобно сказал Петя.

— Можно подумать, что ты упал с луны. Для чего пришиваются к подкладке карманчики и петельки? Ну?

— Много о себе воображаешь! — сказал Петя, надулся и замолчал.

Он не выносил чужого превосходства, в особенности превосходства девочек. Сколько раз он давал себе слово не задавать Валентине вопросов, не унижаться! Он даже отодвинулся от нее и принялся сердито сопеть. Но она дружески положила ему руку на плечо и сказала:

— Карманчики — для банок с клейстером, а петельки — для кисточек, чтобы намазывать листовки. Пора знать.

— Я так и думал,— сказал Петя.

— Идите спать! — крикнула Матрена Терентьевна, вставая с земли и отряхивая черную телячью куртку Тулякова, которую держала в руках.

Петя и Валентина молча отползли в тень, но через минуту снова заглянули в красный уголок. Теперь уже Туляков, Свиридов, Сергеев и Стрельбицкий были одеты и раскладывали по карманам патроны и листовки. Лидия Ивановна стояла перед Свиридовым и, глядя ему в лицо прекрасными добрыми глазами, ощупью вкладывала в только что пришитый карманчик банку с клейстером. Потом она засунула кисточку в петельку.

— Держится? — тихо спросила оиа, продолжая смотреть ему в лицо.

— Спасибо, Лидочка,— сказал он, так же глядя ей в лицо и ощупывая кисточку и банку.— Отлично держится.

— А ну, пройдись.

Он прошелся перед ней по пещере, разминаясь и пробуя, хорошо ли прилажены банка и кисточка.

— Удобно? — озабоченно спросила она.

— Вполне,— ответил он, останавливаясь перед Лидией Ивановной с таким видом, как будто хотел сказать ей что-то очень важное, но не сказал, а только одобрительно улыбнулся.

— Оружие держать в правом наружном кармане,— сказал Серафим Иванович Туляков.— Огонь открывать только в самом крайнем случае, если другого выхода не будет.

— Последний патрон — для себя,— резким, не допу-

скающим возражения тоном сказал Стрельбицкий, быстро ощупал под пальто байку и решительно надел шапку.

— Хотя и желательно обойтись без этой крайности,— напряженно улыбнувшись, заметил Черноиваненко.— Ну, товарищи, действуйте!

— Ни пуха ни пера! — сказала Лидия Ивановна.

Затаив дыхание и крепко сжав руку Валентины, смотрел Петя из темноты на людей, выходивших из красного уголка в подземный ход.

Фонари один за другим скрылись за поворотом. Был восьмой час вечера. Обе группы могли возвратиться не раньше пяти или шести часов утра.

И вот началось молчаливое, напряженное ожидание. Никто в лагере в эту ночь не ложился спать. Все молча сидели на своих койках и ждали.

21

ПЕТЯ И ВАЛЕНТИНА

Несколько раз в течение ночи Черноиваненко появлялся у выхода «ежики», перед которым снаружи, в сухом бурьяне, лежали с винтовками два бойца из группы Тулякова и вели наблюдение за местностью.

— Ну, как дела, ребята?

— Ничего, товарищ секретарь.

— Что-то наши долго не возвращаются.

— Значит, еще не управились с делами.

— Пора бы им быть.

— Еще рано, товарищ секретарь. Куда там! Раньше шести утра не ждите.

— Ну, а вообще, что слыхать?

— Ничего особенного не слыхать, товарищ секретарь. Минут сорок назад пролетел какой-то самолет, так они открыли по нему такой огонь, что скрозь вокруг осколками засыпало — будь здоров! Видать, наш. У них тут за Усатовом зенитная батарея. Не дай бог, до чего они боятся наших парашютистов! Как услышат какой-нибудь шум — давай крыть почем зря.

— А еще?

— Больше ничего, товарищ секретарь. Часа полтора

назад где-то ихняя военная труба играла. Не понять где — в Усатове или в Холодной балке: ветер сильно путает звуки. По Хаджибеевскому шоссе всю ночь грузовики идут, танки шумят. Со стороны Гнилякова время от времени слыхать ихние поезда.

— Людей в степи не наблюдали?

— Темно, не просматривается.

Черноиваненко некоторое время смотрел в непроглядную темноту сырой, холодной осенней ночи и снова возвращался по бесконечно длинным подземным коридорам — от маяка к маяку — в красный уголок. Опять сидел и думал, посматривая время от времени на часы. На рассвете он взял фонарь и обошел свое подземное хозяйство.

Заглянул к женщинам.

Они сидели в темноте и шепотом разговаривали. Он осветил их «летучей мышью»:

— Почему не спите?

— Мы спим,— сказал Петя, которому стало страшно одному в «мужском отделении», и женщины взяли его временно к себе.

Черноиваненко поерошил пыльные, давно не стриженные волосы мальчика, взял его за плечи и повернул к стенке, прикрыв шинелью.

— Матрена Терентьевна,— сказал он,— проследи за тем, чтобы наши пионеры в положенное время спали.— Он подошел к Лидии Ивановне и ласково посмотрел на нее через очки: — А вы почему не спите, товарищ Ангелиди? Отдыхайте, пока еще позволяет обстановка. Спокойной ночи, товарищи!

Они легли на свои каменные нары, укрылись пальто и одеялами, поджали ноги в сапогах и сделали вид, что спят. Он ушел.

В седьмом часу утра в штреке замелькал свет: это возвратилась первая группа — Стрельбицкий и Свиридов, оба возбужденно-молчаливые, очень усталые, в сапогах, облепленных тяжелой черноземной грязью, в мокрых от дождя и тумана пальто.

Через час появились Туляков и Сергеев и доложили о выполнении задания.

Туляков расстегнул ворот гимнастерки и вытер шею платком.

Его лицо горело, ему было жарко. Он встал, пошел к ведру напиться воды, но не напился, махнул рукой, вынул из бокового кармана какую-то помятую бумажку и бросил ее на каменный стол.

Черноиваненко надел очки и прочел вслух:

— «Граждане города Одессы и окрестностей! Советую вам не совершать недружелюбных актов по отношению к армии или чиновникам, которые будут управлять городом; выдавать тех, которые имеют террористические, шпионские или саботажные задания, так же как и тех, кто скрывает оружие. Будьте внимательны и подчиняйтесь мерам, принятым военным и штатским командованием. Считаю своим долгом поставить вас об этом в известность. Все же в случае, ежели кто-нибудь не соблюдет распоряжения, уже данные приказами или теми, которые будут даны позже, должны знать, что будет наказан расстрелом на месте. Командующий армией корпусный генерал-адъютант И. Якобич, начальник штаба генерал Н. Татарану»... Приложите к протоколу,— сказал Черноиваненко, передавая бумажку через плечо Лидии Ивановне.— Зверский приказ! Ничего другого от этих мерзавцев мы и не ожидали. Впрочем, в ответ на подобные приказы будем отвечать только одним. Помните, что говорил Ленин о нашествии интервентов? Он говорил, что, если бы мы попробовали на их войска, созданные международным хищничеством, озверевшие от войны, действовать словами, убеждением, воздействовать как-нибудь иначе, не террором, мы не продержались бы и двух месяцев, мы были бы глупцами. Вот чему учит нас Ленин. И мы будем действовать по-ленински!.. Всё. Всем свободным от нарядов и дежурств предлагаю ложиться спать...

Первый прием сводки Совинформбюро прошел довольно удачно. Радиоприемник и аккумуляторы подтащили поближе к ходу «ежики» и, дождавшись темноты, вывели наружу антенну — два метра медной проволоки на палке, которую держал Свиридов. Операция проводилась под прикрытием боевого охранения, выставленного Туляковым в балочке, в двадцати метрах от входа в катакомбы. Святослав регулировал радиоприемник. Лидия Ивановна при свете «летучей мыши» записывала сводку на слух. Автомобильный аккумулятор давал слабый ток.

Магический глаз светился совсем слабо. Но все же можно было явственно, даже на некотором расстоянии от аппарата, расслышать ровный, глуховатый голос диктора.

Черноиваненко сидел на камне перед аппаратом и, положив руки на колени, слушал. Невеселая была сводка. Все же это был голос Родины, голос Москвы, голос Красной Армии. Хотя всюду шли тяжелые оборонительные бои и, по-видимому, почти вся Украина уже находилась в руках врага, Черноиваненко понял, что дело на фронтах обстоит совсем не так, как об этом сообщает гитлеровская ставка. Москва не взята. Ленинград держится. Красная Армия существует и сражается. Народная партизанская война только еще начинает по-настоящему разворачиваться. Стало быть, надо поскорее выступить с листовками и поднять дух населения. Одновременно с этим необходимо поторопиться с Протопоповской МТС.

Затем в кабинет первого секретаря была принесена высокая пишущая машинка. На ней было решено печатать новые листовки, которые, сидя за своим каменным столом, сочинял Черноиваненко, строго учитывая политическую обстановку, ежедневно менявшуюся «наверху» в зависимости от положения на фронтах.

Лидия Ивановна достала из своего вещевого мешка бухгалтерские нарукавники, подобрала волосы, села за машинку, и ее прозрачно-розовые пальчики с такой легкостью и с такой четкостью забегали по клавиатуре, что можно было подумать, что в подземелье защелкала канарейка.

Началась подготовка к проведению большой операции. Казалось бы, какие могли быть особенные приготовления для такой, в сущности, простой вещи, как выйти ночью из катакомб, залечь в степи возле Протопоповской МТС, завести перестрелку с гарнизоном, а затем, воспользовавшись переполохом, облить бензином склад пшеницы, поджечь зажигательными пулями и тем же путем уйти обратно под землю... Разумеется, нужны были смелость, решительность, быстрота, точность. А какая же, собственно говоря, специальная подготовка?.. Но так думать мог лишь человек, ни разу не побывавший в катакомбах и незнакомый с условиями подземной жизни.

Здесь всегда была пронизывающая сырость. Метал-

лические предметы с необыкновенной быстротой окислялись, ржавели. Особенно быстро ржавели железные патроны и пулеметные ленты. Каждые два-три дня Пете и Валентине приходилось перебирать и чистить от ржавчины весь наличный запас винтовочных и револьверных патронов, взрывателей, капсюлей. Каждый патрон был на вес золота.

Петя и Валентина сидели на каменных тумбах-табуретах перед большой, грубо вытесанной каменной плитой, заменявшей стол. На этом ракушечном столе была насыпана большая куча заржавленных патронов. Они брали патроны по одному и над каждым патроном трудились до тех пор, пока он не начинал блестеть. Они изо всех сил терли его кирпичом или кусочком того же ракушечника, как пемзой. Удалив с патрона всю ржавчину, они протирали его куском солдатского сукна, отрезанного от старой шинели, и складывали очищенные патроны в особый фанерный ящик. А через два дня патроны опять ржавели, и все начиналось сначала. Может быть, если бы их можно было смазывать салом, патроны ржавели бы не так скоро. Но сало было тоже на вес золота. Салом смазывали только ружейные затворы. Часов восемь или десять уходило на то, чтобы хорошенько вычистить и уложить все патроны. Со стороны эта работа могла показаться легкой. Но на самом деле она была трудная, кропотливая, изнурительная. Она требовала большой физической силы. Мускулы ныли. Согнутая шея болела. Глаза слезились, утомленные скупым, бессильным светом коптилки, который все время боролся с окружающим мраком и никогда не мог его побороть. Ломило лоб.

Но никакая сила в мире не могла бы заставить Валентину и Петю добровольно бросить работу, не доведя ее до конца. Даже сам Черноиваненко ничего не мог с ними поделать. До тех пор, пока не был вычищен последний патрон, они не прекращали работы.

Это была не просто работа. Это была борьба. Не желая отставать от взрослых, Петя и Валентина боролись как умели, отдавая все свои силы этой ежедневной изнурительной, однообразной работе. Но, когда они сидели друг против друга за каменным столом и, сопя от усилий, терли кирпичом патроны, им не было скучно. Они знали,

что ржавый патрон не может войти в ствол винтовки и выстрелить. А он непременно должен был стрелять! Стрелять хорошо, безотказно. Они чувствовали себя участниками каждого выстрела, который взрослые делали по врагу.

Валентина была крепче Пети. Когда она замечала, что мальчик начинает сопеть все громче и громче — а это был верный признак того, что он устал и уже работает из последних сил,— она начинала его задирать:

— Ты еще не выдохся, малый?

— Во-первых, я тебе не малый!

— А какой же ты мне?

— Какой бы ни был, только не малый.

— А какой?

— Никакой.

— Может быть, не малый, а великий?

— И не великий.

— Тогда какой?

— Никакой.

— Хорошо. Нехай будет «никакой»! Так и запомни. А во-вторых?

— Что — во-вторых?

— Я не знаю, что во-вторых. Это ты, наверное, знаешь. Ты сказал, что, во-первых, ты мне не малый. Хорошо. Я согласна. Пусть будет: во-первых, ты мне не малый. А во-вторых?

— А во-вторых, это тебя не касается.

— Эх ты, вояка-мученик! — тоном оскорбительного сожаления и глубокого превосходства говорила Валентина, глядя на Петю в упор прозрачными глазами с твердой косточкой зрачка.— Шляпа ты, малый, вот что я тебе скажу! А еще вице-президент!

Этого уже Петя не мог снести.

— Валентина! — говорил он торжественно и грозно.— Замолчи!

— Или!

Валентина явно нарывалась на драку. Она смеялась над ним в глаза. И мальчик не мог больше владеть собой. Испуская воинственный клич, он бросался через стол на Валентину, но она, молниеносно проведя по его лицу сверху вниз пятерней, с хохотом уносилась в коридор. Петя преследовал ее. Валентина только того и ждала.

Она вовсе не хотела обижать мальчика. Ей только нужно было немного отвлечь его от работы, растормошить, заставить размяться.

Они шумно носились по всем закоулкам, по всем «комнатам» подземелья. Ловя друг друга, они вскакивали на столы, табуреты, кровати. Вероятно, они переломали бы всю мебель, если бы эта мебель не была каменной. Но нечего было разбивать. Все вещи вокруг них были грубые, небьющиеся: лопаты, кирки, ломы, винтовки, пистолеты...

22

СВЕТ ДАВНЕЙ ЛЮБВИ

На этот раз на операцию вышли почти все, во главе с Черноиваненко, даже Лидия Ивановна. Было странно видеть ее в шинели, в ушанке, с ручными гранатами за поясом и с винтовкой в руках. Под землей остались только Матрена Терентьевна, Раиса Львовна, Валентина, Петя, два бойца из группы Тулякова на охране «ежиков» и Стрельбицкий за старшего. Операция предстояла очень серьезная — настоящий бой, от успеха которого зависело многое.

Снова, как и в первый раз, потянулись часы мучительного ожидания. Несколько раз в течение ночи Стрельбицкий выходил проверить пост у входа «ежики». Один раз, ближе к рассвету, ему показалось, в северном направлении над степью засветилось зарево пожара. Он прислушался и услышал отдаленную винтовочную стрельбу; лопнуло несколько гранат. Он посмотрел на компас. Светящийся треугольник показывал север. Именно там виднелось разгорающееся зарево и оттуда слышалась стрельба.

Петя опять сидел в комнате женщин. У Раисы Львовны болели зубы. Она приняла пирамидон и лежала с закутанной головой, повернувшись лицом к сырой ракушечной стене. Петя и Валентина лежали рядом, поджав ноги, и не могли заснуть. Почему-то в этот раз Петя чувствовал особенную тревогу. Несколько раз Матрена Терентьевна подходила к детям и строго приказывала им спать. Они закрывали глаза и делали вид, что спят. На

каменном столике горел светильник. Матрена Терентьевна не находила себе места. Иногда в красном уголке слышалась возня Стрельбицкого... На этот раз темнота и тишина подземелья давили как-то особенно сильно. Все время казалось, что в катакомбах ходит кто-то чужой. Даже язычок пламени иногда начинал колебаться без видимой причины.

— Дети, чего ж вы не спите, я не понимаю! — говорила Матрена Терентьевна.

— Вы сами не спите,— отвечала ей шепотом Валентина.

Время тянулось длинно и трудно. Матрена Терентьевна несколько раз ложилась и опять вставала.

Наконец она села и со вздохом взяла с каменной тумбочки бумажную шкатулку, оклеенную морскими ракушками, которая всегда стояла тут, рядом с маленьким глобусом и светильником.

В этой шкатулке Матрена Терентьевна хранила наиболее дорогие для нее письма и фотографии.

Теперь она стала медленно перебирать эти фотографии, задумчиво покачивая головой.

— Ты никогда не видел этих снимков? — спросила она Петю, заметив, что он заглядывает через ее плечо.

Некоторые из этих снимков Петя хорошо знал: они хранились среди множества разных фотоснимков в одном из ящиков папиного шведского бюро.

Еще совсем маленьким мальчиком Петя любил лазить в узенькие, таинственные отделения папиного бюро и рассматривать весь этот увлекательный хлам: какие-то старые мундштуки, трубки, квитанции, сломанные запонки, карандаши, пилюли, марки, темляки, красноармейские звездочки, стреляные гильзы, мандаты времен гражданской войны — все то, что когда-то имело тесную связь с папиной жизнью.

Среди этих вещей и вещичек было множество фотографий — выцветших, полинявших, с отваливающимися уголками.

— Вот это Аким Перепелицкий,— говорила Матрена Терентьевна, показывая Пете ветхую фотографию, на которой был изображен высокий, красивый солдат в длинной шинели, буденовском шлеме, с обнаженной шашкой в руке.

— Мой папа,— с гордостью сказала Валентина, опираясь подбородком на Петино плечо.— Никогда не видел?

— Видел. У нас это есть,— ответил Петя.

— А вот Марина.

— Я знаю. У нас есть.

— А это у вас есть? — спросила Матрена Терентьевна, вдруг оживившись, и показала маленькую фотографию-молнию, на которой был снят молоденький прапорщик с солдатским георгиевским крестом и аксельбантами; у него были широко открытые блестящие черные глаза и волосы, причесанные на пробор.

— Этой у нас нет,— сказал Петя.

— Вот тебе и на! А кто это, ты не узнаешь?

Было что-то очень знакомое в этих черных глазах, в приподнятых худых, почти юношеских плечах, в общем выражении лица, детском и вместе с тем мужественном. И Петя вдруг понял, кто этот молоденький офицер.

— Папа? — сказал он вопросительно.

— Догадался? Ну конечно же, конечно! Твой папа, Петр Васильевич. Вот какой у тебя был папа. Красавчик! Ах, все мы когда-то были молодые, хорошенькие! — простодушно вздохнула Матрена Терентьевна и стала сморкаться.

— А ты таки здорово похож на своего папку,— сказала Валентина.— Ничего не скажешь, хорошенький. Но не в моем вкусе. Не вполне в моем вкусе,— поправилась она.

— Я и не нуждаюсь,— сказал Петя, поджав губы.

— А вот еще...

Матрена Терентьевна держала в руках маленькую, очень старую фотографию-группу размером 6×9. Петя ее тоже знал. Петр Васильевич, посмеиваясь, говорил, что это их знаменитая футбольная команда.

Мальчики на фотографии были очень маленькие, взъерошенные, гордые. Первый ряд сидел на траве, скрестив ноги по-турецки. Второй ряд стоял. Позади второго ряда, на бледном фоне, виднелась акация, которая вышла на снимке не в фокусе, а в виде скопления белых световых кружочков. Некоторые мальчики были в гимназической форме. Посредине первого ряда, с футбольным мячом между колен, сидел аккуратно причесанный

мальчик в сатиновой косоворотке, с суровым, неумолимым выражением простонародного лица и сморщенным пестрым носиком. Сам же Петин отец — Петр Васильевич, а тогда просто Петька Бачей — стоял во втором ряду, первый с краю.

— Вот мой папа,— сказал Петя, показывая пальцем на черномазого гимназистика в большой твердой фуражке, который, сложив по-наполеоновски руки и повернув лицо в профиль, высокомерно смотрел вдаль, всем своим видом стараясь выразить превосходство над окружающим.

— Верно,— сказала Матрена Терентьевна.

— А этого человека ты не узнаешь? — сказала Валентина, наклоняясь к карточке, и показала мизинцем на мальчика с футбольным мячом между колен.— Представь себе: это дядя Гаврик.

— Товарищ Черноиваненко? — с удивлением спросил Петя.

— Представь себе.

— Нет, правда? Такой маленький?

Валентина засмеялась. Петя всмотрелся в лицо мальчика с мячом и стал узнавать в нем черты Черноиваненко. Это было так поразительно, что он тоже тихонько засмеялся.

— А это кто стоит, не узнаешь? — сказала Матрена Терентьевна, касаясь пальцем снимка.

Петя посмотрел и увидал маленькую босую стриженую девочку с большим, тяжелым ребенком на руках. Девочка, вероятно, попала на снимок случайно. Она очень плохо вышла — совсем бледно. С трудом можно было разобрать цветочки на ее ситцевом платьице и совсем светлую головку в ореоле размытого света. Сколько раз ни рассматривал Петя снимок, он никогда не замечал эту девочку.

— Узнаешь? — сказала Матрена Терентьевна с надеждой.

Петя молчал.

— Тебе папа никогда не говорил, кто эта девочка?

Нет, отец никогда не говорил Пете, кто эта девочка. Может быть, он когда-нибудь и сказал вскользь, да мальчик пропустил мимо ушей. Петя в нерешительности молчал. Она вздохнула:

— Неужели не узнаешь?

— Не узнаю.

— Присмотрись.

Петя добросовестно присмотрелся и вдруг совершенно ясно увидел не сходство, а нечто гораздо большее, чем сходство,— какой-то душевный свет, бесконечно знакомый и родной, окружавший эту девочку, почти слившуюся с пейзажем. Мальчик робко взглянул на Валентину, потом на ее мать.

— Это Валентина? Да? — сказал он нерешительно.

— Валентина? Ох, ты меня совсем уморишь! — заливаясь слезами и смехом, простонала Матрена Терентьевна и положила голову на плечо Валентины.— Как же это может быть Валентина, когда этому снимку, дай бог память, тридцать пять лет! Ее тогда и в помине еще не было. Так, значит, ты не знаешь, кто эта девочка?

— Не знаю.

— Это Мотя Черноиваненко. Тебе папа ничего не рассказывал про Мотю Черноиваненко?

— Нет, не рассказывал,— честно сказал Петя, чувствуя, что этот ответ почему-то должен ее огорчить.

И точно — она огорчилась.

— Ну, я так и знала! Меня мальчишки никогда не замечали,— сказала она с простодушным вздохом.— Я за ними всюду таскалась, а они все равно меня не замечали. Я тогда была такая малявка...

— Так это вы? — с некоторым недоверием сказал Петя.

Он еще раз посмотрел на нее, на карточку и опять увидел неотразимое сходство. На этот раз он совершенно ясно увидел, почувствовал, что маленькая девочка в выгоревшем ситцевом платьице на выгоревшем любительском снимке и эта пожилая добрая женщина — один и тот же человек, связанный с ним, с Петей, непонятной силой и светом какой-то очень давней, вечной любви.

Вдруг в штреке появились фонари, замелькали тени, пещеры наполнились людьми — это возвращалась оперативная группа. Петя услышал глухой голос Черноиваненко, говорившего Стрельбицкому:

— К сожалению, мы таки немножко опоздали с операцией. Я говорил, что надо поторапливаться! Пудов пятьсот они уже успели вывезти грузовиками на станцию

Дачная. Остальное зерно мы полностью уничтожили в амбаре.

Затем Петя услышал, как Черноиваненко рассказывал Стрельбицкому подробности операции. Он с удивительной ясностью представил себе всю картину в целом: черную, мрачную степь, подожженный зажигательными пулями амбар, взлетающие осветительные ракеты и бой на берегу лимана с неприятельским гарнизоном. Потом он услышал слова, на которые как-то сразу даже не обратил внимания.

— ...Надо считать, что при такой трудной боевой обстановке потери сравнительно небольшие,— сказал Черноиваненко.— Обидно, что не было никакой возможности принести с собой тело. Пришлось так и оставить на берегу лимана. Тут дело решалось буквально минутами. Можно было потерять половину отряда. Они поставили на том берегу миномет и все время били по нашим лодкам, пока мы переправлялись назад. Ему осколком снесло полголовы.

Слово «тело» странно поразило мальчика. Теперь к картине ночного боя вдруг с необыкновенной отчетливостью прибавилась новая, страшная подробность — человеческое тело с размозженной головой, лежащее ничком на берегу лимана, освещенного багровым светом пожара. Мальчик вспомнил вдруг мертвого матроса, и в сердце у него похолодело.

Он встал с койки, держась дрожащей рукой за стенку, подошел ко входу в красный уголок. Он увидел обычную картину: людей, стоящих и сидящих вокруг каменного стола, фонарь «летучая мышь» на маленьком несгораемом шкафу, пустые банки из-под клейстера, слипшиеся кисти, винтовки, патроны, ручные гранаты и Черноиваненко, который, стоя у стены, рисовал на карте толстым красным карандашом аккуратные кружочки, отмечая пункты, где были расклеены сегодня ночью сводки Совинформбюро.

Петя испуганно переводил глаза с человека на человека, стараясь понять, кого же не хватает. И вдруг он заметил на столе, среди жестянок из-под клейстера и оружия, какой-то очень знакомый ему предмет. Это был орден «Знак Почета», который Петя всегда привык видеть на груди Сергея Сергеевича. Но почему орден те-

перь лежит так странно одиноко на столе и где же сам Сергей Сергеевич?.. Сергея Сергеевича в красном уголке не было. Догадка, мелькнувшая в уме мальчика, превратилась в уверенность. Но это было так невероятно, так дико! Петя обернулся. За его спиной стояла Валентина — бледная, прикусившая губу. Они посмотрели друг на друга неподвижными глазами.

— Идите спать,— глядя через свои выпуклые очки, сказал Черноиваненко.

— Дядечка! — очень звонким, срывающимся голосом сказала Валентина и сжала на груди руки.— Дядечка, скажите нам: кто убит?

— Убит товарищ Сергеев,— немного помолчав, ответил Черноиваненко.— Идите спать.

23

П и В

Ежедневно проводилась обязательная утренняя зарядка всех обитателей подземелья, свободных от нарядов. Петя старался увильнуть. Но недаром же Валентина считалась любимой внучкой Черноиваненко: она унаследовала от своего двоюродного дедушки въедливый, настойчивый характер. Она не давала мальчику никаких поблажек. На правах старшей она заставляла Петю аккуратно делать зарядку, ложиться на пол и по очереди задирать ноги, чего, правду сказать, Петя терпеть не мог. Теперь в кабинете первого секретаря не только чинили одежду и печатали листовки. Тут же, на каменном столе заседаний, делали про запас копировальную бумагу, натирая листы обыкновенной бумаги толченым графитом, вынутым из карандашей. С некоторых пор прибавилась еще одна постоянная, изнурительная и довольно скучная работа: надо было крутить вручную маленькую динамку для зарядки аккумуляторов, без чего не могло действовать радио. Для того чтобы радио работало в течение десяти — пятнадцати минут, приходилось предварительно крутить проклятую динамку несколько часов подряд. Ее крутили постоянно. Крутил каждый, у кого выпадало хоть полчаса свободного времени.

Когда маленький Петя читал в «Пионерской правде» о знаменитых полярниках, дрейфующих на льдине, как они по очереди несколько часов подряд без устали крутили динамку для того, чтобы радист во тьме полярной ночи, сквозь тысячи километров снегопадов, магнитных бурь, вьюг и штормов мог услышать на своей льдине голос Родины, передававшей им привет, полночный бой часов Спасской башни и хотя и приглушенные расстоянием, но все же могучие, торжественные звуки «Интернационала», он испытывал восторг, он преклонялся перед бесстрашными людьми, вступившими во славу Советского Союза в смертельный поединок со стихиями. Но он никогда не думал, каких им это стоило усилий, простых физических усилий, ежедневных, постоянных, изнурительных и, вероятно, очень скучных. Но теперь Петя понял, как это мучительно трудно.

Если бы Петя не знал, что без этой утомительной работы не будет действовать радио, он бы, наверное, уже тысячу раз бросил надоевшую хуже горькой редьки рукоятку, натиравшую кровавые мозоли. Но Петя знал, что вечером Святослав будет принимать сводку Информбюро, он целый день вместе с другими ждал этой сводки, и, закусив губу, он крутил и крутил тихо повизгивающее, плохо смазанное самодельное колесо.

Когда же Валентина замечала, что мальчик выдыхается, она снова задирала его, и они начинали носиться по комнатам друг за другом. Сначала Петя, не на шутку обозленный, норовил поймать Валентину и как следует стукнуть. Но потом злость проходила и начинался обыкновенный детский азарт погони.

Боже мой, какой шум они поднимали! Клубы каменной пыли крутились в штреках, светильники мигали, со стен сыпался песок. Они прыгали по каменным кроватям, по каменным табуретам; иногда они даже позволяли себе пробежаться по столу заседаний. И никто на них не сердился. Им это позволялось. Все понимали, что без этих вспышек беспричинного беснования они захирели бы, наглухо замурованные в каменном подземном мире катакомб.

Кроме того, этим они согревались. В катакомбах всегда стояла ровная, не слишком низкая, но и недостаточно высокая температура. Всегда немного не хватало

тепла. Всегда как-то странно, незаметно знобило. Во всяком случае, люди никогда не снимали верхней одежды. Но и верхняя одежда, пропитанная тонкой, вкрадчивой сыростью, не спасала от холода. От этого особенно — и как-то незаметно для самих себя — страдали дети. Попросту говоря, им не хватало дневного света. Они изголодались по солнцу. Может быть, эти порывы буйства, согревавшие кровь и вызывавшие на побледневших щеках румянец, чем-то заменяли им солнце.

В общем, им жилось очень нелегко. Им жилось бы еще трудней, если бы в числе их маленьких радостей не было одной громадной, всепоглощающей радости хождения за водой. Воду брали из подземного колодца, неподалеку от «квартиры».

Пете и Валентине было запрещено не только выходить на поверхность, но даже приближаться к выходам. К тому времени уже было два хода: один — известный нам ход недалеко от кладбища Усатовых хуторов, называвшийся «ежики», и другой — дальний, выходивший где-то километра за три, в районе села Куяльник, называвшийся «утка» — в честь утки, которая нечаянно залезла в этом месте в катакомбы и была принесена предприимчивым Леней Цимбалом к обеду.

К колодцу Пете и Валентине ходить разрешалось.

Правда, они не могли просто взять ведра и отправиться за водой. Каждый раз они должны были получать формальное разрешение дежурного по лагерю или заведующей кухней, в ведении которой находилась вода.

Заведующей кухней, или, говоря попросту, лагерной стряпухой, была Матрена Терентьевна. Она безропотно погрузилась в хозяйственные заботы, отдалась им всей душой, со страстью, с жаром. Но, к сожалению, очень скоро выяснилось, что у нее к этому нет никакого призвания. Рвение не могло заменить талант. Талант отсутствовал. Когда дело касалось хранения продуктов, учета, распределения порций, она еще с этим кое-как справлялась, хотя это стоило ей громадных трудов. Это было действительно очень нелегко. Для того чтобы продукты не портились от сырости, их нужно было перекладывать, сушить, проветривать. Почти все время Матрены Терентьевны уходило на борьбу с сыростью. Это было еще труднее, хлопотливее, чем бороться с ржавчиной. Каж-

дый день она была принуждена высушивать на огне муку, сахар, соль, макароны, крупу. А назавтра они снова оказывались совершенно сырыми, и их заново приходилось сушить. У Матрены Терентьевны была своя, особая ниша для продуктов — кладовая. И в ней появился тяжелый, затхлый запах плесени, приводивший Матрену Терентьевну в отчаяние. К тому же продукты таяли со сказочной быстротой. Матрена Терентьевна ужасалась, замечая, как быстро расходуются мука, масло, сахар.

С круглыми глазами она подходила к каменному столу Черноиваненко и, немного заикаясь от волнения, начинала шептать первому секретарю на ухо свои зловещие хозяйственные секреты и совала рапортичку с указанием наличности продовольствия. Он надевал очки, долго и укоризненно смотрел на Матрену Терентьевну:

— Матрена Терентьевна, ты меня удивляешь!

Он всегда называл ее «Матрена Терентьевна», когда был ею недоволен. Он произносил это точно таким же назидательным тоном, каким говорил ей в детстве по поводу изношенных башмаков:

«Мотечка, честное, благородное слово, ты меня просто удивляешь! Удивляешь и огорчаешь. Ты опять порвала ботинки! Совершенно порвала. Ни один сапожник не берется. Я буквально не знаю, что мне с тобой делать. На тебе все горит. Я скоро вылечу в трубу».

«Дядя Гаврик, ей-богу, я невиноватая!» — говорила тогда маленькая Мотя и краснела так, что не только ее лицо, уши и шея делались густо-розового цвета, но даже краснели руки, а на глазах выступали слезы.

Может быть, тогда она и была виновата. На ней действительно все горело. Теперь же она была никак не виновата. Она прилагала все усилия, чтобы вести хозяйство как можно экономнее. Но, как известно, именно продукты и имеют скверную привычку «буквально-таки гореть», особенно когда их мало, а едоков много. Так же, как в детстве, Матрена Терентьевна и теперь прижимала руки к груди и восклицала таким тоненьким голоском, как будто в горле у нее пищала маленькая птичка:

— Дядя Гаврик! — Она так всю жизнь и называла его «дядя Гаврик».— Дядя Гаврик! Накажи меня бог, я сама не могу понять. Я готовлю, а продуктов каждый

день становится меньше! Я готовлю, а их меньше. Прямо не знаю, что делать! Получается какая-то чепуха.— И на глазах у нее блестели слезы.

— Она не знает, что делать! — ворчал Черноиваненко.— Она не знает... А кто же знает? Давай сюда норму.

Он доставал карандаш, и они оба, навалившись на каменный стол, долго шептались над листком раздаточной ведомости.

Так или иначе, с этой стороной дела Матрена Терентьевна кое-как справлялась. Но стряпня у нее вовсе не ладилась. Она стряпала на двух примусах, добросовестно, старательно, но... не то чтобы вовсе плохо, а как-то неинтересно, без фантазии. Но до фантазий ли было подпольщикам? Сыты — и ладно.

Итак, для того чтобы пойти к колодцу, требовалось разрешение Матрены Терентьевны. Это упрощало дело.

— Мама, мы идем за водой,— говорила Валентина.

— Пойдешь за водой — не воротишься,— строго замечал Петя, повторяя поговорку, которую он неоднократно слышал от партизан Серафима Тулякова.

— Ах да, я очень извиняюсь,— пó воду,— поправлялась Валентина.— Мама, мы идем с Петей пó воду. Ты не возражаешь?

— Ну что ж, деточки, идите. Прогуляйтесь. Подышите немножко свежим воздухом.

Они снимали с деревянных гвоздей ведра, которые висели на стене кухонной ниши, над двумя вечно гудящими примусами, а Матрена Терентьевна, утирая лицо, подавала им фонарь «летучая мышь» и коробку спичек. Она делала им последние наставления:

— Фитиль очень не выкручивайте, экономьте керосин. Пускай горит чуть-чуть, лишь бы можно было идти. Как только придете к колодцу, потушите, чтоб даром не горело. А когда пойдете обратно, тогда опять зажгите. Воду по дороге не разливайте, идите аккуратно. Спички зажигайте только в самом крайнем случае. Тут шестнадцать спичек. Чтоб вы по крайней мере тринадцать принесли обратно!..

Она еще долго что-то говорила и ворчала им вслед, но они уже не слышали ее, медленно удаляясь по низкому земляному коридору, который все время то очень

сужался, то немного расширялся, делая повороты и неожиданные извилины.

Петя нес фонарь, а Валентина — оба пустых ведра в одной руке. Они опирались на костылики, которые держали в свободной руке. Эти коротенькие костылики были специальным, очень полезным изобретением. Кто их изобрел, неизвестно. Они появились как-то сразу, сами собой. Без них передвигаться по катакомбам было бы очень трудно, почти невозможно. В низких подземных ходах приходилось сгибаться, очень часто даже под прямым углом. А идти в согнутом положении, на согнутых ногах — вещь мучительная. И потому в катакомбах все ходили, опираясь на коротенькие костылики, которые делали из старых ружейных шомполов. Они были так же необходимы для подземной жизни, как свет.

Петя и Валентина шли подземным ходом, как старички, опираясь на свои костылики.

Время от времени они останавливались, и при слабом свете фонаря Валентина выцарапывала на стене гвоздем, специально взятым для этой цели, Петину букву — «П» и свою букву — «В», для экономии соединяемые в виде вензеля: большое печатное «П», ко второй палочке которого приписывалось большое печатное «З», так что получалась одна странная буква: «ПЗ».

На всем пути стены были испещрены различными буквами и значками, выцарапанными на камне, нарисованными углем, кирпичом или просто начерченными пальцем на толстом слое пыли. Это были знаки подземной навигации, указатели подземного фарватера. Иначе как можно было бы двигаться по катакомбам и не заблудиться среди запутанного лабиринта ходов, поворотов и разветвлений? Разумеется, никакой более или менее точной карты катакомб не существовало. Стоило бы колоссальных трудов составить хотя бы простую, грубую схему этого невероятного лабиринта, имеющего к тому же несколько горизонтов залегания. Компас здесь был бы бесполезен. Во-первых — на глубине, под землей, он показывает неточно, а во-вторых — без карты он все равно ни к чему. Звук голоса почти не распространяется. Оставалась лишь сигнализация значками — этими иероглифами, таинственными и непонятными для человека, случайно попавшего в катакомбы.

Один был похож на топографическую стрелку, но только с двумя вертикальными черточками поперек хвоста. Другой состоял из одной лишь буквы «ять» — забавная фантазия Лени Цимбала, выбравшего своим знаком эту старорежимную букву. Третий представлял крестик со стрелкой — позывные Святослава. Был кружок с крестиком наверху — старинный мистический знак Земли, выбранный для себя Черноиваненко из старого календаря, и пятиконечная звезда, принадлежащая Серафиму Тулякову. Были овалы, стрелки, направленные в разные стороны. Были цифры. Почему-то цифра «5» была Матрены Терентьевны, а цифра «2» — Раисы Львовны. Стрельбицкому принадлежал ромб, Лидии Ивановне — сердце, Свиридову — якорь. Сердце и якорь стояли почти рядом — так же близко, как «П» и «В» Пети и Валентины.

С непонятной для себя радостью и тайным волнением видел Петя, как среди этих знаков, точно среди знакомых, живых людей, появляется на мерцающей стене их вензель — его и Валентины, в котором их буквы были так тесно сближены, что даже одна палочка оказалась общей.

Недалеко от колодца они потушили огонь. Впереди брезжил дневной свет. Сам по себе он был очень слаб и бесцветен, но в сравнении с вечной подземной тьмой, озаренной желтыми светильниками, он казался до странности ярким, режущим глаза. Они некоторое время с удовольствием привыкали к этому белому ровному дневному свету, который так прочно, так неподвижно лежал на неровностях стен, на пыльном полу и тянулся спокойными полосами из-за поворотов подземного хода. Подземный ход упирался в колодец. Дневной свет проникал сверху. Это был деревенский колодец. Его очень глубокий ствол пересекался с одним из ходов катакомб на глубине по крайней мере десяти метров, а до воды оставалось еще столько же.

Петя и Валентина осторожно подходили к стволу колодца и садились на краю круглого хода, наслаждаясь дневным светом, рассеянно падавшим сверху. Их глаза, измученные вечной тьмой и мерцанием светильников, отдыхали. Изредка они бросали вниз камешек, и проходило некоторое время, прежде чем до них долетал

всплеск воды. Крепко держась за руки, чтобы не упасть, они высовывали голову в ствол колодца и, лежа на животе, смотрели вниз, а потом старались посмотреть вверх.

Далеко внизу, во тьме, дрожал маленький блестящий кружок — отражение неба. Далеко вверху этот же самый кружок был немного побольше, и он уже не дрожал, так как был не отражением неба, а самим небом. И между этими двумя светлыми кружками — подлинного и отраженного неба,— на самой середине гулкой трубы колодца, из таинственного подземного хода, о существовании которого никто наверху и не подозревал, выглядывали две головы, тесно прижавшиеся одна к другой — голова Пети и голова Валентины. Это было единственное место, откуда они могли видеть небо и где они могли дышать свежим воздухом. Это было их единственное окно в мир. Здесь они устроили маленький огород. Они посадили в землю несколько луковиц, которые стащили у Матрены Терентьевны. Каждый раз, когда они приходили сюда за водой, они поливали свои луковицы. Но луковицы не прорастали. Было слишком холодно. Тогда они накрыли их старой стеклянной банкой, найденной в штреке. Этим они предохранили луковицы от холода, льющегося сверху. С каким нетерпением ожидали они появления первой стрелки! Наконец стрелки появились — слабенькие, желтые, почти белые. Но все же они стали расти. Это была маленькая тайна Пети и Валентины. Они готовили сюрприз для подпольщиков. Ведь лук был не просто лук — лук был витамины, которых так не хватало.

Итак, они лежали, высунув голову в свое окно,— Петя и Валентина,— возле бледных стрелок лука, которые слабо тянулись вверх, как бы стремясь выбраться вон из подземелья.

Казалось, что можно было увидеть в такое окно? Однако они видели в него очень много. Они видели небо, видели птиц, видели облака. Однажды, когда они пошли по воду ночью, они увидели несколько звезд. И, может быть, это было самое изумительное в их жизни зрелище. Но им еще ни разу не удалось увидеть солнце. Солнце проходило как-то стороной.

Наконец, они видели людей. Они видели закутанные, как капустный кочан, головы и плечи женщин, прихо-

дивших к колодцу за водой из какой-то деревни. Они видели ведра, которые опускались и подымались так близко от них, что их легко можно было коснуться рукой. Было что-то невероятное в этих простых крестьянских ведрах: ведь они были выходцами «с того света»! Трудно, почти невозможно было себе представить, что вот их наденут на коромысла и понесут по улице деревни, занятой фашистами. Может быть, фашисты будут трогать их руками и пить из них воду...

Петя и Валентина слышали наверху скрип шагов по снегу, крики мальчишек. Лаяла собака. Даже по этому звонкому лаю было ясно, что это маленькая пушистая собачка с хвостиком, круглым, как бублик. В соединении с холодом, который лился сверху, это составляло картину студеного вечера, с катаньем на салазках, желтым закатом и галками над синими шапками деревенских крыш.

24

СНЕЖИНКА

Один раз в колодец залетела снежинка. Валентина протянула руку, и снежинка села на ее ладонь. Это была большая, очень правильная звезда из белых елочек и молоточков. Петя и Валентина наклонились над ней и стали рассматривать ее, как чудо. Она и была чудо: она была «с того света». Она была граненая и вместе с тем мохнатая. Но ее мохнатость, в свою очередь, тоже была выгранена с ювелирной точностью. Она вся была воплощением зимы. Она включала в себя все составные части блистательной советской зимы, с ледяными кубиками прудов, с кристаллическими коридорами еловых просек, с канителью метели, с синим звоном коньков и круговоротом хоккейного поля, осыпанного звездами фонарей, и с замерзшей рекой, над которой повисли арки и пролеты громадного нового моста, как бы сделанного из тех же, в миллионы раз увеличенных деталей снежинки... Снежинка медленно растаяла. А они все еще продолжали смотреть на каплю, дрожащую на теплой ладони...

Петя и Валентина уже давно набрали воды. Наполненные ведра стояли у стены. Надо было идти назад. Но

они оттягивали эту неприятную минуту. Им так хотелось еще хоть немного побыть при дневном свете, дыша чистым зимним воздухом, льющимся сверху! Они молчали. Но молчание их не тяготило. Они уже так привыкли друг к другу, были так душевно близки! Они знали, о чем каждый из них думает. Они не думали о себе и о той странной, фантастической жизни, которой они жили в катакомбах. Эта жизнь уже начинала казаться им естественной и совсем не фантастической. Они просто жили и просто боролись, не думая, что они борются и совершают что-нибудь необыкновенное, а тем более героическое. Они думали о войне и о своих отцах, которые были на фронте. Валентина думала также о своих старших братьях, воевавших где-то вместе с отцом, а Петя думал о маме и о сестрах, и о Москве, и о своей школе, и о школьных товарищах, и обо всем том, что теперь казалось ему таким невозвратимо далеким, потонувшим в тумане времени. Валентина уже хорошо знала всех Петиных друзей-приятелей и все их дела. Она была в курсе всех Петиных общественных и личных интересов. Он столько раз рассказывал ей обо всем этом!.. Теперь они молчали. Им не надо было разговаривать.

Но была одна тайна, которой Валентина не знала. Эта тайна мучила Петю. Он вяло и как-то жалостно, вскользь улыбался, как бы прося глазами оставить его в покое.

— Эй, Петька, что с тобой? — говорила Валентина, тряся его за плечо.

Он поворачивал к ней огорченные глаза и продолжал вяло молчать.

— Чего ж ты молчишь?

— Я не молчу.

— Может быть, ты больной?

— Не...

Петя даже не произносил слово «нет» полностью. Он его не договаривал. Начинал — и бросал:

— Не...

Как Валентина ни билась, она не могла его вывести из состояния глубокой, печальной задумчивости. И ей приходилось оставлять его в покое.

О чем он думал? Какая тайна тяготила его душу?.. Он бы не открыл эту тайну даже своему отцу — самому

близкому человеку на свете. Он дал пионерское слово. Он поклялся под салютом. И он не нарушит клятвы, если бы даже это стоило ему жизни. В такие минуты он видел перед собой умирающего матроса... Петю часто мучил вопрос: не нарушил ли он клятву? Опасаясь, что он может попасть в руки врагов, а вместе с ним в их руки может попасть комсомольский билет краснофлотца Лаврова и флаг корабля, которые он поклялся сохранить, Петя спрятал их в облицовке заброшенного степного колодца. Он чувствовал, что поступил правильно. Но теперь все чаще и чаще перед мальчиком вставал вопрос: что же будет с флагом и комсомольским билетом дальше? Хорошо, если они так и пролежат все время. Наступит же наконец день — а Петя был уверен и никогда не сомневался, что такой день обязательно наступит,— когда враг будет разбит и можно будет спокойно пойти, вынуть флаг и билет и возвратить их Красной Армии от имени комсомольца Николая Лаврова. Но что, если за это время с флагом и билетом что-нибудь случится? Вдруг кто-нибудь нечаянно раскопает старый колодец и среди камней найдет флаг и комсомольский билет? Вдруг они как-нибудь попадут в руки врагов?

...Вот по степи идет неприятельский обоз. Солдаты хотят пить, но у них нет воды. Они видят колодец. Они бегут к нему с ведрами. Но в колодце нет воды. Они поворачиваются и уже хотят идти назад, как вдруг один из них замечает кусочек материи, говорит: «Что это?» — и вытаскивает из щели флаг и билет... Вот Красная Армия наступает на Одессу. Враги бегут. Они добегают до старых, полуразрушенных окопов и пытаются в них закрепиться. Они втаскивают в старый колодец пулемет и замечают угол материи, высовывающийся из щели. «Что это?» — И они вытаскивают флаг и билет... Вот по степи идет немецкая трофейная команда, собирающая железный лом, брошенное оружие и неразорвавшиеся снаряды. «А ну-ка, посмотрим, нет ли чего-нибудь в этом старом колодце»,— говорит один из немцев, в черной фуражке с большими полями и мертвой головой вместо кокарды.

Иногда Петя готов был рассказать Валентине все. Несколько раз он уже даже начинал рассказывать, но всегда его останавливало чувство ложного самолюбия...

— Валентина! — вдруг сказал он сумрачно, не поднимая ресниц.— Я хочу тебе сказать одну вещь.

— Давай говори!

— Только прежде поклянись, что никто не узнает.

— Клянусь! — быстро сказала Валентина, и глаза ее нетерпеливо засветились.— Говори давай!

— Это мало, что ты клянешься. Еще неизвестно, чем ты клянешься.

— А чем тебе надо?

— Можешь дать честное пионерское?

— Могу.

— А честное под салютом?

— Честное под салютом?..— Она задумалась.— Смотря какая у тебя тайна.

— У меня очень важная тайна.

— Мне надо сначала знать, какая именно.

— Дай честное под салютом, тогда скажу.

— Э, нет! Ты сначала скажи, а тогда я дам честное под салютом.

— Хитрая!

— Сам хитрый!

— Дай честное под салютом, тогда скажу.

— А вдруг у тебя какая-нибудь пустяковая тайна? Разве можно по пустякам давать честное под салютом?

— У меня тайна не пустяковая.

— Дай честное под салютом, что не пустяковая.

— Хорошо. Я тебе дам честное под салютом, что не пустяковая, но только ты мне сначала дай честное под салютом, что, если я тебе дам честное под салютом, то ты мне дашь честное под салютом...— Петя запутался.

— Ты под салютом, я под салютом, он под салютом, они под салютом! — захохотала Валентина, махая руками.

— Замолчи! — закричал Петя.— Ты меня сбила.

Он собрался с мыслями и упрямо окончил свою мысль:

— Ты мне сначала дай честное под салютом, что, если я тебе дам честное под салютом, то ты мне дашь честное под салютом, что не выдашь моей тайны.— И тут же он не удержался и сам захохотал.

Вдруг Валентина насторожилась, заглянула в колодец и дернула мальчика за рукав:

— Помолчи! Тише...— Она предостерегающе подняла палец.

Петя заглянул через ее плечо вниз и увидел на фоне блестящего кружка желтого, вечереющего неба, отраженного в воде, темный силуэт двух женских голов, наклонившихся над колодцем. Они разговаривали негромко, сблизив головы, но каждое слово было слышно довольно ясно, хотя и гулко, будто сказанное в рупор.

— А у вас как? — сказал один голос почти шепотом, продолжая начатый разговор.

— Еще хуже, чем у вас,— ответил другой голос.

— У нас прошлую ночь шестнадцать человек забрали. Ходили по хатам и вытаскивали по списку.

— У нас то же самое. Двадцать три человека. И одного старика завели за клуню и тут же убили из винтовки.

— Какого старика?

— Может быть, вы слышали — Левченко Афанасия.

— Старого Левченко?

— Вот именно.

— Убили старого Левченко? Что вы говорите!

— То, что слышите.

— Да ему ж, мабуть, восемьдесят рóкив, старóму Левченко!

— А они его убили, не посчитались.

— За что же?

— За то, что он им не захотел показать, где его внуки сховались. У него внуки в партизанском отряде, и он их не хотел выдать.

— И они его убили?

— И они его, не сходя с места, убили из винтовки за клуней, а потом тело его выставили посреди Усатовых хуторов, возле церкви, и не велели три дня хоронить, чтоб другие люди видели, на что они способные.

— Ах, злодни! Ах, кáты проклятые!

В гулком стволе колодца послышалось сдержанное рыдание.

— Я вас прошу, не плачьте так громко! Если они увидят, что две женщины стоят возле колодца и плачут, то безусловно заберут в комендатуру. Они у нас не разрешают людям даже останавливаться на улице и разговаривать.

— У нас то же самое...

— Давайте лучше набирать воду.

Наступило молчание, и сверху одно за другим опустились, а затем поднялись два обледеневших ведра.

Пока ведра опускались и поднимались, Петя и Валентина смотрели друг на друга неподвижными глазами.

— К нам сегодня утром пригнали целую роту солдат,— снова раздался вверху шепот.

— И к нам тоже. А пушки к вам привезли?

— Нет, пушек не привозили.

— А к нам привезли две пушки. Теперь у нас, на Усатовых хуторах, стоит ихний штаб. В бывшей школе. Всюду патрули.

— Что им, ка́там, здесь нужно?

— Ихние солдаты говорят, что скоро будут выбивать из Усатовских катакомб партизанов...

— Ты слышишь? — шепотом сказала Валентина, изо всех сил сжимая Пете руку.

— Слышу,— одними губами ответил мальчик.

— Как же они их будут выбивать? — сказал первый голос.

— Будут бить из пушек.

— Пушками не выбьешь.

— Они думают, что выбьют.

— Не выбьют. Их ничем не выбьешь!

Петя и Валентина переглянулись.

— Они против пуль и против снарядов заговоренные. Весь отряд заговоренный. Они все невидимки.

— Слышь, Петька, мы с тобой заговоренные! — шепнула Валентина, таинственно блестя глазами.

— А много их? — сказал второй голос.

— Более чем полторы тысячи.

— У нас солдаты говорили, что две тысячи.

— Может быть, и две. У них там, под землей, говорят, целый город. Танки есть, самолеты...

Петя и Валентина снова переглянулись.

— Фашисты сегодня утром разведку делали возле Усатовского кладбища. Нашли там в скале какую-то трещину. Говорят, ход в катакомбы. Но они, конечно, туда не полезли — побоялись. Они только вокруг расставили посты и никому не велели даже близко подходить.

Кто подойдет ближе чем на пятьсот метров, в того стрелять без предупреждения.

— Ах, ка́ты поганые!

— А днем туда ходили их минеры с ящиками и все вокруг заминировали, теперь оттуда ни хода, ни выхода.

Валентина чуть не вскрикнула. Для того чтобы не вскрикнуть, она до крови прикусила губу и с такой силой сжала руку Пети выше локтя, что мальчик тихо застонал.

— Тише! — прошептала она, и ее глаза засветились в полутьме, как фосфор.— Ты слышал?

— Слышал.

— Они заминировали... ты понимаешь?

Ей не надо было объяснять Пете значение того, что они узнали. Это было слишком ясно. Почти каждый день через усатовский ход «ежики» выходили на боевое задание или возвращались с боевого задания подпольщики. Со дня на день ждали через этот ход Синичкина-Железного. Теперь этот ход был заминирован.

Они схватили ведра и с самой большой быстротой, с какой только возможно было двигаться по тесному и низкому подземному ходу, двинулись назад в лагерь.

25

ЧЕРТ УКРАЛ МЕСЯЦ

Сквозь свист и треск атмосферических разрядов послышался знакомый голос диктора, но такой глухой и такой далекий, что с громадным трудом можно было разобрать его с каждой секундой слабеющее бормотание. Это было что-то не совсем понятное и совсем необычное — какое-то длинное, монотонное перечисление: «...шестьсот сорок восемь орудий, тысяча двести семь пулеметов, восемнадцать тысяч винтовок, четыре миллиона патронов, один бронепоезд...»

— Трофеи...— сказал Леня Цимбал таким осторожным, таким вкрадчивым и таким тихим, ласковым шепотом, как будто бы это говорил не человек, а сказочный эльф.— Товарищи, чтоб я пропал — трофеи!..

Вдруг он вскочил, изо всех сил одновременно ударил

каблуками в землю, швырнул шапку в стенку и, уже не стесняясь и не сдерживаясь, закричал во все горло:

— Будь я трижды проклят, если это не трофеи!

— Подождите,— сказал Черноиваненко и вытер рукавом вспотевший лоб.— Тихо, товарищи!

Он понял, что наконец наступила минута, которую с таким страстным нетерпением, с такой надеждой, с такой верой ждали все советские люди. Его лицо сделалось строгим, бледным, даже красивым. И он произнес медленно, раздельно, как бы выпуская слова из самой глубины души:

— Товарищи, я думаю, что это большая победа Красной Армии под Москвой. И об этой победе мы обязаны как можно скорее сообщить усатовским жителям... Туляков, готовься к выходу наверх.

Туляков был большой мастер этого дела.

Он уже несколько раз совершал такие внезапные выходы. Обычно он вдруг входил в хату — разумеется, предварительно хорошо разведав обстановку,— останавливался возле двери и говорил весело, громко:

— Здравствуйте, люди добрые! Давно мы с вами не виделись. Добрый вечер! А я шел мимо вашей хаты, вспомнил, что здесь живут хорошие советские граждане, мои избиратели, и думаю: дай зайду.

Хозяева усаживали его к столу, а сами торопились заложить чем-нибудь окошко и выслать кого-нибудь из хлопчиков на улицу покараулить. Серафим Туляков снимал шапку, расстегивал свою пеструю телячью куртку, доставал гребешок и неторопливо поправлял прическу.

— Вы их не бойтесь,— говорил он, кивая на окно.— Пускай лучше они вас боятся! Недолго им еще здесь хозяйничать.

И он начинал спокойную, обстоятельную беседу, касаясь всех вопросов, которые волновали крестьянство. Он делал короткий обзор военных действий, объяснял международное положение, подвергал убийственной критике все мероприятия оккупационных властей, высмеивал фашистское хозяйство и фашистскую пропаганду, попутно делал указания, как надо поступать в таком-то и в таком-то случае. И все это с такой непринужденной, ленивой простотой, как будто дело происходило вовсе не в деревне, захваченной врагами, где каждый миг его могли

схватить, опознать и убить на месте, а в глубоко мирной обстановке, на длинных зимних посиделках. Он умел не только хорошо говорить — он умел также и слушать. Он исподволь узнавал много очень важного для дальнейшей работы райкома.

Бывало так, что вдруг посреди беседы раздавался тревожный стук в окошко — предупреждение об опасности. Но и тогда Серафим Туляков не проявлял никакой торопливости. Он медленно вставал, медленно застегивался, надевал шапку и говорил со вздохом:

— Что-то я у вас, люди добрые, засиделся! Небось дома жинка скучает. Пойду до дому. Бывайте здоровы, не забывайте Советской власти. До скорого свидания.

Он выходил из хаты и вдруг исчезал, как призрак, за углом какой-нибудь плетенной из лозняка клуни, или за погребом, или за плетнем с надетыми на палки глечиками.

Иногда он отводил в сторонку старика хозяина и просил позычить немного муки, крупы или сала.

— Сколько вам будет не жалко,— говорил он усмехаясь.— А то у меня дома голодные детки плачут.

Старик понимающе кивал головой. И, получив небольшой мешок, Туляков тут же непременно присаживался к столу и писал хозяину по всей форме расписку о получении взаймы продуктов от имени исполкома трудящихся Пригородного района.

А бывало и так, что его таинственно вызывали во двор, где его уже в темноте дожидались несколько хлопцев с поднятыми воротниками полушубков и шапками, надвинутыми на глаза. Он некоторое время беседовал с ними вполголоса, давал инструкции и прощался, сказав под конец:

— Орудуйте, хлопцы! А я пошел.

Как видно, у него уже было всюду много таких «знакомых» хлопцев. Разумеется, его никто не спрашивал, откуда он появляется и куда потом исчезает. Об этом можно было только догадываться. Было ясно одно: что он всегда находился где-то поблизости, а значит, всегда где-то поблизости находилась и сама Советская власть и что именно эта власть, а никакая-нибудь другая и оставалась единственной, настоящей, законной властью.

Туляков давно уже не «показывался людям».

Теперь же он должен был выйти наверх и рассказать им о победе Красной Армии под Москвой. Он уже занес ногу на первую ракушечную ступеньку.

— Товарищ Туляков, стойте! — крикнул Петя задыхаясь.

Туляков остановился с поднятой ногой. Он удивленно посмотрел на Петю и Валентину. Красные, потные, тяжело дыша, с ног до головы покрытые пылью, с фонарем «летучая мышь», который дрожал в руке у Валентины, они стояли, прислонившись к каменной стене туннеля, и не могли говорить от непонятного возбуждения.

Им было строжайше запрещено появляться даже близко у входа. Они это прекрасно знали. Это был личный приказ Черноиваненко. И все-таки они нарушили его! Это показалось так невероятно, что в первую минуту Черноиваненко даже как будто растерялся. Но вслед за тем густая краска гнева покрыла его лицо. Черноиваненко был вспыльчив, хотя и умел сдерживаться.

— Ты что? — сказал он, подходя к Валентине, и взял ее за плечи.— Вы что?.. Смеетесь над моими приказами?

— Дядя Гаврик...— пробормотал Петя, съежившись под его взглядом.

— Помолчи! — И Черноиваненко повторил раздельно, сквозь зубы: — Вы что, смеетесь над моими приказами, да?

Продолжая смотреть на Петю в упор суженными глазами, он еще крепче стиснул руками плечи Валентины.

— Смеетесь над моими приказами? Смеетесь над моими приказами, да?

— Мы не смеемся! — пискнула Валентина, в один миг превращаясь из довольно взрослой девицы в маленькую перепуганную девчушку.

— Вы сначала выслушайте! — сказал Петя.— Люди вам говорят, а вы не слушаете... Понимаете, что они заминировали «ежики»!

— Кто заминировал «ежики»? — спросил Черноиваненко.— Что ты там бормочешь?

— Немцы сегодня заминировали «ежики» — вам это, наконец, понятно? — произнес Петя, наслаждаясь впечатлением, которое произвели его слова на Черноиваненко.

— Постой, постой...

— Да! — воскликнула Валентина.

— Ага! — прибавил Петя.

И они, перебивая друг друга, рассказали все, что услышали у колодца.

— Ну, это другое дело...— сказал Черноиваненко, остывая.— Тогда молодцы! Извините, что я вас чуть не выдрал.

— Ничего, пожалуйста,— вежливо ответил Петя.

То, что Петя и Валентина услышали у колодца, имело для подпольного райкома громадное, даже, может быть, решающее значение. Борьба, которую вели подпольщики с захватчиками, видимо, вступила в новую фазу. До сих пор подпольщикам приходилось иметь дело с одиночными румынскими жандармами, с местными полицаями, изредка с патрулями. Теперь же немецкое командование, судя по тем сведениям, которые принесли пионеры, двинуло против них целое воинское подразделение с пушками. Очевидно, не слишком большая подпольная группа, спрятанная в Усатовских катакомбах, стала не на шутку донимать немцев и румын постоянными нападениями на транспорт, на отдельных солдат и офицеров, расклейкой листовок, порчей проводов. И фашисты решили прикончить отряд одним ударом.

Черноиваненко не был склонен преуменьшать значение деятельности своего райкома. По опыту прежней подпольной работы он хорошо знал, что один лишь факт существования неуловимой подпольной организации, не говоря уж о прямых действиях, укрепляет моральную силу населения, вселяет веру в несокрушимость Советской власти и в корне подрывает военный авторитет врага. Однако он никак не предполагал, что вокруг них уже создалась легенда. И он этому совершенно откровенно обрадовался. Он даже крепко потер руки и, подмигнув, сказал:

— Ну, братцы, видите, какие мы стали легендарные личности? Мы уже невидимки, нас, оказывается, уже пули не берут! Однако посмотрим, что это за такие мины,— сказал он, надевая очки, и, отстранив Тулякова, проворной, кошачьей походкой направился к выходу из катакомб.

— Товарищ секретарь! — испуганно воскликнул Свя-

тослав, бросившись вперед и загородив дорогу Черноиваненко.

— Ну, в чем дело? — строго сказал Черноиваненко.

— Товарищ секретарь, не ходите! Подорветесь... Разрешите мне.

— Молодой! — усмехнулся Черноиваненко.

— Никак нет. Разрешите мне. А вам не положено.

— Что?

— Вам не положено! — настойчиво повторил Святослав, загородив спиной выход и не спуская с Черноиваненко решительных глаз.

— Это мне нравится! — добродушно проворчал Черноиваненко.— «Не положено»! А тебе положено?

— Так точно, мне положено.

— Почему ж это, интересно знать, тебе положено, а мне не положено?

— Потому что я солдат, товарищ секретарь, а вы не солдат.

— Слыхал, Туляков? — сказал Черноиваненко и показал плечом на Святослава.

Черноиваненко нахмурился. Его лицо стало суровым.

— Вот что, Марченко,— сказал он, поворачиваясь к Святославу,— я был солдатом тогда, когда твой батька еще, пожалуй, пешком под стол ходил. Понял? А ну, дай-ка!..

Черноиваненко легонько отстранил Святослава с дороги.

— Вы ж подорветесь! — испуганно крикнул Святослав.

— Ух ты, какой беспокойный мужичок! — сказал Черноиваненко и, не оборачиваясь, полез в щель. Но через минуту появился снова, весь с ног до головы залепленный снегом.— Видите, что делается, какая завирюха!

Он снял облепленные снегом очки и стал их протирать полой своего бобрикового пальто.

— В двух шагах ни черта не видать. Настоящая зима завернула. Норд-ост. Черт украл месяц.

26

ПУРГА

Петя и Валентина как очарованные смотрели на снег — настоящий, белый, пушистый, веселый снег, который принес с собой Черноиваненко. Свежий, острый запах наполнил всю пещеру. Он опьянял, кружил голову. Снег падал большими хлопьями с ушанки Черноиваненко, с рукавов. Снег золотился при свете «летучей мыши», и было что-то в высшей степени праздничное, елочное в его пухлых комьях, словно посыпанных борной кислотой. Он был такой душистый, как будто от него пахло мандаринами. Наконец дети не выдержали, бросились к дяде Гаврику и стали обирать с его пальто снег. Они сжимали снег пальцами, катали, лепили из него крошечные снежки. Они клали его в рот и сосали до тех пор, пока у них не заболели зубы и не стало ломить лоб. Тогда они, будучи не в силах с ним расстаться, стали «играть в снежки», стараясь попасть друг другу в самое лицо или засунуть крохотный комочек снега за шею. Они так расшумелись, что даже всегда спокойный, уравновешенный Серафим Туляков прикрикнул на них:

— Ну вы, детский сад, потише! Хоть вы меня сегодня и спасли от мины, но надо ж и совесть иметь. Хватит баловаться, а то я вас живо отправлю назад в лагерь.

— Нет, с очками ни черта не выйдет,— сказал Черноиваненко, укладывая очки в футляр.— Попробуем без них... Святослав, дай-ка мне какие-нибудь клещи или лучше кусачки.

Святослав порылся в сумке противогаза и подал кусачки.

— Вот добре. Сейчас мы посмотрим, что они из себя представляют, эти самые знаменитые мины. А то, может быть, они существуют лишь в вашем воображении,— сказал он, весело посмотрев на Петю и Валентину, которые, боясь, чтобы их не отправили в лагерь, скромненько сидели в углу, на брусках ракушечника.

Черноиваненко сунул за пояс кусачки, поправил ушанку и снова полез в скважину выхода. На этот раз он пробыл наверху не менее получаса.

Легко сказать — полчаса! Принято говорить, что часы летят, как минуты, или минуты тянутся, как часы. Может

быть, это вообще и верно. Но в данном случае время не тянулось и не летело. Время утратило всякое подобие движения. Время тягостно остановилось. Оно было неподвижно, и неподвижны были люди в пещере. Из щели тонкой, пронзительной струей дул ветер. Звук ветра казался вкрадчивым посвистыванием точильного круга. Снежная пыль, заносимая ветром, с хрупким шорохом оседала на стенах хода. Вокруг стояла неподвижная, плотная, почти осязаемая тишина, и эта тишина казалась предшествующей взрыву. Святослав и Серафим Туляков молчали и не шевелились. Они были похожи на статуи, вырубленные из гранита. Петя и Валентина сидели на камне, прижавшись друг к другу, покусывая от волнения пальцы.

— Слышишь?

— Да. Ветер.

— Ужасно сильный ветер.

— Дядя Гаврик сказал, что это норд-ост.

— Это очень хорошо.

— Почему хорошо?

— Тише! Слышишь?

— Слышу. Это снег шуршит... Почему хорошо, если норд-ост?

— Потому что на дворе теперь зги не видать. Завирюха. Они его не заметят... Тише!

— Что?

— Мне показалось... Нет, ничего.

— Как же он будет разминировать, если ничего не видно?

— Он будет на ощупь. Это еще лучше.

— Разве это лучше?

— Конечно, лучше. На ощупь никогда не ошибешься. А на глаз всегда можно обмануться.

— Молчи! Слышишь?

— Не слышу.

— А я слышу. Идет. Честное под салютом — идет!

Из хода посыпался снег, и в ту же секунду, скользя и спотыкаясь, в пещеру ввалился Черноиваненко, весь белый и толстый, как снежная баба; даже нос, как у снежной бабы,— морковный. В вытянутых руках он держал какой-то предмет, похожий на детский гробик.

— Одна есть! — деловито сказал он сильно осипшим

голосом.— Иди сюда, солдат! Держи,— обратился он к Святославу, протягивая детский гробик.— Держи, не бойся, я уже вытащил взрыватель.— Он показал головой на пояс, где рядом с кусачками была заткнута медная трубочка взрывателя.— Бери, а то я руки отморозил. Пришлось работать без перчаток. Ну и саперы. Две копейки цена таким саперам. Поставили свой детский гробик на самом видном месте — слепой и тот заметит!

— Ничего себе игрушка, килограмма на два веса! — сказал Святослав, подкидывая на руке деревянный ящичек мины.— Рванет — будь здоров!

Черноиваненко усмехнулся:

— Положи в сторонку, она нам еще пригодится.

Он нашел в углу пещеры доску от старого ящика, вынул из кармана ножик и быстро наколол лучин, сложил горкой, поджег зажигалкой и стал греть над маленьким костром озябшие руки.

— Ух, хорошо! Ах, хорошо! — приговаривал он, растирая малиновые пальцы.— Ну и с тем до свиданьичка. Пойду обратно, покопаюсь в снегу — авось еще чего-нибудь найду!

— Может быть, мне выйти с тобой на случай, если появится какой-нибудь ихний патруль? — сказал Серафим Туляков.

Но Черноиваненко только засмеялся и махнул рукой:

— Нет, куда там! Я этих вояк добре знаю. Они сейчас сидят по хатам, и, как говорится, ниякий бис их не вытягнет на улицу. Они вообще ночью воевать не любят, а особенно в такую собачью погоду. Так и крутит, так и крутит! Пурга летит и шатается от земли до самого неба, как привидение. А они привидений не уважают.

Черноиваненко находился в приподнятом, веселом настроении. Его лицо, основательно иссеченное норд-остом, горело, смеялось. Сотни маленьких морщинок весело, озорно расходились вокруг глаз, под мокрыми ресницами и бровями. Он даже как-то притопывал сапогами, словно собирался танцевать.

На этот раз он провозился наверху не менее часа. Но так как теперь все были уверены в успехе, то этот час пролетел очень быстро. Черноиваненко вернулся раньше, чем его ожидали,— появился неожиданно. Так же как и

в первый раз, он походил на снежную бабу, даже еще больше, так как теперь не только его туловище и руки, но и все его лицо тоже было облеплено снегом, из которого торчали угольки глаз. Он держал под мышкой две мины.

— Сеанс окончен! — сказал Черноиваненко, протягивая Святославу мины, кусачки и взрыватели.— На́ еще две штучки. Держи. Видишь, а ты говорил, что я не солдат! Кто ж тогда солдат? — И первый секретарь, посмеиваясь, присел на корточки перед своим маленьким костром.— Ход открыт.

27

ЧЕТЫРЕ КРАСНЫЕ И ОДНА БЕЛАЯ

Ночью Петя услышал чей-то тревожный голос:

— Товарищ Черноиваненко, проснитесь! Четыре красные, одна белая.

Весь день у Черноиваненко болел седалищный нерв — старый ишиас, особенно сильно разыгравшийся после его охоты за минами. Вечером он принял две таблетки аспирина, закутался шинелями, кое-как согрелся и наконец заснул.

Возле него стоял с фонарем Туляков и трогал его за плечо. Ему жалко было будить секретаря, но Черноиваненко приказал непременно разбудить его в случае сигнала четыре красные и одна белая. Уже давно от Синичкина-Железного не было никаких известий, и Черноиваненко опасался самого худшего. Черноиваненко сел на своей каменной койке и, еще ничего не соображая спросонья, стал быстро застегивать воротник гимнастерки.

— Что случилось? — спросил он, жмурясь от близкого света фонаря.

— Четыре красные и одна белая,— повторил Туляков.

Черноиваненко быстро оделся и, взяв свой костылик, пошел следом за Туляковым. Возле щели стоял Леонид Цимбал с электрическим фонариком в руке и напряженно всматривался в мутную тьму зимней ночи. Два бойца из отряда Тулякова лежали с винтовками снаружи, зарывшись в снег.

— Ну? — сказал нетерпеливо Черноиваненко.— Где же связной?

— Не пойму,— пробормотал Цимбал.— Он дает четыре красные и одну белую. Я ему отвечаю — четыре белые и одну зеленую. Он молчит. Через пять минут я ему повторяю. То же самое: молчит. Даю в третий раз: опять ничего. Вдруг минут двенадцать тому назад он опять начинает давать четыре красные, одну белую. Я ему обратно отвечаю. И в ответ обратно ничего... Стойте! — Цимбал встрепенулся.— Смотрите, опять дает!

Черноиваненко высунулся из щели и увидел на гребне балочки на фоне ночного грифельного неба странно поспешные вспышки электрического фонарика: четыре красные и одна белая и сейчас же опять — четыре красные и одна белая. Вспышки мелькали одна за другой так быстро и с такими судорожными промежутками, как будто тот, кто подавал эти сигналы, бессознательно нажимал пальцами кнопку фонарика.

— Дайте ему ответ, чтоб он подходил,— сказал Черноиваненко.

Цимбал три раза подряд дал ответ, но никто не приблизился.

— Что-то подозрительное,— сказал Туляков.— Может быть, засада?

— Пошлите разведку,— приказал Черноиваненко.

— Разрешите я сам сползаю,— сказал Туляков.— Эх, жаль — нет маскировочного халата!

Он бесшумно, как тень, вышел из щели наружу, сделал знак своим людям, лег на снег и медленно пополз, незаметно для глаза удаляясь от «ежика». Два его бойца на некотором расстоянии следовали за ним. Минут через пятнадцать Туляков вернулся и доложил, что в снегу лежит без сознания неизвестный человек.

— Старый, молодой? — спросил Черноиваненко.

— Плохо видно. Похоже, что старик. Какие будут ваши приказания?

— Старик?.. Я пойду сам,— сказал Черноиваненко и, взяв из рук Тулякова винтовку, проворно вылез из щели.

Как он и предполагал, это оказался Синичкин-Железный. Черноиваненко сразу узнал его длинную фигуру, неподвижно раскинувшуюся на снегу. Черноиваненко стал на колени, прикрыл полой пальто фонарик и осто-

рожно осветил Синичкина-Железного. Он увидел заострившийся хрящеватый нос, темные, ввалившиеся щеки, обросшие длинной сизой щетиной, выпуклые веки закрытых глаз. Одна рука прижимала к груди связку гранат, другая, судорожно откинутая в сторону, держала электрический фонарик. Из открытого рта со свистом вырывалось дыхание. Он был страшен.

Черноиваненко и два бойца — втроем — с усилием подняли его большое, костлявое тело и перенесли в катакомбы. Когда его приходилось пропихивать через завалы и узкие места подземного хода, Синичкин-Железный начинал стонать, бормоча в беспамятстве что-то неразборчивое.

Наконец его принесли в лагерь и уложили на каменные нары. Пока Матрена Терентьевна готовила на примусе чай, Черноиваненко сделал попытку снять с Синичкина-Железного гранаты, привязанные к его поясу под лохмотьями. Но Синичкин-Железный вскочил на ноги и, не открывая глаз, стал отбиваться свободной рукой, продолжавшей судорожно сжимать фонарик. Его с трудом удалось уложить обратно. Вдруг он открыл глаза и стал озираться по сторонам. Черноиваненко наклонился над ним.

— Николай Васильевич,— сказал он тихо,— это я, Черноиваненко, разве вы меня не узнаете? Присмотритесь! — И он осветил фонарем свое лицо, чтобы Синичкин-Железный мог его лучше рассмотреть.

Тень сознания мелькнула в глазах Синичкина-Железного. С трудом поворачивая голову, он осмотрел пещеру, фонарь «летучая мышь», который держал на уровне своего лица Черноиваненко, изломанные тени человеческих фигур, лежащие на искрящихся, сырых стенах. Слабая улыбка тронула его губы. Он кивнул головой, как бы желая что-то сказать, но снова потерял сознание. Его стал трясти озноб. Черноиваненко приложил руку к его костлявому лбу: он был как раскаленный.

Тогда Черноиваненко осторожно снял с него пояс со связкой гранат. Под ним оказался еще один пояс, неумело, но прочно сшитый из полотенца и надетый прямо на голое тело. Когда Черноиваненко распорол этот пояс, в нем оказались зашитыми восемнадцать партийных и комсомольских билетов и столько же подписан-

ных обязательств, данных товарищами при вступлении в подпольную партийную организацию. Кроме того, Черноиваненко вынул из пояса небольшую пачку немецких оккупационных марок, завернутых в бумажку с надписью «членские взносы», а также несколько оттисков грифа, который ставился на советские паспорта при их регистрации в румынской полиции. Когда же Раиса Львовна и Лидия Ивановна стали раздевать Синичкина-Железного, с тем чтобы вымыть его горячей водой и сменить на нем белье, обнаружилось, что он ранен револьверной пулей в грудь под правой ключицей. Слепая рана, неумело забинтованная полосой, оторванной от старой простыни, кое-как залитая йодом и заткнутая куском ватина, сильно гноилась и уже издавала дурной запах — видимо, была получена несколько дней назад и Синичкин-Железный лечил ее сам.

Впоследствии выяснилось все, что произошло с Синичкиным-Железным: как он попал в облаву, был опознан, схвачен, бешено сопротивлялся, был ранен, потом выскочил на ходу из полицейского грузовика и четверо суток скрывался в городе, каждую ночь меняя квартиры, и как наконец, чувствуя, что другого выхода нет, забрал на Пишоновской из печки все документы и ночью, поминутно теряя сознание, все-таки добрался до села Усатово и дал четыре красные и одну белую.

Нельзя было медлить. Черноиваненко побежал в красный уголок и, порывшись в ключах, открыл несгораемый шкаф. Там хранились в строгом порядке все райкомовские бумаги и ценности, разложенные по папкам, причем каждая папка имела специальный номер, а также личные дела всех подпольщиков, в том числе дело Пети Бачей и Валентины Перепелицкой, затем все партийные и комсомольские билеты, ордена, орденские книжки и паспорта. Орденов в несгораемом шкафу было немного — всего три: Красного Знамени — старый боевой орден Синичкина-Железного, который он вместе с партбилетом сдал Черноиваненко в ночь перехода подпольного райкома в катакомбы, орден Трудового Красного Знамени Серафима Тулякова и орден «Знак Почета» Сергея Сергеевича Сергеева, завернутый в бумажку с датой его смерти. Еще была одна медаль «За трудовую доблесть» Лени Цимбала. Вместе с орденскими

книжками ордена и медали занимали совсем немного места — всего одну красную коробочку. Тут же находился журнал боевых действий, куда Черноиваненко или Стрельбицкий аккуратно вписывали все выходы наверх, подшитые протоколы заседаний бюро райкома, партийная печать и партийная касса. Кроме нескольких тысяч советских денег, было также семь золотых пятерок. В несгораемый шкаф имели доступ только сам Черноиваненко и, кроме него, второй секретарь — Стрельбицкий. На самой нижней полке шкафа всегда находились килограммовый ящик тола и несколько взрывателей, так что можно было взорвать все содержимое шкафа в том крайнем случае, если бы документам и ценностям угрожала прямая опасность попасть в руки врага.

Черноиваненко положил в шкаф документы, найденные у Синичкина-Железного, наскоро сделал в журнале отметку о его прибытии в лагерь, а затем взял из специального неприкосновенного запаса банку сульфидина — быть может, одну из самых больших ценностей своего хозяйства.

...Более десяти дней старый, изношенный, но все еще могучий организм Синичкина-Железного боролся со смертью. По-видимому, у него началось воспаление легких.

Почти все время он находился в беспамятстве и бредил. Это был тяжелый, мучительный бред — неразборчивое, грубое бормотанье, монотонное и страшное своим подавляющим однообразием. Иногда он начинал кашлять, и тогда Пете казалось, что в пещере со страшным треском и свистом разрывают на длинные полосы холстину.

Временами к Синичкину-Железному возвращалось сознание. Тогда он звал Черноиваненко и, блестя сухими, запавшими глазами, начинал докладывать обстановку в городе. Он ужасно волновался и сердился, если Черноиваненко не хотел его слушать и требовал, чтобы он лежал молча. Он жадно облизывал под отросшими седыми усами потрескавшиеся от постоянного жара губы. Схватив Черноиваненко за плечо пальцами, твердыми, как клещи, Синичкин-Железный требовал, чтобы Черноиваненко записывал фамилии и адреса, которые с усилием припоминал. Потом он снова терял сознание. Ви-

димо, он боялся умереть, не успев передать первому секретарю все свои городские дела. Но и по этим коротким, беспорядочным беседам Черноиваненко сумел составить довольно точное представление о положении.

Дела шли, в общем, хорошо. В особенности после победы Красной Армии под Москвой. Число товарищей, вошедших в подпольную организацию, по району достигло двадцати пяти человек, уже подписавших обязательство и сдавших свои партбилеты, не считая нескольких десятков еще окончательно не оформленных. Это уже был большой актив, крупная сила, на которую можно было твердо опереться. Следовало снабдить товарищей надежными документами, осмотрительно разослать их на службу в различные учреждения, управления, устроить на заводы, в порт, в Январские железнодорожные мастерские, постараться кое-кого протолкнуть в полицию — и тогда можно уже перейти к действиям широкого масштаба, по единому плану.

Беда заключалась в том, что люди, оставленные в городе для связи с обкомом и партизанскими центрами, были арестованы сигуранцей и гестапо. Об этом усиленно говорилось в городе. Это подтверждалось и тем, что два раза на заранее условленную явку представитель обкома не явился, хотя от себя Черноиваненко оба раза посылал Стрельбицкого,— и оба раза, прождав у ворот Второго христианского кладбища несколько часов, он возвращался в катакомбы с пустыми руками. Это, конечно, был большой удар. Но к этому Черноиваненко был готов. По прежнему опыту подпольной работы он знал, что такие случаи бывали, и даже нередко. Почти невозможно учесть все случайности. Теперь, стало быть, приходилось готовиться к самостоятельным действиям, не дожидаясь инструкций, и одновременно сделать все возможное, чтобы самостоятельно нащупать связь с центром.

Синичкин-Железный продолжал оставаться все в том же неопределенном, тягостном состоянии между жизнью и смертью. Иногда казалось, что уже начинается агония. Большие руки Синичкина-Железного приходили в странное, механическое движение, как бы безостановочно разглаживая складки шинелей, которыми он был укрыт. Глаза были закрыты, веки синели выпукло

и жутко. Мокрые пряди волос липли ко лбу с запавшими висками, и в этом мокром, желтом, как бы костяном лбу отражался огонек светильника. Дыхание больного было так редко, что между двумя вздохами, казалось, лежит целая вечность. Тогда Черноиваненко наклонялся к его большому восковому уху и, с трудом сдерживая слезы, кричал:

— Николай Васильевич! Николай Васильевич, вы меня слышите?

В эти минуты Пете делалось так страшно, что он готов был броситься на землю, закрыть голову руками и сам умереть, лишь бы не слышать этого свистящего — с каким-то внутренним бульканьем — дыхания.

Иногда Синичкину-Железному становилось лучше. Он приходил в сознание, начинал капризничать, сердиться, отсылал всех прочь, делал жалкие, ужасные попытки встать и одеться. В эти минуты никто не решался подойти к нему, кроме Лидии Ивановны. Она была единственным человеком, которому Синичкин-Железный позволял дотрагиваться до себя. Она переодевала его, кормила с ложки, поила, обмывала мокрым полотенцем, перевязывала его рану. Он держал ее дрожащими руками за шею, а она осторожно сыпала на рану сульфидин и потом крепко, но нежно бинтовала его накрест, ловко обкатывая вокруг его пылающего тела розовый бинт индивидуального пакета.

Она была прекрасна в своем неладно сшитом, слишком узком белом халатике. Петя заметил, что Лидии Ивановне идет любая одежда.

Прижимаясь головой к ее груди, пока она его бинтовала, Синичкин-Железный обычно бормотал ворчливым голосом, с трудом переводя дыхание:

— Вы меня покрепче, покрепче! Не бойтесь — не закричу. Валяйте! Мне бы только побольше свежего воздуха, а то здесь — черт бы его подрал! — действительно дышать нечем, в этом погребе. Но мы еще посмотрим, кто кого!..

Как это ни странно, но он не умер, выжил. Его старое могучее тело отчаянно боролось со смертью, но окончательно победил смерть его еще более могучий дух, непобедимая жажда жить и сражаться.

Однажды, проспав часов двенадцать подряд, он про-

снулся, покашлял и попросил Раису Львовну, дежурившую в это время при нем, позвать первого секретаря.

— Здравствуйте, Гавриил Семенович,— сказал Синичкин-Железный,— мне чуток полегчало, можете себе представить. На сей раз костлявой пришлось отступить на заранее приготовленные позиции.— Он попытался захохотать басом, но только сморщился и слабо махнул кистью своей громадной темной руки.

— Молчите. Вам не следует разговаривать,— произнес строго Черноиваненко.

— Не буду,— сказал Синичкин-Железный.— Буду писать. Дайте! — И он пошевелил пальцами.

Черноиваненко понял и принес ему лист бумаги, карандаш и папку.

Синичкин-Железный с трудом положил папку себе на впалую грудь, взял карандаш и стал медленно, с перерывами писать крупным, разборчивым почерком. Черноиваненко с любопытством заглянул в бумагу. Синичкин-Железный писал обязательство, причем писал его на память слово в слово. Написал до конца и подписался с росчерком.

— Возьмите и приобщите,— сказал он, отдышавшись.— Дело любит порядок. Извините, что не подумал раньше.

И с этого дня Синичкин-Железный медленно пошел на поправку.

28

«ПАРТИЗАН, СДАВАЙСЯ!»

Черноиваненко созвал бюро, для того чтобы разработать план дальнейших действий. Но, едва заседание начало обсуждение, раздался сигнал тревоги. Заседание было тотчас прервано.

Когда Черноиваненко с товарищами добрались до каменных залов, они увидели, что в завалах разобрана часть камней, а дежурный, Леня Цимбал, находится впереди, в ближайшей пещере. Пулемет, стоявший раньше у завала, теперь был выдвинут в щель выхода. Цимбал лежал возле него так, что все его туловище находилось в щели и только ноги оставались в пещере.

— Ну, что там произошло? — сказал Черноиваненко, опираясь на свой коротенький костылик.

Цимбал повернулся. Его лицо, покрытое пылью, было непривычно серьезно, даже мрачно.

— Видать по всему, они собираются идти на нас в атаку. Появились эсэсовцы.

Цимбал посторонился. Черноиваненко протиснулся между стеной и пулеметом и осторожно выглянул наружу. На поверхности был день, и это очень удивило Гавриила Семеновича. По его расчету, должна была быть ночь. Оказывается, они не спали уже двое суток. Черноиваненко увидел из щели очень ограниченное пространство: снежный откос балки, несколько сухих репейников, торчащих из сугроба, и за откосом — угол пятнистого грузовика, вокруг которого ходили немецкие солдаты в серо-зеленых шинелях и глубоких касках. Судя по голосам солдат, по характеру их движений, по шуму моторов, можно было заключить, что где-то дальше, вне поля зрения, находится еще несколько грузовиков.

— Что, дать им один раз как следует? — спросил Леня, берясь за пулемет.

— Минуточку! — сказал Черноиваненко, всматриваясь в фигуры немцев, которые продолжали что-то делать, возясь возле грузовиков.

Он заметил в стороне небольшой окопчик, обложенный снежным бруствером.

— Что это у них там за окопчик? — спросил он.

— Вроде наблюдательный пункт,— ответил Цимбал, не отрываясь от прицельной рамки пулемета.

— Да, похоже.

В это время над бруствером показалась немецкая офицерская фуражка и блеснули стекла бинокля, направленного прямо на щель хода «ежики». Затем рука сняла фуражку и помахала ею в воздухе, как бы желая обратить на себя внимание тех, кто смотрел из щели.

— Заметили нас,— негромко сказал Черноиваненко.

— Они уже давно заметили,— так же тихо ответил Цимбал.— Они уже пускали сюда какие-то сигнальные ракеты. Потому я и дал тревогу. Хотят обратить на себя внимание. Может быть, вызывают на переговоры?

— На переговоры? — мрачно усмехнулся Черноиваненко.— А ну-ка, Леня, дай им один раз длинную!

Но в эту минуту из снежного окопчика вырвалась зеленая ракета и почти влетела в щель, ткнулась рядом с ходом и догорела, плавя вокруг себя снег. Вокруг грузовика началось усиленное движение, крики, и, окруженная цепью немецких автоматчиков, показалась толпа каких-то страшных, темных, полуодетых людей. Некоторые из них шли босиком, с трудом переставляя по снегу сиреневые, отмороженные ноги. Некоторые кутались в рваные стеганки, надетые на грязное голое тело, или в красноармейские шинели, превратившиеся в лохмотья. На мертвенно-желтых, изможденных лицах темнели глазные впадины, такие глубокие, что не было видно глаз. Это уже были не люди, это были призраки людей, прошедших через все страдания, через все муки, которым их подвергли враги. Вид этих несчастных, умирающих людей, дошедших до последней степени страдания, был так ужасен, что Черноиваненко не выдержал, на один миг закрыл глаза и отшатнулся. Он ощупью нашел руку Цимбала и стиснул ее.

— Пленные...— произнес он глухим голосом.

— Вижу,— прошептал Леня, делая усилия, чтобы не закричать, не зарыдать, не удариться головой о каменную стену щели.

И в это время гитлеровцы отбежали в сторону и, поднимая автоматы, которые все время держали у бедра, открыли огонь по пленным. Они со всех сторон поливали их пулями, как из брандспойтов. Заглушая криками трясущийся звук десятка работающих автоматов, пленные метались в облаках снежной пыли, падали один за другим, дергались в лужах крови, которая в один миг покрыла снег и тонко, удушливо дымилась на морозе. Это продолжалось не больше двух минут, и вдруг все сразу стихло.

Когда Черноиваненко очнулся, перед ходом «ежики» уже не было ни немцев, ни грузовиков, и только протоптанный, взрытый и окровавленный склон балки против щели был усеян трупами.

Вокруг, от неба до земли, стояла такая громадная, такая подавляющая, неземная тишина, что слышался воздушный шорох снежинок, медленно опускающихся с белого неба на белую землю.

Черноиваненко некоторое время сидел, прижавшись

сгорбившейся спиной к стене щели, глубоко засунув руки в рукава, и молчал. Вдруг он решительно встал, выпрямился, поправил шапку и спустился в пещеру, где находились все подпольщики, кроме Серафима Тулякова, оставленного в лагере за старшего, и Пети с Валентиной, которые дежурили возле Синичкина-Железного.

Они неподвижно стояли возле щели в полном боевом снаряжении, с винтовками в руках. Они не видели того, что произошло, а только слышали слова, которыми изредка обменивались Черноиваненко и Цимбал, и беспорядочные автоматные очереди. Люди стояли неподвижно, с бледными лицами и темными глазами, казавшимися при свете «летучей мыши» еще темнее. Черноиваненко прошел в глубь пещеры, нащупал камень, сел на него, снял шапку, опустил голову и махнул рукой в сторону щели.

— Пойдите посмотрите,— сказал он устало.

И, пока они один за другим протискивались между стеной щели и пулеметом к выходу, смотрели и потом молча возвращались назад. Черноиваненко неподвижно сидел на камне, положив голову на руки.

Когда все — громадный Стрельбицкий, поддерживающий болтающийся сзади маузер в деревянной кобуре, а за ним Матрена Терентьевна с резким румянцем, появившимся на ее широких щеках, с красными, опухшими глазами, а за нею Святослав, бледный как смерть, подтянутый, с жесткой складкой поперек совсем юношеского, нежного лба, а за ним Лидия Ивановна, изо всех сил сжимавшая руку Свиридова и, наконец, Раиса Львовна с сухими, лихорадочно блестящими, мрачными глазами и седоватой волнистой прядью, выбившейся из-под туго затянутого на лбу платка,— когда все они, как бы отдав таким образом последний долг замученным товарищам, вернулись в пещеру, первый секретарь вытер ладонью глаза и щеки, тяжело поднялся с камня и сказал:

— Я думаю, товарищи, нет никакой необходимости долго обсуждать это событие. Смысл его нам ясен. Они хотят нас запугать, сломить наш дух...— Он осекся, с трудом перевел дыхание.— Хорошо...— Ему трудно было говорить.— Пусть попробуют...— сказал он почти шепотом

и снова вытер горстью глаза и щеки,— сломить наш дух!.. Наш дух — большевиков, ленинцев!

Он сделал два шага вперед и два шага назад, остановился, густо покраснел и вдруг крикнул высоким, резким голосом:

— Пусть попробуют!

Он медленно снял шапку и уже совсем другим голосом — тяжелым, ровным, как бы взвешивая каждое слово, сказал:

— Вечная память товарищам, погибшим в святой борьбе с проклятым фашизмом от руки подлых убийц, извергов рода человеческого! — Его лицо судорожно передернулось.— Смерть немецким оккупантам! — крикнул он срывающимся голосом и прибавил тихо, просто, мягко: — И потом вот что, товарищи. Там, в лагере, спят наши дети — пионеры Валентина и Петя. Так не нужно им это рассказывать. Вы знаете, что такое детская душа. Ее так легко поранить. Они уже и так хлебнули горя. А нам всем еще столько предстоит впереди... столько...

Он задумался, неподвижно устремив глаза вперед, потом быстро надел шапку, рванул пояс и сказал:

— Платон Иванович, вызовите людей Тулякова, удвойте караулы... А сами оставайтесь здесь и организуйте оборону... Остальные возвращаются в лагерь.

Но едва они пришли в лагерь, как снова раздался сигнал тревоги. Они поспешили назад, к ходу «ежики». Теперь на склоне балки, среди трупов расстрелянных пленных, стояла немецкая походная кухня. Она была окружена толпой местных жителей, оцепленных немецкими и румынскими солдатами. Очевидно, немцы согнали к этой кухне все население села Усатово. Перепуганные, дрожащие люди стояли, держа в руках миски, тарелки, казанки. Снова из снежного окопчика вылетело несколько сигнальных ракет, после чего началась раздача еды населению.

Толстый повар в высоком белом колпаке, красномордый, с черными закрученными усами, наливал в миски суп, бросая дымящиеся куски говядины, раздавал буханки свежего пшеничного хлеба. Время от времени, потрясая над головой уполовником, он кричал:

— Партизан, сдавайся! Хочешь кушать? На́ тебе кушать, выходи!

Черноиваненко увидел в толпе своего знакомого — румынского солдата-шутника в вязаном шлеме под пилоткой, с большим щербатым ртом. Он иногда выступал вперед и, щеголяя знанием русского языка, приставлял ладони рупором ко рту и, желая помочь повару, в свою очередь кричал:

— Партизан, иди сюда! Не бойся! Мы тебя не будем — пиф! Мы тебе будем дать кушать. Хлеба, мяса, супа! Хорошо! Ты голодный, я знаю. Тебе нет чего кушать. Ná — кушать! Выходи, не бойся! Румынски хорошо. Даешь!

Черноиваненко отстранил Тулякова, лег за пулемет и, установив его немного повыше толпы, нажал спусковой крюк. Пулемет вздрогнул, затрепетал в его напряженных руках. Люди шарахнулись, роняя миски. Толпа бросилась назад. Кухня опрокинулась. Раздался крик ужаса. И через минуту перед ходом «ежики» не осталось никого, кроме расстрелянных пленных. Но сейчас же где-то вдалеке прозвучал рожок горниста, послышались крики немецкой команды и ударили пушечные выстрелы. Снаряды один за другим со свистом вылетали из-за гребня балки и разрывались вокруг «ежиков», поднимая облака снега и разбрасывая во все стороны обломки ракушечника. Немцы злобно, беспорядочно, а главное — совершенно бессмысленно всаживали снаряд за снарядом во все щели и скалы, которые казались им подозрительными. Один снаряд угодил в щель «ежиков», обвалив часть стены. Опасности для подпольщиков эта глупая пальба не представляла. Они уже давно сидели в глубоком подземелье, даже не слыша звука разрывов и чувствуя лишь небольшое сотрясение почвы.

— Ну,— сказал Черноиваненко,— теперь пускай себе стреляют хоть до завтра, если они такие богатые. А что касается хода «ежики», то, я думаю, теперь мы его должны ликвидировать. Вряд ли он нам скоро пригодится.

И он отдал приказ снова и в последний раз наглухо заделать и заминировать «ежики».

29
ОТВЕТ ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ

Как ни были люди утомлены, как ни хотелось им есть и спать, пришлось немедленно взяться за кирки, лопаты и ломы.

Вдруг Стрельбицкий увидел в щель маленького деревенского мальчика, бегущего по направлению к «ежикам». Мальчик бежал без шапки, поминутно спотыкаясь и падая. Очевидно, ему было очень страшно бежать среди замерзших трупов, уже наполовину засыпанных снегом, среди лиловых согнутых ног и раскинутых рук со скрюченными пальцами. Но, видно, ему было еще страшнее остановиться или оглянуться назад. Он бежал, весь в снегу, с раскрытым ртом, с лицом, мокрым от пота, несмотря на холод. Он обеими руками прижимал к груди какую-то бумажку. А сзади, за его спиной, за гребнем балки, слышались свист, улюлюканье, грозные крики. Один раз, когда мальчик споткнулся и упал, за гребнем раздался выстрел и пуля чиркнула возле мальчика, подняв снежную пыль. Тогда мальчик вскочил и, сделав последнее усилие, наконец добежал до щели, в которой лежал Стрельбицкий.

— Ой, дяденька, не стреляйте! Ой, не стреляйте! — кричал он, задыхаясь и протягивая Стрельбицкому какое-то письмо.

Стрельбицкий высунулся из щели, поймал мальчика за рукав и хотел втащить его в пещеру, но мальчик затрясся всем телом и зарыдал:

— Ни, ни... Я не можу идти до вас в катакомбы. Если я пойду до вас в катакомбы, они убьют мамку и запалят хату. Они приказали передать письмо и зараз тикать обратно. Берите письмо и не держите меня за рукав.

Он посмотрел на Стрельбицкого снизу вверх полными слез глазами и быстро прошептал:

— Ой, дядя, хиба б вы чулы, як они, теи фашисты, над нами издеваются! Вы не знаете, когда уж они, проклятущие, сгинут?

— Скоро,— сказал Стрельбицкий.— На днях немцев сильно под Москвой побили. Вам это известно?

— А як же! Мы читали листовки... Ну, дай вам бог

здоровья, а я зараз побежу, бо слышите, як они там свистят.

За гребнем слышались свист и крики. Стрельбицкий взял письмо.

— Это от ихнего коменданта,— сказал мальчик и вдруг жалобно, просительно прибавил: — Только вы им, дяденька, не сдавайтесь. Держитесь! Народ на вас сильно надеется.

И мальчик, не оборачиваясь, побежал назад и скоро скрылся за гребнем.

Черноиваненко отложил в сторону кирку и руками, покрытыми землей и каменной пылью, разорвал длинный, из плотной, так называемой полотняной, бумаги на синей линючей подкладке конверт, на котором было написано хотя и вполне грамотно, по-русски, но все же каким-то нерусским, иностранным почерком: «Катакомбы. Начальнику подземного партизанского отряда».

Черноиваненко повертел конверт в руках, как бы не зная, куда его девать, а затем передал его ближайшему от него человеку — Святославу. Святослав прочел его и передал дальше. Пока конверт таким образом ходил по рукам, вызывая неопределенное, презрительное любопытство, Черноиваненко, надев очки, успел прочитать и самое письмо. Он сначала прочитал его быстро про себя, а потом вслух, с большим выражением, делая иногда короткие замечания.

— «Товарищи партизаны!» Восклицательный знак,— прочел Черноиваненко, приставив письмо к фонарю.— Они, подлецы, так и пишут: «товарищи». Ну и мерзавцы!.. «Красная Армия катится на восток. Возврата Советской власти и Красной Армии нет». Точка. «Доблестные, победоносные немецкая и румынская армии молниеносно продвигаются на восток». Вот именно! Продвинулись до самой Москвы и там получили по морде. «Ваша борьба бесцельна». Это мы еще посмотрим! «Нам известно, что вы терпите лишения, болезни, голод». Нетрудно догадаться! «Вы должны понять, что вы не повернете колеса военной истории назад». Колесо военной истории — это что-то сильно умное. «Сдавайтесь. Мы вам гарантируем жизнь в концентрационных лагерях на правах военнопленных. Срок ультиматума двадцать четыре часа. В случае непринятия нашего ультиматума мы

располагаем такими средствами, что вы будете уничтожены в одно мгновение». Соли нам на хвост насыпать... «Наш офицер будет ходить у выхода первой шахты». Стало быть, у «ежиков». Они, видать, кроме «ежиков», ни о каких других наших выходах понятия не имеют. Это надо учесть! «Он будет в белых перчатках...»

Тут Леня Цимбал хихикнул и к слову «белые» приложил такой эпитет, который невозможно привести в печати при всем желании. Черноиваненко строго посмотрел на Леню через очки и, повысив голос, повторил:

— «Он будет в белых перчатках. Вы должны выходить к этому офицеру по одному, без оружия. Военное командование». Все. Видать, придется-таки нам выходить и сдаваться этому... в белых перчатках,— сказал Черноиваненко.— Как вы на это смотрите, товарищи?

Он повернулся и вдруг увидел Синичкина-Железного, который стоял в штреке. Никто не заметил, как он подошел. Было трудно себе представить, каким образом ему удалось без посторонней помощи встать, одеться и дотащиться сюда. Все с удивлением смотрели на его длинную, костлявую фигуру, завернутую в шинель, как в больничный халат. Он стоял, тяжело опираясь на винтовку, трудно дышал и улыбался. Но что это была за улыбка! Если бы офицер в белых перчатках мог в эту минуту увидеть улыбку Синичкина-Железного, его бы, наверное, прошиб холодный пот.

А Леня Цимбал, как будто его тронули шилом, даже весь как-то вдруг взвился от веселья.

— Нет, товарищи, вы слышали что-нибудь подобное? — закричал он, хлопая себя по бедрам.— Ах, гады! Кому они предлагают сдаться? Да что они — одурели? Они, кажется, совершенно забыли, с кем имеют дело. Разрешите,— сказал он, беря из рук Черноиваненко письмо.— Пошли, ребята, в красный уголок! Мы им сейчас напишем ответ. Мы им напи-шем! — Его карие глаза блеснули озорно, неистово.— Мы им сейчас сочиним такой ответ, который даже и не снился нашим многоуважаемым предкам, написавшим в свое время, надо-таки признаться, добрую цидульку турецкому султану, как это довольно жизненно изображено в московской Третьяковской галерее, в картине Репина «Запорожцы»... Верно, товарищ Черноиваненко?

Но Черноиваненко взял из рук Лени Цимбала письмо и резко сказал:

— Нет!

— Что, опять нехорошо? — удивился Леня.

— Нет! — повторил Черноиваненко и скомкал письмо.— Не дождутся они, мерзавцы, такой чести, чтобы получить от нас письмо. Мы не запорожцы, а они — тем более — не султан. Нам с ними шутить не приходится. Мы им ответим, но только совсем в другом роде. Мы им покажем белые перчатки! — и бросил письмо на землю.

— Добре! — сказал Синичкин-Железный.— Я это разделяю. А их ультиматум все же надо подшить к делу.

С этими словами он медленно, кряхтя, наклонился, поднял письмо, не торопясь разгладил его и спрятал в карман.

— Николай Васильевич, кто вам разрешил вставать с постели? — строго сказал Черноиваненко.

— Я совершенно здоров,— мрачно блеснув глазами, ответил Синичкин-Железный.— И я очень вас прошу больше не возвращаться к этому вопросу.

— Так вот что, товарищи,— сказал Черноиваненко.— Пока что ход «ежики» окончательно мы не будем заделывать. Я думаю, он нам еще сослужит последнюю службу. А уж потом мы его прочно заделаем и будем ходить с черного хода.— Он многозначительно поднял брови.— Будем ходить с черного хода. Да.

На исходе ночи, в тот мертвый предутренний час, когда даже самых бдительных часовых обычно одолевает сон, Туляков и Цимбал, нагруженные большими трофейными минами, вылезли по веревке из колодца.

Мороза почти не было. Как это часто случается на юге, среди зимы вдруг наступила короткая оттепель.

Дул мягкий морской ветер, и звезды так равномерно мерцали, как будто бы по ним время от времени проводили темной ладонью.

Над головой небо было серое, и чем ниже оно спускалось, тем становилось темнее, а на горизонте, над мутными, безлюдными снегами, оно было как черный бархат.

Они пробрались через неохраняемый сад школы к самому дому и положили там все три мины. Две мины они пристроили у заднего крыльца, а одну, на всякий слу-

чай,— в воротах. Они так медленно ползли через сад, так долго лежали в сыром снегу возле каждой изглоданной зайцами яблони, так терпеливо пережидали малейший подозрительный шум, что на все это у них ушло не менее двух часов. Когда они вернулись к колодцу, по всем дворам села Усатова уже пели третьи петухи. Они благополучно спустились в колодец, зажгли оставленный фонарь и скоро достигли лагеря.

Их уже давно ждали. Все были в сборе, все были вооружены и ждали только сигнала, чтобы приступить к выполнению второй части задуманной операции. Тотчас весь отряд, в полном составе, отправился к ходу «ежики». Здесь все они вышли наружу и подняли страшную пальбу в воздух. Патронов в катакомбах осталось совсем немного, но для этого случая Черноиваненко приказал каждому человеку выпустить полную обойму. Они стреляли и бегло, и по команде, и залпом. Серафим Туляков строчил из пулемета, давая одну за другой длинные очереди. Цимбал бросил несколько гранат, которые, разрываясь, судорожными вспышками освещали землю, и небо, и трупы расстрелянных пленных. В довершение всего каждый во все горло кричал «ура». Они подняли такой шум, что издали можно было подумать, будто целый батальон идет в атаку.

Очень скоро где-то вдали стали вспыхивать электрические фонарики, послышалось несколько винтовочных выстрелов часовых или патрулей. В серое предутреннее небо полетели разноцветные сигнальные ракеты, и рожок горниста сыграл тревогу. И в тот же миг над Усатовыми хуторами вспыхнула молния, рванулось высокое разноцветное пламя, и грохнул взрыв, от которого задрожала земля,—это, по всей вероятности, поднятый по тревоге комендант выскочил со всем своим штабом на крыльцо, где совсем недавно побывали Туляков и Цимбал. И не успело эхо первого взрыва утихнуть где-то за волнистым краем сумрачной снежной равнины, как ударил второй взрыв, немного послабее первого, но тоже достаточно сильный,— вероятно, это из ворот школы выехала маленькая дежурная танкетка и напоролась на другую мину.

— Вот это и есть наш ответ турецкому султану,— сказал Черноиваненко.

После этого люди быстро спустились под землю, и ход «ежики», отслужив свою службу, был заминирован и заделан весьма прочно на долгое время.

30

«ТАРАС БУЛЬБА»

Утро, день и вечер отличались от ночи тем, что ночью не слышно было гудения примуса. Кроме обязательной утренней гимнастики, обтирания холодной водой, чистки оружия, патронов и зарядки аккумуляторов, Черноиваненко ввел ежедневную обязательную починку одежды и обуви. Теперь при совсем слабом свете фонаря красный уголок напоминал не то портняжную, не то сапожную мастерскую.

Однажды Черноиваненко порылся на своей каменной полке, вырубленной в стене, и взял оттуда «Тараса Бульбу» Гоголя.

— Займемся немножко художественной литературой,— сказал он,— почитаем «Тараса Бульбу». Сильная книга. Я ее люблю с детства. Освежим же в памяти страницы нашего славного прошлого и вспомним, как сражались за родину наши предки запорожцы против иноземного ига... идущего на них с Запада. Но только это мы попросим читать уже кого-нибудь помоложе: пусть читает наш комсомольский актив — Святослав или же наши пионеры Валентина и Петя. Приятно, когда молодой голос рассказывает о героике прежних дней.

Так начались ежедневные чтения подпольного райкома.

— «Андрий едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба,— читал Петя, облизывая языком сухие, бледные губы.— Скоро нам будет видно,— сказала проводница: мы подходим к месту, где поставила я светильню...» Совсем как у нас в катакомбах,— сказал Петя.

— Хорошо. Комментарии после,— заметила нетерпеливо Валентина.— Читай дальше!

— «И точно,— продолжал читать Петя,— темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они до-

стигли небольшой площадки, где, казалось, была часовня; по крайней мере, к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним виден был почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической мадонны. Небольшая серебряная лампадка, перед ним висевшая, чуть-чуть озаряла его...»

— Видишь, ничего общего,— сказала Валентина.

— Что «ничего общего»?

— Ничего общего с нашими катакомбами. Какая-то сплошная поповщина.

— А светильник? — сказал Петя.

— Светильник — это специально для освещения. А у них это что-то религиозное. Ладно, читай дальше.

И Петя стал читать дальше про таинственную татарку, которая подняла с земли медный светильник и зажгла его от лампады.

— «Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то, набрасываясь темною, как уголь, тенью, напоминали собою картины Жерардо della notte. Свежее, кипящее здоровьем и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность с изнуренным и бледным лицом его спутницы».

— Нет! — воскликнула Валентина, тряхнув калачиком заплетенных волос и сердито сверкнув глазами.— Нет, все-таки этот рыцарь Андрей — самый настоящий изменник родины. И правильно, что его в конце концов расстреляли.

— За дело расстреляли,— глухо произнес Синичкин-Железный, постукивая длинными пальцами по каменному столу.

— Ну, Петечка, читай дальше,— заметила Матрена Терентьевна рассеянно.— Не останавливайся после каждого слова.

— «Проход стал несколько шире,— продолжал Петя,— так что Андрию можно было пораспрямиться. Он с любопытством рассматривал сии земляные стены, напоминавшие ему киевские пещеры. Так же как и в пещерах киевских, тут видны были углубления в стенах и стояли кое-где гробы; местами даже попадались просто человеческие кости, от сырости сделавшиеся мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видно, и здесь также были свя-

тые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений...»

— Постой! — сказал вдруг Черноиваненко.— Я прослушал: кто это там укрывался в киевских пещерах от мирских бурь, горя и обольщений?

— Святые люди,— сказал Петя.

— Ну, это неверно! — воскликнул Черноиваненко сердито.

— Тут так написано,— скромно сказал Петя.

— Не все то правда, что написано. Подожди-ка.

Черноиваненко остановил рукой мальчика, который собирался читать дальше, и откашлялся.

— Прошу слова для небольшого замечания и фактической справки. Гоголь утверждает, что в киевских пещерах сидели святые люди, которые укрывались там от мирских бурь, горя и обольщений. Может быть, такие святые люди и были. Даже наверное были. Но все же история говорит нам, что киевские пещеры в основном имели военно-стратегическое значение. В них отсиживались киевляне во время монголо-татарского нашествия. В киевских пещерах монахи-воины хранили запасы продовольствия и оружие. Из пещер они совершали вылазки в тыл врага и наносили ему сокрушительные удары, они отстаивали от иноземного нашествия свою родину, а вовсе не укрывались от мирских бурь, горя и обольщений. Так что с этой стороны мы отчасти должны следовать их примеру и совсем не должны верить Гоголю, который очень тонко, по-гоголевски, как бы призывает своих читателей к пассивному сопротивлению и даже капитуляции перед лицом трудностей. А что касается литературной красоты, то на этот счет, конечно, у нас двух мнений быть не может. Нет слов — красиво. Даже прекрасно. Но исторически неверно,— решительно сказал Черноиваненко. Потом он с хитрой улыбкой вдруг посмотрел на товарищей, перестал улыбаться и прибавил очень серьезно, даже строго: — Учтите это.

— Можно продолжать? — спросил Петя после некоторого молчания.

— Продолжай, продолжай.

Но едва мальчик начал: «Сырость местами была очень сильна: под ногами...» — как вдруг Раиса Львовна задумчиво сказала:

— Товарищи, а вы знаете, что завтра Новый год?

Это неожиданное сообщение необыкновенно всех поразило. Они давно уже забыли о такой житейской вещи, как праздник. И им было не до праздников. Наступление Нового года, с которым люди обычно связывают так много надежд на будущее, привело их в сильнейшее волнение.

Тотчас «Тарас Бульба» был отложен в сторону, и началась подготовка к встрече Нового года. Особенно ухватился за эту встречу Черноиваненко, как за очень хорошее средство поднять настроение людей. Он до того расщедрился, что даже разрешил ради такого случая, кроме дежурной «летучей мыши», зажечь «ночью» еще два добавочных светильника. Что же касается торжественного новогоднего ужина, то, кроме обычной каши, которую решено было сберечь до обеда, первый секретарь разрешил подать к столу еще кусочек сала и коробочку леденцов к чаю.

Было известно, что у Черноиваненко в несгораемом шкафу хранится некоторый запас настоящего девяностошестиградусного спирта. Откровенно говоря, на этот запас сильно рассчитывал Леня Цимбал. Он уже несколько раз издали, самым деликатным образом, начинал заводить разговор на эту тему, но Черноиваненко или отмалчивался, или делал вид, что очень занят. Он и вправду был очень занят: сидел за своим каменным столом и, низко наклонив над бумагой голову в ушанке, медленно писал что-то карандашом; часто останавливался и поднимал глаза вверх. Судя по всему, он готовился к новогоднему итоговому докладу: составлял тезисы. Впрочем, иногда по его губам скользила странная улыбка.

Леня Цимбал томился, шагая взад-вперед возле первого секретаря. Иногда Леня садился за стол и, облокотясь на плечо Черноиваненко, пытался заглянуть в бумагу — скоро ли он кончит. Черноиваненко закрывал горстью написанное и отодвигал Цимбала:

— Леня, перестань ходить вокруг несгораемого шкафа.

— А я не хожу. Разве ж я хожу?

— Ты ходишь.

— Какой мне интерес ходить?

— Вот именно, что нет ровно никакого интереса. И не мечтай о том, о чем ты мечтаешь.

— А о чем я мечтаю?

— Это неважно. Но предупреждаю, что эти беспочвенные мечты так и останутся беспочвенными мечтами.

— Но почему же, Гавриил Семенович? — жалобно, почти нежно стонал Леня.— Хоть бы по сорок граммов на нос.

— Потому что это неприкосновенный запас: энзе.

— Даже ради такого случая?

— Даже ради такого случая.

— Вы меня, честное слово, удивляете!

— Хватит. Кончим эту дискуссию. Не мешай мне заниматься.

— Что ж, не надеялся я, что вы окажетесь таким несговорчивым,— говорил Леня, вздыхая и продолжая прохаживаться туда и назад мимо шкафа, видимо все еще на что-то надеясь, но Черноиваненко посмотрел на него с таким выражением, что Цимбал сделал испуганные глаза и отскочил.

...Петя и Валентина, лежа на столе заседаний, выпускали новогодний номер стенной газеты «Подземный большевик». Ради праздника им предоставили полную свободу, и они почти всю газету изрисовали карикатурами. Здесь была длинная карикатура в духе Кукрыниксов — «Утренняя зарядка», здесь был и румынский комендант, взлетающий на воздух вместе со своим штабом, и Матрена Терентьевна, роняющая крупные, как виноград, слезы над аптекарскими весами, на которых она взвешивает продукты, и целующиеся при свете «летучей мыши» Лидия Ивановна и Свиридов.

Но гвоздем номера была карикатура, предложенная и подписанная Леней Цимбалом. На этой картинке, занявшей больше четверти газеты, изображался разгром немцев под Москвой и Новый год в виде красноармейца, нанизавшего на штык Гитлера, Антонеску, Муссолини и всех прочих врагов Советской власти; в снегу валялись трупы гитлеровцев, брошенное оружие... И под всем этим красовалась ленточная подпись-лозунг: «С Новым годом наступающим, с немцем, гадом, отступающим!»

Впрочем, имелось также и несколько серьезных статей. Например, Святослав принес статейку о необходи-

ности в наступающем новом, тысяча девятьсот сорок втором году обратить самое серьезное внимание на пионеров Петю Бачей и Валентину Перепелицкую, которые, не имея возможности в силу создавшихся объективных причин посещать школу, могут отстать в учебе. Он предлагал обязать их по два часа в день учиться и просил районный комитет партии при первом же удобном случае обеспечить пионеров учебниками и письменными принадлежностями. Пока же учебников нет, рекомендовалось Валентине взять на буксир Петю и проходить с ним все предметы за шестой класс на память, а Валентине, в свою очередь, проходить все предметы за восьмой и девятый классы под руководством Святослава. Кроме того, Святослав предлагал немедленно приступить к обучению пионеров какой-нибудь профессии, пригодной и полезной для подпольной работы,— например, радиотехнике и изучению азбуки Морзе.

У Пети и Валентины слегка вытянулись физиономии, но все же они поместили статью Святослава, хотя и не на главном, но и не на слишком незаметном месте. Затем, подумав, они написали от себя обязательство за время пребывания в катакомбах пройти все предметы и подготовиться на «отлично» к весенним экзаменам.

Синичкин-Железный принес напечатанную на машинке очень длинную и скучно написанную статью о пользе дисциплины, бдительности, о бережном обращении с оружием и боеприпасами и прочим имуществом отряда, о нормах поведения в условиях осады и о прочем в том же духе. Статья изобиловала такими выражениями: «истекший период показал», «несмотря на ряд трудностей, обусловленных переходом отряда к тактике активного сопротивления», «в силу создавшейся нездоровой обстановки самоуспокоенности, могущей привести к потере бдительности», и так далее. С этой статьей, подписанной «Активный наблюдатель», пришлось порядочно повозиться. Она не влезала. Но сокращать ее Петя и Валентина не решались. Они вышли из положения очень просто: наклеили статью настолько, насколько она поместилась, а ее хвостик, который не поместился, так и остался висеть за пределами газетного листа.

Словом, все происходило именно так, как обычно происходит в маленьком советском учреждении в канун

праздника, как будто бы над головой не ходили фашисты и вокруг не было никакой опасности. И в этом была особая прелесть.

31

ПОД НОВЫЙ ГОД

Повесив на стенку новую, нарядную новогоднюю стенгазету, еще мокрую, тяжелую от клейстера, и вдоволь ею налюбовавшись, Петя и Валентина отправились к колодцу за своим луком. Они заранее предвкушали восторг и удивление всего отряда, когда вдруг на новогоднем столе, откуда ни возьмись, появится пучок настоящего, свежего зеленого лука.

Во-первых, это будет красиво; во-вторых, вкусно; в-третьих, очень полезно для людей, испытывающих постоянный недостаток витаминов.

Они сели на корточки, сняли с лука стеклянную банку и стали рвать короткие, вялые ростки, вовсе не такие красивые, какими они все время представлялись.

Мальчик рвал лук, очень живо представляя себе, какую можно было бы написать выдающуюся статейку в «Пионерскую правду», если бы, конечно, как-нибудь удалось ее отправить из Усатовских катакомб в Москву. Вот это была бы корреспонденция так корреспонденция! Не то что «на борту самолета номер такой-то, на высоте 1400 метров над уровнем моря». Нет! Это было бы: «В тылу врага, в катакомбах, на глубине 15 метров под уровнем моря». Это был бы триумф практического применения ботаники к нуждам партизанского движения в глубоком тылу врага. Конечно, Петя не выпячивал бы свою исключительную роль в деле строго научной постановки опытов проращивания лука, покрытого обыкновенной стеклянной банкой, на глубине пятнадцати метров под уровнем моря. Он был бы строго объективен, как это и подобает настоящему пионеру-ученому. Несомненно, он упомянул бы и об одесской пионерке Валентине Перепелицкой, которая содействовала проведению в жизнь его научных идей, хотя и не обладала достаточной теоретической подготовкой и не всегда разделяла его взгляд на значение витаминов для здоровья человека. Но все же

он был бы справедлив. Может быть, он даже проявил бы похвальную скромность и написал бы: «Группе пионеров, в составе Пети Бачей и Валентины Перепелицкой, под руководством пионера Пети Бачей, вице-президента кружка юных натуралистов, удалось добиться блестящих результатов в деле проращивания обыкновенного репчатого лука, богатого витамином С...»

— Ой, Петька! — вдруг закричала Валентина.— Посмотри!

Посредине шахты колодца, как раз против хода в катакомбы, в воздухе висела корзинка, обыкновенная небольшая плетеная красноталовая корзинка, из числа тех, с которыми обычно одесские хозяйки ходят на базар. В ней лежало что-то завернутое в серый вышитый рушник. Валентина по пояс высунулась из хода катакомбы в шахту колодца, отвязала корзинку от веревки, спущенной сверху, и втащила ее в подземелье. Они наклонились над загадочной корзинкой и прежде всего увидели бумажку, приколотую к рушнику булавкой. На бумажке, вырванной из тетрадки в косую линейку, было написано химическим карандашом аккуратным школьным почерком:

«С Новым годом, дорогие товарищи! Кушайте на здоровье и поправляйтесь. Извините, что так мало посылаем: у самих уже почти ничего не осталось ввиду того, что они чисто все позабрали. Почаще присылайте сводку Совинформбюро, ждем с большим нетерпением».

Петя и Валентина со всяческими предосторожностями отогнули подвернутый угол рушника, заглянули в корзинку и даже завизжали от восторга.

И в эту торжественную новогоднюю ночь на праздничном столе подпольщиков, кроме каши, кусочка сала и коробочки леденцов, как по волшебству, появилось метра полтора жареной домашней колбасы, свернутой спиралью, как часовая пружина, круглый плетеный калач серого пшеничного хлеба и кварты четыре красного самодельного вина, лилово-черного, с розовой пеной, в глечике, обвязанном тряпочкой.

— Ну, что вы на это скажете, Гавриил Семенович? — с торжеством воскликнул Цимбал, потирая руки при виде глечика.— Есть правда на свете или нет?

— Есть правда на свете,— сказал Черноиваненко.

— Есть бог наверху?

— Нет бога наверху.

— А кто ж есть наверху?

— Люди! — гордо блестя глазами, сказал Черноиваненко, упирая на слово «люди».— Люди есть наверху. Хорошие советские люди. Весь наш партийный и беспартийный актив. Народ.

— Вы меня опередили в моей мысли. Я имел в виду выразить то же самое, только другими словами, более подходящими для такого новогоднего случая. Есть наверху народ. Согласен с вами. А народ бессмертен. Значит, народ все равно что бог. Поняли мою мысль?

— Люди! — сердито и вместе с тем весело крикнул Черноиваненко.

— Правильно,— поспешно согласился Леня.— Поэтому надо выпить за людей.— И он проворно взялся за глечик.

Черноиваненко осторожно вынул из рук Лени глечик и поставил его в сторону.

— Тосты начнутся ровно в двенадцать,— сказал он.

— А сейчас?

— Без двадцати.

— Откуда вы знаете?

— На моих вокзальных.

Черноиваненко поднес к самому носу Цимбала часы. Они показывали без двадцати минут двенадцать.

— Верно! — с удивлением сказал Леня.— Так они ж у вас перестали ходить?

— А теперь ходят.

— Ах, чтоб вы пропали! — засмеялся Леня.— Вы кому хотите задýрите голову. Я ж знаю, что они у вас не ходят.

— Не ходят, а показывают. Во, фокус!

— Ну, вас не перекрутишь! — с досадой сказал Цимбал, обходя вокруг стола и нарочно не смотря на глечик.

Действительно, «перекрутить» Черноиваненко была вещь немыслимая, даже в новогоднюю ночь. Он и тут остался верен себе. Он терпеть не мог ни малейшего беспорядка и расхлябанности. Все должно происходить основательно, достойно. Он нарочно поставил свои испорченные часы на без двадцати двенадцать. Через некоторое время он переведет их на двенадцать, для того чтобы встреча Нового года произошла по всем прави-

лам, как у людей. А сколько времени было в действительности, он не знал: может быть, три часа утра.

Подождав, когда все расселись вокруг стола, он посмотрел на часы и сказал:

— Без пяти двенадцать. Приготовились!.. Матрена Терентьевна, будь такая ласковая, нарежь товарищам хлеба и колбасы и налей им по полкружки вина. Детям тоже.

И хотя все понимали, что часы Черноиваненко не ходят и что все это делается лишь «принципиально», однако все почувствовали некоторое торжественное, приподнятое состояние. В этот миг все вокруг стало как-то наглядно празднично: и два добавочных светильника, и чистая простыня, которой был накрыт стол, и новая белая бумага, вырезанная фестончиками, которой Матрена Терентьевна успела застелить «полку» с книгами.

Запавшие глаза заблестели ярче, румянец выступил на похудевших, истощенных лицах.

Черноиваненко снова посмотрел на часы.

— Еще трошечки потерпите,— сказал он добродушно.— Без одной минуты двенадцать.— Он поднял свою кружку.— А вот теперь как раз ровно двенадцать. С Новым годом, товарищи!

Он еще выше поднял кружку и вдруг решительно, во весь голос запел «Интернационал». Все поднялись с кружками в руках и подхватили эту прекрасную песню, с которой было связано столько славных воспоминаний; этот грозный пролетарский гимн борьбы и победы. Они спели его от начала до самого конца, не пропустив ни одной строфы, все с новым и новым воодушевлением, с растущей страстью, особенно дружно подхватывая припев:

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Ин-тер-на-цио-на-а-лом
Вос-пря-нет род люд-ской!

Затем они стали с кружками в руках обходить друг друга, чокаться и целоваться.

Петя увидел близко от себя потемневшие, расширившиеся глаза Валентины. В ту же минуту кровь хлынула ему в голову, и краска смущения с такой силой залила лицо мальчика, что на глазах выступили слезы и стало

плохо видно. Валентина взяла его ледяной рукой за голову и три раза приложилась твердыми, прохладными губами к его щеке. Кружка заколебалась в его пальцах, и на стол потекло красное вино, которое тотчас стало на белой простыне лиловым.

Петя увидел Святослава, который подходил к ним с поднятой кружкой. Как через воду, он услышал его веселый голос:

— Ну, пионеры-ленинцы, с Новым годом!

И он увидел, как Святослав поцеловался с Валентиной. Они поцеловались почти так же, как и Петя с Валентиной. Разница была лишь в том, что Святослав, сияя золотистыми глазами, взял Валентину рукой за нарядную голову, за то место на затылке, где у нее висел плетеный калачик связанных кос, и потянул ее к себе. Но вместо того чтобы целоваться, Валентина вдруг густо, жарко, как-то неистово покраснела, закрыла глаза и положила голову на плечо Святослава. Тогда он ласково наклонился к ней и три раза поцеловал ее в улыбающиеся губы.

— Но что меня удивляет больше всего,— воскликнул Леня Цимбал,— так это поведение нашего уважаемого первого секретаря! Вы заметили, что он даже не сделал нам итогового доклада?

— Итоговый доклад мы уже имеем,— сказал Черноиваненко, с удовольствием отпивая вино маленькими глотками и каждый раз совсем по-детски облизывая губы.— Вот наш итоговый доклад.

Он взял со стола записочку, которая была приколота к корзинке.

— Это оценка народом нашей работы. Судя по колбасе, хлебу и доброму красному винцу, оценка в основном положительная. Но имеется и кой-какая критика. Народ намекает на недостатки нашей работы. Он требует, чтобы мы не забывали своевременно доводить до его сведения сводки Совинформбюро. И я думаю, в наступившем тысяча девятьсот сорок втором году мы должны это также учесть в своей работе. Ведь мы не только подрывники — мы также еще и агитаторы, пропагандисты. Поэтому напомню слова Владимира Ильича, произнесенные им перед партийными работниками еще в годы гражданской войны: я их до сих пор помню! «Вы должны,—

сказал Ильич,— твердо помнить, что вы не только пропагандисты-агитаторы, а что вы представители государственной власти, что каждый агитатор есть полномоченный представитель Советской власти».

Это была хоть и маленькая, но все же речь. Но больше уже Черноиваненко не произнес ни одной речи. Ужин прошел весело, но, к сожалению, очень быстро.

Ух, какое это было удовольствие, даже счастье — класть в рот кусочки золотисто поджаренной вкусной, острой колбасы с чесноком и перцем, заедать ее серым пшеничным калачом и запивать терпким красным вином, от которого чернели губы!

Все же на двадцать человек еды оказалось совсем немного — всего сантиметров по десять колбасы и по куску хлеба на брата. А вина и того меньше — всего по три четверти кружки. Так что в дело скоро пошла пайковая каша. После ужина стали, как водится, «спиваты».

Начала петь Раиса Львовна. Она раскраснелась от вина, развеселилась, и вдруг в ней на короткий миг пробудилась та, прежняя, добродушная и музыкальная Раиса Львовна. Своим прелестным голосом, сильным, страстным, с каким-то очень приятным надрывом, она завела «Виють витры» и сделала сердитый знак рукой, чтобы ей подтягивали, но все молчали, завороженные ее пением. И она спела одна под аккомпанемент мандолины Тараса Середы. Потом опустила растрепавшуюся голову на руки, и неизвестно было, что она делает — смущенно смеется или плачет. Но, когда она подняла голову, ее глаза снова были мрачны и сухи.

— Товарищи, а теперь разрешите мне исполнить соло, а вы подхватывайте,— вдруг сказал Черноиваненко, который отродясь не пел соло, а обычно только подтягивал басом.

Заметно волнуясь, он порылся в своих бумагах, надел очки и, многозначительно посмотрев из-под них на товарищей, неожиданно запел довольно сильным, приятным голосом, дирижируя себе рукою, на мотив известной в свое время песни «Оружьем на солнце сверкая»:

В сырых катакомбах глубоких,
Где воздуха мало порой,
Где много обвалов широких,
Живем мы родною семьей.

За неимением у нас в организации члена Союза советских письме́нников, пришлось сочинять самому. Извините. Давайте, ребята! Ну-ка, дружно! Ну-ка, разом! Ну-ка, взяли! — сверкая очками, крикнул он и взмахнул карандашом:

Нам вера надежду рождает,
Нам вера и бодрость дает,
Кто верит — всегда побеждает,
Позиций своих не сдает.

— Хорошо! — сказал глухим басом Синичкин-Железный и даже зажмурился от удовольствия, смахнув с глаз слезу.— А я и не знал, Семенович, что ты поэт! Молодец, секретарь!

И все с особенным удовольствием и значением подхватили:

Кто верит — всегда побеждает,
Позиций своих не сдает.

Петя неподвижно смотрел перед собой, и в его утомленных глазах двоились, множились огоньки светильников, наполняя смуглый воздух катакомб хрустальными, как бы гранеными огоньками елочных свечей...

32

«КОМИССІОННЫЙ МАГАЗИНЪ»

Сначала дела Колесничука пошли недурно. У него был «чистый» паспорт. Его личность не внушала оккупационным властям никакого подозрения. Он был беспартийный советский бухгалтер Чаеуправления, сын одесского мещанина, приказчика известного мануфактурного магазина Братьев Пташниковых. Стало быть, он имел какое-то отношение к торговле. Ему без труда выдали разрешение на открытие магазина «Жоржъ» Г. Н. Колесничука.

Задание, которое поставил перед Колесничуком Черноиваненко, заключалось в том, что, во-первых, комиссионный магазин «Жорж» должен был служить явкой, во-вторых, сам Колесничук — хозяин явки — должен был собирать информацию, необходимую для Черноиваненко,

и, в-третьих, на Колесничука, как на владельца магазина, возлагалась обязанность всю чистую прибыль предприятия передавать в партийную кассу подпольного райкома.

Все это было крайне сложно, не говоря о том, что безумно опасно. Однако Колесничук как бы совсем не чувствовал опасности, которой подвергался каждую минуту. Он честно исполнял свой долг перед Родиной, так же просто и скромно, как он исполнял его до фашистского нашествия, работая бухгалтером в Чаеуправлении. Может быть, сейчас он был даже еще спокойнее, по крайней мере внешне. Его работу нельзя было назвать иначе, как героической.

Ему очень трудно было примириться со своей презренной профессией «частного» торговца. Но он знал, что принял на себя это унижение для пользы дела. Он дал слово Черноиваненко и старался торговать как можно лучше.

Но торговать он не умел, хотя и пытался всеми силами постичь не слишком сложную науку торговли. Он с детства ненавидел и презирал лавочников. Самый факт, что он сам сделался лавочником, все время раздражал его. Невозможно было успешно торговать и наживать барыши, не обманывая и не прибегая к мелкому, ежедневному мошенничеству, а на это он не был способен. Впрочем, все это обнаружилось не сразу, а гораздо позже, примерно через год после того, как он повесил над дверью своего магазина полосу бязи с намалеванной на ней синей клеевой краской постыдной надписью: «Комиссіонный магазинъ «Жоржъ» Г. Н. Колесничука».

Первые месяцы все обстояло прекрасно, однако это совсем не зависело от торговых способностей Колесничука. Просто-напросто Черноиваненко снабдил его магазин ходким товаром, который Колесничук продавал по такой дешевке, что скоро его магазин стал самым популярным комиссионным магазином не только на всей Дерибасовской, но и по всей Транснистрии и даже за ее пределами: в Аккермане, Кишиневе и даже, как говорили, в Яссах.

От покупателей не было отбою. Особенно бойко раскупались отрезы ленинградского костюмного трико. Собственно, на этом ленинградском костюмном трико, продаваемом буквально за гроши, и держалась вся коммерция Колесничука. Правда, очень недурно шли также харь-

ковские велосипеды и фотоаппараты «ФЭД». Колесничук простодушно торжествовал, приписывая это своей коммерческой сметке:

«Ух, как я, однако, здорово торгую!» — с некоторым, впрочем, удивлением восклицал про себя Колесничук.

В его кассе завелись оккупационные марки и даже несколько сотен рейхсмарок. Он их аккуратно складывал в маленькую ручную несгораемую кассу. Он предвкушал ту минуту, когда Черноиваненко потребует у него денег и он с торжеством выложит на конторку прибыль. Он представлял себе, как будет поражен его коммерческими успехами Черноиваненко.

Первое время Черноиваненко не появлялся. От него не было никаких вестей, если не считать глухих заметок о деятельности группы таинственных партизан, скрывающихся в Усатовских катакомбах, которые время от времени Колесничук читал в «Одесской газете», выходившей на русском языке.

За срок кратковременного процветания своего торгового предприятия Колесничук постарался придать себе респектабельный вид немолодого, солидного негоцианта. С раннего детства и на всю жизнь запомнилась ему внешность старшего приказчика магазина Братьев Пташниковых, некоего господина Пржевенецкого, роскошного поляка, щеголя и «шармёра», от которого были без ума все постоянные покупательницы фирмы. Его визитка, штучные брюки, галстук рисунка «павлиний глаз» и жемчужина в этом галстуке, демисезонное пальто колоколом, твердый касторовый котелок, жгучие закрученные усы, наконец, вкрадчивый баритон, которым он с неизъяснимой убедительностью произносил слова «мадам» и «мсьё»,— все это казалось Колесничуку верхом элегантности. И теперь Колесничук постарался придать себе внешность господина Пржевенецкого. Он приобрел на базаре драповое демисезонное пальто колоколом, весьма напоминающее пальто господина Пржевенецкого (очень может быть, что это пальто и было подлинным пальто Пржевенецкого!); затем он выбрал из «своего товара» не слишком старый котелок, и, наконец, он отпустил усы. Усы оказались довольно седыми и почему-то пепельно-рыжими; такие могли быть у пожилого украинского казака-сечевика или чумака, везущего соль из Перекопа в Полтаву.

Тогда Колесничук купил с рук на том же базаре флакон настоящей дрезденской краски для волос и выкрасил свои запорожские усы, после чего они стали вполне черными. Он намазал их бриллиантином и туго закрутил вверх. Лицо его приобрело странное, злодейское и вместе с тем невинно-младенческое выражение. Визитку и штучные брюки раздобыть не удалось, зато среди комиссионного хлама нашлось несколько дюжин высоких твердых бумажных воротничков и манишек, так что в конце концов Колесничук если и не стал вполне похож на господина Пржевенецкого, то, во всяком случае, весьма к этому приблизился.

Занимаясь всеми этими делами, Колесничук ни на минуту не забывал о своей Раечке. Впервые в жизни он остался один, без жены. Он испытывал без нее такое гнетущее одиночество, он так тосковал, так волновался, так беспокоился о ее судьбе — особенно по вечерам, когда оставался один в своей запущенной, грязной комнате. Он иногда готов был бросить все к черту и бежать, бежать от постылого комиссионного магазина, от пальто колоколом, от котелка, от глупых усов, от самого себя. Но он знал, что находится на посту, выполняет боевое задание, и он отчаянным усилием воли заставлял себя работать.

После первых кратковременных успехов Колесничук вдруг заметил, что выручка стала заметно падать. Он долго не мог понять причину упадка своей торговли. А причина была очень простая: он распродал все хорошие вещи, все ленинградские отрезы, которые действительно представляли большую ценность, а на остальные товары покупателей находилось мало.

В конце января наконец пришла весть от Черноиваненко.

Однажды утром в магазин вошел молодой человек в совершенно новом зимнем пальто с каракулевым воротником, в пыжиковой треухой шапке, завязанной наверху тесемочками, и в калошах. У человека был такой вид, как будто он только что вышел из магазина готового платья. Словом, это был вполне благополучный, даже преуспевающий, зажиточный молодой человек. Единственно, что немножко портило общее благоприятное впечатление,— это несколько косых слежавшихся складок на спине и на рукавах, говоривших о том, что пальто, видимо, долгое

время пролежало в сундуке и не было выглажено после того, как его оттуда извлекли. Такой же вид имел пыжиковый треух — его слежавшийся мех торчал в разные стороны. Потоптавшись в дверях и отряхнув снег, молодой человек подошел к Колесничуку и посмотрел на него нежнейшими, прямо-таки девичьими карими глазами, в которых где-то, в самой их влажной глубине, сверкала какая-то отчаянная, устрашающая решимость.

— Здравствуйте, Георгий Никифорович,— сказал молодой человек отчетливо.— Я к вам от Софьи Петровны. Она прислала узнать, чи вы получили письмо с Бухареста от господина Севериновского.

Сердце Колесничука дрогнуло. Он широко улыбнулся и произнес со вздохом еле сдерживаемой радости и нетерпения заученную фразу:

— Представьте себе, уже два месяца нет писем. Такой неаккуратный господин!

Глаза молодого человека просияли.

— Слушайте,— быстрым шепотом сказал он и оглянулся на дверь,— имею пару слов от Черноиваненко. Во-первых — пламенный боевой привет, а во-вторых — ряд поручений. Срочно необходимы копировальная бумага и ленты для пишущей машинки размером тринадцать миллиметров. Можете обеспечить?

— Безусловно, мсьё,— привычным тоном господина Пржевенецкого сказал Колесничук, изгибаясь над прилавком, но сейчас же спохватился и поправился: — Обеспечу. А сколько надо копирки и лент?

— Копирки листов двести — триста, а ленты катушек пять. Не мешало бы также тонкой бумаги, чтобы можно было делать четыре-пять копий. Бумаги чем больше, тем лучше. Наш запас уже на исходе, а расход большой. Понимаете?

— Понимаю,— кивнул головой Колесничук.— Обеспечу.

— Теперь еще такое дело: пару обыкновенных автомобильных аккумуляторов, но только хорошо заряженных.

— Это уже труднее,— подумав, сказал Колесничук.

— Хоть из-под земли!

— Постараюсь.

— Не «постараюсь», а «так точно»! — прошептал мо-

лодой человек и нервно покрутил на голове свой пыжиковый треух.

Колесничук обидчиво пошевелил крашеными усами, но, вместо того чтобы обидеться, хлопнул ладонью по прилавку и воскликнул:

— Нехай так! Будет. Обеспечу,— и вдруг улыбнулся своей широкой, запорожской улыбкой.

— Ну, вот это другой разговор! Теперь: все эти предметы вы, прошу вас, культурненько запакуйте, по возможности, в один большой пакет, а еще лучше — забейте в ящик. До вас заскочит человек.

— Будет сделано.

— И еще один вопрос,— несколько замявшись, сказал молодой человек.— Гроши. Давайте выручку, сколько у вас там есть, а то у нас люди уже вторую неделю сидят на голодном пайке. Приходится за продуктами посылать на базар, а там, к сожалению, даром не дают. И надо эту операцию провести в два счета, а то возле кафе Робина меня дожидается еще один наш товарищ.

То и дело посматривая на дверь, Колесничук торопливо достал из ящика шкатулку и сунул в подставленный карман молодого человека всю наличность.

— Живем! — сказал тот, протягивая Колесничуку руку, во все поры и складочки которой въелась серая подземная пыль.— Большое спасибо. До скорого!

Они крепко пожали друг другу руку, и молодой человек хотел было уже выйти из магазина, но Колесничук сказал:

— Молодой человек, подождите. А расписка?

— Верно!

Молодой человек быстро пересчитал деньги, написал расписку на клочке бумаги, который дал ему Колесничук, и исчез так же внезапно, как и появился.

Все это произошло с такой быстротой и четкостью, что Колесничук не сразу пришел в себя от неожиданности. Когда же он очнулся, то вдруг спохватился, что ничего не успел узнать о Раисе Львовне. Как был, без пальто и шапки, он выбежал на улицу, чтобы вернуть молодого человека. Но его уже и след простыл.

В лицо Колесничуку ударил жгучий ледяной ветер, хлынувший откуда-то сверху, с крыши. Облака пурги в смятении бежали по Дерибасовской улице, обгоняя друг

друга. Бешеный норд-ост со свистом точильного камня резал углы, врывался в проломы разрушенных домов, в зияющие дыры окон, гнул катальпы и трепал их черные стручки, длинные, как шнурки ботинок. И среди этого белого хаоса, окутавшего город, одна за другой скользили мутные тени людей, которые, еле удерживаясь на ногах, согнувшись, шли против ветра, таща за собой салазки с домашним скарбом и закутанными детьми. Это были евреи, по приказу военного командования идущие на Пересыпь, в гетто. Они шли покорно, одни, без конвоя.

Весь засыпанный снегом, с обледеневшими ресницами и усами, Колесничук вернулся в свой полутемный магазин. Не вытирая лица, он сел на стул возле маленькой, вишнево раскаленной железной печки. Он поставил локти на колени, опустил голову на руки, закрыл веки. Перед его глазами в темноте плавали огненные отпечатки раскаленной заслонки. Он готов был плакать. Только что он видел человека «оттуда» — настоящего, хорошего советского человека. С каким наслаждением он слушал его свободный, решительный голос! Он читал бесстрашную мысль, написанную на его оживленном, прекрасном, поистине человеческом лице. Он пожал крепкую руку с резкими линиями, в которые въелась пыль катакомб. Ему передали оттуда пламенный боевой привет. В этом привете ему слышался также и голос Раечки. И вот он снова один, в своей добровольной тюрьме, окруженный какими-то дурацкими самоварами, по которым бегают угрюмые отражения печки, а вокруг — буря, шторм, белые привидения вьюги, косо несущиеся по искалеченным улицам, и море, замерзшее до самого горизонта.

Как бы желая продлить чувство общения с далекими друзьями, он прочитал расписку: «Получено от Георгия Никифоровича, господина Колесничука, наличными столько-то оккупационных марок. Леонид Кухаренко», спрятал ее в шкатулку — и снова остался один. Но теперь он уже не чувствовал себя таким безвыходно одиноким. В его жизни появилась цель: он получил прямое боевое задание, и он выполнит его со всей аккуратностью и добросовестностью, которыми всегда отличался на работе.

33

ШКАФ ФИРМЫ БЕРНГАРДТ

Не прошло и месяца, как в магазин снова неожиданно вошел человек в знакомом пальто, в знакомом пыжиковом треухе с тесемочками и в новых калошах, которые на этот раз не были залеплены снегом, а сверкали, как брильянтовые, от воды ранней оттепели. Бегло окинув пустой магазин подозрительным, прищуренным взглядом, он подошел к прилавку, за которым праздно томился Колесничук, поставил на прилавок локоть и протянул руку, не вполне отмытую от въевшейся в нее земли.

— Как живешь, старик? Что-то я не замечаю, чтобы твой универмаг ломился от покупателей,— весело сказал он, снимая с мокрой, вспотевшей головы шапку и расстегивая воротник пальто.— Фу, совсем запарился! Я думал, что у вас наверху еще зима, а оказывается, уже потекло. Совсем весна!

Это был Черноиваненко.

— Тю, ты! — просияв, воскликнул Колесничук.— А мне показалось, это опять тот самый чудак Кухаренко, который приходил в прошлый раз. Смотрю — и не узнаю. То же самое пальто, тот же самый чепец...

— Пальто и чепец специальные, для выхода в город. Один на всех. А «чудак Кухаренко» — это наш Леонид Цимбал... Слушай, тебе еще не пора запирать на обед свою погребальную контору?

— Можно,— сказал Колесничук.

Он запер входную дверь и повесил картонку с надписью на немецком языке: «Заперто». После этого они удалились в маленький чулан позади магазина.

Черноиваненко с наслаждением снял пальто и калоши. Он до того запарился на жарком предвесеннем солнышке, что его гимнастерка пропотела на спине и под мышками и даже слегка дымилась. Они уселись на ящиках и закурили, поглаживая друг друга по колену. Это было сдержанное выражение радости, которую они испытывали, видя друг друга живыми и здоровыми. Они весело помолчали, на чем и закончилась сентиментальная часть их встречи.

— Ну, Жора,— сказал Черноиваненко,— во-первых, большое тебе спасибо за копирку, ленты, бумагу, акку-

муляторы. И за гроши, конечно. Но главное — за аккумуляторы. Ты нам очень помог. Еще раз спасибо! — Он привстал и, сделав серьезное лицо, крепко пожал руку Колесничуку.— И, во-вторых, имеется для тебя приятный сюрприз.

Черноиваненко полез в нагрудный карман гимнастерки. Сердце Колесничука ёкнуло.

— Получай! — И Черноиваненко протянул Колесничуку клочок серой, грубой бумаги, сложенной вчетверо.

Пальцы Колесничука дрожали, когда он разворачивал записку. Там было всего три слова, напечатанных на пишущей машинке без знаков препинания: «Люблю тоскую Рая».

Глаза Колесничука наполнились слезами.

Черноиваненко стоял перед ним, расставив ноги, и держал зажженную спичку. Колесничук понял. Он посмотрел на Черноиваненко жалобными глазами. Но Черноиваненко отрицательно замотал головой. Тогда Колесничук в последний раз приложил бумажку, пропитанную сырым запахом подземелья, к черным усам, сунул ее в пламя и отвернулся. Ему больно было смотреть, как она горит... Она догорела дотла. Пепел упал, и незаметный сквознячок поволок его по полу.

— Чудак человек, чего ж ты расстраиваешься? — сказал Черноиваненко и ласково погладил Колесничука по плечу.— Не журись! Живы будем — побачитесь.— И вдруг, несмотря на всю серьезность минуты, фыркнул, не в силах удержаться от смеха, и махнул рукой: — А ну тебя, на самом деле, с твоими усами! Не могу на них равнодушно смотреть. Они мне мешают сосредоточиться.

— А что, скажешь — плохие усы? — несколько обидчиво спросил Колесничук.

— Нет, зачем! Шикарные! Но лично меня они прямо-таки пугают. Жуть!

— Ну, дорогой мой,— сухо сказал Колесиичук,— чем критиковать мои усы, лучше бы посмотрел на свое пальто.

— А что? — встревожился Черноиваненко.— Чем плохая вещь? В этом пальто у меня вполне подходящий вид. Приличный господин из бывших советских, поступивших на службу к оккупантам,— хоть сейчас вешай за измену родине. Скажешь, нет?

— Очень возможно. Только оно слишком измято. Вы его там у себя когда-нибудь гладите?

Черноиваненко развел руками:

— Утюга не захватили. В том-то и дело! Кстати, в твоем грандиозном торговом предприятии не найдется какого-нибудь подходящего утюга?

— Чего-чего, а утюгов и ступок сколько угодно,— печально заметил Колесничук.

— Так я захвачу с собой один утюжок. Ты мне напомни.

— Добре. Можешь их забирать хоть все. А еще лучше — я тебе подберу какое-нибудь более подходящее для сезона пальто и шляпу, а это оставь на комиссию. Может быть, найдется какой-нибудь обезумевший чудак и купит.

— Хорошо. Буду уходить — подбери... А теперь так,— сказал Черноиваненко и стал, по своему обыкновению, расхаживать взад и вперед по чулану, опустив голову.— На днях мы записали переданный по радио приказ номер пятьдесят пять.

Черноиваненко взял с ящика свой треух, порылся в подкладке и протянул Колесничуку несколько листков папиросной бумаги, сложенной в виде ленты. Колесничук разгладил пропотевшие листки на коленях и прочитал первые строчки приказа, убористо, без интервалов, напечатанного на пишущей машинке.

— Снимешь с него три-четыре копии. К тебе будут в магазин приходить разные люди специально за приказом. Каждому дашь по одному экземпляру, чтобы он в свою очередь сделал несколько копий и передал дальше. Таким образом приказ быстро разойдется по всей нашей сети и великое слово нашей партии дойдет до народа. Условный вопрос: «Принимает ли магазин «Жорж» на комиссию несгораемые шкафы?» Ответ: «Несгораемых шкафов не принимаем».— «Жаль, что не принимаете, а то есть выдающийся шкаф фирмы Бернгардт».— «Ну, если фирмы Бернгардт, то привозите». Запомнишь? Повтори, какой фирмы шкаф?

— Бернгардт.

— На всякий случай запиши где-нибудь на стенке карандашом. И каждому напоминай, чтобы переписывали без ошибок, как можно аккуратнее.— Черноиваненко

вдруг схватил Колесничука за плечо и быстро спросил: — Какой фирмы шкаф?

— Бернгардт,— так же быстро ответил Колесничук.

— Молодец! Стало быть, можно на тебя рассчитывать? Обеспечишь?

— Обеспечу,— решительно сказал Колесничук.

На прощанье он принес из магазина и надел на Черноиваненко зеленое австрийское пальто и мягкую каскетку, а зимнее пальто и пыжиковый треух вывесил на продажу. Затем, тяжело вздыхая, он пожаловался на плохую торговлю.

— Да, братец,— сказал Черноиваненко,— твой торговый дом горит, как свечка. И я тебе скажу, почему.

— Почему? — тихо спросил Колесничук.

— Потому что ты типичный «не Братья Пташниковы». Ты с места в карьер загнал за четверть цены наши ленинградские отрезы, а потом, естественно, сел в калошу. Разве так торгуют, милый человек?

— А что же надо было делать?

— Сейчас я тебе скажу.

Черноиваненко засунул руки в глубокие карманы австрийского пальто и стал ходить перед сконфуженным Колесничуком, опустив голову в мягкой каскетке с двумя пуговками впереди.

— Во-первых, надо было сначала узнать цены на ленинградское трико. Ведь это трико для немецко-румынского потребителя — предмет самых пылких мечтаний. Разве с ленинградским трико может равняться немецкая дерюга из эрзац-шерсти? Да немцы сроду не видали такого трико! А ты что? Ты выбросил, как я понимаю, его на рынок по демпинговым ценам... (Можно было подумать, что Черноиваненко всю свою жизнь занимался вопросами торговли!) Куда ж ты после этого годишься? А еще коммерсант!..

— Я не коммерсант,— сказал Колесничук.

— Ну, так твой батька был коммерсант.

— И батька не был коммерсант. Батька был всего лишь приказчиком у Братьев Пташниковых.

— Если бы твой батька торговал у Братьев Пташниковых так, как ты торгуешь у меня, то Братья Пташниковы сразу бы твоему батьке дали по шапке. Может быть, нет?

Колесничук обиделся. Он глубоко вздохнул и так надулся, что его закрученные усы полезли выше носа.

— Довольно странная аналогия,— проговорил он с одышкой.— Выходит, что ты Братья Пташниковы, а я у тебя приказчик? Интересно!

— А ты как думал? Ты, может быть, воображаешь, что ты здесь Братья Пташниковы?

— Если не я, то, во всяком случае, и не ты.

Черноиваненко вдруг сморщил нос и засмеялся:

— Правильно, Жора! Ни ты, ни я. Мы оба здесь с тобой всего лишь приказчики. А Братья Пташниковы в море купаются. А теперь, старик, слушай. У нас на складе имеются еще две штуки ленинградского трико. Я его зажал на крайний случай. Теперь, по-видимому, мы имеем именно этот крайний случай, так как работа наша расширяется и требуется как можно больше денег. Я постараюсь перебросить трико из катакомб в твою погребальную контору... (Все-таки Черноиваненко не мог удержаться от некоторого сарказма!) Значит, я постараюсь перебросить две штуки ленинградского трико из катакомб в твой, так сказать, универмаг и пришлю тебе еще кое-какие ценные вещички. Торгуй! Но только, Жорочка, умоляю тебя всем святым, в дальнейшем имей на плечах голову.

— Порядок! — сказал Колесничук.

Затем Черноиваненко стиснул Колесничуку руку и быстро, не оглядываясь, вышел из магазина. И тут только Колесничук вдруг вспомнил, что не успел написать Раисе ответную записочку. Он выскочил за Черноиваненко на мокрую, зеркально сверкающую на солнце и дымящуюся Дерибасовскую, бросился туда-сюда, но Черноиваненко уже скрылся из глаз, смешавшись с толпой...

34

ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС «МУНТЯНУ-ТЕКСТИЛЬ»

Дела комиссионного магазина «Жорж» стали поправляться.

Правда, ленинградское костюмное трико доставили из катакомб лишь в середине лета, и то с большим трудом.

Но и без того в торговле почувствовалось некоторое оживление, так как с наступлением весны в Одессу стали наезжать из Румынии туристы и коммерсанты, иногда целыми семьями.

Одесса стала модным местом, чем-то вроде Ниццы, где одни рассчитывали повеселиться, другие — завести коммерческие связи, третьи — купить дачу где-нибудь в районе Фонтанов или Люстдорфа и жить в свое удовольствие, считая себя полными хозяевами прелестного города и его окрестностей вместе со всеми виноградниками, садами, целебными лиманами, бывшими колхозами и животноводческими фермами. Они приезжали через Бессарабию на своих малолитражках, похожих на рыжих тараканов, и разыгрывали из себя богатых иностранцев, пугая население последними берлинскими модами — светлыми мужскими пиджаками ниже колен, перстнями с печатками и дамскими шляпами, высокими, как цилиндры трубочистов.

Комиссионный магазин «Жорж» хотя и не процветал, но, во всяком случае, сводил концы с концами и даже имел небольшую прибыль. Бойко пошли велосипеды, старые теннисные ракетки, веера, фотоаппараты, мороженицы; была продана детская коляска. В один прекрасный день в магазин «Жорж» явился какой-то румынский господин с игривыми глазами и бессовестной бородкой, оказавшийся знаменитым аккерманским специалистом по детским болезням, и купил стариннейшие ободранные весы для младенцев, которые Колесничук считал совершенно безнадежными. Стали захаживать проигравшиеся румынские офицеры с напудренными лиловыми носами и подкрашенными губами: они сдавали на комиссию выходные лаковые сапоги со шпорами и шерстяное белье. Забегали румынские дамочки в вуалетках, разыскивали одеколон «Красная Москва» и оставляли на комиссию «знаменитые» румынские духи «Ша нуар».

С одной стороны, это было хорошо, а с другой — плохо: очень затрудняло явки. В магазине все время толокся народ, и надо было проявлять крайнюю осторожность, все время быть начеку.

Изредка по коротким и нарочито неясным запискам Черноиваненко без подписи он выдавал разным людям мелкие и крупные суммы из выручки.

Когда было получено из катакомб ленинградское трико, Колесничук выставил на продажу всего один отрез и назначил за него хорошую цену — 245 марок. Он хотел прощупать рынок. Через два дня отрез был продан. Колесничук переждал некоторое время и выбросил второй отрез, накинув десять процентов. Новый отрез был продан так же быстро. Колесничук снова сделал перерыв, на этот раз более длительный. Было небезопасно слишком явно торговать советской мануфактурой.

Был жаркий день, в магазине было томительно душно, торговля шла бойко — то и дело входили новые покупатели. Колесничук устал. Его раздражали эти праздные, одетые с претензией на моду, суетливые, скупые и вместе с тем высокомерные мужчины и дамы, требующие к себе какого-то исключительного подобострастного внимания.

С любезной улыбкой под крашеными усами, которая ему самому казалась собачьим оскалом, Колесничук бодро взбегал на лестничку, снимал с полки товары, раскладывал на прилавке и, куртуазно изгибаясь на все стороны, не уставая болтал:

— Прошу вас, мадам! Выдающаяся лисица. Супруга итальянского военного атташе заплатила за нее до войны на аукционе мехов в Ленинграде полторы тысячи долларов. Пардон, мадам... Что вам угодно, мсьё?.. Ленинградское трико? К сожалению, в данный момент не могу вам служить. Распродано-с. На днях ожидаю новую партию — несколько исключительных отрезов. Милости прошу, заходите... Экскюзе муа, мадам! Если вам не подходит эта дивная лисица, могу предложить что-нибудь еще более элегантное в таком же роде...

И он снова, бодро скрипя штиблетами, бегал вверх и вниз по лесенке, на ходу набрасывая себе на плечи отрезы, старые пальто, траченные молью чернобурки со стеклянными глазками, более похожие на собак, чем на лисиц.

Покупатели раздражали Колесничука.

В особенности раздражал его молодой немец — здоровенный детина, блондин с гофрированными волосами, заложенными за уши. На нем был длинный пиджак с маленькой золотой свастикой на лацкане и совсем короткие спортивные брючки, так называемые шорты — обнажавшие колени голых ног в шерстяных носках и альпийских

башмаках со стальными шипами. Немец ни слова не понимал по-русски. Неторопливо расхаживая по магазину, он каждую минуту тыкал толстым пальцем в какую-нибудь вещь, повелительно говоря:

— Дизе!

И Колесничук услужливо взбегал на лестничку и приносил немцу требуемую вещь: суповую вазу без крышки, набор зубоврачебных щипцов, лампу, шубу Черноиваненко, скрипку или что-нибудь в этом роде. Немец методично, со всех сторон осматривал вещь, щелкал по ней пальцем, дул, встряхивал, подносил к окну, чтобы было лучше видно, а затем так же неторопливо возвращал и коротко говорил:

— Найн.

Шубу он примерил и некоторое время ходил в ней по магазину, отдуваясь от жары, а на скрипке даже немножко попиликал, с видом знатока приложив ухо к деке, а затем вернул ее Колесничуку и, разведя руками, с категорической улыбкой повторил:

— Найн.

Он просто замучил Колесничука. Покупатели приходили и уходили, а немец продолжал расхаживать по магазину с таким видом, будто собирался здесь поселиться.

— Может быть, мсьё интересуется чем-нибудь из фотоаппаратуры? — с плохо скрытым раздражением сказал Колесничук.— В таком случае, я могу предложить очаровательную, специально туристскую зеркалку с герцовским объективом.

Немец пожал плечами и сказал:

— Найн.

А потом, заметив что-то в самом дальнем углу магазина, пошел туда, и Колесничук услышал его утробное: «Дизе!»

— Виноват! — воскликнул Колесничук и сдержанной рысцой побежал к немцу.

В эту минуту в магазине, кроме них, никого не было. Немец посмотрел ему прямо в глаза и вдруг негромко сказал на прекрасном русском языке:

— Здравствуйте, Георгий Никифорович! Я к вам от Софьи Петровны. Софья Петровна прислала узнать, получили ли вы письмо из Бухареста от господина Севериновского.

Колесничук даже пошатнулся от неожиданности. Но немец продолжал стоять перед ним, как колонна, не спуская с него пристальных глаз, в один миг ставших какими-то пронзительно-умными, а главное, необъяснимо русскими.

— Представьте себе, уже два месяца нет писем,— машинально сказал Колесничук.— Такой неаккуратный господин! Прямо ужас!

Немец быстро оглянулся на дверь:

— Вы интендант третьего ранга Колесничук?

Было что-то спокойно-требовательное, штабное в голосе немца, который, как это вдруг совершенно ясно понял Колесничук, был никакой не немец, а настоящий русский, да к тому же еще, по всей вероятности, кадровый советский офицер.

— Так точно! — сказал Колесничук, вытягиваясь.

— Мне надо видеть товарища Черноиваненко. Я представитель Украинского штаба партизанского движения.

В это время дверь звякнула, и в магазин вошел новый покупатель. «Немец» выразительно взглянул на Колесничука и вышел на улицу. Колесничук бросился за ним.

— Послезавтра, в это же время,— шепнул он в дверях.

— Чем могу служить, мсьё? — обратился Колесничук, вернувшись в магазин, к новому покупателю.

Это был небольшого роста румынский господин, одетый хотя и модно, но без излишеств и выкрутасов. Он был в равной мере солиден и провинциально элегантен: песочного цвета полуспортивный костюм из материала «букле», скромный, но дорогой галстук в клетку, черные лакированные туфли, соломенная шляпа канотье, надетая хотя и несколько на затылок, но не настолько, чтобы это могло шокировать. Под мышкой он держал большой желтый портфель со множеством сверкающих замков и пряжек — настоящий солидный портфель коммерсанта. Он подошел к конторке, за которой стоял Колесничук, и, учтиво приподняв канотье, сказал:

— Ионел Миря.

В подтверждение сказанного он вынул из портфеля и протянул визитную карточку — не слишком большую, но и не слишком маленькую,— ослепительно белую визитную карточку, на которой Колесничук прочел по-русски:

«Ионел Миря, генеральный представитель мануфактур фирмы «Мефодий Мунтяну и сыновья». Бухарест, отделения в Берлине, Вене, Копенгагене, Анкаре и Монтевидео. Телеграфный адрес «Мунтяну-текстиль».

«Ого!» — подумал Колесничук, и его пронзило жгучее сожаление, что он до сих пор не сообразил заказать себе визитные карточки. Дух господина Пржевенецкого тотчас вселился в Колесничука, и, с достоинством изогнувшись за конторкой, он произнес:

— Чем могу служить, мсьё?

— У меня есть к вам, господин Колесничук, когда вы ничего не имеете напротив, одно интересное коммерческое предложение,— сказал Ионел Миря по-русски.— Прошу у вас извинения, я не вовсе чисто разговариваю, хотя сам родился в бывшей Российской империи, если вы слышали, в местечке Сороках... Мне приятно, что вы это слышали.

Ионел Миря сделал воздушное движение рукой, отставив мизинец, на котором сверкнул крупный брильянт. Он улыбнулся, и у него во рту сверкнул золотой зуб.

У него были очень широкие, густые черные с проседью брови, и под ними вдруг сверкнули глаза, яркие, как брильянты. Он как бы выпустил два снопа ослепительных лучей и сразу погасил их.

— Наша фирма интересуется первоклассными текстильными товарами, в особенности... лыны... как это называется по-русски?.. Шерстяным костюмным трико. Да, костюмным трико. Вы его торгуете в розницу по шестьдесят — семьдесят марок метр. Я вам предлагаю сто марок метр и беру сразу неограниченное количество.

Колесничук насторожился, но Ионел Миря сразу выпустил в него из-под своих черных бровей два ослепительных брильянтовых пучка и ласково погладил его по плечу.

— Домиуле Колесничук...— сказал он таким добродушным, таким проникновенным и честным голосом, что Колесничук как-то сразу успокоился, словно загипнотизированный.— Домнуле Колесничук, я родился в бывшей Российской империи, я есть больше чем на пятьдесят процентов русский человек, и вы меня поймете, если я вам скажу, что лыны... да, шерстяные материалы — моя специальность. Это по-румынски будет «лыны». Я вам скажу,

как специалист специалисту, что ленинградские лыны — это товар «эрстэ классе». О! — Ионел Миря поднял вверх указательный палец, и на нем, так же как и на мизинце, сверкнул брильянт.— Сто двадцать марок метр, и я у вас забираю весь товар.

— Но у меня всего неполных два куска,— сконфуженно пробормотал Колесничук.

— Господин Колесничук! — воскликнул Ионел Миря и вдруг, как показалось Колесничуку, весь с ног до головы засверкал брильянтами и золотом.— Два рулона, десятью два рулона, десять вагонов — для меня безразлично. Сто двадцать марок метр, и я у вас немедленно забираю все. Доставка моя.

35

КАПИТАН МАКСИМОВ

Все совершилось с легкой, поистине лунатической быстротой и нелогичностью, как в бреду. Тут же, не сходя с места, Ионел Миря выложил на конторку шестьсот новеньких оккупационных марок наличными, а три тысячи — векселями фирмы «Мефодий Мунтяну и сыновья» сроком на один месяц, затем быстро погрузил ленинградское трико на неизвестно откуда взявшегося эпохи конца XIX века извозчика, сел боком, обнял рулоны, как даму, приподнял канотье и уехал в неизвестном направлении.

Среди ночи Колесничук вдруг проснулся и бросился к шкатулке. Он стал рассматривать векселя — эти странные бумаги, в которые почему-то превратилось его превосходное ленинградское трико. Какую они имеют ценность и что они, собственно говоря, представляют? Где у него гарантия, что по этим бумагам ему уплатят три тысячи марок? Кто заплатит? Господин Ионел Миря? А если он не заплатит? Ведь Колесничук даже не знает его адреса. Где он его будет искать?..

Колесничук представил себе Ионела Мирю, его брильянтовые глаза, его канотье, его зловещие брови — и ужаснулся. Он провел бессонную ночь. Иногда ему начинало казаться, что, может быть, это все вовсе не так безнадежно. Может быть, он напрасно беспокоится: Ионел Миря вовсе не арап, а, наоборот, вполне солидный, кре-

дитоспособный коммерсант. Ровно через месяц он вручит всю сумму, до последней копеечки. Ведь все-таки у Колесничука на руках векселя такой солидной фирмы, как фирма «Мефодий Мунтяну и сыновья» — Бухарест, Вена, Берлин, Копенгаген, Анкара, Монтевидео...

Весь трагизм положения заключался в том, что Колесничук имел самое смутное представление о векселях. Вексель — это было что-то глубоко старорежимное, враждебное, презренное. Но все же откуда-то ему было известно о существовании в природе векселей. Университет? Гимназия?.. Векселя уже играли какую-то тягостную роль в его жизни. Но где? Когда? Как?.. Колесничук мучился остаток ночи полубессонницей, полубредом, в котором тягостно участвовали векселя. Вдруг его как молнией озарило: «Купец получил за проданный товар два векселя, которые учел в банке из расчета пяти процентов, причем оказалось, что за первый вексель банк ему выдал 475 рублей, а за второй — 117 рублей. Спрашивается...» Колесничук вспомнил: задача на проценты из учебника Шапошникова и Вальцева. Векселя существовали где-то рядом с таинственными бассейнами, в которые вливается и из которых выливается вода, и с проклятыми поездами, вышедшими навстречу друг другу со станции А и Б.

— Так-с... стало быть, купец получил за проданный товар два векселя, которые учел в банке...— бормотал Колесничук, сидя на постели.

Наконец он понял, что произошло. Он купец, и он получил за проданный товар векселя. Только тот купец не растерялся, учел векселя в банке и получил деньги, а он терзается бессонницей и мучается. Вексель! Оказывается, его можно учесть... Колесничуку стало ясно, что векселя, полученные от Ионела Мири, надо учесть в банке, и учесть как можно скорее. Он еле дождался утра, наскоро закрутил усы и ринулся в банк. Он не поверил своим глазам и даже чуть не заплакал от счастья, когда нашел окошечко с золотой надписью на русском и румынском языках: «Учет векселей». Торопливо расшаркиваясь и делая самые изысканные жесты в духе господина Пржевенецкого, Колесничук протянул в окошечко векселя и сказал:

— Мне очень надо учесть векселя... то есть мне бы хотелось, мсьё, произвести, так сказать, учет этих векселей, если вы будете так любезны и... великодушны...

Мсьё, к которому он обращался,— черный толстячок в поношенной визитке, чем-то до странности напоминавший навозного жука в очках,— потянул к себе векселя, помахал ими перед носом и через минуту вернул Колесничуку, буркнув:

— Нет.

— Позвольте...— сказал Колесничук, чувствуя, как пол уходит из-под ног.— Я вас не вполне понимаю. То есть я бы хотел, мсьё, знать, почему, если вы будете так любезны...

Навозный жук всем туловищем повернулся к Колесничуку:

— Ненадежные.

— Как?.. Как-с? — пролепетал Колесничук.— Почему же они ненадежны?

— Ненадежные,— повторил навозный жук, глядя на Колесничука неподвижными глазами, которые сквозь увеличительные стекла очков казались громадными, как у вола.— Бронза.

Как ни был наивен Колесничук в коммерческих делах, но он сразу понял это ужасное слово «бронза». Дрожащими руками он достал из кармана своего чесучового пиджака и протянул навозному жуку визитную карточку фирмы «Мефодий Мунтяну и сыновья». Но навозный жук даже не взял ее в руки. Он только скользнул по ней своими неподвижными воловьими глазами, так не вязавшимися со всей его маленькой, круглой фигуркой, и буркнул:

— Шмекер.

— Как? — не понял Колесничук.

— Шмекер! Экскрок! — сказал навозный жук с холодным наслаждением и, видя, что клиент не понимает, пояснил: — По-российски будет «жулик». Мошенник. Арап.

— Простите... Пардон, мсьё... Такая солидная фирма — Берлин, Вена, Анкара, Монтевидео?..

— Шмекер, шмекер! — сказал жук и вдруг, разинув маленький ротик с острыми перламутровыми зубками дельфина, залился инфантильным смехом, звонким, как колокольчик.

Как же теперь Колесничук посмотрит в глаза Черноиваненко?..

* *
*

— Прошу вас, мсьё, пройдите в эту дверь,— сказал Колесничук, с поклоном пропуская «немца» в чулан.— Этот уникальный сервиз я только что получил из Киева. Настоящий севр! Супруга турецкого консула приобрела его у наследников графа Бобринского за тысячу двести фунтов стерлингов. Вещь, не имеющая себе равных! Я его резервировал специально для вас. Посмотрите его, а я сию минуту обслужу других покупателей и буду к вашим услугам. Экскюзе муа, милль пардон...— Говоря таким образом громким, но почтительным голосом, с лучшими, наиболее изысканными интонациями господина Пржевенецкого, Колесничук обратился к покупателям и шепотом прибавил, показывая глазами на дверь чулана, куда вошел «немец»: — Личный адъютант господина Геринга и советник по вопросам антиквариата, мой постоянный клиент. Прошу тысячу извинений! Теперь я весь к вашим услугам, мадам. Чем могу быть полезен?

И Колесничук, дробно скрипя штиблетами, как белка, забегал вверх и вниз по лестничке. Между тем «немец», положив руку в задний карман своих коротких брючек, вошел в чулан.

— Закройте дверь на крючок и не шевелитесь,— сказал Черноиваненко, не спуская глаз с «немца». Он сидел в углу полутемного чулана на ящике и держал в руках пистолет.

Не вынимая руки из заднего кармана, «немец» заложил крючок и прислонился к двери всем своим большим, грузным телом.

— Пропуск? — сказал Черноиваненко.

— Киев. Отзыв?

— Карабин.

— Верно.

— Подождите. Не приближайтесь. Документы!

«Немец» отколупнул ногтем заднюю крышку часов и подал Черноиваненко маленькую папиросную бумажку, скатанную шариком. Черноиваненко развернул ее, надел очки, не выпуская из рук пистолета, и прочитал несколько слов, написанных хорошо ему знакомым почерком секретаря обкома. «Скорого свидания не обещаю»,— вспомнил он последние слова, сказанные ему секретарем обкома,

и весело улыбнулся. Улыбнулся и «немец», но сдержанно.

— Представитель Украинского штаба партизанского движения капитан Максимов,— сказал он, представляясь.

— Черноиваненко. Садитесь!

Они пожали друг другу руку. Черноиваненко подвинулся, и капитан Максимов сел рядом с ним на край ящика.

— А я, признаться, и не знал, что существует такой Украинский штаб партизанского движения. Давно создан?

— В июне месяце, по решению ЦК КП(б)У. Специально для связи с партизанскими отрядами, для руководства и оказания им помощи.

— Вот это хорошо! — воскликнул Черноиваненко.— Нам, откровенно говоря, сильно недоставало такого украинского штаба.

— Теперь, как видите, он есть.

— Здесь безопасно?

— По крайней мере, до сих пор эта явка у нас считается наиболее надежной. На всякий случай учтите, что за этими ящиками в углу есть еще одна дверь: она выходит непосредственно во двор.

— Прелестно. Между прочим, кланяется вам секретарь Одесского обкома, передает большой, горячий привет.

— Он где сейчас?

— В Украинском штабе.

— Дякую за память. Пусть нас не забывает.

— Не забудет,— сказал Максимов.

Черноиваненко зажег спичку и поднес к бумажке, которая вспыхнула легким зеленовато-желтым огоньком, и невесомый пепел ее, как бабочка, упорхнул вверх.

Помолчали.

— Придается большое значение развертыванию массового партизанского движения на Украине,— сказал Максимов.— В частности, очень интересуются Одесской областью и лично вами, товарищ Черноиваненко. Как идут дела вашего подпольного райкома? Кое-что штабу известно.

— Например? — насторожился Черноиваненко.

— Уничтожение свыше тысячи пудов хлеба в Протопоповской МТС, взрыв усатовской комендатуры, систематическое распространение среди населения листовок и сводок Совинформбюро.

— Это известно в штабе? — быстро спросил Черноиваненко, вспыхнув от удовольствия.

— Конечно.

И Черноиваненко понял, что в этой новой по содержанию и по форме войне, еще невиданной в истории, он, в сущности, является командиром боевого соединения, не менее важного, чем любой завод в тылу или чем любая дивизия на фронте,— частью всенародных вооруженных сил.

И в эту минуту он забыл, что сидит в чулане комиссионного магазина «Жорж» и что за стеной — захваченный фашистами советский город.

Затем он стал рассказывать капитану Максимову о положении райкома, о его действиях и планах. В сущности, это был отчет Центральному Комитету Украины, и Черноиваненко тщательно выбирал слова и выражения, стараясь быть как можно более точным, объективным, не замазывая слабых сторон своей работы, но и не умалчивая о сильных.

Максимов сидел, опустив голову, с напряженным выражением лица, покрытого мелкими капельками пота: в чулане было жарко. Было видно, что он, не имея возможности записывать, старается как можно лучше запомнить каждое слово Черноиваненко. Иногда он его останавливал, переспрашивал. Это был первый отчет Черноиваненко в своей работе. Отчитываясь перед партизанским штабом и перед партией, он как бы отчитывался перед самим собой и невольно видел деятельность своего подпольного райкома со стороны.

Сделано было, конечно, много. Но, с другой стороны, отчитываясь, Черноиваненко вдруг ясно увидел то, что до сих пор только как-то неопределенно чувствовал, а именно: сеть большая, людей много, а сама работа ведется без связи с общим стратегическим планом войны. Собственно, план был. В его основании лежало общее указание о необходимости создавать в захваченных районах невыносимые условия для врага. И Черноиваненко их создавал, пользуясь каждым удобным случаем.

Обстреливали неприятельские патрули, снимали часовых, уничтожали одиночных офицеров, резали провода. Но все это как-то не было связано с общими военными задачами, не являлось частью единого стратегического плана.

Эту мысль Черноиваненко и высказал, заканчивая свой отчет. Высказывал просто, с прямотой человека, привыкшего ставить дело, порученное ему партией, выше личного самолюбия.

— Так и доложите в штабе,— сказал он, строго глядя в лицо Максимову острыми глазами, окруженными сетью суховатых морщин.

— Доложу.

Максимов некоторое время молчал, еще раз повторяя про себя все то, что ему сказал Черноиваненко. Наконец, закрепив это в уме, поднял голову и встряхнул своими длинными гофрированными волосами, которые, по-видимому, его сильно раздражали.

— А что, вы, часом, не простудитесь в этих немецких штанцах? — сказал Черноиваненко, лукаво блестя глазами.

— И не говорите! — вздохнул Максимов.— Лучше совсем голым по городу ходить. По крайней мере, не так стыдно... Но ничего не попишешь. Такая наша жизнь... Ну, так вот что, товарищ Черноиваненко,— сказал он своим прежним, сдержанным, штабным тоном, очевидно считая, что «перекурка» слишком затянулась: — теперь позвольте передать вам инструкции штаба.

Через некоторое время послышалось осторожное постукивание в дверь.

— Это ты, Жора? — негромко спросил Черноиваненко.— В чем дело?

— Уже время закрывать магазин,— послышался из-за двери шепот Колесничука.— Сейчас начнется полицейский обход. Закругляйтесь.

Черноиваненко и Максимов так заговорились, что не заметили, как пролетело время.

— Сейчас, Жора, кончаем. Постой возле двери.

— Ну,— сказал Максимов, вставая и протягивая Черноиваненко руку,— бывайте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты.

— Всего наикращего,— сказал Черноиваненко, ве-

село хлопнув его по большой открытой ладони, и крепко пожал ее своей небольшой сильной рукой.— Кланяйтесь командованию и передайте, что боевой приказ будет выполнен. Извините, что так мало до сих пор сделали.

— Между прочим, не так уж мало,— заметил Максимов, закладывая за уши свои гофрированные волосы.— Помимо всего прочего, вы сковываете целую румынскую дивизию.

— Это что-то для нас новое,— пробормотал с удивлением Черноиваненко.— Каким образом?

— В районе Усатовских катакомб румынское командование специально держит на всякий случай несколько запасных полков. У нас в штабе имеется секретный приказ Антонеску по этому поводу, захваченный нашими людьми у одного рассеянного румынского полковника. Учтите это и не слишком прибедняйтесь. Но, конечно, и не останавливайтесь на достигнутом,— прибавил Максимов поспешно.— Что еще передать?

— Передайте привет от коммунистов и беспартийных Усатовских катакомб. Все будет сделано. Счастливого пути! Не забывайте.

— Не забудем.

— Адрес наш теперь знаете?

— Комиссионный магазин «Жорж».

— Точно. В любое время. Только предупредите за несколько дней интенданта третьего ранга Колесничука,— улыбнулся одними глазами Черноиваненко.— Когда вас прикажете ждать в следующий раз?

— Я думаю, примерно через месяц-два. Я или кто-нибудь другой. В зависимости от обстановки. Ауфвидерзеен!

— Жора, открой дверь!

Снаружи послышался легкий звук отодвигаемого засова.

— Оказывается, я был заперт? — спросил Максимов.

— А вы думали! — весело ответил Черноиваненко и откинул внутренний крючок.— Подождите... Жора, все в порядке? Можно выходить?

— Выходите, только поскорее.

— Прошу вас!

Черноиваненко распахнул дверь, и капитан Максимов, насвистывая вальс из «Сильвы», вразвалку вышел

из пустого магазина на пустынную Дерибасовскую улицу, насквозь освещенную знойным вечерним солнцем.

36

«КАКИХ МОЧЕНЫХ?»

Никто не знал, что творится в душе у Колесничука. Временами его охватывала апатия. Временами он чувствовал прилив такой ярости, что у него начинали трястись руки. Минутами у него возникали фантастические мечты: он начинал верить, что пройдет месяц, явится Ионел Миря и выкупит свои векселя. По ночам он плохо спал, кряхтел, переворачивался с боку на бок, томился.

Внешне он мало изменился. Он продолжал торговать, принимать явки, выдавать по запискам Черноиваненко деньги. Он скрывал от Черноиваненко историю с векселями. Ему было стыдно признаться в своей наивности и глупости. Он делал вид, что все обстоит как нельзя лучше. Теперь, когда Черноиваненко заходил в магазин и мельком спрашивал, как идет продажа ленинградского трико, Колесничук с наигранной бодростью отвечал:

— Дела идут, контора пишет.

— Молодец, Жора! Вот теперь ты настоящий Братья Пташниковы. Действуй!

Для того чтобы пополнить кассу, Колесничук стал постепенно спускать на базаре кое-что из своего личного имущества. Он загнал зимнее пальто, старую беличью ротонду Раисы Львовны, которая ей досталась в наследство от матери, котиковую шапку, лишнее стеганое одеяло, шесть пододеяльников. Он уже дошел до мебели и продал старьевщику два отличных дубовых стула с высокими спинками в виде готического собора, когда ему вдруг совершенно неожиданно улыбнулось счастье: нашелся человек, которому Колесничук умудрился всучить ненадежные векселя.

Это было какое-то чудо. Человек оказался еще более простодушным и неопытным в коммерческих делах, и Колесничук поступил с ним так же безжалостно и цинично, как Ионел Миря поступил с ним самим. Самое

смешное заключалось в том, что человек тоже продавал партию ленинградского трико.

Дело было так.

Тощий, небритый, с обезумевшими глазами, в пропотевшей полотняной фуражке блином, в стоптанных ботинках и в грязном прорезиненном макинтоше поверх парусинового костюма, человек этот как-то боком пролез в дверь и проворно подбежал к конторке Колесничука. У него был жалкий и вместе с тем омерзительный вид подонка.

— Что вам угодно, мсьё? — высокомерно спросил Колесничук, подозрительно оглядывая его с ног до головы.

— Тысячу извинений! — задыхаясь, сказал незнакомец.— Моченых.

— Каких моченых? — удивился Колесничук.— Этим мы не торгуем.

— Нет, это я сам Моченых. Моя фамилия Моченых.

Озираясь вокруг, как затравленный зверь, человек со странной фамилией Моченых подошел вплотную к Колесничуку и, отвернув полу макинтоша, показал свернутый отрез ленинградского трико.

— Имею такого материала две штуки. Отдаю за полцены,— проговорил он свистящим шепотом, дыша в ухо Колесничука запахом лука и подсолнечного масла.— Я очень извиняюсь... на пару слов...

Продолжая озираться по сторонам, Моченых навалился тощей грудью на Колесничука и, поминутно заглядывая ему в глаза, свистящим шепотом поведал свою несложную коммерческую эпопею. Он был, так же как и Колесничук, хозяином маленького комиссионного магазинчика на Молдаванке. По сравнению с магазином «Жорж» его торговое заведение было жалкой лавочкой. Моченых представлял собой классический тип неудачника. Некогда он был нэпманом, потом кустарем, потом каким-то образом сделался управдомом. Он остался в городе и во время оккупации снова занялся коммерцией, открыв в своем районе нечто вроде комиссионного магазина и торгуя вещами, награбленными во время эвакуации в квартирах горожан. Однако он быстро прогорел — не заплатил каких-то налогов, — и теперь, для того чтобы не попасть в тюрьму, должен был

срочно, в течение одного дня, ликвидировать свое имущество и внести деньги в торговый отдел городской управы. С утра он бегал по всему городу в поисках покупателя, и вот наконец попал в комиссионный магазин «Жорж».

Колесничук с большим трудом сдерживался, чтобы не дать в ухо этому бывшему управдому-грабителю.

— Слушайте, Моченых, откуда у вас ленинградское трико? — сурово спросил Колесничук.

— Вы сами понимаете...— быстро зашептал Моченых, глотая слова.— Во время эвакуации. Со склада Укртекстильторга... Я его все время держал под прилавком, дожидаясь настоящей цены... А теперь, вы видите, я горю... Вы меня не знаете, а я вас знаю. Вы работали при большевиках бухгалтером в Чаеуправлении... Возьмите товар за полцены, не дайте человеку сесть в тюрьму! Помогите коллеге по торговле... Пятьдесят марок метр...

Никогда еще Колесничук не испытывал такой ненависти и такого унижения. Бывший нэпман, ворюга-управдом, подонок в пропотевшей полотняной фуражке смеет требовать от него сочувствия и помощи, называет его коллегой по торговле... Нет, это уж слишком! Еще немного — и массивный Колесничук развернулся бы и в самом деле превратил бы своего «коллегу по торговле» в мокрое место.

Но вдруг ему пришла в голову блестящая мысль — отыграться одним ударом: сбыть бронзовые векселя и приобрести товар — другими словами, сделать то же самое, что с ним сделал Ионел Миря. Колесничук понимал, что он собирается сделать подлость, но он не испытывал угрызений совести. Напротив, он радовался. У него даже дух захватило от этой яростной, мстительной радости.

— Беру! — сказал он решительно.— Сделано! — и хлопнул ладонью по конторке.— Двадцать пять процентов наличными, остальное — векселями. Товар — франко комиссионный магазин «Жорж», доставка ваша.

И, не дав открыть рот ошеломленному Моченых, Колесничук вытащил из конторки бронзовые векселя и стал махать ими перед его носом. Дух господина Прже-

венецкого с непостижимой быстротой вселился в Колесничука.

— Превосходные векселя, мсьё! Те же деньги. Вы не пожалеете, если возьмете их,— говорил Колесничук, чувствуя прилив неотразимого коммерческого красноречия.— Что может быть надежнее векселей фирмы «Мефодий Мунтяну и сыновья», Бухарест, Берлин, Вена, Анкара, Монтевидео, телеграфный адрес — Мунтяну-текстиль! Вы их можете учесть в любой момент в любом банке Средней Европы и Южной Америки. Может быть, вы думаете, что это бронза? О нет, мсьё! Комиссионный магазин «Жорж» достаточно известная фирма. Я вам предлагаю эти векселя, мсьё, исключительно потому, что у меня в данный момент нету свободной наличности. Сегодня же вы, мсьё, учтете эти векселя в отделении Румынского государственного банка, получите наличными деньгами и тем самым сохраните себе свободу, столь драгоценную для каждого интеллигентного человека. А если вам не угодно, мсьё, то как угодно. Я не настаиваю. Тюрьма или свобода! Лично я, мсьё, на вашем месте выбрал бы свободу.

Несчастный Моченых был совершенно оглушен потоком этого красноречия. Он смотрел на разошедшегося Колесничука испуганными, неподвижными глазами кролика. Он быстро согласился. Вероятно, с ним происходило нечто подобное тому, что было с самим Колесничуком, когда негодяй Ионел Миря всучивал ему бронзовые векселя.

Как лунатик, Моченых отправился на Молдаванку за товаром и вскоре привез на ручной тележке две штуки ленинградского трико в бумажной фабричной упаковке — в том самом виде, в каком это трико было в свое время похищено со склада. Колесничук отсчитал ему триста двадцать новеньких оккупационных марок и затем вручил векселя «Мефодий Мунтяну и сыновья», сделав на них, по совету Моченых, предварительно передаточную надпись — «Георгий Колесничук».

Моченых торопливо схватил векселя, с алчностью сунул их куда-то во внутренний карман засаленной тужурки и долго с благодарностью качал руку Колесничука, как насос, обеими руками — потными, дрожащими, пахнущими луком и жареной рыбой.

Как только Моченых, продолжая кланяться и приподнимать пропотевшую фуражку, выскочил из магазина, Колесничук перестал сдерживаться и предался самому необузданному веселью. Он злорадно потирал руки и, раздувая усы, как запорожец, хохотал, падая головой на конторку. Это был миг величайшего его торжества, полного триумфа. Однако он напрасно торжествовал. Судьба готовила ему страшный удар, который обрушился на него неожиданно и беспощадно.

Не прошло и двух дней, как в магазин вошел Ионел Миря. Колесничук не поверил своим глазам. Ему показалось, что он спит. Но, к несчастью, он не спал. Перед ним находился настоящий, вполне реальный, живой Ионел Миря. Он стоял перед конторкой Колесничука, сверкая всеми своими брильянтами, в шляпе канотье, с желтым портфелем под мышкой.

— А! Домнуле Миря! — с ядовитой иронией воскликнул Колесничук.— Рад вас видеть. Как поживаете? Буны зиуа,— прибавил он по-румынски, что означало «здравствуйте».

Однако домнуле Миря пропустил это приветствие мимо ушей, как будто оно совершенно не относилось к нему. Он вынул из портфеля визитную карточку и сухо протянул ее Колесничуку. На карточке было напечатано по-русски: «Мирча Флореску, юрист».

— Кто Мирча Флореску? — почти крикнул Колесничук, и вдруг предчувствие какой-то непонятной, но неотвратимой беды закралось в его душу.

Ионел Миря корректно приподнял канотье.

— Я Мирча Флореску, юрист, к вашим услугам,— сказал он официальным тоном и, приоткрыв глаза, вдруг выпустил на Колесничука два ослепительных брильянтовых пучка.

— Слушайте, что вы мне морочите голову! — пробормотал Колесничук.— Я же отлично знаю, что вы Ионел Миря...

Ионел Миря строго нахмурил свои черные широкие брови с железной проседью, и золотой зуб грозно блеснул у него во рту.

— Вы это можете доказать на суде? — сухо спросил он.

Колесничук даже ахнул от возмущения.

— Слушайте... слушайте...— бормотал он, не находя слов и медленно покрываясь краской бессильного гнева.— Слушайте, домнуле, вы просто жулик... Вы арап... Вы... вы...— Наконец он вспомнил настоящее слово: — Вы экскрок, вот вы кто! Экскрок! Самый настоящий экскрок! — с горьким наслаждением тонким голосом выкрикивал Колесничук это зловещее, трескучее слово.

— Но! — высокомерно заметил Ионел Миря, поднимая указательный палец, сверкнувший брильянтом.— Прошу вас, домнуле Колесничук, выбирать выражения. Здесь не Советская власть, а земля его величества румынского короля Михая Транснистрня, и, если вам угодно, я позову полицаюл.

Меньше всего хотел Колесничук впутывать в это дело «полицаюла».

— Что же вам угодно, домнуле Миря? — тихо спросил Колесничук.

— Мирча Флореску, юрист,— поправил Миря.

— Пусть будет так. Какая разница! Что же вам угодно, господин Флореску?

— Я имею комиссию напомнить вам, что срок уплаты ваших векселей истекает в среду на будущей неделе, и я хочу знать: собираетесь вы платить или не собираетесь?

— Каких векселей? — сказал Колесничук бледнея.

Вместо ответа Мирча Флореску, юрист, вынул из портфеля хорошо известные векселя фирмы «Мефодий Мунтяну и сыновья» и, отступив на шаг, издали показал их Колесничуку.

— Так они же бронзовые? — простодушно воскликнул Колесничук.— Вы же сами знаете, что они бронзовые. Я специально ходил в банк, и мне сказали, что они ненадежные. Я ничего не знаю. Пускай по ним платит Мефодий Мунтяну с сыновьями, а меня это не касается.

— Нет, касается,— сказал Мирча Флореску и снова выпустил из-под бровей два брильянтовых пучка прямо в глаза Колесничуку.— Вот ваша передаточная надпись — «Георгий Колесничук». Вы индоссант и, как таковой, ответственны за платеж по векселю. Может быть, в Советском Союзе это и не так, но в королевстве Ру-

мынии это еще, слава богу, так. Я вас предупредил. Буны зиуа!

С этими словами Ионел Миря — он же Мирча Флореску, юрист,— с достоинством вышел из магазина, обернувшись в дверях и на прощанье выпустив в Колесничука два молниеносных брильянтовых пучка.

Некоторое время Колесничук стоял неподвижно, будучи не в состоянии собрать, привести в порядок свои рассеявшиеся мысли и смятенные чувства. Вдруг страшная догадка мелькнула в его уме. Он бросился в чулан и принялся разрывать бумагу, в которую были упакованы штуки ленинградского трико. Только сверху оказалось некоторое незначительное количество мануфактуры. В основном же свертки были набиты газетной бумагой, тряпьем и кирпичами.

Колесничука охватил такой ужас, что он даже не нашел в себе силы встать на ноги. Он продолжал стоять на коленях перед грудой тряпья и кирпичей, дрожа от бессильной ярости, от обиды, от страшного оскорбления... Потом он сел на пол и положил голову на бесформенную кучу того, что еще минуту назад казалось ему богатством.

Немного успокоившись, он запер магазин, ринулся на Молдаванку разыскивать комиссионный магазин Моченых и, конечно, не нашел.

Тогда он в возбуждении начал ходить по городу, из улицы в улицу, с безумной надеждой встретить хотя бы одного мошенника — Ионела Мирю или Моченых. Он и сам не понимал, зачем ему это нужно. Это все равно не могло помочь делу. Но Колесничук совершенно уже не владел собой, бегал по городу, заглядывал в лица прохожих и пугал их своим возбужденным видом — воспаленным лицом, развевающимися полами старомодного чесучового пиджака. Если бы он случайно натолкнулся на Ионела Мирю или на Моченых, он бы их, без сомнения, задушил. Но, к счастью, он не встретил ни того, ни другого.

Колесничук окончательно пришел в себя лишь через два дня. Он постарался хладнокровно обдумать свое положение и решил, что ему прежде всего необходимо срочно изучить вексельное право. В магазине «Жорж» уже давно стоял отданный на комиссию каким-то чуда-

ком старый энциклопедический словарь издательства «Просвещение», и Колесничук с жадностью набросился на этот словарь.

37

ОГНИ КАССИОПЕИ

Была душная ночь конца августа, как раз тот промежуток между вечерним и утренним бризом, когда не только в городе, но даже над морем не чувствуется ни малейшего колебания воздуха. Море было так неподвижно и так черно, что, если бы не отражение звезд, можно было подумать, что его и вовсе нет.

Недалеко от берега из моря торчало несколько больших темных скал. Три человека гуськом пробирались к этим скалам. Казалось, они идут по звездам, каждый миг готовые оступиться и полететь в черную пропасть. На самом же деле здесь было довольно мелко, и люди, осторожно балансируя, ступали по скользким камням, ведущим к скалам, как узенькая подводная тропинка. Впереди, в подвернутых до колен штанах, с парусиновыми туфлями, перекинутыми через плечо, шел Петр Васильевич, за ним в таком же виде — Дружинин и, наконец, Миша, держа над головой свой фибровый чемоданчик.

Дружинин был в полном смысле слова глазами и ушами советского Главного командования, которые все видели, все слышали, от которых не могла укрыться ни одна существенная подробность жизни города, ни одно передвижение неприятельских войск, ни один факт, свидетельствующий о настроении румынских или немецких солдат. Одним словом, это была изумительная агентурная разведка, основанная на сети тщательно подобранных и надежно законспирированных сотрудников в разных частях города, на заводах, в учреждениях, даже в румынской полиции и в жандармском легионе.

По характеру своей работы «штабу» Дружинина пришлось раз двадцать переменить свою «квартиру», чтобы не дать сигуранце и гестапо запеленговать его рацию. Дружинин не любил засиживаться на одном месте. У него на учете всегда было пять-шесть надежных явок. Но сам он вместе со своим «штабом» не

имел постоянного местопребывания. Однако чем дальше уходила немецкая армия на восток, тем труднее становилось работать. Теперь Одесса уже была глубоким тылом. Прежняя тактика быстрой перемены мест уже не годилась. Дружинин решил в последний раз «выйти в эфир», сообщить, что на некоторое время прекращает работу, запросить инструкций, а уж затем с чистым сердцем заняться выработкой новой тактики. В последнее время они, пользуясь теплой погодой, обосновались в большой бетонной сточной трубе, проложенной в обрыве на Среднем Фонтане. С наступлением темноты они вышли на берег. Расположились у внешнего края скалы, обращенного в открытое море, и тотчас приступили к работе. Петр Васильевич размотал тоненький стальной трос, надел его конец на палку, отнес немного в сторону и вставил палку в трещину скалы. Это была антенна. Миша открыл фибровый чемоданчик, повозился, и вскоре в темноте послышалась легкая, быстрая дробь азбуки Морзе, которая сливалась с хрустальным хором сверчков, наполнявшим мир чудным, таинственным звоном ночной жизни.

«Одесса, двадцать два часа по московскому времени,— быстро и четко выстукивал аппарат Морзе.— Докладывает Дружинин. Обстановка на сегодняшний день в городе и окрестностях следующая... Продолжается прибытие в город по железной дороге немецких контингентов, которые срочно формируются и направляются дальше на фронт на автомашинах. Настроение немецких солдат нервное. Некоторые говорят, что их гонят на верную смерть. Среди офицеров существует убеждение, что скоро немецкая армия займет Сталинград, форсирует Волгу и тогда конец войне. Однако слухи о колоссальных потерях под Сталинградом все больше и больше распространяются среди оккупантов. Ежедневно происходят конфликты между немецкими и румынскими властями. На черной бирже наблюдается падение курса марки. Спекулянты охотно берут английские фунты и американские доллары. Появился спрос на советскую валюту. В порту оживление. Транспорты гонят из Констанцы боеприпасы, бензин, авиамоторы... Всюду можно услышать слово «Сталинград»... Подготовляем крупную диверсию в порту».

Очень подробно, но в коротких, сжатых выражениях Дружинин передавал свою информацию, а Петр Васильевич в это время наблюдал за местностью, в любой миг готовый предупредить об опасности. Он дважды остановил передачу: один раз — когда по берегу мимо камня прошел румынский патруль; другой раз — когда в море мимо камня прошла моторная лодка. В темноте патруль был невидим. Слышались лишь плоский звон гальки под грубыми сапогами и голоса разговаривающих солдат. Они прошли не останавливаясь. Моторная лодка тоже проскользнула бы невидимой, если бы под ней не фосфорилось море. Освещенная снизу голубым стеклянным заревом, она прошла прозрачным видением, и стук ее мотора торопливой скороговоркой отдавался в скалах, мимо которых она скользила.

Созвездия медленно и плавно передвигались в душном черном небе. Юпитер поднялся высоко над морем и, подобно маленькой луне, отражался в воде серебристо-молочным столбом от горизонта до подножия скалы.

Сады над обрывами стояли не шевелясь, черные и неподвижные.

Передав информацию, Дружинин минуту помедлил и наконец продиктовал:

— «Последние дни усилилась деятельность гестапо. Все время меняем квартиры. Положение острое. Прошу разрешения на десять дней прекратить передачи. Выйду в эфир двадцать пятого августа в это же время».

«Подождите,— ответила Москва.— Не отходите от аппарата. Сейчас получите инструкции».

Они молча ждали. Хотелось курить, но это было невозможно. Время тянулось медленно. Для того чтобы не потерять связи с Москвой, Миша время от времени монотонно отстукивал свои позывные.

С моря осторожно потянуло ветром. Это был теплый, еле ощутимый вздох. Ночь дрогнула всеми своими созвездиями и стала неуловимо переходить в утро.

Петр Васильевич вспомнил, что когда-то, очень давно, в его жизни уже была такая же темная августовская, а может быть, и сентябрьская ночь.

И тогда он любил...

> В воде, как золотые змеи,
> Блестят огни Кассиопеи...

Она стояла рядом и смотрела на него большими глазами, темневшими на бледном лице, освещенном звездами.

Мысли Петра Васильевича спутались...

Но в это время Миша сказал:

— Москва!

Минут пять он записывал в темноте четырехзначные цифры шифровки, пользуясь специальной линейкой, чтобы они не наезжали одна на другую. Так обычно пишут слепые. Наконец он кончил.

— Ну, что сказала Москва? — спросил Дружинин.

Несколько раз Миша поворачивал бумажку к звездам, пробуя прочесть цифры, но ничего не выходило. Карандаш стерся, и цифры были написаны очень слабо.

Петру Васильевичу пришла мысль попытаться разобрать написанное при фосфорическом свете моря. Они сползли вниз, и Дружинин осторожно приблизил бумажку к волнам. Волна мягко коснулась скалы и засветилась тонким, голубоватым светом. К сожалению, фосфорическая вспышка, осветившая бумагу, длилась всего лишь миг. Тогда Петр Васильевич опустил руку в воду, теплую, как парное молоко, и стал быстро шевелить пальцами. Вода тотчас вспыхнула, и бумага осветилась, однако не настолько ярко, чтобы можно было прочесть написанное. Пока Дружинин пытался прочесть бумагу, Петр Васильевич продолжал шевелить пальцами, унизанными синими искрами, как брильянтовыми перстнями. Однако из этой затеи ничего не вышло. Пришлось прибегнуть к старому, испытанному средству: накрыться с головой пиджаком и осторожно посветить фонариком.

«Перерыв связи десять дней разрешаем. Срочно меняйте тактику. Случае возможности установите прямую связь находящимися катакомбах отрядами и партийными организациями. Агентурную разведку не прекращайте. Вашу работу оцениваем на «отлично». Большое спасибо. Загородные ходы в катакомбы блокированы. Постарайтесь найти ходы в самом городе. По имеющимся у нас сведениям, схема ходов в катакомбы черте города имеется бывшего профессора университета

Светловидова. Свяжитесь с ним, постарайтесь получить схему. Результатах радируйте. Привет».

— Вы слышали? — обратился Дружинин к Петру Васильевичу.

— Профессор Светловидов...

— Вы его знаете?

— Он у нас в гимназии даже одно время преподавал историю. Если это, конечно, тот самый Светловидов, Африкан Африканович.

— Это его имя и отчество?

Петр Васильевич улыбнулся:

— Да.

— Чудацкие были у людей имена при старом режиме,— сказал сержант Веселовский, сматывая антенну и осторожно зевая в рукав.

— Где живет, не помните? — коротко спросил Дружинин.

— Ну, где же там! — махнул рукой Петр Васильевич.— Ведь столько лет прошло! Я, признаться, думал, что он уже давно помер.

— Как видите, нет.

— Так, значит, ему сейчас лет восемьдесят, не меньше.

Дружинин лег на живот, положил подбородок на руки и задумался.

— Тем не менее мы его должны найти, этого самого вашего Африкана Африкановича,— наконец обратился он к Бачею.— Вы, как старый одесский волк... Это уж по вашей части.

— Хорошо,— сказал Петр Васильевич.— Только я совершенно не представляю, как я его буду искать.

На это Дружинин ничего не ответил. Казалось, он спит. Может быть, он и в самом деле задремал, убаюканный редкими-редкими теплыми вздохами моря. Все трое, одолеваемые сном, долго молчали. Наконец Дружинин перевернулся на спину, с хрустом вытянул руки и так громко зевнул, что Миша испуганно сказал:

— Тише!

— Виноват,— засмеялся Дружинин и стал делать гимнастику, разгоняя сон.

Где-то далеко, за обрывами, сонным золотистым голосом пропел петух.

— Слушайте,— сказал Дружинин, дотрагиваясь до колена Петра Васильевича,— как, вы говорите, фамилия этого типа?

— Какого типа?

Петр Васильевич никак не мог привыкнуть к странному мышлению Дружинина: невозможно было уловить, когда у него зарождалась какая-нибудь мысль, таясь под спудом и созревая, пока вдруг не обнаруживалась в виде неожиданного и не сразу понятного вопроса. Петр Васильевич наморщил лоб, силясь понять, о каком «типе» спрашивает Дружинин, какая подспудная мысль привела его к этому вопросу.

— Н...не улавливаю — какого типа? — еще раз сказал Петр Васильевич с недоумением.

— Ну, этого вашего друга детства, который держит на Дерибасовской улице комиссионный магазин. Колесничук, что ли?

— Ах, вот что! Колесничук.— Петр Васильевич нахмурился и стал злобно покусывать губы.— Такая оказалась гадина!

— Что он собой представляет?

— Вы же видите что. Дезертировал из Красной Армии и теперь торгует на Дерибасовской разным барахлом.

— Вы его давно знаете?

— В одной гимназии учились, начиная с приготовительного класса. И потом — всю жизнь... До самого последнего времени... Сколько раз он приезжал в Москву со своими годовыми отчетами. Всегда у нас останавливался... И я у него перед самой войной жил... Друг детства! — почти с отчаянием говорил Петр Васильевич.— Вы подумайте только!

— Бывает,— сухо заметил Дружинин.

— Да, но что же это такое? Это значит — в его душе все время жил мещанин, мелкий собственник, трус, обыватель, лавочник?

— Что ж удивительного? — сказал Миша, изо всех сил борясь с утренней зевотой и напрягая скулы.— Родимые пятна капитализма.

— Вот именно! — оживился Петр Васильевич.— Все-таки в конце концов в нем заговорил лавочник.

Дружинин с интересом мотнул головой:

— А что, этот ваш дружок Колесничук разве из купеческой семьи?

— Собственно, не совсем из купеческой, но близко к тому. Его батька был приказчиком у Братьев Пташниковых.

— Стало быть, по торговой части. Так, так... Богато жили?

— Где там! Всю жизнь перебивались. Эти самые знаменитые Братья Пташниковы из своих приказчиков все соки выжимали. А вот поди ж ты!..

— А что он вообще за человек? Не предатель?

Петр Васильевич задумался:

— Кто его знает... Видно, в чужую душу не влезешь.

— Нет, я не об этом. Как он в детстве, в гимназии? По природе было в нем что-нибудь предательское или не было? Вы понимаете, о чем я говорю. Ну, там, по отношению к товарищам... Не ябедничал? Не шептал на ухо учителям?

— Это нет,— решительно сказал Петр Васильевич.— Вообще всегда был замечательный товарищ. Но, повторяю, как видно, в чужую душу не влезешь.

Казалось, эти последние слова Петра Васильевича не привлекли особого внимания Дружинина, как-то скользнули мимо.

— Да, бывает...— сказал он равнодушно.— Ну, а потом? Во время гражданской войны, интервенции?

— Вместе со мной служил на бронепоезде «Ленин». Можно сказать, устанавливали Советскую власть в Одессе.

— Так...— Дружинин задумался.— Он коренной одессит?

— Коренной.

— Так, может быть, он нам поможет найти профессора Светловидова? Как вы думаете?

Петр Васильевич с недоумением, почти с испугом уставился на Дружинина — не шутит ли он? Но, по-видимому, Дружинин не шутил, так как сейчас же стал развивать свою мысль:

— Обычно все коренные жители так или иначе знают друг друга. Во всяком случае, слышали друг о друге. Всегда могут найтись общие знакомые, родствен-

ники. Не так ли? Я думаю, Колесничук поможет вам отыскать Африкана Африкановича.

Теперь уже Дружинин говорил о посещении Колесничука Петром Васильевичем как о чем-то решительном и вполне естественном. Он уже не советовался, а в мягкой форме приказал:

— У нас имеются сведения, что немцы и румыны отпускают военнопленных местных жителей. Вы — местный житель. Место вашего рождения — Одесса. Так что вам будет легко договориться с Колесничуком.

— Я буду договариваться с Колесничуком?! — мрачно спросил Петр Васильевич.

— Ну да, вам придется с ним как-то объясниться. И этот вариант будет самый естественный. Мне кажется, вы что-то говорили о своих вещах, которые вы оставили у Колесничука на квартире?

— Да,— угрюмо сказал Петр Васильевич.— Я оставил у этого типа свой штатский костюм, ботинки, пальто, диссертацию.

— Это замечательно! — воскликнул Дружинин, потирая руки.— Просто замечательно! Стало быть, вы пойдете к Колесничуку за своими вещами.

Петр Васильевич издал горлом отрывистый звук и стал нервно мять пальцами щеки, подбородок.

— Слушайте,— сказал он глухо,— вы меня лучше не посылайте к этому мерзавцу... Ничего не получится... Потому что я... потому что я... набью ему морду! — вдруг воскликнул Петр Васильевич дрожащим голосом.

— Только тихо! — заметил Миша.

— Клянусь вам честью, я набью ему морду,— убежденно, со слезами в голосе повторил Петр Васильевич шепотом.

— Не думаю,— сухо сказал Дружинин и стал грызть ногти.

А Миша только махнул рукой и перевалился на другой бок, стараясь поудобнее устроиться на острой поверхности скалы.

Петр Васильевич некоторое время посапывал носом и блестел глазами, в которых таинственно отражались утренние звезды. Дружинин терпеливо переждал, пока он отоспится, и потом миролюбиво продолжал:

— Между делом вы у Колесничука позондируйте

почву насчет Африкана Африкановича, и, если нам повезет и вы что-нибудь узнаете, отправляйтесь прямо к нему и посоветуйтесь относительно входа в катакомбы в черте города. Словом, разузнайте, не поленитесь. Это очень важно.

— Я набью ему морду,— грустно сказал Петр Васильевич.

Дружинин некоторое время молча грыз ногти, а потом, как бы вскользь, заметил:

— По-видимому, этот самый Африкан Африканович Светловидов — хороший человек. Но все же будьте крайне осторожны. Учтите, что оккупанты хватают людей за одно только слово «катакомбы». Для них это страшное, ненавистное слово... Мы будем вас ждать в сточной трубе.

38

ТРАНСНИСТРИЯ

Петр Васильевич шел по бывшей Ришельевской улице и пытался взглянуть на себя со стороны: кто же он такой, в конце концов, этот немолодой, но довольно моложавый человек в кремовых фланелевых брюках, украинской рубашке без галстука, с толстой бамбуковой тростью на плече и синим пиджаком, повешенным на круглую ручку этой трости? Не может ли он обратить на себя внимание каким-нибудь несоответствием в одежде, в манере курить, в походке?.. Сколько раз он уже в разных обличьях выходил в город по заданиям Дружинина — и всякий раз испытывал одно и то же чувство раздражения. Он несколько раз мельком оглядывал себя в стекла витрин, а один раз даже остановился перед мутным уличным зеркалом и некоторое время всматривался в свое бритое загорелое лицо, поправляя карманной расческой мокрые после купанья, зачесанные назад черные волосы с небольшой проседью. Бывший советский служащий, благополучно прошедший все проверки и регистрации и теперь мирно сотрудничающий с немцами и румынами, изменник родины, продажная шкура, мещанин, обыватель? Старый белогвардеец, вернувшийся наконец после многолетней эми-

грации в свой родной город? Мелкий торгаш, человек без родины, без принципов, без совести и чести, признающий в жизни только одно: свое маленькое, жалкое существование?.. Носить эту омерзительную маску сердце Петра Васильевича не соглашалось. Но не оно сейчас руководило жизнью Петра Васильевича. Всю тяжесть этого унизительного маскарада принял на себя разум.

Петр Васильевич еще раз, бегло прищурившись, осмотрел себя в зеркало. Да, он годился. Нельзя сказать, чтобы он вполне сливался с пейзажем, но, во всяком случае, не слишком выделялся: не бросался в глаза и не вызывал подозрений.

Было что-то слишком провинциальное, даже местечковое во всех этих бывших советских магазинах, превращенных теперь в жалкие частные лавочки с выгоревшим на солнце гнилым румынским и немецким товаром. Дома не очень сильно пострадали от бомбежек, но все же несколько рассыпавшихся строений, успевших зарасти бурьяном, зияли в перспективе некогда богатой, красивой улицы удручающими пустотами.

Было совсем мало прохожих, и они шли не по тротуару, а по мостовой, толкая самодельные тележки с домашними вещами и мебелью. Они шли сбивчивым, торопливым шагом, опустив голову и стараясь не смотреть по сторонам. Визг железных колесиков надрывал душу. От одного этого нищенского визга можно было сойти с ума. Это был звук подавленного человеческого горя, мучительный звук рабства. И он был в таком вопиющем противоречии с прелестью знойного августовского утра!

А утро было действительно прелестным. В нем соединялась вся сила южного лета, достигшего полной зрелости, полного своего расцвета, с ясным предчувствием мечтательной золотистой осени, которая уже блестела вокруг, по всему побережью, по пустому жнивью, по баштанам, по полям желтеющей кукурузы.

Акварельные тени акаций густо и резко лежали на выщербленных тротуарах и на неровной, давно не ремонтированной мостовой, покрытой осенним сором — жухлыми арбузными корками, виноградными косточками, сухими кочанчиками кукурузы.

Впереди он видел купол городского театра и сияющее над ним в кобальтовом небе громадное облако, похожее на глыбу мела. Там, дальше, был порт и залив, и на той стороне залива — розовая Дофиновка, и золотистые жнивья, и сиреневые плиты дальнего берега. А еще дальше был Крым, и белые развалины Севастополя, и тучи зеленых мух над грудами мусора, заросшего душным бурьяном. А еще дальше — истерзанная войной Керчь, и развалины Новороссийска, и черные щупальца фашистских армий, медленно ползущие по скалистым долинам Кавказа на Баку и выше, через истерзанные кубанские степи, через донские земли — к Волге, к Сталинграду...

Тягостное, невыносимое одиночество охватило душу Петра Васильевича. Он вдруг почувствовал такое отчаяние, такой ужас, что у него потемнело в глазах. Некоторое время он шагал машинально. В ушах шумело, и сквозь этот звонкий шум резко слышались какие-то железные удары: это на бывшей Большой Арнаутской из мостовой выдирали трамвайные рельсы и бросали их на грузовик. Враги грабили город.

Усилием воли Петр Васильевич сбросил с себя оцепенение. Он сильно притопнул ногой и некоторое время шел твердым, строевым шагом, крепко сжав рот и сощурив глаза. Если бы кто-нибудь в этот миг увидел выражение его лица, то, вероятно, бросился бы в сторону от Петра Васильевича — так страшно было его измученное, сведенное минутной судорогой умное, несчастное лицо.

Но улица была пустынна. Очевидно, недавно схлынула очередная волна немецких войск, отправленных из города на фронт.

Фашистские плакаты, приказы, объявления, которыми были заклеены углы домов, афишные тумбы, обвалившиеся стены пожелтели на солнце и как-то особенно сильно подчеркивали запустение, царившее всюду. Город, несмотря на то что он считался прочно, навсегда завоеванным, отторгнутым от Советского Союза, имел вид беспризорный. Это был глубоко тыловой, забытый город, стоявший в стороне от прямых коммуникаций армий, которые прошли через него на восток со всеми своими обозами, транспортами, парками и по-

левыми комендатурами. Теперь в нем воровато и неуверенно хозяйничали тыловые разведки и гражданские учреждения короля Михая, которые, самим себе не веря, играли в завоевателей и колонизаторов захваченной советской земли, весьма претенциозно названной Транснистрией.

Вероятно, изобретатель этого названия воображал себя Цезарем, а Одесскую область — чем-то вроде древней Галлии...

— С...скажите, пожалуйста! — злобно пробормотал Петр Васильевич.— Транснистрия! Римляне затрушенные!

Ему удивительно ясно представились вся наглость и вся смехотворная глупость этой идиотской фашистской затеи — завоевать, покорить и превратить в колонию советское государство. И тогда он стал по-новому видеть город, через который шел, и по-новому его чувствовать.

Теперь город не казался ему чужим. Он был лишь отчужденный. Он был отчужден, но оставался родным, мучительно родным, может быть, даже еще более родным, чем всегда. Петр Васильевич снова почувствовал душу родного города. Только теперь эта душа сияла не так открыто. Она присутствовала всюду, но она была незрима, как будто на ней была надета шапка-невидимка.

Петр Васильевич составлял частицу этой неумирающей души. Он сам был как бы в шапке-невидимке, и он с бесстрашной уверенностью шел через город, который безраздельно принадлежал ему. Здесь, на этой улице, в эту минуту он, и никто другой, был настоящим хозяином. Он был совестью, честью, он был единственным судьей, он был самой Советской властью.

Петр Васильевич дошел до угла Екатерининской. Это был тот самый угол, где испокон веку торговали цветами.

Здесь также некогда меняли деньги.

Менялы сидели перед своими зелеными рундуками в старых, ободранных креслах, к спинкам которых были привязаны громадные парусиновые зонтики. Это были зловещие старики с крючковатыми носами. Их глаза пронзительно светились из-под ржавых бровей. Незави-

симо от времени года — зимой и летом — они были закутаны в старые шотландские пледы и облысевшие башлыки. Из тряпья высовывались наружу костлявые руки. Орлиные пальцы судорожно бегали по крышке рундука, сортируя и раскладывая на кучки и столбики серебряные и медные деньги.

Но это были не простые, обычные деньги. Это были иностранные деньги. Это были деньги, почему-то называвшиеся «валюта» и обладавшие в высшей степени странной, даже как бы зловещей способностью при размене изменять свою стоимость. То они стоили дороже, то они вдруг стоили дешевле.

Со стуком и звоном летали они в проворных пальцах менял, наполняя воздух тонкой, сухой музыкой непонятного мошенничества. Маленький Петя широко раскрытыми глазами смотрел на валюту, удивляясь ее поразительному разнообразию.

Каких только здесь не было денег! Казалось, все страны мира прислали сюда свои мелкие деньги специально для того, чтобы они, летая в пальцах менял, мгновенно дорожали и дешевели и опять дорожали, повинуясь какому-то темному закону «курса», который царил под сенью зловещих парусиновых зонтиков.

Здесь мелькали лиры турецкие и лиры итальянские, здесь тонко звенели франки швейцарские и французские, здесь летали американские центы, английские шиллинги и какая-то китайская мелочь с дырочками посредине, и крутились японские иены, и проносились стаями мильрейсы, и складывались в столбики греческие драхмы, румынские леи, болгарские левы, сербские динары, испанские позоты, индийские рупии... Каждая из этих монет несла на себе эмблему своей страны — крест, льва, женщину, голову короля, иероглиф или какую-нибудь совсем непонятную штуку вроде турецкого знака Османа, похожего на отпечаток большого пальца.

Тогда мальчику Пете, будущему Петру Васильевичу, казалось, что это не деньги, не серебряные кружочки монет, а сами государства со всеми своими эмблемами, гербами и профилями монархов мелькают и тасуются на зеленой крыше рундука только для того, чтобы часть их богатств осталась в этих сухих, хищных руках с проворными орлиными пальцами.

Иногда к рундукам подходили люди и меняли валюту. Чаще всего это были матросы с иностранных пароходов. Они бросали на рундук одни монеты и вместо них получали другие. И, судя по сердитому выражению их лиц, они получали меньше, чем давали. Они бормотали ругательства.

Бывало, какой-нибудь матрос стучал кулаком по рундуку. Тогда все менялы, как взъерошенные совы, поворачивали к нему свои головы и дружно свистели роковое слово:

«Курс-с-с, кур-с-с, кур-с-с!..»

И это слово смиряло матроса. Он отходил, засунув руки в карманы и наклонив голову в синей шапочке с красным помпоном, не понимая как следует, что же, собственно, произошло с ним и отчего же он получил меньше, чем дал.

«Мошенники!» — шептал мальчик Петя про себя, не отдавая себе ясного отчета в том, почему же они мошенники, но всей своей душой чувствуя ненависть к менялам и к тонкой, сухой музыке валюты, летающей в их проворных, когтистых пальцах.

С течением времени они несколько раз изменяли свое обличье. При немецком нашествии 1918 года и при деникинщине они еще сохраняли свой дореволюционный вид — свои зеленые рундуки, рваные кресла и парусиновые зонтики. Но при интервенции четырнадцати держав они уже функционировали на углу Екатерининской и Дерибасовской в виде кучки валютчиков, прогуливающихся мимо дома Вагнера с разноцветными пачками бумажной валюты, развернутыми наподобие карт. В короткий период нэпа они не осмеливались ходить по улице. В кепках и толстовках они толпились на громадном проходном дворе дома Вагнера, чернели за решетками ворот и таинственно мелькали в подъездах, позванивая золотыми царскими десятками и хрустя бумагой новеньких червонцев. Потом они окончательно и, как казалось, навсегда исчезли...

39
ВЕКСЕЛЬНОЕ ПРАВО

Петр Васильевич дошел до знаменитого угла. Если не считать того раза, когда он в сумерках прошел здесь в молдаванской свитке под конвоем Дружинина, переодетого в эсэсовца, он не был на этом углу около двадцати лет. Ему показалось, что он сейчас должен увидеть роскошные снопы августовских цветов, таких ярких, что все вокруг них — широкий асфальт панели, стена углового дома, витрины — будет жарко освещено как бы заревом огромного костра. Он даже готов был на минуту остановиться и зажмуриться от предстоящего наслаждения, как это бывало с ним всегда, когда он подходил к знаменитому углу.

Но нет, угол оказался пуст, гол, лишен своей главной и единственной прелести — цветов. Он был так же ободран, запущен, как и все другие углы оскверненного и ограбленного города. На старой, ободранной стене висела новенькая эмалированная табличка, где на двух языках — русском и румынском — было написано: «Улица Адольфа Гитлера». Это был нищий угол. Его нищету особенно подчеркивала стоящая на тротуаре консервная банка с двумя ветками садовой мальвы, которыми торговала простоволосая старушка в австрийском мундире, устроившаяся рядом со своим товаром на маленькой традиционной скамеечке. Кроме жестянки с мальвами, у ее ног лежал кусочек фанеры, на которой было разложено несколько желтых груш, так называемых лимонок. Было что-то ужасно грустное, безнадежное в этих маленьких грушах, пронизанных золотистыми лучами одинокого солнца, такого яркого и вместе с тем такого бессильного.

Не было на углу также зеленых рундуков и полотняных зонтиков менял. Но зато мимо решетчатых ворот дома Вагнера туда и назад прохаживались молодые люди в песочных пиджаках по колено, с перстнями-печатками на пальцах и длинными волосами, зачесанными за уши. Петр Васильевич еще не успел сообразить, какую опасность они для него представляют и не лучше ли поскорее перейти на другую сторону, как один из них — с сальным, угреватым носом и волосами черно-

синими, как маслины,— заложив руки за спину, прошел мимо него вкрадчивой походкой сыщика и, не останавливаясь, пробормотал:

— Фунты, доллары, швейцарские франки?..

Ах, так вот оно что! Оказывается, это были просто-напросто менялы, самые обыкновенные валютчики. Они снова возникли на этом гиблом месте, но только в другой, новой оболочке. Петр Васильевич строго нахмурился и отрицательно мотнул головой. Молодой человек с маслянистым носом жеманно зажмурился и показал золотой зуб:

— Турецкие лиры? Рейхсмарки?..— Он зажмурился еще сильнее, якобы отвернулся и сладострастно прошипел, даже как-то просвистел в пространство: — Советские тш-ш-шервонс-сы?

— Найн! — надувшись, рявкнул Петр Васильевич, совершенно неожиданно для себя, рокочущим, утробным, грозным немецким голосом.— Цум тёйфель! Шпекулянт! Хинаус!

Это было все, что услужливая память сумела в этот миг подать ему из своих скудных запасов немецкого языка. Но этого было совершенно достаточно. Молодых людей как ветром сдуло. Мелькнули согнутые спины, затылки, пучки сальных волос за ушами, каучуковые подметки желтых туфель. Послышались восклицания: «Экскюзе! Пардон! Извиняюсь!» И угол Дерибасовской и Адольфа Гитлера опустел; только за решеткой дома ворот Вагнера еще некоторое время было заметно беспорядочное движение.

— Цум тёйфель! — повторил Петр Васильевич сквозь зубы и еле заметно озорно прищурил глаз — совершенно так, как это сделал бы в подобном случае Дружинин.

Он прошел несколько десятков шагов по пустынной Дерибасовской и увидел комиссионный магазин Колесничука.

Он вошел в него не сразу: сперва прошелся два раза мимо, стараясь заглянуть внутрь. Он мысленно репетировал комедию, которую ему предстояло сейчас разыграть перед негодяем Колесничуком, и кусал губы, стараясь привести себя в состояние душевного равновесия. Он боялся, что не справится с ролью и, чего доброго, в самом деле, вместо того чтобы прикинуться дезертиром

и негодяем, набьет Колесничуку морду, разобьет несколько комиссионных супников и уйдет назад на Средний Фонтан, в сточную трубу. Он ласково поглаживал себя обеими руками по щекам, мысленно самыми ласковыми словами уговаривал себя успокоиться. Наконец он успокоился, надел пиджак и решительно взялся за треснувшую стеклянную ручку двери. Но, открывая дверь, он вдруг увидел в глубине магазина Колесничука, который в высоком бумажном воротничке, подпиравшем его сизые щеки, в старорежимном чесучовом пиджаке, с закрученными усами стоял за конторкой, погруженный в чтение какой-то толстой книги. Ярость с новой силой поднялась в успокоившейся было душе Петра Васильевича.

Но отступать уже было поздно.

Колесничук был настолько поглощен чтением, что даже не заметил, что в магазин кто-то вошел. По его лицу, багровому от духоты, струились ручьи пота. Пот капал на страницы раскрытой книги. Петр Васильевич заметил, что это был том Большой энциклопедии издательства «Просвещение». Колесничук читал энциклопедический словарь. Кожа на его лбу была собрана в мучительные складки, которые медленно двигались вверх и вниз, направо и налево, изредка скопляясь над толстой переносицей, побледневшей от напряжения.

«И он еще, каналья, читает энциклопедический словарь! — подумал Петр Васильевич, рассматривая Колесничука, как странное насекомое.— Ишь, отъел себе морду!»

Вид Колесничука вызвал в нем физическое отвращение. Особенно омерзительными были усы. Лицо Колесничука казалось Петру Васильевичу тупым, сонным, самодовольным — классическое лицо лавочника, погруженного после обеда в чтение «Жития святых».

Между тем, если бы Петр Васильевич был более наблюдательным и не так раздражен, он, без сомнения, увидел бы, что лицо Колесничука совсем не было тупым, сонным и меньше всего самодовольным. Это было лицо глубоко несчастного, обманутого, попавшего в беду человека, красное вовсе не от духоты, а от умственного напряжения, от усилий освободиться из какой-то незримой петли и ухватившегося за энциклопедический сло-

варь как за последнее средство спасения. Время от времени он закрывал глаза, поднимал лицо вверх и быстро бормотал, как бы стараясь возобновить в памяти какой-то старый, ненужный, давно забытый урок:

— Двумя основными формами векселя являются: переводной вексель, или «тратта», и простой — «сухой» вексель. Переводной вексель есть документ, которым векселедатель — «трассант» — поручает другому лицу — «трассату» — уплатить определенную сумму («вексельная сумма») в определенный срок определенному лицу — векселепринимателю, «ремитенту», или законному приобретателю векселя...

Пробормотав эти странные, забытые слова, Колесничук открыл глаза и увидел Петра Васильевича, который стоял посредине комиссионного магазина, расставив ноги и заложив палку за спину, и в упор смотрел на Колесничука. Но Колесничук не только не узнал Петра Васильевича, а даже как-то не обратил на него особого внимания. Он лишь сделал неопределенный жест рукой, как бы приглашая покупателя выбирать все, что ему понравится, из вещей, выставленных на полках. И по этому вялому, безнадежному жесту сразу можно было понять, что магазин горит. Скользнув по Петру Васильевичу мутным, невидящим взглядом, Колесничук снова забормотал:

— «По своему юридическому значению тратта является обязательством трассанта ответствовать за то, что платеж по векселю будет произведен трассатом...» — Он еще раз глубоко вздохнул и, прикрыв глаза красными, воспаленными веками, как в бреду, повторил с мучительной улыбкой: — Трассантом и трассатом... Так-с...

О, если бы Петр Васильевич мог хотя бы только подозревать всю правду, если бы он мог читать в мыслях, если бы он знал, какой ад происходит в душе его старого друга Колесничука! Перед Колесничуком в это время стоял призрак неотвратимого дня, когда истекал срок уплаты по векселям. Срок приближался. Расположившись за конторкой и обливаясь пóтом, Колесничук в сотый раз пытался вникнуть в смысл статьи «Вексельное право». Он был слишком подавлен, слишком разбит, чтобы возобновить в памяти и хладнокровно разобраться

во всех тонкостях вексельного права, изложенного сухим научным языком, со множеством специальных терминов. Он быстро пробегал глазами колонки убористого шрифта, путаясь в словах: «ремитент», «трассат», «презентант», «акцепт», «индоссант», «индоссамент»... Он никак не мог понять, кем же он, собственно говоря, является: трассантом, трассатом, индоссантом или индоссаментом?..

Колесничук был весьма близок к помешательству. Он ничего не замечал вокруг. Между тем уже давно перед ним стоял человек в синем пиджаке и кремовых брюках, рассматривая его в упор глазами, в которых светилось плохо скрытое презрение с оттенком гадливого любопытства. Несомненно, это был покупатель. Колесничук, не отрываясь от словаря, сделал ему пригласительный жест, но, так как покупатель продолжал неподвижно стоять перед конторкой, Колесничук наконец очнулся, и дух господина Пржевенецкого нехотя вселился в него. С видом пожилого, глубоко несчастного и плохо скрывающего свое несчастье человека Колесничук грациозно изогнулся над конторкой и произнес заученным тоном:

— Чем могу служить, мсьё?

И в ту же секунду узнал Петра Васнльевича.

Это было совершенно невероятно, но все же это было так: перед Колесничуком стоял, заложив за спину бамбуковую палку, не кто иной, как Петр Васильевич Бачей, тот самый Бачей, с которым Колесничук проводил такие упоительные дни накануне войны, которого он провожал на фронт и который, очевидно судя по всему, оказался предателем и дезертиром. Ультрамариновый пиджак, кремовые брюки, обручальное кольцо, бамбуковая трость, развязный и в то же время несколько, как показалось Колесничуку, смущенный вид, вид изменника и негодяя... От кого угодно можно было ожидать такой подлости, но только не от Петьки. Нет, положительно мир был населен подлецами.

Впрочем, Колесничук за последние дни перенес столько ударов, столько подлостей, что ничто уже не могло его ошеломить. Он уже готов был медленно выйти из-за конторки, подойти к бывшему другу, смерить его с ног до головы презрительным взглядом и сказать: «Ну, гад, здравствуй! Расскажи, как ты продал Родину?» Но

он вовремя сдержался, вспомнив, кто он такой и какую роль играет.

А Бачей неподвижно стоял перед ним, в свою очередь еле сдерживаясь, чтобы не дать ему по морде.

40

«БЕЗ ОБОРОТА НА МЕНЯ»

Оба смотрели друг на друга с деланными улыбками, скрывавшими бушующую в их душе ненависть.

— Боже мой, кого я вижу! — сладко пропел Колесничук, жмурясь от фальшивого удовольствия и произнося слова «боже» и «вижу» с такими изысканнейшими черноморскими интонациями, что у него получилось «божьже» и «вижьжю».— Господин Бачей!

— Господин Колесничук! — в том же духе воскликнул Петр Васильевич, облизывая сухие губы и всеми силами души стараясь сделать свои злые глаза как можно более добрыми.

— Какими судьбами?

— Шел по Дерибасовской и вдруг вижу: «Комиссiонный магазинъ «Жоржъ» Г. Н. Колесничука». Неужели, думаю, это наш Жора Колесничук? Дай заскочу. Оказывается, это ты.

— Представь себе, это-таки я!

— Ну, я очень, очень рад тебя видеть!

— И я тебя тоже.

Они оба некоторое время поколебались и потом одновременно протянули друг другу руку.

— Здорово, старик!

— Здорово!

Они долго, с внутренним отвращением пожимали друг другу руку и оба невесело, смущенно хохотали, пряча глаза.

— Как живешь, старик? — сказал Петр Васильевич.— Что поделываешь?

— Ничего себе. Спасибо. Как видишь, мало-мало коммерсую.

— Чего? — не совсем понял Петр Васильевич.

— Коммерсую,— застенчиво повторил Колесничук

странное, но вполне русское слово, которое в Транснистрии имело всеобъемлющее значение самых разнообразных форм торговой деятельности, вплоть до продажи на базаре подержанных штанов.

— А, да-да,— поспешно сказал Петр Васильевич, испугавшись, как бы Колесничук не заметил, что он не знает этого общеизвестного глагола «коммерсовать».

— Ну, а ты что робишь?

— То же самое, коммерсую,— пожал плечами Петр Васильевич.

— В Одессе?

— Не. Я сюда только на днях приехал... из Плоешти,— совершенно неожиданно для самого себя сказал Петр Васильевич, глубоко удивляясь, откуда вдруг выскочило это слово «Плоешти». Однако город Плоешти оказался очень кстати. Случайное его упоминание сразу приблизило Петра Васильевича к выполнению задания, ради которого он и нанес визит негодяю Колесничуку.

— А, Плоешти! — воскликнул Колесничук.— Понял я вас! Нефть! Коммерсуешь по нефти?

— Отчасти,— уклончиво сказал Петр Васильевич.— Я нечто вроде представителя юрисконсульта одной смешанной румыно-американской нефтяной компании, которая послала меня в Одессу с очень интересным заданием.

Петр Васильевич слышал, что, несмотря на войну, в состоянии которой находились Румыния и Америка, в Плоешти процветали американские нефтяные фирмы, и, для того чтобы придать своей воображаемой деятельности больше правдоподобия, он тут же, не сходя с места, придумал весьма солидный и правдоподобный вариант смешанной румыно-американской нефтяной компании. Еще и точности не зная, что из этого может выйти, но чутьем разведчика понимая, что из этого непременно выйдет что-нибудь полезное, он стал весьма художественно врать насчет крупных интересов, которые имеет его смешанная компания в Одессе, и даже глухо намекнул, что имеются серьезные предположения, будто в районе Одессы находятся богатые месторождения первоклассной, высококачественной нефти. Он врал весьма вдохновенно.

— Что ты говоришь! — воскликнул Колесничук.

— То, что ты слышишь.

— Вот это номер!..

— Только я тебя умоляю! Я тебе это доверил, как другу. Никому ни слова.

— За кого ты меня считаешь!.. Нефть под Одессой! Нет, это-таки номер! Куда ж смотрела Советская власть?

— А, Советская власть! — пренебрежительно сказал Петр Васильевич и, в душе презирая себя, махнул рукой.— Разве большевики что-нибудь понимали? Вот Америка — это да.

— Америка — это да! — вздохнул Колесничук.— Да и Германия, знаешь, тоже...

— Что «тоже»?

— Тоже, так сказать, могучая страна,— выдавил из себя Колесничук.— Скажешь, нет?

— А кто ж спорит?

— Я ж тебе и говорю, что никто не спорит.

Некоторое время они оба молчали, ощущая такую тошноту, будто напились помоев.

— Так, говоришь, нефть? — наконец сказал Колесничук, со скрытой ненавистью поглядывая на Петра Васильевича.

— Высокооктановая,— подтвердил Петр Васильевич.— Имеются все основания предполагать. Я, собственно, за этим и приехал. Надо навести справки, проверить. Есть сведения, что до первой мировой войны какие-то чудаки даже производили в районе Одессы специальные изыскания. По-моему, к этому делу имел отношение наш Африкан Африканович. Помнишь нашего Африкана?

Лицо Колесничука сразу просветлело, как бывало каждый раз, когда они начинали предаваться воспоминаниям. Наш Африкан! Конечно, он его помнил. Как он мог забыть этого чудака историка, самого незлобивого, кроткого и самого умного преподавателя, энтузиаста своего предмета, каждое лето затевавшего под Одессой археологические раскопки скифских курганов и стоянок первобытного человека!

— Небось старик уже давно сыграл в ящик? — сказал Петр Васильевич небрежно.

— Представь себе, жив.

— Что ты говоришь! Сколько же ему лет?

— Годов семьдесят пять. Еще крепкий старик.— Глаза Колесничука тепло засветились.— Как же, как же, наш Африкан!

Ему приятно было говорить о старике Африкане Африкановиче. Ведь он был такой же достопримечательностью города, как памятник дюку де Ришелье или Воронцовский дворец. На миг Колесничук вспомнил гимназию, товарищей, гимназистика Петю Бачея, однажды запоровшегося на уроке истории, когда проходили Древнюю Грецию. Золотистый луч упал в его смятенную душу и наполнил ее теплым светом. На миг он забыл свои невзгоды, ужас своего положения, разлуку с Раисой Львовной, бронзовые векселя... Но тотчас лицо его снова омрачилось.

— Плохо нашему Африкану...— сказал он со вздохом.

— А что такое?

— Не сошелся с оккупационными властями. Отказался читать лекции в университете по их программе. И они его, представь себе, выгнали, как собаку! И знаешь, где он сейчас служит? Ты не поверишь! Сторожем в Археологическом музее. Простым, обыкновенным сторожем — на пятнадцать марок в месяц. Как тебе это нравится? — Колесничук с горечью произнес эти слова и вдруг спохватился, что слишком явно не выдержал своей роли.— Впрочем...— поспешил он прибавить назидательным тоном и закрутил свои густые усы,— впрочем, я его не одобряю, нашего Африкана, так как он своим поступком проявил крайнюю нелояльность... Гм... да... крайнюю нелояльность...— И Колесничук строго, но вместе с тем заискивающе посмотрел на Петра Васильевича с таким чувством, словно он опять наглотался помоев. Вдруг его глаза остановились, остекленели, лицо пошло багровыми пятнами, и он обеими руками взялся за конторку, как бы боясь потерять равновесие.

Дверь задребезжала, в магазин быстро вошел господин в канотье, с портфелем под мышкой, отвел Колесничука в сторону, и они заговорили по-румынски.

— Буна зиуа, домнуле Колесничук.

— Буна зиуа, домнуле Флореску.

— Че май фачь?

— Мулцумеск.

— Авець де гынид сы акитаць датория?

Петр Васильевич с трудом верил своим ушам: Колесничук бодро лопотал по-румынски. Когда он успел научиться? Боже мой! Какие дела могут быть у Колесничука с этим явным жуликом, который время от времени сверкал фальшивыми брильянтами и хлопал рукой по портфелю? О, как низко пал Жорка Колесничук!

К сожалению, Петр Васильевич не знал румынского языка. Если бы он его знал, он понял бы, что господин в канотье — палач, а Колесничук — всего лишь его невинная жертва. В переводе на русский язык их разговор обозначал приблизительно следующее:

— Здравствуйте, господин Колесничук.

— Здравствуйте, господин Флореску.

— Как поживаете?

— Спасибо.

— Платить собираетесь?

— Господин Флореску, будьте великодушны! Вы меня разоряете.

— Это меня не интересует. Я хочу знать: будете ли вы платить? Сегодня понедельник, завтра вторник, послезавтра среда. Если в среду до закрытия биржи я не буду иметь от вас деньги, тогда я опротестую ваши векселя и буду описывать ваш магазин, вашу квартиру и все имущество.

— Господин Флореску!..

— Я сказал. До свидания.

Господин Флореску коротко приподнял канотье и, на этот раз даже не выпустив на прощанье из-под своих зловещих бровей брильянтовых пучков, хлопнул дверью. Колесничук безмолвно смотрел ему вслед мутными, неподвижными глазами. Пот струился по его воспаленному лицу.

— Вы видите, что делается, мсьё? — вдруг произнес он с блуждающей улыбкой. Он был так расстроен, что даже на миг потерял память — забыл, что перед ним стоит бывший Петька Бачей, а отнюдь не какой-то «мсьё». Впрочем, он сейчас же очнулся и ужасно смутился.— Ум за разум заходит, виноват...— сказал он жалобно.— Господи боже мой, что же это делается? Грабеж среди бела дня!

Как ни был Колесничук в эту минуту противен Петру

Васильевичу, все же он возбудил в его душе нечто похожее на жалость.

— Что случилось?

И Колесничук, забыв, что теперь они, в сущности, смертельные враги, рассказал Петру Васильевичу историю с векселями, умолчав, впрочем, о многих ее подробностях.

— Понимаешь,— говорил он, растирая обеими руками голову,— векселя бронзовые, а я обязан почему-то по ним платить. А не заплачу — пустят с молотка все мое имущество. Ты же юрист, Петя, может быть, ты что-нибудь тут понимаешь?

— Да тут, брат, и понимать нечего. Ты сделал на векселях передаточную надпись?

— Ну, сделал.

— Свою подпись поставил?

— Ну, поставил. Ведь, кажется, так полагается? Во всяком случае, Моченых сказал, что полагается.

— Он тебе правильно сказал. Полагается.

— Вот видишь!

— Ничего я еще пока не вижу. А кроме твоей подписи, ты что-нибудь еще на векселе писал?

— Ей-богу, больше ничего не писал! Святой истинный крест! — воскликнул Колесничук и даже побледнел от волнения.— Чтоб мне не сойти с этого места!

— Ну, так сам виноват. Тебе надо было прибавить к своей подписи слова: «Без оборота на меня».

— Без оборота на тебя...— бессмысленно пробормотал Колесничук, снова начиная покрываться багровыми пятнами.

— Да не на меня, а на тебя!

— Я ж и говорю — на тебя.

— Ну, братец, с тобой каши не сваришь! А еще коммерсант! Воображаю, как ты «коммерсуешь»! — ядовито сказал Петр Васильевич.— Ты должен был написать: «Без оборота на меня». Что это значит? Это значит, что надписатель, прибавивший к своей подписи «Без оборота на меня», освобождается от ответственности. А ты не написал. Значит, ты от ответственности не освобождаешься. И теперь тебе надо платить. Таков железный закон капитализма.

— Значит, я совершенно разорен,— прошептал Колесничук.— Они меня раздели... Я убит.

— А! — злорадно сказал Петр Васильевич, но тут же спохватился и, сделав печальное лицо, прибавил: — Ты когда-нибудь Чехова читал?

— Ну, читал. А что?

— Ничего. У Чехова есть прелестный рассказ, где один юрист говорит купцу: «Не надо быть бараном».

— Что ты имеешь в виду? — тонким, как бы простуженным голосом сказал Колесничук и заморгал ресницами.

— Вот это самое: не надо быть бараном... Ну, я пошел. Рад был тебя повидать.

Петр Васильевич небрежно подал Колесничуку два пальца, как и подобало, по железным законам капитализма, счастливому, преуспевающему юристу, представителю крупной фирмы, подавать руку мелкому купцу-банкроту.

— Бон шанс, как говорят французы,— сказал он.— Привет супруге.

— Какой супруге? — пробормотал совершенно обалделый Колесничук.

— Раисе Львовне. Надеюсь, она здорова?

— Я с ней разошелся,— хрипло сказал Колесничук.— Она там...— Он неопределенно махнул рукой.— Удрала вместе с большевиками... в Совдепию.

— А, понимаю...— заметил Петр Васильевич, уже не скрывая своего презрения.— На склоне лет оказалось, что вы не сошлись характерами. Это бывает. То-то я смотрю на тебя: отремонтировал усы, одеваешься по последней моде конца девятнадцатого века... Ты еще не женился на какой-нибудь румыночке с небольшим приданым? Нет?.. Сожалею. Впрочем, я с тобой заболтался. Мне еще надо туда-сюда... На прием к одесскому городскому голове господину Алексяну. Масса дел! Если ты меня захочешь видеть, прошу — Лондонская гостиница, номер двадцать шесть. Спросишь юрисконсульта Бачей, там меня все знают. Пока!

И, фатовски помахав рукой, Петр Васильевич поскорее вышел из комиссионного магазина «Жорж», чувствуя в душе острую, почти физическую боль отвращения. Вместе с тем он испытывал также и радость оттого, что

ему так ловко удалось навести разговор на Африкана Африкановича и узнать его «координаты», как любил в подобных случаях выражаться Дружинин.

Между тем Колесничук метался по магазину, как Герман из «Пиковой дамы». Но только вместо «три карты, три карты, три карты...» он все время с маниакальным упорством повторял:

— Без оборота на себя, без оборота на себя, без оборота на себя.

Это была агония комиссионного магазина «Жорж»...

Когда Колесничук, разбитый душевно и физически, плелся вечером домой, его вдруг осенила еще одна мысль, которая показалась ему гениальной. Он решил пойти к Петру Васильевичу в Лондонскую гостиницу и попросить у него взаймы денег. Он будет его умолять. Он подпишет ему любые векселя. Не может же быть, чтобы у него не было денег! У него, наверное, найдется три тысячи марок. Трудно представить, чтобы он отказал своему старому другу. В эту минуту Колесничук не думал о том, что Петр Васильевич предатель, изменник, что он ненавидит его. Да, он его ненавидит! Он предатель. Но Колесничук скроет свою ненависть. Он будет перед ним притворяться, льстить...

Колесничук тут же повернул и побежал в Лондонскую гостиницу. Здесь его ждал последний, самый страшный удар: никакого Петра Васильевича Бачей, юрисконсульта из Плоешти, в гостинице не оказалось. Никто даже и фамилии такой не слышал. Это был обман.

Это был такой же обман, как Ионел Миря, Моченых, фирма «Мефодий Мунтяну и сыновья» — Бухарест, Берлин, Вена, Копенгаген, Анкара, Монтевидео, Мирча Флореску, его фальшивые брильянтовые перстни и фальшивые брильянтовые глаза... Все вокруг Колесничука было обманом в этом проклятом фальшивом мире торгашей, мошенников и спекулянтов, захвативших честный советский город и наполнивших его своим зловонным дыханием.

И Колесничук понял, что он пропал окончательно и бесповоротно.

41
ТЕЗИС-МЕЗИС

Петр Васильевич вошел в пустой, пыльный вестибюль. Под лестницей находился столик для продажи билетов. Но он был пуст, и на нем, так же как и на полу, лежал слой пыли.

По-видимому, музей уже давно никем не посещался.

Петр Васильевич несколько раз громко кашлянул. Звук кашля, усиленный пустотой вестибюля, улетел куда-то в глубину музея и вернулся оттуда через некоторое время порхающим эхом. Петр Васильевич подождал, не выйдет ли к нему кто-нибудь. Никто не появился. Тогда Петр Васильевич, гулко постукивая палкой, стал обходить пустые музейные залы.

Он шел не торопясь, как и подобало посетителю музея, изредка останавливаясь перед желтыми ясеневыми столами, перед плоскими стеклянными ящиками, равнодушно рассматривая черепки, глиняные светильники, радужные от времени стеклянные финикийские флаконы и маленькие бронзовые фигурки, найденные в скифских курганах.

Вдруг он увидел маленького толстого старичка в синем балахоне с дворницкой бляхой, который приближался к нему мимо каменных баб и мумий по анфиладе музейных залов, шаркая стоптанными войлочными туфлями. Старичок сердито махал короткими ручками, издали крича:

— Ступайте! Ступайте! Вы разве не видите, что музей закрыт? Закрыт! Ынкис! Фермато! Гешлосен! — кричал он на все лады: по-русски, по-румынски, по-итальянски, по-немецки, так как не мог издали определить национальность Петра Васильевича.

Наконец он настолько приблизился, что Петр Васильевич стал узнавать характерные черты Африкана Африкановича Светловидова: толстые висячие щеки, пуговичку носа, резко опущенные углы мясистого бритого рта, круглую, коротко остриженную голову — словом, все те черты, которые делали Африкана Африкановича похожим на мопса. Он был очень стар. Его короткие ноги, делавшие маленькие шажки, дрожали. Круглая, остриженная под машинку голова была совсем

седая, белая с сизым отливом, как старое серебро. Старчески горестные морщины по всем направлениям пересекали его умное мясистое лицо. Но он не был дряхл. Добрые выпуклые глаза — янтарные — глядели совсем молодо. Он приблизился к Петру Васильевичу, сложил на животе короткие ручки и, по своей привычке, которую сразу вспомнил Петр Васильевич, стал быстро вращать большие пальцы один вокруг другого. Он смотрел на Петра Васильевича снизу вверх, желая определить, к какой национальности принадлежит посетитель и на каком языке следовало к нему обратиться.

— Закрыто! — наконец сказал он по-русски.

Петр Васильевич широко улыбнулся, чувствуя, как горячая, печальная нежность заливает его сердце.

— Африкан Африканович, здравствуйте! — сказал он и, шаркнув ногами, по-гимназически поклонился своему старому преподавателю.— Не узнаете меня?

Африкан Африканович еще быстрее закрутил пальцами перед своим круглым животиком, немного подумал и кратко промолвил:

— Извините, не припоминаю.

— Ну как же! — сказал Петр Васильевич с упреком, продолжая улыбаться.— Ваш ученик.

Африкан Африканович смотрел на этого немолодого господина в щегольском ультрамариновом пиджаке, всматривался в его загорелое лицо, видел его темные, с легкой проседью, зачесанные назад волосы, обручальное кольцо на пальце, бамбуковую трость — и ничего не мог вспомнить. Мало ли было у него в жизни учеников! Некоторых он действительно узнавал, а некоторых — нет. Этого он не узнавал. Африкан Африканович виновато улыбнулся и развел своими короткими ручками с короткими, толстыми пальчиками:

— Виноват-с! Напомните.

— Напомнить? Хорошо.

Глаза Петра Васильевича вдруг озорно вспыхнули, и он, наклонившись к Африкану Африкановичу, произнес:

— Мезис.

— Как-с?

— Мезис!— крикнул Петр Васильевич, как будто бы разговаривал с глухим: — Помните — мезис! Тезис-мезис!

Тогда лицо Африкана Африкановича вдруг расплылось, щеки надулись, глаза превратились в щелки, рот растянулся до ушей, и он захохотал. Он хохотал, хватаясь короткими ручками за бока, трясясь всем своим толстым старческим телом, и, отфыркиваясь, бормотал со слезами на глазах:

— Как же... как же... Тезис!.. Вот именно — тезис!.. Теперь вспомнил: Петя Бачей... Так это ты?.. Ах, боже мой!.. Вот уж действительно благодарю, не ожидал... Тезис!.. Ха-ха-ха! Тезис!..

...Хотя с тех пор прошло больше тридцати лет, но он вспомнил этот беспримерный случай на уроке древией истории «Афины».

У Петн Бачей была двойка, и добрый Африкан Африканович решил дать ему поправиться. Речь шла о греческих диспутах и о прочих вещах, весьма далеких от Петьки Бачей, который, держа книжку под партой и дрожа от нетерпения, дочитывал десятый выпуск «Пещеры Лейхтвейса». Хотя душа мальчика, захваченная судьбой благородного разбойника, находилась в данный момент в таинственных лесах Тюрингии, но его тело благонравно сидело на парте и делало вид, что крайне заинтересовано афинскими диспутами. Когда Африкан Африканович, расхаживая по классу, остановился перед его партой, мальчик смотрел на учителя такими преданными, такими прилежными, понимающими глазами, что Африкан Африканович не мог нарадоваться на прилежного Петю.

— Ну, кто может ответить на этот вопрос? — спросил Африкан Африканович, продолжая расхаживать по классу среди парт.

Почти все вокруг подняли руки, и Петя тоже машинально поднял руку, глядя на Африкаиа Африкановича неподвижными глазами, в которых еще струился зеленый полумрак лесной пещеры.

Африкан Африканович был добрый человек. Он не желал Пете зла. Наоборот, он желал ему всяческого добра. Видя, что мальчик так старательно тянет к нему два сложенных пальца, он захотел дать ему поправиться и вызвал его «с места».

— Вот Петя хочет нам ответить,— сказал Африкан Африканович благосклонно и погладил мальчика по

стриженой, жесткой голове.— Встань, Петя, и ответь на этот вопрос.

Петя встрепенулся, вскочил, одернул курточку и с отчаянием посмотрел вокруг.

— Не торопись, не волнуйся. Сначала подумай, а потом отвечай. О чем идет речь?

— О диспутах,— свистящим шепотом подсказал Петин сосед Жорка Колесничук, уткнувшись лицом в парту, чтобы не было заметно, что подсказывает именно он.

— О диспутах,— сказал Петя.

— Верно. Речь идет о диспутах. На диспутах афинские ораторы произносили политические речи. Как же они строили свои речи? Из каких частей состояли эти речи? Как называлось основное положение речи?

Петя стоял как соляной столб, и пот катился по его напряженному лицу.

— Тезис,— прошипел Жорка Колесничук.

— Тезис,— как заводной, повторил Петя ничего не выражающим механическим голосом.

— Хорошо,— сказал Африкан Африканович, морщась и делая вид, что не слышит подсказок Жорки Колесничука.— Очень хорошо. Молодец! Тезис. Ну, а как называется вторая часть речи афинского оратора, противоположная первой?

«Антитезис»,— хотел было подсказать Колесничук, но увидел глупое лицо Пети и вдруг, неожиданно для самого себя, показав ему язык и задыхаясь от сдерживаемого смеха, вместо «антитезис» прошипел:

— Мезис.

— Мезис,— с лунатической улыбкой повторил Петя, чувствуя, что с ним происходит что-то совсем неладное и непоправимое.

— Как? — сказал Африкан Африканович.— Как? — и даже приставил ладонь к своему большому, мясистому уху, в котором виднелись волосы, густые, как шерсть.

— Мезис,— жалобно, но твердо сказал Петя.

Трудно описать, что произошло дальше. Африкан Африканович замахал руками, побежал за кафедру, сел и уткнулся в журнал, всем телом содрогаясь от хохота. Класс бушевал. А среди этой гомерической бури смеха,

которая продолжалась до самого звонка, стоял оглушенный Петя, и слезы струились по его сморщенному лицу, капая на парту, как из выжатой губки.

Прошло больше тридцати лет, и Африкан Африканович снова, как тогда, хохотал над этим неожиданным, бессмысленным словом «мезис». Но только тогда он был цветущий сорокалетний приват-доцент в форменной тужурке министерства народного просвещения, а теперь он был кончающий свою жизнь одинокий старик, сторож Археологического музея, с трясущимися ногами и больным сердцем. Он хохотал и плакал и сквозь слезы смотрел на Петра Васильевича с выражением кроткой нежности и такого глубокого горя, что у Петра Васильевича невольно дрогнуло сердце. Он обнял старика, и Африкан Африканович доверчиво, как ребенок, прижался к его груди, не переставая хохотать, и плакать, и бормотать:

— Ах, боже мой, боже мой... сколько лет!.. Да, вот именно, тезис-мезис... Петя Бачей... Петька... А я... Они меня думали заставить читать свой курс по их тезисам... Вот уж действительно тезисы!.. Идиотские тезисы!.. Они имели наглость думать, что я буду учить студентов, будто Одесская область исторически является частью какой-то мифической Транснистрии. Они посмели это предложить мне, старому русскому ученому-археологу! А? Как тебе это нравится? И вот я — сторож, дворник... Ах, Петя, Петя, посмотри, что эти мерзавцы сделали с нашим цветущим городом!

Африкан Африканович, вытирая слезы, подошел к окну и протянул свою короткую дрожащую ручку в сторону порта:

— Развалины. Обломки. Хаос...

— Зер гут,— сказал Петр Васильевич.

— Как ты сказал?

Африкан Африкаиович отступил на шаг и посмотрел на Петра Васильевича с нескрываемым ужасом, с отчаянием:

— Как ты сказал? Может быть, ты... Нет, нет! Это совершенно невозможно... Я хорошо знал твоего покойного отца. Он был русский патриот... Я был твоим учителем, я читал вам русскую историю...

— Что вы, что вы, Африкан Африканович! — воскликнул Петр Васильевич, поняв наконец, что хочет

ему сказать его старый учитель.— Как вы могли подумать!

— Но вы, кажется, сказали «зер гут»? — подозрительно произнес Африкан Африканович.

— А разве это не зер гут? Идите-ка сюда, посмотрите!

Петр Васильевич привлек старика к окну, обнял его за плечи и прошептал:

— Смотрите-ка, что делается в порту.

— А что делается? — неуверенно произнес Африкан Африканович.— По-моему, ничего особенного не делается.

— Вот именно, вот именно...— быстро сказал Петр Васильевич.— Вы совершенно точно определили: ничего не делается. Они мечтают восстановить порт, а мы не даем. Мы срываем все восстановительные и ремонтные работы на причалах, в портовом флоте, на водопроводе, на погрузочно-разгрузочных работах. Горят буксы товарных вагонов. Задерживаются составы. В амбарах гниет зерно. Люди ходят, как сонные мухи...

Африкан Африканович медленно повернул голову и поднял на Петра Васильевича глаза, полные слез:

— Так это... вы?

— Мы,— просто сказал Петр Васильевич.

Вероятно, с точки зрения настоящего, профессионального разведчика он сделал чудовищную вещь, сразу же дав понять Африкану Африкановичу, кто он такой, и открыв, зачем он к нему пришел. Но он не был профессиональным разведчиком. Он действовал так, как подсказывало ему сердце. Он действовал стремительно, не рассуждая, повинуясь безотчетному чувству доверия и любви к этому старому одинокому человеку, своему бывшему учителю, который стоял перед ним в своем синем халатике с дворницкой бляхой, в стоптанных войлочных туфлях, со слезами на опухшем морщинистом лице.

— Я зашел сюда не случайно. Я разыскивал вас. Мне надо с вами поговорить. У меня есть к вам крайне важное дело. Вы можете нам очень помочь.

— Вам?

— Да, нам,— с ударением повторил Петр Васильевич.

— Хорошо,— сказал Африкан Африканович.— Но сперва надо запереть входную дверь.

Пока Африкан Африканович, шаркая туфлями и кряхтя, ходил запирать входную дверь, Петр Васильевич с громадной нежностью и уважением думал о судьбе этого замечательного старика, русского ученого, человека с детски чистым сердцем, неподкупной совестью и широкой, прекрасной душой патриота, который не захотел предать родину и которого за это тупоголовые, малограмотные чиновники-фашисты сделали дворником.

«Вот они, настоящие советские люди! — думал Петр Васильевич, сидя на подоконнике и глядя в порт.— Их много. Их подавляющее большинство. Они всюду. Они в университетах, в катакомбах, на чердаках, в котельных разбитых домов, в лесах, в порту, на железнодорожных станциях, в подпольных райкомах партии, наконец просто у себя на квартирах, дома...»

Африкан Африканович вернулся и присел рядом с Петром Васильевичем на край фигурного ящика, где лежало маленькое, сухое, туго спеленатое черными смоляными бинтами тело египетской мумии.

На стене, в желтой ясеневой раме, висел чертеж египетской пирамиды, в которой эта мумия была найдена. На чертеже были обозначены внутренние коридоры, целый лабиринт таинственных переходов, тупиков и вырезанные в фундаменте склепы с саркофагами царей.

— Сорок веков смотрят на нас с высоты этой пирамиды,— машинально сказал Петр Васильевич.

— Я как раз подумал то же самое,— кротко улыбаясь, заметил Африкан Африканович.— Сорок веков смотрят на нас и ничего не понимают.

С этими словами Африкан Африканович выжидающе поднял на Петра Васильевича свои умные янтарные глаза и глубоко вздохнул.

— Нам необходимо знать,— решительно сказал Петр Васильевич,— где в черте города имеются входы в катакомбы.

— Почему ты меня об этом спрашиваешь? Или, вернее сказать, почему ты об этом спрашиваешь именно меня?

— Потому что Москва сказала нам, что в Одессе

живет старый археолог, некто Африкан Африканович Светловидов, русский патриот.

Лицо Африкана Африкановича оживилось:

— Так сказала Москва?

— Да. Может быть, это неверно?

Вместо ответа Африкан Африканович обеими короткими ручками стал растирать себе голову и лицо, как будто бы умываясь.

— Постой-ка, постой-ка, Петя... У меня были чертежи, да я их на всякий случай уничтожил... Дай бог памяти... Их было несколько, входов... Тебе надо именно в черте города?

— Именно в черте города.

— Во всяком случае, один я помню хорошо: большой дом рядом с бывшим клубом «Гармония»... Ты «Гармонию» помнишь? Хотя, кажется, этот дом разрушен бомбардировкой, но это не имеет значения. Когда-то в подвале этого дома, во втором дворе, помещался большой винный склад, помнится, фирмы «Братья Синадино».

— Это неважно, как звали братьев,— нетерпеливо заметил Петр Васильевич.

— По-моему, там и до сих пор должны находиться громадные пустые бочки, если, конечно, их не вывезли... Так вот, за бочками, в самой глубине подвала, и начинаются катакомбы. Собственно говоря, самый подвал и есть передняя часть катакомб, но только зацементированная и превращенная в винный склад... Ну, а дальше идут собственно катакомбы, если их, конечно, до сих пор не замуровали... Хотя не думаю... Вряд ли кому-нибудь, кроме меня, известно об их существовании... Некоторые старики одесситы, конечно, знали, да «иных уж нет, а те далече»,— с кроткой, покорной улыбкой вздохнул Африкан Африканович и завертел на животе пальцами.— Так вот, если это вас устраивает... А других не помню... Просто забыл. Не та память!.. Впрочем, нет, вру,— спохватился Африкан Африканович:— это подвал вовсе не Синадино, а братьев Британовых... Даже, вернее сказать, фирмы «Золотой колокол»...

Но Петр Васильевич уже не слушал его бормотанья. Он вскочил с подоконника, стремительно обнял Африкана Африкановича и крепко поцеловал его белую, холодную морщинистую щеку:

— Спасибо, Африкан Африканович! Вы очень, очень помогли нам... А теперь я пойду.

— Постой, куда же ты? Петя! Ключи-то у меня.

И в эту самую минуту где-то в порту вдруг как бы мелькнула очень сильная молния. Зловещий свет пролетел по музейным залам, отражаясь в витринах. Воздух рвануло, со звоном посыпались стекла. Петр Васильевич и Африкан Африканович инстинктивно прижались к стене. Новый взрыв, еще более сильный, потряс здание. Они подождали некоторое время и осторожно посмотрели в окно. Над пирсом Нефтяной гавани, в сияющем небе, низко висело плотное черное облако взрыва, освещенное снизу бушующим пламенем. Это горел бензин, и в огне продолжали взрываться одна за другой цистерны, постепенно окутывая все вокруг тяжелым, непроницаемо-душным дымом.

— Толково! — сказал Петр Васильевич и, не оборачиваясь, вышел.

Африкан Африканович семенящей рысцой побежал за ним, догнал в вестибюле и отворил дверь.

Но, перед тем как выпустить Петра Васильевича на улицу, Африкан Африканович с необычайной силой обхватил своими короткими ручками его шею, притянул к себе и стал его быстро, мелко целовать куда попало — в голову, в плечи, в грудь, жарко шепча:

— Ну, Христос тебя спаси!.. Экий ведь ты какой отчаянный... Петька Бачей!.. Ты все-таки будь поосторожней... А то знаешь... И глазом не моргнешь... Ах, боже мой, боже мой!..— Слезы текли по его толстым наморщенным щекам. — Ну, ступай, ступай! — почти крикнул он наконец, но в самых уже дверях с силой удержал его за рукав.— Стало быть, мезис? — сказал он, плача и хохоча в одно и то же время.

— Мезис, Африкан Африканович, мезис! — поспешно ответил Петр Васильевич, в последний раз пожал руку своему бывшему учителю и вышел на белую, раскаленную улицу, по которой уже с воем неслись в порт полицейские и пожарные автомобили.

42

«Я ВЫЛЕТЕЛ В ТРУБУ»

Ночью шел сильный дождь. На рассвете мокрая степь курилась туманом. Изредка поглядывая в смотровую щель, Синичкин-Железный видел, как мотается на ветру куст сербалины (шиповника), усыпанный желто-красными плодами. Ветер был неприятный, холодный. Низко над степью бежали темно-синие утренние тучи. Глубоко засунув руки в рукава и прижав к груди винтовку, Синичкин-Железный кутался в шинель и никак не мог согреться.

Он был очень болен, и все вокруг понимали, что он долго не протянет. Но он пытался скрыть свою болезнь и не позволял о ней даже заикнуться. Если кто-нибудь заговаривал с ним о болезни, он начинал ужасно волноваться. Иногда он даже впадал в неистовство. Черноиваненко пытался освободить его под разными предлогами от дежурств у входа, но Синичкин-Железный не желал ничего слушать. Наоборот, он старался воспользоваться каждым случаем, чтобы отправиться на пост. И Черноиваненко его понял: Синичкин-Железный ходил дышать чистым воздухом. Кроме того, он стеснялся своего ужасного кашля. На посту он отводил душу, не боясь потревожить товарищей кашлем. Он дышал чистым воздухом. Преодолевая мучительные припадки кашля и обливаясь потом, который блестел на его костлявом лбу и на скулах, Синичкин-Железный бдительно смотрел из щели в степь. Вдруг он увидел человека, идущего без дороги по мокрому бурьяну. У него был такой вид, как будто он заблудился или что-то разыскивает в степи, изредка останавливаясь и испуганно озираясь по сторонам. Это не был крестьянин. Это был городской человек в чесучовом пиджаке, без шапки, с большим желтым портфелем под мышкой. До колен покрытый брызгами грязи, мокрый от ночного ливня, с волосами, налипшими на лоб, и обвисшими усами, человек шел прямо на Синичкина-Железного, глядя перед собой ничего не видящими глазами.

Шагая прямо через куст сербалины, который цеплялся за его штаны своими зубчатыми шипами, человек скрылся. Не успел Синичкин-Железный подумать, кто может быть этот странный человек и что ему здесь надо,

как послышался рычащий лай бегущих собак, отдаленный крик, выстрелы, и человек с желтым портфелем скатился откуда-то сверху в кусты сербалины. Две немецкие овчарки со всего маху перелетели через него, бросились назад и сделали над ним стойку, подняв острые обрубленные уши, дрожа хвостами и заливаясь злым, рычащим лаем.

— Братцы! Товарищи! Спасите! — закричал человек, уткнувшись лицом в землю, и Синичкин-Железный увидел кровь на порванном рукаве его чесучового пиджака.

Этот крик, в особенности слово «товарищи», в котором было столько отчаяния и надежды, настолько поразил Синичкина-Железного, что он высунулся из щели и спросил:

— Что вы здесь делаете? Кто вы такой?

Человек поднял голову, но собаки тотчас прыгнули на него, положили лапы ему на плечи и зарычали еще злее. Все же человек успел увидеть Синичкина-Железного, его истрепанную шинель, покрытую подземной пылью, его кожаную «комиссаровскую» фуражку, пулеметную ленту вместо пояса, его ввалившиеся глаза на костлявом, землистом лице.

— Товарищи, я свой... я свой... Уберите от меня этих зверюг,— простонал он.— Вы же видите — я свой... Что же вы стоите, я не понимаю, и смотрите...— почти заплакал он.

В это время в степи послышался топот бегущих людей, крики на немецком языке, и тотчас грянул выстрел. Пуля свистнула, как хлыст. С сербалины посыпались листья, капли и ягоды.

Синичкин-Железный решительно бросился вперед и стал бить собак прикладом. Одной собаке он сразу же страшным ударом размозжил голову, другая бросилась на него, но человек с портфелем, успевший вскочить с земли, изо всех сил ударил ее ногой в бок. Собака завизжала, и в ту же самую минуту Синичкин-Железный, крякнув, с силой ударил прикладом ее по черепу. В следующий затем миг он схватил человека с портфелем за плечи, впихнул в щель и скатился следом за ним в подземелье.

— Ползите! — скомандовал Синичкин-Железный.

Человек покорно стал на четвереньки, взял в зубы

портфель и пополз. Через некоторое время сзади снова мелькнул свет фонарика, и человек увидел, что находится в небольшой пещере.

— Руки вверх!

Он поднял руки вверх и прислонился спиной к сырой земляной стене, зажав портфель между колен. Его лицо осветил электрический фонарик, и Черноиваненко узнал Колесничука. От неожиданности он чуть не уронил винтовку. Он готов был увидеть кого угодно, но только не Колесничука.

— Ты что тут делаешь? — почти с ужасом крикнул он.— А магазин?

— Пошел он к чертовой матери! — с одышкой сказал Колесничук и злобно раздул ноздри.— Можешь торговать сам, а я тебе больше не Братья Пташниковы!

— Ты что?.. Ты что?..— Черноиваненко так растерялся, что не находил слов.— Ты что?.. Как ты сюда попал?..

— Так и попал! — продолжая раздувать ноздри, сказал Колесничук.— Всю ночь бегал по степу вокруг Усатовых хуторов и шукал ваши чертовы катакомбы, нехай они сгорят!

Как и всегда в минуты возбуждения, Колесничук заговорил на том смешанном русско-украинском, черноморском языке, который довольно метко называется «суржик», то есть смесь жита и пшеницы.

— Ще добре, что меня теи чертовы кобеляки не порвали и румыны не застрелили!

— Постой...— наконец сказал Черноиваненко, постепенно приходя в себя от изумления.— Постой, Жора!

Он наморщил лоб, и его глаза сузились.

— Какое же ты имел право,— процедил Черноиваненко сквозь зубы,— какое же ты имел право уйти со своего боевого поста? Ты знаешь, как это называется?.. Ты дезертир! Понятно тебе это?.. Чего ж ты молчишь?

— Я вылетел в трубу,— мрачно ответил Колесничук.— Вас это устраивает? И можете меня судить, хоть расстрелять... Нет, на самом деле, товарищи,— вдруг жалобным голосом не сказал, а как-то пропел Колесничук,— какое вы мне дали заданне? Это же не работа, а чистая каторга! Одни жулики! Разве советский человек это может выдержать? Посудите сами, товарищи!..

Колесничук, уставший стоять, сел на корточки, прислонился к стене и пригорюнился. Вдруг он вспомнил все, что с ним произошло, как его унизили, как его обдурили, и даже завыл от ярости. Он снова вскочил на ноги и ударил каблуками в землю.

— Ну гады! Ну злыдни паршивые! Экскроки! Паразиты! Шмекеры! — кричал он, чуть не плача от старой обиды.— Ну, попадись он мне когда-нибудь в руки, этот Моченых! У-у, что я с ним сделаю! Такой мерзавец! Прямо-таки исключительная падаль!.. А этот шмекер, этот экскрок Ионел Миря... Ну ладно, он от меня уже добре получил, я ему подходящие дыни выдал! — вдруг как-то успокоившись и зловеще топорща усы, с недоброй улыбкой прибавил Колесничук.— Он меня на всю жизнь запомнит, если не подох в чулане. На́, держи! — С этими словами Колесничук протянул Черноиваненко желтый портфель.

— Что это такое? — с недоумением сказал Черноиваненко, беря в руки портфель.

— Портфель этого гада Ионела Мири,— снова раздувая ноздри, прохрипел Колесничу́к.— Можешь получить. Тут весь остаток моей кассы — наличность и ценности — и эти самые знаменитые бронзовые векселя Мефодия Мунтяну и его сукиных сыновей — Берлин, Вена, Бухарест, Анкара, Копенгаген, Монтевидео...

Он снова впал в ярость, но быстро пришел в себя, присмирел и с горестно-застенчивой улыбкой промолвил:

— Так сказать, все, что осталось от комиссионного магазина «Жорж».

Выяснилось, что последние минуты комиссионного магазина «Жорж» протекали весьма бурно. Когда в магазин пришел Ионел Миря получать по векселям, Колесничук неожиданно для себя самого грубо втащил его в чулан, вырвал из рук тяжелый портфель с образцами каких-то керамических товаров и несколько раз изо всех сил ударил растерявшегося Ионела Мирю этим портфелем по затылку. Ионел Миря потерял сознание и, как мешок, свалился на кучу тряпья. Не владея собой, Колесничук сорвал с Ионела Мири оба брильянтовых кольца, затем высыпал в его портфель все небогатое содержимое своей кассы, запер магазин на замок и как был, без шляпы, в развевающемся чесучовом пиджаке,

ринулся прямым ходом в село Усатово, вокруг которого и проблуждал почти целые сутки, разыскивая вход в катакомбы.

И на комиссионном магазине «Жорж» поставили крест...

Они смотрели друг на друга влюбленными глазами, блестящими от слез, и не могли наглядеться. Они гладили друг другу руки и волосы. Он клал голову на ее плечо и жмурился от счастья.

— Ну до чего же я рад тебя видеть, Раечка, ты не можешь себе представить! — беспрестанно повторял он.— До чего же я по тебе скучал, моя ясочка, голубка моя сизая!

— А я не скучала? — нежно говорила Раиса Львовна.— Все время места себе не находила!

— Ты себе не можешь представить, Раечка, что это за кошмар — частная торговля! Жуткое дело! Лучше повеситься.

— Да, но ты провалил явку,— строго сказала Раиса Львовна.

— Раечка! — жалобно ответил Колесничук.— Если бы ты только знала... Если бы ты видела... Это не жизнь. Это джунгли!

Он чувствовал себя таким несчастным. Он считал себя преступником.

Они — Раиса Львовна и Колесничук — долго молча рассматривали друг друга и ласково покачивали головами, как бы не веря своему счастью.

— Нет, Раечка, увы, я не рожден для капитализма! — сокрушенно повторял он.

Странный, почти фантастический подземный мир окружал Колесничука.

Но, боже мой, как легко, как свободно чувствовал он себя среди серых от пыли людей, настоящих, хороших советских людей, своих товарищей, на которых всегда можно было положиться и которые жили и действовали ради единой, благородной цели — борьбы за свободу и независимость своей родины.

С некоторыми из этих людей он был уже знаком по комиссионному магазину «Жорж». Некоторых он видел впервые. Вдруг его внимание привлек странно знакомый

мальчик, чистивший при свете маленькой коптилки патроны.

— А это что за молодой человек приятной наружности? — спросил Колесничук.

— Мамочки! Я ж совсем забыла тебе сказать...— всплеснула Раиса Львовна.— Петя, иди сюда! Разве ты не узнаешь?

Мальчик подошел, вытирая руки о штаны, и Колесничук, к своему крайнему изумлению, узнал при слабом блеске светильника выросшего, вытянувшегося за год сына Петра Васильевича, пионера Петю.

— Дядя Жора! — воскликнул он радостно.

И, пока Раиса Львовна торопливо рассказывала, каким образом Петя попал в катакомбы, Колесничук гладил и целовал мальчика, с нежностью всматриваясь в его худое, нездорово бледное лицо, покрытое серой подземной пылью. Но вдруг Колесничук вспомнил, что Петр Васильевич уже не был для него другом детства, старым товарищем. Теперь он был предатель! Колесничук ярко представил себе Петра Васильевича таким, каким он видел его в последний раз в комиссионном магазине «Жорж»: развязного, с обручальным кольцом на пальце, в кремовых брюках, в ультрамариновом пижонском пиджаке, с бамбуковой тростью, фатовски заложенной за спину.

Отец и сын. Как они похожи друг на друга, и какая между ними разница! Какая между ними легла непроходимая пропасть!.. И слезы потекли по щекам Колесничука.

Не зная, что делается в эту минуту в душе Колесничука, Петя обнял его за шею, прижался к нему, как к отцу, и замер, чувствуя в сердце горячий прилив любви и доверия к этому, в сущности, чужому и такому близкому человеку.

Но тотчас ему стало стыдно своего детского порыва. Краска смущения залила его лицо: ведь он уже был не ребенок. Он уже был почти юноша, «старый подпольщик». Надув губы, он пожал руку Колесничуку и отошел в свой угол чистить патроны.

Тогда Колесничук поспешно наклонился к уху Раисы Львовны и, сделав большие глаза, стал шепотом рассказывать ей об измене Бачея.

— Что ты, что ты... опомнись! — бормотала она, прижимаясь к его плечу.— Что-нибудь не так... Ты, наверное, ошибся.

— Понимаешь, Раечка, я сам себе не поверил, когда он вошел в магазин. Белые брюки, синий пиджак, на руке кольцо... Он никогда не носил кольца... Можешь мне поверить! И он теперь работает у румын юрисконсультом...

— Петр Васильевич... Петя Бачей... Боже мой!.. У румын? Кому же после этого верить?

— Кошмар! — прошептал Колесничук, вытирая рукавом пот со лба.

— Ты об этом уже сообщил Черноиваненко?

— Нет еще.

— Так надо немедленно сообщить. Мало ли что...

— Я сообщу... Нет, но ты только подумай, Раечка: Петька Бачей — дезертир, предатель родины... Просто какой-то тяжелый кошмар!.. Только, ради бога, ни слова мальчику!

— Да-да, мальчику ни слова! Это чудный, чудеснейший мальчик. Для него это будет такая рана... Бедный мальчик!..

В этот же день, улучив минуту, когда Черноиваненко был один в красном уголке, Колесничук сообщил ему все, что он знал о предательстве Петра Васильевича. К удивлению Колесничука, Черноиваненко отнесся к этому как-то в высшей степени странно, во всяком случае не так горячо, как Колесничук. Он с сомнением покачал головой и, помолчав, спросил:

— Ты таки уверен, что к тебе в магазин заходил именно Бачей? А может быть, это был не Бачей?

— А кто же? Что я, слепой? Ты смеешься! Или, может быть, у меня не хватает здесь? — Колесничук покрутил перед своей головой пальцами.— Это был самый настоящий Бачей. Можешь мне поверить!

— Допустим. И что же дальше?

— Я ж тебе объясняю: дезертировал из Красной Армии, остался на территории, занятой врагом, и поступил юрисконсультом в какую-то смешанную румыно-американскую компанию. Красиво?

— Некрасиво.

— Ага!

— Все?
— Все.
— Хорошо. А теперь дай я. Представь себе: некто Колесничук Георгий Никифорович, интендант третьего ранга, офицер Красной Армии, дезертировал из своей части... только ты меня не перебивай... остался на территории, занятой неприятелем, отрастил зловещие усы и открыл шикарный комиссионный магазин с довольно глупым названием «Жорж». Красиво?

Колесничук так и взвился:
— Ну, это уж свинство! Ты же знаешь...
— Я-то знаю, но ведь другие не знают?
— Другие, конечно, не знают.
— Ну вот!
— Что «вот»?
— То самое.
— Не... не понимаю тебя...
— Постарайся понять.

Колесничук наморщил лоб, и вдруг доброе лицо его просияло догадкой:
— Так ты думаешь, что Бачей... то же самое?..
— Не думаю, а лишь предполагаю. Не исключен и такой вариант.

Глаза Черноиваненко засветились как-то очень серьезно и вместе с тем необыкновенно тепло, задумчиво:
— Почему мы должны подозревать человека обязательно в худшем? Верно?

43

«КОТ»

...Петя пробирался по штреку, опираясь, как старичок, на свой маленький костыль. В свободной руке он держал фонарь «летучая мышь». Соблюдая строжайшую экономию горючего, мальчик сильно прикрутил фитиль, и фонарь горел еле-еле, ровно настолько, чтобы можно было разбирать дорогу и не наткнуться в темноте на камень. Петя шел готовить уроки.

Невдалеке от «главной квартиры» была низкая, довольно широкая пещера с гладким полом, покрытым толстым слоем пыли. На этом полу, который заменял

бумагу и классную доску, Петя решал задачи и делал письменные работы. Специальным приказом по отряду Петя был прикреплен к Валентине и три раза в неделю должен был заниматься по всем предметам, чтобы не отстать от школы.

Сам Черноиваненко строго и даже придирчиво следил, чтобы занятия не пропускались. Он придавал этому большое значение и не давал Пете поблажек. Иногда он даже лично проверял его успеваемость.

Учебников в катакомбах не было. Но, так как Валентина была старше Пети на два класса, всегда шла круглой отличницей и обладала прекрасной памятью, она взялась заниматься с мальчиком и задавала ему уроки «по памяти».

Для того чтобы во время занятий мальчик не отвлекался, нашли уединенную пещеру, где он должен был пальцем на пыльном полу писать упражнения и решать задачи. Затем приходила Валентина и спрашивала его, выставляя отметки.

Петя шел по штреку, время от времени останавливаясь и выцарапывая гвоздем на стене их «позывные». Ему всегда доставляло тайную радость ставить на слегка искрящейся стене буквы «П» и «В». Теперь к этой тайной радости примешивалась еще и тайная грусть. Петя чувствовал, что Валентина с каждым днем как-то все более и более отдаляется от него, становится все холоднее, все недоступнее. Вместе с тем он видел — он не мог не видеть! — что с каждым днем она меняется, превращается в прелестную девушку.

Он еще оставался мальчиком, а она уже сделалась невестой другого. Этого еще никто не заметил, кроме Пети. Но Петя это знал наверное, безошибочно. Достаточно было ему видеть их вместе — Валентину и Святослава,— как для него все становилось ясно.

Теперь они очень часто бывали вместе. Они изучали радиотехнику. Это было задание Черноиваненко. Они проводили целые дни, склонившись над радиоприемником. Их волосы смешивались, и они разговаривали шепотом. Петя всегда видел их издали вдвоем. Он все время чувствовал, что они вдвоем, даже когда они были и не вдвоем.

И тогда, когда Валентина сидела вдвоем с Петей и

чистила патроны или диктовала ему задачу,— даже и тогда Петя знал, что она думает о Святославе.

С некоторых пор Валентина стала в отношениях с Петей очень доброй и ласковой. Холодной и ласковой в одно и то же время. Раньше, когда она была сверстницей, девочкой, она никогда не была доброй и ласковой. Наоборот, она была придирчивой. Они часто ссорились. Теперь они больше не ссорились, она во всем ему старалась уступать. И это было самое ужасное.

Любил ли Петя Валентину? Кто ответит на этот вопрос? Он бы и сам не сказал, любит он ее или нет. Но все-таки это была, вероятно, любовь — любовь в самом высоком, чистом и горьком значении этого слова.

Она часто ему снилась, то есть, вернее, ему снилось все, кроме нее, — она только как-то таинственно и незримо присутствовала во сне, ее неощутимый образ горько примешивался ко всему, что ему снилось. Ему снились люди, вещи, события. Ему снились мама и сестры: они бегали в саду, мама смотрела вверх, на пролетающий самолет, и над ее головой летали полосатые осы; потом они шли вместе с отцом — большой отец и маленький сын — с рюкзаками за спиной по выжженной, горячей степи, и воздух тек на горизонте, как река, и в нем колебались стеклянные отражения деревьев, и стреляли маленькие танки, и рушился город, и Петя во сне прижимался к отцу, и в нескольких местах горел пароход, и мальчика несло взрывной волной, поднимая и опуская, как на качелях, и Родина смотрела ему в глаза сухими, воспаленными глазами, и тучи неслись мимо морозной луны, как конница в развевающихся бурках и башлыках, и ко всему этому примешивалось понятие о Валентине, которая, вся в белом, с белым лицом и прозрачными зелеными глазами, невидимая и неощутимая, удалялась от него, все удалялась и удалялась, и плакала, удаляясь, и все никак не могла удалиться и исчезнуть...

Петя пришел в пещеру, поставил на камень фонарь и вынул из кармана бумажку, где были записаны две задачи и восемь примеров, которые он должен был решить. Он присел на корточки и приготовился писать указательным пальцем, как карандашом, на полу, как вдруг увидел прямо перед собой вычерченный на пыли большой прямоугольник, в котором было вписано крупными бук-

вами слово «Кот». Петя хорошо помнил, что в прошлый раз, когда он готовил уроки, этой надписи не было.

Петя смотрел на нее с изумлением, почти с ужасом, как Робинзон Крузо, увидевший вдруг на песке своего необитаемого острова отпечаток босой человеческой ноги. Несомненно, совсем недавно здесь побывал кто-то чужой. Не успел мальчик произнести про себя это страшное слово «чужой», как увидел на гладком полу пещеры множество следов. Может быть, это были следы одного человека, ходившего по пещере, может быть, здесь было несколько человек.

Петя поднял фонарь и увидел обгорелую спичку, затем окурок сигареты, раздавленный ногой.

Пещера находилась на пересечении четырех или пяти подземных ходов, идущих в разные стороны. Мальчику показалось, что из одного хода на него кто-то смотрит. Он оцепенел. Он хотел броситься назад, но не мог пошевелиться...

Наконец напряжением воли Петя разорвал оцепенение и побежал, налетая на камни. Он полз. Он едва удерживал в руке фонарь, колотившийся о стены. Но вот впереди мелькнул огонек. Это был «маяк» у входа в штаб-квартиру. Согнувшись, Петя вошел в кабинет первого секретаря. У него дрожали колени.

— Дядя Гаврик, там... чужие...— сказал он, переводя дух.

...Они стояли с фонарями вокруг странной надписи «Кот» и в молчании рассматривали обгорелую спичку, окурок румынской сигареты, отпечаток ног. До сих пор они чувствовали себя полными и единственными хозяевами Усатовских катакомб. Теперь оказалось, что под землей, кроме них, находятся еще какие-то люди. Это был весьма неприятный сюрприз.

Кто же эти люди — друзья или враги? Они могли быть и теми и другими. Следы ничего не объясняли. Видимо, людей было трое. Они зажигали спички и закуривали. Очевидно, они осматривали пещеру. Потом, судя по следам, ушли обратно в один из ходов.

Леня Цимбал, прикрывая фонарь ладонью, пошел по их следам, сделал шагов пятьдесят и вернулся назад. Дальше идти было небезопасно, так как из темноты по фонарю могли выстрелить.

Кто же эти люди?

— Как вы считаете, товарищи? — озабоченно сказал Черноиваненко.

Серафим Туляков присел на корточки и долго всматривался в четкий, резкий прямоугольник, начертанный толстым пальцем, и в непонятное слово «Кот», вписанное в прямоугольник, тем же чужим пальцем. Было что-то требовательное и вместе с тем странно манящее в этом подземном сигнале «Кот».

— Непонятно,— наконец сказал Серафим Туляков.

Действительно, было непонятно. Если это враги — почему они дошли до пещеры и повернули назад, не дойдя до штаб-квартиры? А может быть, они вообще блуждали в подземных коридорах и не подозревали, что совсем недалеко находится лагерь Черноиваненко? В таком случае, зачем они написали «Кот»? Что они этим хотели сказать?..

— Они нас вызывают,— наконец сказал Черноиваненко.

— Кто же «они»?

— Те, которые приходили.

— Неясно.

— Вот именно, что неясно!

Снова наступило молчание.

Все стояли над странной надписью и думали, прикрывая фонари ладонями и полами шинелей. Вдруг Черноиваненко решительным движением ладони стер слово «Кот» и на его месте крупно написал пальцем: «Кто вы?»

— Верно,—сказал Стрельбицкий.— Согласен с вами. Пусть они ответят нам, кто они.

Да, пусть они ответят, кто они! Это было единственно правильное решение, и Черноиваненко принял его без колебания. Это было острое решение, может быть, даже слишком острое. Но мог ли он поступить иначе? Если это были «свои», то он протягивал им дружескую руку. Если это были «они», чужие, враги,— он ставил им ловушку, принимал вызов, решив дать им подземный бой, разгромить их и уничтожить.

Они вернулись в штаб-квартиру и заминировали все подступы к ней.

Черноиваненко решил ждать ответа в течение трех дней. Все было приведено в боевую готовность.

Через три дня, соблюдая величайшую осторожность, Стрельбицкий и Черноиваненко с гранатами в руках пробрались по заминированному ходу в пещеру и осветили фонариками пол. На том месте, где три дня назад они написали: «Кто вы?» — теперь была другая надпись: «Мы те же, что и вы».

Черноиваненко потушил фонарик и слегка тронул рукой Стрельбицкого.

— Что вы на это скажете? — спросил он.

Они лежали рядом на земле, каждую секунду готовые вскочить и бросить гранаты. Они всматривались во тьму, стараясь уловить напряженными глазами хоть какой-нибудь самый слабый, самый отдаленный намек на свет. Но вокруг была непроницаемая тьма, и было так тихо, что слышалось журчание подземной влаги, которая где-то очень далеко просачивалась сквозь грунт и сбегала по каменистым стенам.

— Ребус,— так же неслышно прошептал Стрельбицкий.

— Вот именно: загадочная картинка. «Мы те же, что и вы»! — проворчал Черноиваненко.— Скажи пожалуйста! А почем они знают, кто мы? Стало быть, если мы румыны, то и они румыны? А если мы «свои», то и они «свои»? Хитрят. Как вы думаете?.. Похоже на то, что это «Аргус» [1],— сказал он наконец.

— Мне тоже так сдается,— ответил Стрельбицкий

— Хотят взять на провокацию. Какое примем решение?

Стрельбицкий долго молчал. Это было тягостное, томительное молчание человека, который отдавал себе ясный отчет в той ответственности, которую берет на себя.

— А вы какое предлагаете решение? — спросил он.

— Какое я предлагаю решение? — вдруг быстро сказал Черноиваненко.— А вот какое... Дайте-ка на одну минуточку свет.

Стрельбицкий включил электрический фонарик. При его свете очки Черноиваненко решительно блеснули. Он

---

[1] «Аргус» — карательная экспедиция, подчиненная немецкой армейской группе «юг». *(Примеч. автора.)*

быстро стер слова «Мы те же, что и вы» и на этом месте размашисто написал рукояткой гранаты: «Можем встретиться».

Через три дня пришел ответ: «Где и когда?» На этот раз Черноиваненко принял решение не сразу. Он созвал бюро, которое выработало текст ответа и во всех подробностях обсудило тактику при возможной встрече с людьми, назвавшими себя «Кот».

Ответ, принятый единогласно, был следующий: «На этом месте 18 ноября в 12.00 по местному времени, без оружия, имея с каждой стороны не больше чем по одному фонарю».

Затем появился ответ: «Хорошо».

44

ВСТРЕЧА

До восемнадцатого оставалось пять дней. Только человек, плохо знавший характер Черноиваненко, мог всерьез подумать, что он выполнит условия встречи, которые собственным пальцем написал на пыльном полу пещеры. Он не выполнил ни одного своего условия. Во-первых, он пришел со своим отрядом на место встречи не восемнадцатого, а семнадцатого. Во-вторых, все были вооружены до зубов. И, кроме того, у каждого имелся фонарь, который можно было зажечь в любой момент.

Пещера была низкая, но довольно просторная, усеянная глыбами ракушечника, некогда обвалившимися со свода и загородившими некоторые ходы,— место очень удобное для хорошей засады и для боя на близком расстоянии. Всех бойцов своего отряда Серафим Туляков расположил за ракушечниковыми глыбами. Женщины и дети под наблюдением Синичкина-Железного оставались в штаб-квартире и в случае разгрома отряда должны были взорвать документы и уйти подземными ходами в заранее намеченное отдаленное место в районе Холодной балки.

Впрочем, о разгроме Черноиваненко не думал. Он был абсолютно убежден в победе. Его позиция казалась ему неприступной даже в том случае, если бы его атаковал батальон.

При малейшем подозрительном движении с «их» стороны он взорвет все мины на подступах к пещере, завалит «их» глыбами ракушечника и устроит «им» такую баню, что клочья полетят! Добро пожаловать!

Если это друзья, он встретит их как радушный хозяин. Если же это «Аргус» — пусть не взыщут!

Черноиваненко был неуязвим. Глаза его азартно, лукаво блестели. Движения сделались резкими, быстрыми. Он, как кошка, перебегал от скалы к скале, давая последние указания и в последний раз оценивая обстановку.

Осмотрев свое хозяйство, Черноиваненко прилег за скалой рядом с Серафимом Туляковым и потушил фонарь.

Вдруг где-то очень далеко, в подземной тьме, мелькнул свет, даже не самый свет, а как бы бледное отражение какого-то движущегося света.

По штреку медленно приближался высокий человек с электрическим фонарем. Он шел чуть согнувшись, как бы поддерживая широкой спиной черную глыбу свода, низко нависшую над ним. Его походка была тяжелой и осторожной. Он водил перед собой электрическим фонарем, ощупывая каждый выступ, каждую складку подземелья.

Подозрительно прищурясь, Черноиваненко следил из темноты за его приближением, в любой миг готовый выхватить из-за пояса ручную гранату. Однако для этого не было ни малейшего повода. Незнакомец точно выполнял условия встречи, предписанные Черноиваненко: он был, насколько можно заметить, без оружия и имел при себе один фонарь.

Человек вошел в пещеру, остановился и пошарил световым кругом по полу. Черноиваненко понял, что он хочет убедиться, остаются ли в силе условия встречи и нет ли на полу какой-нибудь новой депеши. На полу отчетливо виднелось слово «Хорошо», написанное в последний раз.

Черноиваненко решительно прибавил огня в своей «летучей мыши» и выступил из темноты. Сделав два шага по направлению к незнакомцу, он остановился.

Теперь они стояли друг против друга, разделенные

совсем небольшим пространством пыльного пола, на котором было написано слово «Хорошо».

Черноиваненко пытался рассмотреть незнакомца, но ничего не видел, так как свет сильного электрического фонаря бил ему прямо в глаза. Между тем незнакомец мог рассматривать его беспрепятственно.

— Уберите фонарь! — властно сказал Черноиваненко.

— Подождите,— спокойно ответил незнакомец, потом, скользнув световым кругом вверх и вниз по фигуре Черноиваненко, отвел фонарь в сторону.

Теперь настала очередь Черноиваненко рассмотреть собеседника. Он поднял «летучую мышь» и при ее жидком, рассеянном свете увидел рослого, широкоплечего человека в кожаном полупальто и высоких сапогах. Его внешность не говорила ни о чем. В равной степени он мог быть и «своим» и «чужим».

— С кем я разговариваю? — спросил Черноиваненко.

— А я с кем? — ответил на вопрос вопросом незнакомец.

— Вы писали? — спросил Черноиваненко, показывая ногой на слово «Хорошо».

— Я.

— Чем докажете?

— Кот,— сказал незнакомец.

— Стало быть, вы — Кот?

— Да. Именно я и есть Кот.

— Что это слово обозначает?

— Ничего. Просто Кот.

— Шты романешты? — вдруг сказал Черноиваненко по-румынски, не спуская прищуренных глаз с незнакомца.

— Нушты,— чуть усмехнувшись, ответил незнакомец.

— Шпрехен зи дейч? — быстро спросил Черноиваненко.

— Найн,— еще быстрее ответил незнакомец.

Они некоторое время молчали. Черноиваненко задал эти два вопроса — по-румынски и по-немецки — исключительно для того, чтобы услышать произношение незнакомца. Произношение было русское. Но и это ничего не объясняло. В «Аргусе» могли работать русские белогвардейцы. Это было вполне естественно.

Переговоры явно зашли в тупик. Конечно, проще

всего было дать сигнал своим ребятам, выхватить из-за пояса гранату и крикнуть: «Руки вверх!» Но так мог поступить лишь чересчур горячий и неопытный подпольщик. Черноиваненко хорошо понимал, что незнакомец — так же как и он — не один. Он не сомневался, что за спиной незнакомца — в темноте подземного хода — скрыты в засаде вооруженные до зубов люди, может быть целый отряд.

— Слушайте, Кот,— сказал Черноиваненко решительно,— та̀к мы с вами ни до чего не договоримся. Ближе к делу!

— Давайте ближе к делу,— спокойно ответил незнакомец.— Я вас слушаю.

Это «я вас слушаю» понравилось Черноиваненко. Это был язык «своего». Но и это ничего не объясняло, так как могло быть маскировкой.

— Давайте по-честному,— сказал Черноиваненко, прекрасно понимая, что по-честному можно разговаривать только со «своими», а с «чужими» по-честному разговаривать не только бесполезно, но и глупо.

— Давайте по-честному,— улыбаясь странной, напряженной улыбкой, сказал незнакомец.

— Сколько за вашей спиной спрятано вооруженных людей?

— А за вашей?

— Во всяком случае, больше, чем за вашей,— сказал Черноиваненко.

— Предупреждаю,— серьезно заметил незнакомец,— что если кто-нибудь из ваших поднимет голову из-за камня, то за последствия я не ручаюсь.

— Слушайте, Кот, сказал Черноиваненко раздраженно: — или — или! Кто вы? И не будем морочить друг другу голову.

— Хорошо,— ответил незнакомец решительно.— Я Дружинин. Вас это устраивает?

К этому времени имя Дружинина уже приобрело такую известность среди врагов и среди друзей, что не нужны были никакие дополнительные объяснения. Сердце Черноиваненко радостно дрогнуло. О, если бы это действительно был Дружинин!

— Допустим,— сказал он,— поверю вам на слово.

— А кто вы? — спросил неизвестный.

Черноиваненко выставил вперед плечо, коротко мотнул головой и прищурился:

— А я «Дядя Гаврик». Вас это устраивает?

Имя «Дядя Гаврик» не было столь громким, как имя Дружинина, но все же оно было достаточно известно, особенно в районе села Усатова. И если этот человек был действительно Дружинин, то Черноиваненко мог с достоинством назвать ему свое партизанское имя.

— Допустим, что вы «Дядя Гаврик»,— холодно сказал человек, назвавшийся Дружининым.— А как вы это докажете?

Они молча стояли друг против друга, настороженные, решительные, готовые в любой миг поцеловаться или убить друг друга, в зависимости от обстоятельств. Вдруг из-за спины человека, назвавшегося Дружининым, вышла темная фигура и бросилась к Черноиваненко.

— Стой! — крикнул Черноиваненко, вырывая из-за пояса гранату.

Но было уже поздно. Две руки обхватили его плечи, и чей-то незнакомый и вместе с тем мучительно знакомый голос с мягкими черноморскими интонациями воскликнул:

— Чудак, что ты здесь делаешь?

И Черноиваненко узнал этот голос.

— Бачей! — отступая на шаг, сказал Черноиваненко.— Петька?

— Вот именно.

И они трижды обнялись и трижды поцеловались, после каждого поцелуя отступая на шаг, вытирая губы и снова бросаясь вперед с сияющими, смеющимися глазами.

А вокруг них с пистолетами и автоматами в руках, с фонарями, ручными гранатами и ломами, обмотанные пулеметными лентами, серые от подземной пыли, грозные, стояли друг против друга два отряда, все еще подозрительно переглядываясь, но уже чувствуя большое облегчение и радость от сознания, что все обошлось так благополучно и «свои» нашли «своих».

45
ОТЕЦ И СЫН

— Ну, маленький, расскажи, как ты здесь живешь.

— Так и живу, папочка.

Петр Васильевич несколько раз уже произносил эту фразу: «Ну, маленький, расскажи, как ты здесь живешь». Он повторял ее машинально, и так же машинально Петя отвечал: «Так и живу, папочка». Но разве дело было в словах? Они смотрели друг на друга и не могли насмотреться. Со страстной жадностью они изучали друг друга.

Петр Васильевич с наслаждением прикасался к сыну. Отец то ерошил пыльные, плохо стриженные волосы сына, то он брал сына за щеки, притягивал к себе, заглядывал в его карие глаза, грустные, повзрослевшие, с резко определившимися бровями и все еще детскими ресницами. Этот большой мальчик с длинными ногами был его сын, его маленький Петруша. Его трудно было узнать. Странная короткая куртка, сделанная из грубо обрезанного полушубка, старые мужские брюки, стоптанные и много раз неумело заплатанные башмаки, противогаз через плечо и граната, засунутая за пазуху, пыльные волосы, слегка курчавые на висках и на серой от пыли шее, по-детски нежной, теплой, и решительное выражение возмужавшего лица... Да, это его мальчик, его Петушок, и вместе с тем это уже маленький солдат, партизан, самостоятельный человек, подпольщик. Это уже мужчина. С ним можно разговаривать, как с мужчиной, как равный с равным.

— Ну, маленький, расскажи, как ты здесь воюешь.

— Так и воюю, папочка.

Петя смотрел на отца не отрываясь — с любовью, с гордостью, с восхищением. Так вот, оказывается, какой у него папа! Друг и помощник самого Дружинина!

Петя сначала не узнал в легендарном Дружинине отца пестрой девочки Галочки, с которым познакомился на Одесском аэродроме в первый, счастливый, незабвенный день своего путешествия. Зато Дружинин узнал его сразу.

— А, вице-президент! Здорово! — сказал он весело.— И ты здесь? Молодцом!

Тогда Петя его узнал и весь залился жаркой краской смущения и удовольствия оттого, что разговаривает с таким знаменитым человеком,— и мало того, что разговаривает, а давно знаком и приятель его дочки.

— Что же ты не спрашиваешь, как поживает Галина? Ага, брат! Покраснел! — Синие глаза Дружинина искрились веселым смехом.— Товарищи! — громко сказал он.— Можете себе представить — это кавалер моей дочки.

— Я совершенно не понимаю, про что вы говорите! — забормотал Петя.

— Он не понимает! — подмигнул Дружинин Петру Васильевичу, сделав головой свое неуловимое, озорное движение.— Силен, брат, силен!

— А где сейчас Галочка? — преодолевая смущение, спросил Петя.

— Галину, брат, я отправил еще в первые месяцы войны на самолете обратно в Харьков, к бабушке, да по дороге их обстреляли «мессеры», и они сделали вынужденную посадку в Николаеве. Словом, она застряла в Николаеве, у дедушки. Думаю, не пропадет. Дедушка у нее боевой, я на него надеюсь.

Видно было, что он говорит меньше, чем знает. Но такова была его привычка.

— Так, говоришь, тебе здесь, в катакомбах, нравится? — круто меняя разговор, сказал он, хотя Петя ничего подобного не говорил.— Это хорошо, что тебе здесь нравится. Мне тоже нравится... А ты, брат, вырос за это время. Я тебя с трудом узнал. Крепкий мужик! Молодец! С работой справляешься? — сказал Дружинин уже совсем по-командирски.

— Так точно! — ответил Петя.

— Рад был с тобой опять встретиться.— Дружинин протянул ему свою большую, сильную руку.— Молодец! Старайся!

— Всегда готов! — сказал Петя и косо поднял над головой руку.

И ему стало радостно, потому что это были не просто слова, а все содержание его жизни.

Потом Петя показывал отцу кабинет дяди Гаврика, кухню, кладовку, библиотеку, стенную газету, закуток, где они с Валентиной чистили патроны. Мальчику достав-

ляло громадное удовольствие знакомить отца с бойцами отряда Черноиваненко. То и дело он возбужденно говорил:

— Товарищ Синичкин-Железный, вы не знакомы с моим папой? Папа, познакомься, пожалуйста, с товарищем Синичкиным-Железным... Товарищ Синичкин-Железный, это мой отец, из отряда Дружинина... Пап, а пап, смотри, это наша девушка Валентина, тоже пионерка... Валентина, иди сюда! Это мой папа, из отряда Дружинина. Ты с ним не знакома? Познакомься... А это Серафим Иванович, заместитель по военной части. Он меня стрелять из нагана научил. А это мама Валентины, Матрена Терентьевна. Познакомьтесь!..

Весь охваченный счастьем и гордостью, Петя совсем забыл, что Матрена Терентьевна показывала ему маленькую старую фотографию и называла его папу «Петя».

— Товарищ Бачей,— сказала Матрена Терентьевна тонким голосом,— мне очень приятно. (Ей хотелось сказать: «Вы меня, наверное, не помните, я Мотя», но она не сказала этого.) Мне очень приятно. У вас такой чудесный мальчик! Мы его все очень полюбили. Такой чудеснейший ребенок, терпеливый... И я очень, очень рада...

Она не договорила и ушла помогать по хозяйству Раисе Львовне, которая на двух примусах вдохновенно готовила «парадный обед» в честь соединения отрядов, но не выдержала и скоро вернулась назад.

— Вы меня, наверное, не помните,— сказала она Петру Васильевичу.

— Позвольте-ка, позвольте...— пробормотал он вдруг, пораженный ее голосом.

В пещере было почти темно. Она взяла с камня коптилку и приблизила к своему лицу.

— Мотя? — нерешительно спросил Бачей.

— Не узнали?

Теперь он ее узнал.

— Мотя! — воскликнул он.— И ты здесь!

— А як же,— сказала она, смеясь сквозь слезы.— Где вы — там и я.

— Сколько лет, сколько зим!

— Много, Петя, много,— вздохнула она.

— Дай же на себя посмотреть, дружок.

И пионер Петя, к крайнему своему удивлению, увидел, как его папа подошел к Матрене Терентьевне, обнял ее за плечи, и они поцеловались.

— Такие-то дела, Мотя. Как же ты поживаешь? Все время в Одессе?

— Да. А вы, Петя? Все время в Москве? Я слышала — у вас красавица жена... Хотя я про вашу жизнь знаю почти все от вашего мальчика. У вас есть еще две девочки? А у меня, кроме Валентины, еще двое хлопцев. Ну, они уже совсем взрослые. В армии. Воюют. И мой супруг тоже вместе с ними воюет. Вы моего Акима помните?

— Боже мой! Еще бы! Аким Перепелицкий! Старый боевой товарищ! Все такой же богатырь?

— И даже стал еще больше представительный! Усы, как у Тараса Шевченко,— с гордой улыбкой сказала Матрена Терентьевна.— Он у меня теперь командует кавалерийским полком... Если еще жив,— прибавила она, вытирая рукавом глаза.— А как ваша тетечка?

— Перед самой войной получил от нее письмо из Варшавы.— Несчастная женщина!

— И не говори! Едва ли она там выживет... Ну, пока извините, всего не переговоришь. Еще будет время, если позволит обстановка. А пока я побежала... Я здесь вроде хозяйки-стряпухи.

И Матрена Терентьевна исчезла в одном из штреков, откуда тянуло горьким чадом подгорелого подсолнечного масла.

К Петру Васильевичу подошел Колесничук.

— Ну, представитель румыно-американской нефтяной компании, как дела? Нашла-таки ваша компания под Одессой высокооктановую нефть чи нет? — И Колесничук заливался детским смехом, чихая и кашляя от кухонного чада и вытирая рукавом слезы.

— Моя компания, как видишь, таки нашла кое-что под Одессой, в районе села Усатово,— говорил, посмеиваясь, Петр Васильевич.— А ты лучше расскажи, как ты знаменито коммерсовал в магазине «Жорж». Где ж твои усы? Эх ты, трассант несчастный! Тоже мне негоциант!.. Покажи свои бронзовые векселя!

— Пусть они сгорят,— мрачно говорил Колесничук.

— Нет, Жорочка,— не унимался Петр Васильевич,— дожил до седых волос, а до сих пор не знаешь, что такое вексельное право!

— Я знаю, но я забыл. Можешь представить — просто-таки забыл!

— Так не суйся в капиталисты.

— Я и не совался.

— Ой, совался!

— Отстань!

— Нет, ты совался, Жорочка, и вот печальные результаты.

— Это меня Гавриил Семенович подвел.

— С больной головы на здоровую?

— Ей-богу, он! Если бы не этот чертяка, разве бы я стал пачкаться?

— Оставь, Жорочка! Все ясно. Тебя одолела жадность. И ты на старости лет решил заделаться крупным магнатом капитализма. Тебе с детства не давали спать лавры Братьев Пташниковых.

— Ну что ты меня мучишь, ей-богу! — плачущим голосом не сказал, а как-то тоскливо пропел Колесничук.— Что ты терзаешь мою душу?

Тем временем Дружинин, Черноиваненко, Стрельбицкий и Синичкин-Железный сидели на каменных тумбах перед каменным столом и выясняли отношения. Это был серьезный мужской разговор, лишенный сентиментов, суровый, без улыбок.

— У вас есть что-нибудь острое, какой-нибудь ножичек или лучше всего лезвие безопасной бритвы? — спросил Дружинин.

— Найдется.

Черноиваненко пошарил у себя на столе и придвинул Дружинину старое лезвие, служащее для затачивания карандашей. Дружинин, кряхтя, стал раздеваться. Он расстегнул пояс, снял кожаное пальто, задрал гимнастерку, вытащил из-под штанов подрубленный край голубой майки и стал осторожно его подпарывать. Он вытащил квадратик тончайшего шелка, на котором было напечатано служебное удостоверение на имя Дружинина, с голубой треугольной печатью.

— Вас это устраивает?

— Вот это меня вполне устраивает. Добре! — весело сказал Черноиваненко, пожимая руку Дружинину.— Товарищ Синичкин-Железный, ознакомьтесь.

Синичкин-Железный приблизил к глазам удостоверение, долго его рассматривал, поворачивая и так и этак и наконец вернул Дружинину.

— Годится,— сказал он, закашлявшись и вытирая липкий пот с костлявого лба.

— Извините, что пришлось побеспокоить,— сказал Черноиваненко.

— Ничего. Такая работа.

— Да, работка, что и говорить, хлопотливая.

Черноиваненко азартно потирал руки, морщил нос и оживленно блестел глазами. Он был чрезвычайно доволен, что этот симпатичный молодой человек оказался действительно Дружининым. Теперь все было очень хорошо, лучше не надо.

— Поработаем вместе!

46

ОЖИДАНИЕ

Четвертые сутки над степью бушевал норд-ост. Мутное, грифельное небо сливалось с мутной, грифельной степью, и там, где они сливались — на горизонте,— эта сгущенная муть чернела особенно зловеще. Ручейки снега бежали по извилинам почвы, перегоняли друг друга, скрещивались и расходились. Снег наполнял замерзшие колеи дорог, накапливался в складках балок. Черная степь медленно белела. Было градусов одиннадцать холода. Не так уж много. Но в открытой степи, при страшном северо-восточном ветре, который резал, как бритва, мороз казался нестерпимым.

Дружинин долго и терпеливо дожидался такой погоды.

Снег заметает следы, в три часа начинаются сумерки, быстро настает бесконечная непроглядная декабрьская ночь, путевые обходчики и патрули железнодорожной охраны предпочитают как можно реже выходить на линию.

Операция, которую он задумал вместе с Черноиваненко, требовала большой выдержки и мастерства. Это был не обычный взрыв поезда, когда состав получает частичные повреждения. Дружинин разработал такую систему минирования, при которой весь поезд, начиная с паровоза и кончая последним вагоном, должен был взорваться.

Громадный состав с авиационным бензином и боеприпасами, который немцы срочно гнали со станции Одесса-порт через Вознесенск и Харьков на Сталинградский фронт.

Взрыв поезда предполагался на четырнадцатом километре, где Дружинин и устроил засаду.

Одновременно на другую железнодорожную ветку, Одесса — Раздельная, на пятнадцатом километре, высылалась группа подрывников, которая должна была, применяя совершенно новый способ, испортить путь на протяжении десяти километров, что уже являлось серьезным ударом по неприятельскому транспорту, так как останавливало движение на несколько суток.

Короче говоря, Дружинин собирался нанести мощный комбинированный удар по вражеским коммуникациям и вызвать панику в тылу.

Две ночи подряд женщины — Матрена Терентьевна, Раиса Львовна и Лидия Ивановна — по очереди подвозили из катакомб к пятнадцатому километру на салазках ящики тола, пулеметы, патроны и пшенную кашу с салом в большой кастрюле, закутанной старым байковым одеялом.

Затем они вернулись в катакомбы и теперь дежурили у нового выхода, получившего название «степной».

Кроме Синичкина-Железного, Пети и Валентины, в штаб-квартире оставалось лишь несколько человек из отряда Дружинина, охранявших несгораемый шкаф и дежуривших у остальных выходов, которые, впрочем, были основательно заминированы.

Все остальные ушли на операцию.

Несмотря на все свое желание, Синичкин-Железный не только не мог принять участие в операции, но даже не мог дежурить. Его болезнь прогрессировала с угрожающей быстротой. Собственно говоря, он уже умирал. Катакомбы убивали его. Может быть, ему оставалось

жить неделю, две, от силы — месяц. Он умирал. Все это видели, знали и ничем не могли помочь.

Как все чахоточные, он не чувствовал своего конца. Наоборот, чем хуже ему становилось, чем бессильней и немощней делалось его тело, тем энергичней работала его мысль, тем сильнее и просветленнее становился ум.

Он был уверен, что у него какой-то особый вид затяжного гриппа, который скоро пройдет — уже проходит,— и ужасно сердился, когда замечал, что к нему относятся как к тяжелобольному.

Еле волоча ноги, Синичкин-Железный ходил по красному уголку, время от времени останавливаясь перед картой области. Он водил худым, желтым, с утолщениями на суставах пальцем, похожим на тонкую бамбуковую палочку, по железнодорожным линиям, задерживаясь возле четырнадцатого километра дороги Одесса — Бахмач и возле пятнадцатого километра дороги Одесса — Раздельная, где предстояла операция. Его громадная тень не помещалась на стене, переходила на потолок, загибалась, висела тяжелым профилем лохматой головы. Он нетерпеливо крутил в руке булавки с красными флажками, испытывая неодолимое желание поскорее воткнуть их в тех местах, где сейчас действовали отряды Дружинина и Стрельбицкого...

Около одиннадцати часов ночи женщины услышали три взрыва. Казалось, вся степь вздрогнула и закачалась. Эхо покатилось во все стороны, отдаваясь в степных балках. И тотчас та небольшая часть горизонта, которая была видна из входа в катакомбы, слабо осветилась багровым льющимся светом. Свет усиливался. Где-то бушевало пламя, раздуваемое норд-остом. На грифельной земле стали видны дымные тени сухого бурьяна и будяков.

— Пошло теперь, пошло...— шепотом сказала Матрена Терентьевна.

— Бензин загорелся,— ответила Раиса Львовна.

Лидия Ивановна сидела, прислонясь к известняковой скале, изо всех сил сжав на груди маленькие руки.

Послышался новый взрыв — раскатистый, дробный, как бы состоящий из множества небольших взрывов, догонявших и опережавших друг друга; сухая, резкая тре-

скотня, рвавшаяся во все стороны в воздухе, как фейерверк.

Перепелицкая повернулась ухом к степи и прислушалась. Ее глаза, освещенные заревом, стали настороженными, прозрачными, как зеленые виноградины с темной косточкой в середине,— глаза Гавриила Семеновича, глаза Валентины: черноиваненковская порода. Она строго наморщила лоб, поправила указательным пальцем волосы под платком:

— Теперь пошли рваться боеприпасы.

Для того чтобы не выдать волнения, она засмеялась тихим, дрожащим смехом. Ее бил озноб. Мелко стучали зубы.

— Жуткий ветер! — с трудом выговорила она, кутаясь в свое старое демисезонное пальто.— Тебе, Раечка, не холодно?

— Холодно,— чужим, отсутствующим голосом ответила Раиса Львовна, неподвижно глядя перед собой в степь, черно-розовую от пожара.— Тише! Слушай! — вдруг живо воскликнула она, хватая Матрену Терентьевну за ледяную руку.— Слышишь?

— Слышу.

В степи раздался торопливый стук пулеметов.

Женщины прислушивались к нему с таким напряжением, что на ресницах у них выступили слезы. Крепко держась за руки и прижавшись друг к другу, они сидели в узкой щели, и ветер свистел вокруг них, невидимкой скользя по острым выступам известняка.

Что сейчас происходило там, в степи, на четырнадцатом километре и возле станции Дачная? Все ли идет благополучно? Может быть, в эту минуту пуля уже убила кого-нибудь из них? Может быть, уже нет больше на свете Колесничука, или Черноиваненко, или Петра Васильевича, или Свиридова? Может быть, упал Леня Цимбал? Может быть, ползет в степи, обливаясь кровью, Серафим Туляков?.. Нет, нет! Только не это. Этого не может быть! Это невозможно себе представить... И вместе с тем они представляли себе именно это — именно то, что казалось таким невозможным, немыслимым.

Через сколько-то времени — часов или минут? — в степи раздался еще один взрыв, немного погодя где-то в другом месте — новый, последний. Мелькнули автомо-

бильные фары. Откуда-то ветер донес человеческие голоса. Множество голосов. Крики немецкой команды. Степь ожила. Это, вероятно, к месту взрыва спешили воинские части усатовского гарнизона. А может быть, прибыли из Одессы грузовики жандармского легиона... Потом снова в разных местах застрочили пулеметы. Стали рваться ручные гранаты. На фоне угрюмо светящегося горизонта рысью проехали несколько кавалеристов. Пробежали четыре немецких овчарки, низко опустив морды с ушами, взведенными, как курки двустволки. В небе зажглась зеленая звездочка сигнальной ракеты, сделала дугу и погасла. Потом постепенно все затихло.

Женщины сидели, прижавшись друг к другу, окоченев от холода, которого не чувствовали, и всматривались в темноту до боли в глазах.

Прошли сутки. Никто не возвращался... Наконец в катакомбах появился Серафим Туляков, как всегда подтянутый, но только с ввалившимися глазами, сильно заросший.

Он рассказал, что на четырнадцатом километре все произошло по плану.

Затем по одному, по два стали возвращаться люди из отрядов Дружинина и Тулякова. Некоторые были ранены, и Лидия Ивановна развернула в красном уголке санитарный пункт. Стало известно, что убит радист Дружинина Миша Веселовский. Пришли Стрельбицкий и Свиридов с рассеченной губой и выбитым зубом. Они сообщили о взрыве восьми километров железнодорожного полотна в районе станции Дачная.

— Большой состав бензина и боеприпасов,— бормотал Синичкин-Железный, вписывая в журнал боевых действий итоги операции,— затем вспомогательный поезд, мотодрезина, примерно тридцать убитых фашистов, восемь километров разрушенного полотна на одном участке да километра два на другом — это действительно неплохой подарок сталинградцам, в особенности теперь, когда немцы дорожат каждой каплей горючего, каждым патроном. Сколько погибло немецких самолетовылетов, сколько пулеметных очередей!.. Толково, толково!..

Прошли еще сутки. Больше никто не возвращался. Неужели все погибли или попали в руки врагов?.. Об этом страшно было думать, страшно говорить.

Молчаливая надежда сменялась молчаливым отчаянием, отчаяние — надеждой.

Заведенным порядком шла подземная жизнь. Черноиваненко замещал Синичкин-Железный, Дружинина — Серафим Туляков.

Не хватало Лени Цимбала, Святослава, Петра Васильевича, Колесничука.

В остальном ничто не изменилось. Так же стряпали пищу, принимали сводки, так же производилась учебная стрельба в тире, заряжались аккумуляторы, печатались на пишущей машинке листовки.

Сводки принимали Валентина и Петя. Валентина настраивала радиоприемник, Петя записывал.

Если бы не эти сводки со Сталинградского фронта, может быть, у них не хватило бы сил выдержать постоянное напряжение молчаливого ожидания. Но они каждый день, принимая сводку, как бы дышали воздухом победы, и он помогал им жить, помогал ждать. Конечно, они ожидали всех. Но среди этих всех у каждого из них был кто-то один, кого они ждали с особенной силой.

Петя ждал отца. Он думал о нем все время — наяву и во сне. Он ему не снился. Нет. Петя о нем именно думал. Думал во сне — напряженно, мучительно, весь охваченный отчаянием любви и нежности. Неужели его уже больше нет на свете — его отца, человека, неотделимой частью которого Петя себя чувствовал, жизнь которого была его жизнью и смерть которого казалась такой же невероятной, чудовищной и неправдоподобной, как своя собственная смерть?..

Петю неотступно преследовали картины, разрывавшие его сердце... Отец бежит по степи, и за ним гонятся немецкие овчарки. Отец ранен. Он больше не может бежать и останавливается. У него бледное, безжизненное лицо. Странная улыбка искажает его губы. Собаки бросаются на него, хватают за горло, грызут, рвут на нем одежду. Он отчаянно отбивается ногами. Он кричит. А они валят его на землю и кусают его руки, ноги, плечи. Отец весь в окровавленных лохмотьях. И румынские жандармы грубо выворачивают ему руки и связывают на спине веревкой, волочат по земле, бросают в грузовик...

Петя грыз себе кулаки, чтобы не кричать. Он знал, что плакать нельзя. И говорить нельзя. Надо молчать. И он

молчал, неподвижно глядя перед собой ввалившимися глазами.

Так же неподвижно смотрела перед собой Валентина, прижимая к груди пальцы — худые, ставшие по-девичьи нежными, длинными.

Она ждала Святослава.

Раиса Львовна так изменилась за эти дни ожидания, что ее трудно было узнать. Она превратилась почти в старуху. Она ни с кем не разговаривала. Она все время упорно, напряженно молчала, хрустя пальцами и сухо блестя черными мрачными глазами с каким-то страшным, янтарным отливом.

Спокойнее всех казалась Матрена Терентьевна. Недаром она была женой рыбака. Сколько бессонных ночей провела она в своей хибарке, прислушиваясь к пушечной пальбе прибоя, когда внезапный шквал застигал шаланду мужа в открытом море! Часто вместе с ним в море уходили и оба ее хлопца. Она брала на руки маленькую Валентину и вместе с другими женами рыбаков часами стояла на обрыве, всматриваясь в бушующее море. Она стояла, как каменная, до тех пор, пока вдруг среди острых обломков волн ее глаза не замечали знакомую шаланду со сломанной мачтой и в клочья разорванным парусом. Никто не знал, что делалось тогда в ее душе. Она молчала.

Теперь она большею частью неподвижно сидела на своих каменных нарах и смотрела перед собой остановившимися глазами.

Чувство ожидания было связано у нее с представлением о море. Она сидела, опустив меж колен большие, жилистые руки, и видела бушующее море, летящую в лицо пену и чаек — сотни кричащих чаек, которые всегда, с раннего детства, казались ей душами погибших рыбаков. Она сидела и молча ждала. Она ждала дядю Гаврика, ждала Петра Васильевича, ждала всех ушедших на четырнадцатый километр, и вместе с ними она как бы ждала своего Акима и своих хлопцев, которые где-то воюют, и, может быть, их уже нет на свете, а души их — как ей временами казалось — летают, как чайки, над дымным морем, покрытым обломками шторма...

Наконец вернулись все, кроме Святослава.

47

КРАХМАЛЬНЫЕ ЗАНАВЕСКИ

Последним видел Святослава Колесничук в тот день, когда они после взрыва на четырнадцатом километре вместе уходили в город. Благополучно прорвавшись через румынскую цепь, они некоторое время продолжали бежать вместе по нижней Хаджибеевской дороге в сторону города, к железнодорожному виадуку. Здесь Колесничук повернул направо, к Дюковскому саду, а Святослав пошел налево, на Пересыпь, где в маленьком домике жила его мать, одинокая женщина, у которой Святослав в случае необходимости легко мог некоторое время скрываться.

Святослав, как и все остальные участники операции, получил пароль и явку на конспиративную квартиру, которую под видом сапожной мастерской держал на Коблевской улице один из агентов Дружинина, некто Андреичев. В случае крайней необходимости он мог воспользоваться этой явкой, для того чтобы там отсидеться. Таким образом, были все основания надеяться, что Святослав в скором времени так или иначе объявится. Но время шло, а он не объявлялся. Оставалось предположить, что он до сих пор отсиживается у матери. Это было похоже на правду, так как после взрыва на четырнадцатом километре снова стали свирепствовать сигуранца и жандармский легион, в особенности на окраинах города и в районах предполагаемых выходов из катакомб.

Дружинину очень нелегко было обходиться без сержанта Веселовского. Приходилось работать за двоих — самому шифровать и самому передавать в Москву донесения, принимать из Москвы инструкции и расшифровывать их. Это крайне затрудняло работу. Тогда ему начала помогать Валентина. Она недавно прошла под руководством Святослава краткий курс радиотехники, хорошо знала азбуку Морзе, и ей только оставалось научиться владеть телеграфным ключом.

Она быстро постигла это искусство. В ее распоряжение поступил маленький фибровый чемодан покойного Миши, и, когда наступило время «выходить в эфир», они вдвоем — Дружинин и Валентина — отправлялись подземными ходами в отдаленную часть катакомб. Там была

щель, известная только им одним. Валентина высовывала в эту щель палку с антенной, открывала чемодан и, сжав похудевшие губы, надевала наушники.

Несколько дней Дружинин был в отлучке: выходил в город. Он один имел право покидать катакомбы в любое время, без специального решения бюро. Это была привилегия человека, выполнявшего особые задания, получаемые непосредственно из Москвы.

Петр Васильевич оглянулся и увидел Дружинина, который незаметно подошел сзади.

Дружинин потушил фонарь, который держал в руке, и сделал Петру Васильевичу знак выйти.

Валентина проводила Дружинина настороженным, вопросительным взглядом. Даже при плохом освещении было заметно, как она побледнела.

— Оказывается, он в тюрьме,— сказал Дружинин, когда они вышли в штрек и остались одни.

Петр Васильевич сразу понял, о ком говорит Дружинин. Речь шла о Святославе. До сих пор Дружинин ни разу не заводил с Петром Васильевичем речь о Святославе и, казалось, совершенно о нем не думал, но Бачей достаточно хорошо изучил характер Дружинина, чтобы не понимать смысла его молчания. Он молчал, но действовал. Петр Васильевич чувствовал, что судьба Святослава как-то особенно тревожит Дружинина.

— Можно было ожидать,— сказал Петр Васильевич.— Раз он до сих пор не вернулся, значит, одно из двух: погиб или арестован.

— Так вот, я вам и говорю, что он находится в тюрьме,— с раздражением сказал Дружинин.— На днях из тюрьмы вышел один наш человек. Он видел Святослава Марченко во время прогулки в окне третьего отделения, где находятся одиночки и камеры смертников.

— Ну что ж...— заметил Петр Васильевич.— Если он был в ту ночь захвачен с оружием в руках...

— Он не был захвачен в ту ночь с оружием в руках,— перебил Дружинин.

Очевидно, он знал еще что-то, но не договаривал. Он некоторое время молчал, как бы ожидая, что скажет Петр Васильевич. Бачей почувствовал тревогу, необъяснимую душевную тяжесть — темное предчувствие какой-то надвигающейся беды.

— Я был на Пересыпи, у его матери,— вдруг так же быстро сказал Дружинин.— В ту ночь, часа в четыре утра, он постучал к ней в окошко, она его впустила. Он был в полном порядке — жив, здоров и не ранен. Четверо суток она его прятала в сарайчике. На пятые сутки рано утром он ушел. Его мать замечательная женщина. Все понимает, но разговаривает мало. Я уважаю таких людей. Все же я понял, что он ушел не в степь, а в город. Все степные выходы из катакомб были блокированы воинскими частями и жандармерией. Он не мог этого не знать. Он пошел в город на явку. Это совершенно ясно.

— И по дороге его могли задержать,— сказал Бачей.

— Предположим. Но какое обвинение могли ему предъявить? Да, подозрительный молодой человек, без документов; да, бывший красноармеец — стало быть, дезертир,— с их точки зрения даже хорошо; да, своевременно не зарегистрировался в полиции. Только и всего. Трудовые работы, штраф, наконец — концентрационный лагерь. Не больше. Верно?

— Верно.

— В таком случае, при чем здесь одиночка? Вы знаете, кого они держат в одиночках? Только тех, кто числится под судом «Куртя Марциала», за отделом гестапо по борьбе с партизанским движением и нашими подпольными группами. Он мог попасть в одиночку лишь в том случае, если бы его взяли на явке. Я был на Коблевской. Андреичев утверждает, что в этот день к нему никто не заходил.

— Что ж,— сказал Бачей,— по-моему, Андреичев работает неплохо. Ни одного провала.

— Вот именно,— задумчиво сказал Дружинин,— ни одного провала. Вы помните августовские провалы? Провал за провалом. Одна явка летит за другой. А сапожная мастерская Андреичева на Коблевской держится, как заколдованная.— Его глаза мрачно засветились.— Хорошо. Мы еще вернемся к этому вопросу,— вдруг сказал он.

— Кстати, я все забываю вас спросить,— сказал через несколько дней Дружинин Колесничуку, по своему обыкновению, как бы вскользь: — вы ведь тогда, после четыр-

надцатого километра, кажется, не заходили на явку, в сапожную мастерскую на Коблевской?

— Не заходил.

Дружинин серьезно посмотрел Колесничуку в глаза:

— Почему? Ведь, по инструкции, вы должны были зайти.

Колесничук замялся.

— Я заходил,— сказал он поспешно.— Вернее, я хотел зайти. Даже взялся за ручку двери...

— Ну, и что же?

— Раздумал.

— Почему?

— А ну его к черту! — сказал сердито Колесничук и покраснел.

Дружинин нахмурился:

— Непонятно.

— Скажу вам откровенно: не понравилась мне эта ваша сапожная мастерская. Пошла она лучше к черту!

— Что ж вам не понравилось?

— Все не понравилось,— упрямо сказал Колесничук.— Пошла она к черту!

Дружинин снова вскользь посмотрел ему в лицо:

— А все-таки?

Колесничук покраснел еще гуще. Ему ужасно не хотелось объяснять Дружинину, почему он не вошел тогда в сапожную мастерскую.

Дело в том, что, подойдя к двери сапожной мастерской и уже взявшись за ручку, он вдруг увидел в мастерской Моченых, который как раз в это самое время примерял сапог. В первую минуту Колесничук уже был готов броситься на мошенника и наконец свести с ним счеты, но, к счастью, вовремя опомнился. В положении Колесничука это было равносильно самоубийству. Колесничук отскочил от двери и пошел по городу куда глаза глядят, испытывая одновременно и ярость и страх. Теперь, при воспоминании об этом случае, Колесничука снова бросило в жар.

— Ну его к черту! — упрямо повторил он и замолчал.

Но Дружинин так настойчиво смотрел на него, что Колесничуку пришлось рассказать всю правду.

— Ага, Моченых! — сказал Дружинин.— Это, кажется, тот самый тип — бывший советский управдом,—

который устроил вам так называемый «сквозняк» с ленинградским трико? Так ка́к вы говорите — примерял сапог в мастерской Андреичева? Моченых и Андреичев. Да. Интересное совпадение.

Больше он не произнес ни слова. Но Колесничук вдруг почувствовал беспокойство, и ему показалось, что в подземелье стало еще темнее, как будто во всех фонарях и светильниках убавилось света...

В этот же день Дружинин вышел в город и скоро оттуда вернулся.

Он был мрачен.

— Слушайте, Бачей,— сказал он что-то уж слишком спокойно, почти небрежно.— Святослав до сих пор находится в одиночке. Через день его возят в закрытой машине на допрос в гестапо. Установить с ним хоть какую-нибудь связь невозможно.— Он помолчал и прибавил, как бы вскользь: — Сегодня мне донесли, что на днях видели Андреичева в бадеге на Соборной площади в довольно подозрительной пьяной компании... А что вы вообще думаете об Андреичеве?

Что мог думать Петр Васильевич об Андреичеве? Он знал о нем не больше, чем обо всех тех секретных сотрудниках Дружинина, которых ему иногда приходилось видеть. Их было довольно много, и среди них Петр Васильевич видел два или три раза этого самого Андреичева. Очень худой человек лет двадцати шести, с длинными руками, с узкой, чахоточной грудью, золотушными глазами, весь какой-то сероватый, песочный. Он служил в истребительном батальоне, был ранен в ногу, не успел эвакуироваться; зарегистрировался в румынской полиции как бежавший красноармеец, но скрыл свою принадлежность к комсомолу. Он был по профессии сапожник и, как инвалид, выхлопотал разрешение на открытие сапожной мастерской. Через некоторое время ему удалось связаться с одним из людей Дружинина. Немецкие и румынские офицеры заказывали у него сапоги, и он время от времени доставлял Дружинину довольно ценную информацию о передвижении воинских частей. После известного испытательного срока он принял по всей форме партизанскую клятву, и его сапожную мастерскую превратили в явочный пункт связи. Один раз он приходил просить у Дружинина денег. Может быть, он просил их слишком на-

стойчиво. Но он говорил, что ему необходимо платить налог в городскую управу и что если он не заплатит завтра, то его мастерскую закроют и опечатают. Дружинин выдал ему деньги, и Андреичев ушел, прихрамывая на раненую ногу.

В последний раз Петр Васильевич видел Андреичева в тот день, когда возвращался от Африкана Африкановича на Средний Фонтан, в сточную трубу. Это была полоса провалов и неудач, и Дружинин поручил Петру Васильевичу пройти мимо сапожной мастерской Андреичева, заглянуть в окно, посмотреть, все ли в порядке, на месте ли Андреичев.

Петр Васильевич без труда нашел мастерскую, так как ее большое окно выходило на улицу и в этом окне, меж двух вазонов цветущей азалии, стоял на желтой лакированной колодке высокий офицерский сапог с зелеными ушками. Белоснежная, туго накрахмаленная кружевная занавеска отделяла витрину от мастерской. Занавеска, наполовину отодвинутая в сторону, позволяла рассмотреть часть мастерской. Петр Васильевич заметил перегородку, оклеенную новыми яркими обоями, и на ней три портрета в новеньких аккуратных рамках: Гитлера, Антонеску и короля Михая. Под окном, в кожаном фартуке и черной футболке с очень короткими, но широкими рукавами, из которых костляво торчали длинные руки с сильными утолщениями на локтях, с ремешком на песочно-желтых волосах, низко сидел, согнувшись, Андреичев и вколачивал деревянный гвоздик в подошву сапога, зажатого между колен. Петр Васильевич увидел его песочное лицо с опущенными золотушными глазами и узкий рот, тронутый какой-то непонятной улыбкой.

И Петр Васильевич прошел мимо.

Почему-то теперь, когда он вспомнил перегородку с новыми обоями ядовито-зеленого цвета, которые отражались на свежевыкрашенном пустом полу, эти азалии на окне, крахмальные занавески, сапог на канареечно-желтой колодке, это песочное лицо с узким, непонятно улыбающимся ртом, ему стало как-то не по себе, почти страшно.

— Что ж я могу думать?..— сказал Петр Васильевич неуверенно.

— Но все-таки? — настойчиво повторил Дружинин.— На ваш глаз?

Петр Васильевич задумался. Он понимал, что это серьезный вопрос. Песочное лицо. Узкий рот... Узкий, может быть, потому, что тогда Андреичев держал в губах гвоздик. Знойная пустота Коблевской улицы, накрахмаленные занавески, отражение зеленой перегородки на полу, выкрашенном янтарно-красной масляной краской, азалии со своими как бы искусственными, бумажными цветами, необъяснимая душевная тягость, предчувствие беды... А может быть, все это лишь игра воображения, нервы?..

— У него слишком узкий рот,— сказал Петр Васильевич.

— Как вы сказали? — не понял Дружинин, но вдруг сразу насторожился.— Как, как?

— У него слишком узкий рот, и вообще он весь какой-то песочный,— сказал Петр Васильевич.

— Да, мне тоже так показалось,— ничуть не удивившись такому странному течению мыслей, сказал Дружинин.— Вы правы. Он именно весь какой-то песочный. И вместе с тем скользкий. Вообще, мне кажется, он большая сволочь,— вдруг прибавил Дружинин отрывисто.— Я ему приказал завтра явиться в Овчинниковский переулок и дать объяснения относительно своего поведения. По-моему, он начинает разлагаться. Его больше нельзя оставлять в городе. Это может нам обойтись слишком дорого. Я думаю забрать его в катакомбы и больше никуда не выпускать. Если он будет артачиться, силой заставим.

Дружинин напряг скулы и невесело улыбнулся.

Но Андреичев в Овчинниковский переулок не явился.

48

ТУМАН

Беда пришла вдруг.

Записка была написана, или, вернее, нацарапана, обломком карандаша на смятом кусочке румынской газеты: «Товарищи, меня взяли тогда на Коблевской, имейте в виду, Андреичев — провокатор, берегитесь».

Подписи не было, но Синичкин-Железный, который последнее время занимался приведением в порядок партийных документов и личных дел, сразу узнал руку Святослава Марченко.

Записку принес незнакомый человек и бросил возле хода «степной».

Это был удар грома среди ясного дня. Впервые было произнесено слово «провокатор» — самое зловещее слово для всякого подпольщика. Казалось, оно повисло в воздухе и отравило его своим темным, незримым, всепроникающим ядом.

Андреичев — провокатор!

Черноиваненко открыл несгораемый шкаф, отыскал дело Андреичева и вынул бумажку, на которой аккуратным, немного кудрявым почерком был написан текст партизанской присяги, принятой в отряде Дружинина:

«Присяга. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, нахожусь на территории Украинской Советской Социалистической Республики, которая временно оккупирована немецкими фашистами и их прихвостнями, даю клятву Коммунистической партии и правительству СССР, в лице командира партизанского отряда тов. Дружинина, вести борьбу с оружием в руках до последней капли крови в рядах партизанских отрядов против фашистских оккупантов и прихвостней.

Все приказы на пользу СССР обязуюсь выполнять точно, ясно, беспрекословно, имеющиеся секреты не буду распространять как своей семье или родству, а также другим лицам и учреждениям фашистского ига и их прихвостней.

В случае измены данной мною клятве, вслух в присутствии товарищей, пусть меня покарает суровая рука полевого партизанского трибунала на месте, где совершена измена, в чем подписываюсь. Андреичев».

И после фамилии «Андреичев» — маленькая пошлая писарская закорючка.

Как раз было время «выхода в эфир», и Дружинин должен был находиться в том довольно отдаленном секретном месте катакомб, откуда он в последнее время держал связь с Москвой.

Бачей застал Валентину одну. Она сидела на земле рядом со своим чемоданом и жгла бумажки. Припод-

няв стекло фонаря, она подносила бумажки одну за другой к маленькому тусклому пламени, и они зажигались, озаряя ее лицо розовым льющимся светом. Значит, «выход в эфир» уже кончился и теперь, по твердо установленному порядку, она уничтожала шифровки.

Она так глубоко задумалась, что даже не заметила приближения Петра Васильевича. Она смотрела в огонь неподвижными глазами. Огонь почти касался ее прозрачных пальцев. Пепел лежал вокруг нее черными лепестками.

Ее лицо, хотя и сильно похудевшее, но все еще не утратившее милой детской округлости, выражало такое глубокое горе и в то же время светилось такой надеждой, такой суровой, непреклонной решимостью, что Бачей остановился, не решаясь ее окликнуть. Валентина почувствовала на себе посторонний взгляд, вздрогнула и схватилась за пистолет.

— Это я,— сказал Петр Васильевич.— Где Дружинин?

— Ушел.

— Куда?

— В город.

— Не может быть! Когда? Давно?

— Полчаса.

— Ох! — воскликнул Петр Васильевич; не удержавшись, застонал, как от внезапной боли.— Ох!

— Что-нибудь случилось? — Валентина отодвинулась назад и прижалась спиной к стене, не спуская с Петра Васильевича глаз.— Что-нибудь случилось?

— Андреичев провокатор,— сказал Петр Васильевич.

Она зажмурилась, ее лицо исказилось, как от внезапного удара по голове; она даже вскинула, как бы защищаясь, руки. Капелька крови показалась на ее прикушенной губе.

— Верно? — еле слышно, как-то совсем по-детски проговорила она.

— Это установлено,— сказал Петр Васильевич и в двух словах рассказал ей про записку Святослава.

Она закрыла лицо руками, но тотчас его открыла. Теперь она казалась совсем спокойной. Только слабо вздрагивали веки, прозрачно освещенные фонарем. Она

откашлялась, вытерла о подол платья руки, запачканные сажей, встала.

— Так я пойду, товарищ Бачей,— просто сказала она.

Он не понял.

— Куда вы пойдете?

— Надо же предупредить товарища Дружиниа, пока этот подлец сапожник еще не догадался, что мы его открыли.

— А вы знаете, где найти Дружинина?

— Знаю.

— Он вам говорил?

— Да. Он пошел к матери Святослава, а оттуда прямо на Коблевскую, к этому иуде. Надо обязательно перехватить Дружинина, пока он еще находится на Пересыпи.— И, желая устранить всякие возражения, она торопливо прибавила: — Товарищ Дружинин приказал передать вам, что вы остаетесь здесь его заместителем.

Она могла этого не говорить. По установленному порядку, в отсутствие Дружинина Бачей должен был безотлучно находиться в штабе. Таким образом, единственным человеком, который не только мог, но и был обязан немедленно идти в город разыскивать Дружинина и предупредить о предательстве Андреичева, была Валентина, полностью заменившая сержанта Веселовского.

— Хорошо, ступайте! — решительно сказал Петр Васильевич, понимая, что нельзя терять ни одной секунды.— Вы ее адрес знаете?

— Кого? Матери Святослава?.. Да боже ж мой! Это же наши соседи! Я их домик могу найти с завязанными глазами.

Она по-детски закрыла глаза, и по ее лицу прошло как бы отражение какого-то давнего, очень приятного воспоминания. Она так ясно увидела ярко освещенную солнцем, выбеленную стену, отчетливую тень шелковицы на этой стене, колодец с деревянным воротом и на глиняном полу двора — клюквенно-черные звезды раздавленных шелковичных ягод...

Петр Васильевич велел Валентине повернуться и, отступив на шаг, со всех сторон осмотрел ее. Короткая старенькая юбка, черная курточка, вытертая на локтях,

пыльная голова с калачом русых кос на затылке... Она свободно могла сойти за девочку с окраины, школьницу девятого или десятого класса, какой в действительности и была. Надо только почиститься от подземной пыли, умыться. Но это она может сделать и в степи, по дороге. Не совсем подходили солдатские кирзовые сапоги. Впрочем, могли быть и сапоги... Тревожное чувство шевельнулось в душе Петра Васильевича. Ему ужасно не хотелось ее отпускать. Но он подавил это чувство.

— Хорошо. Я сообщу о вашем выходе товарищу Черноиваненко. Ступайте. И не задерживайтесь.

Они прошли несколько десятков шагов по штреку и остановились возле щели, через которую обычно выставлялась наружу палка с антенной. Собственно говоря, это тоже был выход. Для того чтобы им воспользоваться, требовалось вынуть несколько больших камней, которыми он был заложен. Этим ходом пользовались лишь в самом крайнем случае, и о его существовании знали только Дружинин и его ближайшие помощники. Бачей и Валентина с усилием расшатали и вынули три больших ракушечных камня. Образовалась дыра, сквозь которую можно было пролезть человеку. Валентина отдала Петру Васильевичу свой пистолет и две запасные обоймы.

— Пока,— сказала она.— Привет мамочке. Пусть не беспокоится, я долго не задержусь. Кланяйтесь Пете.— И с этими словами, подобрав узкую юбку, мешавшую ей согнуть ногу, она, кряхтя, вылезла наружу.

Был день, и вся степь была окутана мартовским туманом, теплым, как парное молоко. Стая грачей прокатилась по воздуху низко над землей и тотчас скрылась, поглощенная туманом. Отчетливо громко, где-то совсем рядом, чирикнул воробей. Туман был так густ, так тепел, так насыщен влагой, что на волосах Валентины тотчас появились капельки воды.

— Оказывается, уже весна,— сказала Валентина, оправляя на себе юбку.— Погода как на заказ: в трех шагах ни черта не видно.

Бачей высунулся из щели и, жмурясь от непривычного дневного света, посмотрел ей вслед. Она шагала

по черной пахучей земле. Ее легкая фигура в неуклюжих сапогах, окутанная и размытая туманом, казалась в два раза выше, чем была на самом деле.

49

В САПОЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Повидавшись с матерью Святослава и не узнав у нее ничего нового, Дружинин отправился на Коблевскую.

Туман, начавший идти на город с моря еще перед рассветом, теперь, к полудню, настолько сгустился, что уже не было видно крыш. Тени акаций и прохожих, окруженные темным сиянием, рисовались как бы на матовом стекле... С балконов и голых веток тяжело падали капли. Туман скрадывал звуки города. Город шумел вокруг глухо и монотонно, как морская раковина, приложенная к уху.

Дружинин шел быстро, засунув руки в карманы демисезонного пальто, крепко сжав рот и дыша носом.

Дойдя до крытого рынка, он повернул на Коблевскую и ровным шагом прошел ее всю, от начала до конца, изредка останавливаясь возле молочных, домашних столовых и различных мелких мастерских, которых здесь было очень много. Но возле сапожной мастерской Андреичева он не остановился. Он только заглянул в окно и увидел за накрахмаленными занавесками горящую керосиновую лампочку с почерневшим стеклом и голову Андреичева, наклоненную над табуреткой. Но нельзя было сразу разглядеть, есть ли еще кто-нибудь в комнате.

Дружинин дошел до Соборной площади с узким памятником Воронцову, еле заметным в тумане. Он не торопясь обошел Соборную площадь, обдумывая, как поступить дальше. На углу Преображенской и Греческой мутно светились большие окна нового ресторана специально для немецких офицеров. Было что-то зловещее, тревожное в этих освещенных днем окнах, в силуэтах людей, сидящих за столиками, в приглушенных звуках джаза, игравшего в ресторане, несмотря на столь ранний час.

Возле входа происходила драка. Одни военные ломились с улицы в ресторан, другие их не пускали. Слышалась истерическая, трескучая итальянская скороговорка: «Ар-р-ркады'о! Ар-ркамадонна!..» — и лающие немецкие выкрики. По мокрому тротуару покатилась эсэсовская фуражка. В тумане мелькнула размахнувшаяся рука. Посыпались осколки разбитого стекла. Раздался выстрел. Кто-то завыл на всю улицу. Дружинин, не оглядываясь, перешел на другую сторону. «Значит, в городе появились итальянцы,— почти автоматически отметил он про себя.— По-видимому, одна из дивизий, потрепанных на фронте и отведенных в тыл на переформирование. Видать, отношения между немцами и итальянцами накалились. До Сталинграда этого не замечалось. Немецкая военная машина трещит...» Возле ресторана уже бушевала толпа. Слышался топот солдатских башмаков, стук прикладов. В тумане взвыла сирена комендантского автомобиля. Лопнула ручная граната.

Но Дружинин уже снова шел по тихой Коблевской, наметанным глазом стараясь определить, нет ли наружного наблюдения за мастерской Андреичева, но ничего подозрительного не заметил.

Он снова заглянул в окно мастерской: Андреичев был один. Но и на этот раз Дружинин не вошел в мастерскую. Он прошел в ворота и, делая вид, что ищет отхожее место, обошел двор.

Это был обычный внутренний двор старого одесского дома: фонтан посредине, пожарная лестница, деревянные галереи с выбитыми стеклами, увитые сухими стеблями дикого винограда, выбеленные известкой дровяные сараи и мусорный ящик, покрытый толстым слоем черной смолы, застывшей потеками. На одну из галерей первого этажа рядом с воротами выходила дверь, обитая рыжим войлоком,— черный ход Андреичева. Дружинин постоял возле двери, прислушиваясь и стараясь угадать, есть ли кто-нибудь у Андреичева в кухне, но ничего не услышал. Все было тихо. Дружинин быстрым, легким, еле заметным движением попробовал открыть дверь. Она оказалась запертой на ключ. «Хорошо»,— подумал Дружинин. Затем он решительно вышел на улицу, подошел к наружной двери и пощупал

в боковом кармане пальто «вальтер». Затем он еще раз заглянул в окно и решительно взялся за щеколду.

Звякнул колокольчик, и Дружинин перешагнул через порог с прибитой к нему «на счастье» стершейся подковой. Андреичев поднял голову, и Дружинину показалось, что на его болезненном, золотушно-песочном лице мелькнуло выражение испуга. Но сейчас же его тонкие губы, в которых он держал сапожный гвоздик, растянулись в странно услужливую улыбку. Он торопливо встал со своей низенькой скамейки, выплюнул гвоздик в жестяную коробку из-под сардин, положил молоток, вытер руку о фартук и протянул ее Дружинину:

— Давно к нам не заходили, товарищ начальник.

Несмотря на всю естественность и простоту этой на вид обыкновенной фразы, Дружинин сейчас же почувствовал всю ее внутреннюю неправду. Вернее, это была правда, но с двойным дном. Лично Дружинин никогда не пользовался мастерской Андреичева как явкой. Он заходил сюда всего лишь один раз в прошлом году, просто для того, чтобы увидеть, что эта мастерская собою представляет. Это было место, где агенты Дружинина передавали связным информацию и получали задания. Если же Дружинину нужно было видеть Андреичева, то он вызывал его через связного в какое-нибудь другое, заранее условленное место, каждый раз новое. Таким образом, фраза «давно к нам не заходили», по существу, не имела никакого содержания, кроме странного слова «нам», видимо выскочившего совершенно непроизвольно. Дружинин тотчас это отметил про себя. К кому это «к нам»? Кто это «мы»? В соединении с развязным «товарищ начальник» Дружинин почувствовал в этом что-то не совсем хорошее. Спокойно пожав сырую руку Андреичева, Дружинин сказал:

— Заприте входную дверь и повесьте табличку «закрыто».

Пока Андреичев возился с задвижкой, Дружинин стоял близко за его спиной, смотрел, как двигаются под черной футболкой его большие, острые лопатки, и бесшумно дышал носом. Заперев дверь, Андреичев, не оглядываясь, пошел в кухню, вяло размахивая худыми

руками с крупными утолщениями на локтях. Но Дружинин остановил его:

— Вы куда, Андреичев?

— Запереть черный ход.

— Не надо. Черный ход заперт.

Андреичев вернулся, глядя в пол с невыразительной, скользящей улыбкой. Остановился перед Дружининым, свесив на лоб песочные волосы. Дружинин показал глазами на перегородку, вопросительно подняв брови. Андреичев понял:

— Там никого нет, товарищ Дружинин.

Дружинин заглянул за перегородку. Железная кровать, застланная нарядным стеганым одеялом; две подушки с кружевной накидкой; под стулом — дамские туфли с заткнутыми в них чулками; на стене, под простыней, — юбки; ножная швейная машина; алюминиевая кастрюля...

— Вы что, женились? — спросил Дружинин.

— Да, женился, — ответил Андреичев.

— Я не знал.

— Недавно.

— Все же надо было сообщить нам. А где же она?

— Пошла к родителям на Молдаванку.

— Хорошо, это не столь важно, — сказал Дружинин, хотя это было все же довольно важно. — В таком случае, не будем терять время. Нам с вами надо потолковать. Садитесь.

Андреичев хотел сесть на свою табуретку, но Дружинин его опередил и сам сел на эту табуретку. Отсюда можно было наблюдать за тем, что делается на улице. Андреичев сел на стул возле прилавка.

— Недавно вы меня вызывали, товарищ Дружинин, но я не мог прийти, — сказал Андреичев, хрустя пальцами. — Я был болен.

Его голос сел, и он стал откашливаться.

— Это тоже не столь важно, — сказал Дружинин. — А между прочим, что с вами было?

— Вы же знаете, что я больной, — ответил Андреичев, продолжая крутить на коленях пальцы. — Каждый вечер температура тридцать семь и восемь, сильно потею, желёзки распухли...

— Желёзки? — озабоченно переспросил Дружинин.

Он поднялся с табуретки, протянул руку и осторожно пощупал у Андреичева шею под ушами.— Совершенно точно. Гланды. Сидите, сидите! Не вставайте... Это гланды.

— А что касается того человека...— сказал Андреичев, глядя со своей пустой, скользящей улыбкой в спокойное лицо Дружинина,— а что касается, товарищ Дружинин, того человека, который якобы заходил в мою мастерскую, а потом его забрали, то я уже вам докладывал, что он сюда не заходил и я его в глаза никогда не видел...

— Вполне возможно,— сказал Дружинин.— Так оно, по всей вероятности, и есть. Мы в этом разберемся. Вы не волнуйтесь. Но я вас вызывал совсем не по этому делу.

— А по какому? — быстро спросил Андреичев.

— Я хотел, чтобы вы отчитались в полученных суммах.

— Так боже ж мой! Об чем речь! — воскликнул Андреичев, и его лицо покрылось румянцем.— Это я вам сейчас все представлю, до последней марки...

Он вскочил, засуетился, но Дружинин холодно сказал:

— Сядьте.

Андреичев сел и беспокойно сложил руки на острых коленях, покрытых фартуком.

— Впрочем, это тоже уже не имеет значения. А дело в том, что нам стало известно ваше поведение. Пьянствуете, черт знает с кем встречаетесь...

— Я не встречаюсь,— тихо сказал Андреичев.

— Встречаетесь! — Дружинин сделал над собой усилие и продолжал спокойно: — Вас видели в бадеге на Соборной площади с одним заведомым спекулянтом. Может быть, вы уже начали спекулировать?.. Молчите! Отвечать будете потом, в другом месте. Одним словом, вы уже не годитесь для этой работы, на которую мы вас выдвинули. Вы, вероятно, забыли обязательство, которое нам дали... — Дружинин сузил глаза, сжал рот.— Поэтому с сегодняшнего дня мы эту лавочку закроем. Все явки отменяются, а вы переходите в другое место. В резерв.

— Слушаюсь,— сказал Андреичев, вставая и вытягиваясь по-солдатски.— Когда прикажете?

— Сейчас. Одевайтесь.

— Товарищ Дружинин... А как же...— Андреичев посмотрел на перегородку.— А что же, когда она воротится?..

Дружинин посмотрел ему в глаза синими холодными глазами:

— Я вам приказываю одеться. Мы выйдем вместе. Но имейте в виду, если я замечу с вашей стороны хоть малейшее... Вы меня понимаете? Вы — на два шага впереди, я — сзади... Я вам буду говорить, куда поворачивать... Договорились?

— Слушаюсь,— прошептал Андреичев.

— Так одевайтесь. Быстро! Мы выйдем через кухню. И еще раз предупреждаю... Вам ясно?

— Так точно.

В это время Дружинину показалось, что мимо окна в тумане прошла какая-то странно знакомая женская фигура. Раздался стук в дверь.

— Ни одного движения! — сказал Дружинин Андреичеву и сунул руку во внутренний боковой карман пальто.

Стук повторился. Потом женская фигура снова прошла мимо окна и остановилась. Дружинин узнал Валентину. Приложив руки щитками к глазам, она смотрела с улицы в комнату. Увидела Дружинина. Крикнула в стекло:

— Откройте!

Казалось, ее расширенные глаза светятся на бледном лице, как бы размытом, слившемся с туманом.

— Откройте, откройте! — кричала она, тревожно стуча пальцами в стекло.

Ее появление было так неожиданно и невероятно, что Дружинин понял: случилась беда. Не спуская неподвижных глаз с Андреичева, он подошел к двери и отодвинул засов. Валентина вбежала в мастерскую. Дружинин снова быстро запер дверь.

С трудом переводя дыхание, Валентина смотрела на Андреичева прозрачными глазами, полными такой ненависти, что Дружинин понял все. Андреичев побледнел и попятился.

— Куда? — сказал Дружинин.

— Запереть... черный... ход...— пробормотал Андреичев.

— Остановитесь!

Андреичев остановился. Лицо Валентины покрылось красными пятнами.

— Вы провокатор! — закричала она и затопала ногами в мокрых кирзовых сапогах; потом, вздрагивая плечами, подошла к Андреичеву и неловко раскрытой ладонью изо всех сил ударила его по лицу.

— Ты с ума сошла! Что ты делаешь? — сказал Дружинин, хватая ее за плечи.

Но она уже отшатнулась назад, прижалась к Дружинину, торопливо говорила:

— Сейчас же уходите отсюда... Только что мы получили записку от Святослава из тюрьмы. Его забрали здесь, в сапожной мастерской. Андреичев провокатор... Меня послал до вас товарищ Бачей... скорей уходите... скорей уходите...

Дружинин почувствовал, что холодеет.

Андреичев вжал голову в плечи и бросился в кухню. Но Дружинин перехватил его и втолкнул за перегородку. Он втолкнул его с такой силой, что Андреичев отлетел к стене и упал на кровать. В это время за окном с азалиями, в тумане, метнулась женская фигура в румынской шляпке трубой. По стеклу быстро забарабаиили пальцы.

— Анюта! — закричал отчаянным голосом Андреичев.

— Молчать! — тихо сказал Дружинин.

И Андреичев вдруг смолк, окаменел, прикрыл голову тощими руками, как бы защищаясь от удара.

Дружинин вынул из бокового кармана «вальтер» и бросил его в соседнюю комнату под ноги Валентине:

— Держи. Если кто-нибудь ворвется, стреляй.

— Что вы хотите делать? — дрожащим голосом сказал Андреичев.

— Молчите! — повторил Дружинин.— Сидите. Не смейте вставать.— Он вплотную подошел к Андреичеву, который отшатнулся от него и с такой силой ударился спиной в стенку, что закачалось маленькое зеркало, сделанное в виде подковы, в зеркальной подковообразной рамке с гранеными зеркальными гвоздиками.— Вы помните, какую вы давали присягу?.. Не помните? Так я вам напомню. Слушайте, вы, мерзавец! — Ноздри Дружинина раздулись и побелели.— «В случае измены данной мною клятве, вслух в присутствии товарищей, пусть меня по-

карает суровая рука полевого партизанского трибунала на месте, где совершена измена, в чем подписываюсь».

— Этого больше никогда не повторится... Я вам сейчас все объясню... Клянусь матерью!.. Вы не имеете права! — вдруг закричал Андреичев страшным, неправдоподобным, каким-то заячьим голосом и внезапно осекся. Его побелевший лоб покрылся потом. Под глазами появились тени, водянисто-голубоватые, как разбавленное молоко.— У меня гланды,— бессмысленно прошептал он.

Дружинин взял его обеими руками за худую шею и медленно, чувствуя все время тяжелое отвращение, задушил.

А в это время кухонная дверь уже трещала под ударами прикладов. Раздался грохот. Дверь рухнула. Мастерская наполнилась гулом голосов и стуком кованых сапог.

Дружинин выскочил из-за перегородки. Валентина стояла на коленях за прилавком и, вытянув руку, стреляла из пистолета в солдат жандармского легиона. Сжав рот и нагнув голову, Дружинин схватил низенькую табуретку за ножку, очень широко размахнулся и со страшной силой ударил кого-то по голове. Табуретка разлетелась на куски. Тогда Дружинин схватил с подоконника вазон с азалией и швырнул его в офицера, поднимавшего пистолет, но промахнулся: вазон ударился в стенку, черная мокрая земля поползла вниз по зеленым обоям.

Кто-то дернул Дружинина за ногу. Но Дружинин удержался и успел схватить с подоконника тяжелую колодку с сапогом. Он прижался к стене и стал драться колодкой. Но в это время его ударили прикладом по голове, и последнее, что он увидел, было искаженное болью, плывущее лицо Валентины, которой выкручивали руки.

50

ЗА РОДИНУ!

Они шли по гранитной мостовой, неудобно держа перед собой стиснутые руки в немецких автоматических наручниках: впереди Дружинин, за ним Святослав и Валентина.

Только что им объявили смертный приговор, и теперь

они возвращались из особняка, где происходил военно-полевой суд, во внутреннюю тюрьму гестапо.

До тюрьмы было совсем недалеко — большой серый дом наискосок через улицу. Там, в подвале, где раньше находился оптовый склад Укртекстильторга, теперь была устроена камера, происходили допросы, очные ставки, пытки, и оттуда в черных закрытых машинах или на военных грузовиках каждую ночь, перед рассветом, осужденных увозили на казнь.

Этот большой, недавно отремонтированный дом с чисто вымытыми пустынными окнами, с косыми щитами, закрывавшими подвальные трапы, с часовыми возле каждой двери, сверкающей медными ручками, жарко начищенными самоварной мазью, несмотря на всю свою чистоту и опрятность, казался самым мрачным на всей улице — запущенной, грязной, наполовину разрушенной авиабомбами.

Но осужденных не сразу отвели в подвал этого дома. Сначала гестаповцы долго водили их по городу, из улицы в улицу, желая устрашить непокорное население, показать свою силу.

Да, им было чем похвастаться, этим напудренным, затянутым в корсет конвойным офицерам в громадных черных эсэсовских фуражках и длинных лакированных сапогах, шедшим строевым шагом сбоку. В их руках находился Дружинин, неуловимый подпольщик, за которым немецкая и румынская разведки охотились около двух лет.

Впереди и позади медленно ехали два черных броневика с белыми немецкими крестами и пулеметами, наведенными на осужденных. По бокам, с автоматами на изготовку, двумя шеренгами подвигался взвод немецких солдат в стальных шлемах — тугие ремешки на подбородках, глаз не видно. А посредине, в мертвом пространстве, по пустой гранитной мостовой, как бы окруженные прозрачным воздухом смерти, шли три советских человека: Дружинин, Валентина и Святослав.

Они шли по городу, из улицы в улицу, и с каждым их шагом на тротуарах становилось все больше народу.

Люди стояли под арками ворот, в подъездах, у закрытых окон, толпились вдоль тротуаров, становились на уличные чугунные тумбы. Мальчики влезали на каштаны

и акации, чтобы лучше видеть шествие. Город, казавшийся до сих пор пустынным, лишенным души, теперь странно переменился. Вдруг, подобно солнечному лучу, пробившемуся из-за грозной тучи и опоясавшему ее траурные края ослепительно белой каймой, пробилась и засияла душа города — истерзанная, но все еще живая.

Простые советские люди, обносившиеся, голодные, грязные, выходили из развалин и шли по обеим сторонам улицы, провожая Дружинина. На каждом перекрестке стояли пулеметы, направленные на арестованных, и они шли в спокойном, суровом молчании.

Две женщины выбежали из переулка. Они крепко держались за руки и, почти падая от изнеможения, стали пробиваться сквозь толпу. Вытягивая худые, жилистые шеи, они пытались через головы рассмотреть осужденных. Но они ничего не видели, кроме черных башен броневиков и стальных касок конвоя. Тогда они снова бросались вперед, расталкивая людей, извиняясь, почти падая с ног и поддерживая друг друга трясущимися руками.

В их новых, криво надетых и плохо застегнутых на спине ситцевых платьях, еще ни разу не стиранных, в их одинаковых платках, из-под которых выбивались неубранные волосы, в их опухших, измученных глазах, полных изумления и ужаса, было нечто такое, что заставило толпу молчаливо расступиться.

Они бросились вперед и совсем близко от себя вдруг увидели трех осужденных, которые продолжали мерно идти посреди мостовой, неудобно держа скованные руки.

Одна из женщин как-то странно рванулась на месте, словно хотела крикнуть, но не крикнула, хотя все ее порывисто вытянувшееся тело как бы исторгало крик. Она только прижала к лицу сжатые пальцы, изо всех сил стараясь не вскрикнуть. Потом ее лицо стало бескровным, она пошатнулась, стала заваливаться назад и, если бы другая женщина не схватила ее за плечи, упала бы на тротуар. Но она не упала, выпрямилась и быстро пошла, опираясь на плечо другой женщины, по гранитной обочине, не отрывая взгляда от осужденных.

Одна женщина была Перепелицкая, а другая — мать Святослава Марченко. Эти две пожилые женщины каза-

лись сестрами. Но, в сущности, они совсем не были похожи друг на друга.

Впечатление сходства создавали надетые на них одинаковые платки. Мать Святослава, хотя ее и называли на Московской улице «старуха Марченко», ничем не напоминала старуху. Это была крепкая сорокалетняя женщина, склонная к полноте, жгучая брюнетка с бровями густыми, как усы, и усиками над верхней губой, похожими на реденькие бровки, жаркая, кареглазая — настоящая черниговская. Когда утром в день суда Перепелицкая — по специальному экстренному решению бюро райкома — вышла из катакомб, с тем чтобы попытаться в последний раз хотя бы издали увидеть свою дочь, она сначала забежала на Московскую улицу к «старухе Марченко».

В том виде, в каком она была, идти в центр города нечего было и думать — слишком явно выдавали ее следы почти двухлетнего пребывания в катакомбах. Вся ее до последней степени изношенная, почти истлевшая одежда была пропитана подземной сыростью, забита въедливой каменной пылью.

«Старуха Марченко» собственноручно вытерла Матрене Терентьевне лицо, шею и руки мокрым полотенцем, полила ей на ноги воды. Затем она вынула из сундука два давних, но еще ни разу не надеванных ситцевых платья, одно кое-как надела сама, а другое дала надеть матери Валентины.

Пока они, задыхаясь, бежали по городу, Матрена Терентьевна еще кое-как владела собой. Но, когда она вдруг увидела перед собой Валентину, которая шла босиком посредине мостовой, в наручниках, окруженная штыками и пулеметами, силы оставили ее. Марченко, у которой тоже подломились ноги и потемнело в глазах, когда она увидела своего Святослава, все же успела подхватить Матрену Терентьевну и не дать ей упасть.

Теперь они обе, продолжая крепко держаться за руки, шли по обочине тротуара, сложенного из синих плиток лавы, рядом с осужденными, отделенные от них цепью конвоя. Они забегáли вперед, останавливались, пропускали мимо себя шествие и снова забегáли вперед, чтобы опять увидеть дорогие лица.

Был теплый, почти жаркий солнечный день. Яркое

небо, кое-где тронутое легкой, ангельской рябью перистых облаков, свежо и нежно сияло над городом, особенно густо синея в проломах стен, в пустых провалах окон, над холмами строительного мусора, поросшими дикой петрушкой и молодым бурьяном. Странная, подавляющая тишина стояла над улицей, над городом, кажется над всем миром. Было только слышно мерное шарканье солдатских сапог, глухое ворчанье броневиков.

И в этой тишине, как почти всегда бывает в жаркие летние дни, откуда-то доносились звуки старой шарманки, такой дряхлой, что в ее мелодии отчетливо слышались пропуски, тягостные пустоты, как будто для некоторых нот не хватало воздуха, и они только угадывались, как слабые выдохи.

Заметили ли они — Дружинин, Валентина и Святослав — этих двух женщин в новых ситцевых платьях, узнали ли они их в толпе, окружавшей шествие?

Конечно, они их узнали. Но ни одна черта не дрогнула на их лицах. Только на миг расширились глаза Валентины, когда они встретились с глазами матери. И Матрена Терентьевна поняла, что дочь ее видит. Но ни одним движением она не могла подтвердить Валентине, что она заметила ее взгляд, в котором на миг вспыхнула и погасла зеленая искра.

О, как хотелось Перепелицкой броситься к Валентине, обнять, прижать ее голову к своей груди, защитить ее руками, всем своим телом!

Но она не имела права: маленькое неосторожное движение, маленький знак могли ее выдать, а она не принадлежала себе, она была членом подпольной организации.

В толпе шныряли сыщики и агенты сигуранцы и гестапо. Если бы ее схватили, это могло бы поставить под удар всю организацию.

И она шла, ловя жадными глазами ускользающий взгляд дочери и кусая руку, чтобы не закричать. А рядом с ней, шумно дыша, шла «старуха Марченко» со стиснутыми зубами и поминутно спотыкалась...

Дружинин двигался неторопливо, немного вразвалку. Если бы не наручники и не вооруженные солдаты, окружавшие его, можно было подумать, что он гуляет. Не

имея возможности свободно размахивать руками, Дружинин мерно раскачивался всем своим могучим телом, выставляя вперед то одно, то другое плечо, как бы расталкивая воздух. Однако было заметно, что ходьба причиняет ему страшную боль, которую он силился скрыть.

Он шел босиком, но, по-видимому, не это заставляло его страдать. Страдало все его тело, истерзанное пытками, продолжавшимися в течение месяца почти каждую ночь, со дня ареста до самого суда. К нему применяли все виды пыток, вплоть до особенно утонченной и особенно ужасной пытки электрическим током.

Перед судом его побрили и припудрили кровоподтеки на его лице. Но все же они просвечивали сквозь слой пудры и делали лицо Дружинина похожим на грубо размалеванную маску с живыми человеческими глазами — прекрасными темно-синими глазами, яркими и презрительными.

Он старался идти твердо, непринужденно. Но временами его ноги как бы выходили из повиновения — вдруг ослабевали, подламывались, начинали вихляться, как на развинченных шарнирах. Тогда он останавливался, собирался с силами и продолжал идти дальше почти что ровно.

За ним шли Валентина и Святослав, тоже босиком и тоже делая усилия, чтобы не обнаружить страданий, которые причинял им каждый шаг.

На Святославе была летняя красноармейская гимнастерка с пятнышком на том месте, где был комсомольский значок, с расстегнутым, неподшитым воротом, без пояса, а на Валентине — черная короткая юбка, почти до колен открывавшая белые, покрытые синяками и ссадинами ноги, и грязная батистовая кофточка с некогда плоеной грудью и гладкими перламутровыми пуговичками. Она шла цепкой, валкой походкой рыбачки, привыкшей ступать по ракушкам, но делала слишком маленькие шажки. Для того чтобы они могли идти рядом, Святославу все время приходилось укорачивать шаг. Она не могла взять его под руку. Она лишь слегка опиралась плечом о его плечо. Но было такое впечатление, что они идут обнявшись.

Был конец мая. По всему городу цвела белая акация. Старые большие деревья, сплошь увешанные плакучими

гроздьями нежных, необыкновенно душистых зеленовато-молочных цветов, превращали улицы изуродованного города в аллеи, в тенистые туннели цветов и листьев. На горячей мостовой лежали тени акаций. По ним, как по темным кружевам, ступали босые ноги осужденных. И тени скользили вверх по их коленям, по груди, по лицам, по волосам непрерывной кружевной сетью, как бы желая своим ласковым, неосязаемым прикосновением умерить боль, которую они испытывали. С вызывающей гордостью подняв вверх свой круглый подбородок, ставший теперь твердым, почти квадратным, шла Валентина, мелко переступая маленькими босыми ножками. Откуда-то с балкона им бросили охапку цветущей акации. Одна веточка упала на голову Валентины, зацепилась за волосы, но не удержалась и стала сползать вниз. Девушка поймала ее на лице скованными руками и взяла в рот. Так она и шла, с веточкой белой акации в губах, почти черных, как маленькая запекшаяся рана, слегка опираясь плечом на Святослава. А Святослав шагал с неподвижно застывшей на губах высокомерной улыбкой, стройный, тонкий, с каштановыми волосами, гладко зачесанными назад, соразмеряя свои шаги с шагами своей подруги. А впереди них, как бы прогуливаясь, шел и мерно раскачивался всем своим большим, ладным телом Дружинин, неторопливо, по-хозяйски разглядывая небо, деревья, дома, афишные тумбы и людей, молчаливо провожавших его. Иногда его глаза вспыхивали, когда он вдруг узнавал в толпе кого-нибудь из своих. Глаза молчаливо встречались с глазами, говорили друг другу «прощай» и так же молчаливо и незаметно расходились.

Дружинин шел не как арестованный, не как осужденный. Он шел как победитель, как хозяин города, как хозяин мира.

Один раз он даже остановился перед куском разрушенной ракушечниковой стены, на которой был наклеен румынский приказ. Он остановился, не обращая ни малейшего внимания на конвой, и не пошел дальше до тех пор, пока не прочел весь приказ городского головы Одессы Германа Пынти, от первой до последней строки. Это было так неожиданно, что конвой тоже остановился. А Дружинин стоял, расставив ноги, и читал вполголоса относительно категорического запрещения продажи и по-

требления всякого рода семечек на всей территории города Одессы.

— Семечки! Как-нибудь проживем без семечек! — громко сказал Дружинин с непонятной, зловещей улыбкой.— Поехали дальше!

И шествие продолжалось.

Их провели по Екатерининской, до Дерибасовской, вокруг Соборной площади, по Садовой, наконец повернули на Коблевскую. Вероятно, это было сделано нарочно, специально для того, чтобы они прошли мимо сапожной мастерской Андреичева, мимо того места, где их взяли.

И они прошли мимо этого места.

Окно, в котором еще так недавно между двумя вазонами азалий стоял на колодке сапог, теперь было замазано мелом. На двери висел замок и была прибита бумажка: «Помещение сдается».

Было что-то зловещее, гробовое в этом слепом, замазанном мелом окне, в этой запертой на замок двери, выкрашенной свежей ядовито-коричневой масляной краской, в подкове, прибитой к порогу.

И они молча прошли мимо них, как мимо собственной могилы.

Их еще некоторое время водили по городу, пока наконец не привели обратно к воротам внутренней тюрьмы. Ворота открылись. Солдаты оттеснили толпу провожающих на противоположный тротуар. Все смешалось. Матрена Терентьевна и Клавдия Ивановиа, привстав на носки и изо всех сил вытянув шеи, в последний раз издали увидели Дружинина, Валентину и Святослава. Внезапно Дружинин сделал какое-то странное движение скованными руками. Вероятно, он их пытался вскинуть над головой, но сумел лишь поднять до уровня своего лица.

— За Ленина! За Родину! За власть Советов! — крикнул он на всю улицу сильным сорванным голосом — и сейчас же на него обрушилось несколько прикладов.

Осужденных втолкнули во двор, и железные декадентские ворота со сквозной решеткой в виде лилий, наглухо заколоченные досками, быстро закрылись. И в этот же миг где-то в самых задних рядах пошатнувшейся толпы

раздался ни с чем не сравнимый, отчаянный, раздирающий душу детский крик.

— Папка! Папочка! Папка! — захлебываясь от рыданий, кричала маленькая пестрая девочка, похожая на цыганку, стоя на шарманке, которую поддерживал старик.— Папка! Папка! Папка!..

Но, когда два полицейских в штатском пробились сквозь толпу, на этом месте уже никого не было.

Но это еще не был конец.

После того как ворота тюрьмы захлопнулись, осужденные еще жили более месяца. Фашисты обещали им жизнь в том случае, если они подадут румынскому королю прошение о помиловании. Они хотели показать непокорному населению города свою силу и превосходство даже над такими людьми, как Дружинин и его товарищи. Враги хотели уничтожить их морально. Они не знали, кто был Дружинин в действительности. Они могли только догадываться, что это очень крупный работник. Теперь, когда он был в их руках, проще всего казалось его уничтожить физически. Но им было выгоднее заставить его жить.

Они не ставили Дружинину, Валентине и Святославу никаких условий. Они больше не пытали их, не мучили, не требовали от них ни предательства, ни измены родине, понимая, что это бесполезно. Им только советовали подписать прошение о помиловании. Как просто: взять в руку перо, написать на листе министерской бумаги свою фамилию — и перед тобой жизнь, солнце, море, цветущая акация, свобода. Да, именно свобода. Враги обещали им даже свободу. Их свобода была фашистам выгоднее, чем заключение. Пусть они подпишут прошение о помиловании, и добрый король их простит, и тогда они могут идти на все четыре стороны. Пусть живут. Пусть ходят по городу. Пусть население знает, что даже они — партизаны, народные мстители, коммунисты, лучшие из лучших,— признали власть короля, признали его право на жизнь и смерть советского человека.

В течение месяца румынские адвокаты почти каждый день приезжали во внутреннюю тюрьму. В жемчужно-серых фетровых шляпах, в белых шелковых макинтошах, с портфелями из свиной кожи под мышкой, они выскакивали из своих малолитражек, похожих на вонючих водя-

ных жуков, быстро пробегали боком мимо часовых и, по-адвокатски деловито склонив набок голову, поднимались по лестнице с натертыми воском перилами.

На пятом этаже была большая чистая комната с новой мебелью, новыми коврами и портретом короля Михая, молодого человека, причесанного по-английски, в военной форме с нашивками на рукаве. Адвокаты раскладывали на столах свои хрустящие, чистые бумаги, портфели, приготовляли письменные принадлежности. Затем по очереди, под строгим конвоем, вводили Дружинина, Валентину, Святослава — каждого в отдельности — и уговаривали.

Адвокаты их не торопили. Адвокаты были вежливы, даже любезны. Они были уверены, что слепая жажда жизни в конце концов сломит их упорство. Трудно было себе представить, чтобы человек мог добровольно отказаться от жизни, от свободы, тем более что за это от него не требовали ничего дурного — только подписать прошение о помиловании. Но фашистские адвокаты не знали, не понимали и не могли понять, что такое советский человек. Это было выше их понимания. Как ни была сильна жажда жизни у Дружинина, Валентины и Святослава, как страстно ни хотелось им жить, все же честь советского человека была для них дороже.

Фашистские юристы ошиблись в том, что у Дружинина, Валентины и Святослава слепая жажда жизни. Была жажда жизни, но не слепая. Была сознательная, высокая любовь к справедливости, честной советской жизни, которую они ставили выше всего на свете и от которой не могли и не хотели отказаться даже перед угрозой неминуемой смерти. Больше того: самую свою смерть они превратили в акт высочайшего патриотизма. Они показали населению города, что они сильнее захватчиков, что их можно убить, но нельзя поставить на колени.

На все уговоры и обещания, на все речи фашистских адвокатов они, не сговариваясь, повторяли одно и то же, каждый в отдельности:

— Я советский человек и просить пощады у врага не собираюсь.

И их снова уводили по лестницам и коридорам вниз, в подвал, в темную камеру и на другой день снова приводили в комнату на пятом этаже, и снова они в усовер-

шенствованных патентованных наручниках стояли перед столом, на котором были разложены прошения о помиловании и письменные принадлежности.

Но ничего этого они не замечали, не хотели замечать. Адвокаты курили сигареты, один за другим произносили на ломаном русском языке речи, а партизаны смотрели в окно на голубую полоску моря, кое-где видневшуюся над акациями и крышами города, мертво и неподвижно окаменевшего под пыльным небом, как бы добела выгоревшим от тягостного июльского зноя.

— Я советский человек и просить пощады у врага не собираюсь,— говорил Святослав, и его уводили.

— Я советский человек и просить пощады у врага не собираюсь,— сузив прозрачные глаза с твердыми зернышками зрачков, произносила Валентина сухим, напряженным голосом, и ее уводили.

— Я советский человек и просить пощады у врага не собираюсь,— говорил Дружинин негромко, но с такой силой, что белела ямочка на его подбородке, и его уводили.

Он, прихрамывая, шел по пустым коридорам и пустым лестницам, двигая широкими плечами и хрустя запястьями, стиснутыми наручниками, которые могли бы с него снять в любую минуту, стоило только ему попросить перо.

И на другой день их снова вызывали, и они снова видели над крышами море, которое нежно таяло, как бы уходило из глаз, медленно исчезало на горизонте, как жизнь.

В конце концов их убили.

51

МАЛЕНЬКАЯ ВЕТОЧКА ЖИЗНИ

Весь этот страшный месяц Матрена Терентьевна провела как в тяжелом, лихорадочном бреду. Слухи о том, что фашистские адвокаты каждый день ездят во внутреннюю тюрьму гестапо уговаривать Дружинина, Валентину и Святослава подать королю прошение о помиловании и обещают им жизнь и свободу, каким-то образом проникли в город, в подполье, в катакомбы. Матрена Те-

рентьевна не могла ни есть, ни спать, а если на минуту забывалась в полусне, еще более тягостном, чем явь, в нее как бы вселялась душа ее девочки, ее Валентины, и она чувствовала такую страстную, безумную жажду жизни и вместе с тем невозможность, немыслимость этой жизни, что снова впадала в беспамятство, но и в беспамятстве ее преследовало странное видение, ужасное в достоверности всех своих подробностей: она — Валентина, и она идет по черному кружеву теней, которые поднимаются с мостовой по ее ногам, по коленям, по груди, скользят по холодному, как хрусталь, лицу, и она держит в запекшихся губах веточку белой акации, и веточка падает, и она не может ее удержать, и страшная жажда жизни и невозможность этой жизни жжет ее, как угли, которые она глотает, и веточка акации скользит по ее груди, маленькая душистая веточка жизни, которую невозможно удержать...

Петя спал и видел во сне, что он стоит по колено в тошнотворно неприятной, хотя и совершенно прозрачной воде. Эта неподвижная вода вызывала отвращение, потому что в ней плавали толстые рыбы, похожие на сомов, но только еще более скользкие и голые. Они были цвета бледного человеческого тела, у них были спереди лапки, как у тритонов, и они были как будто бы слепые, вернее — у них совсем не было глаз. Они очень медленно ползали по каменному дну, вялые, покорно податливые. Их можно было брать в руки, вынимать из воды, и они не двигались, как дохлые. Они вызывали чувство тошноты, пронизывающей все волокна мозга. Иногда они пищали, хотя и были дохлые, причем их писк как бы существовал сам по себе, независимо от них. Этот писк, как бы шныряя по ногам, летал по воздуху, стремительно и легко касался Петиного лица, как длинная сухая паутина. Сотни маленьких невидимых животных с писком проносились мимо, заставляя тело вздрагивать от непонятного ужаса.

И Пете приснилось, что он проснулся, вскочил, сел на постели. Невидимые существа продолжали с писком метаться по стенам, перебегать по нарам, задевая мальчика и щекоча его голову. Он понял, что это мыши. Можно было подумать, что вся пещера наполнена мышами. Он закричал, но, как это бывает, когда человек кричит во

сне, не услышал своего голоса. Зато в ту же минуту он услышал в темноте голос Валентины, и это не показалось ему странным. «Мама! Проснитесь! — кричала Валентина где-то совсем близко.— Мама, проснитесь! Посмотрите, что делается!» За углом мелькнул багровый свет зажигалки. Петя увидел несколько мышей, бегущих по стене. Они мелькнули с такой быстротой, что самих мышей он почти не разглядел, а успел заметить несколько прямых тонких хвостов, скрывшихся за поворотом.

Две фигуры — Матрена Терентьевна и Валентина — пробежали со светильниками в руке в глубине коридора.

Петя легко, не чувствуя ног, и очень быстро — гораздо быстрее, чем это бывает наяву,— побежал, скорее — полетел за ними и вдруг почувствовал, что наступил на толстенькую мышь, которая с писком шмыгнула в темноту. Из-под его ног во все стороны разбегались мыши. Мышиные хвосты проносились по стенам, как будто кто-то стремительно чиркал там и здесь тонким угольным карандашом, след которого почти в тот же миг исчезал.

Возле ниши, где помещались кухня и кладовая, со светильником в поднятой руке стояла Матрена Терентьевна в очень черном шерстяном платке, которого у нее никогда не было, и светильник так шатался, что огонек каждую минуту готов был погаснуть. И этот светильник в то же время был также и маленьким глобусом. Прижавшись к Матрене Терентьевне, тоже в темном шерстяном платке, стояла Валентина, и Петя видел, что она вся дрожит с головы до ног, хотя лицо у нее неподвижно и открытые глаза ничего не выражают.

Петя заглянул в нишу, где что-то происходило, и увидел нечто невероятное, омерзительное, как бы находящееся за пределами воображения. Сотни, тысячи мышей наполняли нишу. Они бегали вверх и вниз по стенам, проносились по сводам, покрывали пол сплошной серой шевелящейся кашей. Ящики, мешки, коробки были так густо облеплены мышами, что их совершенно не было видно под живыми серыми падающими, ползающими гроздьями копошащихся животных. Оглушительный писк и тошнотворный шорох сводил с ума, и одуряющая, пронзительная вонь зверинца проникла в мозг, как отрава.

Мельчайшие частицы изъеденной газетной бумаги, опилки изгрызенного дерева, куски мешочного рядна,

наваленные кучами, смешивались с мелким мышиным пометом. А Валентина, продолжая так же неподвижно и равнодушно смотреть перед собой ничего не видящими глазами, подобрав юбку, давила мышей ногами, кричала монотонным, сводящим с ума голосом: «Бейте их! Давите! Что же вы смотрите, я не понимаю!» — и слёзы катились по ее холодному, хрустальному лицу.

Петя в ужасе бросился бежать по штреку, но теперь это уже был не штрек, а знакомый школьный коридор, странно пустой, звонкий, с запертыми классами, в которых молчаливо делалось что-то нехорошее и очень опасное. Петя бежал, спускался и подымался по школьным лестницам, путался в этажах, никак не мог найти выход, и снова попадал в пустой коридор, и уже не бежал, а скользя летел мимо запертых классов, где что-то делалось — страшное, недоброе,— и чувствовал, что за его спиной одна за другой коварно приоткрываются двери и какая-то злая, неумолимая сила бесшумно преследует его по пятам, и все время откуда-то доносится тоскливый, ноющий крик Матрены Терентьевны, и уже какие-то длинные руки трогают его за плечи, и если он обернется — то он погиб.

Он сделал во сне отчаянное движение, дернулся всем своим телом, чтобы вырваться из оцепенения, разорвал пелену сна и, обливаясь пóтом, проснулся.

В красном уголке мелькал свет; в штреке двигались тени; слышались приглушенные голоса, и среди них особенно явственно выделялось всхлипывающее бормотанье Матрены Терентьевны, которое вдруг переходило в тонкий, душу надрывающий крик. Ударившись в потемках о каменный выступ, Петя торопливо побежал в красный уголок и увидел Матрену Терентьевну, которая лежала грудью на каменном столе и быстро, судорожно двигала согнутыми локтями, словно хотела куда-то ползти. Она рыдала, содрогаясь всем своим маленьким, сухим телом. Склонившись над ней и крепко держа ее за руки, стояла в черном ватнике Лидия Ивановна, что-то быстро, нежно говорила, и по ее опухшему лицу катились слезы, освещенные «летучей мышью».

Синичкин-Железный — взъерошенный, в валенках — ходил взад и вперед по пещере, круто поворачиваясь и всякий раз наклоняя голову, чтобы не удариться о пото-

лок. Черноиваненко сидел за столом на своем обычном месте и, ломая в руках красный карандаш, неподвижно смотрел через очки перед собой. Петр Васильевич стоял, прислонясь к несгораемому шкафу; его лицо было грубым, угловатым, как бы вырубленным из камня; он был совершенно неподвижен, только его пальцы быстро перебирали портупею.

Сквозь туман, застилавший глаза, Петя увидел еще несколько лиц — Раисы Львовны, Колесничука, Цимбала,— и все эти лица были так же неподвижны, грубы, угловаты, словно вырублены из камня, как у отца.

Один за другим в красный уголок входили, наклоняясь при входе, партизаны отряда Дружинина и молча останавливались вдоль стен. При свете фонаря тускло блестело их оружие.

Дрожа всем телом, Петя на цыпочках подошел к отцу. У него не было сил произнести ни одного слова. Он только вопросительно посмотрел в его лицо. Не глядя на мальчика, Петр Васильевич полузакрыл глаза и сделал легкое движение головой, которое Петя сразу понял. Отец показывал головой на газету, лежавшую перед Черноиваненко, под фонарем. Петя с дрожью заглянул в газету. Он увидел место, отчеркнутое красным карандашом, и прочитал заголовок, грязно напечатанный жирными сбитыми буквами: «Одесский военно-полевой суд», а под ним — еще какие-то мелкие, неразборчивые слова, среди них — жирное слово «приговорил» и потом три слова, ударившие в сердце, как выстрел: «Дружинин, Перепелицкая, Марченко». А под ними еще несколько слов — невероятных, невозможных, непоправимых: «Приговор приведен в исполнение».

«Доносит старший лейтенант Бачей. Вчера на рассвете смертью храбрых пал расстрелянный презренными захватчиками капитан Дружинин вместе со своей помощницей радисткой Валентиной Перепелицкой и красноармейцем комсомольцем Святославом Марченко точка Им были обещаны жизнь и свобода в случае если они подпишут прошение о помиловании точка На все уговоры и обещания советские патриоты отвечали одно двоеточие мы советские люди на советской земле признаем только

власть Советов и просить пощады у врага не собираемся точка Гордый ответ патриотов-большевиков немедленно, стал известен населению непокоренного города-героя, вызвал большой патриотический подъем укрепил веру в скорую победу над фашистами приближение грозного часа расплаты и полного изгнания захватчиков из пределов священной советской земли точка В связи с решительной победой Красной Армии на Орловско-Курской дуге среди румынской администрации наблюдается крайняя растерянность широко распространилось мнение что война проиграна точка Отмечены факты спешного отъезда из Одессы обратно в Румынию и Германию больших групп коммерсантов валютчиков фабрикантов и прочих рыцарей легкой наживы точка На черной бирже курс марки резко падает на базаре начинают охотно брать советские деньги точка Шифры коды агентурные списки Дружинина хранятся в прежнем месте точка Жду приказаний».

На следующий день из Москвы в условленный час была получена следующая радиограмма:

«Капитану Бачей точка Скорбим героической смерти доблестного советского патриота капитана Дружинина его славных сподвижников бестрепетно отдавших свою жизнь за Родину точка Впредь особого приказания исполняйте обязанности Дружинина точка Выходите эфир прежнему графику точка Передайте Черноиваненко от имени Украинского партизанского штаба проверить боевую готовность всех партийных и беспартийных большевиков находящихся на учете райкома точка Ваша семья находится эвакуации Уфе точка Днями возвращается Москву квартира цела денежное довольствие получает вашему аттестату все живы здоровы точка Вам присвоено воинское звание капитана выражаем благодарность хорошую работу желаем успехов ждем ценной информации шифр прежний связь с Черноиваненко дальнейшем будем держать через вас».

Эту радиограмму принял Петя, заменивший Валентину. Как большинство мальчиков его возраста, склонных к технике, он быстро изучил азбуку Морзе.

Впрочем, Петю никак нельзя было назвать мальчиком. Ему уже шел пятнадцатый год. Это был высокий, слегка сутулый юноша с длинными волосами, которые он

тщательно зачесывал кверху. Его голос уже погрубел, начинал ломаться, и он уже несколько раз назвал отца не «папочка», а «батя».

Петя принимал радиограмму, склонившись над старым фибровым чемоданчиком сержанта Веселовского, на крышке которого с внутренней стороны теперь была наклеена фотокарточка Валентины, найденная Матреной Терентьевной в ее узелке и подаренная Пете: маленький вылинявший квадратик с белым уголком внизу. И, пока Петя принимал радиограмму из Москвы, на него, как из тумана, смотрело бледное, размытое лицо девочки с белыми волосами, заплетенными кренделем, и прозрачными глазами с твердыми зернышками зрачков, которые даже и на фотографии казались светло-зелеными, как виноград.

52

О ПОГИБШИХ

Синичкин-Железный умер внезапно поздней осенью 1943 года. Он во второй раз заболел воспалением легких, но проболел недолго и, к удивлению, скоро стал поправляться. Правда, он очень ослабел, с трудом держался на ногах, ходил с одышкой, держась рукой за стенку штрека. Но он был необыкновенно бодр и все время чувствовал особенный прилив душевных сил, какое-то веселое, нетерпеливое возбуждение. Оно особенно усилилось после разгрома немцев на Орловско-Курской дуге и освобождения Красной Армией Орла. Теперь уже было ясно, что немцы проиграли войну и что окончательная победа является вопросом времени. Началось изгнание врага из пределов Советского Союза.

Синичкин-Железный не мог уже принимать участие в боевых действиях. Но он ни одной минуты не оставался без дела, принимая самое горячее участие в разработке планов операций. Он подавал советы, он вел журнал боевых действий, куда записывал — подробно и обстоятельно — все решения райкома и донесения об их выполнении; он принимал сводки Совинформбюро, сочинял листовки, все время возился возле несгораемого шкафа, приводя в порядок личные дела, агентурные списки,

проверяя отчетность, и составлял рапортички расхода продуктов питания и боеприпасов.

Часто, с большим трудом добравшись до отдаленной пещеры, где помещалась рация покойного Дружинина, он присаживался на корточки перед фибровым чемоданчиком, надевал наушники и ловил Москву, стараясь услышать очередной салют. Слушать салюты сделалось его потребностью. У него появилось особое чутье, удивительный дар предчувствия салюта. Он угадывал его заранее: вдруг начинал чувствовать нетерпеливое беспокойство; и это беспокойство редко его обманывало.

— Сейчас будет салют,— говорил он и, надев наушники, начинал ловить московскую волну.

Выслушав приказ верховного главнокомандующего, он торопливо пробирался в красный уголок, с тем, чтобы поскорее отметить на карте освобожденные районы. Он отмечал их кусочком древесного угля.

Теперь карта Советского Союза была испещрена множеством кружков, черных извилистых стрел, как бы вылетевших из Москвы на запад и врезавшихся в расположение фашистских армий. Громадные пространства освобожденных областей, густо заштрихованные углем, со всех сторон нависали над линией фронта, образуя полуострова и заливы, каждый день меняющие свои очертания, неуклонно перемещающиеся на запад.

Под этой картой однажды и нашли Синичкина-Железного. Он лежал в луже крови, внезапно хлынувшей из горла, ничком, вытянув белую окостеневшую руку, в которой продолжал держать кусочек угля. Открытые глаза грозно чернели на белом прекрасном лице, и сизые губы просвечивали сквозь поредевшие усы тонкой, горделивой улыбкой.

А скоро в Голованивские леса ушел со своим отрядом Серафим Иванович Туляков.

Черноиваненко провожал его до развилки дорог. Была ночь, оттепель, легкий морозный ветер. Острый ледяной месяц стоял над степью. Яркая голубая звезда висела в темном небе, между месяцем и горизонтом, дрожа и переливаясь, как слеза. Степь еще по-зимнему молчала, по-зимнему лаяли где-то на селе собаки, но уже что-то весеннее чувствовалось в холодном, водянистом запахе тающего снега.

— Стало быть, Серафим Иванович, действуйте,— сказал Черноиваненко, останавливаясь.— Как любит выражаться наш многоуважаемый Леня, Гитлер уже едет с базара.— Черноиваненко прислушался.— И едет довольно-таки быстро.

Со стороны железной дороги слышался шум идущих поездов: один поезд стучал совсем недалеко — видимо, подходил уже к Одессе-порт; другой шумел еле слышно, где-то за горизонтом.

Иногда ветер приносил тревожные свистки маневровых паровозов. Высоко, невидимые в лунном небе, пролетали самолеты, и трудно было понять — немецкие ли это транспортные машины, перебазирующиеся с востока на запад, или советские ночные бомбардировщики, идущие бомбить немецкие тылы.

— Да, теперь уже недолго,— сказал Туляков.

Они пожали друг другу руку.

Кончался кусок жизни, который им суждено было прожить вместе под землей. Два года и три месяца. Много это или мало?

Серафим Иванович снял шапку и обнял Черноиваненко, всматриваясь на прощанье в его лицо. Освещенное поздним месяцем, оно казалось бледным, зеленоватым, сильно постаревшим. Подземная пыль, въевшаяся в морщины под глазами, придавала лицу землистый оттенок, но глаза блестели молодо, оживленно.

В степи несколько раз мигнул свет электрического фонарика.

— Хлопцы мои сигналят. Надо идти.

Туляков поправил под полушубком пояс, надел шапку, в последний раз стиснул руку Черноиваненко.

Прежде чем вернуться в красный уголок, Черноиваненко обошел все свое подземное хозяйство, посветил фонариком в опустевшие пещеры, где еще совсем недавно помещались отряды Тулякова и Дружинина. На каменных нарах стоял закопченный солдатский бачок с остатками каши, валялось несколько ветхих противогазов, разбитая коптилка, деревянная обкусанная ложка — следы недавней жизни. Но на всех этих вещах уже лежал слой пыли, и Черноиваненко с особенной остротой почувствовал, как быстро, в сущности, движется время,

как сильно за последние дни изменилась обстановка. «Да, теперь уже скоро!» — подумал Черноиваненко.

Черноиваненко вспомнил первую новогоднюю ночь в катакомбах, вспомнил Валентину, Святослава, Синичкина-Железного, потом вспомнил Сергея Сергеевича, сержанта Веселовского, Дружинина... Он увидел их так ясно, во всех подробностях, живых, движущихся, разговаривающих... И, может быть, в первый раз он испытал чувство невознаградимой утраты, такую жгучую жалость к этим навсегда ушедшим благородным, сильным, драгоценным людям, которые могли бы еще жить так долго и так прекрасно, что опустился на каменные нары и зарыдал.

53

УДУШЛИВЫЕ ГАЗЫ

В начале марта 1944 года немцы сделали попытку штурмом овладеть катакомбами и одним ударом покончить с подпольным комитетом Черноиваненко.

Огненные языки факелов метались под низкими сводами. Капли горящей смолы падали на шлемы немецких солдат, ворвавшихся в катакомбы.

Черноиваненко и Колесничук, которые в это время находились в штреке, не столько услышали, сколько угадали по странному колебанию почвы, что где-то недалеко произошел взрыв большой силы. Неподвижный воздух, как бы внезапно сжатый, сдвинулся и ударил в уши. Вслед за этим откуда-то со стороны «ежиков» потянул сквозняк. Пламя в фонаре заколебалось.

Они сразу поняли, что немцы взорвали «ежики» и вошли в катакомбы. Такой случай был предусмотрен. Примерно на половине пути между «ежиками» и штаб-квартирой, ближе к «ежикам», в самом узком и низком месте подземного хода, были заложены две сильные мины с автоматическими взрывателями. Стоило лишь зацепить тонкую проволоку, скрытую среди камней и засыпанную пылью, как обрушились бы шаткие своды и на несколько десятков метров завалили бы штрек. Но мины были заложены давно, года полтора назад. Сработают ли они? Может быть, перержавела проволока,

отсырели взрыватели, наконец разложилась самая взрывчатка?.. Черноиваненко и Колесничук бросились вперед по штреку, чтобы осмотреть и в случае необходимости исправить мины. Но немцы могли пустить вперед минеров. В таком случае следовало залечь в самом узком месте подземного хода и поодиночке истребить весь отряд противника, стреляя из темноты. Но они опоздали. Недалеко от заминированного места уже виднелся багровый свет факелов, угрюмо блестели каски и слышались очереди автоматов, из которых немцы палили наугад в темноту. Пули шныряли вокруг, шаркая по стенам и сбивая осколки ракушечника.

Черноиваненко присел за выступом стены, а Колесничук — за большим, недавно обвалившимся камнем.

— Жора, не торопись! — сказал Черноиваненко, надевая очки.— Бей наверняка. Будем давать по очереди.

Колесничук вогнал патрон в ствол. У него была трехлинейка, у Черноиваненко — наган. Патронов немного: у Колесничука — две запасные обоймы, у Черноиваненко — штук десять патронов, кроме тех семи, которые были в барабане.

— Ну, брат, теперь держись!

Черноиваненко поднял наган, поставил его на согнутую руку и не торопясь прицелился в силуэт ползущей собаки, отчетливо видный на фоне факела, опущенного к земле. Он выстрелил. Собака свалилась замертво. Над ней появилась согнутая фигура в глубоком шлеме, почти ползком просунувшаяся сквозь тесный проход. Тогда выстрелил Колесничук, и темная фигура упала на собаку, выронив факел. Выстрелил Черноиваненко, упала еще одна фигура в шлеме. Тотчас над ней появилась следующая.

— Жора, давай! — сказал Черноиваненко сквозь зубы.

Колесничук выстрелил, пуля попала немцу в колено. Раздался отчаянный крик. Уже четыре тела — три человеческих и одно собачье — лежали, забив собой узкий подземный лаз, а факелы продолжали гореть, рассыпая вокруг искры, и пылающая смола поджигала одежду убитых. В узком проходе произошло смятение. Немцы бросились обратно. Но сзади раздался повелительный крик:

— Форвертс!

Растаскивая трупы и стараясь затоптать сапогами горящие факелы, немцы снова пошли вперед. Тяжелый смоляной чад, смешанный с пороховым дымом, удушливым туманом повис в неподвижном, спертом воздухе штрека.

— Фёйер! — закричал тот же повелительный голос.

Глухо застучали автоматы. Пули летели в темноту из тесной дыры лаза, осыпая Черноиваненко и Колесничука осколками камня. Снова появились факелы, шлемы, согнутые фигуры.

— Цум тёйфель! Форвертс! Рус, сдавайся!

— Дождешься! — сказал Черноиваненко, тяжело дыша через нос.— Давай, Жора!

Колесничук выстрелил в коптящие языки опущенных к земле факелов, в кучу солдат, сбившихся в проходе.

В этот миг кто-то зацепил проволоку, и мины внезапно сработали.

Стены зашатались, рванулся воздух, своды поползли и медленно, всей своей непомерной тяжестью, раздавили немцев. Наступила полная тьма, мертвая тишина. И в этой мертвой подземной тишине только слышался шорох оседающей почвы и струящегося по стенам песка.

Полузасыпанные землей, оглушенные взрывом, Колесничук и Черноиваненко некоторое время молча лежали в кромешной тьме.

— Черноиваненко, ты где? — наконец раздался глухой голос Колесничука.— Жив?

— А ты?

— Принимаю солнечные ванны,— после некоторого молчания с одышкой сказал Колесничук, отплевываясь от пыли, набившейся в рот.

— Фонарь у тебя?

— Давай освещение.

— Нема серникив.

— Тьфу!

Черноиваненко выбрался из осыпавшейся земли, повозился, подул и щелкнул зажигалкой. Это была знаменитая зажигалка, перешедшая к Черноиваненко от покойного Синичкина-Железного, которую он сконструировал и сделал собственными руками перед самой своей смертью, когда ему уже трудно было вставать и

бóльшую часть времени он принужден был лежать на своей каменной койке. Его громадные черные руки не могли оставаться без работы, и он сделал из медной гильзы мелкокалиберной противовоздушной пушки громадную зажигалку, вместимостью в триста граммов бензина. Это была одновременно и зажигалка и светильник, рассчитанный на несколько часов горения,— вещь грубая, неуклюжая, но незаменимая для катакомб.

При ее дымном пламени осмотрелись. В той стороне, откуда наступали немцы, штрек круто упирался в глухую стену, образовавшуюся вследствие обвала. Раньше был ход, теперь — тупик. И никаких человеческих следов. Земля бесследно поглотила взвод немцев вместе со всеми их собаками, автоматами, факелами, касками.

Вдруг Черноиваненко посмотрел вверх и отшатнулся. Над самой их головой висела точно такая же глыба. Она медленно, заметно для глаза, оседала. Не успели они отбежать, как глыба треснула пополам и упала на то самое место, где они только что стояли. Земля вокруг них как-то глухо охнула, и туча сухой, мертвой подземной пыли заволокла штрек.

— Ого! — сказал Колесничук.— Сильно!

Черноиваненко снова зажег зажигалку, которую потушил ударивший воздух, и с опаской посмотрел вверх. Но теперь низкий свод штрека прочно опирался на стены. Они были в безопасности.

Во время обвала Черноиваненко потерял очки и теперь стал их искать, но нашел лишь пустую сломанную оправу. Он протер покрасневшие глаза рукавом и вдруг улыбнулся, озорно, по-мальчишески подмигнув Колесничуку:

— Ну, Жора, как тебе нравится?

— Интересная картинка,— сказал Колесничук, вытаскивая из-за ворота комья земли и осколки битого ракушечника.

— Интересная, а главное — поучительная,— ответил Черноиваненко.— Советская земля знает, как поступать с захватчиками!

Они прошли половину расстояния до штаб-квартиры и вдруг увидели Петю, бегущего им навстречу. Он разма-

хивал фонарем, часто прикладывал к лицу какую-то тряпку и, задыхаясь, кричал:

— Газы!

— Где газы? Какие газы?

— Они пустили удушливые газы. Мы ничего не знали, и вдруг они стали пускать через усатовский колодец фосген. Батя знает. Батя говорит, что это фосген. Надевайте противогазы!

Когда они прибежали в штаб-квартиру, Бачей и Леонид Цимбал, в противогазах, с фонарями в руках и с ящиками тола под мышкой, уже собирались идти к ходу «колодец», через который немцы только что действительно начали пускать газ.

К счастью, в этом месте уровень подземных ходов был очень низок, и фосген, тяжелый, как вода, наполнив шахту колодца, еще не успел распространиться дальше по подземным коридорам и дойти до красного уголка. Но, как только колодец переполнится, удушливый газ потечет по штрекам и убьет все живое: давно не проверявшиеся противогазы не помогут.

Петр Васнльевич во время первой мировой войны пережил уже однажды немецкую газовую атаку и лучше всех понимал опасность. Надо было во что бы то ни стало прекратить доступ газов в катакомбы. Это можно было сделать лишь одним способом — взорвать и завалить колодец, через который немцы пускали струю фосгена.

Сначала в подземном коридоре, по которому Цимбал и Бачей шли к колодцу, никаких следов газа не замечалось. Но едва они сняли противогазы, чтобы легче работать, как Петр Васильевич сразу же почувствовал слабый, но явственный запах гниющей зелени. Этот запах, который Петр Васильевич мог безошибочно узнать из тысячи других, вдруг усилился, стал тошнотворно чесночным, отвратительным, непереносимым.

Петра Васильевича и Леню чуть не вырвало. Голова закружилась. Они опять поспешно натянули противогазы. Что-то текучее и белое, как пролитое молоко, уже доходило до щиколоток. Это фосген переполнил шахту колодца и теперь медленно разливался по штрекам.

Они прибавили шагу. Они тяжело дышали в своих

противогазах. Респираторы хрипели. Пот покрывал лицо и голову в жаркой резине. Скоро ползущая молочно-белая масса дошла уже до колен. Впереди при тусклом свете «летучей мыши» они увидели колеблющуюся стену тумана.

Запах фосгена чувствовался даже через противогаз. Дышать становилось все труднее и труднее. Кашель раздирал грудь. В висках стучало. Леонид Цимбал остановился и взялся за голову, как бы желая сорвать с себя противогаз. Петр Васильевич успел вовремя схватить его за руку.

Они снова бросились вперед, в ядовитый туман, который уже покрывал их с головой. Они добрались до шахты колодца и, поспешно заложив мины, привязали к ним шпагат. Затем отползли назад, насколько позволяла длина шпагата, припали к отравленной земле и взорвали тол. Глыбы земли обрушились в ствол колодца. Приток газа прекратился. Но в штреке его еще оставалось довольно много. Они с громадным трудом выбрались из зараженного пространства и вернулись в штаб-квартиру: сорвали с себя противогазы, опустились на землю и в бессилии раскинули руки. Лица их покрывал холодный, липкий пот. Мучительно сухой кашель раздирал грудь. На почерневших губах дрожала розовая пена.

Они медленно приходили в себя, жадно глотая затхлый воздух подземелья, который теперь казался им целебнее чистейшего кислорода.

Петя сидел на корточках перед отцом и вытирал ему лоб мокрой тряпкой. Он с ужасом и нестерпимой жалостью смотрел на его измученное, как бы окаменевшее лицо.

— Папа, папочка...— бормотал он сквозь слезы и тормошил Петра Васильевича за плечи.— Папа, не надо... Батя, ну что же ты, дыши!..— Ему казалось, что отец умирает.— Дыши же!

Черноиваненко достал бутылку спирта. Он заставил Леню и Петра Васильевича выпить по четверти кружки. Наконец они очнулись. Бачей с усилием встал на ноги.

— Ну, вот и готово,— сказал он со слабой улыбкой.

Леня Цимбал открыл глаза, но не встал, а лишь искоса посмотрел на Черноиваненко с выражением пре-

увеличенного страдания. Черноиваненко сразу заметил в его зрачках маленькие лукавые искры.

— Вставай,— сказал он сухо.— Ничего больше не будет.

— Не можу,— жалобно ответил Леня.— Еще треба несколько капель лекарства. Мировое средство!

Черноиваненко строго погрозил ему пальцем, но все же, подумав, налил еще четверть кружки и поднес к его запекшимся губам.

— И хватит лечиться. Аптека закрывается на ремонт,— буркнул он, закрывая бутылку пробкой.

Леня выпил, крякнул и встал.

Колесничук, посланный разведать, как обстоит с ходом «степным», вернулся часа через полтора и принес известия, что ход «степной» завален снаружи камнями и наглухо забетонирован. Очевидно, немцы закупорили также все остальные щели и выходы. Таким образом, Черноиваненко оказался отрезанным от всего мира, с ограниченным запасом продовольствия, без воды.

Время от времени сверху слышался глухой стук, словно кто-то бил в землю железным кулаком. Иногда эти удары были так сильны, что явственно ощущалось колебание почвы. Не было сомнения, что, совершенно обезумев, немцы начали бомбить с воздуха район Усатовских катакомб, рассчитывая завалить штреки и уничтожить всех, кто находился под землей.

Во многих местах подземные ходы залегали на глубине до сорока метров, но недавно растаял снег, почва была насыщена водой, и это грозило обвалами.

54

ОБВАЛ

Черноиваненко принял единственно возможное решение — покинуть штаб-квартиру, в которой они прожили свыше двух лет, уйти по неразведанным подземным ходам в другое, более безопасное место и найти новые выходы наверх. Как ни жалко было Черноиваненко оставлять старое, насиженное место, как ни опасно было с очень небольшими запасами горючего, продо-

вольствия и боеприпасов отправляться в подземную экспедицию, все же это был единственный выход из положения.

Горючее и продовольствие разделили поровну, и каждый взял свою часть. Это было сделано на случай, если кто-нибудь оторвется от группы и затеряется, что вполне могло случиться, принимая во внимание частые обвалы. Черноиваненко обмотал вокруг туловища полотенце с зашитыми партийными билетами, шифрами, явками, списками людей и прочими наиболее важными документами, остальное менее важное, он оставил в несгораемом шкафу. Каждый взял лопату или лом, а также винтовку или пистолет. Фонарей взяли три штуки — по «летучей мыши» на двоих, да зажигалка Синичкина-Железного, находившаяся у Черноиваненко.

Каждый взял в руку по костылику, и, не теряя времени, они вышли из красного уголка.

Сначала один за другим они прошли по главному штреку со стенами, испещренными их «позывными». Затем свернули в громадную низкую пещеру, где они одно время практиковались в стрельбе,— там и до сих пор стояли полузасыпанные песком и пылью каменные мишени со следами пуль и валялись железные почерневшие стреляные гильзы. Тесный ход вывел их из тира в небольшую пещеру, где был похоронен Синичкин-Железный. Они на минуту остановились возле самодельной ракушечниковой плиты с изображением серпа и молота и пятиконечной звезды, грубо вырезанных солдатским тесаком на мягком камне. Под ними прямыми буквами было вырезано:

«Здесь похоронен верный сын Родины, несгибаемый ленинец, член КП(б)У с 1908 года Николай Васильевич Синичкин (Железный), жизнь свою отдавший за власть Советов».

На камне лежал круглый веночек с узенькими лентами, оторванными от простыни, на которых химическим карандашом было написано:

«От подпольного райкома Пригородного района г. Одессы».

Могила Синичкина-Железного была прямая, длинная, каменная, суровая, как и он сам, ничем не украшенная, кроме этого маленького венка из бессмертни-

ков, сорванных на Усатовском кладбище, и выгоревшего самодельного светильника с почерневшей трубочкой, забытого на могиле после похорон.

Они некоторое время постояли перед могилой, сняв шапки.

Но время не ждало. Они вышли из пещеры и добрались до места, где подземный ход раздваивался. До сих пор шли по путям, хорошо разведанным. Дальше начиналось неизвестное.

Немного подумав, Черноиваненко сказал:

— Налево.

Левый ход показался ему немного просторнее. И они один за другим медленно пошли, опираясь на свои короткие костылики, налево. Впереди с зажигалкой Синичкина-Железного — Черноиваненко. За ним — Перепелицкая с «летучей мышью». За Перепелицкой — Бачей. За ним — Петя с фибровым чемоданчиком. За Петей — Леонид Цимбал с фонарем. За ним — Раиса Львовна. А за Раисой Львовной, опять с фонарем,— Колесничук в качестве замыкающего.

Черноиваненко приказал держать между людьми дистанцию не менее пяти метров. Они шли редкой цепочкой; фонари с фитилями, сильно прикрученными ради экономии керосина, горели совсем тускло, еле освещая стены, покрытые старинной пылью. Затхлый воздух был сыр и душен. Кое-где по стенам сочилась вода и слегка блестели известковые налеты.

Все шли в тягостном, напряженном молчании. Тогда, откашлявшись, Черноиваненко затянул глуховатым, но уверенным баском:

Нам вера надежду рождает,
Нам вера и бодрость дает...

Что же вы, черти, не подтягиваете? Размагнитились? А ну-ка, взялись! Взялись разом, взялись дружно!

Нам вера иадежду рождает,
Нам вера и бодрость дает...

Теперь уже пели все. Пели негромко, глухо, но уверенно, даже одушевленно, особенно когда дошли до любимого места:

Кто верит — всегда побеждает,
Позиций своих не сдает.

Вдруг Черноиваненко остановился, нагнулся.

— Стоп! — сказал он и стал водить перед собой зажигалкой.

Ход настолько сузился, что дальше можно было пробираться только ползком.

— Дай-ка, Мотечка, фонарь! Полезу посмотрю, что там делается впереди. В случае чего будете меня вытаскивать за ноги.

Черноиваненко, кряхтя, стал на четвереньки и полез в дыру. Потом его ноги вытянулись — стало быть, он лег на живот и пополз, толкая перед собой «летучую мышь». Он вернулся минут через десять, весь с ног до головы покрытый пылью, но смотрел весело.

— Там дальше большая пещера и шикарный штрек,— сказал он, отдышавшись.— Он нас куда-нибудь да выведет. Кажется, мы все же выкрутимся, многоуважаемые товарищи! Десять — двенадцать метров надо ползти на животе. В одном месте потолок еле держится. Ползите осторожно, ни в коем случае не задевая стен. Дистанция между людьми — восемь метров. За мной!

Он снова полез в дыру и скрылся. Следом за ним, выждав небольшую паузу, полезла Матрена Терентьевна, придерживая одной рукой юбку. Затем двинулся Петр Васильевич и скрылся в дыре.

Наступила очередь Пети.

— Ползти по-пластунски, на локтях,— строго сказал Леонид Цимбал.— И не шаркай плечами по стенам, а то сделаешь нам компот. Сумеешь?

Петя, который уже начал на четвереньках вползать в дыру, обернулся и посмотрел на Леню Цимбала сердитыми глазами. Его раздражало, что его до сих пор считают маленьким. Он лег на живот и, упираясь локтями в жесткую землю, пополз дальше, толкая перед собой фибровый чемоданчик.

Послышался шорох оседающей почвы, как бы глухой подземный вздох. Леня Цимбал выждал некоторое время и уже собирался в свою очередь лезть в дыру, как вдруг оттуда высунулись Петины ноги, а затем появился и сам Петя с лицом, черным от пыли, и белыми, испуганными глазами.

— Невозможно...— С трудом выговорил мальчик, переводя дух.— Невозможно дальше ползти.

— Почему?

— Не знаю. Дальше нет хода. Сыплется земля. Рацию завалило...

— Как — нет хода? — сказал Леня Цимбал встревоженно.— Почему нет хода? Должен быть. Эх ты, вице-президент!..

— Я полз, полз — и вдруг стена. Обвал.

— Обвал? Ты смеешься! — закричал Леня.— А ну, пусти, дай я!

Он отстранил Петю и быстро полез в дыру, но скоро вернулся и сказал:

— Завалилось.

Он схватил лопату, фонарь и снова пополз в дыру. Через некоторое время выполз назад с известием, что в самом узком месте ход завалило упавшей каменной глыбой.

Они стояли четверо — Леня Цимбал, Петя, Раиса Львовна и Колесничук — в нерешительности и не знали, что же дальше делать: пробиваться вперед через упавшую скалу или повернуть назад и искать другой ход?

Для того чтобы пробиться вперед, надо было проделать в упавшей скале щель или, в крайнем случае, открыть новый ход вокруг скалы. На это потребовалось бы несколько дней, а горючего оставалось всего на сутки, не больше, и то при строжайшей экономии. Воды не было ни капли.

— Если они там не попали под обвал,— медленно, обдумывая каждое слово, проговорил Леня,— то я считаю их положение лучше нашего. Они скорее выберутся на свет божий, чем мы...— Он несколько помолчал.— Ну, а если...

Петя, перестав дышать, смотрел на Леню Цимбала, желая прочесть на его лице всю правду.

— А если что? — с трудом проговорил он.

— «Если», «если»! — сердито сказал Леонид Цимбал, резкими рывками поправляя на себе пояс.— Что мы будем гадать на ромашке: «Любит, не любит»... Если...— Его глаза мрачно сузились.— Если «если», тогда прощай Родина! — почти грубо сказал он с той солдатской прямотой, на которую имеет право лишь человек, каждую минуту сам рискующий жизнью и настолько уже привыкший к мысли о смерти, что может говорить о ней

просто, почти бессердечно.- И, заметив, что по лицу Пети и Раисы Львовны пробежала тень смятения, он твердым, командирским тоном прибавил: — За начальника — я. Слушать мою команду! Кто имеется налицо? Леонид Цимбал,— назвал он свою фамилию и сам тотчас ответил: — Здесь! Колесничук Георгий?

— Здесь! — сказал Колесничук.

— Колесничук Раиса?

— Здесь!

— Пионер Бачей?

— Здесь!

— Стало быть, весь отряд — четыре человека.

Леонид Цимбал сделал несколько шагов туда и назад по штреку, опустив голову, как в подобных случаях делал Черноиваненко, и наконец остановился.

Куда девалась вся его веселость, его озорная, лукавая улыбка! Теперь он был с ног до головы командиром — строгим, подтянутым, с твердо сдвинутыми бровями.

— Товарищи! — сказал он отрывисто.— Боевая обстановка требует от нас выдержки и быстроты. Приказываю отступить до развилки: попробуем поискать выхода через правый штрек. Порядок движения — по одному, с интервалом пять метров. Впереди — я с фонарем, за мной — пионер Бачей, за пионером Бачей — Колесничук Раиса; замыкающий — Колесничук Георгий с фонарем.

Он обвел свой отряд медленным, острым взглядом, как бы желая проникнуть в самую глубину души каждого своего бойца:

— Всем понятно?

— Так точно! — ответил за всех Колесничук Георгий.

— Вперед! — скомандовал Леонид Цимбал.

Тусклые огоньки один за другим медленно двинулись назад по темному штреку.

— Дядя Леня, свет!

— Опять ты видишь какой-то свет?

— Не какой-то, а настоящий свет.

— Где?

— Впереди.

— Это твоя фантазия.

— Честное пионерское!

— Не вижу никакого света. Ты устал. Сядь отдохни. Тебе показалось.

— Не показалось, а свет! — упрямо повторил Петя.— Настоящий дневной свет. Неужели вы не видите?

Леонид Цимбал нехотя поднял фонарь и стал всматриваться в темноту:

— Не замечаю.

— Вам мешает фонарь. Потушите, тогда увидите.

Несколько суток они блуждали по катакомбам без пищи и воды, вконец обессилев, еле передвигая ноги. Огонь горел только в одном фонаре. Его фитиль был прикручен до предела. Крохотный язычок пламени почти совсем не давал света: в фонаре оставалось всего несколько капель керосина.

Раза три уже Петя поднимал ложную тревогу: ему казалось, что он видит впереди дневной свет. Он почти помешался на дневном свете. То и дело он бормотал, что видит впереди дневной свет и слышит шум бегущей воды. Он обманывал и самого себя и других, возбуждая напрасные надежды. Но на этот раз его голос прозвучал как-то совсем по-новому, очень убедительно.

— Вы увидите, вы увидите! — возбужденно говорил Петя.— Вы непременно увидите, только потушите фонарь... Тетя Рая, дядя Жора, честное пионерское, честное под салютом, что хотите...— быстро говорил он, впадая в свой прежний, детский тон и нетерпеливо дергая головой.— Смотрите туда! Там свет. Там щель. Я слышу, как там шумит вода. Только надо потушить фонарь

Они думали, что он, вероятно, опять обманулся. Но им так хотелось обмануться самим!

— На самом деле, Цимбал, потуши фонарь,— сказал Колесничук. — Может быть, мальчик действительно что-нибудь видит.

Леонид Цимбал потушил «летучую мышь», и их со всех сторон охватила непроницаемая тьма. И вдруг среди этой черноты они увидели какой-то слабый проблеск — бледное отражение дневного света, покрывавшее выступы стен неуловимым зеленовато-пепельным налетом.

— Дневной свет, дневной свет! — закричал Петя.— Теперь вы видите — дневной свет!

— Спокойно! — сказал Леонид Цимбал, с трудом владея своим сразу как-то осевшим голосом.— Не сходите с места. Ложись! Приготовьте гранаты.

Они легли. До этой минуты они жили только одним страстным желанием — вырваться из подземелья, увидеть дневной свет и напиться. Теперь же, когда это было близко к осуществлению, они вспомнили, что окружены врагами, которые их сторожат повсюду и при первом же их появлении наверху немедленно уничтожат.

Впереди брезжил пепельный дневной свет. Недалеко был выход. Но где находится выход? Куда они попадут?.. Они потеряли всякое, даже самое приблизительное представление о том, в какую сторону они шли, как далеко зашли и в каком месте теперь очутились. Они могли оказаться и непосредственно под самым городом, и в районе Большого Фонтана, и где-нибудь далеко в степи, по направлению к станции Дачная. И всюду их могли караулить враги.

Сделав рукой знак, чтобы было тихо, Леонид Цимбал медленно, осторожно двинулся вперед, к источнику дневного света. Но, по мере того как он приближался, дневной свет усиливался. Наконец он стал белым, как тальк, запорошивший неровные земляные стены и пол, круто поднимающийся вверх. Цимбал остановился перед выступом поворота и прислушался. Он ясно услышал сильный, свежий шум воды, смешанный с каким-то другим, как будто механическим шумом, природу которого трудно было разгадать.

Подняв на уровень плеча пистолет, Леня Цимбал выглянул из-за поворота. Он увидел узкую вертикальную щель, изломанную, как молния, и, как молния, ослепившую его до боли резким дневным светом. Задержав дыхание, он переждал, пока его глаза привыкли к свету, и приблизился к щели. Она была достаточна широка, чтобы пролезть в нее боком. Он высунулся наружу и неожиданно увидел громадный зеленый танк с красной звездой и длинной пушкой с решетчатым утолщением пламегасителя, которая казалась наведенной прямо на него. Танк стоял так близко, что Леня даже отшатнулся.

И в первый миг он ничего не мог сообразить. И вдруг понял все: это был советский танк, только незнакомой ему, новой конструкции. Это были свои! Это была Крас-

ная Армия. Танк стоял на узком берегу лимана, под глиняным обрывом, и Леня Цимбал смотрел на него сверху из трещины, которая образовалась в одной из крутых промоин этого обрыва. Немного подальше стоял еще один танк, за ним — еще один, еще и еще. Вокруг танков ходили солдаты в синих, дочерна промасленных комбинезонах, в черных шлемах, в погонах с желтыми нашивками — в тех самых погонах, о которых Леня уже слышал по радио, но которых еще ни разу не видел собственными глазами. Солдаты были с орденами и медалями на левой и на правой стороне груди, с еще незнакомыми ему гвардейскими значками, родные советские солдаты, но только какого-то нового, еще невиданного образца — воины, овеянные славой Сталинграда, Орла, Курска, Киева, Смоленска, победители немецкой армии, считавшейся до сих пор непобедимой. А шум воды, который еще из катакомб услышал Леонид Цимбал, был шумом весенних ручьев, бурно и пенисто бегущих по обрывам и покрывающих тяжелую воду лимана серой дрожащей пеной. И шум этих ручьев сливался с шумом штурмовиков, которые развернутым фронтом, по десять штук, волна за волной, проносились над лиманом, над обрывами так низко, что казалось — вот-вот заденут за прошлогодний репейник, и тотчас скрывались из глаз в направлении Одессы, откуда доносились раскаты боя.

— Товарищи, выходи! Свои! — крикнул Леня Цимбал.

Он сорвал фуражку, замахал ею над головой и гигантскими шагами побежал вниз с крутого обрыва. Его ноги скользили, разъезжались. Он с размаху садился, ехал, вскакивал и снова бежал вниз, мелькая пудовыми комьями глины, налипшей на сапоги.

Ближе всех к нему оказался танкист, ефрейтор, который сидел на корточках возле пенистого ручья и набирал воду в самодельное ведро, сделанное из большой консервной жестянки с крупными печатными буквами: «Свиная тушенка».

Леня Цимбал одним махом перелетел через ручей, схватил ошеломленного ефрейтора под мышки, поднял на воздух и стал жадно целовать его широкое потное лицо с небольшими оспинками вокруг махонького, детского носика.

— Ты кто? Ты что? Ты почему? — бормотал ефрейтор, с ужасом глядя на этого черного от подземной пыли, неизвестно откуда взявшегося человека, страшного как черт.

А Леонид Цимбал продолжал его тискать, целовать и на весу крутить во все стороны, время от временн выкрикивая бессвязно:

— Братишка! Живем! Танкист! Русский! Родной!

Не понимая, что происходит, ефрейтор вдруг не на шутку озлился.

— Пусти, сатана! — свирепо крикнул он тонким голосом и налился густой краской.

Упершись в подбородок Лени толстыми ладонями, он так рванулся, что они оба чуть не упали в ручей. Но к ним уже бежали другие танкисты. Они видели, как Леня Цимбал выскочил из трещины — черный, оборванный, с фонарем «летучая мышь» в руке — и сразу поняли, кто это такой. Не прошло двух минут, как Леня Цимбал, ошалевший от счастья, с пыльными, разлетающимися волосами, переходил из рук в руки, обнимаясь крест-накрест, целуясь и хохоча до слез, будто его щекотали.

А из щели, подбирая юбку, уже вылезала Раиса Львовна, а за ней — Петя и Колесничук, с винтовками, фонарями, вещевыми мешками, ломами и лопатами. Роняя оружие и вещи, они бежали вниз с обрыва, падали, садились, съезжали, прыгали в ручей и, по колено в пенистой воде, бросались к танкам, попадая в крепкие руки и прижимаясь к комбинезонам, от которых крепко, густо и необыкновенно приятно, как-то особенно надежно пахло отработанным маслом, русским бензином, тавотом.

Они ложились на берег ручья, окунали лица в бурливую воду и пили, и снова бросались целоваться с танкистами, и снова пили, и умывались, и плакали, и опять пили, пили эту сладкую, ледяную воду, от которой, как от мороженого, ломило лоб.

55
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАГРАДА

Петя так часто думал об этом лимане. Сколько раз он представлял себе заброшенный колодец, куда он спрятал флаг, полученный от умирающего моряка! Теперь, когда в сопровождении двух автоматчиков комендантского взвода он переправлялся на резиновой лодке через лиман, ему казалось, будто он видит хорошо знакомые места.

Был светлый вечер. Только что закатилось солнце. Апрельская заря, огнистая, свежая, медленно догорающая над черными обрывами лимана, за далекими степными курганами, широко отражалась в гладкой воде. Вокруг на громадном пространстве шел бой. Воздух и вода поминутно вздрагивали. Черные, бурые, сивые облака взрывов вспухали и опадали по всей линии западного горизонта. В степи слышался шум танков. Всюду происходило почти незаметное для глаз, обманчивое своей мнимой медлительностью движение войсковых соединений.

Земной шар стремительно вращается вокруг своей оси. Солнце летит со скоростью, непостижимой для человеческого ума. И все же мы говорим, что солнце стоит на небе, что оно медленно склоняется к горизонту.

Все вокруг Пети совершалось стремительно и вместе с тем все как бы неподвижно стояло на месте. Неподвижно стояли посреди лимана резиновые лодки, в которых переправлялись с одного берега на другой минометные расчеты. Неподвижно висели высоко над головой черные гроздья зенитных разрывов вокруг неподвижно повисшего немецкого корректировщика. Неподвижно лежали, зарывшись в землю, стрелковые цепи. Даже слитный гул артиллерийской пальбы казался неподвижным. Можно было подумать, что само время остановилось над всем этим громадным пространством, где неподвижно разворачивалось стремительное наступление советских войск на Одессу.

Петя и автоматчики пересекли Хаджибеевский лиман и пристали к противоположному берегу. Они взобрались по обрыву. Перед ними была степь, по всем направлениям изрезанная старыми и новыми траншеями, ходами

сообщения, щелями, минометными и артиллерийскими позициями. Война дважды прошла по этому небольшому пространству между двумя лиманами и оставила здесь свои страшные следы: первый раз — два с половиной года назад, когда немцы и румыны осаждали Одессу; второй раз — совсем недавно, несколько часов назад, когда Красная Армия обрушилась на немецкую оборону и прорвала ее.

На карте, которую взяли с собой автоматчики, было помечено несколько старых, заброшенных колодцев, превращенных немцами в пулеметные гнезда. Солдаты быстро ориентировали карту на местности и прямо направились к ближайшему колодцу.

— Этот колодец, что ли? — спросил старший из автоматчиков, сержант, с двумя медалями и новеньким, еще ни разу до сих пор не виданным Петей лучистым орденом Отечественной войны первой степени.

— Этот,— неуверенно сказал Петя.

— А вот мы сейчас посмотрим. Ты где схоронил знамя?

— Между камнями.

— Внутри, снаружи?

— Снаружи.

— С какой стороны?

Петя замялся:

— Н...не помню.

— Не помнишь...— неодобрительно, как показалось Пете, заметил старший автоматчик.

— Была ночь... темно...— сказал Петя.— Два с половиной года назад...

— Два с половиной года назад...— еще более неодобрительно проворчал сержант.— Теперь, брат, совсем другой табак,— прибавил он с жесткой улыбкой.— Теперь совсем иначе воюем... Давай-ка, Му́стафа, пошарим.

Солдат Мустафа, рядовой, с лицом широким и плоским, словно вылепленным из хорошо обожженной красной глины, с узким воротником гимнастерки, который еле-еле застегивался на толстой, красной шее, обошел вокруг колодца. Колодец был засыпан землей, часть вынутых камней образовывала род амбразуры, откуда торчал ствол исковерканного немецкого пулемета. Два мертвых немца валялись у колодца. Сквозь дырявое сукно

шинелей прорастала слабая, желтоватая весенняя трава. Один лежал задом вверх, приложившись черной щекой к земле; другой, раскинув ноги и уронив набок голову с начисто уничтоженным лицом, полусидел в большой темной луже, упираясь спиной в кладку колодца.

— Убери! — сказал сержант.

Мустафа взял труп за ноги и оттащил его в сторону, как тачку. Под ним была черная земля, на которой ничего не росло и лишь копошились какие-то белые личинки. Петя, почувствовав тошноту, отвернулся.

— Ничего,— сказал сержант миролюбиво.— Он теперь вежливый... Давай ищи!

Петя на цыпочках обошел колодец, стараясь не наступить на темные лужи.

От земли пахло весенним дождем, пороховым газом и еще чем-то душным, железистым. Петя попробовал сдвинуть несколько камней, но они не поддавались.

— Ты где клал — внутри или снаружи?

— Снаружи,— сказал Петя, стараясь не смотреть на немцев.

— А может быть, внутри?

— Нет, снаружи. Я хорошо помню. Наверное снаружи.

— Наверное или точно?

— Точно.

— Ну, раз точно, то будем искать.

Они стали пробовать каждый камень в отдельности. Вдруг один камень подался и легко сдвинулся. Петя засунул руку в щель. Он нащупал край смятой, слежавшейся материи, потянул и вытащил флаг.

Пропитанный сыростью, весь в темных потеках, местами истлевший, он показался мальчику слишком тяжелым, как будто бы на нем лежал груз этих страшных, кровавых годов.

Петя положил его на сырую траву и развернул: белое, пожелтевшее от времени поле, вылинявшая голубая полоса, красная звезда, ржавые следы крови.

Петя и два автоматчика стояли над ним, как над телом героя.

Когда они вернулись на резиновой лодке обратно, танков уже на берегу не было. Они ушли в бой — брать Одессу.

Под обрывом находился штаб танкового корпуса — несколько палаток, закиданных сверху прошлогодним бурьяном, старыми еловыми ветками, привезенными с севера, и новой, еще совсем зеленой травой, три вездехода, нагруженных оружием и вещевыми мешками, и две крытые пятитонки, оборудованные как вагоны: одна — штабная, другая — рация.

Командир корпуса, поставив ногу в простом солдатском сапоге на ступеньку вагона-рации и крепко упершись локтем забинтованной руки в колено, быстро пробегал глазами желтые листки расшифрованных радиограмм, которые одну за другой подавала ему из вагона девушка-радистка с волнистой прядью блестящих каштановых кудрей, каждую минуту падавшей на лицо, в новенькой летней пилотке, щегольски сдвинутой набекрень. На командире корпуса был мешковатый габардиновый комбинезон с большими карманами и застежкой «молния» и летняя защитная фуражка с круглой генеральской кокардой — мятая, лихо сдвинутая на затылок.

По-видимому, в шифровках заключалось что-то весьма неприятное, так как генерал часто, сердито дышал носом, как еж, и двигал сизой щеточкой аккуратно подбритых усов.

— Товарищ гвардии генерал-майор, разрешите доложить,— сказал сержант-автоматчик, выступая вперед.

— Ну? — сердито сказал генерал, не оборачиваясь.

— По вашему приказанию переправлялись на ту сторону лимана, только что вернулись. Заявление мальчика полностью подтвердилось, там действительно на квадрате «шестнадцать — сорок пять» в степном колодце обнаружен флаг корабля Военно-Морского Флота. Вот этот самый паренек из подземного партизанского отряда, пионер Петя.

Генерал с живостью обернулся. Его лицо сразу разгладилось, глаза засветились любопытством:

— Ну-ка, ну-ка, давай его сюда! Где он, пионер Петя? Этот?

Петя стоял неподвижно и прижимал к груди флаг, испытывая странную робость в присутствии генерала. Мустафа, стоявший рядом по стойке «смирно», тихонько толкнул его локтем:

— Иди, генерал зовет.

Петя сделал несколько шагов и остановился.

— Этот? — спросил генерал, разглядывая мальчика.

— Так точно, товарищ гвардии генерал-майор! — сказал сержант.

У Пети перехватило дыхание.

— Ну, здравствуй, пионер Петя,— сказал генерал и протянул ему небольшую смуглую руку, но не правую, а левую, так как правая была забинтована.

— Здравия желаю, товарищ гвардии генерал-майор! — четко произнес Петя, с особым удовольствием отчеканивая новое для него, чрезвычайно мужественное слово «гвардии», и подал свернутый флаг, на котором лежали комсомольский билет и предсмертная записка краснофлотца Лаврова.

Генерал медленно начал читать записку, и так как уже стало довольно темно, то неслышно появившийся за его спиной адъютант светил ему электрическим фонариком. Генерал прочел записку, сложил ее и с величайшей тщательностью опустил глубоко в нагрудный карман комбинезона, заколов его английской булавкой. Затем он взял из рук Пети флаг, медленно его развернул и склонился над ним.

Можно было подумать, что он плачет. Вдруг он резко выпрямился и крикнул:

— Смир-рно! Равнение на флаг!

Он мог бы и не подавать этой команды. Все солдаты и офицеры, которые в это время оказались вблизи рации, давно уже стояли навытяжку, не сводя глаз с полотнища флага, освещенного фонариком адъютанта.

Тогда генерал порывисто опустился на одно колено и прижал полотнище к губам.

Воздух туго ходил и содрогался от артиллерийской канонады. Где-то далеко мелкой дрожью трясся в темноте двигатель полевой походной электростанции. Огневые отражения выстрелов и разрывов перебегали по тучам. Над западным горизонтом висели люстры осветительных бомб, трассирующие пули рисовали пунктиром контуры длинных арок и каких-то грозных, уходящих в темное небо сводов. То и дело над степью зажигались разноцветные ракеты. Слышался шум ночных бомбардировщиков. Иногда все вокруг озарялось беглым светом разорвавшегося невдалеке снаряда, и, как порванные

струны, пели над обрывом осколки. И Пете казалось, что это сама родная советская земля приветствует громом и светом подвиг краснофлотца Лаврова.

Генерал встал с колена, бережно свернул флаг и отдал его адъютанту. Затем он протянул руку и взял Петю за плечо. Мальчик готов был уже броситься к нему на грудь, прижаться к его комбинезону, но генерал продолжал его держать на расстоянии твердо вытянутой руки.

— Подожди,— сказал он.— Лейтенант!..

Но адъютант уже понял. Он сбегал в штабной вагон и вернулся с несгораемой шкатулкой. Он ее отомкнул и посветил внутрь электрическим фонариком. Там блеснули медали. Он выбрал медаль «За боевые заслуги» — крупную, серебряную, на серой ленточке — и с почтительной улыбкой протянул генералу.

— Наденьте на грудь пионера,— сказал генерал.

— Есть, товарищ гвардии генерал-майор! — весело ответил адъютант и, разогнув тугую булавку, пришпилил медаль к старому, рваному полушубку Пети, черному от подземной пыли.

— Фамилия? — коротко спросил генерал, все еще продолжая держать мальчика за плечо на расстоянии вытянутой руки.

— Бачей, товарищ гвардии генерал-майор,— ответил Петя, чувствуя, что не может отвести глаз от медали, которая висела у него на груди.

— Поздравляю с высокой правительственной наградой! — крикнул генерал.

Все спуталось в голове у Пети — слова воинской присяги, пионерский ответ на приветствие, и он, как ему показалось, лихо выкрикнул, а на самом деле пролепетал:

— Товарищ гвардии... Всегда готов служить Советскому Союзу... Большое спасибо... Я оправдаю...

— Славному пионеру боевое гвардейское ура! — еще громче крикнул генерал, вытянулся и приложил руку к козырьку своей помятой, лихо пришлепнутой на затылок фуражки.

И лишь после того, как вокруг грянуло короткое гвардейское «ура», генерал притянул к себе Петю, вытер ему рукавом комбинезона вспотевшее, черное от подземной

пыли лицо и трижды поцеловал в щеки — два раза в одну и раз в другую, но подумал и поцеловал, чтобы сравнять счет, четвертый раз в обиженную щеку. К своему крайнему удивлению, Петя заметил, что от генерала очень приятно пахнет одеколоном. Он даже узнал этот забытый запах «Красной Москвы», которым так любила душиться мама.

— Разрешите быть свободным? — сказал сержант-автоматчик.

— Свободным будете после победы, не раньше,— ответил генерал.— А теперь ступайте, возьмите с собой товарища пионера и накормите хорошим гвардейским ужином. А вместо ста граммов пусть ему выдадут плитку нашего высококалорийного шоколада.

На другой день Петя въехал в Одессу на броне танка вместе с Леонидом Цимбалом и Колесничуком. Танки остановились возле железнодорожного виадука внизу Крестьянского спуска, и они отправились дальше пешком.

Было позднее утро. Город еще хранил свежие следы уличных боев, продолжавшихся всю ночь. Советские войска окончательно овладели городом на рассвете, и теперь он имел вид, как после урагана или наводнения.

Яркое солнце и сильный холодный ветер, разносивший по улицам тучи обгорелой бумаги из румынских и немецких учреждений и участков, разгромленных народом, напоминали о тех предпраздничных днях, когда в доме производится генеральная уборка: с треском распахиваются мутные окна, под ногами хрустит старая, окаменевшая замазка, сдвигается мебель, и сквозняки метут по полу зимний сор из всех углов, закоулков и чуланов.

Еще на мостовых валялись неубранные немецкие трупы и опрокинутые грузовики с награбленным советским добром, еще всюду дымились пожары, еще из подвалов вытаскивали последних немецких автоматчиков-факельщиков и опознанных провокаторов, еще срывали с угловых домов таблички переименованных улиц, еще разъяренный и страшный в своей святой ярости советский народ гнал захваченных в плен немецких эсэсовцев — грязных, обовшивевших, с землистыми, картофельными лицами и глазами, полными ужаса, более похожих

на беглых каторжников, чем на воинов,— а уже в город одно за другим въезжали советские учреждения, все время находившиеся во вторых эшелонах Третьего Украинского фронта.

Кое-где на углах стояли кучки словацких и румынских солдат. У некоторых из них на пилотках были нашиты красные ленточки. Солдаты махали руками и кричали вслед Леониду Цимбалу, Колесничуку и Пете:

— Здравствуй, рус! Здравствуй, большевик! Ура!

И они, прикладывая руки к шапкам, кричали в ответ:

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Действуйте, ребята! Ура!

Петя чувствовал особенный душевный подъем. Они шли не по тротуару, а посредине мостовой, как и подобало идти хотя и маленькой, но все же воинской части. Они продолжали чувствовать себя воинской частью, чем-то вроде отделения или звена подпольного отряда Черноиваненко. Они все еще не могли освоиться с мыслью, что задача их отряда уже окончена и они больше не подпольщики.

Петя видел себя как бы со стороны. Вот он идет — мужественный, суровый, выполнивший свой воинский долг перед Родиной, черный от подземной пыли, удивляющийся свежему ветру и яркому солнцу, в откинутой за спину плащ-палатке, с медалью на груди и наганом за пазухой,— пионер Петя Бачей, еще совсем недавно вице-президент кружка юных натуралистов, а теперь партизан, народный мститель.

И точно, в них — в Леониде Цимбале, Колесничуке и Пете — было нечто, заставлявшее людей, наполнявших улицы, останавливаться. Их вид не мог вызвать сомнения. Это были подпольщики, легендарные обитатели катакомб.

Мальчики бежали за ними, крича:

— Дяденьки, вы не с одесских катакомб?

— А что — заметно?

— Спрашиваешь! — во весь рот улыбались мальчики — худые, изголодавшиеся, босые одесские мальчики, за два с половиной года оккупации хлебнувшие немало горя.— А с какого отряда?

— Из отряда Черноиваненко.

— Товарища Гаврика?

— Ага,— отвечал Петя равнодушно.

— Жорка, Ленька, Карпуха, ой, бежите скорей сюды, тут идут черноиваненковцы!

— Гавриковцы идут!

И мальчики бежали по тротуару, провожая Петю, Колесничука и Леонида Цимбала с таким восторженным, даже несколько обалделым видом, словно это был целый полк с оркестром впереди.

Но Петин триумф достиг своей высшей точки, когда один совсем маленький головастый мальчик в рваном офицерском френче, доходившем до черных щиколоток его босых ножек, с красным флажком в руке, забежал на мостовую и, идя перед Петей задом, спросил, не сводя с Пети восхищенного взгляда:

— Дяденька, какой это у вас орден?

На что Петя, снисходительно усмехнувшись, ответил:

— Это, милок, всего лишь медаль «За боевые заслуги».

— Ой, какая красивая! — закричал малыш на всю улицу пересыпским голосом, но тут же запутался пятками в румынском френче и, к общему веселью, со всего маху сел на мостовую, на миг расстроив четкие походно-боевые ряды Колесничука, Пети и Леонида Цимбала.

Одним словом, все было чудесно, замечательно в этот упоительный День Победы.

— Черноиваненковцы идут, усатовцы идут! — поминутно слышалось в толпе.

58

ПАПКИНО ПИСЬМО

Под прекрасной классической колоннадой бывшей городской думы, на небольшой площади, по-видимому, только что закончился летучий митинг. По лестнице спускался оратор, окруженный толпой. Это был седой как лунь старик в полной матросской форме русского дореволюционного военного флота. Ветер трепал синий воротник его голландки и длинные георгиевские ленты шапки с золотой печатной надписью впереди — «Князь Потемкин-Таврический».

— «Потемкин»! «Потемкин»! — слышался говор в толпе.— Матрос с «Потемкина». Только что его привезли из Николаева на торпедном катере.

— Он всю оккупацию пережил в Одесской области.

— Старый подпольщик.

— Говорят, самого Ленина знакомый. Зимний брал.

— У нас в Одессе с гайдамаками счелся.

— Весь белый, как одуванчик.

— А брови еще-таки довольно черные. Боевой старик!

— Спрашиваешь! С тысяча девятьсот пятого года борется за Советскую власть.

— Говорят, он тогда у нас в Одессе состоял в боевой организации.

— А это с ним что за девочка?

— Это его дочка.

— Не дочка, а внучка.

— Ну, может быть, внучка, это неважно.

— Она с ним всюду ходила, когда он работал за шарманщика, пела, танцевала с бубном. Их все считали за румына и за румыночку.

— Да, она сильно чернявенькая.

— Так здорово по-румынски лопотала, и он то же самое.

— Он — это неудивительно: он с «Потемкиным» был в Румынии, некоторое время там жил, научился разговаривать по-ихнему.

— Теперь пригодилось.

— Вы про эту девочку говорите?

— Про старика и про его внучку.

— Это дочка Дружинина.

— Какого Дружинина? Того самого?

— Его настоящая фамилия вовсе не Дружинин. Дружинин — это только его подпольная кличка. Это наш советский разведчик.

— Когда его водили в кандалах по городу, старик и девочка...

В это время Петя, Колесничук и Леонид Цимбал наконец пробрались через толпу — их все с уважением пропускали — и вдруг очутились совсем рядом со старым матросом.

Старик одной рукой опирался на палку, а другой — на плечо девочки. В сапожках, в синей юбке, белой ру-

башечке и красном пионерском галстуке на смуглой шейке, она шла прямая, как тростинка, глядя из-под редких, но очень черных, красиво загнутых ресниц карими глазами, в которых дрожали две зеркальные точки.

Прежде чем Петя узнал ее, она узнала Петю, остановилась и протянула ему руку. Ни удивления, ни радости не отразилось на ее немного усталом, спокойном, заметно повзрослевшем лице.

— Здравствуй, Петя,— сказала она просто.— Ну, вот мы и встретились опять! — И губы ее горько дрогнули.— Я тебя сразу узнала, хотя ты очень вырос. А ты меня сразу узнал?

— Нет,— сказал Петя.— Не сразу.

— Может быть, ты забыл, как меня зовут? — Она с усилием улыбнулась.— Галина.

— Я знаю. Я не забыл.

Чувство такой любви, такой нежности и такой жалости вдруг охватило Петю, что ему трудно стало дышать.

Он смотрел не отрываясь в эти милые детские глаза и в каждом зрачке за решеткой ресниц видел крошечное отражение самого себя, своей растрепанной головы, булавочную головку ослепительно белого весеннего солнца и даже красный флажок над колоннадой бывшей городской думы.

Она взяла его руку и подержала в своей, немного раскачивая.

— Ты помнишь моего папу? Его расстреляли враги.

— Я знаю,— сказал Петя.— Капитан Дружинин. Мы были с ним вместе в катакомбах.

— Да? — сказала она без всякого удивления, даже как-то бесчувственно, но очень серьезно.— Это хорошо, что ты был в катакомбах. Мы тоже с дедушкой работали. А твой папа?

— Мой папа был заместителем Дружинина.

— Дедушка,— сказала Галина,— познакомься. Это мальчик Петя, с которым мы тогда вместе летели в Одессу. Он тоже был в катакомбах вместе с нашим папкой.

Старик посмотрел на мальчика из-под клочковатых серо-черных бровей глубоко сидящими темными глазами,

пожевал губами, затем протянул руку, на которой Петя увидел татуировку — маленький голубой якорь.

— Будь здоров, кавалер,— сказал старый матрос, и Петя почувствовал пожатие его старой, как бы деревянной руки с твердой, продубленной кожей.

Назвав Петю кавалером, дедушка имел в виду медаль, но мальчик понял в том смысле, в каком однажды употребил это слово Дружинин — кавалер его дочки,— и смущенно покраснел.

— Пойдем с нами,— сказала Галина, взяв Петю под руку.

— Куда?

— Читать папкино письмо.

Петя не понял.

— Разве ты не знаешь? — сказала она.— Перед смертью отец написал письмо. Пойдем туда.

Они пошли по Пушкинской улице в сторону вокзала, окруженные большой, все увеличивающейся толпой граждан Одессы и красноармейцев,— старик матрос, одной рукой опираясь на палку, а другой — на плечо внучки, внучка и рядом с ней Петя в откинутой за спину плащ-палатке, а за ним дядя Колесничук и Леонид Цимбал, как был, с винтовкой, и еще множество других, незнакомых людей.

Это напоминало траурное шествие. Иногда на перекрестках толпа останавливалась, и тогда матрос с «Потемкина» снимал свою старую бескозырку с ветхими георгиевскими лентами, махал ею над белой головой и говорил старческим, но все еще сильным голосом:

— Граждане славного города Одессы, поздравляю вас с великим днем освобождения от фашистских захватчиков! Да здравствует Советская власть!

В одном месте мимо них на рысях, звонко цокая по гранитной мостовой, под прозрачным шатром распускающихся акаций, промчался конный отряд. Впереди в телячьей куртке, туго подпоясанный широким офицерским поясом, с кавказской шашкой, в деревенской бараньей шапке с красной ленточкой поперек, стройный, подтянутый, свежевыбритый, с резко подрезанными усами и прямыми стрелками бровей, ехал Серафим Иванович Туляков, и пена летела во все стороны с мундштука его горячей, забрызганной засохшей грязью лошади. За ним

мелькали знакомые лица ребят из его отряда, прыгали за спинами винтовки, мелькали на шапках красные лоскутки.

Гремела по мостовой зеленая тачанка с пулеметом, рядом с которым сидел в своем матросском бушлате и в бескозырке веселый Тарас Середа, держа на коленях громадный белый с золотом аккордеон.

— Эй, ребята, здорово! — закричал Леонид Цимбал.— Туляков! Серафим Иванович!

Но Туляков не услышал, и отряд промчался мимо.

Наконец они повернули на другую улицу и вошли в распахнутые ворота большого серого дома с выбитыми окнами, из которых ветер выносил черный пепел сожженных бумаг.

Этот дом как-то сразу не понравился Пете, несмотря на свою новую штукатурку и ярко начищенные медные ручки дверей. Но, когда они вошли в темный, глухой двор, куда, видимо, никогда не проникало солнце и где зловеще пахло каменным углем и холодной сыростью, мальчик почувствовал, как дрогнуло его сердце.

Галина судорожно прижалась к его руке, и они спустились в темный подвал, откуда на них повеяло, как из склепа. Кто-то зажег электрический фонарик.

Они увидели открытую дверь, обитую толстым листовым железом, и вошли в нее, пораженные тягостной пустотой комнаты, в которую попали,— черный, обитый листовым железом пол и грубо выбеленные стены, больше ничего. Ни одного луча света снаружи. И — запах. Сырой, застоявшийся запах хлористой извести, креозота и еще чего-то душного, ржаво-железистого, сводящего с ума.

Стены сплошь были покрыты надписями смертников — именами, фамилиями, прощальными словами, проклятиями и мольбами,— выцарапанными или написанными огрызком карандаша. Казалось, комната была наполнена безмолвными криками и стонами сотен уничтоженных людей.

— Здесь,— сказал голос, и пятно электрического фонарика остановилось и задрожало на словах, написанных химическим карандашом на уровне человека высокого роста:

«Прощай, Родина! Сейчас фашистские мерзавцы меня

уничтожат. Они обещали мне жизнь, если я подам на помилование. Нет! Никогда! Прошла на земле их власть. Я русский! И просить у врага пощады не собираюсь! Есть лишь одна власть на земном шаре, которую признаю,— власть Советов. Дорогая Галочка, дочка моя, радость! Прощай, солнышко! Спасибо, что пришла на меня посмотреть в последний раз. Я тебя видел и дедушку тоже. Не плачь обо мне, не горюй. Ты еще узнаешь в жизни счастье, увидишь солнце коммунизма. На свете много хороших людей. Они тебя не оставят. Помни твоего папку. Я сделал все, что мог, жаль только, что так мало. Да здравствует коммунизм, да здрав...»

На этом надпись обрывалась. Дальше шла очень глубокая прямая черта сломанным карандашом.

57

ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ

Никто не сомневался, что Черноиваненко, Перепелицкая и Бачей не сегодня-завтра выйдут из катакомб. Может быть, они уже даже вышли и отсыпаются где-нибудь на квартире Черноиваненко на Пролетарском бульваре или у Матрены Терентьевны на Пересыпи. Петя снова жил у Колесничуков, каждую минуту ожидая появления отца. Первые дни после освобождения Одессы в городе, как это водится, царила такая неразбериха, что напасть на след Черноиваненко было нелегко. Мало ли где он мог быть? Возможно, он присоединился к армии и вместе с ней уже сражается где-нибудь за Днестром, в Бессарабии. Может быть, они находятся при штабе фронта и помогают допрашивать пленных...

А они вот уже шестые сутки продолжали блуждать в подземных лабиринтах, не находя выхода. Они уже давно съели все свои ничтожные запасы продовольствия, а воды у них и вовсе не было. Керосин кончался.

Черноиваненко потушил «летучую мышь», и они сели на землю.

До сих пор, пока в фонаре оставалось еще много керосина, они все шли и шли, поворачивая из одного подземного коридора в другой. Это были какие-то очень

древние ходы, куда уже давно не ступала нога человека. Все же это были ходы, их прорыли люди, и не могли же они никуда не привести. Они должны куда-нибудь вывести. Но во многих местах они были наглухо закрыты подземными обвалами, сдвинутыми оползнями. То и дело приходилось возвращаться назад и поворачивать в другую сторону.

Иногда они попадали в большие пещеры и находили там следы людей. В одной из них они увидели полузасыпанный пылью человеческий скелет и вокруг него клочья истлевшей одежды. В другой виднелись черные следы костра, на земле валялась помятая, пробитая пулей алюминиевая фляжка с двумя горлышками, а на стене можно было прочесть почерневшую надпись: «Les prolétaires de tout le iuond unissez — vous» — по-видимому, ее вырезал тесаком один из французских матросов, не пожелавший воевать против молодой Советской республики в 1919 году, во время интервенции четырнадцати держав.

— Ты понимаешь,— сказал Черноиваненко, присаживаясь возле стены,— ты понимаешь, Бачей, какая страшная, смертельная борьба идет в мире вот уже двадцать пять лет. Четверть века! Ты шутишь...— Он с трудом перевел дыхание и облизнул сухие, потрескавшиеся губы.— Четверть века капиталисты пытаются нас уничтожить, раздавить, загнать под землю... Не мытьем, так катаньем. Какие только мерзавцы не пытались нас задушить: деникинцы, врангелевцы, колчаковцы, семеновцы, петлюровцы, шахтиицы, промпартия, басмачи, мусаватисты... Яд, кинжал, бомба, измена... Халхин-Гол, белофинны... Теперь Гитлер, Муссолини, Антонеску, всякие квислинги... Но мы их били, бьем и будем бить. Да, будем бить смертным боем! — Он сжал рот и некоторое время сухими, воспаленными глазами смотрел на слабый огонек «летучей мыши».— И мы их уничтожим... Уничтожим потому, что мы ведем войну справедливую, народную, войну нового типа. Войну за будущее всего трудового человечества. За мир, за счастье, за коммунизм!

Один раз они наткнулись на горку рассыпанного типографского шрифта, настолько окислившегося, что свинцовые буквы почти потеряли свою форму и были похожи

на длинные камешки. Тут же, засыпанный пылью, лежал заржавленный типографский пресс и клочки желтой от времени бумаги.

Они остановились, и Черноиваненко поднял один клочок. На нем еще можно было разобрать несколько напечатанных слов: «...бастовки по поводу ленских расстрелов. В Питере и Москве, в Риге и Киеве, в Саратове и Екатеринославе, в Одессе и Харькове, в Баку и Николаеве,— везде, во всех концах России подымают голову рабочие в защиту своих загубленных на Лене товарищей».

Черноиваненко торопливо поднял еще один клочок бумаги, которая буквально рассыпалась в его дрожащих от волнения пальцах.

«Нет сомнения, что подземные силы освободительного дви...»

— Это листовка двенадцатого года,— сказал Черноиваненко, с пристальным вниманием рассматривая клочок старой, тонкой бумаги.— Я ее припоминаю... Она была напечатана в «Звезде», а потом ее перепечатали тут, в катакомбах, в партийной типографии.

Он некоторое время молчал и вдруг сказал с чувством глубокого волнения:

— Товарищи, это голос нашей партии! Он долетел к нам из глубины истории. Чуете его силу? Он говорит нам сейчас: «Мы живы».

Черноиваненко полузакрыл глаза и медленно прошептал:

— «...кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил!..» Да! Неистраченных сил...— Голос Черноиваненко зазвенел уверенно: — Мы живы! Это наша большевистская партия — сегодня, сейчас, здесь — говорит нам о подземных силах освободительного движения! Она зовет нас вперед.

И они шли дальше, все вперед, вперед...

Теперь же они умирали от жажды. Перепелицкая уже начинала бредить. Черноиваненко и Бачей с ужасом прислушивались к ее бормотанью, журчащему в темноте, как ручей.

— Ну что ж...— наконец сказал Черноиваненко незнакомым голосом, по одному звуку которого можно было почувствовать, как пересох его язык и как пылает

его гортань.— Плоховаты наши дела, Петя,— сказал он, видимо силясь улыбнуться.— Как ты на это смотришь?

— Хуже не бывает,— ответил Бачей, также силясь улыбнуться и чувствуя, что холодеет от слов Черноиваненко, от их скрытого, беспомощного смысла.— Между прочим... ужасно хочется жить, ужасно! Так бы все время жил и жил...

— А кто говорит о смерти? — почти закричал Черноиваненко из темноты уже совсем неузнаваемым голосом, злобным и срывающимся.— Нет, брат, шутишь!

Черноиваненко вдруг так ясно представил себе родной город, под которым они, может быть, в эту минуту находились.

Он нашел в темноте руку Петра Васильевича и крепко сжал ее повыше локтя.

— Слышь, Бачей,— жарко зашептал он,— это они, наши предки, потомки запорожцев — свободолюбивые и смелые сечевики, когда-то пришли сюда, на берег Черного моря, и вместе с беглыми крепостными екатерининской России заселили и возделали пустынные новороссийские степи...— Он помолчал, ожидая ответа, но не дождался.— Ты слышишь, что я говорю?

— Слышу,— ответил в темноте Бачей.

— А если слышишь, то перестань думать о смерти. Я тебе приказываю! Кто под знаменами Суворова штурмовал Измаил и Очаков? Кто отбивался от турок? Кто строил город?.. Наши предки — каменщики, землекопы, плотники. Они были истинными хозяевами всей этой красоты и богатства! Это они, батарейцы прапорщика Щеголева, отстояли Одессу от англо-французского нападения. Это они со славой умирали на бастионах Севастополя! А мы? Мы же, брат, с тобой пережили четыре войны и две революции! Помнишь, как мы носили в тысяча девятьсот пятом году патроны на баррикады? Помнишь, как мы сражались в тысяча девятьсот восемнадцатом году за власть Советов? А кто, как не мы, защищал власть от Деникина и Врангеля, от гайдамаков? Кто бил интервентов — сначала немцев, а потом англичан, американцев, французов, греков и прочих наемников мирового капитализма? Ну? И ты думаешь, что нас с тобой

так легко закопать живьем в землю? Нет, брат! Мы бессмертны!

Между тем Перепелицкая продолжала бредить, и ее бессвязное бормотанье безостановочно текло в подземной тьме, как ручей.

Ее все время преследовало странное видение: она — Валентина, и она идет по черному кружеву теней, которые подымаются с мостовой по ее ногам, по коленям, по груди. Она невеста, и она идет в сверкающей фате дождя, душистые капли катятся по ее лицу, блестят в ее волосах, но ни одна капля не может упасть на ее воспаленные губы, потому что невозможно подписать.

— Подписать и напиться, подписать и напиться...— в беспамятстве бормотала Перепелицкая, и слышно было, как она мечется во тьме и тягостно вздыхает, как бы из самой глубины души, умирающей от жажды.

И десятки, сотни, тысячи белых чаек летали перед ней, над ней, вокруг нее, как души погибших...

Вдруг она замолчала.

Петру Васильевичу показалось, что она умерла. Он протянул в темноте руку, пошарил и нашел голову Матрены Терентьевны. Он коснулся пальцами ее сухих и даже на ощупь пыльных волос.

— Это вы, Петя? — слабо сказала она.

Она сделала в темноте какое-то очень трудное движение и положила свою жесткую, грубую ладонь на пальцы Петра Васильевича.

— Нет, я еще, слава богу, живая,— сказала она, как бы отвечая на его безмолвный вопрос.— Я живучая... Какие у вас горячие пальцы, Петя! Вы не обижаетесь, что я вас все время называю Петей? Ведь мы с вами знакомые с детства. И вы для меня все равно мальчик Петя с Канатной, угол Куликова поля.

Он молчал, чувствуя, как светлеет у него на душе.

— Я вас так любила с самого детства,— помолчав, сказала Матрена Терентьевна.— Я всюду за вами ходила, а вы никогда не обращали на меня внимания. Вы даже меня не сразу узнали, когда пришли в наш отряд.

— А ты меня разве сразу узнала?

— Я вас сразу узнала. А вы меня не узнали... не узнали... Как же вы меня могли не узнать, когда я та са-

мая девочка с Ближних Мельниц? Помните наши подснежники? А помните лазарет на Маразлиевской? Я была тогда такая, как моя Валентиночка, может быть немножко старше...

Вдруг она замолчала и потом быстро спросила, уже совсем другим голосом — тревожным, прерывающимся:

— Где мы сейчас находимся? Вы не знаете? А я знаю! Мы сейчас лежим под самым Куликовым полем. Помните, Петя, нашу Марину?.. А Павлика и Женечку?.. Тише! Мы теперь все лежим рядом с ними в сырой земле под Куликовым полем, под красным плугом с завода Гена... помните красный плуг над братской могилой? А наверху идет дождик. И мочит водичка наши косточки... А где же мой папочка? Это он вышел отсюда, из катакомб в восемнадцатом году и взорвал на Дальницкой немецкие пороховые склады. И улетела его душа вместе с огнем и дымом на небо... скажете нет? — Она стала заговариваться, залилась слезами.

— Не плачь, Мотя,— сказал Петр Васильевич и стал гладить ее волосы.

— Я не плачу,— ответила она.— А только мне так ее жалко, мою Валечку, так обидно... и Марину, и папочку, и всех людей! Если б вы только знали, Петя! Вы не обижаетесь, что я вас называю Петя?

Она глубоко вздохнула и снова замолчала. И Петру Васильевичу опять показалось, что она умерла. Она молчала так долго, что встревожился Черноиваненко.

— Мотя, Мотя...— шепотом позвал он.

Но она не откликалась. Наконец она вдруг попросила зажечь фонарь. Она просила так настойчиво, с таким странным возбуждением, что Черноиваненко стало страшно. Он подумал, что у нее начинается агония, и, желая ей облегчить последние минуты, стал торопливо чиркать зажигалкой Синичкина-Железного. Она долго не зажигалась, только летели искры. Наконец, загорелась. Дрожащими руками Черноиваненко зажег фонарь с последней каплей керосина. Скоро она выгорит, и тогда для них всех наступит вечная тьма.

Перепелицкая сидела, вытянув ноги, прислонясь к стене. Она была так страшна, что Черноиваненко пришлось сделать над собой усилие, чтобы не закричать.

Бачей прикрыл глаза ладонью и незаметно отвернулся. Совсем слабое, последнее пламя еле жило за решеткой «летучей мыши». Каждый миг оно готово было оторваться от крошечного кончика фитиля, улететь и навсегда исчезнуть.

Фонарь освещал тесную пещеру, где они находились. В этой пещере скрещивались три хода. Через один они пришли, два других расходились в противоположные стороны.

— Ну, Мотечка, тебе лучше при свете? — сказал Черноиваненко.

Она кивнула головой и знаком попросила подать ей фонарь. Она взяла его и поставила перед собой на землю. Затем она осторожно, с большими усилиями подняла стекло.

Воздух в пещере был так неподвижен, что язычок пламени даже не пошевелился. Она уставилась глазами на этот маленький язычок с таким нечеловеческим напряжением, что у нее на шее надулись жилы.

И вдруг Черноиваненко понял, для чего она это сделала. Он вздрогнул и схватил Петра Васильевича за плечо.

— Бачей, тише! — сказал он, сдерживая дыхание.— Не дыши. Замри.

Петр Васильевич тоже понял.

Теперь они все трое в упор смотрели на неподвижный язычок пламени, понимая, что в нем заключается вся их жизнь.

Вдруг язычок тихонько отогнулся в одну сторону, затем выпрямился и снова отогнулся. Это было движение воздуха, такое слабое, что его мог почувствовать только самый маленький язычок пламени. Неощутимая воздушная струя согнула маленькое пламя. Это был сквозняк. И он дул в определенном направлении. Судя по отогнувшемуся язычку, воздух шел из правого хода. Черноиваненко схватил фонарь и бросился туда. Петр Васильевич одним движением поднял с земли Матрену Терентьевну, и они последовали за Черноиваненко, за слабым огоньком фонаря, который он держал перед собой в вытянутой руке. Они шли некоторое время, и вдруг свет погас: керосин догорел. Подземная тьма снова навалилась на

них. Конец... Но в это время они увидели впереди на стенах хода еле заметное синеватое отражение дневного света.

Гавриил Семенович отшвырнул фонарь, который уже был ему не нужен, и, спотыкаясь, побежал на дневной свет. Свет усиливался, наполнял весь ход струящимися, бушующими волнами. Черноиваненко увидел скважину... Когда Петр Васильевич, поддерживая Матрену Терентьевну, добрался до щели, Черноиваненко пытался в нее пролезть, но она была так узка, что в нее еле можно было просунуть плечо. Черноиваненко просунул плечо, стараясь разворотить камни, завалившие выход. Но камни не поддавались. Тогда они втроем из последних сил навалились на потрескавшуюся от недавних оползней ракушечную глыбу.

Они колотили ее кулаками, они засовывали пальцы в острые трещины и, срывая ногти, расшатывали камни, они бросались на них грудью — и камни вдруг сдвинулись, разошлись, посыпались вниз, ход открылся, и в лицо им с такой силой ударили морской ветер и солнце, что они с трудом устояли на ногах.

По очертанию берега они поняли, что находятся где-то между Большим Фонтаном и дачей Ковалевского. Подземный ход выходил на обрыв, висевший почти над самым морем.

Ослепительное, как бы раскаленное добела утреннее солнце беспощадно било в глаза. Штормовой ветер свистел в трещинах.

Громадные мутно-зеленые волны, исписанные зигзагами пены, одна за другой взлетали, как малахитовые доски, и с пушечным громом вдребезги разбивались о скалы, выбрасывая вверх фонтаны брызг.

И среди этих движущихся водяных гор плавали сотни чаек, то появляясь на гребнях, то падая в глубокие водяные провалы, то снова появляясь наверху. Они взлетали, кружились, кричали, смешиваясь с клочьями пены, которые нес, срывая с гребней, штормовой ветер.

И, зарываясь в буруны, с развевающимися вымпелами, стремительно шла на запад кильватерная колонна советских торпедных катеров.

Черноиваненко снял шапку и вытер рукавом лицо, мокрое от морских брызг. Его глаза сузились. Ноздри раздувались, вдыхая крепкий, пахучий морской ветер.

Перепелицкая, с трудом передвигая ноги, выбралась из пещеры и села на камень.

Черноиваненко искоса посмотрел на нее, потом на Петра Васильевича.

— Чудак, Петька, я ж тебе говорил, что мы бессмертны,— проговорил он с усталой улыбкой.

Конец

1936 — 1961 гг.
Москва — Переделкино

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Издательство просит отзывы
об этой книге присылать
по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Для среднего и старшего возраста

Катаев Валентин Петрович

ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ

Том II

Ответственный редактор *Б. И. Камир*
Художественный редактор *С. И. Нижняя*
Технический редактор *С. К. Пушкова*
Корректоры *Т. П. Лейзерович* и *З. С. Ульянова*

Сдано в набор 22/IV 1961 г. Подписано к печати 6/IX 1961 г. Формат 84 × 108 1/32 — 20,56 печ. л. 34,54 усл. печ. л. (33,47 + 1 вкл. — 33,68 уч.-изд. л.). Тираж 75 000 экз. А07844. Цена 1 р. 26 к.
Заказ 2600.

Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.